

# Герберт УЭЛЛС

## Война в воздухе Когда Спящий проснется Рассказ о грядущих днях



Свыше ста иллюстраций  
Артура Майкла, Франтишека Женишека,  
Анри Лано и Эдмунда Салливана

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ







*Герберт Джордж Уэллс  
(1866–1946)*

Герберт Джордж Уэллс

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ  
КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ  
РАССКАЗ О ГРЯДУЩИХ ДНЯХ



творческое объединение  
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО  
и переплётной компании  
ООО «Творческое объединение „Алькор“».*



Санкт-Петербург  
СЗКЭО

ББК 84(4)  
УДК 821.111  
У98

Первые 100 пронумерованных экземпляров от общего тиража данного издания переплетены мастерами ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“».

Классический европейский переплет выполнен из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока с трех сторон методом механического торшонирования с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

У98 **Уэллс Герберт Дж.** Романы — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2022. — 480 с., ил.

Сборник знаменитого классика фантастического жанра Г. Уэллса включает такие знаковые сочинения писателя как «Война в воздухе» в переводе Л. Мурахиной-Аксеновой и «Когда спящий проснется» в переводе Э. Пименовой и М. Шишмаревой, а также «Рассказ о грядущих днях» в переводе В. Тана. И в XXI веке эти мастерски написанные произведения продолжают сохранять свою необычайную популярность. В оформлении сборника использованы более сотни иллюстраций зарубежных художников: А. Майкла, А. Лано, Ф. Женишека и Э. Салливана.

ISBN 978-5-9603-0711-6 (7 БЦ)  
ISBN 978-5-9603-0712-3 (Кожанный переплет)

© СЗКЭО, 2022

**ВОЙНА В ВОЗДУХЕ**  
**Роман из недалекого будущего**  
**1907**

Перевод  
Л. А. Мурахиной-Аксеновой

Иллюстрации  
Артура Майкла





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Стремление к прогрессу. Семья Смолуэйсов

#### I

— Ишь их прорывает! Так и лезут вверх! — говорил Том Смолуэйс. — А интересно знать, что еще придумают люди? По-моему, им больше ничего уже не придумать. Летать даже начали — чего ж им еще?

Так рассуждал он еще задолго до начала воздушной войны.

Том Смолуэйс сидел на заборе в конце своего сада и смотрел на обширный бенхиллский газовый завод таким взглядом, в котором, если не выражалось ни особенного одобрения, ни порицания, зато сверкало любопытство. Над газометрами, казавшимися издали тесно скученными, моталось три странных предмета, походивших на тонкие, неуклюжие, раскачивавшиеся пузыри, несколько времени обвисло колебавшиеся из стороны в сторону. Понемногу эти пузыри начали надуваться, округляться и увеличиваться в объеме. Это были воздушные шары, приготовившиеся для подъема членов Южно-английского аэроклуба. Была суббота, и в этот день всегда делались подъемы на воздух.

— Каждую неделю начали баловаться, — заметил сосед Тома Смолуэйса, мистер Стринджер, имевший рядом с ним небольшую молочную. — Давно ли весь Лондон сбегался поглазеть, когда поднимался воздушный шар? Давно ли эти штуки были диковинкой? А теперь, вот,



пожалуйте, чуть не в каждом углу завелось по воздушному клубу и каждую неделю делаются подъемы наверх, точно какое-то важное дело... Эх, дурят, дурят люди, удержу им нет!

— Да, — подхватил Смолуэйс, — вот и я то же говорю. Прошлую субботу мне пришлось свезти с своего картофельного поля три воза песку... целых три воза, понимаете, а? А все сверху набросали. Берут его с собою для тяжести, а потом, когда надо опускаться, и выбрасывают его... Половина картофеля испорчена: сверху весь оказался помятым... Одно только разорение честным людям из-за этих лодырей, прости господи!

— Да им что... Вон и барыни туда же стали забираться.

— Барыни? — протянул Смолуэйс, презрительно фыркнув в нос. — Хороши «барыни», которые таскаются по воздуху в шарах и швыряют добрым людям на голову целые возы песку!.. Нет, по-моему, такие вертихвостки иначе называются, сказал бы, да не хочу язык марать.

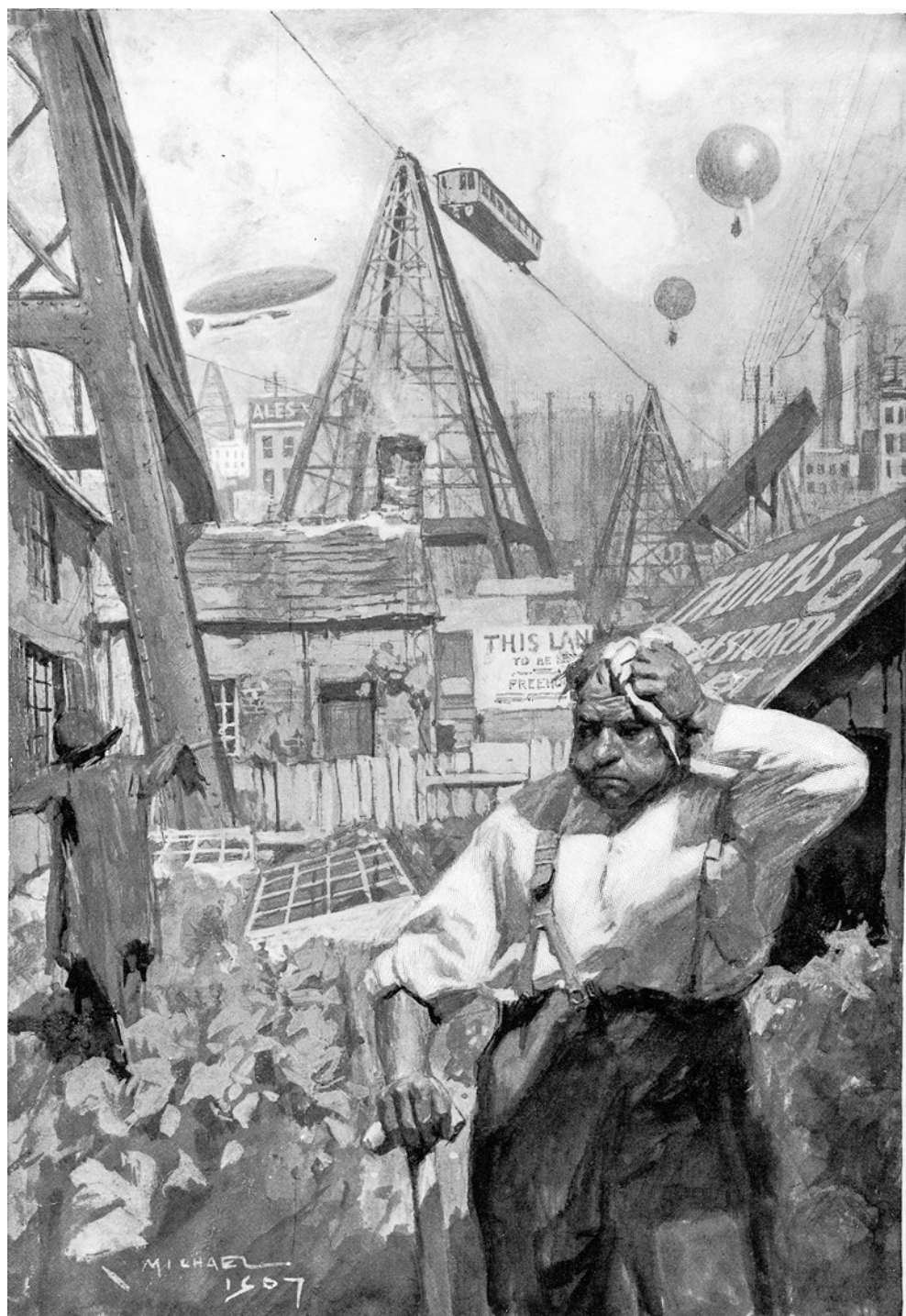
Мистер Стринджер одобрительно закивал головой. Несколько времени оба соседа молча продолжали смотреть на раздувающиеся шары. Во взглядах обоих порицателей выражалось явное презрение и негодование.

Мистер Том Смолуэйс по профессии был зеленщик, а по охоте садовник. Торговлю вела его жена Джессика. Небо создало мистера Смолуэйса для спокойной, мирной, созерцательной жизни, но, к несчастью, забыло создать для него подходящий мир. Поэтому мистеру Смолуэйсу пришлось существовать в среде непрерывных перемен, и, как нарочно, судьба поместила его в таком углу земли, где отрицательные последствия этих перемен сказывались с особенной назойливостью. Вообще этому мирному человеку, как говорится, не везло. Даже самая основа его материального сущест-

вования была очень шатка. Земля, на которой он с такою затратою труда и денег развел огород и сад, находилась у него в годовой аренде, о чем ему постоянно напоминало объявление, красовавшееся над входом в сад. Объявление гласило, что весь этот, тщательно обработанный участок земли продается как особенно пригодный для построек. Это был здесь последний еще не застроенный участок, и его злополучный арендатор вечно находился под угрозой отказа от аренды. Как человек спокойный, он утешал себя мыслью, что, авось, современному «беснованию» скоро наступит конец.

— По-моему, больше уже нечего придумывать, — твердил он. — Как ни ломай голову, а дальше этого летанья по воздуху им уж не счудить.

Седоволосый отец Тома помнил Бен-Хилл еще в то время, когда это местечко было идиллической кентской деревней. До пятидесятого года своей жизни он исправно служил кучером у сэра Питера Боуна, затем начал понемногу пить и допился постепенно до того, что был уволен и должен был поступить к содержанию омнибусов, у которого и дотянул до семьдесят восьмого года. Достигнув этого почтенного возраста, он зажил на покой. Сидя с утра до вечера в кресле перед камином, доживал свой век этот престарелый возница, сплошь напичканный воспоминаниями о прошлом, и все его желания теперь сводились к тому, чтобы найти слушателя, перед которым он мог бы всласть раскладывать свои воспоминания. Свежему человеку интересно было послушать эту живую хронику. Старик в мельчайших подробностях описывал прекрасное поместье сэра Питера Боуна, давным-давно уже распроданное по частям под постройки, причем не забывал упомянуть, как этот магнат держал в своих руках весь округ. Описывал псовые и другие охоты. Рассказывал, как его



*Мистер Том Смолуэйс по профессии был зеленищик, а по охоте садовник.*

господа ездили четверней и как на том месте, где потом был воздвигнут газовый завод, расстился великолепный луг для игры в крикет. Рассказывал, как на его глазах возникал Хрустальный дворец. Этот дворец находился в шести милях от Бен-Хилла, представляя собою бесконечно длинный фасад, по утрам сверкавший точно расплавленный металл, после полудня выделявшийся прозрачной голубой массой, а по ночам представлявший для всего окрестного населения бесплатное зрелище сияющих потешных огней. Рассказывал, как стали проводиться железные дороги, а вдоль них одна за другой начали вырастать щегольские виллы, и как потом эти хорошенькие зданья были вытеснены газовым заводом, водопроводными сооружениями и целым морем безобразных, грязных рабочих жилищ. Рассказывал, как отвели воду из Оттерборна, и превратили эту красивую речку в отвратительный, пахнувший гнилью ров; как после проведения второй железнодорожной линии по Бен-Хиллу, быстро вырос новый поселок с множеством домов, лавок и даже магазинов с зеркальными окнами; как появилось училище, пошли омнибусы, а за ними и конки, сообщавшиеся прямо с центром города; как то и дело стали взимать все новые и новые налоги; как зашныряли велосипеды, а потом автомобили, чуть не с каждым днем возрастающие количеством; как завели народную читальню, где стали читать лекции для народа, и т. д.

— Нет, теперь уж, кажется, дальше идти некуда, — повторял сын старика, Том, выросший при всех этих переменах, новшествах и диковинках, и отец поддакивал ему.

Однако шли все дальше и дальше, без удержу, без границ. Зеленная и фруктовая торговля, заведенная Томом в самом маленьком из уцелевших деревенских домиков, на конце проезжей дороги, вы-

глядела теперь какой-то сжатой, подавленной, точно она беспомощно пряталась от чего-то грозного, постоянно надвигавшегося на нее. Когда замостили дорогу, превратив ее таким образом в главную улицу этой местности, лавочка Тома очутилась настолько ниже мостовой, что пришлось проложить три ступени для спуска в нее. Том всеми силами старался обойтись продуктами собственного огорода и плодовника, но покупатели находили, что у него мал выбор, и он волей-неволей, подчиняясь натиску обстоятельств, должен был, подобно своим конкурентам, заполнить свои два окна французскими артишоками и тому подобными «субтильными» овощами, бананами, заграничным виноградом, всякого рода орехами, плодами самого «что ни на есть тропического» происхождения, грушами, сливами и яблоками «из всех стран света». Особенно не нравились Тому яблоки, которые он принужден был выписывать из Нью-Йорка, Калифорнии, Канады, Новой Зеландии и бог весть еще откуда.

— С виду-то они ничего, красивые, а на вкус ничего не стоят в сравнении с нашими яблоками, — с досадой говаривал он.

Автомобили, мчавшиеся мимо него с севера на юг и обратно, постоянно увеличиваясь в количестве и объеме, все больше и больше вытесняли другие способы передвижения, все быстрее мчались и все сильнее заражали воздух зловонием. Вместо исчезавших конных повозок появились моторные фуры, развозившие всякого рода кладь; конные омнибусы заменились моторными. Даже кентская земляника, по ночам свозившаяся в Лондон, стала возиться уж не на конных тележках, а на моторах, и, благодаря прогрессу и бензину, теряла свою свежесть и аромат.

У Тома Смолуэйса был младший брат, Берт, и вот вдруг этот Берт, к ужа-



су старшего брата, завел и себе велосипед с мотором...

## II

Нужно сказать, что Берт Смолуэйс был из «прогрессивных». Ничто так ярко не может иллюстрировать быстрое распространение прогресса, как то обстоятельство, что он проник в кровь даже Смолуэйсов. Не успел Берт еще скинуть детских башмаков, как уже стал проявлять некоторую склонность к предприимчивости и симпатию к прогрессу. На пятом году он пропадал целый день, и его с большим трудом отыскали среди машин газового завода; на седьмом он утонул было в резервуаре водопроводной башни; на десятом блюститель порядка отобрал у него «настоящий» пистолет; в то же время мальчуган выучился курить «настоящие» американские папиросы, предназначавшиеся специально для молодых людей его возраста и стоившие один пенни десяток. На двенадцатом году Берт своим способом выражений приводил в ужас всю семью, зато каждую неделю зарабатывал не меньше трех шиллингов разнородной «Бен-Хиллского Еженедельника», ноской мелкого багажа для пассажиров на вокзале и т. д. Все эти шиллинги он добросовестно тратил на приобретение папирос, карикатурных листков, юмористических журналов и других «прогрессивностей», в изумительном разнообразии и ужасающих количествах распространяемых в ту «просвещенную» и жадную к новинкам эпоху. Но все это совершалось Бертом не в ущерб его «научных» занятий, благодаря которым он в необычайно юные годы добрался в школе до старшего класса. Все эти подробности мы сообщаем с той целью, чтобы у читателя не могло оставаться ни малейшего сомнения относительно характера Берта Смолуэйса.

Берт был на шесть лет моложе Тома, и одно время, именно тогда, когда двадцатилетний Том женился на тридцатилетней Джессике, принесшей ему сравнительно довольно порядочное сбережение от своих трудов в качестве прислуги в богатом доме, — старший брат хотел приучить и младшего к занятию в огороде или к торговле, вообще к чему-нибудь полезному. Но Берт был не из тех, которые любят оказывать пользу другим. Копаться в огороде и торговать он терпеть не мог, а когда ему поручалось разнести товар по заказчикам, то в нем с непреодолимой силой просыпалась страсть к бродяжничеству; корзина превращалась как бы в походный ранец, и он готов был тащить ее, несмотря на ее тяжесть, какое угодно расстояние, лишь бы только не к месту назначения. Вокруг все манило и зазывало всяческими способами, и Берт со своей корзиной шел всюду, где было на что поглазеть. Убедившись, что Берта невозможно переделать никакими уговорами и даже пристыживаниями, Том продолжал сам разносить свой товар и подыскивать брату дело у других, еще не знавших особенностей молодого человека.

Берт поочередно вступал в преддверия различных профессий: был швейцаром в богатом доме, аптекарским учеником, мальчиком на побегушках у доктора, подручным у мастера на газовом заводе, писцом в конторе, возчиком при большой молочной торговле, лодочником и, наконец, приказчиком в велосипедной торговле. Последнее место больше остальных удовлетворяло его склонность к прогрессивности. Хозяин его, мистер Греб, был молодой человек с наружностью морского разбойника, постоянно мечтавший об изобретении какой-то особенной передаточной цепи и проводивший ночи в кафе-шантанах. Для Берта он являлся идеалом, достойным



подражания. Греб держал для отдачи напрокат самые ненадежные велосипеды во всей южной Англии, и с поразительной ловкостью выпутывался из неприятных последствий, возникавших по этому поводу. Берт и Греб быстро сошлись, Берт в очень короткое время сделался почти виртуозом в велосипедной езде; в несколько недель он выучился пробегать расстояния в несколько миль на таких колесах, которые развалились бы на первых же шагах под всяким другим ездом. Достигнув такого совершенства, молодой человек приобрел хорошую привычку умыться после окончания своей службы, стал заводить себе самые сногшибательные галстуки и воротнички, курить более дорогие папиросы и брать уроки стенографии в Бен-Хиллском училище для желающих пополнить свое образование. Изредка он навещал брата, причем так блистал наружностью и работал языком, что Том и Джессика, имевшие врожденную потребность поклоняться кому и чему-нибудь, прониклись к нему полным уважением.

— Паренок пробирается вперед. Страсть сколько уж нахватался разной премудрости, — говорил Том, проводив блестящего брата.

— Только не чересчур бы уж набивал себе ею голову, — замечала Джессика, отличающаяся склонностью к некоторым ограничениям.

— Все идет вперед в нынешнее время, — со вздохом рассуждал Том. — Вот теперь даже у нас, в Англии, стали выращивать новый сорт картофеля, который поспевает раньше других сортов. Если так будет продолжаться, то мы скоро будем иметь молодой картофель даже в марте... Да, что ни день, то какая-нибудь новость... А заметила ты, Джессика, какой на нем был галстук?

— Как не заметить, Том, конечно, заметила. Только такие галстуки ему не

идут. Они для настоящих джентльменов, а Берт еще далеко до них не дорос, хоть и шагнул дальше нас с тобой...

В один прекрасный день Берт завел себе полный велосипедный костюм со всеми принадлежностями и почувствовал себя на вершине блаженства. Видеть его катящим в обществе Гребя на колесе, с низко опущенной головой, согнутой в три погибели спиной и выпученными глазами, — значило получить полное понятие относительно заложенных в смолуэйской крови способностей к прогрессу.

Да, времена были вполне прогрессивные. Старый Смолуэйс корпел в своем дедовском кресле перед камином и без удержу болтал о блеске давно миновавших дней, когда сэру Питеру Боуну нужно было только сутки, чтобы съездить на своей четверке взад и вперед в Брайтон, болтал о белых цилиндрах этого джентльмена, о леди Боун, ножки которой никогда не касались земли, за исключением прогулок по саду; о кулачной борьбе в Кревлее; о красных охотничьих куртках и гамашах из свиной кожи; о лисицах, водившихся в том месте, где недавно была выстроена лечебница для душевнобольных; о кисейных платьях дам, о кринолинах и т. д. Но его никто не слушал. Мир создал себе новый тип «джентльмена»; джентльмена в запыленной клеенке, в автомобильных очках и в удивительных головопокрышках; джентльмена распространяющего зловоние и вздымающего тучи пыли, от которой сам же старается умчаться со скоростью ветра; джентльмена, совсем не поджентльменски энергичного и во всех отношениях являющегося культурной разновидностью разбойника с большой дороги прежних времен. «Леди» также сделалась совершенно свободна от всяких «предрассудков». Закаленная в житейской борьбе, настолько же далекая от

нежности к самой себе и к другим, она, вместо кисейных платьев, тоже стала носить «спортивные» костюмы, делавшие ее похожей на плод боязливой фантазии прошлых веков.

Быть таким джентльменом Берт желал всеми силами своего сердца. Выше-го идеала для него не существовало. Побить рекорд быстроты в езде на колесе было его наивысшей целью. Скоро ему показался недостаточным пробег по пятнадцати миль в час, и он несколько дней мучил себя попытками пробегать в то же время не менее двадцати миль по улицам и дорогам, чуть не с каждой минутой становившимся все более и более пыльными и шумными, благодаря новым механическим способам передвижения.

Благодаря системе ежемесячных взносов, Берту удалось приобрести довольно порядочный велосипед с мотором. В первое же воскресенье после взноса последнего шиллинга Берт с ловкостью кошки взмогился на колесо и понесся в зловонных тучах пыли, увеличивая свою особой возможностью лишних несчастных случаев.

— В Брайтон покати! — сказал старый Смолуэйс, стоявший у окна своей комнатки, расположенной во втором этаже, над лавкой, и со смесью гордости и недовольства следивший за своим шаркнувшим мимо младшим сыном. — Да, времена изменились. Я в молодые годы ни разу не был в Лондоне... Вообще дальше Кревлея не попадал. Тогда, кроме господ, никто и не думал разъезжать. А теперь, вот, повсюду все шныряют, точно так и должно... Никто больше уж не сидит на месте... Мечутся, как угорелые, и сами не знают зачем... И лошадки не нужны уж стали: стальных коней себе завели... А разве может глупая машина равняться с умным живым рысаком?.. Эхма, на что только это все стало похоже? Чисто беснование какое-то напало на людей...



— Да, — с кислой миной подхватила Джессика, убиравшая у старика в комнате, — только все и знают шмыгать на колесах да зря бросать деньги.

### III

Одно время Берт так был поглощен прелестями моторного колеса, что совсем не обращал внимания на то, что вечно стремящееся вперед человечество стало рваться в новую область для умножения способов сношений, — в воздушную. Он не замечал, что моторное колесо, так же точно, как и предшествовавшее ему велосипедное, начинает уже делаться обыкновенным явлением, потерявшим прелесть новизны, и люди ищут чего-нибудь более интересного. Раньше других заметил это Том, привыкший наблюдать небо, отыскивая на нем признаки погоды, имевшей большое значение для его дела. Близость Бен-Хиллского газового завода и Хрустального дворца, с площадок перед ко-

торыми постоянно делались подъемы воздушных шаров, и забрасывание его огорода песком при спусках, — все это, вместе взятое, заставило его понять, что жажда нового, которой болеют люди, потянула их уже и на воздух. И действительно, на глазах Тома начинался первый натиск на воздушную область.

Берт и его хозяин или, скорее, товарищ, Греб, в первый раз узнали об этом в ночном кабаке, потом эту новость подтвердил им кинематограф: затем фантазия Берта была воспламенена новым, дешевым изданием классического труда об аэронавтике мистера Джорджа Гриффиса, озаглавленного: «Пловец в облаках». Таким образом, интерес обоих молодых людей, отличавшихся замечательным единодушием, был возбужден до последней степени.

Количество воздушных шаров увеличивалось с изумительной быстротой. Не только по субботам, но и по средам — одного дня в неделю оказалось уже мало для любителей нового спорта — эти огромные пузыри стали витать над Бен-Хиллом. В один из этих дней Берт, несшийся на своем моторе в Кройдон, вынужден был остановиться перед Хрустальным дворцом, на площади, где собралась огромная толпа, следившая за подъемом необычайно большого шара особой формы. Не имея возможности ни объехать эту толпу, ни пробраться через нее, Берт остановил своего стального коня, слез с него и вместе с другими принялся наблюдать за подъемом шара. Это сооружение походило на колоссальную клинообразную подушку с перегнутым углом. Под подушкой была прикреплена сравнительно небольшая машина с быстро вращавшимся винтом спереди и чем-то в роде парусинного руля сзади. На этой машине сидел человек. Наполненный газом цилиндр, т. е. самый «шар», словно нехотя тащился немного

в бок за увлекавшей его машиной. Сложное чудовище медленно поднялось в воздух и, повинуясь движению руля, плавно понеслось на юг, к цепи холмов, затем повернулось и направилось обратно к Хрустальному дворцу, где благополучно и спустилось на землю.

С этого дня последовал бесконечный ряд новых явлений в воздухе, начиная с цилиндров всевозможных размеров и окрасок, конусов, грушевидных чудовищ и кончая ослепительно сверкавшим алюминиевым сооружением, которое Греб, в смутном представлении о панцирных бронях, склонен был принять за воздушный военный корабль.

Вообще увлечение аэронавтикой все росло и росло, так что в один прекрасный день Берт нарисовал на тоненькой дощечке следующую надпись: «Починка и подновление аэропланов» и выставил эту дощечку в окне мастерской своего хозяина. Сделав это, он, однако, немного усомнился в возможности выполнения того, за что они с Гребом брались: ведь аэроплан — не велосипед, хотя бы и моторный. Но слыша со всех сторон одобрение своей предприимчивости, он живо успокоился, утешив себя тем, что для того, кто умеет обращаться с машинами, летающими по земле, ничего не значат и воздушные.

Повсюду, даже в самых укромных уголках Лондона со всеми его обширными предместьями, только и шла речь о летании по воздуху. Из всех уст только и слышалось: «К тому идем; задумал человек летать там, наверху, над облаками, ну и будет летать». Однако дело все-таки не клеилось. Летать-то летали понемножку, следуя принципу, чтобы машина была тяжелее воздуха, но очень уж много было при этом катастроф: то с машиной не ладилось, то сам аэронавт что-нибудь не так сделал, и т. д. Иногда снаряд благополучно совершит взад и вперед полет в

несколько миль, понадеяются на него, а он в следующий раз возьмет да и кувыркнется. Во всех этих воздушных сооружениях не было необходимой устойчивости: они кувыркались и от напора ветра, и от действия воздушных течений над землею, и от несвоевременно промелькнувшей в голове аэронавта мысли, отвлекшей его внимание, и даже так, без всякой видимой причины, словно по прихоти.

— Да, аэропланам не хватает именно устойчивости, — говорил Греб, повторяя слова своей газеты: — кувыркаются да кувыркаются и именно тогда, когда никто этого и не ожидает, вполне уверившись в них.

После двух лет всевозможных опытов, по большей части оканчивавшихся очень плачевно, общество охладело к аэронавтике, сочтя ее неразрешимой задачей. Положим, несколько времени еще продолжалось «поднятие» с луговины Хрустального дворца в обыкновенных шарах, и огороды по-прежнему исправно засыпались песком, но насчет «лечения» замолчали.

Так прошло целых шесть лет, и Тому стало казаться, что скоро окончится баловство с шарами. Вдруг на смену им явилось увлечение однорельсовой железной дорогой; это тоже угрожало мирным жителям лондонских пригородов многими неудобствами и опасностями.

Об однорельсовой дороге говорилось уже и раньше, но восторжествовала эта новинка лишь в 1907 году, когда мистер Бреннан, член Королевского общества, представил изумленной публике модель своего гироскопического вагона. Обширное помещение, предоставленное в распоряжение мистера Бреннана, оказалось тесным для огромной массы нахлынувшей публики, желавшей присутствовать при демонстрации нового сногшибательного изобретения. Храбрые военные, знаменитые проповедни-

ки, прославленные писатели, разряженные дамы из высшего круга, — вся эта пестрая толпа чуть не лезла на головы друг другу, чтобы хоть одним глазком уловить новое чудо, и считала себя счастливой, когда, вернувшись домой, могла похвалиться, что видела гироскопический вагон, «открывающий новую эру в области путей сообщения».

Великий изобретатель очень убедительно (хотя его было слышно только в ближайших к нему рядах) доказывал пользу своего изобретения и заставлял свою маленькую модель послушно подниматься вверх и вниз по гнувшимся проволочным канатам. Моделька с головокругоуверительной быстротой носилась на своих двух, помещенных сзади, колесах по одному рельсу, ловко огибала крутые повороты, поворачивалась, останавливалась, снова неслась вперед — и все это без малейшей задержки, без малейшего уклонения, в полном равновесии. Каждый ее поворот сопровождался громом рукоплесканий и гулом восторженных одобрений зрителей. В отдельных группах публики поднялся оживленный обмен мыслей насчет удовольствия прокатиться в таком вагоне над какой-нибудь зияющей пропастью. Слышались восклицания: «А вдруг гироскоп остановится!» Но очень немногие угадывали и десятую долю тех перемен и последствий, какие должна была произвести во всем мире однорельсовая железная дорога по системе Бреннана.

Вполне это было понято лишь несколько лет спустя. Вскоре же после проведения первых однорельсовых железнодорожных путей никто больше не находил ничего особенного в шнырянии над бездной в «гироскопах», и этот способ передвижения вытеснил все остальные механические способы. Где еще была дорога земля, там рельс прокладывался по земле, а где она была дорога, рельс

поднимался на столбы. Скоро легкие и быстроходные «гироскопы» стали мчаться во все стороны, заставляя бросать прежние дорого стоявшие и громоздкие сооружения обыкновенной железной дороги.

Когда старый Смолуэйс умер, Том вздохнул и сказал: «Да, во времена молодости отца на свете ничего не было высокого, кроме дымовых труб на крышах: ни одного телеграфного провода, ни одного проволочного канатика в воздухе, ничего такого».

Зато теперь старика несли в могилу под целой, тесно переплетенной сетью всевозможных проводов; Бен-Хилл теперь сделался узловым пунктом обслуживавшей предместья однопорельсовой дороги. Кроме того, в нем почти каждый дом имел свой телефон.

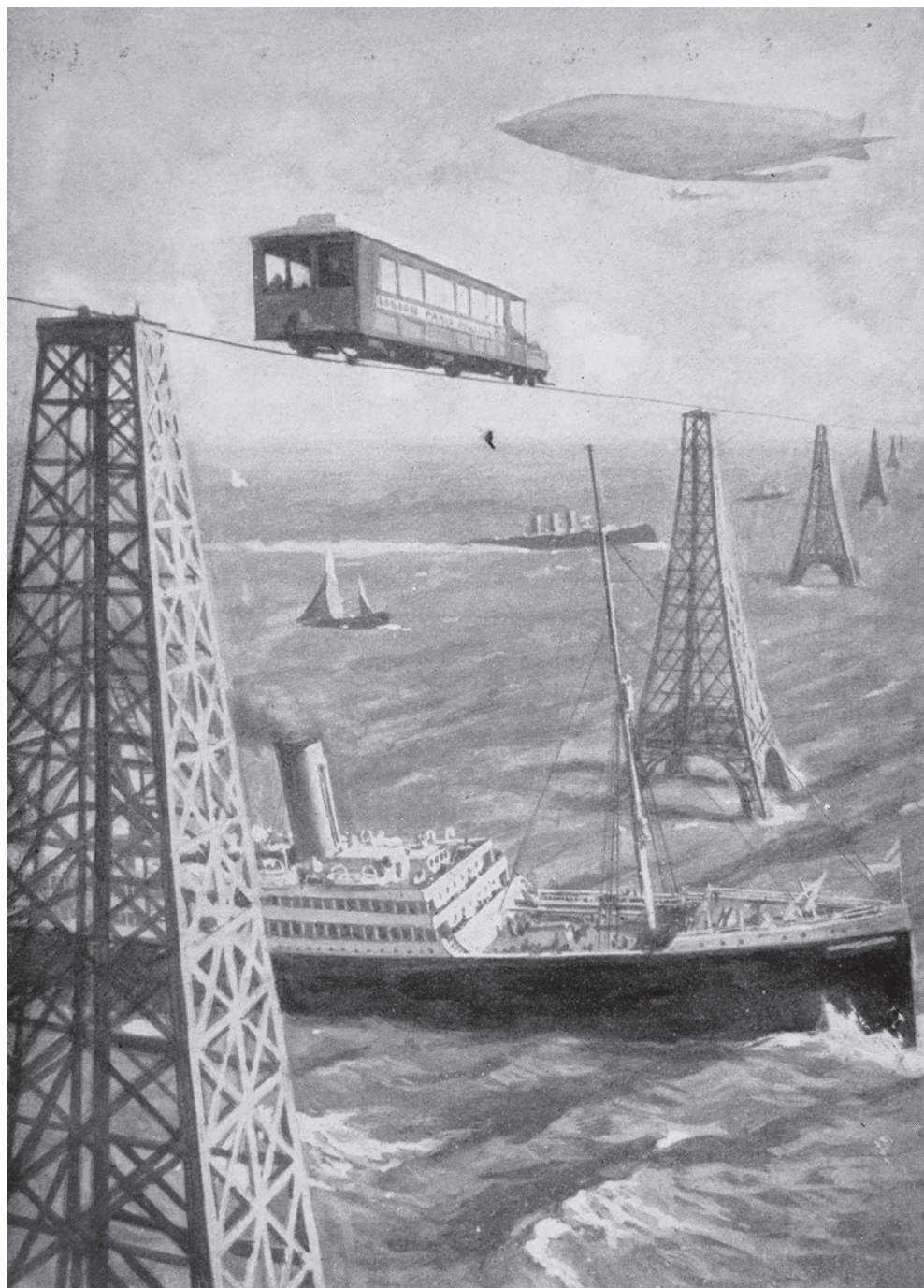
Массивные, железные, выкрашенные ярко-зеленой краской, сооружения для воздушной однопорельсовой дороги скоро сделались одним из наиболее видных украшений городских улиц. Одно такое сооружение как раз высилось перед домом Тома и окончательно подавляло своим величием этот домик. Второе пришлось на том конце сада Смолуэйса, где все еще красовалась доска с объявлением об его распродаже под постройкой, и пестрели два новых объявления — одно с восхвалением «чудодейственного средства для укрепления расшатанных нервов», а другое — с изображением «самых дешевых в мире» карманных часов, в два с половиной шиллинга за штуку. День и ночь мчались над домом Тома длинные, широкие и комфортабельные вагоны, сиявшие в темноте целым морем света. Это было для обывателей улицы нечто в роде непрерывной ночной молниеносной грозы, которая сначала никому не давала уснуть, пока к ней не привыкли, как и ко многому другому.

Наконец однопорельсовая дорога была переброшена и через Ла-Манш, по длинному ряду массивных железных столбов, вышиной с башню Эйфеля. Особенно высоки они были на середине Канала, где проходили пароходы Лондоно-Антверпенской и Гамбургско-Американской линий.

Вместе с тем по этой дороге стали проноситься и товарные вагоны, что заставило Берта глубоко призадуматься относительно чудовищной быстроты прогресса, за которым ему, при всем его желании, не было никакой возможности угнаться.

Все эти новинки в области передвижения, разумеется, захватили внимание общества, которое, однако, вскоре было отвлечено в сторону поразительного открытия мисс Патрицией Гидди золотоносных жил у побережья Англии. Мисс Гидди окончила Лондонский университет, блестяще сдав экзамен по минералогии и геологии. Занявшись писанием диссертации на тему золотоносных утесов северного Уэльса, она вдруг наткнулась на мысль, что, быть может, золото находится и в подводных частях этих утесов. Желая удостовериться в верности своей догадки, она, недолго думая, воспользовалась недавно изобретенной доктором Альберто Кассини подводной лодкой и отправилась в ней производить свои исследования. И она не ошиблась. Со свойственной женскому гению смесью сообразительности и инстинктивного чутья, энергичной ученой удалось в первый же приступ отыскать золото и, после едва трехчасового ныряния в море у подножия утеса, она подняла наверх около двух центнеров золотоносной руды с небывалым процентным содержанием 17 унций на тонну. Однако, как ни интересна история этого открытия, мы откладываем ее описание до другого раза, ограничившись пока замечани-





*Наконец однорельсовая дорога была переброшена и через Ла-Манш, по длинному ряду массивных железных столбов, вышиной с башню Эйфеля.*

ем, что открытие мисс Гидди произвело большую сенсацию.

Между тем сильное вздорожание всех продуктов, рабочих рук и вообще всего обихода жизни, различные спекуляции и тому подобные экономические и финансовые осложнения несколько времени мешали оживлению интереса к воздухоплаванию.

#### IV

Возрождение этого интереса началось как-то вдруг и притом с такой силой, что сразу охватило весь мир. Оно нагрянуло как буря в солнечный день, с утра отличавшийся полной тишиной. О воздухоплавании снова всюду заговорили с таким видом, точно никто ни на минуту не забывал об этой теме. В газетах снова появились заметки и запестрели рисунки с изображениями различного рода летательных приборов во всех видах и положениях. Страницы серьезной периодической печати снова наполнялись научно-популярными статьями об аэронавтике и опытах с новыми машинами и т. п. В поездках однопоршневых дорог то и дело слышался вопрос: «Да когда же мы, наконец, будем летать по воздуху без всяких связей с землею?» Новые изобретатели являлись сразу целыми десятками, словно грибы после хорошего дождя. Аэроклуб объявил о своем намерении устроить большую аэронавтическую выставку на обширном участке земли, только что освобожденном из-под загромождавших его уайтчепельских барачков.

Нахлынувшая волна вскоре вызвала соответствующей силы всплеск и в мастерской Гребя. Он где-то раздобыл попорченную летательную машину, кое-как привел ее в состояние, похожее на исправное, и попытался устроить на ней полет. Но попытка его окончилась тем, что он разбил в соседней цветочной тор-

говле несколько рам и повредил десятка два растений: это повлекло за собой большую неприятность с соседом.

И вот вдруг неизвестно где возник и с быстротой молнии распространился упорный слух, что великая тайна открыта, и проблема воздухоплавания решена. До Берта этот слух дошел в трактире в Нетфильде, куда молодой человек однажды вечером попал на своем самокате. На скамейке, под окном трактира, сидел одетый в хаки солдат-сапер и с задумчивым видом курил трубку. Солдат заинтересовался мотором Берта. Разговорились. Основательно обсудив достоинства велосипеда, который, кстати заметить, своим восьмилетним существованием представлял некоторого рода устойчивость в те изменчивые дни, солдат сказал:

— Да это что! Всем начинает уж надоедать глотать пыль по дорогам. То ли дело аэроплан.

— Об этом давно уж болтают, да все зря, — заметил Берт.

— Нет, не зря! — подхватил сапер. — Напротив, вполне серьезно.

— Ну, да, как же! Когда увижу сам, тогда и поверю. Не в первый раз обманывают...

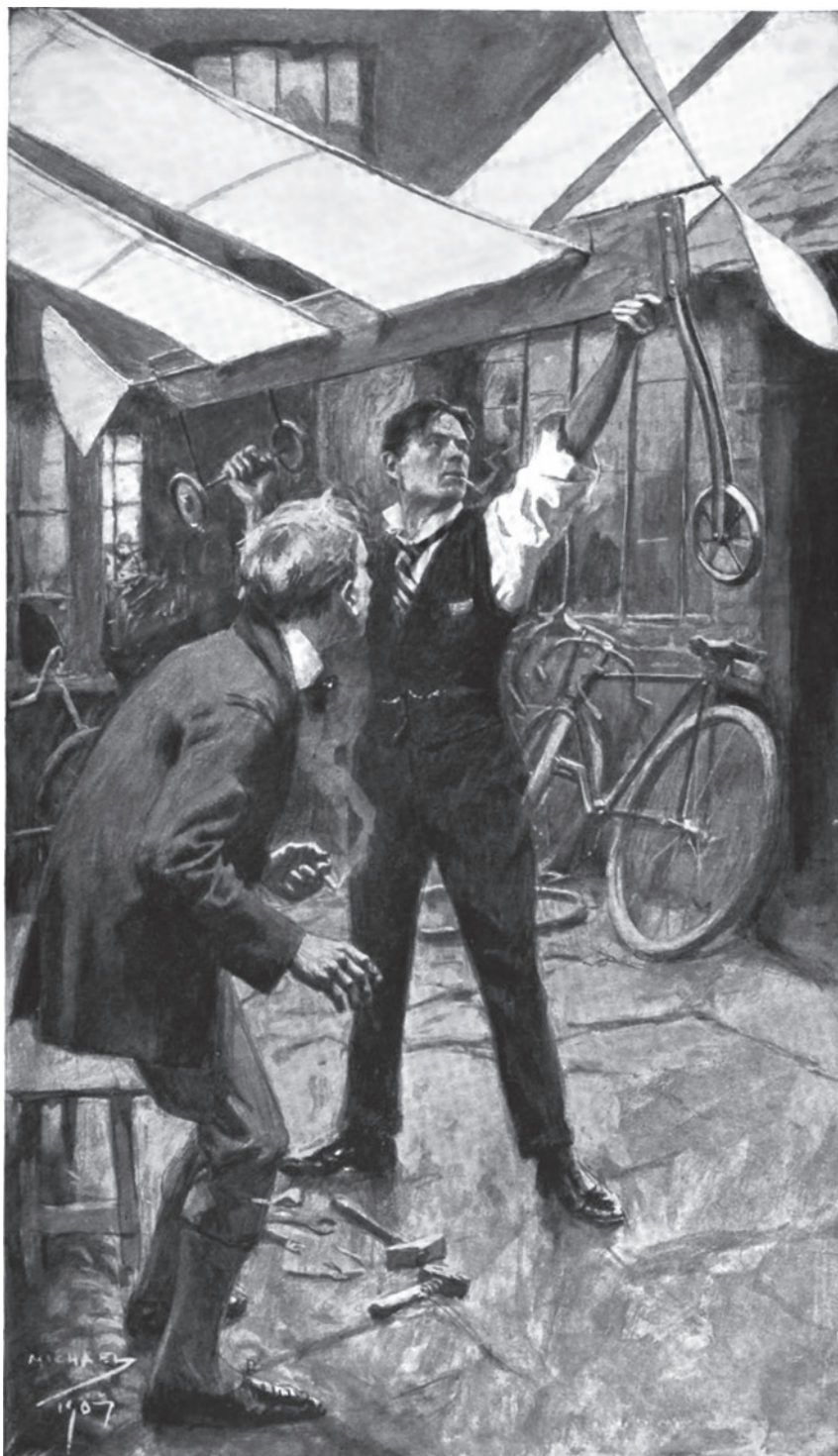
— Уверю вас, что на этот раз без всякого обмана... Я собственными глазами видел, как летают во всех направлениях, — уверял солдат.

— Видел и я, — говорил Берт: — полетят-полетят да и кувырнутся. Очевидно, не могут еще управлять...

— А я вам говорю, что я видел такую машину, которая идет куда ее заставят, даже против ветра, — перебил солдат. — И очень легко управлять ею: повинуется, как по команде.

— Этого быть не может! Ничего подобного вы не могли видеть. Ни одна машина не может идти против ветра, — упорствовал Берт.





*Он где-то раздобыл попорченную летательную машину, кое-как привел ее в состояние, похожее на исправное, и попытался устроить на ней полет.*

— А я все-таки видел и не дальше, как в Олдершоте, — уверял солдат. — Они там таятся, молчат о своем успехе, но шила в мешке не утаишь. Дело решено на чистоту, и наше военное министерство на этот раз не упустит своего, будьте покойны.

Сомнения Берта поколебались. Он засыпал сапера потоком вопросов, и тот становился все словоохотливее и откровеннее.

— В Олдершоте, — продолжал он, — есть такая низинка, на которой делают опыты. Оградились плетнем из колючей проволоки в десять футов вышиной, и возятся там. Заглянешь к ним туда и кое-что подсмотришь потихоньку. Многие уж подметили, да не только наши — это куда бы еще ни шло, — но и немцам стало известно... пронюхали даже японцы. Должно быть, ихние шпионы... они ведь так у нас и шныряют под разными видами. Всех не переловишь.

— Гм?... Да!.. — в раздумье бормотал пораженный Берт. А интересная это будет штука.

— На что еще интереснее! — воскликнул сапер, снова набивая свою трубку. — Когда дело пойдет в ход, начнутся такие чудеса, каких никогда еще не было... Игра будет прямо умопомрачительная... в роде, например, всемирной войны... Мы уже кое-что об этом слышали. Ну, а в ваших газетах об этом ничего еще не говорят? Я их не читаю. У нас свои.

— Намеки были, — ответил Берт.

— Намеки?... Ну, да, конечно, только одни намеки пока и могут быть... А вы мне вот что скажите: вы никогда не обращали внимания на то, что изобретатели летательных машин стали куда-то исчезать? — Вспыхнут, как ракета, да вдруг и пропадут.

— Нет, признаться, я не обращал на это внимания.

— Да? — Ну, а я обратил. Сколько раз я уже замечал, что появится какой-нибудь новый изобретатель, на шумит, всех заинтересует и вдруг — нет его больше, ни слуху, ни духу о нем. Точно в воду канул, понимаете? Сперва появились в Америке братья Райт. И отлично заплывали было по воздуху... крику, что там наделали — страсть! Потом вдруг о них сразу замолчали. Это было этак около 1905 года. Потом были, кажется, тоже два брата в Ирландии... забыл их имена. И о них везде кричали, что они свободно летают, но тоже в один прекрасный день скрылись и они, забыли и о них... Не слышать, чтобы они погибли, но и в живых их нельзя считать. Не то мертвы, не то живы, а где они — неизвестно. А сколько после этого писалось и говорилось о том французе, который облетел вокруг Парижа и ухнул в Сену... Де-Болей, что ли, его звали, наверно не помню. Знаю только, что он сам уцелел, а куда потом делся — тоже неизвестно. И так много...

— Уж не попадают ли они все в руки какого-нибудь тайного общества? — выразил догадку Берт, начитавшийся о такого рода обществах.

Солдат принялся закуривать погасшую трубку.

— Тайного общества? — повторил он, с трубкой в зубах. — Скажите лучше — в руки какого-нибудь военного министерства, а то и нескольких зараз. — Он встал и направился к своему собственному велосипеду, стоявшему около дома. — Голову даю на отсечение, — продолжал он на ходу, — если когда-нибудь... даже в скором времени, не окажется, что нет на всем свете страны, мало-мальски крупной, которая не имела бы хоть парочки летательных машин в запасе... настоящих, вполне исправных и управляемых по ветру и против ветра. Но все таятся друг от друга. Конечно, не хотят, чтобы переняли другие, но все равно разноха-

ют... А сколько на это тратится денег, труда и времени, чтобы хоть что-нибудь повыведать друг у друга, — страсть!.. Скажу вам по секрету, — добавил он, — у нас на четыре мили кругом не допускают не только ни одного иностранца, но даже и своего, если у него нет особого разрешения. Да и то, кажется, ухитряются кое-что подглядеть, хоть это и трудно.

— Интересно бы и мне посмотреть, — сказал Берт. — Вообще, повторяю, когда увижу сам, только тогда и поверю, что это не обман, как было до сих пор.

— Увидите, увидите и, может быть, раньше даже, чем ожидаете, — бросил солдат, ловко вскакивая на своего стального коня. — До свидания! — крикнул он и быстро укатил.

Берт остался сидеть на скамье, серьезный и задумчивый. Шапка на затылке, папироса в зубах, руки в карманах, ноги далеко протянуты вперед. Воплощение удали и залихватства.

«Если это правда, — думал он, — то нам с Гребом надо держать ухо востро, как говорят старики, и поосновательнее заняться новым делом. Иначе мы останемся на мели».

## V

Не успело еще побледнеть в уме Берта воспоминание о намёках солдата, как в истории прогресса человечества открылась одна из самых поразительных страниц: люди открыли-таки тайну летания и полетели.

Чудо это было совершено неким мистером Альфредом Беттериджем, который без малейшего инцидента пролетел от Хрустального дворца в Глазго и обратно, на маленькой, отлично управляемой машине, тяжелее воздуха, двигавшейся совершенно легко, спокойно и уверенно, как настоящая птица.

Всеми чувствовалось, что это являлось уже не новым шагом вперед в деле

аэронавтики, а целым скачком. Мистер Беттеридж пробыл в воздухе более двенадцати часов, и во все это время с его машиной не случилось никакого недоразумения.

Эта машина не походила ни на птицу, ни на бабочку, как другие, и не имела той широты боковых частей, которыми отличались все аэропланы. Она скорее походила на пчелу или осу. Некоторые ее части вертелись с невероятной скоростью и вызывали в глазах зрителей впечатление прозрачных крыльев. Другие же части, в особенности два своеобразно загнутых «накрыльника», оставались напряженно вытянутыми и неподвижными. В середине прибора находилось длинное округленное тело, как у осы, на котором изобретатель сидел верхом, точно на коне. Сходство прибора с осой дополнялось производимым им громким жужжанием.

Мистер Беттеридж явился сюрпризом для всего мира. Он был одним из тех людей, которые по временам вдруг выныривают из ничтожества и неизвестности, чтобы чем-нибудь удивить человечество и вызвать подражание. Откуда он появился — этого никто наверное не мог сказать. Одни говорили, что он из Австралии, другие — из Америки, третьи — из южной Франции. Уверяли даже, что это сын человека, разбогатевшего производством золотых «чудо-перьев Беттериджа»; но такое уверение, как потом выяснилось, оказалось неверным: изобретатель этих перьев был только его однофамильцем. Впрочем, его происхождение не имеет особенного значения. Скажем лучше несколько слов о нем самом. Несмотря на свою топорную наружность, «трубный» голос, неотесанные манеры, грубое хвастовство, нахальное, вызывающее обращение с другими и тому подобные отрицательные качества, Альфред Беттеридж уже несколь-



ко лет состоял членом большинства существовавших в то время аэроклубов. В один прекрасный день — как это принято говорить — он циркулярным письмом известил все лондонские газеты, что в такой-то день и час совершит полет от Хрустального дворца и этим полетом докажет, что он преодолел все затруднения в технике летания. Однако очень немногие из газет решились поместить его письмо на своих страницах, и еще меньше нашлось читателей, поверивших заявлению мистера Беттериджа. Вообще все остались вполне равнодушны. Никто не смутился даже и тогда, когда обещанный полет был несколько замедлен, благодаря тому непредвиденному обстоятельству, что как раз в минуту подъема мистеру Беттериджу вздумалось за что-то поколотить засезжего знаменитого музыканта. Об этом инциденте в печати только кратко было упомянуто в отделе «События дня». Словом, вплоть до окончания своего полета неизвестному изобретателю ничем не удалось привлечь внимание публики. Несмотря на весь производимый им шум, во второй назначенный для полета день к Хрустальному дворцу собрались не более трех десятков любопытных. Да и эти три десятка равнодушно-скептическим взором смотрели, как изобретатель, быстро вылетев из верхней галереи дворца, взвился на своем исполинском, оглушительно жужжавшем насекомом на воздух и плавно понесся по голубой выси. Было всего шесть часов утра летнего дня, и воздух еще не успел принять свойственной ему в этой области сероватой окраски.

Но не успело гигантское насекомое обогнуть всех башен дворца, как слава уже подняла свою громогласную трубу. Спавшие на скамьях в парке бродяги были разбужены жужжанием машины и, вскочив с испугу, увидели, как колоссальная оса огибала башню Нельсона.

А когда эта «оса», часов около одиннадцати, достигла Бирмингема, трубные звуки славы пронесли уже по всей стране. Чудо совершилось; удалось то, что до сих пор считалось невозможным: человек полетел, — полетел тихо, плавно, спокойно, как птица. Вся Шотландия ожидала прибытия аэронавта, разинув рот. Около часу дня он достиг Глазго, и по газетным отчетам того дня видно, что ни одна фабрика, ни один завод, ни одна верфь в этом громадном промышленном улье не возобновляла своих работ вплоть до половины второго, когда аэроплан вновь исчез. Общественное мнение вполне достаточно прониклось убеждением в невозможности решения задачи летания, чтобы по достоинству оценить мистера Беттериджа, так блестяще доказавшего противное. Он окружил университетские здания и опустился чуть не на головы толпы в Вест-Эндском парке, на склоне Гилморской высоты. Машина двигалась совершенно спокойно, со скоростью трех миль в час, описывая широкую дугу, и с таким сильным жужжанием, что оно заглушило бы даже «трубный» голос мистера Беттериджа, если бы аэронавт не был снабжен рупором. Приставив этот рупор ко рту и ловко огибая церкви, высокие здания и однорельсовые сооружения, он ревел в толпу:

— Мое имя Беттеридж... Б-е-т-т-е-р-и-д-ж! Слышите?! Смотрите, не перепутайте! Мать моя была шотландка!..

Убедившись, что его услышали и поняли, он, при громе рукоплесканий, восторженных криках и рывканье «ура!» снова плавно поднялся ввысь и быстро понесся по направлению к юго-западному горизонту. Машина удачно подражала осе и в волнообразном движении то вверх, то вниз.

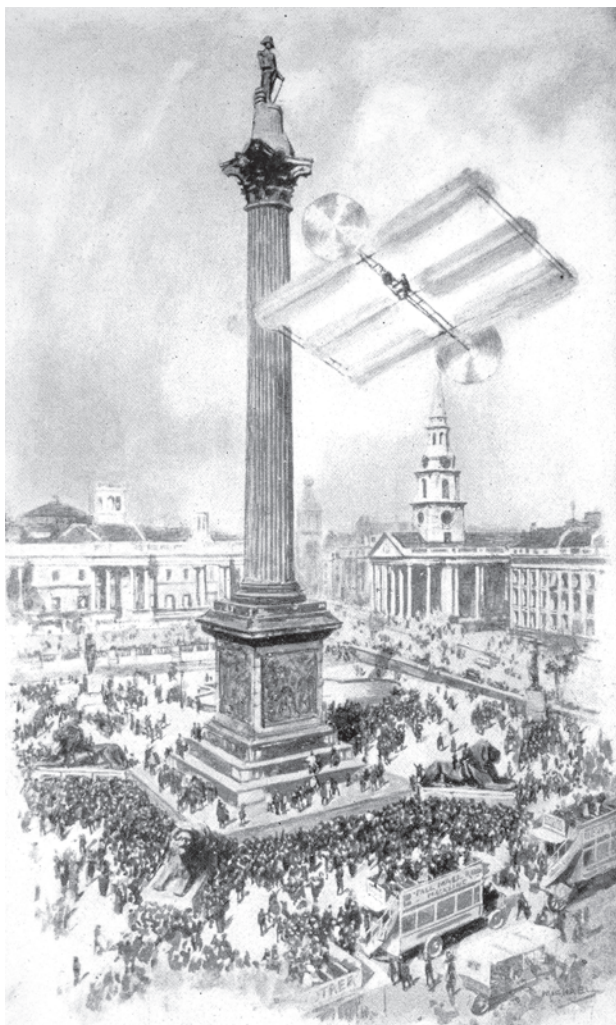
Возвращение аэронавта в Лондон — по пути он посетил Манчестер, Ливер-

пуль и Оксфорд, останавливался над каждым городом и ревел по слогам свое имя — было событием, вызвавшим беспрецедентную сенсацию. Все население стояло с запрокинутыми назад головами и поднятыми вверх лицами. На улицах в этот день было задушено столько людей и животных, сколько в обыкновенное время полагается давить лишь в три месяца. Пароход «Исаак Ньютон» налетел было на один из устоев Вестминстерского моста, и спасся от аварии только тем, что успел вовремя дать задний ход и засесть на мель.

Около солнечного заката мистер Беттеридж вернулся к Хрустальному дворцу, этому исходному пункту всех аэронавигических предприятий, и благополучно влетел в прежнюю галерею, вход в которую демонстративно распорядился захлопнуть перед ногами массы сбежавшихся фотографов и репортеров.

— Я до смерти устал... весь разбит от этой верховой езды, — объявил он своим помощникам, ожидавшим его в галерее. — Поэтому не в состоянии ни с кем говорить... Крикните этим дуракам, которые торчат вон там, за дверьми, что мое имя Беттеридж, что я империалистический англичанин и что завтра приму их всех.

Но толпа предприимчивых молодых людей в мягких шляпах, экстравагантных воротничках и галстуках, с записными книжками и фотографическими аппаратами в руках, настойчиво стала ломиться в двери, требуя впуска или выхода к ним аэронавта. Мистер



Беттеридж, наконец, не выдержал и вышел сам к нетерпеливой толпе... высокий, широкоплечий, широкогрудый, с разинутым ртом под огромными черными усищами, с искаженным от напряжения лицом и выпученными глазами, он так рывкнул в рупор на эту толпу, что она в невольном страхе отхлынула назад и в почтительном отдалении молча смотрела на эту внезапно появившуюся мировую знаменитость, как бы символизировавшую свое значение громадным рупором в руке.

## VI

Том и Берт Смолуэйсы оба были свидетелями триумфального возвращения Беттериджа. Они стояли на вершине Бен-Хилла, откуда так часто любовались фейерверками Хрустального дворца. Берт был сильно взволнован. Том оставался спокойным и вялым, как всегда, когда не касалось что-либо близко его самого. Ни один из них не предчувствовал, как в ближайшем будущем отразится на их судьбе последствия изобретения Беттериджа.

— Быть может, Греб теперь посерьезнее займется делом. Только не засадил бы его этот несчастный цветовод Штейнберг, которому наша машина наделала такой убыток, — заметил Берт.

Том ничего не ответил на замечание младшего брата и продолжал с вялым видом смотреть в сторону дворца.

Немного помолчав, Берт добавил, что из-за этого нового изобретения газеты «закоробятся» от усердия прославить его. Молодой человек уже смыслил настолько в авиации и ее значении, чтобы выразиться так о газетах. И он не ошибся: на следующий же день вся лондонская печать положительно «коробилась» от усердия подчеркнуть грандиозность беттериджского гения и корчилась в истерическом кликушестве, стараясь прославить его. Господствующей нотой во всем этом гаме являлись «необычайно гениальная» личность Беттериджа и неслыханные требования, предъявляемые им за открытие секрета своего изобретения.

«Оса» Беттериджа действительно заключала в себе тайну, и он тщательно оберегал ее. Он сам сооружал свой аппарат в тиши и отдалении громадных галерей Хрустального дворца, с помощью тупо-равнодушных рабочих, а на другой день после полета лично разобрал аппарат по частям и сам упаковал эти части;

для отправки же их, куда ему было нужно, он нанял ничего не смысливших в его деле и вообще не привыкших шевелить мозгами людей. Собственноручно запечатанные им ящики были отправлены на север, восток и запад страны различным машиностроительным заводам. Вся эта процедура была обставлена самыми тщательными мерами предосторожности, которые действительно оказались не лишними в виду настойчивого требования фотографических снимков и другого рода изображений машины. Очевидно, мистер Беттеридж твердо решил никому зря не выдавать ни одной йоты своей тайны. Показал всем, на что способна его машина, а что касается подробностей, то он находил, что публике нет до них никакого дела. Он просто ставил британскому народу вопрос: «Хочет этот народ заплатить за его тайну, сколько он требует, или нет?» Будучи, как он постоянно объявлял, «империалистическим» англичанином, он желал видеть свое изобретение монополией своего отечества, но...

В этом-то вот «но» и стояла, как говорится, вся загвоздка.

Мистер Беттеридж был человек, совершенно свободный от ложной... точнее — от всякой скромности. Он всегда готов был принимать репортеров, интервьюеров и другого рода охотников за новостями: охотно давая ответы на какие угодно вопросы, за исключением воздухоплавательных, высказывал обо всем свои «особые» мнения, щедро снабжал желающих фотографическими или иными снимками с своей особы и автобиографическими сведениями, — словом, ничего не имел против того, чтобы вся подлунная была полна одним им. Портреты его, без которых не обходилась ни одна витрина какой-либо подходящей торговли, не говоря уж о разного рода изданиях, всегда показывали свирепо-заносчивое лицо с ог-

ромными усами. У всех видевших только эти портреты, а не его самого, сложилось убеждение, что Беттеридж должен быть маленького роста; почему-то предполагалось, что человек высокого роста не может обладать лицом с таким неприятным выражением. Между тем знаменитый аэронавт был шести футов и двух дюймов ростом и обладал соответствующим весом.

Теперь перейдем к самой «загвоздке». У мистера Беттериджа была очень странная и своеобразная любовная история, и английский народ, в большинстве все еще остававшийся очень нравственным, с отвращением и ужасом узнал, что в число требований великого изобретателя, предъявляемых им к желающим приобрести секрет его машины, входит и условие отнестись со всевозможным сочувствием и почтением к предмету его страсти. Впрочем, подробности этой «истории» никогда не были выяснены вполне. Кажется, «любовь» Беттериджа была замужем за — употребляю собственное образное выражение великого изобретателя — «трусливым вонючкой», и этот зоологический феномен всячески мешал ее благополучию. Мистер Беттеридж с особенным жаром рассказывал о своей связи и всеми силами старался осветить «величие характера» любимой особы, обреченной на «неслыханные нравственные страдания». Это было большим неудобством для печати, привыкшей держаться в строгих рамках приличия, и, хотя не избегавшей касаться личных дел известных людей, но отнюдь не допускавшей чего-либо чересчур уж личного. Интервьюеры чувствовали себя очень неловко, видя, с каким усердием мистер Беттеридж обнажает перед ним свое слишком широкое сердце и вообще подвергает себя вивисекции, воображая, что это его долг, как знаменитости.

— В моей любви к этой выдающейся женщине — вся моя слава, — говорил он смущенно ерзавшему перед ним на стуле интервьюеру, и при этом с силой ударял кулаком по чему попало, даже по собственному колену или по груди, если поблизости не было удобного для этой операции другого предмета.

И он пускался в такие интимные тонкости своей любовной истории, что у его собеседника волосы поднимались дыбом, тем более, что новоиспеченная знаменитость непременно настаивала, чтобы каждое его слово было занесено в записную книжку и затем появилось в печати.

— Позвольте, ведь это такие деликатные отношения... — начинал, было, интервьюер, но мистер Беттеридж горячо прерывал его.

— Вот именно потому, что они деликатны, их и не следует скрывать от общества! — кричал он. — Стеснение личной свободы и чувства человека — величайшая несправедливость, и я, во имя попранных прав любимой женщины, готов воевать не только с каким-нибудь животным, имеющим на нее какие угодно права, но и с целым миром. Понимаете, сэръ, Альфред Беттеридж, готов защищать эту благородную, никем непонятую, страдающую женщину против всех громов земных и небесных!.. Я люблю Англию, очень люблю, но ненавижу ее пуританизм... ненавижу и презираю!.. Он вызывает во мне невыразимое отвращение. Так и запишите, сэръ.

Он проверял записи интервьюеров, и если находил, что они слишком много выпустили из его эротических откровений, то собственноручно, грубым, мажущим почерком и с ужасающе безграмотностью, вписывал туда еще больше, чем было им сообщено.

Весь британский газетный и журнальный мир был как на иголках. Никогда



еще не приходилось ему развешивать перед публикой более назойливой и неприглядной любовной истории; никогда еще общество не отвергивалось с таким отвращением от подобной истории, не представлявшей ничего симпатичного. Тайна же изобретения мистера Беттериджа приковывала общее внимание. Но как только кто касался именно этой тайны, мистер Беттеридж с удивительной настойчивостью избегал всякого разговора о ней, и когда собеседнику удавалось отвлечь его от любовной темы, то он начинал, со слезами в голосе, распространяться о своей матери и о своем детстве, главное о матери, целый ряд самых трогательных качеств которой увенчивался в его глазах тем, что она была шотландкой.

— Положим, — добавил он, — в ее жилах текла примесь и другой крови, но родилась она в Шотландии, и ее сердце всегда стремилось к этой стране... Я своей матери обязан всем... всем, понимаете ли? Спросите каждого человека, чем-нибудь отличавшегося, и он вам скажет, что если из него вышло что-нибудь путное, то он обязан этим исключительно своей матери... Вообще все, что мы имеем хорошего, получается нами, благодаря женщине... Да, сэр, женщина — это истинная суть всего; мужчина же не что иное, как преходящее явление, если женщина не сумела или ей не удалось вложить в него часть своей души. Женщина, сэр, всюду ведет мужчину, и куда она его поведет, туда он и пойдет. Меня она повела вверх, и вот я наверху.

Много в таком духе говорил он, подкрепляя свои слова самыми энергичными жестами. Но никто не мог понять, сколько он желает получить за секрет своего изобретения от правительства, кроме уже известного требования к обществу насчет его «любви». Вообще он представлялся человеком не столько корыстолюбивым, сколько жадным к самой

широкой известности. О нем циркулировало множество слухов. Между прочим, передавалось из уст в уста, что он был собственником большой гостиницы в Капштадте и присвоил себе все планы и бумаги одного молодого, очень скромного и робкого, совершенно безродного изобретателя, по имени Пализер, умершего там от чахотки. Об этом даже открыто писалось в американской печати, но английская, разумеется, этого слуха не распространяла. В действительности же о нем ничего определенного не было известно.

В скором времени он поразил публику тем, что со свойственным ему упорством стал домогаться сразу всех денежных премий, назначенных за успехи в аэронавтике. В большинстве эти премии предлагались издателями газет и журналов. Некоторые заплатили ему по первому требованию, о чем и трубили по всему миру; другие же под разными предлогами хотели увильнуть от платежа, и с ними Беттеридж вступил в ожесточенный спор, довели дело даже до суда. Вместе с тем он всячески агитировал, чтобы убедить правительство в необходимости приобрести его секрет. Но правительство почему-то вдруг прервало все переговоры с ним. Тогда подняла тревогу печать. Первой завопила по этому поводу «Лондонская Кумушка», поместив у себя большую статью под заманчивым заглавием: «Мистер Беттеридж высказывается». Это было новое интервью, где знаменитый изобретатель — если только он действительно был изобретателем — излил свою душу до самого дна.

— Я явился сюда с другого конца света, — говорил он, как бы подтверждая капштадтский слух о себе, — чтобы принести своей родине в дар тайну, которая обеспечила бы за нею мировое владычество. А какую я получил за это благодарность? — Он сделал передышку, свире-

по вращая своими черными, неприятно острыми глазами. — Кучка старых мандаринов морщится при виде меня, точно я какая-то гадина... А с женщиной, которую я люблю, обращаются, как с зачумленной... Я — империалистический англичанин, — продолжал он с особенным напряжением в голосе, размахивая сжатыми кулаками. — Но и моему терпению есть границы, и я не забываю, что существуют еще молодые, полные жизни государства... живые и деятельные народы; они не страдают вялостью старческого ожирения и отупения, не дремлют в беспомощной лени на мягких подстилках разных формальностей... Эти народы не оттолкнут от себя возможности господствовать над миром... не оттолкнут ради только того, чтобы обидеть человека, ничего дурного им не сделавшего, и оскорбить благородную женщину, которой они недостойны развязать ремня на обуви... Есть народы, не закрывающие глаз на великое значение науки, не впавшие еще в сухой, бесплодный педантизм и безмозглое декадентство... Словом, — прошу вас, сэр, подчеркнуть это, — кроме Англии существуют и другие государства...

Речь эта произвела глубокое впечатление на Берта, внимательно прочитавшего ее раза три подряд.

— Знаешь что, Том, — сказал он брату, которому нарочно завез газету с этой статьей, — ведь и в самом деле, если этот секрет попадет немцам или американцам, то нам придется плохо... Наш флаг, которым мы так гордимся, не будет стоить и того коленкора, из которого он сшит.

Том хлопал глазами и красноречиво мычал, а жена его воспользовалась удобным случаем.

— Чтобы тебе сегодня помочь нам, Берт, — сказала она. — Весь Бен-Хилл объедается новым картофелем, и нам столько его заказано, что одному Тому не справиться с доставкой. Ты бы занес кое-кому по корзинке.

— Правда, пишут газеты, что мы живем точно на вулкане, — продолжал свои политические рассуждения Берт, притворяясь глухим к словам Джессики. — Каждую минуту может разразиться война... да еще какая война-то — никогда не бывавшая.

И он с зловещим видом потряс головой.

— Пора начать разноску, Том, — приставала Джессика. — А тебе разве некогда? — решительно обратилась она к Берту.

— Время-то есть, — нехотя ответил молодой человек. — В мастерской тихо, и Греб меня отпустил на два часа. Только опасность страшной войны так меня расстраивает, что...

— Ничего, развлечешься в разноске, — прервала его энергичная невестка, вручая ему довольно объемистую корзину с отборным картофелем и адрес, куда ее доставить.

Под тяжестью ноши патриотическая тревога Берта превратилась в досаду на «грубость» и «бесстыльность» картофеля и на Джессику, отличавшуюся теми же отрицательными качествами, по мнению молодого человека, вкусы которого были утончены в кафе-шантанах средней руки.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Как Берт Смолуэйс попал в затруднительное положение

#### I

Ни Тому, ни даже БERTУ Смолуэйсам и в голову не приходило, чтобы памятное воздушное представление мистера Беттериджа могло так или иначе повлиять на их личную жизнь и выделить их из миллионов сограждан. Полюбовавшись с Бен-Хиллской возвышенности, как исполинская «оса» Беттериджа, крылья которой в лучах заходящего солнца казались сотканными из золотистого тумана, красиво юркнула в широко раскрытые ворота галереи Хрустального дворца, они, по дороге домой, углубились в обсуждение одного дела.

Дело это заключалось в том, что Берт, желавший поддержать Гребя, финансы которого пришли в полное расстройство, благодаря тому, что суд приговорил его к уплате сравнительно большой суммы соседу Штейнбергу, которому он своим неудачным опытом летания нанес большой ущерб, — уговаривал брата помочь ему вступить с Гребом в компанию. Но как ни разрисовывал ему Берт все выгоды и прелести этого коммерческого предприятия, Том не сдавался, и млад-

ший брат в этот день делал на него последний, решительный натиск, ужасаясь про себя его «неразвитости».

Берт был настойчив, упорен и мастер говорить. Видя, что никакие, даже самые витиеватые, рассуждения в «прогрессивном» духе на Тома не действуют, он закинул удочку братской любви, родственной солидарности и тому подобных прекрасных чувств; сердце старшего брата растаяло, результатом чего оказалось несколько фунтов стерлингов в кармане у младшего. С этим капиталом на другой же день и создавалась торговая фирма «Греб и Смолуэйс», бывшая «Греб».

Гребу особенно не повезло в последние годы. Впрочем, его фирма и раньше влачила довольно жалкое существование в маленьком невзрачном помещении, на главной улице Бен-Хилла. Это помещение было наполнено всевозможными велосипедными принадлежностями, объявлениями и пестрыми рекламами, имевшими отношение к колесному спорту, а на окнах и на двери красовались куски картона с следующими заманчивыми надписями: «Здесь дают напрокат вело-

сипеды». «Починка велосипедов и моторов». «Накачивание шин». «Продажа бензина, ацетилена и карбида». Греб брал и на комиссию велосипеды сомнительных фабрик, держал дешевые граммофоны и тому подобные игрушки. Но главным источником его доходов была отдача велосипедов напрокат. Эта операция производилась им очень своеобразно. Все его машины были самого плохого качества, и он снабжал ими только легкомысленных, неопытных, чересчур увлекающихся и доверчивых юнцов. За первый час пользования велосипедом он брал шиллинг, а за каждый последующий — пятьдесят пенсов. Впрочем, эта плата изменялась сообразно обстоятельствам: некоторые особенно настойчивые юноши могли насладиться катанием на колесе и сопряженной с этим опасностью и за двадцать пять пенсов в час. Но это случилось лишь тогда, когда ему были очень нужны деньги. Таким клиентам он привинчивал седло и руль с особенной небрежностью и вдобавок требовал с них обеспечения, которое, в случае повреждения машины, оставлял у себя. А так как его самокаты отличались свойством обнаруживать на ходу массу самых непредвиденных «случайностей», то катастрофы с ними были постоянным правилом. Когда же наниматель, весь красный от возбуждения, возвращался пешком, ведя разбитого стального коня, Греб спокойно, не слушая ни жалоб, ни брани, осматривал машину, затем безапелляционно изрекал:

— Всему виной ваше неумение обращаться с велосипедом. Нельзя же от него требовать, чтобы он носил вас, как нянька на руках. Нужно помнить, что это не разумное существо, а бессмысленная машина, и ею следует управлять своим разумом.

Очень часто дело доходило и до суда; Гребу приходилось расплачиваться за

свое легкомыслие кошельком. Но это его нисколько не обескураживало, и он по-прежнему продолжал надеяться на... Впрочем, он и сам хорошенько не знал, на что именно надеется. У него, как и у Берта, в голове было больше фантазии, чем практической сметки.

Однажды, глядя на бутристую мостовую перед своей торговлей (кстати сказать, нигде, кажется, нет таких неровных улиц, как в английских городах, что и придает им такой живописный вид), Греб вдруг проникся блестящей мыслью.

— Нужно будет завести побольше кур, — сказал он Берту.

— Кур?! — удивился тот. — Зачем? Да с ними страшная возня: прокорм чудовищно дорог, а яиц они либо нанесут, либо нет...

— Ах, дело совсем не в яйцах! — возразил Греб. — Я хочу завести кур для того, чтобы их давили вон эти шаркуны, — и он указал на пролетающий в это время мимо них мотор. — За это можно будет сдирать с них хорошие деньги. Побоятся суда.

Берт понял его мысль.

— Нет, — сказал он, — кур заводить не стоит. А вот, если бы какой-нибудь автомобиль заехал к нам в окно, это было бы очень хорошо. За повреждение зеркального стекла можно потребовать сразу столько, сколько никогда не получишь за целую тысячу перерезанных кур. Рано или поздно это непременно должно случиться, уверяю вас. Непременно нужно вставить зеркальные стекла. А пока вот еще что. Давайте, заведем собак. Если их передавят, это тоже будет недурно.

Зеркальные стекла в окнах торгового дома «Греб и Смолуэйс» были вставлены на средства Берта, выуженные им у брата и внесенные компаньону.

Мысль о собаках Греб тоже одобрил, и Берт приобрел целых трех. Он все ра-



зыскивал слепых и глухих, чем очень удивлял торговцев этими животными.

— Помилуйте, — говорили ему, — таких собак мы не держим: ведь они ни на что негодны. Они слепнут и глохнут только в старости. А на что же нужна старая, слепая и глухая собака?

— А мне вот нужна, и именно старая, слепая и в особенности глухая. Я, знаете ли, торгую граммофонами и всегда держу собаку, потому что люблю этих животных и не могу без них быть. Но как только заведешь граммофон, собака начинает волноваться и выть, а это, знаете, мешает покупателю слушать и портит мне все дело. Вот мне и нужно обязательно глухую.

Ослепшие и оглохшие от дряхлости собаки, однако, нашлись, Берт приобрел их, как мы уже сказали, целую тройку, но его проект потерпел полную неудачу: первая собака на другой же день бесследно пропала; вторая, действительно, попала под автомобиль и была раздавлена насмерть, но быстроходная машина исчезла раньше, чем Берт успел заметить ее владельца, а третья была сильно помята велосипедистом, которого Берт, хотя и задержал, однако тут же принужден был выпустить безо всякого осязательного результата: велосипедист оказался бедным актером без ангажемента, ездившим на чужом самокате, и с него нечего было взять.

Со стеклами тоже не повезло. Правда, одно из них вскоре же было разбито налетевшим мотором, но он унесся бесследно. А так как на новое стекло у компаньонов лишних денег не оказалось, то его пришлось просто-напросто залепить полосками бумаги, что выглядывало не особенно красиво.

Вообще дела фирмы «Греб и Смоуэйс» с каждым днем шли все хуже и хуже. Покупатели, наниматели самокатов и работодатели все убывали, и даже

«прогрессивный» Берт не в состоянии был надолго подпереть собой шатавшуюся фирму.

Крах надвинулся даже скорее, чем ожидали компаньоны.

## II

«Бедное сердце, не знающее никакой радости», говорит английская поговорка. Воспользовавшись тем, что много самокатов было взято напрокат на Троицын день, Берт и Греб решились на этот день закрыть свое заведение и использовать праздник в свое удовольствие. В понедельник можно было с новыми силами продолжать тяжелую борьбу за существование. Недавно судьба столкнула их с двумя молодыми девушками, мисс Флосси Брайт и мисс Эдной Бенторн, служившими в Клепгеме и не отказавшимися познакомиться с молодыми людьми. Берт разыскал этих мисс на местах их службы и уговорился с ними устроить в Троицын день вчетвером пикник где-нибудь за городом, между Эмфордом и Медстоном, а ехать туда — на велосипедах. Впрочем, таково было первоначальное предположение Берта. Когда же он узнал, что только мисс Флосси Брайт умеет ездить на самокате, а мисс Эдна Бенторн, к которой он питал особенную симпатию, этим умением не обладает, то решил прицепить для нее к своему самокату легкую плетеную колясочку, на что девушка с радостью согласилась. Мисс же Брайт, был предложен один из рекламных велосипедов фирмы «Греб и Смоуэйс», более других надежный.

Было всего девять часов утра, когда маленькое общество понеслось за город, в южном направлении, но шоссе уже кишмя кишело празднично разодетым людом, спешившим в зелень, куда всех манила чудная погода. Между множеством велосипедов, моторов, автомобилей и гироскопических двухколесок, бежав-



*Было всего девять часов утра, когда маленькое общество понеслось за город, в южном направлении, но шоссе уже кишмя кишело празднично разодетым людом, спешившим в зелень, куда всех манила чудная погода.*

ших прямо по земле, трехколесок и старых беговых моторов с огромными колесами попадались и конные экипажи, хотя и в очень ограниченном количестве. Вид этого «допотопного» способа передвижения вызывал град веселых насмешек со стороны «прогрессивных» поклонников механических самокатов. Нашелся даже всадник на черной лошади, и его преследовали таким шумным гиканьем, что он должен был свернуть на первую попавшуюся боковую тропинку, оказавшуюся пустой.

Берт был в восторге. Эдна Бенторн, в изящном летнем наряде и новой коричневой шляпе с пучком ярко-красного мака, была очаровательна и сидела в своей колясочке, прицепленной к мотору, в позе принцессы. Мотор, несмотря на свои восемь лет, бежал великолепно. Все будничные заботы были на время забыты. Молодого человека не смущали даже повсюду расклеенные газетные афиши с крупной надписью, указывающей заглавие статей последнего номера:

«Германия выступает против доктрины Монро». «Двусмысленное поведение Японии». «Что предпримет Англия? Будет ли война?».

По будням, в свободные часы после обеда, когда наступало затишье в магазине, Берт еще мог интересоваться вопросами внешней и внутренней политики, но не в праздник и в особенности, когда молодой человек спешил на веселый пикник, имея за собой прекрасную спутницу. Поэтому ни он, да и вообще никто из молодых людей, всей душой отдавшихся праздничному настроению, не обратили внимания и на проявлявшиеся в некоторых местах признаки особенно оживленной военной деятельности. Возле Медстона наткнулись на целый ряд каких-то орудий своеобразной конструкции, выстроенных вдоль дороги и окруженных отрядом озабоченно выглядевших сапе-

ров, наблюдавших в полевые бинокли какое-то земляное укрепление в дюнах. Берт и в этом не увидел ничего особенного и на вопрос Эдны: «Что тут такое делается?» — равнодушно ответил: «Пустяки — маневры. Дело обыкновенное».

— Да? А я думала, что маневры бывают только раз в году, ранней весной, около Пасхи, — заметила мисс Бенторн и заговорила о другом.

День прошел очень весело. Молодые люди были счастливы и довольны. Глаза у всех сияли радостью. Греб острил и потешал свою даму разными комическими выходками. Берт отваживался даже на эпиграммы. Отдаленные сигнальные звуки самокатов, долетавшие с окутанной пыльной мглой дороги в лес, где происходил пикник, напоминали поэтически настроенным девушкам рыцарские романы и волшебные сказки. Все смеялись, болтали всякий веселый вздор, рвали цветы и слегка флиртовали. Девушки со звонким хохотом курили тоненькие папироски, поднесенные им Бертом, забавлялись пусканием сизых колечек дыма. В конце концов устроили настоящую возню с беганьем вперегонки, принимались даже бороться, с соблюдением, впрочем, всех приличий. Во время отдыха после возни говорили и о воздухоплавании и выразили надежду, что лет этак через десять они опять вчетвером соберутся на пикник уже в летательной машине, которую к тому времени изобретет Берт. Вообще этот день представлялся молодежи полным всяких приятных возможностей. Около семи часов вечера, в настроении, еще более радужном, чем утром, отправились в обратный путь, не предчувствуя, что на высоте, между Розгемом и Кингсдауном, их ожидает крайне неприятное приключение.

Наступали уже сумерки, когда молодые люди стали подниматься на высоту. Берт желал проехать как можно дальше,

не зажигая своего фонаря, потому что плохо надеялся на успех этого предприятия: фонарь был с «норовом». Мотор его несли с изумительной добросовестностью, обгоняя множество других самокатов. В одном месте он вихрем промчался мимо захромавшего автомобиля «старого» типа. Рожок Берта запыхтел, отчего издаваемые ими звуки были очень странные: не то мяукала кошка, не то визжал поросенок, не то пищал ребенок. Ради забавы и в порывах шалости, Берт то и дело извлекал из рожка эти звуки, к величайшему удовольствию своей спутницы, хохотавшей до слез при каждом новом тоне, издаваемом рожком.

Маленькая компания катилась бешеной волной неподдельного веселья, вызывавшего со стороны остальной публики на дороге самые разнохарактерные замечания, соответственно темпераменту и настроению каждого отдельного лица. Вдруг Эдна заметила облачко синеватого, зловонного дыма, поднимавшееся между педалями мотора ее спутника, но не придавала этому явлению особого значения; девушка думала, что это явление, хотя и неприятное, но вполне естественное в моторах. Но немного спустя из этого облачка показался небольшой острый желтоватый огненный язычок.

— Берт, у вас в моторе что-то не в порядке! — крикнула она, инстинктивно почуяв опасность.

Молодой человек так быстро затормозил мотор, что Эдна чуть было не вылетела из коляски.

— Ах, черт возьми! — пробурчал он сквозь зубы, соскочив с велосипеда и взглянув на резервуар с бензином.

В течение нескольких зловещих секунд Берт тупо смотрел, как бензин вытекал по каплям из своего помещения, а огонь, с веселым треском, все возрастал и распространялся по мотору. Первой мыслью молодого человека была та, что

он напрасно не продал, года два тому назад, этот велосипед, за который ему тогда давали хорошую цену. К сожалению, это позднее раскаяние не могло в данном случае принести никакой пользы. Точно сознавая это, молодой человек крикнул отбежавшей в сторону Эдне, чтобы она поискала мокрого песка, а сам свел машину с дороги, опрокинул ее на земле и, в свою очередь, принялся искать песок. Между тем огонь не замедлил воспользоваться данной ему возможностью продолжать свое разрушительное дело и разгорался все ярче и ярче, по мере того, как темнота вокруг все больше и больше сгущалась. Дорога пролежала по твердой, как камень, меловой почве и песку на ней было мало даже сухого.

Эдна обратилась к маленькому, толстенькому велосипедисту, поравнявшемуся с нею.

— Наш мотор загорелся! — крикнула она. — Нам нужен мокрый песок. Ради Бога, помогите нам поискать.

Толстяк машинально остановил своего стального коня, слез с него и несколько времени соображал, что именно от него требуется. Наконец он понял и, испустив сочувственное восклицание, усердно принялся рыться в дорожной пыли. Берт и Эдна последовали его доброму примеру. Через несколько минут на месте происшествия сгруппировалась целая толпа других катающихся. Все останавливались и глазели. Освещенные огнем лица выражали любопытство, злорадовство и удовольствие, доставляемое бесплатным зрелищем.

— Мокрого песка нужно! Мокрого песка! — сопел толстяк, усердно копаясь в сухой пыли и собирая ее целыми горстями.

Ему стал помогать другой. Собираемая в поте лица меловая пыль бросалась в огонь, который с пылкой восторженностью принимал эту новую пищу.



Но вот, наконец, прибыл и отставший с своей спутницей Греб.

Соскочив с велосипеда и прислонив его к ближайшей изгороди, он сразу овладел положением и стал проявлять изумительное присутствие духа, и не менее изумительную деятельность.

— Только воды не лейте, господа! Слышите? — кричал он, продираясь вперед к горевшему мотору.

— Воды не лейте! Воды не лейте! — как попугаи повторяли за ним другие, хотя ее ни у кого не было.

— Как это никто не догадается заглушить огонь! — продолжал Греб и тут же, подавая пример, выхватил из коляски шерстяное одеяло, принадлежавшее Берту, и принялся колотить этим одеялом по пылавшему мотору.

Несмотря на то, что при таком способе тушения огненные брызги дождем рассыпались по дороге, угрожая зажечь все, на что попадали, этому способу стали подражать. Берт схватил подушку, лежавшую в той же коляске, и также начал хлопать ею по огню. Двое других схватили вторую подушку и большую пикниковую скатерть и, в свою очередь, пустили их в ход для борьбы с огнем. Один молодой герой даже снял с себя куртку и с ее помощью принял участие в борьбе с коварной стихией. Несколько времени почти не было слышно говора. Раздавалось одно тяжелое дыхание и усердное хлопанье. Только одна Флосси отчаянно рыдала и вопила: «Горим!.. Помогите!..»

Припелелся и хромавший автомобиль с несколькими пассажирами и тоже остановился. Управлявший им рослый пожилой господин в очках, с обликом ученого, спросил, как-то особенно резко выговаривая слова:

— Не можем ли и мы помочь?

Одеяло, подушки, скатерть и куртка, воевавшие с огнем, все гуще и гуще покрывались огненными языками горяще-

го бензина. Подушка, которой манипулировал Берт, испускала из себя душу: кружившиеся по воздуху облака мелких перьев и пуха давали иллюзию снежной метели. Берт был весь в поту и пыли. Усердию его, казалось, не было границ.

Когда у него в руках осталась одна пустая тлеющая оболочка бывшей подушки, он заскрежетал зубами: ему представлялось, что он лишился оружия как раз в решительный момент победы. Огонь злобно извивался по земле, подобно издыхающей змее. При каждом новом ударе пламя судорожно вспыхивало, точно в муках предсмертной агонии. Греб оттащил загоревшееся одеяло в сторону и топтал его ногами. Остальные тоже отступали. Тот, у которого была в руках вторая подушка, бросил ее куда попало и возвратился к своему автомобилю.

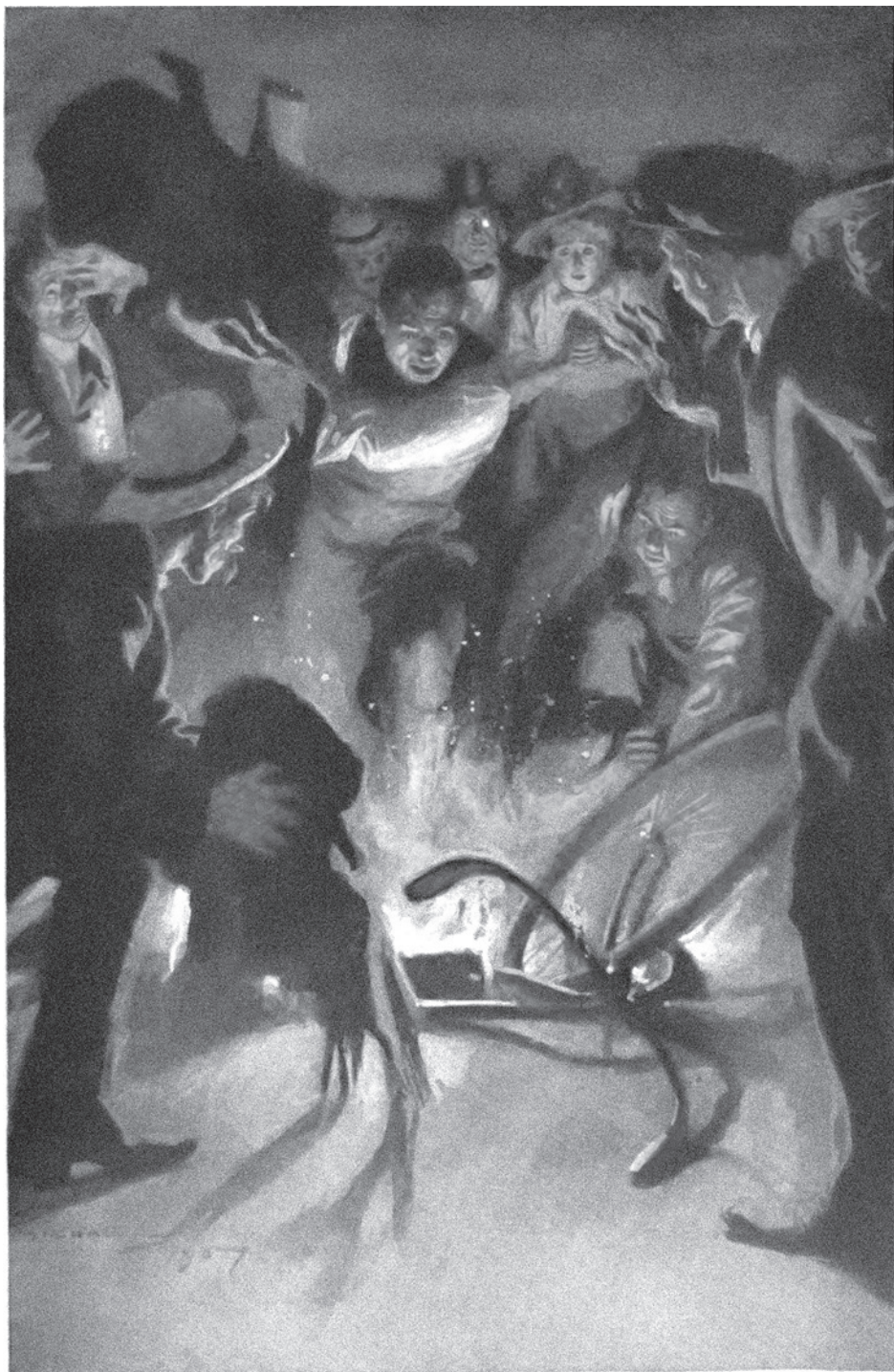
— Да что ж это такое?! — кричал Берт. — Еще немного и огонь был бы потушен, а тут все бросают дело и улепетывают!

Он со злостью отшвырнул от себя быстро тлевшую тряпку, сорвал с себя куртку и, с диким выкриком прыгнув прямо в огонь, стал проделывать в нем нечто вроде пляски австралийских огнепоклонников, яростно размахивая курткой. Пламя жадно лизало его сапоги, выказывая явное намерение пробраться выше.

Эдне казалось, что она видит в этом озаренном красным огнем юноше настоящего героя древних легенд, и ее сердце переполнилось благоговейной нежностью к нему.

Вдруг одному из зрителей попала в лицо раскаленная медная монета, выскочившая из кармана куртки, которой продолжал размахивать Берт. Услышав болезненное восклицание зрителя, молодой человек вспомнил, что в карманах его куртки были и бумажные деньги. Желая их спасти, если было еще воз-





*Он со злостью отшвырнул от себя быстро тлеющую тряпку и, с диким выкриком прыгнув прямо в огонь, стал проделывать в нем нечто вроде пляски австралийских огнепоклонников.*

можно, он поспешил выбраться из огня и принялся тушить пылавшую куртку. Он чувствовал себя побежденным, разбитым, униженным и совершенно обескураженным.

Эдне бросилась в глаза благожелательная наружность одного зрителя средних лет, в цилиндре и приличной одежде.

— Как можете вы так равнодушно смотреть на чужое несчастье, не пытаясь ничем помочь? — укоризненно обратилась она к нему. — Помогите же этому бедному молодому человеку, если у вас не каменное сердце!

— Хорошо бы кожаный фартук! — крикнул кто-то.

Рядом с автомобилем вдруг вынырнул из темноты очень серьезного вида джентльмен, в светло-сером велосипедном костюме, и спросил господина в очках, нет ли у него кожаного фартука.

— Есть, — ответил очконосец.

— Так давайте его скорее! — повелительно сказал светло-серый.

Очконосец покорно, хотя и вяло, точно в состоянии гипнотизма, достал из внутренности своего самоката большой кожаный фартук, который тотчас же был подхвачен светло-серым и переброшен Гребу, предупрежденному соответствующим восклицанием.

Все поняли, что дело идет о новом методе тушения. Целый десяток рук ухватилось за кожаный фартук и, разостлав его балдахином над огнем, сразу опустили и крепко прижали к земле. Зрители одобрительно гудели.

— Вот это следовало бы сделать в самом начале! — хрипел Греб, изо всех сил нажимая руками и ногами на фартук.

Наступил момент торжества. Огненные языки исчезли. Кто только мог, нажимал руками и ногами на кожу. Берт усердствовал больше всех.

Раздувшись посередине, фартук словно подавлял торжествующую улыбку.

Но вдруг его самосознание прорвалось; улыбка сделалась ярко-сияющей.

Казалось, в самой его середине действительно раскрывается пылающий красный рот. Струи ликующего пламенного смеха отразились в очках ученого. Публика инстинктивно отхлынула назад.

— Спасайте коляску! — послышался чей-то звонкий голос.

Бросились отцеплять коляску, но спасти ее не удалось: легкое соломенное плетение успело уже загореться. Кверху взвилась яркая вспышка, и скоро от верха коляски не осталось и следа.

Среди публики вдруг водворилась полная тишина. Все молча смотрели, как догорал на земле бензин. Фартук пылал и коробился. Толпа вновь загудела. Центр ее составляли главные действующие лица. Простые зрители расположились полукругом и обменивались критическими замечаниями. Какой-то молодой человек, обладавший, очевидно, небольшими техническими познаниями и большой самоуверенностью, назойливо старался доказать Берту, что «вся эта история вовсе не должна бы случиться, если бы»... Но Берт не дослушал и огрызнулся на него.

Обиженный «техник» пробрался в задний ряд к благожелательному на вид джентльмену в цилиндре и принялся внушать ему убеждение, что у людей, не умеющих обращаться с моторами, всегда возможны подобные катастрофы.

Джентльмен в цилиндре терпеливо выслушал его, потом с обязательной улыбкой ответил:

— Извините, я немного... туг на ухо. Да, вы правы, погода сегодня восхитительная.

Окончательно обескураженный «техник», потерпев и тут неудачу, поспешил покинуть и благожелательного джентльмена.

В толпе вертелся еще один молодой человек, розоволицый, красивый, в широкополой соломенной шляпе. — Я спас переднее колесо! — говорил он, захлебываясь от радости. — Шина тоже загорелась бы, если бы я все время не вертел колесо.

Действительно, переднее колесо осталось невредимо и, по инерции, продолжало медленно вращаться среди покоробленных и почерневших других частей злополучной машины Берта.

— Колесо стоит, по меньшей мере, двадцать шиллингов, — продолжал розоволицый молодой человек и самодовольно прибавил, обращаясь к Берту: — Без моей помощи оно тоже сгорело бы... Я все время вертел его, вот и...

— Ах, убирайтесь вы к черту! — обрезал его Берт.

Розоволицый юноша еще больше покраснел и со смущенным видом отошел к галдевшей толпе.

Между тем к месту катастрофы прибывали все новые и новые любопытные и с одним и тем же вопросом: «что такое здесь случилось?» Обращались преимущественно к Берту, ближе всех стоявшему около своей погибшей машины. Молодой человек свирепо огрызался и вообще имел такой вид, точно готов был съесть всю публику.

Но вот мало-помалу число зрителей стало редеть. Осталось только несколько самых любопытных, или тех, которым некуда было спешить. В числе их оказалась и собственник автомобиля.

— Кажется, мой фартук порядочно пострадал? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

Берт с злобной иронией крикнул ему в ответ:

— Вам это только кажется? Успокойтесь, ваш фартук не лучше моей машины!

— Разве? — протянул очконосец и тут же добродушно прибавил: — Не могу ли я быть еще чем-нибудь полезен?

— Нет, — резко проговорил Греб, но, взглянув на стоявшую рядом с собой Эдну, добавил более мягким, даже просящим тоном: — Если уж хотите оказать еще услугу, то не захватите ли с собой вот эту даму? Ей нужно в Клепгэм. Не по пути ли это вам?

— С удовольствием, — проговорил владелец автомобиля. — Крюк небольшой, а я все равно уже опоздал к обеду. Садитесь, пожалуйста, — предложил он девушке.

Эдна поблагодарила и, обернувшись к Берту, спросила:

— А вы, Берт, разве не поедете?

— К сожалению, я не могу никого взять еще — не хватит места, — сказал очконосец, помогая девушке взобраться на машину.

— Не беспокойтесь обо мне, Эдна, — ответил молодой человек. — Я еще посмотрю, что осталось от моего несчастного мотора, а потом как-нибудь доберусь до города. До свидания. Желаю вам счастливого пути.

Девушка, уже сидя на автомобиле, еще раз бросила взгляд на молодого человека, и сердце ее сжалось от жалости. Каким героем казался он ей недавно и каким жалким представился теперь, без куртки, грязным, закопченным и в самой унылой позе, перед остатками своего мотора.

Эдна поспешно смахнула наворачнувшиеся на глаза слезинки и, желая ободрить убитого несчастным приключением молодого человека, крикнула ему веселым тоном:

— Ну, до приятного свидания, Берт!.. До завтра.

— До завтра! — машинально повторил молодой человек, не предчувствуя, что ему не скоро суждено вновь увидеть свою «симпатию».

Когда автомобиль скрылся во мраке надвигавшейся ночи, Берт с помощью



спичек и свечного огарка, данных ему одним из зрителей, принялся отыскивать золотую монету, вывалившуюся из прожженного кармана его куртки, но не мог найти ее. Лицо молодого «прогрессиста» было бледно и грустно.

— Ах, какое ужасное несчастье! — говорила спутница Гребя, усаживаясь вслед за ним на свой велосипед. — Не унывайте только, Берт... Сделанного не поправишь унынием. До свидания! — добавила она и укатила вместе со своим провожатым.

Берт остался почти один. До этой минуты он все еще утешал себя надеждой, что отыщет хоть золотую монету, последнее свое достояние, наймет в соседнем селении какую-нибудь повозку и свезет на ней печальные остатки своего самоката в мастерскую, где понемногу восстановит его. Но теперь и эта надежда улетучилась вместе с монетой. Бумажные деньги сгорели, и он остался буквально без гроша.

Берт схватил покрытый копотью, но успевший уже остыть руль и сделал попытку поднять остов машины. Заднее колесо, лишенное шины, было сильно попорчено; вести мотор было очень затруднительно, а нести — не по силам. С минуту он простоял неподвижно, с выражением полного отчаяния на лице и во взоре. Потом вдруг встрепенулся, поднатужился, поднял искалеченный велосипед и с силой швырнул его в ближайшую канаву. После этого, бросив последний злобный взгляд на злополучную машину, он с решительным видом зашагал по направлению к городу.

— Ну, с этим удовольствием пока покончено! — пробормотал он дорогой сквозь крепко стиснутые зубы. — Годика два-три придется поработать, пока удастся завести новый мотор... Ах, какой я был осел, когда не продал его тому дураку покупателю, который давал за него

такую хорошую цену!.. Ведь на те деньги я мог бы приобрести себе другой, более надежный...

С такими грустными мыслями он добрался до дому и, совершенно разбитый телесно и душевно, повалился не раздеваясь на постель.

### III

Следующее утро застало учредителей фирмы «Греб и Смолуэйс» в состоянии полной угнетенности. Ни одного из компаньонов не могли заинтересовать огромные афиши, красовавшиеся в окнах табачной и газетной торговли, находившейся напротив; между тем эти афиши сообщали следующие сенсационные новости:

«Опубликование американского ультиматума. — Англия вынуждается на войну. — Наше ослепленное военное министерство все еще упорно отказывается войти в соглашение с мистером Беттериджем. — Грандиозная железнодорожная катастрофа в Тимбукту».

«Война — вопрос лишь нескольких часов. — В Нью-Йорке пока спокойно. — Берлин в тревоге».

«Вашингтон все еще молчит. — Что предпримет Париж? — На бирже паника. — Мистер Беттеридж вносит новое предложение. — Отчет о последнем состязании в Тегеране».

«Решится ли Америка на войну? — Антигерманское возмущение в Багдаде. — Скандал в дамаском муниципалитете. — Мистер Беттеридж предлагает свое изобретение Америке».

Афиши эти появлялись одна за другой, по мере получения телеграфных и телефонных сообщений.

С глубоко задумчивым видом стоял перед окном в своем магазине Берт и, хотя смотрел на видневшиеся напротив афиши, но, очевидно, не замечал их. Вид молодого человека был очень нека-

зист. Закопченный и перепачканный жилет, одетый поверх грязной фланелевой рубашки, разорванные в нескольких местах и, тоже запачканные панталоны и полу прожженные сапоги делали молодого «прогрессиста» похожим на кузнеца в рабочей одежде. Магазин выглядел также очень мрачно и безотрадно, а стоявшие около стен на подставках убогие самокаты, казалось, смотрели на Берта с какой-то особенно злой насмешкой.

Греб тоже находился в магазине. Костюм его был гораздо приличнее, но сам он имел такой же невеселый вид, как и его товарищ.

Берт с ужасом думал о тех бурных сценах, которые ожидали их, когда вернутся наемщики велосипедов; думал о домохозяине, которому скоро нужно будет вносить плату за помещение, а денег не было; думал и о многих других неприятностях. В первый еще раз жизнь представилась ему безнадежной борьбой со злой судьбой.

— Знаешь что, дружище, — вдруг обратился он к Гребу, с которым давно уже был на «ты», — мне страшно надоела вся эта наша... несладуха.

— Мне тоже, — мрачно ответил Греб.

— Так опротивела, — продолжал Берт, — что хоть бросай все и беги, куда глаза глядят. Сколько нам предстоит разных платежей и других неприятностей, — страшно даже делается...

— Да, и, кроме того, придется еще платить за коляску, которую ты сжег вместе с мотором, — не без схиства подхватил Греб.

— Это уж одно к одному. Черт с ней, с этой несчастной коляской! — со злостью воскликнул Берт. — Нам все равно нечем платить долгов, не заплатим и за коляску... Да, Греб, в самом деле, я сейчас окончательно решил, что здесь, в этом старом гнезде, мы ничего путного не до-

бьемся... Дела с каждым днем все хуже и хуже, а денег уходит пропасть... Потом эта вечная канитель с покупателями, нанимателями и давальцами, черт бы их всех побрал!

— Ну, а что же нам предпринять, потвоему? — полюбопытствовал Греб.

— По-моему, распродать все, что находится в этой противной лавчонке, потом бросить ее и заняться чем-нибудь другим, если и не особенно... складным, зато более выгодным. Нам давно пора бы сделать это. Нет никакого смысла цепляться за корабль, который тонет. Целый капитал просадили на эту глупую...

— Ну, твой-то капитал был не особенно велик, — перебил Греб пренебрежительным тоном.

— Какой бы он ни был, а ухнул. Так не ждать же, пока мы и сами ухнем в какое-нибудь... теплое местечко за неплатеж долгов или за что-либо еще. Вот почему я и говорю, что необходимо утекать отсюда, пока еще есть возможность... Впрочем, если тебе так нравится здесь, то оставайся себе на здоровье. Что же касается меня, то я бесповоротно решил...

— Бросить меня одного! Хорош друг!

— Что ж делать, когда ты не желаешь расстаться с этой подлой лавчонкой и своим глупым делом?

Греб обвел глазами свой магазин и глубоко вздохнул. Когда-то это небольшое помещение отличалось сравнительной чистотой, новыми предметами торговли, свежим почином и надеждой, даже уверенностью в успехе, а теперь — увы! — все это поблекло и исчезло... Да, Берт прав: кроме неприятностей, теперь уж нечего ожидать. Помимо разных кредиторов и жалобщиков, того и гляди заявится сам домовладелец, этот неотесанный толстосум-свиноторговец, не знающий и счета деньгам, и начнет приставать, почему не вставлено но-



вое стекло в окне и кстати напомнит о наступающем сроке платежа за помещение. А там еще пропасть разных неприятностей... Да, Берт прав: действительно нужно скорее избавиться от всего этого и приняться за что-либо другое.

— Что же ты намерен предпринять, Берт, когда покинешь меня? — спросил он товарища.

— Я уже придумал кое-что, — произнес тот с торжествующим видом. — Я не спал почти всю эту ночь, и мне пришла в голову одна мысль...

— Какая же, Берт? — с живостью спросил заинтересованный компаньон.

— А вот какая... Впрочем, если ты остаешься здесь, то я лучше оставляю эту мысль при себе и постараюсь привести ее в исполнение один.

— А если я найду твою мысль недурной и сам последую за тобой?

— Ну, тогда я скажу... Но, пожалуй, ты не согласишься?

— А ты говори толком. Может быть, и соглашусь.

— Ну, вот, видишь в чем дело. Ты так хорошо смешил вчера наших спутниц своими комическими куплетами...

— Но какое же это имеет отношение...

— Погоди! А я заставил их чуть не реветь своими жалобными элегиями...

— Помню и это, но все-таки не могу понять, что все это имеет общего с твоей мыслью?

— А вот именно на этом-то она и основана.

— На этом?!

— Ну, да! Неужели ты все еще не понимаешь, Греб?

— Не понимаю... Впрочем, погоди, уж не хочешь ли ты завести шарманку и таскаться по дворам? — спросил Греб и громко расхохотался.

— Вовсе нет! — с неудовольствием проговорил Берт. — Мы почище оде-

немся и будем ездить по каким-нибудь курортам, в роде, например, морских купаний, в качестве... ну хоть артистов-любителей хорошего тона. У тебя очень порядочный голос, да и мой, говорят, недурен. Ты будешь распевать свои веселые куплеты, а я — слезливые элегии... Станем устраивать концерты, тем более, что я умею даже немного брэнчать на цитре, да и ты, кажется, играешь на чем-то... Программу составим поинтереснее. Посмотри, какой у нас будет успех. Твои слушатели будут лопаться от смеха, а мои — изливаться в слезах. Идет, что ли, дружище, а?

Греб еще раз окинул тоскливым взором свой неказистый, угрюмый магазин, и ему снова представилась, во всей своей неприглядности, перспектива ожидающих их неприятностей. Вместе с тем вдруг ему показалось, что издали доносится мелодичная музыка и слышится нежный голос плывущей к берегу морской сирены. Греб как бы чувствовал ласковые лучи солнца на белом морском песке, видел целые массы купальщиков и слышал их восторженный шепот: «Это настоящие артисты. Нужно их поддерживать». Слышал даже приятный звон серебряных и золотых монет, которыми осыпают его и Берта признательные слушатели. Весь этот сбор будет чистым доходом без всяких хлопот, забот и неприятностей.

— Берт, и я с тобой! — воскликнул он, с трудом оторвавшись от представившейся ему радужной перспективы.

— Ну, вот, и отлично! — весело проговорил его товарищ. — Только смотри, Греб, не откладывай дела в долгий ящик. Чем скорее мы выберемся из этой трущобы, тем будет лучше.

— Ну, конечно, засиживаться здесь теперь не будем... И знаешь что, Берт, мы ведь не останемся без гроша, если поумнее поведем дело. Захватим с собой те из

велосипедов, которые еще сносны, и где-нибудь продадим их. Кое-что за них все-таки получим, если даже спустим их и по дешевой цене... Только нужно будет вывести их отсюда пораньше утром, когда все еще спят, чтобы никто по возможности не заметил.

— Да, да, это будет отлично, Греб... Вот обозлится-то этот старый свинятник, наш хозяин, когда явится сюда ругаться из-за окна и вместо нас вдруг найдет на двери билетик с надписью: «Магазин заперт по случаю ремонта». Ха, ха, ха...

— Да, это будет очень забавно, Берт! — с веселым смехом вскричал Греб. — Непременно сделаем так. Кроме того, наклеим на самом видном месте еще одно объявление о том, чтобы публика за справками по делам фирмы «Греб и Смолуэйс» обращалась к тому же свинятнику... Вот будет потеха-то, понимаешь?

Оба компаньона разразились дружным хохотом и принялись обсуждать ликвидацию прежней своей деятельности и начало новой. К вечеру этот план был разработан во всех подробностях. Сначала товарищи решили было назвать себя «Голубыми мистерами О.», в подражание группе известных гимнастов, именовавшейся «Красными мистерами Е.». Берт во что бы то ни стало, желал иметь светло-голубого цвета тужурку, обшитую золотым позументом. Греб также не прочь был нарядиться в нее. Но при дальнейшем обсуждении эту затею пришлось оставить: она была не по карману да, кроме того, пришлось бы слишком долго ждать, пока будут изготовлены тужурки. Решили выбрать костюмы подешевле и лучше всего готовые.

Остановившись на этом решении, они в дополнение к обыкновенному костюму придумали нечто более оригинальное и даже практичное для предо-

хранения его от солнца, дождя и пыли: одеть поверх всего подобие мешка из простой, небеленой ткани, с отверстиями для головы и рук, голову обернуть полотенцем, а ноги обуть в сандалии и, в довершение всего этого, прилепить бороды из пакли. В таком преображенном виде назвать себя «дервишами пустыни». Главными номерами их музыкально-вокальной программы будут две уличных песенки: «Тандем» и «Что стоит головная шпилька». Начать свое артистическое турне они предполагали с небольших побережных местечек, где бывают купальщики средней руки, а затем, по мере успехов, перейти и к более значительным морским курортам.

Занятые своими личными делами, будущие артисты не обращали никакого внимания на то, что делалось в мире, половина которого готовилась к небывалому кровопролитию. После полудня в окнах табачного торговца появилась новая афиша с грозными словами: «Военные тучи скапливаются».

Берт заметил только эту афишу и, пожав плечами, пренебрежительно проговорил:

— Пусть их пустобрешничают, а мы займемся своими делами.

#### IV

Тишина Даймчерчского побережья вдруг была поражена необычным явлением. Даймчерч был одним из тех немногих английских берегов, до которого только что начал достигать рельсовый путь, и его обширное побережье ко дню нашего повествования все еще оставалось тихим и приятным местечком для непритязательных посетителей. Сюда забирались только те, которые избегали шума и дорогих модных морских курортов, чтобы в тишине и спокойствии отдохнуть, покупаться, погулять и поболтать друг с другом. Поэтому «дервиши

пустыни» появились здесь совсем нескладно.

Белые фигуры на ярко-красных велосипедах внезапно вынырнули из бесконечной дали побережья со стороны Литлстона и налетели с раздражающими уши ревом автомобильных рожков, дикими криками и гиканьем, как настоящие ди-кари.

Возгласы недоумения и испуга про-неслись среди пораженной публики.

Между тем наши «артисты» однов-ременно круто остановили своих сталь-ных коней перед публикой, спрыгнули на землю, стали рядом и громогласно про-возгласили:

— Многоуважаемые леди и досточ-тимые джентльмены! Честь имеем пред-ставиться: дервиши пустыни.

Затем отвесили во все стороны по низкому поклону.

Немногочисленная публика, разде-ленная на группы, не трогаясь с места, молча смотрела на прибывших с удив-лением, отвращением и некоторым ис-пугом. Только несколько подростков да маленькие ребяташки, движимые любо-пытством, подошли к ним поближе.

— Нигде ни одного полисмента, — шепнул Берт товарищу. — Можно на-чать.

«Дервиши пустыни» с комической суетливостью, доставившей большое удовольствие подросткам и ребяташкам, составили свои самокаты, прислонив их один к другому, потом забрали поболь-ше воздуха в свои легкие и громко за-пели: «Что стоит головная шпилька?», причем Греб был запевалой, а Берт под-хватывал. В конце каждого куплета «ар-тисты», подобрав полы своих мешков, слегка подплясывали.

Пока самозванные «дервиши пусты-ни» давали свое представление, достав-лявшее такое удовольствие ребяташкам и заставлявшее недоумевать взрослых,

что означает появление этих сумасшед-ших, внимание всех было привлечено другим, таким же необычным в этих ме-стах явлением.

## V

Лишь только «артисты», покончив с куплетами о шпильке, сделали небольшую передышку, чтобы затем начать новую пес-ню, вокруг раздались крики: «Шар! Воз-душный шар!» Берт и Греб подняли глаза кверху и увидели быстро приближавший-ся с северо-запада огромный золотисто-коричневый воздушный шар.

— Ну, вот, только этого недостава-ло! — с досадой прошептал Греб. — Еще бы немного — и это дурачье клюнуло бы нашу приманку, а тут этот дурацкий шар... Ну, Берт, я затыну, а ты подхватывай.

«Артисты» снова заголосили. Меж-ду тем шар то опускался, то поднимался и вдруг исчез («Слава богу»! — сказал про себя Греб), но потом опять появился и больше уже не исчезал; напротив, стал опускаться к земле, с каждой секундой увеличиваясь в объеме.

— Черт бы его побрал, — снова про-шептал Греб и, обернувшись к товари-щу, скороговоркой сказал ему вполголо-са: «Жарь во всю, Берт, не жалей горла. Нужно отвлечь этих любопытных дура-ков от шара».

Но сделать этого им не удалось: сре-ди «дураков» вновь раздались крики: «Смотрите, смотрите, что делается с ша-ром!»

«Артисты» перестали петь и тоже невольно взглянули вверх.

— Да, с шаром действительно тво-рится что-то неладное, — заметил Берт.

И в самом деле, шар делал какие-то странные прыжки, в то же время продол-жая медленно приближаться к земле, но почти коснувшись ее, снова вдруг под-нимался футов на 50 вверх. К полному недоумению зрителей, он проделал эти

манипуляции несколько раз. Наконец шар ударился о группу деревьев, и выде- лявшаяся в его корзине черная фигура, тщетно борющаяся с канатами, на мгнове- ние скрылась там, — очевидно упала на дно корзины. Через минуту шар очу- тился совсем близко от того места, где стояли «артисты». Казалось, целый дом скользил сверху вниз. За шаром тащился, касаясь земли, длинный канат. Сидевшая в корзине черная фигура испускала отча- янные крики, которых никто не мог по- нять, но все заметили, что эта фигура как будто раздевается. Вслед за тем из корзи- ны высунулась голова мужчины, и послы- шался ясный крик: «Держите канат!»

— Давай ловить его, Берт! — крик- нул Греб и первый бросился за канатом. Берт последовал примеру товарища, и чуть не сшиб с ног рыбака, также бежав- шего за канатом. Пока эти трое ловили канат, который извивался по земле, точ- но змея, вокруг них собралась целая тол- па. Все принялись охотиться за не да- вавшимся в руки канатом. Берту перво- му удалось наступить на канат ногой, а затем, опустившись на колени, он креп- ко схватил его и обеими руками. Вслед за ним за канат ухватилось еще несколь- ко рук. Все принялись подтягивать к себе шар, который почему-то упорно не же- лал поддаться соединенным усилиям не- скольких человек.

— Тяните сильнее! Как можно силь- нее! — поощрял их громким голосом воздухоплаватель.

Но шар, под напором ветра и по соб- ственному упрямству, продолжал увле- кать вцепившийся в канат живой якорь к морю. Вдруг шар, коснувшись слегка по- верхности воды, отскочил от нее, как от- дергивается рука, коснувшаяся чего-ни- будь горячего.

— Тяните к берегу!.. к берегу! — умолял из корзины воздухоплаватель. — Она в обмороке!

Пока все старались подтащить упор- ный шар к берегу, человек, сидевший в корзине, возился там с чем-то невиди- мым. Берт находился ближе других к шару и сутился больше всех. Усердствуя изо всех сил, он все время спотыкался о шлейф своего маскарадного костюма. До этой минуты молодой искатель приклю- чений не имел ясного представления о действительной величине воздушного шара, потому что видел эти шары только издали. Теперь же, находясь в непосред- ственной близости, он был поражен его грандиозными размерами. Берт с любо- пытством рассматривал как самый шар, так и его принадлежности. Подвешенная к шару корзина, сплетенная из толстой коричневого цвета соломы, была сравни- тельно не велика. Длинный канат, кото- рый теперь волочился по земле и за кото- рый ухватилось несколько десятков рук, был прикреплен к массивному железно- му кольцу, висевшему футов на пять над корзиной. Весь шар покрывала сеть из тонких крепких бечев.

Все это хорошо рассмотрел теперь Берт, пока с помощью своих помощни- ков тянул к себе шар. Последний, хотя и с упорством, но начал подаваться, и ка- ждое новое усилие добровольных тру- жеников приближало упряма все бли- же и ближе к берегу. Между тем из корзи- ны несли, точно рев разъяренного зверя, хриплый голос: «Она в обмороке!.. У нее разрыв сердца!.. Ради Бога, скорее тя- ните!»

Наконец шар повис над землею, а корзина коснулась самой земли. Берт вы- пустил канат, бросился к корзине и схва- тился за нее обеими руками.

— Держите крепче!.. как можно крепче! — хрипел воздухоплаватель, и его лицо очутилось возле лица Берта.

Лицо это, с сердито насуспенны- ми щетинистыми бровями, толстым но- сом и огромными черными усами, пока-





*Все принялись охотиться за не дававшимся в руки канатом (к с. 43).*



залось молодому человеку знакомым, и он старался припомнить, где видел его, но не мог сразу вспомнить. Воздухоплаватель был без сюртука и жилета, — вероятно, он сбросил их, в ожидании, что ему придется спастись на берег вплавь; огромная голова его, с целым лесом черных взлохмаченных волос, не была ничем покрыта.

— Держитесь крепче за корзину!.. как можно крепче, — повторил он более спокойным голосом. — Моя спутница в глубоком обмороке... или, быть может, уж и умерла от разрыва сердца... не могу еще точно определить... Мое имя — Беттеридж... Слышите? — Беттеридж! Я собственник этого шара... Держите же крепче корзину... вот так! Я доверился было этому допотопному сооружению, но, клянусь, что в последний раз!.. Разрывающая веревка за что-то зацепилась, клапан и вентиля перестали действовать. Если мне когда-нибудь попадется тот мошенник, который всучил... Он вдруг перегнулся через край корзины и крикнул повелительным голосом: «Принесите мне коньяку... только хорошего! Живо!»

Кто-то из публики услужливо бросился в ближайший ренсковой<sup>1</sup> погребок за потребованным напитком.

Между тем на дне корзины, в заученной позе, на чем-то мягком и удобном, неподвижно лежала увесистая белокурая дама в меховой ротонде; голова дамы, в большой, украшенной цветами, шляпе, беспомощно опиралась на угол корзины с мягкой обивкой. Глаза дамы были закрыты, рот полуоткрыт, и она старалась дышать как можно неслышнее.

— Дорогая, мы спасены! — крикнул над самым ее ухом Беттеридж.

Дама не шевелилась. Беттеридж повторил свой крик таким голосом, кото-

рый мог бы разбудить мертвого. Дама незаметно вздрогнула, но оставалась безучастной. Беттеридж сжал кулаки и, грозя ими шару, рывкнул так, что всех присутствовавших мороз пробрал по коже:

— Если она умерла, я раздеру на клочья и тебя и самое небо вместе с тобой!.. Ее необходимо удалить отсюда!.. Я не могу допустить, чтобы она умерла в этой дурацкой корзинке, устроенной, очевидно, для котят или щенков, а совсем не для людей!.. Она создана для трона и должна умереть в несчастной кошачьей корзине!.. Есть среди вас сильный человек, который мог бы принять ее от меня с рук на руки? — обратился он к публике, с трудом поднимая со дна корзины и держа на руках неподвижную массивную фигуру. — Но смотрите, чтобы шар не поднялся. Налягте хорошенько на корзину. Дама эта довольно... полная, и как только корзина освободится от нее, то окажется без значительного балласта.

Берт, привыкший легко вскакивать на велосипед, подобрал полы своего балахона и одним ловким взмахом взобрался на край корзины и уселся там, свесив ноги на наружную сторону. Остальные обступили корзину и стали ее придерживать.

— Готово? — спросил Беттеридж и, приподняв повыше находившуюся у него на руках довольно значительную даже для него тяжесть, перекинул одну ногу через край корзины и уселся на нем верхом. — Ну, берите же ее! — снова крикнул он, с огромным трудом удерживая равновесие на своем неудобном сиденье и с такой тяжестью на руках.

Но в этот момент случилось нечто совершенно неожиданное как для самого Беттериджа, так и для всех окружающих.

<sup>1</sup> Магазин, торгующий виноградными винами (от старинного названия всякого виноградного вина — ренское, букв. рейнское).

Дама вдруг проявила признаки жизни. Испустив громкий визг: «Альфред, спаси меня!» она обеими руками обхватила шею Беттериджа.

Берт почувствовал, как заколебалась и подпрыгнула вверх корзина. В то же время он заметил, как изящные меховые сапожки дамы и огромные кожаные сапоги Беттериджа описали в воздухе широкую дугу и куда-то исчезли, а сам он, Берт, очутился на дне корзины, уткнувшись носом во что-то похожее на мешок с песком, причем часть искусственной бороды из пакли оказалась у него во рту. Вскоре последовало еще несколько сильных толчков, затем корзина, по-видимому, остановилась.

— Фу ты, черт! — воскликнул молодой человек, с сердцем выплевывая бороду и стараясь понять, что произошло.

У него было такое ощущение, точно его чем-то ударили по голове и отшиб-

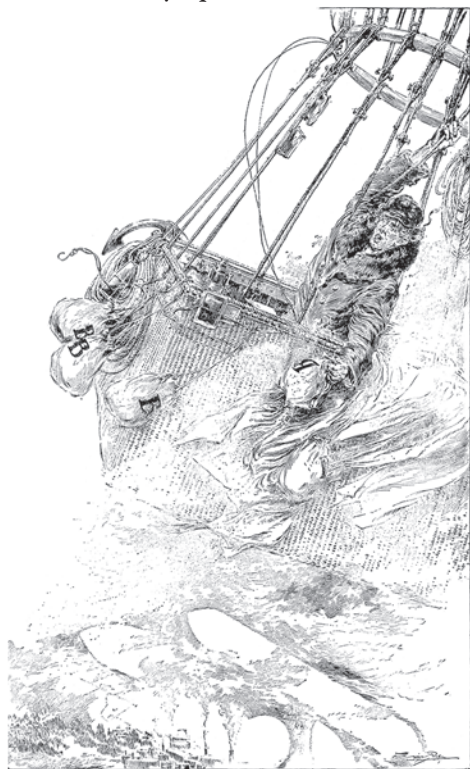
ли часть памяти; в ушах звенело. Вблизи было тихо, а голоса людей доносились как бы издали, делаясь все слабее и слабее. Он поднялся на ноги, схватился руками за канаты, на которых висела корзина, выглянул через ее край и ахнул.

В страшной глубине под ним переливались ярко-синие волны канала. Блестящее белое побережье с беспорядочно разбросанными группами домиков, казавшихся игрушечными, постепенно уменьшаясь и, точно скользя по отвесной плоскости, исчезало из глаз. Кучка людей, от которой он так неожиданно был оторван, казалась кукольной. Его товарищ, подобрав полы своего балахона, метался по берегу, отчаянно размахивая руками по направлению к уносившемуся шару. Беттеридж, стоя зачем-то по колени в воде, тоже размахивал руками и, по-видимому, что-то кричал. Дама его одиноко сидела прямо на песке, держа на коленях свою огромную шляпу. Все больше и больше сбегалось живых кукол; все они размахивали руками и с живейшим интересом следили глазами за шаром, который, освободившись от двойной тяжести Беттериджа и его дамы, со скоростью бегового мотора, поднимался все выше и выше к голубому небу.

— Вот так штука! — вскричал невольный воздухоплаватель, следя глазами за раскинувшейся под ним картиной. — Значит, я лечу?..

Он выпустил из рук веревки, отвернулся от края корзины и принялся осматривать свое новое воздушное помещение. Окинув его поверхностным взглядом и убедившись, что, по-видимому, непосредственной опасности пока не предвидится, он опустился на мягкий тюфяк, разостланный на полу корзины, и стал обдумывать свое положение.

— Вот уж никак не ожидал, что вскоре же попаду так высоко, — проговорил он вслух.





*Вот так штука! — вскричал невольный воздухоплаватель, следя глазами за раскинувшейся под ним картиною. — Значит, я лечу?..*

— Что же мне предпринять теперь? Ведь я ни бельмеса не смыслю в воздушных шарах и совершенно не умею управлять ими; это не мотор... Н-да, положение, если и не очень скверное, то, во всяком случае, чрезвычайно... странное.

И он глубоко задумался. Но, немного спустя, он снова поднялся на ноги, и неподвижным взором стал смотреть на еле видневшийся под ним мир; на белые

утесы, покрытую вереском равнину, темные леса и серые дюны; на окутанные туманной пеленой города с перепутанными лентами улиц; на реки, озера, гавани с бесчисленными судами; на раскидывающееся все шире и шире море; на всю эту пеструю картину земной поверхности, — смотрел до тех пор, пока она, эта картина, не превратилась в одно безразличное серое пятно.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### В воздушном пространстве

#### I

Берт Смолуэйс был один из тех дюжины человеческих существ с ограниченной душонкой, но самоуверенных и нахальных, какие в начале XX столетия целыми миллионами стали появляться во всех странах мира из-под железного штампа извращенной цивилизации. Он всю жизнь провел в узких улицах, среди огромных уродливых зданий, выше которых не мог поднять глаз, и в таком же узеньком кругу мысли, из которого не было выхода. Он был убежден, что все обязанности человека состоят только в том, чтобы обманывать других, нахапать побольше денег и жить в свое удовольствие. Словом, он был из того сорта людей, которые лишены всякого сознания гражданского долга, всякого признака законности, всякого понятия о самопожертвовании, мужестве и чести.

До сих пор ему не везло, и он злился за это, но не на самого себя, а на других и на обстоятельства, не дававшие ему возможности развернуть его «прогрессивные» способности во всю их ширь. В описываемую нами минуту он, по стран-

ному капризу случая, вдруг был вырван из своего «прогрессивного» мира и повис между этим миром и небом. Казалось, небу из всех миллионов британцев вздумалось сделать опыт именно над этой человеческой душонкой, с целью поближе ознакомиться с ней и узнать, что теперь она будет делать в таком необычайном положении, в котором очутилась.

А очутиться вдруг на высоте 14-15 тысяч футов над поверхностью земли — дело не совсем обыкновенное даже для человека, более сильного духом, чем Берт. Это последняя (по крайней мере, до сих пор) достижимая человеком возможность подняться так высоко. Это значит отрешиться от всех человеческих дрязг; это значит находиться в полном одиночестве, в полной тишине, в общении только с самим собой; это значит видеть небо и не слышать ни одного звука земной какофонии; это значит дышать самым чистым, благодатным воздухом, о котором не имеют и понятия на земле. Ни одно насекомое, ни одна птица не в состоянии подняться на такую высоту.



Там не бывает никаких ветров, и шар, как бы составляя сам часть атмосферы, свободно движется вместе с нею. Раз поднявшись на такую высоту, он уже не колеблется и остается как бы неподвижным, так что без надлежащих приборов нельзя даже определить, движется он, поднимается или опускается.

Берт начал дрожать от холода. Чтобы немного согреться, он одел поверх того, что было на нем, жилет, сюртук, пальто и перчатки Беттериджа, и долгое время сидел совершенно неподвижно, подавленный величием царившего вокруг полного покоя. Над ним, сквозь прозрачный шар, сделанный из пропитанной каучуком коричневого цвета шелковой материи, просвечивало солнце и бездонная глубина ярко-синего неба. Под ним, в такой же бездонной пропасти, виднелись клубящиеся массы облаков, между которыми временами проглядывала синеватая гладь моря.

Кроме холода и учащенного дыхания, Берт не испытывал никаких неудобств и не чувствовал никакого беспокойства. Он полагал, что это воздухоплавательное сооружение могло так же быстро опуститься, как поднялось, и находил это вполне естественным. Главным его чувством было изумление.

— Н-да, вот так штука! — повторил он, чувствуя непреодолимую потребность поговорить хоть с самим собой. — Это будет почище любого автомобиля... Вот уж никак не мог ожидать такого сюрприза!.. Я вот куда-то лечу, а все те, которые остались там, внизу, наверное теперь телеграфируют и телефонируют обо мне по всему свету... Преинтересное приключение, черт возьми!.. А Греб... Что он теперь думает про меня?.. Вот тебе и вокально-музыкальные представления!

Пусть-ка он теперь подвизается на них один, ха-ха-ха...

Побеседовав несколько времени в таком духе с самим собой, невольный воздухоплаватель занялся подробным исследованием устройства и содержания воздушного помещения, куда он попал по прихоти судьбы. Над корзиной находилась туго стянутая и обвязанная крепкими шелковыми веревками шейка шара; оставалось лишь небольшое отверстие, чрез которое Берт мог видеть бесконечную безмолвную пустоту; из этого же отверстия спускались две тонких шелковых веревки, красная и белая, и к ним, под кольцом, было привешено по небольшому мешку с чем-то. Сеть, которой был покрыт весь шар, заканчивалась веревками, прикрепленными к кольцу и образовавшими один огромный, обвитый стальной пластинкой, узел; к этому-то узлу и была подвешена самая корзина и якорь с его канатом. Над стенками корзины свешивалось несколько мешков с песком, служивших, как понял Берт, балластом, который нужно было выбросить, когда предстояла надобность подняться. На кольце висел барометр-анероид и еще какой-то прибор, в виде ящичка, на котором была небольшая костяная дощечка с надписью «Статоскоп»<sup>1</sup>, а по краям стояли два французских слова: «Montée» и «Descente»<sup>2</sup>, между которыми дрожала и колебалась крошечная стальная стрелка. Берт на минуту задумался было над этим прибором, потом вдруг радостно вскричал:

— А, понял! По этой штуке можно узнать, поднимается шар или опускается.

На мягких, обтянутых красной тканью, турецких диванчиках, расположенных вокруг стенок корзины, лежала пара одеял, и валялся небольшой фотограfi-

<sup>1</sup> Прибор для регистрации изменений высоты полета летательного аппарата.

<sup>2</sup> «Подъем» и «Спуск».

ческий аппарат, так называемый «кодак». Перед одним из диванов находился низенький столик, на котором стояли бутылка из-под шампанского и стакан. Столик с бутылкой и стаканом особенно заинтересовал Берта.

— Эге! — воскликнул молодой человек; — да они, оказывается, недурно проводили тут время. Посмотрим, нет ли в диванах чего-нибудь. Помнится, я у кого-то видел такой диван, и внутри его было помещение, вроде сундука.

Действительно сиденье диванов приподнималось как крышка, и внутри оказалось все, что мистер Беттеридж считал необходимым для воздушного путешествия: прекрасный паштет с дичью, жареная живность, разные консервы, несколько белых хлебов, большой миндальный торт, алюминиевые ножи, вилки и ложки, тарелки из прессованной бумажной массы, мармелад, конфеты, легкая жестяная самоварка и несколько тщательно упакованных бутылок с шампанским и минеральными водами, большой алюминиевый крепко закупоренный кувшин с чистой водой, как гласил наклеенный на нем ярлык. Кроме того, оказались две сумки, одна с письмами, географическими картами и небольшим компасом, а другая с разными туалетными принадлежностями. Около сумок лежала меховая шапка с наушниками.

Последняя находка особенно обрадовала Берта. Голова его, повязанная, в виде чалмы, легкой бумажной тканью, сильно зябла. Он тотчас же сорвал с головы свое восточное украшение, швырнул его в пространство, надел шапку и радостно воскликнул:

— Да здесь целый гастрономический, винный и парфюмерный магазин! Ай-да Беттеридж... молодчина! Сколько наготовил мне всякого добра! Вот спасибо-то, право! А то что бы я стал тут де-лать, если бы ничего этого не было?

Он снова выглянул из корзины. Далеко внизу сияли блестящие облака, за которыми скрывалась земная поверхность; на юго-западе они были нагромождены такими массами, что казались горами, а на северо-востоке расстилались волнообразными равнинами, залитыми ярким солнечным светом.

— Желал бы я знать, сколько времени может продержаться в воздухе этот шар? — Да и движется ли еще он? — произнес Берт, садясь на диван.

Молодому человеку казалось, что шар стоит неподвижно на месте, так незаметно несло вместе с воздухом это огромное сооружение. Он взглянул на статоскоп и пробормотал:

— Все еще на Montée — значит не опускаемся... А что если потянуть за какую-нибудь веревку?.. Впрочем, нет, не следует... наделаешь, пожалуй, такой беды, что потом и не поправишь.

Но немного погодя он все-таки не утерпел — потянул, и как раз за ту веревку, которая, по словам Беттериджа, перестала действовать. Поэтому ничего и не произошло. А если бы эта веревка была в исправности, она разрезала бы шар, как ножом, и спровадила бы неопытного воздухоплавателя со скоростью нескольких тысяч футов в секунду в вечность.

— Нет, ничего не выходит! — проговорил он после нескольких тщетных усилий и принялся с досады завтракать.

Плотно закусив, он начал было раскупоривать бутылку шампанского, чтобы sprysнуть свое «высокое», как он сам выразился про себя, положение. Но лишь только молодой человек подрезал проволоку, пробка с силой вылетела и увлекла за собой большую часть содержимого бутылки.

— Вот тебе и раз! — воскликнул озадаченный воздухоплаватель. — Впрочем, это, кажется, называется «атмосферическим давлением», — через минуту при-

## II

бавил он, радуясь, что припомнил ча-  
стичку школьных познаний и досадуя,  
что сделал это немного поздно.

Он с наслаждением выпил остатки  
искрометной влаги и принялся искать  
спичек, чтобы закурить одну из сигар,  
которые нашлись в кармане пальто Бет-  
териджа. Судьба и на этот раз поблаго-  
приятствовала неопытному воздухопла-  
вателю: зажги он спичку в такой непо-  
средственной близости от газа, которым  
был наполнен шар, это горючее вещество  
тотчас же воспламенилось бы и от само-  
го шара вместе с воздухоплавателем оста-  
лось бы только одно воспоминание,

— Черт бы побрал этого разиню,  
Гребя! — сердился Берт, обыскивая все  
свои карманы: — опять оставил у себя  
мою коробочку со спичками. Никогда  
у него нет своих... Да и Беттеридж хо-  
рош: сигары имеет, а спичек нет. Чем же  
он закуривал? Впрочем, поищем, авось,  
что и найдется подходящее. Здесь много  
странного. Быть может, вместо спичек он  
пользовался чем-нибудь другим?

Однако поиски его оказались напрас-  
ными. Подосадовав несколько време-  
ни, он от нечего делать принялся рассма-  
тривать географические карты. Ему хо-  
телось найти карту, на которой был бы  
изображен канал Ла-Манш и Франция.  
Он предполагал, что несется именно к  
Франции. Но такой карты не оказалось;  
все они были английские и указывали раз-  
ные местные графства. Это занятие наве-  
ло его на мысль о французском языке, и  
он стал припоминать те французские фра-  
зы, которые учил в школе. После некото-  
рого напряжения памяти ему удалось со-  
ставить три следующие фразы: «Je suis  
Anglais». «C'est une méprise». «Je suis  
aggravé par accident ici»<sup>1</sup>. Эти фразы пока-  
зались ему самыми подходящими, когда  
придется объясняться с французами.

По окончании этого занятия он при-  
нялся за найденные в вещах Беттерид-  
жа письма. Он сидел на диване, тщатель-  
но закутанный, потому что воздух был  
очень холодный и резкий, несмотря на  
кажущееся отсутствие в нем движения.  
Сверх мехового пальто Беттериджа мо-  
лодой человек накинуд на себя и дамскую  
ротонду, а ноги укутал одеялом. Корзи-  
на была небольшая, но для одного со-  
вершенно достаточная и очень уютная,  
и если бы не холод, было бы совсем хо-  
рошо.

Берт пододвинул поближе столик и  
положил на него пакет с письмами и кар-  
тами. Молодой искатель приключений  
не знал, наверное, куда его несет; он толь-  
ко предполагал, что к Франции, а может  
быть, и еще куда, и что с ним будет. Он  
покорился своей участи с тем душевным  
спокойствием, которое можно было бы  
принять за мужество, если бы оно ско-  
рее не было легкомыслием и невежест-  
вом. Он был уверен, что шар где-нибудь  
да должен же будет опуститься. Если это  
случится за границей, то он, Берт, обра-  
тится к английскому консулу, и тот помо-  
жет ему возвратиться на родину.

Успокоившись на этом, Берт стал  
разбирать корреспонденцию Беттерид-  
жа. В числе этой корреспонденции ока-  
залось несколько писем самого пламен-  
ного любовного характера, написанных  
крупным женским почерком. Прочитав  
эти письменные излияния и ошеломлен-  
ный их чересчур уж откровенным содер-  
жанием, молодой человек воскликнул:

— Черт возьми, вот так баба!.. Неу-  
жели это писала та кувалда, которая была  
тут с ним?.. Откровенно выражается, не-  
чего сказать!

Дальше он нашел пачку вырезок из  
газет и несколько писем на немецком и

<sup>1</sup> Я — англичанин. Это ошибка. Я попал сюда случайно.

английском языках, написанных одним и тем же почерком. Берт стал читать английские письма (по-немецки он не знал ни слова). Первое письмо начиналось извинением в том, что автор сразу не догадался писать по-английски и заставил уважаемого мистера Беттериджа испытать столько беспокойства и потерять так много драгоценного времени на прочтение немецких писем. Затем затрагивалась тема, поглотившая все внимание Берта.

«Нам, — говорилось в письме, — вполне понятна затруднительность вашего положения, и мы верим, что вы в настоящее время находитесь под наблюдением... Но не думаем, чтобы вы встретили серьезные препятствия, если бы пожелали покинуть свою страну и пожаловать к нам обычным маршрутом — через Дувр, Остэнде, Булонь или Диепп — со всеми вашими чертежами. С трудом верится и вашему предположению, что вас убьют с целью овладеть вашей тайной. Не понимаем, на чем вы основываете такое предположение...»

— Гм, вот интересно-то! — заметил Берт, принимаясь за остальные письма, написанные в том же духе и по тому же предмету.

По прочтении всех писем он принялся обсуждать их, по своему обыкновению, вслух.

— Судя по этим письмам, — соображал молодой человек, — немцам очень хотелось бы заманить Беттериджа к себе, но выказать этого вполне определенно они не желают с целью, очевидно, поспать с него спеси и поторговаться... Должно быть, это не от правительства, а от какой-нибудь частной фирмы... Бумага конторская с печатными объявлениями наверху о различных воздухоплавательных приборах... Во всяком случае, видно, что Беттеридж задумал продать свой секрет за границу. Так и должно

было ожидать... А, вот, кажется, и самый секрет. Посмотрим.

В сумке оказалось еще помещение, открывавшееся при помощи едва заметной кнопки. В этом помещении находилась пачка аккуратно сложенных чертежей, исполненных красками. Тут же было несколько плохих любительских фотографических снимков с машины Беттериджа. Берт весь дрожал от охватившего его волнения.

— Вот будет сюрприз этому изобретателю, когда он узнает, в чьи руки попала его тайна! — воскликнул молодой человек, развертывая чертежи.

Он начал изучать их и сравнивать со снимками, но вскоре же убедился, что не в состоянии понять, как должны относиться друг к другу отдельные части машины, изображенные на чертежах; к тому же некоторых частей как будто не доставало.

— Эх, жаль, что я почти ни бельмеса не смыслю в технике! — проворчал с досадой Берт. — Впрочем, потом, может быть, и поразберусь, а теперь посмотрим, что делается в пространстве.

Он встал, перегнулся через борт корзины и стал смотреть на громоздившиеся под ним, озаренные солнцем облака. Внимание его вдруг было привлечено огромным темным пятном, скользившим по облачной массе и точно преследовавшим шар. Сначала Берт испугался, думая, что это погоня за ним, но потом, поприглядевшись и поразмыслив, понял, что темное пятно — тень, отбрасываемая его же собственным шаром, и успокоился.

Остальную часть дня воздухоплаватель провел в рассматривании сильно заинтересовавших его чертежей и в составлении, по собственной грамматике, французских фраз, которые в переводе на какой-нибудь общепонятный язык должны были означать следующее:



«Здравствуйте, господа! Я английский изобретатель. Имя мое — Беттеридж. Я явился сюда с целью продать секрет летательной машины. Понимаете? Можно ли ею управлять? О да, вполне! Это машина-птица, поэтому и все ее движения птичьи. Я желаю продать свое изобретение вашему правительству. Направьте меня куда следует».

— А должно быть, грамматика-то у меня здорово хромает? — произнес Берт, с трудом припоминая отдельные слова и всовывая их в надлежащие места фраз. — Ну, да ладно, поймут!.. А что если они потребуют, чтобы я подробно объяснил им все эти штуки? — продолжал он, косясь на чертежи. — Я чувствую, что в них чего-то недостает, а чего именно — никак не могу догадаться...

Ему было страшно досадно, что он, пожалуй, не в состоянии будет извлечь пользу из своей находки.

— Как только спущусь, — а это может случиться каждую минуту, — обо мне тотчас же дадут знать настоящему изобретателю. Он нагрянет, и тогда мне достанется... С ним, судя по его звериной наружности, шутки плохи... Впрочем, и всякий другой на месте Беттериджа едва ли бы ласково отнесся к похитителю его тайны, — размышлял вслух Берт. — Нет, с этим, по-видимому, ничего путного не выйдет! — со вздохом сожаления решил он, свертывая и убирая обратно в сумку чертежи и письма.

Пригретый каким-то особенным теплом и заметив яркий золотистый отблеск на шелковом пузыре над своей головой, он взглянул на запад и увидел сияющий золотистый шар солнца плывущим среди розовых, пурпурных и багряных, окаймленных нежным золотым бордюром, волн облачного моря. Невольно любуясь этим великолепным зре-

лищем Берт вдруг заметил вдали, в прозрачной синеве воздуха, три длинных темных предмета, походивших на громадных рыб. Загадочные предметы быстро скользили один за другим, виляя хвостами, как настоящие рыбы. Озаренные волшебным сиянием, странные фигуры резко и отчетливо вырисовывались в прозрачной синеве воздуха. Не доверяя своим глазам, он протер их и вновь взглянул на восток, но загадочные «рыбы» уже исчезли... Долго блуждал Берт недоумевающим взором по необозримому синему пространству, но ничего больше не увидел.

— Вероятно, мне это только показалось, — проговорил, наконец, он, покидая свой обсервационный<sup>1</sup> пункт. — Оптический обман... от солнечного света. Это бывает.

Солнце стало опускаться все ниже и ниже. Через несколько времени оно совсем скрылось. Вместе с ним погас и дневной свет. Вдруг сделалось темно и холодно. С трудом рассмотрев стрелку статоскопа, Берт заметил, что она начала склоняться к «Descente».

### III

— Гм! Что-то будет теперь? — с некоторой тревогой спросил сам себя Берт.

Медленно, неуклонно поднималась вокруг него холодная серая клубящаяся масса. Опускаясь среди вечерней мглы шар вдруг очутился в вихре снежных хлопьев. Берт почувствовал, что точно ледяные призрачные руки касаются его лица, и сам он весь оказался покрытым белыми расплывающимися пятнами. В несколько секунд все вокруг него было покрыто сыростью. Он дрожал от сильного холода, и его дыхание превращалось в пар. У него было такое представление, точно сильнейшая снежная

<sup>1</sup> Наблюдательный.

буря с невероятной, все возрастающей быстротой стремится вверх. Он вскоре понял, что шар опускается. Наконец до его слуха достиг смутный шум. Но что это был за шум и откуда он доносился, — молодой человек понять не мог.

Смущенный и озабоченный, Берт осторожно выглянул через край корзины и увидел под собой волнующееся водяное пространство. В некотором отдалении неслась большая лодка с косым парусом, на котором чернелись буквы какой-то надписи; на носу лодки мигал красновато-желтый огонек. Было видно, что лодка борется с сильным штормом, между тем как наверху, где находился Берт, не чувствовалось даже легкого ветерка. Шум волнующегося, бичуемого ветром моря все возрастал.

Шар опускался все ниже и ниже, и Берт с ужасом ожидал, что его корзина погрузится в море. Молодой человек встрепнулся. Схватив один из мешков с песком, он перебросил его через борт и, не выждав его действия, спровадил вслед за ним другой. Когда после этого он снова взглянул вниз, перед его глазами мелькнула пенящаяся воронка воды, затем его снова охватила снежная метель в облачной массе. Здесь он также не пожелал оставаться и выбросил еще два мешка. Облегченный шар снова взвился в верхние тихие, чистые, ясные и холодные слои воздуха. Там было еще довольно светло. В синеве неба сверкали звезды. На востоке поднималась луна.

— Уф! — со вздохом облегчения вырвалось из груди Берта. — Слава богу, на этот раз все обошлось благополучно!

#### IV

Хотя летняя ночь и была короткая, но она показалась нашему воздушному страннику длиннее зимней. После того, как он едва не угодил в водяную бездну, у него явилось чувство неуверенности за

каждую следующую минуту, пока будет темно; при дневном же свете, ему почему-то казалось, будет безопаснее.

Несмотря на все испытанные им тревожения, ему захотелось есть. Он основательно закусил и выпил полбутылки шампанского, довольно успешно на этот раз откупоренной. После этого он очень желал бы покурить, но за неимением спичек не мог удовлетворить этого желания. Ворча на Беттериджа, не запасшегося спичками, и на Гребя за его привычку не возвращать взятых спичек, он улегся, поплотнее закутался и быстро заснул.

Он крепко проспал несколько часов и видел во сне, что он неудержимо стремится в какую-то бездну. Под влиянием этого сна он вдруг проснулся весь в холодном поту. Поспешно вскочив, он бросился к борту корзины и заглянул через него в пространство, но ничего особенного не заметил. Он успокоился, снова улегся и старался опять заснуть. Однако сон убегал от него, и молодой человек долго проворочался с боку на бок, тщетно стараясь забыться сном. Лежа на спине и упершись взглядом в громадный темный пузырь над собой, он вдруг сделал новое открытие: надетый им жилет Беттериджа как-то странно шуршал при каждом его дыхании, точно в нем находилась бумага. Берт поспешил ощупать жилет, и тотчас же убедился, что в нем действительно зашиты бумаги. К сожалению, было еще темно для просмотра этих бумаг, и он оставил их там до рассвета. После этого, незаметно для себя, он снова задремал.

Его разбудил концерт собачьего лая, петушиного пения, птичьего гомона и гул людских голосов. Берт поспешно вскочил, бросился к краю корзины и выглянул через него. Было почти совсем уже светло, и шар медленно неся на незначительной высоте над обширным ландшафтом, озаренным золотистыми луча-

ми восходящего солнца. Берт с любопытством смотрел на расстилавшиеся внизу прекрасно обработанные поля, перерезанные превосходными дорогами, вдоль которых тянулись ряды телеграфных и телефонных столбов. Шар его только что миновал большое, замечательно чистое, точно вылизанное, селение с беленькими домиками под крутыми красными черепичными кровлями и с красивой церковью готического стиля. Толпа поселян, мужчин и женщин, в простой, но чистой и удобной одежде и не особенно складной, зато прочной обуви, очевидно спешившая на полевые работы, остановилась и принялась наблюдать за шаром, уже задевавшим своим канатом за землю.

— Эх, жаль я не знаю, что нужно сделать, чтобы опуститься! — говорил Берт, с сожалением глядя на ухודившее из-под его носа селение. — Разве крикнуть им, чтобы они ловили канат?.. Да, но как это сказать по-французски?.. Слово «ловить» я еще могу сказать, а вот как называется на их дурацком языке «канат», не знаю... Впрочем, следует ли еще мне опускаться здесь? Как бы не вышло какой скверной истории?.. Может быть, это вовсе не французы. Что-то здесь очень чисто и складно. У французов, кажется, так не бывает.

Утешив себя этим объяснением, Берт снова взглянул на красивый ландшафт и вдруг заметил, что его шар несется прямо на однорельсовый железнодорожный путь. Чтобы миновать это опасное сооружение, он поспешил выбросить пару мешков с песком. Шар сразу поднялся вверх.

— Гм! Балласта остается немного, — проговорил Берт, оглядывая мешки с песком. — И если я повыкидываю его весь, а шару вздумается опять спуститься, то мне волей-неволей придется сойти на землю и представиться тем, к кому я попаду. Нужно, значит, на всякий случай

немного прихорошиться, чтобы не напугать их звериным видом.

С этой целью он выбросил еще мешок с песком, так как ему показалось, что шар поднялся недостаточно высоко и, прежде чем он успеет привести себя в порядок, опять опустится. Воздухоплаватель не заметил, что шар и после двух мешков поднялся на порядочную высоту, а теперь, после третьего, с огромной быстротой стал взвиваться все выше и выше.

— Вот тебе и раз! — вскричал озадаченный молодой человек. — Значит, я пересолил... Ну, делать нечего. Пока что — закусим, а там уж и займемся туалетом.

Так как сделалось гораздо теплее, то он снял шапку и меховое пальто, которые сильно его стесняли, и принялся за приготовление какао, который оказался в жидком виде в одной из жестянок. Нужно было только подогреть его. С этой целью Берт взял жестяную самоварку, внимательно прочитал наклеенное на ней наставление, как обращаться с нею, и в точности выполнил его: налил в самоварку сколько было нужно какао, потом вложил в подлежащее отверстие на дне прибора небольшой ключик, находившийся при самом приборе, и стал вертеть этот ключик направо. Вскоре прибор стал согреваться и через несколько минут сделался настолько горячим, что его нельзя было уже держать в руках. Берт вытащил ключик из отверстия, поставил самоварку на столик, открыл крышку и убедился, что напиток совершенно готов. Это было уже давнишнее изобретение, но для Берта оно являлось новостью.

Выпив несколько чашек душистого напитка и полакомившись вкусными бисквитами, молодой человек вспомнил о бумагах в жилете. «Наверное, тут те чертежи, которых вчера не доставало», подумал он, распарывая подкладку жилета. Действительно это оказались чер-





*«Наверное, тут те чертежи, которых вчера не доставало»,  
подумал он, распарывая подкладку жилета (к с. 55).*



тежи подвижных боковых частей, на которых основывалась устойчивость всего механизма машины.

Долго просидел Берт в глубоком раздумье над этими чертежами. Потом он встал, швырнул в пространство жилет Беттериджа и достал кусок фланели. Тщательно зашив в эту фланель драгоценную находку, он спрятал ее у себя на груди. После этого молодой человек разыскал каучуковый тазик, налил в него из кувшина воды, обрился, умылся и причесался. Сбросив затем с себя свой балахон, он надел сюртук, пальто и шапку, так как сделалось опять довольно свежо, когда шар снова поднялся вверх.

Приняв таким образом более приличный вид, невольный воздухоплаватель выглянул из корзины. Шар теперь реял над холмистой местностью. Там и сям виднелись хвойные леса, расстилались покрытые цветущим вереском долины, и сверкали серебристые ленты рек; повсюду пестрели приветливые, чистенькие, утопавшие в зелени селения и отдельные небольшие усадьбы; в каждом селении высился острый шпиль церковной колокольни и виднелись столбы беспроволочного телеграфа и телефона; на возвышенностях красовались прелестные замки, окруженные цветущими садами и обширными парками. Куда ни хватал глаз, всюду виднелись превосходно содержимые шоссе и однорельсовые железнодорожные пути, окаймленные телеграфными и телефонными столбами; каждое селение и каждая усадьба были окружены полями и лугами, походившими на сады; все хозяйственные постройки находились в образцовом порядке; пастбища были полны прекрасных стад всевозможного рогатого скота. До Берта доносился грохот быстро мчавшихся по железным мостам поездов. Кое-где он видел отряды войск, пушки и вообще очевидные признаки

военных приготовлений, напоминавших ему те, свидетелем которых он недавно был у себя на родине. По временам ему слышался как бы гул отдаленных пушечных выстрелов.

Шар несся на высоте 10 000 футов. «Как бы мне спуститься?» подумал Берт, которому уже стало надоедать это невольное воздушное путешествие, несмотря на весь его интерес и новизну. Молодой человек снова принялся дергать за красную и белую веревки, но по-прежнему без всякого результата. Бросив, наконец, это бесполезное занятие, он от нечего делать подверг тщательной ревизии остаток своего провианта и нашел, что его, при некоторой экономии, может хватить еще чуть не на неделю. Это его успокоило. Если ему и придется еще несколько дней мотаться между небом и землею, то он, по крайней мере, не умрет с голоду.

Берт не знал, что ему делать, и снова выглянул через борт корзины. Когда он смотрел раньше, огромная панорама под ним была безжизненна, как нарисованная картина. Но по мере того, как солнце поднималось все выше и выше и шар, из которого постепенно улетучивался газ, неуклонно, хотя и медленно, опускался, внизу все стало оживать; картина дополнялась движением. Берт уже ясно мог слышать разнообразные звуки — железнодорожные свистки, шум колес, рев и блеяние скота, сигналы военных рожков и даже человеческие голоса.

Наконец канат шара снова потащился по земле, и Берт стал уже подумывать о спуске. Несколько раз канат задевал за разные предметы, но не запутывался в них и шар не останавливался.

Берт тихо подлетал к одному из самых прелестных городков в мире. Молодой человек еще издали заметил группы красивых городских зданий с высокими крутыми кровлями под сенью

вековых деревьев. Посередине городка высилась церковь, а вокруг шли высокие стены. Прекрасные широкие ворота вели на окаймленную деревьями дорогу. Электрические провода и кабели со всего округа сбегались сюда, точно на веселый пир. Вид городка был самый приветливый и уютный, а развевавшиеся повсюду пестрые флаги еще более увеличивали его нарядность. По всем дорогам ехали в двухколесных тележках или шли пешком сельчане. Временами по однорельсовому железнодорожному пути проносился поезд. Перед вокзалом, за городом, под деревьями, белелось множество палаток. Очевидно, здесь была ярмарка. Вся эта местность представлялась нашему воздушному путешественнику полной порядка, видимого довольства и тесного общения. Он уже видел себя среди этих добрых людей, изумлявшихся его рассказу (хоть даже при помощи переводчика) об его необыкновенных приключениях и геройстве.

Но как раз с этого именно момента и начались все его злоключения. Не успело еще местное население путем разглядеть носившийся над ним шар, как канат этого шара возбудил уже общее негодование. Раньше других увидел волочившийся по земле канат пожилой поселянин, в высокой черной шляпе и с большим красным зонтом над нею, бывший, очевидно, немного навеселе. С очевидным желанием во что бы ни стало поймать этот «чертов хвост», бравый поселянин с энергичной бранью бросился за ним. Канат скользнул поперек дороги, окунулся по пути в кадку со сметаной и, замарав в ней свой конец, мазнул им по лицам фабричных работников, спешивших в автомобильном омнибусе на работу. Работницы подняли страшный визг. Все поспешили взглянуть наверх и увидели в корзине, под громадным пузырем, улыбающееся лицо Берта, делавше-

го им какие-то знаки. По мнению молодого человека, эти знаки были дружеские и приветственные, а по мнению взбуряженной толпы, они выражали насмешку и оскорбление, и ее возбуждение стало расти.

Вдруг корзина с силой ударилась о кровлю небольшого домика, стоявшего близ городских ворот, сломала флагшток, помещавшийся на переднем конце кровли, затем проехала по тонким телефонным проводам, оборвала одну проволоку, конец которой, извиваясь как змея, упал прямо на головы зрителей. Сам воздухоплаватель тоже едва не свалился на них. Во время перелета через крышу дома он чуть не высочил из корзины и удержался в ней только благодаря тому, что вовремя успел схватиться за веревочную сеть, на которой висела корзина.

Возбуждение негодовавшей толпы против «чертова воздушного пришельца» еще больше увеличилось. Несколько молодых солдат и поселян, осыпая злобного воздухоплавателя ругательствами и потрясая кулаками, бросились вдогонку за тащившимся по земле канатом, когда шар стал переноситься через городскую стену.

— Хороши эти «добрые» люди, нечего сказать! — с горечью воскликнул Берт, крепко держась обеими руками за веревки раскачивавшейся во все стороны корзины. — Черт бы их всех побрал!.. А все-таки лучше бы спуститься здесь, а то неизвестно, куда еще занесет меня, и что натворит этот дьявольский шар... Эй, вы! — крикнул он вниз на своем «французском» языке, — берегитесь! Я опускаю якорь!

Опущенный не вовремя и неумелой рукой якорь загремел по высокой кровле другого дома, откуда вместе с целой лавиной разбитых черепиц скользнул по оконной раме, выбил в ней несколько

стекол и рухнул на мостовую, к счастью, никого не задев из зрителей. Шар заколебался из стороны в сторону, а корзина едва не опрокинулась, и воздухоплаватель опять с трудом удержался в ней. Но якорь нигде не нашел себе точки опоры. Зацепив одной из своих лопастей детское креслице и преследуемый взбешенным торговцем, которому принадлежала эта игрушка, якорь поднялся вверх, повернулся несколько раз вокруг самого себя вместе с креслицем, затем опустил его на голову торговке зеленую.

В толпе поднялся невообразимый шум; яростные крики мужчин слились с визгом женщин. Все бросились ловить продолжавший тащиться по земле канат. Шар то опускался, то поднимался, а якорь, раскачиваясь из стороны в сторону как маятник, вновь приблизился к земле и принялся за новые шутки: сшиб соломенную шляпу с головы толстого господина, с важным видом курившего сигару, перебил и сбросил со стола горшечника несколько предметов его изделий, заставил одного бравого военного ловко отскочить в сторону и попасть прямо в объятия толстой торговки фруктами, и, в довершение всего этого, подхватив поперек небольшого барашка, тщетно старавшегося с жалобным блеянием освободиться, бережно опустил его на огромную шляпу городской щеголихи. После всего этого, стукнувшись о каменный столб, стоявший посредине площади и отбив часть его украшений, вместе с шаром, который вдруг рванулся вверх, поднялся на воздух. В тот же момент десятков рук, поймав, наконец, канат, ухватились за него и стали тянуть шар вниз.

Употребляя все усилия, чтобы не вывалиться из сильно раскачивавшейся во все стороны корзины, злополучный воз-

духоплаватель недоумевал: спуститься ему или нет. С одной стороны ему страшно надоело раскачиваться, с опасностью жизни, в своей «люльке», как он стал называть корзину, а с другой — он опасался попасть в руки разъяренной толпы.

А толпа, действительно, бушевала, как бурное море. Берт всюду заметил искаженные злобой лица и пылавшие негодованием взоры; слышал яростные возгласы и угрожающие крики; видел поднятые на него кулаки и палки. Несколько должностных лиц, в красивых мундирах и треуголках, тщетно старались успокоить взбудораженную толпу и водворить среди нее порядок. Берт понял, что ему несдобровать, если он очутится во власти этой толпы, и что следует как можно скорее принять меры для своего спасения.

Под давлением необходимости часто и самый заурядный человек становится гением сообразительности. Молодой человек перерезал канат, поднял к себе якорь и выбросил сразу два мешка с песком. Шар моментально взвился вверх, корзина выпрямилась, и воздухоплаватель с чувством удовлетворения увидел, как растянулись на земле те, которые держали в руках канат, и в каком изумлении, с разинутыми ртами, смотрели остальные на быстро поднимавшийся все выше и выше шар.

## V

К вечеру ясного летнего 191\* года — говоря слогом прежних романистов — в хороший полевой бинокль можно было видеть воздушный шар, который, на высоте 11 000 футов, несся поперек Франконии<sup>1</sup> в северо-западном направлении.

Одиноким воздухоплаватель, помещавшийся в корзине, подвешенной к

<sup>1</sup> Древняя виноградарско-винодельческая область в Германии на территории земли Бавария.

этому шару, высунув голову над ее краем, широко открытыми, испуганно-недоумевающими глазами смотрел вниз и восклицал:

— Вот так штука! Стрелять еще вздумали в меня, несмотря на простыню, которую я вывесил в знак моих миролюбивых намерений... Только этого не хватало!

Берт (это был, конечно, он) теперь вполне убедился, что провинциалы, которых он всегда представлял себе такими наивными, добрыми и доверчивыми, вовсе не были намерены по-ребячьи восторгаться им, напротив, относились к нему очень недоверчиво и недружелюбно и, очевидно, вовсе не желали его появления в их области. Положим, он и сам не хотел бы теперь находиться в этой неизвестной стране. Но что же было ему делать, когда он несся над нею не по своей воле, а по прихоти шара, который, впрочем, в свою очередь, зависел от прихоти ветра!

Посредством рупоров до слуха невольного воздухоплавателя достигали таинственные голоса, кричавшие ему на разных непонятных для него языках что-то, по-видимому, очень грозное и о чем-то предупреждали его разноцветными флагами и другими видными сигналами. По временам он мог различать гортанные подражания его родному языку, настоятельно требовавшие, чтобы он немедленно спустился, если не желает быть расстрелянным в воздухе. А так как он не имел возможности исполнить этого требования, о чем они, разумеется, не могли догадаться, то в него, действительно, было произведено несколько выстрелов из дальнобойных полевых орудий, к счастью, безвредных. Только раз, когда мимо него пронеслось одно ядро, Берту показалось, что он слышит звук раздираемого шелка, и злосчастный воздухоплаватель уже приготовился было к перехо-

ду в небытие, но к его счастью и радости, шар остался цел и невредим. Сначала воздухоплаватель приписывал такое неприязненное к себе отношение со стороны местного населения своим неудачным попыткам спуститься в тех местностях, через которые он пролетал, и проделкам своего шара, но потом убедился, что им интересуются не столько само население и гражданские власти, сколько военные.

Помимо своей воли, вовсе не желая и не зная этого, Берт невольно попал в неприятную роль иностранного шпиона. Как нарочно насмешливая судьба занесла его в самый центр мировой политики, и он мог узнать строго охраняемые военные тайны могущественной германской державы. Словом сказать, судьба, с помощью слепой силы — ветра, несла его над воздухоплавательным парком, сооруженным германским правительством, чтобы там, в тайне от всего мира, с лихорадочной поспешностью и в грандиозных размерах использовать великие изобретения Хенстеда и Стоссея и, таким образом, создав, помимо других народов, огромный воздушный флот, обеспечить себе владычество над воздухом, а вместе с тем и над всем миром.

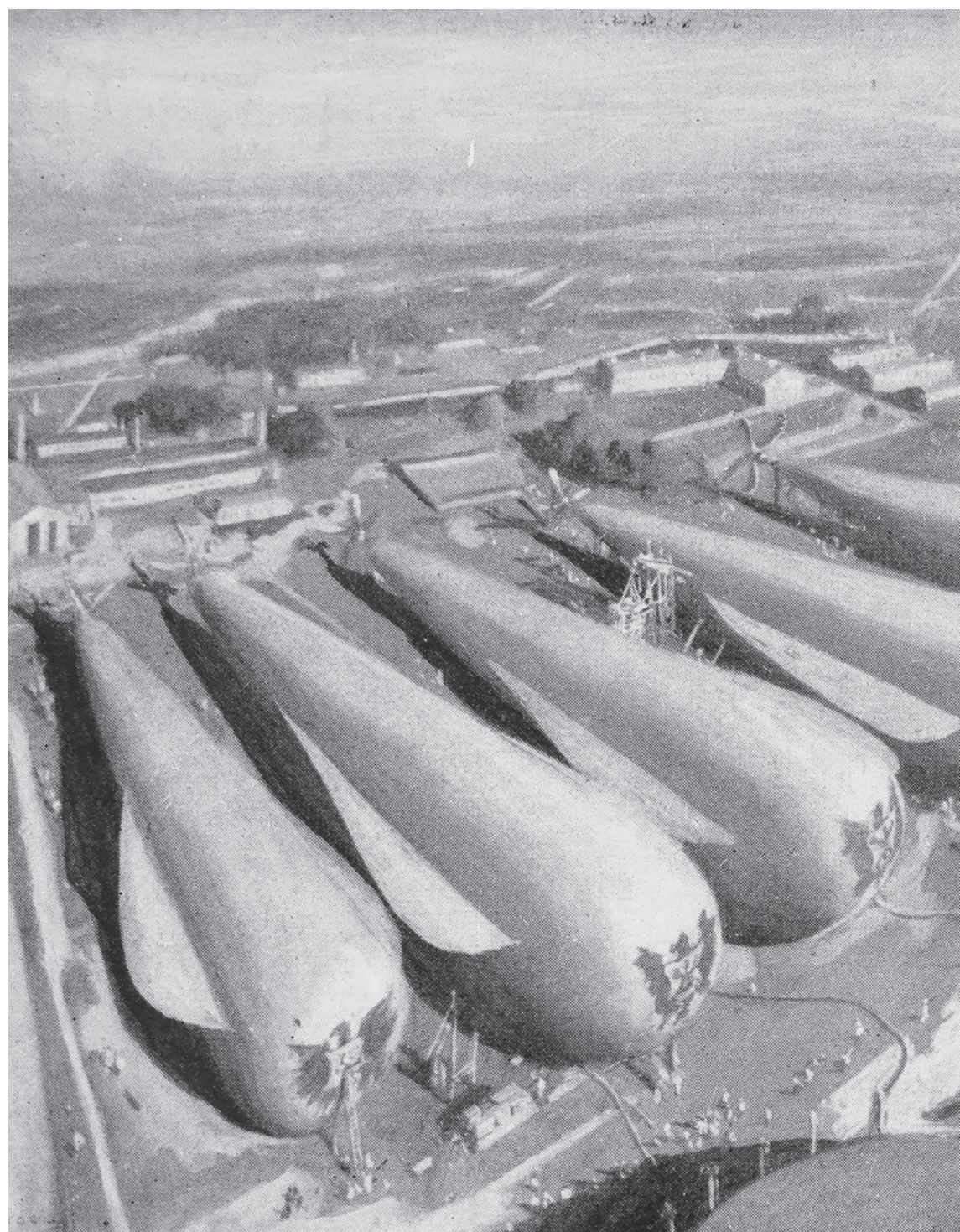
Немного позже, когда угрожающими выстрелами его все-таки заставили спуститься, Берт увидел обширную горную долину, в которой находилось множество воздушных судов, подобно стаду допотопных чудовищ. Вся долина, простиравшаяся к северу, была аккуратно разбита на нумерованные участки, на которых были расположены мастерские, газометры, склады и казармы. Все это огромное пространство перерезывалось однорельсовой железной дорогой, но на воздухе не было ни одного провода или кабеля. Повсюду виднелись черные, белые и красные флаги и везде распростирал свои крылья черный германский орел. Но и без этих символов можно



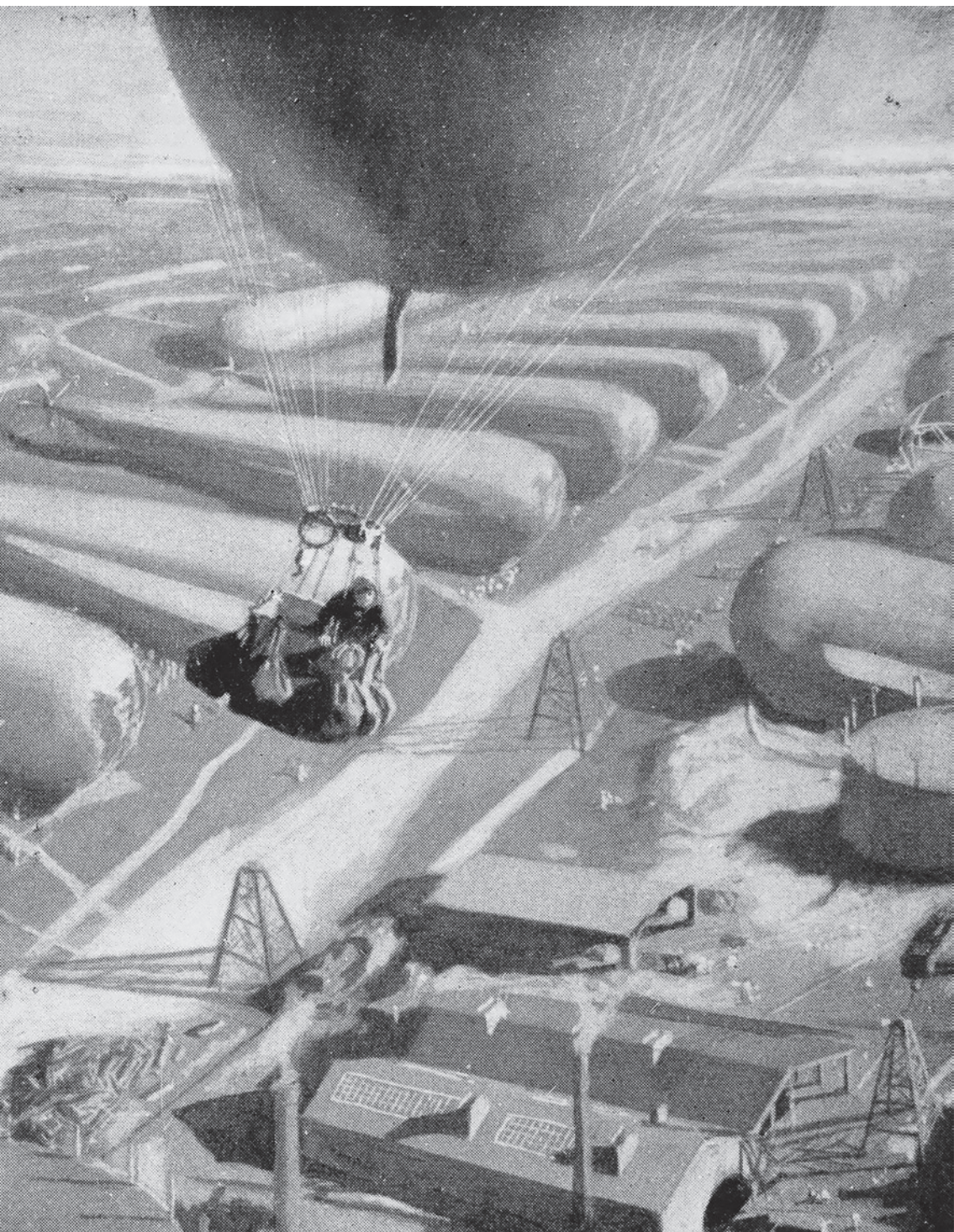


*В толпе поднялся невообразимый шум;  
яростные крики мужчин слились с визгом женщин (к с. 59).*









*Судьба, с помощью слепой силы — ветра, несла его над воздухоплавательным парком (к с. 60).*



было понять, по царившему везде и во всем образцовому порядку, по дружной и планомерной работе, что здесь именно Германия.

Множество людей копошилось в этой долине. Одни, в серых рабочих куртках, возились над разными воздушными сооружениями, другие, в военных мундирах «защитного» цвета, производили разные упражнения. Там и сям блестели мундиры начальствующих лиц. Особенное внимание Берта привлекали воздухоплавательные машины. По их виду он догадался, что прошлой ночью видел именно три таких машины, когда они, надеясь остаться незамеченными, делали пробные полеты. Они действительно имели вид рыбы. Огромные воздушные корабли, с которыми Германия, во время своей последней борьбы с Америкой из-за мирового владычества (в то время человечество еще не поняло, что мечта об этом владычестве никогда не может быть осуществлена) налетела на Нью-Йорк, были прямыми потомками воздушного корабля графа Цепелина, перелетевшего в 1906 году через Боденское озеро, и воздушных плавучих Лебеди, совершавших в 1907-8 годах свои памятные полеты над Парижем.

Германские воздушные суда состояли из ребровидных стальных и алюминиевых скелетов и плотной, не растягивающейся парусинной оболочки, в которой был помещен непроницаемый каучуковый, в виде мешка, резервуар для газа, подразделенный 50-100 поперечными перегородками на отдельные камеры. Все эти камеры отличались безусловной непроницаемостью для выхода из них газа и наполнялись водородом. Такая машина могла держаться на любой высоте, благодаря длинному внутреннему баллонету (шарообразному сосуду) из хорошо промасленной и просмоленной шелковой ткани; из это-

го баллонета, по мере надобности, всегда можно было выкачать и вкачать в него воздух. Таким образом, аэростат, по желанию, быстро мог быть сделан легче или тяжелее воздуха, и всякая убыль в необходимом весе немедленно могла возмещаться воздухом, выпускаемым в отделения общего газового резервуара. Положим, подобные летательные машины были крайне опасны в том отношении, что находившийся в них газ постоянно грозил опасностью взорваться. Но подобного рода сооружения все сопряжены с опасностью; с нею необходимо считаться и принимать против нее соответствующие предосторожности. Прежде всего на нем не должно быть огня ни в каком виде и никаких легко воспламеняющихся и самовозгорающихся веществ. Это самое главное условие для безопасности. Стальная ось, подобие позвоночника, заканчивалась в хвосте особого устройства машиной и винтовым двигателем. Помещения для людей и склада запасов находились в широкой передней части судна, суда эти строились по знаменитой пфорцгеймской модели, этого чуда немецкого изобретательного гения. Сказанная машина обслуживалась с передней части посредством электрических проводов. Только эта часть и была обитаема. Если замечалось, что в машине не все в порядке, механики должны были пробираться туда по веревочной лестнице под рамой. В предупреждение качки к каждому боку судна было прилажено подобие плавника, какие имеют рыбы, а управление судном производилось, главным образом, с помощью двух других горизонтальных плавников, которые при нормальных условиях плотно прилежали к обшивке сторонам головы, подобно жабрам. Словом, это было почти полное подражание рыбе, примененное к воздушным условиям, с той лишь разницей, что пла-



вательный пузырь, мозг и глаза помещались не в передней части, а в задней.

Эти искусственные чудовища в тихую погоду могли проходить или, вернее, пролетать 90 миль в час, так что их мог обгонять только самый сильный ветер. Длина их колебалась между 800 и 2 000 футами, а сила подъема тяжести была рассчитана на 70-200 тонн.

Сколько было у Германии таких чудовищ, — неизвестно, но Берт насчитал их 80 штук.

Таковы были средства, на которые, главным образом, опиралась Германия, когда она отрицала правило Монро (Америка для американцев) и требовала себе доли господства над Новым Све-

том. Кроме того, она имела неизвестное количество «бомбомечущих летающих драконов». Эти страшные и таинственные аппараты-разрушители укрывались в другом воздухоплавательном парке на восточной стороне Гамбурга.

Но возвратимся к нашему злополучному воздухоплавателю. В конце концов немецкие выстрелы попали-таки в цель. Одно ядро пробило оболочку шара. Последовал какой-то глухой треск, сопровождаемый зловещим шелестом разрывающегося шелка и равномерным падением шара. Смущенный и испуганный Берт поспешил выбросить последние мешки с песком. В ответ на это раздалось еще два выстрела, и шар стал падать быстрее...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Воздушный флот

#### I

В душе каждого человека таится любовь к собственной породе, собственному воздуху, отечеству и родному языку. До наступления «научного» века эта совокупность благородных чувств была прекрасным фактором в нравственном обиходе каждого приличного человека. Обрушившийся же на человечество бешеный шквал изменил все условия жизни, уничтожил все преграды, разделявшие и оберегавшие ранее отдельные народности. Все стародавние, глубоко укоренившиеся обычаи, нравы и привычки были разом сметены, и ничего устойчивого нового взамен не могло образоваться. Человечество оказалось не в состоянии приспособиться к постоянно меняющимся условиям жизни и беспомощно завертелось в бессмысленном вихре новых требований, новых ощущений...

Дед Берта Смолуэйса отлично знал «обязанности» своего положения. К высшим он был почиттелен, к низшим относился с полупрезрительным снисхождением, и от колыбели до могилы ни

на йоту не изменил своих убеждений и привычек. Он был уроженцем Англии, в тесном смысле — Кента, а это значило, что он видел вокруг себя солнце, зелень и цветы. Газет, политики и дальних поездок для него и для людей его положения не существовало. Затем вдруг произошла перемена. Предыдущие главы нашего повествования дали понятие о том, как видоизменялся Бен-Хилл, бывшее поместье сэра Питера Боуна, и как на мирное сельское население налетел ураган всяких «прогрессивных» новшеств.

Что же касается Берта Смолуэйса, то он был одним из многих миллионов людей всего мира, родившихся не на твердой почве установившегося веками строя, а в водовороте борьбы, смысла которой никто не мог понять. Все, во что верили их отцы, было опрокинуто, раздавлено, до неузнаваемости искажено, втиснуто в самые странные и уродливые формы. Особенно была искажена и изуродована симпатичная традиция о патриотизме. В прежнее время в Англии существовали твердо обоснованные взгляды на иностранца, вызывавшие

ся, главным образом, боязнью растлевающего влияния Франции; назвать у нас что-либо «французским», значило бесповоротно осудить это. В мозгу же Берта Смолуэйса и подобных ему людей беспорядочными отрывками мелькали навязанные крикливой печатью смутные идеи о «германской конкуренции», о «желтой и черной опасности», об «обязанностях белой расы», и т. д. С головами, набитыми такими «прогрессивными» мыслями, все эти Берты, в сущности только и умевшие разъезжать на велосипедах и дымить папиросой или сигарой, пыжились как индейские петухи и мнили, что они велики уж одним своим происхождением от белокожих родителей; все же «цветные» расы — низшие, презренные, подчиненные, не имеющие никаких человеческих прав, следовательно, белые, как люди расы «господствующей», имеют право всячески притеснять их.

Для Бертов Смолуэйсов не существовало, да и не могло существовать здравого взгляда на человеческие отношения, а это и привело к мировой катастрофе. Развитие научных знаний совершенно изменило масштаб человеческих отношений. Благодаря быстрым механическим способам сообщения, люди в социальном, экономическом и физическом отношениях были приведены в такое тесное соприкосновение, что прежние обособления на отдельные государства утратили всякий смысл, явилась потребность в новой форме общежития. Но этой формы никто не мог установить. Берты Смолуэйсы были слишком узколобы, чтобы суметь выбросить из прежнего все сделавшееся непригодным, и, оставив одно разумное и полезное, приспособить к этому новое. Вместо того, чтобы по-дружески сойтись и оберегать права друг друга. Берты всех стран стали вести себя, как неразумное стадо: тесниться,

толкаться, поднимать споры и драки. Не умея, да и не желая отделаться от прежних национальных предрассудков, народы, тесно сдвинувшись, начали с особенным неистовством осыпая друг друга своими произведениями, давить пошлостями и другими экономическими мероприятиями и угрожать армиями и флотами, с каждым годом возрастающими до чудовищных размеров.

Трудно учесть, сколько средств и энергии было потрачено миром на военные сооружения. Одна Великобритания расходовала на флот и войско такие суммы и силы, которые сделали бы из англичан мировую аристократию, если бы они были употреблены на дело культуры, разумного воспитания и образования. Остальные европейские государства волей-неволей подражали ей в ее безумии. Вся Европа стала производить только огромные сооружения для истребления друг друга да крохотных, бессильных вырождаков в роде Берта Смолуэйса. Инстинкт самосохранения побудил и азиатские народы следовать примеру Европы.

Накануне всемирной войны на свете было шесть великих держав. Все они были вооружены с головы до ног и из всех сил старались превзойти друг друга количеством, силой и разрушительностью военных приспособлений.

Первой великой державой были Северо-Американские Соединенные Штаты. Эта, в сущности, чисто торгово-промышленная нация была вынуждена на военные мероприятия, во-первых, стараниями Германии захватить часть Южной Америки, а во-вторых, естественными последствиями своей необдуманной авантюры, толкнувшей ее на территориальный захват перед самым носом Японии. Штаты содержали два огромных флота на Востоке и Западе, а у себя внутри раздирались непрерывными спорами между общим и союзными правитель-

ствами. Второй великой державой являлся союз Японии с Китаем, с каждым годом все энергичнее и энергичнее протягивавший руку за ролью господствования на мировой сцене. За ними выступала Германская империя, старавшаяся осуществить свою давнишнюю мечту сначала о преобладании в Европе, а потом и во всем мире. Это были самые предприимчивые и воинственные державы в мире. Более мирной была Великобритания, составные части которой, к несчастью, были разбросаны по всему лицу земли, и которая, благодаря постоянным беспорядкам в Ирландии и восстаниям в колониях, вечно находилась на точке кипения. Она одарила свои многочисленные колонии всеми своими «прогрессивными» произведениями, произвела огромную литературу, дышавшую полным презрением к покоренным цветным расам и, навязывая им же эту литературу, со спокойным духом воображала, что все эти возбудительные средства останутся без всяких последствий, и что сонный Восток никогда больше не проснется.

А вышло не то. Индия, Египет и другие страны, находившиеся под властью Великобритании, воспитали новые поколения, полные сил, жажды деятельности, знаний и глубокого возмущения против своей угнетательницы. С большим трудом великобританские заправилы признали факт пробуждения сонного Востока, — признали и спохватились, но было уже поздно...

Еще более мирными оказались Франция и союзные с ней романские государства, а если и они щетинились, то поневоле. Россия, занятая своими внутренними делами, стояла в стороне от всеобщей суматохи. Мелкие же государства, стиснутые между крупными, кое-как влачили свое ненадежное существование и тоже высасывали из себя последние соки, чтобы тянуться за большими.

В каждой стране множество изобретательных и энергичных умов исключительно было занято усовершенствованием военных сооружений. Каждое государство старалось держать свои приготовления втайне, иметь запасы новейшего оружия, разведывать о вооружении своих соперников и превзойти их. Чувство опасности новых смертоносных изобретений угнетало все народы. Постоянно распространялись самые фантастические слухи: то англичане будто бы изобрели такую пушку, перед разрушительной силой которой ничто не могло устоять, то у французов появилось самое быстрострельное орудие в мире, то японцы придумали новое взрывчатое вещество чудовищной силы, то американцы обзавелись такими подводными лодками, что им теперь ничего не стоит в одну минуту уничтожить какой угодно флот. Каждый такой слух порождал всеобщую панику.

Все помыслы и чувства народов были устремлены на изобретение способов истребления друг друга. Но с усовершенствованием этих способов у людей стала исчезать прежняя доблесть и тот воинственный дух, которым отличались когда-то народы. Все боялись друг друга, и на войну никто не решался.

Вдруг война разразилась, и притом небывалая по своим жертвам и по способу, каким повели ее. Она явилась ошеломляющим ударом для всех, потому что никто не знал ее действительной причины. Между Германией и Соединенными Штатами давно существовали крайне натянутые отношения из-за ожесточенного тарифного спора и непризнания Германией принципа Монро. Не ладила Америка и с Японией из-за некоторых островов на Тихом океане, которые оба государства признавали своими. Это было известно всем, но никто не ожидал, что дело дойдет до войны. Да не это и было



главной причиной. Побудительным толчком к войне, как потом выяснилось, оказалось замечательное изобретение немецкого гения — пфорцгеймская машина и вызванная, благодаря этому изобретению, возможность постройки быстросходных воздушных судов. Германия в то время была самой энергичной державой, лучше всех организованной для смелых и решительных действий. Когда была изобретена пфорцгеймская машина, Германия быстро создала огромный воздушный флот и решила действовать.

Прежде всего, нужно было посчитаться с Америкой, как наиболее опасной соперницей. Соединенные Штаты, хотя и обладали летальной машиной довольно значительной практической ценности, построенной по системе Райта, но не слышно было, чтобы они озаботились созданием воздушного флота, поэтому Германия и решила использовать свой, пока заатлантические торгаши не успели обзавестись таким же. У Франции был уже воздушный флот, но он состоял из тихоходных судов, построенных еще в 1908 году и ни в каком случае не могших успешно соперничать с германскими. Французские воздушные суда были предназначены исключительно для рекогносцировок, отличались небольшими размерами, вмещали не более двадцати человек, очень незначительное количество запасов и могли пролетать только 40 миль в час. Великобритания вовсе не имела воздушного флота и, в припадке неуместного скряжничества, все еще никак не могла сторговаться с Беттериджем, изобретение которого, быть может, несколько не уступало германскому. Следовательно, ее не стоило и принимать в расчет. Об Японии ничего не было слышно, и Германия объясняла себе это «отсутствием духа изобретательности у этих азиатских обезьян». Вообще у Германии не было ни одного серьезного противника,

и она сказала себе: «Теперь или никогда я должна овладеть воздухом, как некогда Англия овладела водой. Медлить более нечего».

Быстро, планомерно и в глубокой тайне стала подготавливаться Германия к задуманному. Прежде всего, ей необходимо раздавить Америку, своего главного торгового конкурента и главный тормоз, препятствовавший распространению ее мирового владычества. Перебросить через океан воздушный флот, напасть на свою соперницу врасплох и заставить ее покориться, вот что задумала Германия.

Имевшиеся у германского правительства точные сведения о положении дел в других больших государствах убеждали его, что задуманное им смелое предприятие должно увенчаться успехом. Воздушные корабли были несравненно удобнее морских броненосцев, постройка которых была так трудна и требовала столько времени; воздушных же кораблей можно было наделать целую уйму в самое короткое время.

Нападение на Америку было только первым ходом в затеянной Германией гигантской игре. Как только будет отправлен воздушный флот к Новому Свету, тотчас же должен сооружаться другой, отдельные части которого предназначались для витания над Лондоном, Парижем, Веной, Римом, Петербургом, словом везде, где было необходимо произвести сильное впечатление и известное давление. Вообще Германия задумала во что бы ни стало покорить весь мир.

Роль Мольтке в этой воздушной войне была предназначена некоему Штернбергу, который вместе с принцем Карлом-Альбертом и разработал грандиозный план войны. Император долго колебался, прежде чем одобрить этот план. Только убедительные представления принца Карла-Альберта заставили его дать свое

согласие. Этот принц являлся средоточием мировой драмы. Он был любимцем германского империалистического духа, идеалом «нового рыцарства», возникшего после краха социализма, который последовал вследствие внутреннего раскола, недостатка дисциплины и скопления капитала в руках нескольких лиц из его же среды. Лысцы сравнивали Карла-Альберта с Алкивиадом, с Цезарем и с Черным принцем. Многим он представлялся даже воплощением ницшевского «сверхчеловека». Это был высокий, белокурый, крепко сложенный человек, очень мужественный и замечательно безнравственный. Первым его подвигом, поразившим всю Европу, и едва было не повлекшим за собой новой троянской войны, было похищение норвежской принцессы Елены и категорический отказ вступить с нею в брак. После этого он прошумел своею женитьбой на Гретхен Красс, молодой красавице-швейцарке. Затем с опасностью собственной жизни он спас трех рыбаков, лодку которых опрокинуло возле о. Гельгоlanda. Ради этого подвига и вслед за ним победы над американской яхтой «Дифендер» император простил ему предыдущие и назначил его главнокомандующим своим воздушным флотом. На этом ответственном посту принц проявил изумительную энергию и умение. Он хотел, по его собственному выражению, «положить к ногам Германии землю, море и самое небо». Национальная страсть к завоевательной политике нашла в нем своего высшего представителя.

Смело можно сказать, что воздушную войну создал он.

Само германское население было поражено быстротой действия своего правительства, несмотря на то, что это население должно уже было быть подготовлено к грандиозному предпринятию правительства современной литерату-

рой. Еще в 1906 году Рудольф Мартин издал интересную книгу под заглавием: «Будущее Германии кроется в воздухе».

## II

Но возвратимся к нашему герою. Берт Смолуэйс и понятия не имел обо всех этих грандиозных замыслах, пока неожиданно не очутился в самом, так сказать, их фокусе. Находясь еще в корзине шара, он с изумлением смотрел на воздушные чудовища, притаившиеся пока на земле. Каждое из них казалось ему длиной с главную улицу в Бен-Хилле, а шириной — с целую площадь. Никогда БERTу не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного этому воздухоплавательному парку, устроенному и содержимому в таком изумительном порядке. До сих пор молодой человек всегда представлял себе немцев толстыми, неподвижными, смешными тюфяками, вечно курящими коротенькую трубку, пьющими пиво и чувствующими особенное тяготение к отвлеченным наукам, жирным блюдам, вообще ко всему плохо перевариваемому.

Но он мог полюбоваться на представившиеся его взорам чудеса всего несколько минут. После третьего выстрела, когда шар, несмотря на последний выброшенный балласт, стал быстро опускаться, молодой человек понял, что теперь ему уже не убежать, и задался мучительными вопросами: какое дать объяснение этим людям, в руки которых он сейчас попадет и назваться ли Беттериджем или своим собственным именем.

— Вот невозможное-то положение! — простонал он, глядя на быстрое падение шара и судорожно цепляясь за веревки, на которых висела раскачивавшаяся из стороны в сторону корзина.

Вдруг он машинально взглянул на имевшиеся у него на ногах сандалии (теплые сапоги Беттериджа он скинул, когда

ему сделалось жарко в нижних слоях воздуха), и с досадой воскликнул:

— И угораздило же меня так по-дурацки вырядиться!.. За кого они меня примут?..

Но тут размышления его были прерваны. Корзина с силой ударилась о землю и накренилась на бок. Воздухоплаватель вылетел из нее и потерял сознание.

Очнулся он в качестве уже, так сказать, «знаменитости», судя по тому, что вокруг него шел удивленный шепот: — «Да, да, это Буттерайдш... сам мистер Буттерайдш!»

Берт нашел себя лежавшим на луговине, близ одной из главных аллей воздухоплавательного парка. С одной стороны бесконечной перспективой тянулись громадные воздушные суда, украшенные с передней части большим черным орлом с широко распростертыми крыльями; по другую сторону шел ряд газометров; в промежуточном пространстве вытягивались как исполинские змеи газопроводные рукава. Возле молодого человека беспомощно валялся его почти совершенно опустевший шар и имевший теперь вид сморщенного пузыря, а стоявшая тут же корзина походила на детскую игрушку в сравнении с теми гигантскими сооружениями, которые ее окружали.

Вокруг Берта толпилась масса робких и крепких людей в узких мундирах. Все были сильно возбуждены и громко разговаривали на непонятном ему языке. Он понял только одно постоянно повторяемое слово: «Буттерайдш».

«Черт возьми, вот так влопался!» — думал молодой человек, соображая, как ему теперь быть. Он заметил, что вблизи находился полевой телефон, перед которым стоял высокий офицер в синем мундире и что-то говорил в него, то и дело повторяя слово «Буттерайдш». Рядом с этим офицером находился другой, пониже, державший в руках сумку с письма-

ми и чертежами Беттериджа, взятую из корзины. Оба они по временам бросали взгляд на Берта.

— Вы говорите по-немецки, мистер Буттерайдш? — вдруг обратился к нему на ломаном английском языке третий офицер из обступившей его группы.

Берт решил притворяться ничего не понимающим человеком, у которого при падении отшибло соображение и память. Он обводил окружающих бессмысленным взглядом и повторял один и тот же вопрос: «Где я?»

Вокруг него заговорили возбужденнее прежнего. Поминали имя принца. Вдруг в отдалении прозвучал военный рожок, потом другой — поближе, затем третий — совсем близко. Эти сигналы заставили всех засуетиться. Мимо с грохотом пронесся по одному рельсу электрический вагон, телефон усиленно зазвонил и высокий офицер, выслушав что-то в трубку, коротко ответил, затем, обернувшись к группе около Берта, крикнул ей несколько слов. Тотчас же высокий, худощавый офицер, с длинными белокурыми усами, нагнулся к Берту и сказал ему на плохом английском языке:

— Мистер Буттерайдш, мы получили приказ к выступлению.

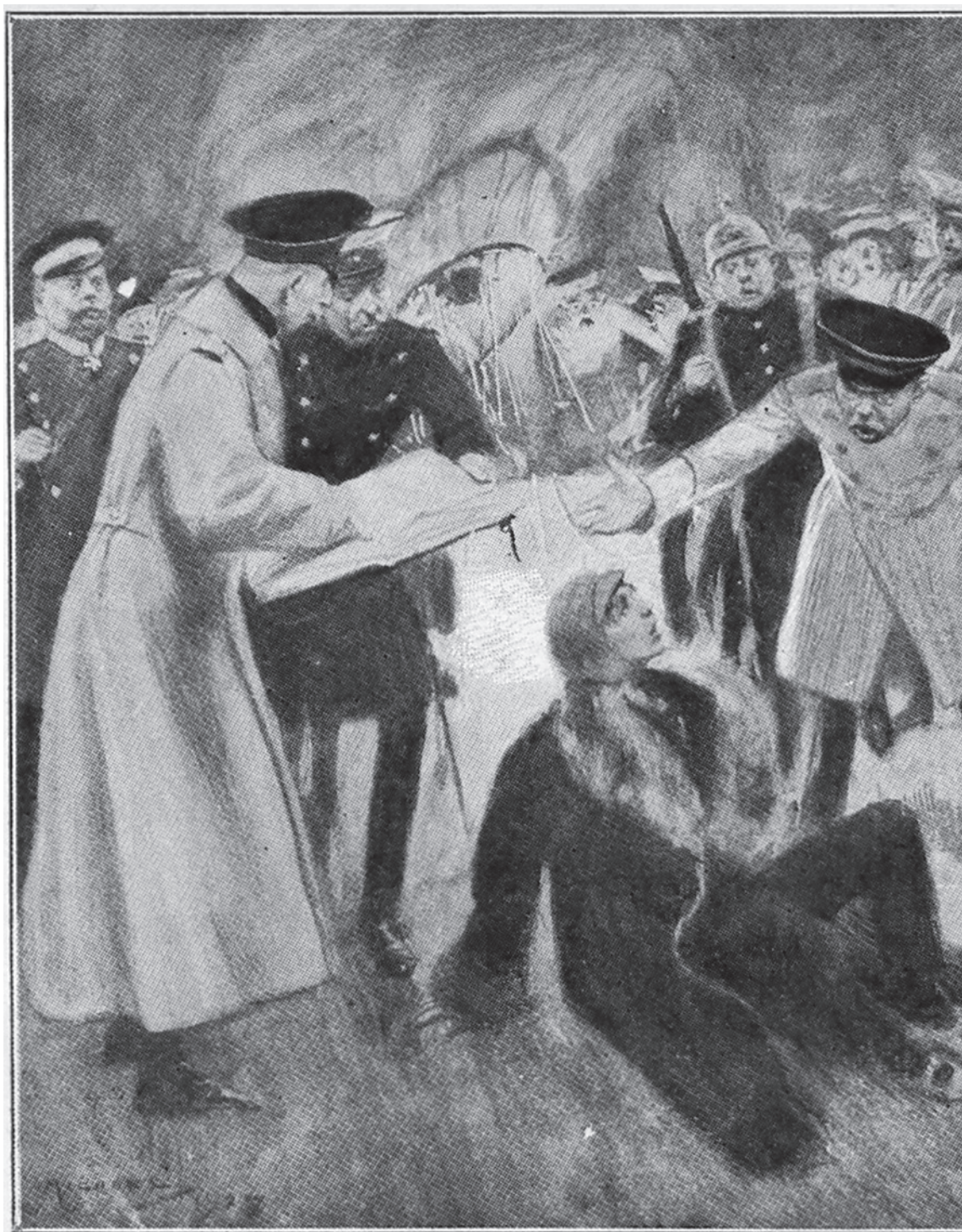
— Где я? — вместо ответа спросил глухим голосом Берт.

Офицер потряс его за плечо и повторил сказанное, но не получив и на этот раз ответа, с отчаянием воскликнул:

— С ним бесполезно говорить! Он ничего не понимает... Что же нам теперь делать с ним?

Офицер, стоявший у телефона, снова что-то крикнул. Белокурый выпрямился и отдал кому-то какое-то приказание, затем заставил упиравшегося Берта подняться на ноги. В это время к молодому человеку подошли два высоких, сильных солдата. Не успел Берт и рта разинуть, как уже сидел на скрещенных руках этих



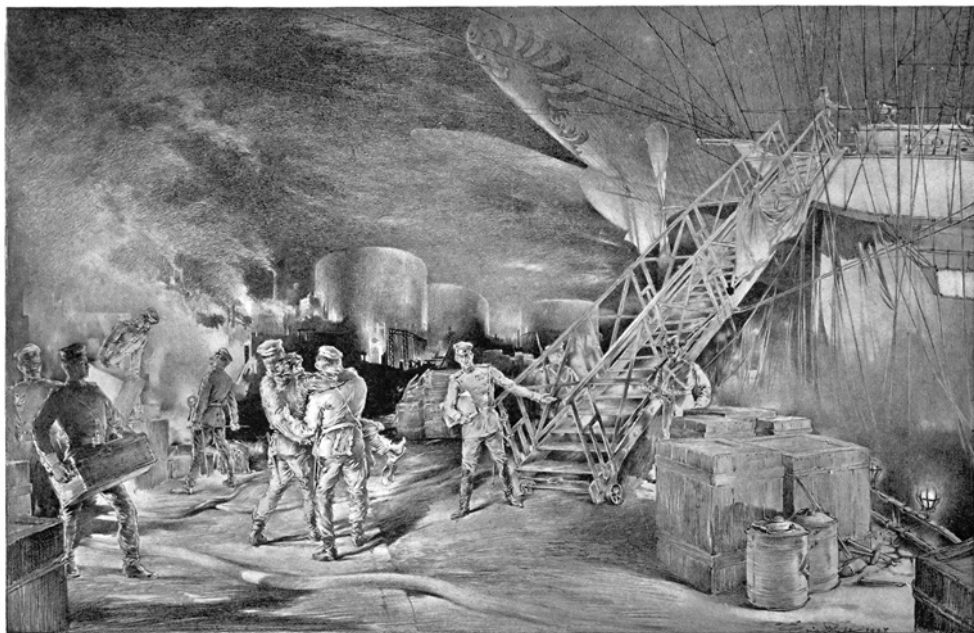






*Вокруг Берта толпился масса рослых и крепких людей в узких мундирах. Все были сильно возбуждены и громко разговаривали на непонятном ему языке (к с. 72).*





*В это время к молодому человеку подошли два высоких, сильных солдата (к с. 71).*

богатырей. Кто-то заставил его обхватить рукой шею каждого солдата. Затем, по команде «вперед!» его быстро понесли по аллее между воздушными кораблями и газометрами.

Мимо часовых, по веревочным опускаемым лестницам, потом по длинному, узкому проходу, через целые груды всевозможных предметов, Берт был куда-то внесен. Когда его поставили на ноги, он увидел себя в довольно помещательной кабине (так называются отдельные помещения в вагоне или на пароходе), обитой красной материей с алюминиевой отделкой. Какой-то длинновязый молодой офицер поспешно собирал со стола разные туалетные принадлежности и с недовольным видом ворчал что-то не особенно лестное по отношению к «Буттерайдшу». Очевидно, это был обитатель кабины, изгоняемый теперь из нее ради «почетного гостя». Забрав все со стола, офицер бросил мимолетный взгляд на своего заместителя и исчез.

Когда дверь за офицером неслышно затворилась и Берт остался один, он с любопытством оглядел свою новую «тюрьму», как уже успел назвать это уютное помещение, потом уселся на мягкую кушетку стоявшую около одной из стен и заменявшую постель, и принялся обсуждать свое положение.

«Посмотрим, что будет дальше, — думал он. — Меня, очевидно, считают за Беттериджа. Оставить их в этом заблуждении или нет?.. Интересно бы узнать, где я нахожусь? На настоящую тюрьму словно не похоже... Эх, кабы только не эти дурацкие сандалии, я отлично разыграл бы роль Беттериджа!.. Впрочем, чем черт не шутит, попробую. Может быть, как-нибудь и выпутаюсь из всей этой глупой истории...»

### III

Размышления его были прерваны. Дверь вдруг отворилась, и в кабину вошел представительный, внушительно-го роста, молодой офицер. У него были



*По команде «вперед!» его быстро понесли по аллее между воздушными кораблями  
и газометрами.*





*Какой-то длинновязый молодой офицер поспешно собирал со стола разные туалетные принадлежности (к с. 74).*

светло-рыжие волосы, и лицо его сияло довольством и жизнерадостностью.

— Добрый вечер! — проговорил офицер на чистейшем английском языке, кладя на стол сумку. — Так это вы, мистер Беттеридж?.. Вы прибыли как раз вовремя. Еще какие-нибудь полчаса и вы не нашли бы уже нас здесь.

Он с видимым любопытством оглядел Берта и покосился на его сандалии.

— Вам лучше следовало бы явиться сюда на своей летательной машине, мистер Беттеридж, — продолжал офицер

и, не дождавшись ответа, прибавил: — Принц приказал мне позаботиться о вас. Он извиняется, что сейчас не может принять вас, но в вашем внезапном прибытии видит, так сказать, перст Провидения... Ага, уже!

Этим восклицанием он прервал сам себя и стал прислушиваться. За стенами кабины раздались торопливые шаги множества людей и отдаленные сигналы, вдруг подхваченные вблизи. Кто-то громким, резким голосом выкрикивал короткие фразы. Продребезжал резкий звонок, и шаги участились, постепенно замирая где-то вдали. Потом вдруг воцарилась тишина, а через минуту послышались громкое бульканье, плеск и журчание падающей воды.

Нахмутив брови, офицер бросился вон из кабины. Вслед за тем Берт почув-



*— Добрый вечер! — проговорил офицер на чистейшем английском языке.*



ствовал сильный толчок и одновременно услышал громовые раскаты «ура». Офицер снова появился.

— Уж выпускают воду из баллона, — сказал он.

— Какую воду? — спросил Берт.

— А ту, которая удерживает нас на земле, — пояснил офицер и прибавил: — Славная выдумка, не правда ли?

Берт против своей воли сделал глупое лицо. Офицер заметил это и с улыбкой проговорил:

— Ну, конечно, вам не понять этого: вы ведь с этим еще незнакомы... А слышите, как заработала машина?.. Ну, теперь скоро!

Берт, конечно, ничего не понимал и только чувствовал, как слегка заколебалась кабина.

— А! Вот и поднялись! — восторженно воскликнул офицер. — Теперь только держись... понесемся как птицы!

— Понесемся! — испуганно повторил Берт. — На чем и куда?

Но офицер снова исчез. За стенами слышался возбужденный говор и происходил какой-то странный шум. Колебание кабины усиливалось.

— Поднимаемся! — торжественно объявил возвратившийся офицер.

— Да куда? На чем? Зачем? — приставал Берт. — Где я нахожусь? Что тут происходит? Я ничего не понимаю...

— Как не понимаете? — удивился офицер.

— Честное слово, ничего не понимаю! — искренно повторил Берт. — При падении на землю у меня отшибло всю память, и я никак не могу сообразить, — прибавил он, спохватившись.

— Ах, вот что! — тоном сожаления проговорил офицер. — Ну, так я вам сейчас объясню. Вы находитесь на борте «Фатерланда». Это — флагманское воздушное судно самого принца... он тоже находится здесь. Мы полетим на нем в Америку...

— В Америку?! — с изумлением и испугом воскликнул Берт.

— Да, в Америку, — невозмутимо повторил офицер. — Что ж в этом удивительного?.. Впрочем, мы пока еще не летим, а только поднимаемся, но скоро и полетим. Вот смотрите.

Офицер протянул за ременное ушко в стене. Часть обивки раздвинулась и обнаружила небольшое окно. Берт поспешил взглянуть в него. Действительно они тихо и плавно, под ритмический стук машины, поднимались над воздушноплавательным парком, имевшим вид огромной шахматной доски, разлинованной правильными перекрещивающимися рядами ярких огоньков электрических фонарей. Зияющая пустота в ряду крутобоких серевшихся воздушных кораблей указывала место, откуда поднялся «Фатерланд». За ним тихо поднималось второе чудовище, потом третье, четвертое и т. д., в полном порядке и на равных расстояниях одно от другого.

— В Америку! В Америку! — твердил Берт, отвертываясь от окна. — Но я вовсе не желаю туда... Я и так целых два дня мотался на проклятом пузыре, а теперь вот еще...

— Ну, теперь уж поздно сожалеть об этом! — со смехом перебил офицер. — Нужно было заявить о вашем нежелании сопутствовать нам, когда мы еще находились на земле, а теперь вам волей-неволей придется покориться неизбежному.

Берт на минуту задумался, потом спросил:

— Но я все-таки не понимаю, зачем мы летим в Америку!.. А главное — к чему вы тащите с собой меня?

Офицер тоже задумался и через минуту проговорил серьезным тоном:

— Я вам все объясню. Находишься мы на земле, я бы этого не имел права сделать, а здесь можно... вы ведь не можете

уйти отсюда и выдать нашу тайну. Ну-с, так вот видите, в чем дело...

— Виноват! — остановил его Берт. — Скажите, вы — немец?

— Чистокровный. Мое имя — Курц. Я — лейтенант воздушного флота.

— А почему же вы так хорошо говорите по-английски?

— Моя мать была англичанка, и меня воспитывали в Англии. Но душой я, конечно, немец... Теперь поняли?

— Понял. Продолжайте, пожалуйста, свое объяснение. Я сгораю от нетерпения.

Лейтенант слегка наклонил голову и продолжал:

— Мы, во главе воздушного флота, летим в Америку, чтобы посчитаться с этими торгашами. Мы давно уже собирались сделать это, но нас кое-что останавливало. Теперь это препятствие устранено, и вот мы летим... А относительно себя не беспокойтесь. Вам ничего не сделают худого. Вот увидите с принцем и столкнетесь с ним. А пока успокойтесь и покоритесь неизбежному.

#### IV

Берт сел и глубоко задумался, усиливаясь привести в порядок свои мысли. Курц смотрел в окно, как поднимались другие корабли. Потом, когда ему это надоело, он закрыл его, подсел к своему спутнику и вновь заговорил.

— Все это, — начал он, — должно быть ново для вас, мистер Беттеридж. Ведь конструкция наших воздушных кораблей совсем иная, чем ваша. Видите, как здесь все удобно устроено. Вот, например, постель (он нажимом кнопки заставил выдвинуться из стенки и вновь скрыться туда прекрасную койку со всем необходимым). А вот туалетные принадлежности (он открыл стенной шкафчик, также снабженный нужными предметами).

— Мыться здесь, к сожалению, много нельзя: для этого нет лишней воды, она

имеется только для питья. Купанье, души и тому подобные удовольствия придется оставить до Америки. Обтираться можно. Для бритья ежедневно будете получать порцию кипятку. В ящике под кушеткой найдете теплое одеяло и меховую одежду; в них скоро окажется надобность. В верхних слоях, куда мы скоро попадем, говорят, ужасный холод. Хотя я и не был там, но знаю это... Впрочем, вам это должно быть хорошо известно: ведь вы уже побывали там на своем «пузыре», как вы удачно назвали ваш несчастный шар... Ну-с, еще что?.. Ах, да! Вот за этой дверкой складной стол с таким же стулом... Смотрите, какие это легкие вещи.

Он подхватил стул и принялся балансировать его на кончике мизинца.

— Легко и красиво, не правда ли?.. Это из алюминия с магниевой лигатурой, а внутри пусто... Подушки наполнены водородом. Умно, а? Все судно такого устройства. И во всем флоте нет человека, вес которого превышал бы 112 фунтов, исключая принца и еще двух-трех начальствующих лиц... Пытались уменьшить их вес посредством курса потения, но ничего не вышло... Завтра покажу вам все судно. Это доставит мне огромное удовольствие... А вы ужасно молодо выглядите, мистер Беттеридж, — неожиданно проговорил он, озаряя Берта своею ясной улыбкой. — Я всегда представлял себе вас стариком с седой бородой... Вроде древних философов, а вы оказались совсем молодым, но таким умным человеком.

Берт довольно ловко ответил на этот комплимент.

— А почему вы явились к нам не на своей летательной машине, мистер Беттеридж? — вдруг спросил лейтенант.

— Это... очень длинная история, — ответил с запинкой Берт и поспешил перейти к другому. — Мистер Курт (он не мог выговорить немецкое слово «Курц», как немцам было трудно про-

изнести английское «Беттеридж»), не можете ли вы одолжить мне пару ботинок? Мне страшно надоели эти противные сандалии... Я, знаете ли, держал пари с одним приятелем, что...

— О, с удовольствием! — воскликнул услужливый офицер и, не дослушав дальнейшего объяснения своего собеседника, стремглав вылетел из кабины.

Через несколько минут он возвратился с целым ворохом различной обуви.

— Вот выбирайте, пожалуйста, — запыхавшись проговорил он, кладя на пол принесенную обувь, между которой особенно выделялась пара бархатных туфель пурпурного цвета, красиво вышитых золотыми цветами.

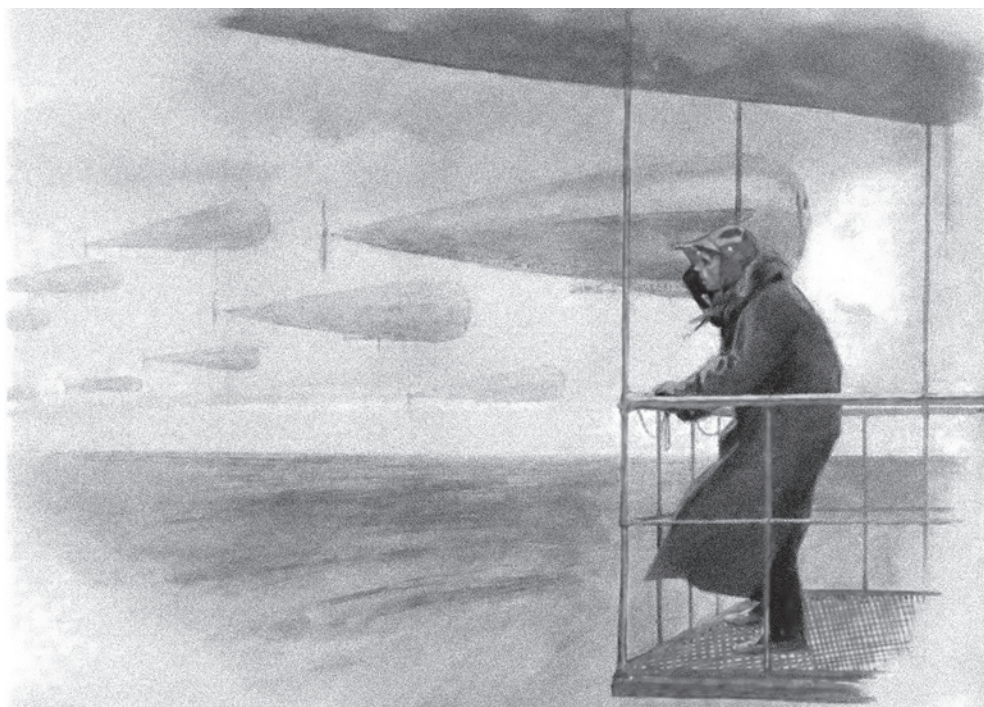
— Ах, только не эти! — воскликнул Курц, быстро выхватывая из кучки обуви туфли, и смущенно прибавил: — Это мне подарила... сестра, и я ни за что не расстанусь с ними.

— Понимаю, — с сочувственной улыбкой произнес Берт и выбрал себе пару простых, но прочных ботинок.

Пока он переобувался в них, молодой офицер свои драгоценные туфли вместе с остальной обувью отнес обратно к себе. Когда он вернулся назад, то нашел своего собеседника смотревшим в окно, которое тот сумел открыть. В окно ничего особенного не было видно, и Курц сказал:

— Отсюда вы ничего не увидите. Пойдемте лучше на галерею. Там мы больше увидим.

Они вышли в длинный проход, слабо освещенный небольшой электрической лампочкой, а оттуда на открытый балкон, с которого по легкой лестнице спустились к нависшей над бездной сквозной металлической галерейке. Берт со всевозможными предосторожностями следовал за своим проводником, более зна-



*Они вышли на открытый балкон.*

комым с этими опасными переходами. С галерейки ясно развевалось чудесное зрелище первого воздушного флота, быстро несшегося по ночному воздуху. Корабли летели клином, имея во главе «Фатерланд» и напоминая своим видом гигантских рыб. Огней на них почти совсем не было видно. Машины мерно работали. Флот находился уже на высоте 5-6000 футов, но все еще поднимался.

— Как, вероятно, должен быть счастлив человек, который может делать такие изобретения! — восторженно произнес лейтенант, любуясь этим действительно грандиозным зрелищем. — А каким образом вам, мистер Беттеридж, впервые пришла мысль об устройстве вашей машины? — обратился он к своему спутнику.

— Да разве это можно припомнить? — ловко увильнул и на этот раз мнимый изобретатель. — Пришла эта мысль — вот я и ухватился за нее.

— У нас все ужасно рады, что удалось залучить вас, — продолжал Курц. — Боялись, как бы ваше изобретение не попало в руки ваших соотечественников... Неужели они не старались об этом?

— Старались, но... Ничего не вышло, — ответил как бы нехотя Берт.

— Почему же? — полюбопытствовал лейтенант.

— Да потому... Впрочем, это очень длинная и скучная история, — проговорил Берт, не зная, что поскладнее сказать.

— Да? — с видимым разочарованием протянул Курц. — Ну, вы когда-нибудь на досуге расскажите... А изобретать вообще, должно быть, очень трудно. Мне вот, кажется, никогда ничего не удастся изобрести! — со вздохом прибавил он.

Наступило молчание. Каждый был погружен в свои мысли. Вдруг раздался звонок; зов к запоздавшему обеду, как

пояснил Курц, и пригласил Берта вместе с собой в общую столовую, где будет присутствовать и принц.

— Но как же мне быть? — возразил молодой человек: — у меня нет подходящего костюма для парадного обеда. Я всегда так был углублен в...

— О, об этом не беспокойтесь! — перебил его Курц: — У нас здесь нет никаких церемоний. Каждый явится в том, в чем обыкновенно ходит. На ваш... рабочий костюм никто и не обратит внимания. Снимите только верхнее пальто, потому что столовая отапливается особенным способом, и в ней всегда очень тепло. Идемте!

Через несколько минут, явившись вместе со своим проводником в столовую, Берт очутился там в обществе «немецкого Александра», героя обеих гемисфер (полушарий), принца Карла Альберта.

Берт внимательно осмотрел его. Это был красивый белокурый человек, средних лет, с глубоколежащими сероватоголубыми, блестящими глазами, немного вздернутым носом, закрученными кверху усами и длинными белыми пальцами. Он сидел выше других, как бы на троне.

Берта особенно поражало, что принц во все время смотрел не на присутствовавших, а поверх них, точно человек, подверженный видениям. Вокруг стола стояло человек двадцать офицеров разных рангов. Все с нескрываемым любопытством ожидали появления «знаменитого Буттерайдша» и очень разочаровались, когда увидели его.

Принцу представили эту знаменитость. Он милостиво кивнул ей головой и сказал несколько слов, которых Берт не понял, но догадался отвесить низкий поклон. Рядом с принцем сидел пожилой человек с обветрившимся лицом в глубоких складках, с пушистой седой бородой



и в серебряных очках, очень внимательно наблюдавший за Бертом.

После непонятных для нашего искателя приключений церемоний все уселись за стол и с заметным аппетитом принялись за еду...

Блюда были самые простые: суп, жареная баранина и сыр. Говорили мало и очень сдержанно. Вообще в столовой замечалась какая-то особенная торжественность, навесная, вероятно, отчасти усталостью после напряженной деятельности, а отчасти ожиданием грядущих событий и связанных с ними опасностей. Принц все время был погружен в думы.

Только по окончании обеда он вдруг поднялся и, с бокалом шампанского в руке, провозгласил тост за императора. Все присутствовавшие хором грянули громкое «Noch» (ура).

Так как куренье было строжайше воспрещено на всем судне, то все тотчас же по окончании обеда покинули столовую и разошлись по своим местам. Берт тоже отправился в свое помещение, улегся там на кушетку и сейчас же заснул.

## V

Он видел во сне Эдну и слышал ее последние слова: «до завтра, Берт!» Вслед за тем он проснулся и принялся мечтать об этой девушке, которая так нравилась ему. Что если бы ему удалось продать секрет изобретения Беттериджа, ведь у него тогда оказалось бы в руках целое состояние, и он мог бы жениться на Эдне. В самом деле, вдруг ему дадут несколько десятков тысяч фунтов — такие суммы уж получались изобретателями и даже большие, — ведь тогда он мог приобрести домик с садом, завести хорошую обстановку, новый надежный автомобиль, одеться франтом и надарить Эдне разной разности.

Вот они зажили бы тогда!.. Положим, выдавать себя за другого и распо-

ряжаться его изобретением — очень рискованно: того и гляди уличат в обмане... Вот, если бы удалось поскорее получить деньги, ударить с ними и зажить под чужим именем где-нибудь подальше...

Можно потом выписать к себе и Эдну... Да, — продолжал он свои размышления, — если мне и удастся получить деньги, то как ударить с этого проклятого самолета? Ведь не спустят же его на землю, чтобы посадить меня. Придется, значит, и мне лететь вместе с этими головорезами в Америку, да не в виде хоть и далекого, но простого путешествия, а на войну и еще какую!.. Впрочем, такая война едва ли затянется надолго. Живо покончат с нею. И тогда... А что если американцы — ведь они тоже не промах — возьмут да и запустят в нас какую-нибудь игрушку в виде хорошенькой разрывной бомбочки? Ведь тогда от нашего хваленного «Фатерланда» со всеми находящимися на нем и следа не останется...

Впрочем, что ж, если суждено так случиться, то, значит, судьба, ничего не поделаешь... Нет, что ни говори, а все-таки обидно будет погибнуть в самой, так сказать, славе, богатстве и во цвете лет...

Если мне это суждено, то, по крайней мере, пусть воспользуется моим богатством та, которая мне после него дороже всего на свете... Да, нужно непременно оставить в ее пользу завещание. Может быть, его потом и найдут, если даже и погибнет эта немецкая выдумка, на которую меня занесла судьба.

И будущий богатч начал вырабатывать в голове текст завещания, бессознательно прислушиваясь к однообразному стуку машины. Потом он вдруг встал и, почувствовав сильный холод, надел меховое пальто, такую же шапку и сапоги, которые нашлись вместе с меховыми вещами. В кабине царствовал полумрак, несмотря на открытое окно. Берт отыскал кнопку, которую ему указал Курц, повернул ее, и

небольшое помещение мгновенно озарилось мягким электрическим светом. После этого он запер наружную дверь, сел к столу, вынул из находившейся у него на груди фланели чертежи, объяснительные к ним записи Беттериджа и разложил их на столе. Потом открыл ящик стола, достал оттуда тетрадку бумаги и письменные принадлежности. Ему сначала хотелось разобраться в чертежах и записях Беттериджа настолько, чтобы суметь дать необходимые объяснения, когда потребуется.

Школьные сведения, а главное — практика, приобретенная в мастерской Гребба, помогли ему понять главную суть изобретения Беттериджа, тем более, что чертежи, рисунки и записки были сделаны очень ясно и находились здесь все налицо. Часа в полтора он скопировал самое, по его мнению, необходимое, а об остальном сделал для себя отметки. Убрав снятые копии и отметки туда, где были оригиналы, а последние сунув в боковой карман сюртука, он с глубоким вздохом облегчения отпер дверь, погасил свет и снова улегся на постель. Что же касается завещания, то он даже не вспомнил о нем и, повертевшись несколько минут на постели, погрузился в крепкий сон.

## VI

Граф Винтерфельд принадлежал к тем государственным деятелям, которые страдают бессонницей, и по ночам, вместо отдыха, обдумывают и решают важные дела. В эту ночь ему попалось особенно интересное дело, так что он не мог заснуть даже под утро, как обыкновенно делал, а потому явился к Берту, когда тот, хотя уже и не спал, но еще находился в постели. Молодой человек пил кофе, принесенный ему солдатом.

Седые волосы посетителя и массивные серебряные очки придавали ему в утреннем освещении почти добродушный вид. Он свободно говорил по-английски, но с заметным немецким акцентом. Вежливо извинившись за раннее посещение и отрекомендовавшись, он, не дожидаясь приглашения, уселся к столу и положил на него принесенный с собой портфель; потом облокотился обеими руками на стол и пристально уставился на Берта своими пытливыми и умными глазами.

— Мистер Буттеридж, вы попали к нам против своей воли, — вдруг сказал он.

— Почему вы так думаете, граф? — спросил Берт смущенный пытливым взглядом и этим неожиданным, но правдивым замечанием посетителя.

— Сужу по некоторым данным, — ответил тот, продолжая пристально смотреть на молодого человека. — В корзине вашего шара оказалось несколько ландкарт<sup>1</sup> и все они английские.



<sup>1</sup> Географическая карта.

Провиант у вас был такой, каким обыкновенно запасаются, когда отправляются на простую прогулку, а не в дальнее путешествие, хотя бы и воздушное. Вы дергали за веревку, открывающую клапан, но безуспешно: она не поддавалась, потому что зацепилась, и вы не могли справиться с шаром. Другая воля, а не ваша собственная привела вас к нам. Разве не так, а?

Пока еще более смущенный Берт придумывал, что ответить на все это, странный посетитель озадачил его новым вопросом:

— А куда девалась ваша дама?

— Дама?! — искренно удивился Берт. — Какая дама?

— Будто уж вы не знаете? — улыбнулся старик. — С вами находилась дама до самого Дорнфельда, где вы хотели спуститься, а оттуда она исчезла. Вот мне и хотелось бы знать, как и где вы высадили вашу даму.

— Но каким путем вы узнали и об этом? — продолжал изумляться Берт, вспомнив наконец, о какой даме говорит его допросчик.

— Также путем некоторых... данных. Кроме того, на вас оказались кнейповские сандалии вместо обыкновенной обуви; это тоже доказывает, что вы даже на самый шар попали как бы случайно. Правда, в корзине шара нашлись теплые сапоги, какими обыкновенно запасаются, когда предполагают попасть в холодную страну или в верхние слои воздуха, но эти сапоги не ваши, — они для вас слишком велики. Все это наводит меня на некоторые... размышления...

— Но... — начал было Берт и, окончательно смутившись, замолчал.

— Это к самой сути дела не относится, хотите вы, вероятно, сказать? — заметил с улыбкой старик. — Хорошо, пусть будет так. Перейдем к этой сути. Вышшая сила, — продолжал Винтерфельд,

переходя на торжественный тон и придавая своему лицу соответствующее выражение, — привела вас с вашей тайной к нам. Благодарение за это провидению (он с благоговением поднял вверх глаза). Это оно сделало для счастья и Германии и моего принца... Вероятно, я не ошибусь, если предположу, что вы имеете свою тайну при себе? Ведь вы так опасаетесь разных шпионов и любителей чужой собственности... Мистер Буттеридш, Германия желает приобрести вашу тайну, т. е. ваше изобретение...

— Да?! — радостно воскликнул Берт.

— Да, — подтвердил Винтерфельд, вынимая из своего портфеля листок с заметками и пробегая его глазами. — Мне поручено сообщить вам, что наше правительство с самого начала переговоров с вами, посредством известных вам частных лиц, готово было сделать это, но нам необходимо было лично видеть вас и убедиться, что тайна вашего изобретения находится при вас, а не в чьих-либо еще руках. Теперь мы удостоверились в этом, и я уполномочен заявить вам, что мы готовы уплатить вам просимую вами сумму в сто тысяч фунтов стерлингов.

— Неужели! Ах, черт возьми! — невольно вырвалось у пораженного Берта.

— Как... что вы сказали? — спросил не менее изумленный этим восклицанием старый дипломат.

Берт тотчас же спохватился и поспешил оправдать свою неосторожность.

— Простите, граф! Это все моя головная боль, полученная мной при падении из корзины, — пробормотал он, схватившись за голову. — Продолжайте, пожалуйста.

— А-а! Да, это неприятно... Ну-с, кроме того, мне поручено объявить вам, что все наше рыцарство готово выступить в защиту дамы, которую вы так мужественно отстаиваете против британского лицемерия...

— Опять дама?! — закричал молодой человек, но, припомнив любовные письма Беттериджа, подумал: «Уж не читал ли этот старый хитрец все письма? Если да, то за какого бабника он должен принимать меня!» — Ах, это вы о ней? — произнес он вслух. — Ну, это уж старая история, и я просил бы...

— Да? — засмеялся дипломат. — Ну, хорошо, оставим и это в стороне. Перейдем к третьему пункту вашего условия. Вы желаете иметь титул, он тоже может быть исходатайствован вам. Вообще мы согласны на все ваши условия. Далее мне поручено передать вам, что вы попали к нам — теперь уж можно говорить об этом — в эту минуту крупного политического переворота. Мы идем на Америку. Страна эта совершенно не подготовлена к борьбе. Соединенные Штаты всегда считали себя достаточно защищенными океаном и своим флотом, но такой защиты теперь уж недостаточно. Мы наметили себе там пункт, который займем прежде всего, и устроим на нем настоящее орлиное гнездо, нечто в роде второго Гибралтара. Там будут наши доки и склады. Оттуда наши воздушные корабли будут носиться над всей Америкой до тех пор, пока она не примет всех наших условий. Понимаете?

— Понимаю, — ответил заинтересованный Берт. — Этот план, по-моему, все-таки очень смел.

— Да, но не безнадежен, и даже вполне выполним, если к нашим воздушным кораблям и летающим драконам присоединить еще ваше изобретение. Тогда в наших руках сначала будет Америка, а потом и... Впрочем, мы пока посчитаемся только с Америкой. Вы видите, я от вас ничего не скрываю... Итак, я уполномочен объявить вам, что Германия вполне оценила вас и предлагает вам поступить к ней на службу. Мы предлагаем вам должность главного инженера нашего

воздушного флота с тем, чтобы вы, в возможно непродолжительный срок, создали нам целый рой ваших «ос» и были их главным начальником. За все это мы, во-первых, выдаем вам полностью сумму, которую вы назначили, т. е. сто тысяч фунтов стерлингов; во-вторых, предлагаем вам ежегодное содержание в три тысячи фунтов; в-третьих, пожизненную пенсию в тысячу фунтов в год, и в-четвертых, желаемый вами титул. Вот условия, которые я уполномочен предложить вам. Согласны вы на них?

Старый дипломат умолк и впился в лицо Берта своими пронизательными глазами. Тот так был ошеломлен всем услышанным, что даже не заметил этого пытливого взгляда. Молодой человек уже видел осуществление своих ночных грез, и притом в таком размере, о котором не смел мечтать даже во сне. Он не знал, что ответить. Его особенно смущало предложение быть главным инженером и строителем воздухоплавательных машин. Ведь он в этом ничего не смыслил, и, конечно, сразу осрамится, чем тут же и выдаст себя. Как бы поумнее отделаться от этого предложения? Вот деньги — дело другое, титул — тоже; он даже очень шел бы к человеку с ста тысячами фунтов стерлингов в кармане... «Впрочем, пожалуй, откажусь и от титула. Вероятно, они хотят дать его только в том случае, если бы я согласился принять все их предложения. Лучше одни деньги, это важнее всего». В таком духе он решил ответить. Но прежде всего ему хотелось удостовериться, убеждены ли они, что у него в руках находится вся тайна Беттериджа. Потом нужно постараться устроить получение денег на имя не Беттериджа, а на какое-нибудь другое и лучше всего на его собственное, тем более, что оно здесь никому неизвестно.

— Вы, значит, вполне теперь убедились, что тайна моего изобретения находится всецело у меня? — спросил он.



— Вполне, — ответил старый дипломат.

— Ну, так вот что, — продолжал Берт, стараясь держать себя как можно увереннее и тверже, хотя голос его заметно дрожал, — я бы не желал, чтобы в этом деле упоминалось имя Беттериджа... не нахожу этого удобным, понимаете?

— Ради предосторожности, во избежание огласки? — спросил с какой-то загадочной улыбкой старик.

— Да, и вообще... Следовательно, вы покупаете тайну, а я продаю вам ее по поручению... вы уже знаете кого (тут голос его невольно еще больше дрогнул: пристальный взгляд немца страшно смущал молодого авантюриста)? Я бы желал извлечь из всей этой истории исключительно одну материальную пользу, понимаете?

Граф молчал. Только пронизательный взгляд его становился все острее и невыносимее. Берт с храбростью отчаяния понесся против течения.

— Я бы желал, — продолжал он, — назваться другим именем... Смолуэйсом, например. От титула и от предлагаемой вами должности я отказываюсь... Я решил жить в тишине и заниматься только наукой... А относительно денег я бы просил сделать так: тотчас же по получении от меня чертежей 30 000 фунтов внести в лондонское отделение земельного банка в Бен-Хилле, в графстве Кент, 20 000 в Английский банк, 25 000 во французский и 25 000 в германский, только не на имя Беттериджа, а на имя Альберта-Питера Смолуэйса. Это мое первое условие.

— Дальше! — коротко проговорил старик.

— Второе мое условие заключается в том, чтобы вы не навели никаких справок о моем праве на эти чертежи. Они у меня, я вам их уступаю за условленное вознаграждение — вот и все. Поняли?

Наступило довольно продолжительное молчание. Наконец граф Винтерфельд вздохнул, подвинул к себе лист чистой бумаги, взял в руку перо и обратился к Берту:

— Как вы называли имя, на которое желали бы, чтобы были внесены деньги?

Берт повторил полностью свое имя. Граф записал его, потом откинулся на спинку своего стула и повелительно произнес:

— Ну-с, мистер Смолуэйс, теперь расскажите мне поподробнее о своей действительной профессии и о том, как вы попали в шар Беттериджа.

## VII

Граф Винтерфельд, капля по капле, выкачал из Берта Смолуэйса всю его историю. Злополучному искателю приключений пришлось дать полную исповедь не только о происшествии, сделавшем его обладателем тайны Беттериджа, но и обо всем своем прошлом. Выведав все это, старый дипломат самодовольно проговорил как бы сам себе:

— Интересная история... интереснее даже, нежели я предполагал!.. Следовательно, это и была та именно дама... Гм! да, крайне интересно... Ну, мой друг, — обратился он к Берту, — дело ваше едва ли выгорит: принц будет очень раздосадован... Он всегда действует так же решительно, как Наполеон... Когда ему доложили о вашем появлении в парке, он не задумавшись приказал: «Взять его с собой. Это моя звезда». Звезда его судьбы и вдруг такое разочарование!.. Это должно очень неприятно поразить его, и я опасаюсь, как бы вы... Он рассчитывал иметь дело с самим мистером Беттериджем, но, увидев вместо него вас, сразу усомнился... Взгляд у него всегда очень верный и он редко ошибается в своих суждениях, притом он человек горячий, высокой честности и очень самолюбивый.

вый. Можете представить себе, как должно все это подействовать на него? Не придумаю даже, чем успокоить его...

— Но ведь главное — чертежи, а они все у меня, — решился, наконец, возразить Берт, хватаясь хоть за эту соломинку.

— Да, это-то так... Но принц интересуется мистером Буттеришем не только как изобретателем, но и как человеком из-за его романтической истории с той дамой. Кроме того, он имел на него виды. И все это оказалось комедией, мыльным пузырем, который тут же лопнул... Ну, да что будет возможно, я постараюсь сделать для вас, молодой человек, успокойтесь. Давайте чертежи.

У Берта помутилось в глазах. Все надежды разом рухнули.

— Но как же это! — вскричал он со слезами на глазах, — вы хотите взять их у меня так... совсем даром?..

— Да хотя бы и так, — строго говорил старый вельможа: — ведь они и вам достались даром.

— Но я мог бы их уничтожить...

— Чужие-то документы, и притом такие важные?!

— А что ж такое?.. Говорят, они и Беттериджу-то не принадлежат. Он тоже у кого-то...

— Разве?.. Ну, это мы потом разберем. Давайте их.

— Нет, так я их ни за что не отдам! — в припадке отчаяния вскричал злосчастный искатель приключений, судорожно прижимая левую руку к груди, где над сильно бившимся сердцем находились требуемые чертежи... Лучше я их...

— Потихе, потихе, мой милый! — остановил его граф повелительным голосом и затем тоном презрительного сострадания прибавил: — Послушайте меня до конца. Вы получите за эти чертежи 500 фунтов. Это все, что я могу сделать для вас... в крайнем случае, сам

уплачу. Давайте же их, не задерживайте меня... мне некогда.

Берту осталось только покориться и исполнить требование. Оставшись один, он несколько времени с задумчивым видом смотрел на то место, где только сидел его сановный собеседник, потом опустился на кушетку и принялся, по своему обыкновению, рассуждать вслух:

— Черт возьми, все выпытала от меня эта старая лисица!.. И какой я был дурак, что не сумел остаться Беттериджем!.. Этим все дело испортил... Сам виноват, упустил птицу прямо из рук!.. Просто хоть в петлю полезай с горя!.. Возился-возился с этими дьявольскими чертежами, а что из всего этого вышло?.. Лучше бы уж уничтожил их. Пускай бы эти проклятые немцы побесновались!.. А главное — зачем я назвался своим дурацким именем? Впрочем, перед этой лисой мне все равно до конца не выдержать бы, и тогда могло выйти еще хуже, а теперь хоть пятьсот фунтов, да есть. Что ни говори, а это все же деньги, тем более, что тайна Беттериджа мне, действительно, досталась даром. Значит горевать-то особенно не стоит. Только бы удалось получить хоть эти деньги, потом выбраться подобру-поздорову из этой проклятой воздушной тюрьмы да вернуться на родину.

Несколько утешенный таким выводом из всех своих рассуждений, пленник (каким он совершенно основательно считал себя) замолк и стал мечтать, что он сделает, когда вернется на родину с теми пятьюстами фунтов стерлингов, которые, как-никак, а все-таки послала ему судьба.

## VIII

Часа через два Берт Смолуэйс, в позе преступника, стоял перед принцем Карлом-Альбертом.

Принц находился в собственной кабине, устроенной в самом конце воздушного судна, отдельно от прочих. Это было довольно большое и очень красивое помещение, искусно отделанное узорчатым соломенным плетеньем, с окном почти во всю боковую стену. Карл-Альберт помещался в легком, удобном кресле, перед складным столом. Рядом с принцем сидел граф Винтерфельд, а по бокам — двое высших офицеров с серьезными лицами. На столе были разложены ландкарты Соединенных Штатов, чертежи и письма Беттериджа и другие бумаги.

Берта не приглашали садиться, и он все время должен был стоять. Беседа между принцем и присутствовавшими, происходила на немецком языке, так что Берт равно ничего не понимал из нее. Лицо принца было строго и даже грозно; лица прочих — бесстрастны.

Поговорив несколько времени с присутствовавшими, принц вдруг обернулся к Берту и спросил его на правильном английском языке:

— Видели вы, как летает машина Беттериджа?

Берт невольно вздрогнул и поспешил ответить слегка дрожащим голосом, которому тщетно старался придать твердость:

— Видел, ваше высочество.

— Где именно?

— В Бен-Хилле, ваше высочество.

Карл-Альберт вопросительно взглянул на графа Винтерфельда. Тот по-немецки пояснил, где находится Бен-Хилл.

— А какова скорость ее полета? — продолжал принц.

— Не могу с точностью сказать, ваше высочество, — отвечал Берт более твердым голосом. — Но утверждают, что она может пролетать 80 миль в час.

Опять переговоры принца с присутствовавшими по-немецки, потом новый вопрос Берту по-английски:

— А может ли машина Беттериджа держаться на воздухе неподвижно?

— Да, ваше высочество, я сам видел, как она стояла на одном месте и реяла как оса.

После нового обмена мыслей с присутствовавшими принц еще раз обратился к Берту, скользнув по нему острым, как сталь, взглядом.

— Мистер Смолуэйс, вы прокрались сюда, на наш воздушный корабль, при помощи целого ряда самой гнусной, систематической лжи, и я был бы в праве...

— Но, ваше высочество... — начал было побледневший Берт.

Принц остановил его повелительным движением руки и взглянул на графа Винтерфельда.

— Его высочество был бы вправе распорядиться с вами, как со шпионом, — сказал последний Берту. — Но принимая во внимание...

— Милорд, — пытался оправдываться Берт, — ведь вам хорошо известно, что я явился сюда не по своей...

— Шшш! — прервал его граф и продолжал: — Но принимая во внимание счастливое стечение обстоятельств, благодаря которым к нам в руки попал секрет изобретения Буттериджа, его высочество решил, не причиняя вам никакого вреда, оставить вас пока здесь...

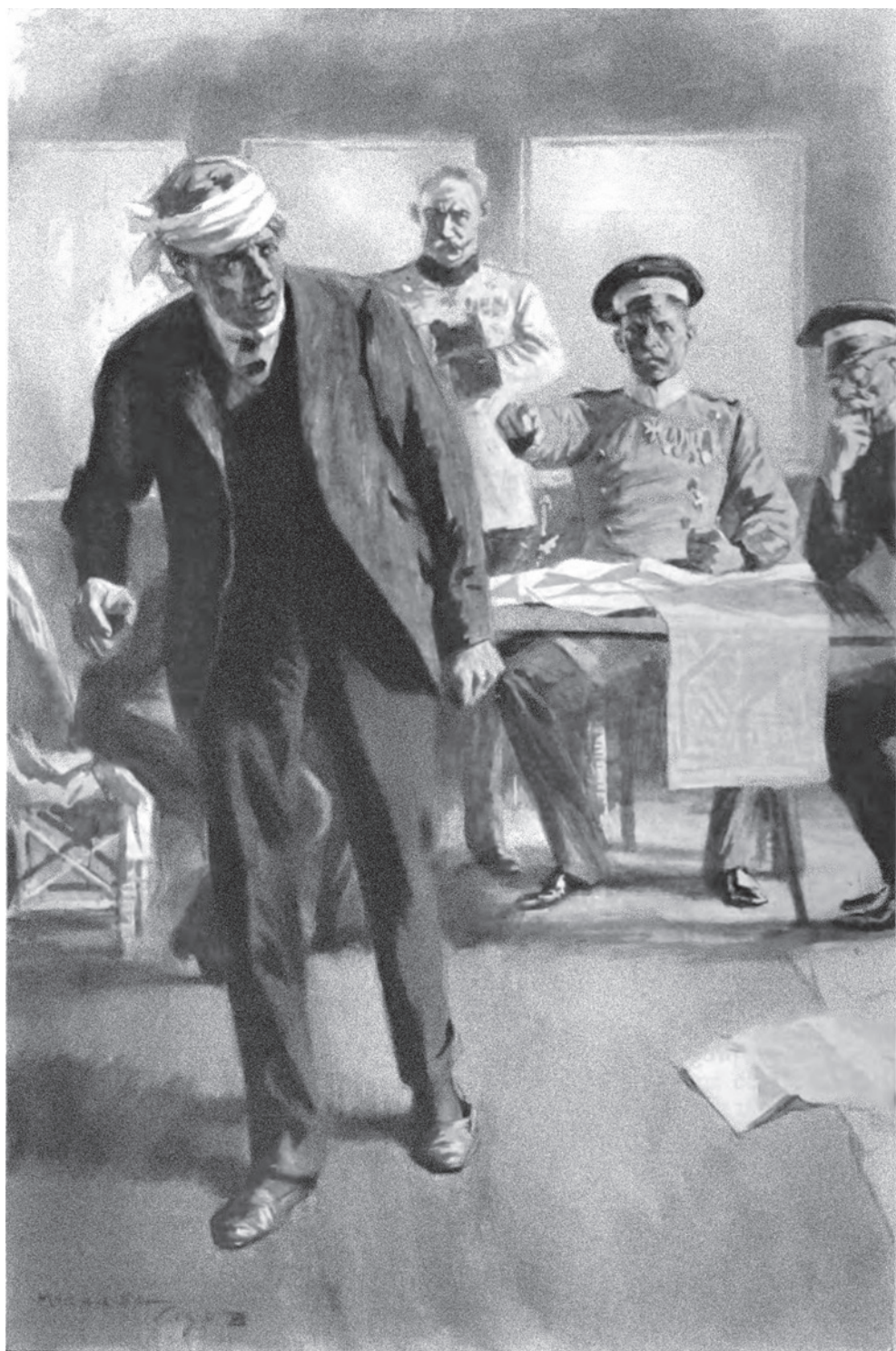
— В качестве... балласта! — резко добавил принц.

Берт хотел было напомнить о тех пятистах фунтах, которые ему обещал граф Винтерфельд, но, встретив предостерегающий взгляд последнего, не отважился на это и стоял с глупым видом, смотря исподлобья то на принца, то на графа.

— Ступайте! — сухо произнес принц, указав ему на дверь.

Берт сделал неловкий поклон и поспешил удалиться из «пыточной камеры», как он назвал про себя кабину принца.





— Ступайте! — сухо произнес принц, указав ему на дверь (к с. 87).



## IX

В промежутки между свиданием с графом Винтерфельдом и допросом у принца Берту удалось довольно подробно ознакомиться с воздухоплавательным судном, на котором он находился. Путеводителем был, конечно, лейтенант Курц, которому доставляло особенное удовольствие похвалиться перед «знаменитым английским изобретателем» своим отечественным произведением. С восторженностью хорошего ребенка указывал он Берту на легкий вес алюминиевых труб и вообще всего состава и отделки судна. Обивка стен, наполненных водородом, была из очень легкого вещества, отделанного под кожу. Вся посуда состояла из так называемого «глазурованного бисквита», почти не имеющего веса. А где требовалась особенная прочность, там применялась «немецкая сталь», — самый крепкий и устойчивый металл.

Вместительность судна была очень велика. Обитаемая часть имела в длину 250 футов. Кабины шли двумя параллельными рядами; над ними находились маленькие помещения с большими окнами и непроницаемыми для воздуха дверями; из этих помещений была видна пустота газовых камер. Над газовыми камерами виднелся исполинский металлический рыбообразный остов судна, и шли лестницы для проходов из одной части в другую. Освещение всюду было электрическое. Курц достал из стенного шкафчика нечто вроде водолазного костюма из пропитанного особым составом шелка; мешок для воздуха и шлем к нему были из соединения алюминия с другим легким металлом.

— В этом костюме, — пояснял лейтенант, — в полной безопасности можно лазить по всей внутренности корабля, когда понадобится отыскивать какие-нибудь повреждения. Кстати сказать, все

судно, как внутри, так и снаружи покрыто целой сетью лестниц.

За обитаемой частью судна, до самой его середины, был устроен склад различных разрывных снарядов. На каждом из этих воздушных судов была только одна пушка, называвшаяся «помпончиком» и помещавшаяся на передней галерейке, в самом сердце гербового орла. От середины судна до самого машинного отделения в хвосте тянулась крытая галерея с алюминиевыми порогами на полу и веревкой, за которую можно было держаться, под потолком, т.-е. под газовым баллоном.

Машин Курц не показал Берту, а повел его вверх, по особо устроенной лестнице, на галерейку, осененную исполинскими крыльями германского имперского орла. Когда Берт очутился на этой галерейке, сплетенной точно из серебристого кружева, то увидел внизу, в страшной глубине, Англию, показавшуюся ему такой маленькой и беспомощной посреди вод необозримого Атлантического океана. Вид родины внушил ему приступ патриотического чувства. Он в первый раз глубоко пожалел, почему не уничтожил чертежей Беттериджа. Что могли сделать ему за это немцы? Убили бы его, приняв за шпиона? Ну, что ж, разве стыдно умереть за свое отечество? Ведь теперь он, говоря по совести, является предателем этого отечества... Как это раньше не пришло ему в голову? И он, тоже в первый раз, сильно задумался над этим чувством.

Только замечание Курца вывело его из задумчивости. Лейтенант сказал, что они сейчас летят между Ливерпулем и Манчестером, этими фабричными центрами с их скученным рабочим населением, ютившимся в своих темных, сырых, промозглых жилищах вокруг огромных заводов, превращавших людей в такие же бессмысленные машины, как те, на которых они работали.

Поговорив о воздухоплавании, Курц повел своего спутника к нижней галерее, чтобы показать ему «летающих драконов», шедших по три и по четыре на буксире у воздушных судов. Эти машины действительно походили на огромных фантастического вида драконов, державшихся на воздухе каким-то особенным способом. У них были длинные четырехугольные головы и плоские хвосты с боковыми двигателями.

— Ваша машина, вероятно, устроена тоже в этом роде, мистер Беттеридж? — спросил Курц.

— Нет, совсем в другом, — ответил Берт. — Она более походит на насекомое, нежели на такие чудовища, как ваши... А к чему служат эти драконы?

Курц пустился было в подробные объяснения, как вдруг разыскивавший Берта вестовой пригласил его к принцу.

Через несколько минут после так плачевно окончившегося для нашего искателя приключений допроса у принца по всему судну сделалось известно, кем оказался «знаменитый английский изобретатель», и все сразу изменились к нему. Солдаты более не вытягивались при его появлении, а офицеры перестали замечать его. Только один Курц, к которому, как к младшему, поместили Берта, отнесся к нему, по своему мягкосердечию, более человечно.

Но и этот добряк не мог на первый раз удержаться от небольшой демонстрации по отношению к развенчанному изобретателю, положение которого так круто изменилось. Когда Берт, подавленный своим несчастьем, ежился в углу нового и довольно тесного для двоих помещения, лейтенант остановился перед ним на широко расставленных ногах и, бесцере-

монно разглядывая его, точно какую-нибудь диковинку, спросил:

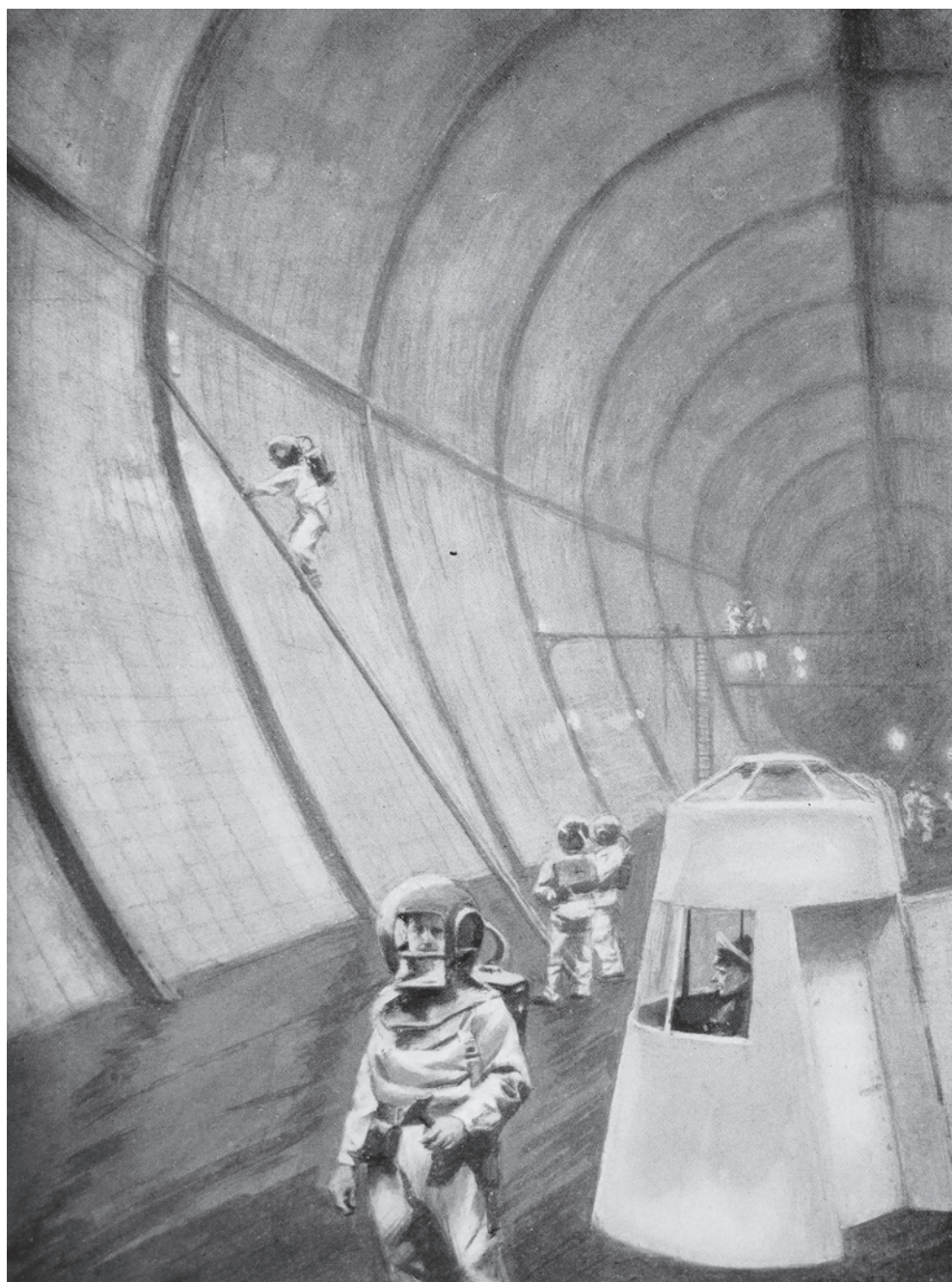
— Да какое же у вас настоящее имя? Мне говорили, да я плохо расслышал

— Альберт Смолуэйс, г. лейтенант, — ответил Берт более почтительным тоном, чем раньше.

— Гм!.. Впрочем, мне всегда, когда я еще верил, что вы сам Беттеридж, казалось в вас что-то не так... Ну, счастье ваше, что принц отнесся к вам так милостиво! С ним шутки плохи. Будь он не в духе, вам бы несдобровать... перелетели через борт. А вот теперь он, вместо этого справедливого возмездия за все ваши «подвиги», приказал поместить вас ко мне, а мне и одному-то здесь не очень просторно... Ну, да делать нечего, будем тесниться. Только прошу помнить, что эта кабина моя!

После этих слов лейтенант круто повернулся и вышел вон. Этим его демонстрация и ограничилась. Дальнейшее его отношение к Берту, как мы увидим, продолжалось почти прежнее.

Оставшись в кабине Курца один, Берт стал осматриваться. Прежде всего ему бросилась в глаза висевшая на стене картина Зигфрида Шварца. Она изображала бога войны, в виде страшной, все уничтожающей фигуры, в багряной мантии, с шлемом викингов на голове, с обнаженным мечом в руке, шествующая среди смерти и разрушения. Фигура эта походила на принца Карла-Альберта, потому что, говорят, была написана в прославление его будущих подвигов. Больше ничего интересного в этом тесном помещении не нашлось. Берт от нечего делать снова улегся в своем уголке и продолжал мечтать о будущем.



*Над газовыми камерами виднелся исполинский  
металлический рыбообразный остов судна, и шли лестницы для проходов из одной  
части в другую (к с. 89).*





*Лейтенант сказал, что они сейчас летят между Ливерпулем и Манчестером, этими фабричными центрами с их скученным рабочим населением, ютившимся в своих тем-*





*ных, сырых, промозглых жилищах вокруг огромных заводов, превращавших людей в такие же бессмысленные машины, как те, на которых они работали (ж с. 89).*

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Битва в северной Атлантике

#### I

Принц Карл-Альберт произвел на нашего героя подавляющее впечатление. Никогда еще Берт не встречал личности, которая внушала бы его мелкой душонке современного полуинтеллигента такой сильный ужас и такую глубокую антипатию.

Сделавшись на судне принца простым «балластом», Берт был последним, до которого дошла весть о большом сражении, происходившем в северной Атлантике между флотами германским и американским. Весть эту, передававшуюся принцу частями по беспроволочному телеграфу, сообщил Берту Курц.

Стремительно войдя в свою кабину с таким видом, точно в ней никого не было, молодой офицер что-то бормотал про себя. Из этого бормотанья Берт понял только одно слово: «Грандиозно!» Затем Курц, крикнув Берту: «Эй, вы! Вставайте! Нечего валяться!» достал из стола футляр с ландкартами, вынул из него несколько карт, разложил их по столу и стал рассматривать. Некоторое время немецкая щепетильность молодого офицера

боролась с его природным добродушием и словоохотливостью, но, в конце концов, последние свойства взяли верх.

— Заварилась-таки каша, Смолуэйс! — сказал он.

— Какая каша, г. лейтенант? — спросил Берт, приподнимаясь на ноги.

— Дело началось. Американская североатлантическая эскадра и наша наткнулись друг на друга. Наш «Железный Крест» сильно потрепан, а их «Майльс-Стендиш», один из самых больших броненосцев, потоплен нашими торпедами... Ах, Смолуэйс, как мне хотелось бы видеть эту схватку в открытом море! Битва, так сказать, на всех парах, — ведь это чудо что такое!.. Вот смотрите, в каком это месте... Видите вот 30° 50' северной широты и 30° 50' западной долготы... Далековато еще отсюда, по крайней мере в 24 часах, а они идут на юго-запад, так что мы, к сожалению, пожалуй, ничего не увидим... Какая досада!

#### II

Положение в северной Атлантике в это время для Америки было очень кри-



*Битва в северной Атлантике.*



тическое. Хотя ее флот и на много превосходил германский по численности, но главная его часть находилась в Тихом океане. Соединенные Штаты больше всего опасались Азии, так как Япония держала себя по отношению к Америке очень вызывающе. Немцы напали на американскую эскадру при Маниле, где она, возвращаясь после дружеского визита Франции и Испании, остановилась для накачки нефти со своих среднеатлантических тендеров. Вся защита восточного побережья Северной Америки заключалась в этой эскадре, состоявшей из 4 броненосцев и 5 панцирных крейсеров, причем моложе 1913 года не было ни одного судна; главный же флот находился в Тихом океане. Американцы так привыкли к мысли об охране Атлантики Великобританией, что возможность нападения на их эскадру у восточного их побережья им и в голову не могла прийти. Однако еще задолго до объявления войны весь германский флот, в составе 18 броненосных судов и целой флотилии тендеров и отставных линейных кораблей, нагруженных амуницией и провиантом для воздушного флота, прошел через Доуэр по направлению к Нью-Йорку. Германские военные суда превосходили американскую эскадру не только численностью, но более новейшей, усовершенствованной конструкцией и лучшим вооружением. Семь из этих судов были снабжены приспособлениями, выбрасывавшими взрывчатые снаряды; кроме того, на всех имелись сильнейшие дальнобойные орудия из немецкой стали.

Враждебные флоты столкнулись еще за несколько дней до официального объявления войны. Американцы приняли обычную позицию, т. е. вытянулись в одну линию, с промежутками около тридцати немецких миль<sup>1</sup>, стараясь дер-

жаться между неприятельским флотом и Панамой. Как ни важна была для них оборона береговых городов, в особенности Нью-Йорка, но еще важнее представлялась защита канала, чтобы немцы не могли воспрепятствовать проходу через него главного флота из Тихого океана.

Объясняя все это Берту, Курц прибавил:

— Этот флот, уведомленный по беспроволочному телеграфу о событиях в Атлантике, теперь, наверное, уже жарит на всех парах сюда, если только японцы не вздумали сделать то же, что мы.

Было ясно, что американская эскадра не в состоянии противостать натиску германского флота, но она могла задержать его и настолько повредить ему, чтобы ослабить его натиск на береговые города. Вообще задача американской эскадры состояла не в победе, а в самопожертвовании, что иногда бывает славнее победы.

Таково было положение американцев. Но им и в голову не приходило, что и это само по себе уже критическое положение может еще ухудшиться. Они поняли это только тогда, когда достоверно узнали о воздушном германском флоте и о возможности нападения на них немцев не только со стороны моря, но и со стороны воздуха. Хотя печать и предупреждала о проносившемся над Англией германском флоте, но в печать все уже так изверились, что, например, ньюйоркцы поверили ее сообщениям лишь тогда, когда этот флот появился в виду самого города.

Все эти объяснения, которые Курц давал Берту, доставляли молодому офицеру большое удовольствие, удовлетворяя его потребности высказаться и похвастаться своими знаниями перед че-

<sup>1</sup> Немецкая миля равна 7420 м.



ловеком, который не мог знать больше него. Разглагольствовать в офицерской компании, где он был младшим, ему мешали природная робость со старшими и чувство их превосходства над собой; с Бертом же он мог держать себя вполне развязно и даже быть авторитетом.

Берт со вниманием слушал объяснения своего собеседника и следил за его указаниями по карте. Молодой офицер выказал порядочное знакомство с американским броненосцем «Майльс-Стендиш».

— Орудия на этом броненосце стреляли бомбами, — разъяснял он своему внимательному слушателю. — Хотелось бы мне видеть, какой из наших его доконает и как. Хотелось бы также знать, в каком сейчас положении находится наш «Барбаросса». Это мой корабль. Он не из первоклассных, но построен очень солидно. Если старик Шнейдер в духе, то, наверно, уж дал себя знать американцам... Ах, подумать только: они там налетают друг на друга, пушки грохочут, гранаты с треском лопаются, котлы взрываются, обломки железа носятся по воздуху, как сухие листья в бурю, а я сижу здесь!.. Я еще в детстве мечтал, как бы хорошо участвовать в настоящей битве. Но, должно быть, мы до самого Нью-Йорка долетим так мирно и тихо, точно совершаем прогулку, а не военный поход. Впрочем, наше дело еще впереди, а они там действуют, чтобы замаскировать нашу главную цель... Вот, смотрите: здесь находимся сейчас мы; в этом вот месте, совсем в стороне, наша провиантская флотилия, а вот тут наши военные корабли преграждают путь американским.

Беседа в таком духе между Курцем и его сожителем продолжалась с небольшими перерывами до самого ужина, т. е. целый день. Когда Курц отправился в общую офицерскую столовую, а Берт пошел на кухню за своей солдатской пор-

цией (его теперь уже — увы! — не приглашали в столовую, и он должен был сам ходить за едой), он услышал, как между солдатами то и дело произносилось слово «Барбаросса» и понял, что, вероятно, были получены новые известия с места морской битвы, но в чем они заключались, узнать, конечно, не мог.

После ужина он отважился выйти один на небольшую висячую галерею с одиноким часовым. Погода была довольно ясная, но подымался ветер, и воздушный корабль стало сильно качать. Молодой человек обеими руками крепко ухватился за перила. У него начала кружиться голова, тем не менее, он решился взглянуть вниз. Было еще светло, и он заметил, что «Фатерланд» несся над голубыми водами, крутые волны которых белелись пенистыми гребнями. По этим волнам беспомощно носилась жалкая старая бригантина под английским флагом — единственное судно, находившееся в виду.

### III

До завтрака следующего дня не было никаких новых известий с места битвы, но потом они так посыпались одно за другим, что Курц, в конце концов, дошел почти до белого каления.

— Ну, вот и «Барбаросса» выбит из строя... погружается в море! — вне себя кричал он, влетая в свою кабину и балансируя руками, чтобы сохранить равновесие по случаю сильной качки. — Но, говорят, он не дешево сдался... дрался как лев... Ах, Смолзуйс, если бы вы знали, как мне жаль этот старый корабль! Ведь я учился на нем. Он всегда был такой чистенький и нарядный и вдруг теперь только представить себе его разбитым, погибающим!.. А мои прежние товарищи? Господи! Да от них, я думаю, теперь ничего не осталось?.. А я здесь, за облаками, целехонек!.. Просто стыд-

но даже делается: точно я убегаю от них, спасая свою шкуру!.. Погиб и «Карл Великий»... Это был наш лучший броненосец. Он потоплен английским линейным кораблем, который случайно очутился в самой середине боя... ветром как-то занесло. Ну, вот он и налетел на «Карла Великого» и пустил его ко дну... Впрочем, тут что-нибудь не так: не может быть, чтобы броненосец погиб от простого столкновения с обыкновенным судном. Это потом выяснится... На многих других наших судах сбиты мачты и оказались другие повреждения... Надо отдать справедливость американцам: драться умеют, если, впрочем, действовали только одни они, а не помогали им... Ну, да это потом тоже все выяснится... Нет, только представить себе старого бедного «Барбароссу»!.. На нем так много было разных взрывчатых снарядов, так что он весь разодран на кусочки вместе со всем его несчастным экипажем, со всеми моими бедными товарищами и старым, храбрым Шнейдером!.. Ах, как обидно, что меня не было там! Легче бы погибнуть вместе с ними, чем издали, в полной безопасности, услышать о их гибели...

Затем получилось известие, что американцы потеряли еще один броненосец, а у немцев был сильно поврежден «Германн», прикрывавший собой «Барбароссу».

Курц от нетерпеливого ожидания новых известий метался по всему воздушному судну, как посаженный в клетку зверь, заражая и Берта своим нетерпением.

Перед обедом пленник вышел на главную галерею взглянуть, что делалось вокруг. Над ним расстилалось чистое синее небо, а под ним — волнистая пелена облаков. Больше ничего не было видно. Царившее вокруг безмолвие нарушалось лишь ритмическим стуком машин летящих воздушных судов. Но где-то там,

далеко внизу, выла буря, хлестал дождь, грохотали пушки, трещали разрывавшиеся снаряды, бились и погибали неизвестно за что люди...

#### IV

Воздушный флот, поднявшийся было в верхние слои, чтобы миновать бурю, к вечеру, когда она стихла, снова опустился в средние. Перед заходом солнца вдруг распространилась весть, что видны остатки «Барбароссы». Все бросились на галерею. Пробрался туда вместе с Курцем и Берт. Офицеры смотрели в морские бинокли на море, где беспомощно носился по волнам исковерканный остов когда-то славного германского боевого корабля, рядом с пустым нефтяным тендером и полуразбитым линейным кораблем.

— Господи! — восклицал Курц, опуская бинокль, — словно видишь старого друга с отрезанной головой!.. Бедный «Барбаросса»! Бедные товарищи!..

В порыве своего мягкого сердца молодой офицер сунул бинокль Берту, чтобы и тот мог взглянуть на страшную картину разрушения. Никогда Смолуэйсу не приходилось еще видеть подобной картины. Грозный огромный броненосец был буквально изодран в клочья, и можно было только удивляться, как он мог еще держаться на воде. Этот гигант погиб благодаря, главным образом, своей неосторожности. Судя по депешам, он во время ночной битвы выступил из линии своих спутников и очутился между неприятельскими крейсерами «Канзас-Сити» и «Сэсквегэнна», которые сначала отступили было, потом, заручившись помощью «Теодора Рузвельта» и «Монитора», сообща напали на него. Когда наступило утро, «Барбаросса» оказался окруженным со всех сторон. Схватка не продолжалась и пяти минут, как вдруг появление «Германна» с од-

ной стороны и «Князя Бисмарка» — с другой заставило американцев вновь отступить, но в этот короткий промежуток времени они успели взорвать «Барбароссу».

— Боже мой! Боже мой! — бормотал со слезами на глазах Курц, снова представляя к глазам возвращенный ему Бертом бинокль, — подумать только, что сделалось с виртуозом Альбрехтом и со старым плотником Гансом, которого мы все так любили за его остроумие и веселость!.. А наш бедный Розен?..

Долго еще причитал лейтенант Курц, стоя на галерее и смотря в бинокль на едва видневшуюся внизу синевато-серую волнистую поверхность моря. А когда он, наконец, вернулся в свою кабину, то сначала был необыкновенно задумчив и молчалив, но потом не выдержал и вновь разразился излияниями волновавших его чувств.

— Ах, Смолуэйс, какая, оказывается, ужасная и отвратительная вещь эта война! — говорил он, делая по два шага взад и вперед по своему тесному помещению. — Прежде я представлял ее себе совсем в другом свете, а теперь, когда увидел, во что превратился бедный «Барбаросса» со всем его экипажем, я понял, как она омерзительна и бесцельна... Сколько стоило труда создать и поддерживать в порядке «Барбароссу», сколько было на нем людей, да еще каких! — и все это погибло в одну минуту... И к чему это люди устраивают такие бойни?.. Неужели им тесно на земле и они никак не могут поделить ее между собой, и зажить, наконец, мирно?..

## V

В следующую ночь, уже под утро, Берт проснулся от какого-то разговора. Оказалось, что это рассуждал сам с собой по-немецки лейтенант Курц, сидя у открытого окна. Холодный воздух и по-

лупрозрачный предутренний полусвет проникали в небольшое помещение.

— Что случилось, г. лейтенант? — тревожно спросил Берт, поспешно поднимаясь с кушетки, уступленной ему на ночь собственником кабины.

— А разве не слышите? — ответил Курц, указывая в окно.

Берт прислушался. С моря, издали, доносился грохот пушечных выстрелов.

— Ого! Пушки! — воскликнул он и, завернувшись в одеяло, бросился к окну.

«Фатерланд» неся еще очень высоко над морем, покрытым тонким облачным покрывалом. В нижних слоях воздуха было тихо. Следя взглядом за пальцем Курца, Берт сначала увидел сквозь бесцветную облачную пелену призрачный красноватый отблеск, затем возле него быструю вспышку, а за нею, в некотором расстоянии, другую, третью, казавшиеся беззвучными зарницами, и только по прошествии нескольких секунд доносился опаздывавший звук выстрела.

— Бум!.. бум! — вторил Курц, зажимывая глаза.

Вдруг по всему судну разнесся звук сигнального рожка.

Курц сорвался с места и бросился к двери.

— Ради бога, г. лейтенант, скажите, что случилось? — крикнул ему вдогонку Берт умоляющим голосом.

Офицер остановился на минуту в дверях и быстро проговорил:

— Оставайтесь здесь, Смолуэйс, за мной не ходите, слышите? Кажется, начинается что-то и у нас.

У Берта болезненно сжалось сердце. Он чувствовал себя точно висющим на волоске над бездной, в глубине которой происходил бой. Быть может, через несколько минут тот корабль, на котором он находится, и весь воздушный флот ринутся вниз, подобно стае хищных птиц на подмеченную добычу.

— Ну, ну, что дальше, то хуже! — прошептал подавленным голосом молодой человек. — Что-то будет теперь с нами?

Бум! Бум! — раздалось снова с моря. Берт поспешил к окну и увидел внизу красноватый отблеск; потом вдруг почувствовал, что с «Фатерландом» происходит что-то странное; пульсирование машины сделалось еле слышно, точно она останавливалась. Молодой человек с трудом просунул голову в узкое окно и заметил, что вместе с «Фатерландом» и весь воздушный флот почти перестал двигаться.

Раздался второй рожковый сигнал и стал передаваться с корабля на корабль; все огни на них мгновенно погасли, и весь флот превратился в массу темных призрачных тел, витавших под голубым небом, на котором кое-где еще мерцали одинокие звездочки. В таком положении флот находился довольно долго, потом послышался шум вкачиваемого в баллоны воздуха и вслед за тем «Фатерланд» начал медленно опускаться. Берт вытянул шею, но, благодаря нависшим над окном газовым камерам, не мог видеть, следуют ли за своим вождем остальные воздушные суда. При медленном и бесшумном опускании корабля чувствовалась какая-то особенная жуткость.

Одно время сделалось темнее, чем было, и Берт ощутил близость холодных облаков. Потом отблеск снизу стал принимать более определенные очертания, превратившись мало-помалу в пламя. «Фатерланд» снова остановился прямо под грядой несшихся облаков. Будучи на высоте тысячи метров над местом морской битвы, он едва ли мог быть виден снизу, но с него, очевидно, производились наблюдения.

За эту ночь битва вступила в новую фазу. Американцы сдвинули вместе свои отступающие корабли и состави-

ли из них длинную колонну, державшуюся в южном направлении от медленно преследовавших их немцев. Потом, еще до начала рассвета, пользуясь темнотой и тесно сплотившись, они на всех парах понеслись к северу. Цель их была прорвать боевую линию немцев и произвести атаку на флотилию, двигавшуюся к Нью-Йорку в подкрепление воздушного флота. Адмирал О'Коннор, ведший американскую эскадру, теперь вполне убедился в существовании у неприятеля воздушного флота и потому главное внимание устремлял уже не на одну Панаму, так как получил известие, что туда прибыла подводная флотилия из Ки-Веста и что «Делавар» и «Авраам Линкольн», два сильных, совершенно новых, еще не бывших в деле, броненосца, уже находятся в Рио-Гранде, на тихоокеанской стороне пролива. Взрыв котла на «Сэсквегэнне» замедлил маневры этого корабля, благодаря чему он на рассвете оказался так близко к германским броненосцам «Веймар» и «Бремен», что те открыли по нему огонь. Если О'Коннор не хотел покинуть свой корабль на произвол судьбы, то должен был наступать со всем своим флотом. Он так и сделал.

Утро было облачное и пасмурное, и немцы воображали, что имеют дело только с одним «Сэсквегэнном» вплоть до того момента, когда вся американская эскадра чуть не под самым их носом, всего в одной миле расстояния, выплыла из тумана.

Таково было положение дел на океане, когда «Фатерланд» начал спускаться ниже облаков. Красный отблеск, превратившийся потом в пламя, увиденный Бертом, происходил от горевшего «Сэсквегэнна». Вся в огне и накренившись на бок, она, тем не менее, продолжала обороняться своими двумя пушками и медленно двигалась в южном направлении. «Бремен» и «Веймар», оба



сильно поврежденные, уходили от этих пушек к юго-западу. Американская эскадра, с «Теодором Рузвельтом» во главе, прошла позади их и отрезала им путь, остановившись между ними и «Князем Бисмарком», приближавшимся с западной стороны.

Берт, конечно, не мог видеть всех этих подробностей, да если бы и видел, все равно ничего бы не понял, не будучи моряком и не умея отличать германские суда от американских. Его ошеломяла пушечный грохот, и при каждом новом выстреле сердце его трепетало в ожидании следующего. Раньше он видал военные корабли во время боя только на рисунках, а теперь, когда увидел их в действительности, так сказать, живыми, впечатление у него получилось совсем другое. Почти на всех судах взгляд его встречал пустые палубы, и лишь при более внимательном рассматривании он замечал кучки людей, укрывшихся за стальными бульверками<sup>1</sup>. Всего виднее ему были длинные подвижные жерла пушек, изрыгавших целые вулканы огня.

Сначала над картиной морского сражения из всего германского воздушно-го флота показался один «Фатерланд», витая над «Теодором Рузвельтом» на не особенно значительной высоте; весь же воздушный флот оставался на высоте 6–7000 футов над облачным шатром, поддерживая сношения с «Фатерландом» посредством беспроволочного телеграфа.

Неизвестно, в какой именно момент увидели, наконец, изумленные американцы этого нового врага. Можно себе представить, что должны были почувствовать изнемогавшие от непрерывной битвы люди, когда они вдруг увидели над своими головами исполинское неподвижное чудовище, которое своими размера-

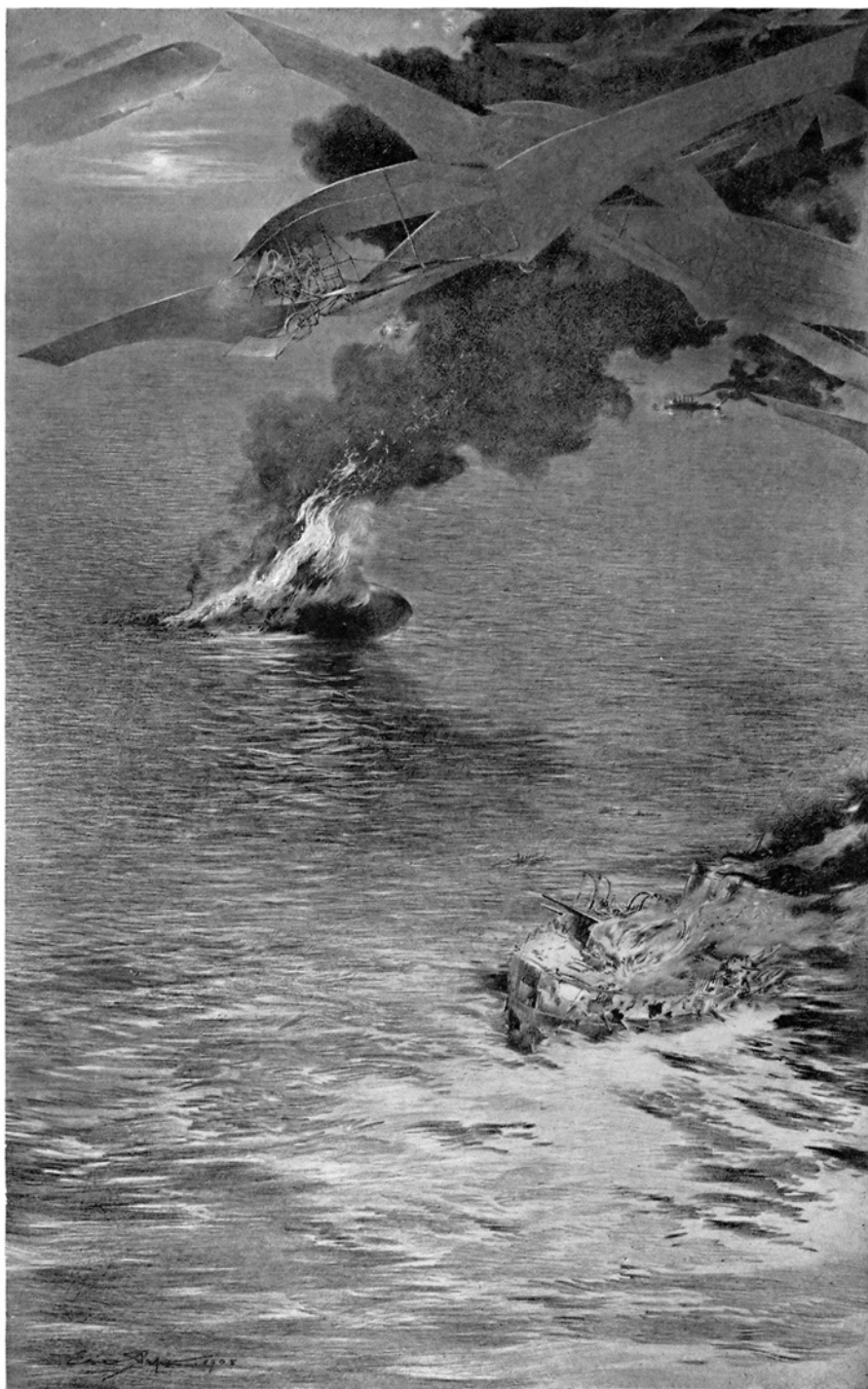
ми намного превосходило самый крупный броненосец? Затем, по мере того, как небо все более и более прояснялось, очищаясь от облаков, в воздушной лазури появлялись все новые и новые чудовища. В гордом презрении они не показывали никаких орудий, но двигались по тому же направлению и с такой же скоростью, как морские суда.

С самого начала и до конца боя в «Фатерланд» почему-то не было произведено ни одного выстрела из крупных орудий; стреляли в него только из мелких скорострельных пушек. Этот воздушный корабль все время витал над обреченной на гибель американской эскадрой, и принц Карл-Альберт руководил с него движениями своего флота.

И вот вдруг, по распоряжению вождя, от этого флота отделились два корабля, «Фогельштерн» и «Пруссия», имея каждый на буксире по шести летающих драконов. Обогнав с головокругительной быстротой миль на пять американские суда, они ринулись вниз. «Теодор Рузвельт» встретил их выстрелами из своих огромных орудий. Но гранаты взорвались, не достигнув цели, и драконы, опустившись ниже своих кораблей, приступили к атаке.

Берт имел возможность наблюдать первую стычку механических воздушных чудовищ с морскими. Он видел, как драконы с их широкими, плоскими крыльями, четырехугольными головами, движущимися на колесах туловищами и одинокими седоками, бросились вниз, подобно стае гигантских хищных птиц. Это необычайное зрелище сильно заинтересовало его, и он с нетерпением стал ожидать, чем окончится эта страшная игра. Один из драконов перевернулся на спину, взвился кверху по вертикальной линии, взорвался с громким треском

<sup>1</sup> Волнорез, волнолом.



*«Теодор Рузвельт» встретил их выстрелами из своих огромных орудий.  
Но гранаты взорвались, не достигнув цели,  
и драконы, опустившись ниже своих кораблей, приступили к атаке (к с. 101).*

и, весь в огне, упал в море. Другой сразу кувырнулся прямо в море и, лишь только коснулся его поверхности, как тут же разорвался на тысячу частей.

Но вот на палубе «Теодора Рузвельта» засуетились люди: брошенная с третьего дракона бомба попала в самую середину переднего барбета броненосца и наделала немало бед. В ответ на это зачастили выстрелы из скорострельных орудий американцев. В то же время с «Князя Бисмарка» упала граната. Бросили по бомбе еще два дракона, а третий, ударившись об исполинскую трубу броненосца, разрушил ее. Одновременно раздалось новое «трах!» и из американского флагманского броненосца, точно невидимыми могучими руками, был выхвачен огромный кусок металла и отброшен далеко в море. В образовавшуюся брешь влетела пылающая огнем бомба с дракона. Вслед за тем в бурлящей около морского гиганта воде закопошилось множество маленьких существ. Неужели все это люди?.. Да, это люди, полурастерзанные, утопающие человеческие существа, судорожно размахивавшие руками и точно хватавшиеся за что-то, как бы ища в этом спасения!.. Берт в ужасе закрыл глаза. Когда же он взглянул снова, то копошившихся в воде существ уже не было видно: их поглотила пучина. Над этой пучиной медленно проходил теперь американский «Эндрю Джексон», поврежденный потонувшим германским «Бременом».

Пораженный ужасом, молодой человек отвернулся было от окна, но, привлеченный вдруг раздавшимся страшным треском, снова высунулся из него. Треск произошел от взрыва «Сэсквегэнна». Выбрасывая целые столбы огня, подобно огнедышащему вулкану, она медленно исчезала в бурлившем водовороте. Несколько мгновений ничего не было видно, кроме взрытой бездны вод; потом эта

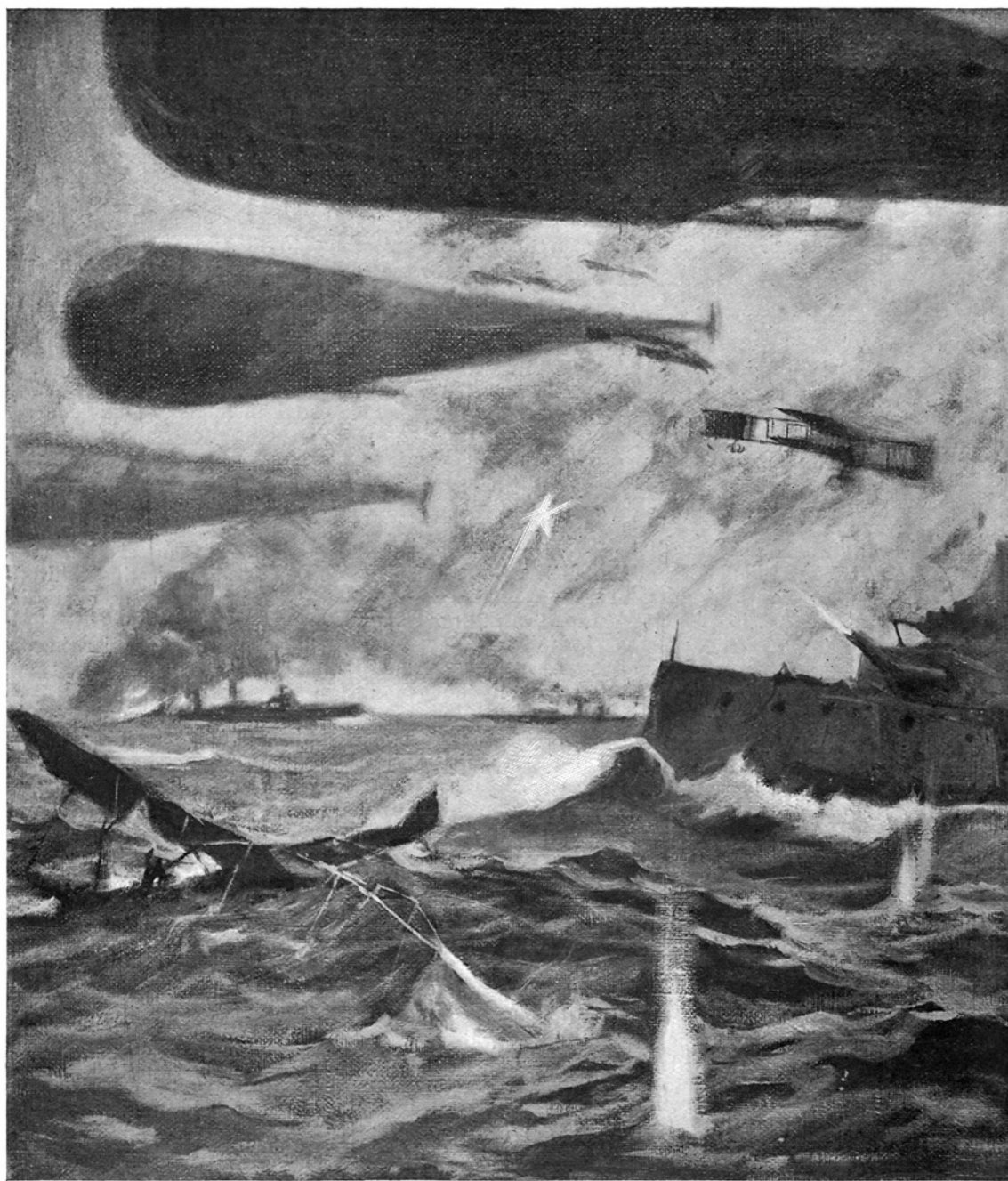
бездна с страшным клокотаньем извергла клубы пара, нефти, обломки дерева и металла и останки людей...

Когда в битве наступила пауза, Берт стал отыскивать глазами драконов. Остатки одного из них неслись около «Монитора», другие, продолжая бросать бомбы в американские суда, полетели дальше. Два дракона находились на воде, по-видимому, неповрежденные; три или четыре, описывая большую дугу, возвращались к своим кораблям, истощив, очевидно, запасы снарядов. Порядок американской эскадры был нарушен. Сильно пострадавший «Теодор Рузвельт» повернул к юго-востоку, а «Эндрю Джексон», хотя также порядком потрепанный, но с уцелевшею боевой частью, старался прикрыть его, продвигаясь между ним и совершенно еще свежим и бодрым «Князем Бисмарком». С запада появились и вступали в дело «Германн» и «Германик». Во время паузы, наступившей после взрыва «Сэсквегэнна», до слуха Берта донесся глухой шум, напоминавший скрип двери на несмазанных, ржавых петлях. Это были крики «ура» экипажа «Князя Бисмарка».

Вдруг во всем своем блеске возшло солнце. Темные до сих пор воды превратились в ярко-синие, и все вокруг озарилось потоками света. Это была точно сияющая улыбка среди сцен ужаса. Облачная завеса сразу исчезла, и сверху ясно обрисовался огромный германский воздушный флот, во всем своем составе теперь обрушивавшийся на место битвы.

Загрохотали американские пушки. Но броненосцы не были приспособлены для борьбы с воздушными судами, и американские снаряды в большинстве случаев не достигали цели. Эскадра была приведена почти в полную негодность. «Теодор Рузвельт», с разбитым корпусом и попорченными орудиями на передней части палубы, отстал далеко позади;





*Загрохотали американские пушки. Но броненосцы не были приспособлены для борьбы с воздушными судами, и американские снаряды в большинстве случаев не достигали цели. Эскадра была приведена почти в полную негодность. «Теодор Рузвельт», с разбитым*





корпусом и попорченными орудиями на передней части палубы, отстал далеко позади; «Сэсквегэнн» был взорван и потонул, а «Монитор» находился в большой опасности и был вынужден, как и флагманский корабль, прекратить огонь (к с. 103).

«Сэксвегэнн» был взорван и потонул, а «Монитор» находился в большой опасности и был вынужден, как и флагманский корабль, прекратить огонь. Германские «Веймар» и «Бремен» также были выбиты из строя и лишены возможности действий.

Все эти четыре исполина находились в невольном перемирии, на расстоянии выстрела друг от друга. Только четыре американских корабля из всех семи, во главе с «Эндрю Джексон», держали курс на юго-восток. Параллельно им, непрерывно поражая их из пушек, следовали «Князь Бисмарк», «Германн» и «Германик», стремившиеся обогнать их. В воздухе тихо поднимался «Фатерланд», готовясь к последнему действию этой драмы.

Выстроившись в ряд, десяток воздушных кораблей понеслись вдогонку американской эскадре, оставаясь, однако, на высоте 2000 футов. Поравнявшись же с броненосцами, они опустили и принялись осыпать каждый из них разрывными снарядами. Таким образом, американцам приходилось разрываться на две стороны. Почти все пушки у них были подбиты, но, тем не менее, разбитые, израненные, они упорно продолжали путь, оказывая геройское сопротивление и посылая в своих преследователей град ядер из мелких, дальнбойных орудий и даже пуль из простых ружей.

Вдруг Берт заметил, что картина битвы стала отдаляться, предметы начали уменьшаться, а грохот взрывов и трескотня выстрелов с каждой секундой становились слабее и слабее. «Фатерланд» тихо и плавно начал подниматься все выше и выше, пока, наконец, находившиеся внизу морские гиганты не превратились в едва заметные точки, а звуки совсем перестали доноситься.

Он уже не мог видеть, как «Бремен» и «Теодор Рузвельт» спустили по две

лодки и переполнили их людьми, и как эти лодки то исчезали в волнах, то вновь появлялись на гребнях волн, чтобы потом, по всей вероятности, исчезнуть навсегда в морской пучине. Не видел он, как один из воздушных гигантов, рухнувший в море, изображал из себя сноп пламени; не видел он и того, как вдали, с юго-запада, спешили на место битвы еще три германских броненосца.

## VI

Поднявшись вновь за облака, «Фатерланд», вместе со всеми своими спутниками, понесся прямо к Нью-Йорку.

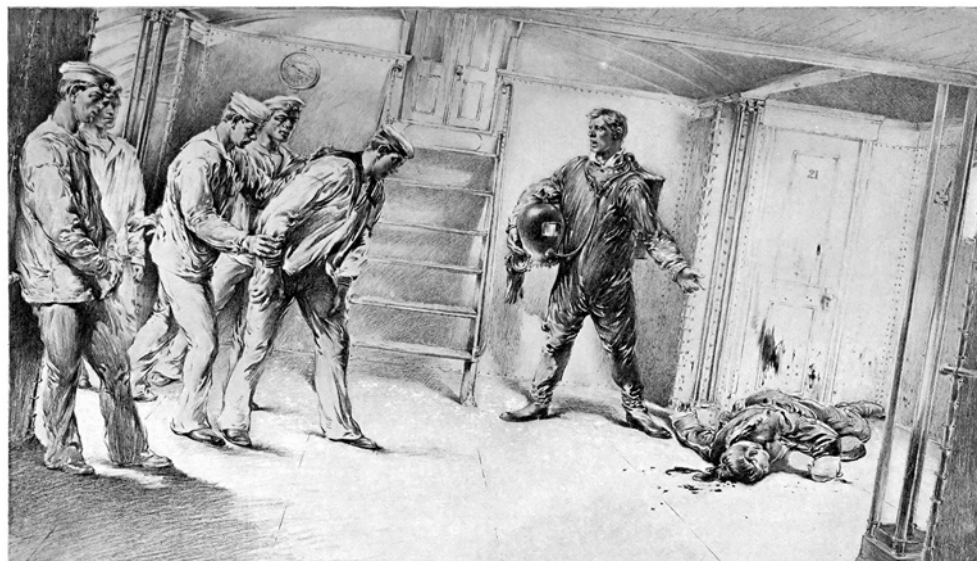
Берту пришлось присутствовать при первой борьбе воздушных кораблей с броненосными морскими, начавшими свою карьеру, в виде плавучих батарей Наполеона III, во время Крымской кампании, и просуществовавшими, в все более и более усовершенствованной форме, чуть не три четверти века, на постройку которых затрачено столько человеческих сил и средств. В течение этих трех четвертей века мир построил более 12 000 таких чудищ всевозможных форм, из которых каждое новое чудище своими размерами, боеспособностью своих орудий и разрушительностью старалось превзойти предшествовавшее. Каждое подобное сооружение сначала приветствовалось как чудо, потом, когда на смену ему явилось новое, оно продавалось на слом. Только пять процентов из всего этого огромного количества участвовали в «деле», т. е. в битвах, и погибали, а остальные гибли от разных других причин или «старелись», т. е. делались негодными для своей главной цели — взаимоистребления. Ради них были использованы жизни неисчислимого множества людей, гений и труд многих тысяч изобретателей, механиков и рабочих и выброшены огромные средства; нищета миллионов людей, обреченных на тяже-

лый, плохо оплачиваемый труд, на полуголодное существование, гибель множества способностей и талантов, не имевших под гнетом безысходной нужды возможности развиваться, — были последствием их созидания. Средства на сооружение этих плавучих взаимоистребителей должны были доставаться всякими путями, высасываться из народов всяческими способами, — таково было требование времени, таков был закон существования этих же самых народов. Действительно, это были самые страшные, зловредные и дорогие «игрушки» пресловутой эпохи «торжества механики и техники». И вот вдруг, как бы в противовес им, появились воздушные, легкие и сравнительно дешевые, приспособления, которые и должны вытеснить прежние тяжелые и дорого стоящие морские.

Берту никогда еще не приходилось видеть такой ужасной картины гибели людей и их трудов, и это действовало на него самым удручающим образом. Ему очень хотелось узнать, какое впечатление произвело на Курца; кроме того, он чув-

ствовал сильный голод. Отворив осторожно дверь, он выглянул в проход, в противоположном конце которого, возле спуска в нижнее отделение судна, стояла группа людей, что-то разглядывавших. Один из них был в костюме водолаза. Берта сильно заинтересовал шлем, который водолаз держал под мышкой, и молодой человек несмело двинулся вперед. Но когда он очутился возле ниши, препятствовавшей ему видеть то, вокруг чего толпились люди, он забыл о шлеме и чуть не вскрикнул от ужаса: на полу лежало тело молодого солдата, убитого гранатой с «Теодора Рузвельта». Берт не знал, что и до «Фатерланда» иногда долетали разрывные снаряды, и недоумевал, от чего мог умереть этот солдат.

Последний лежал на том месте, где его сразила граната. Куртка на нем была разодрана и прожжена, левое плечо раздроблено и оторвано от туловища вместе с рукой. Тот, который был в водолазном костюме, что-то говорил, указывая на круглое отверстие в полу и на расщепленную деревянную обшивку, где раз-



*Тот, который был в водолазном костюме, что-то говорил, указывая на круглое отверстие в полу.*



рушительный снаряд истощил свою последнюю силу. Лица слушателей были серьезны, задумчивы и печальны. Очевидно, смерть товарища очень тяжело отразилась на них.

Вдруг с маленькой галерейки раздался чей-то громкий и властный голос.

— Принц! — прошептал один из стоявших возле убитого.

Все подтянулись. На повороте прохода показалась группа офицеров, впереди которой шел Курц с пачкой бумаг в руках. Увидев изуродованное тело убитого солдата, молодой офицер остановился возле него и побледнел.

— Боже мой! — воскликнул он, пораженный этим зрелищем.

— Что тут такое? — спросил Карл-Альберт, следовавший непосредственно за лейтенантом.

Курц молча указал рукой на убитого. Карл-Альберт на одно мгновение впился взглядом в изуродованное тело, потом, бросив властное «убрать!» стал продолжать свой путь. Вся свита последовала за ним.

## VII

Картины всего увиденного совершенно изменили взгляд Берта на войну. До этого времени он представлял себе ее чем-то веселым, возбуждающим, в роде драки после праздничного угара, только пограндиознее; теперь же он получил о ней совсем другое понятие.

Следующий день еще более способствовал исчезновению прежних иллюзий Берта, благодаря новому событию, обычному в военной жизни, но неизвестному нашему «прогрессисту» и сильно оскорбившему его чувство гуманности. Городские жители его времени, не в пример своим предшественникам прежних веков, знали о насильственном лишении жизни человека лишь по газетам и книгам. Берт тоже только

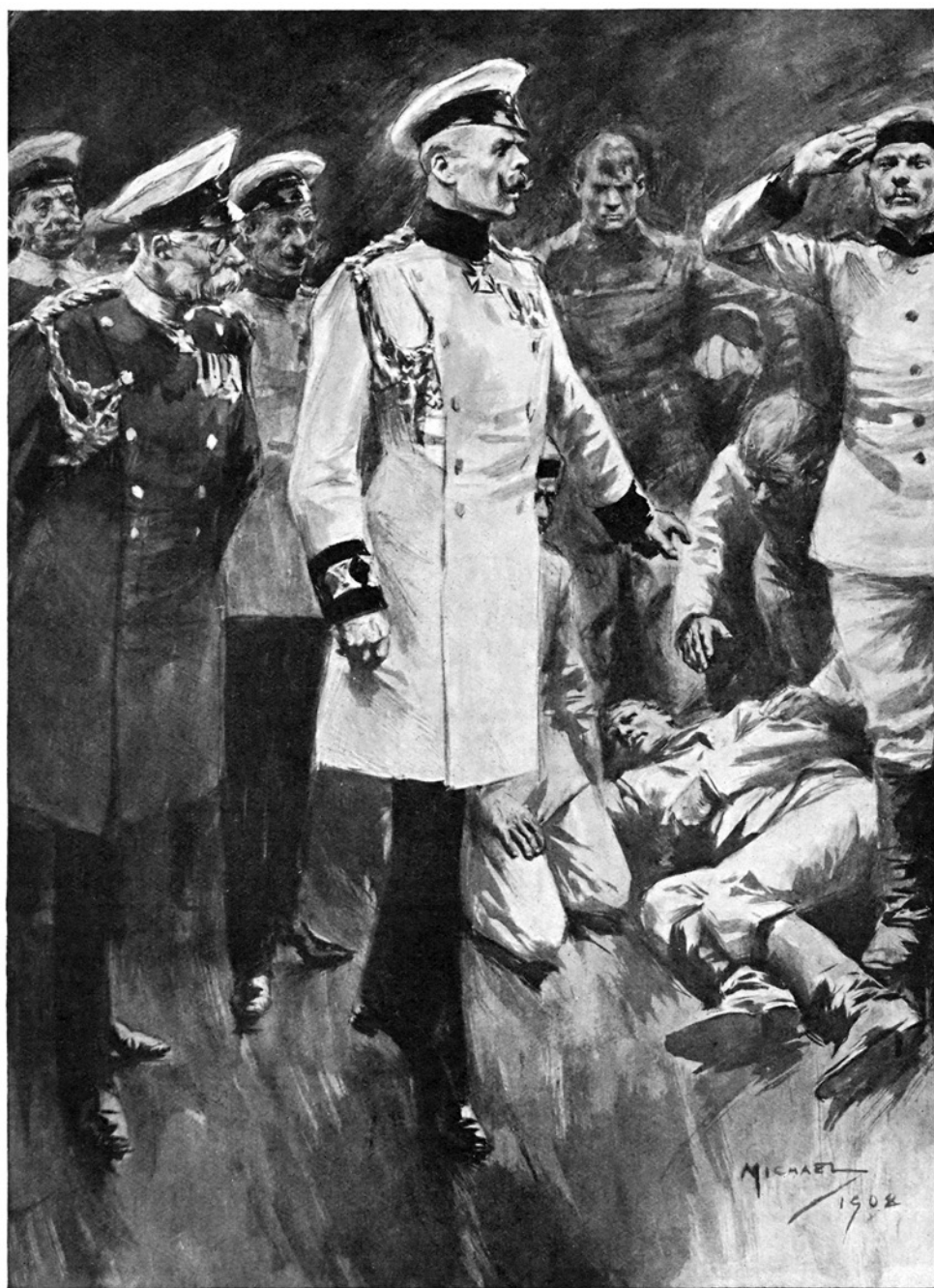
читал и слышал об этом, а теперь ему пришлось видеть.

Событие, нанесшее новый удар его чувствительности, была казнь матроса с «Фогельштерна», пойманного при закуривании трубки. Курить во всем воздушном флоте было строжайше воспрещено, под страхом лишения за это жизни; на каждом корабле повсюду были вывешены предостерегающие надписи, и правило это всеми строго исполнялось. Над матросом, нарушившим это правило, был наряжен суд под председательством капитана «Фогельштерна» и двух старших офицеров. Суд приговорил виновного к смертной казни через повешение, и принц утвердил этот приговор. Утверждая его, Карл-Альберт сказал: «Немцы полетели через Атлантику не для того, чтобы своевольничать».

Казнь, для вящего назидания, должна была произойти в присутствии всего флота. С этой целью весь флот широким кольцом окружил «Фатерланд» и «Фогельштерн», которые находились друг против друга в расстоянии 100 метров и на одинаковой высоте, а все остальные суда настолько же ниже. Все открытые места на судах были усыпаны зрителями. К борту «Фогельштерна» прикрепили веревку в 60 футов длины с петлей на конце; в эту петлю просунули голову преступника и выбросили в пространство, в котором он и повис. В таком положении, в назидание прочим, его и хотели оставить на несколько часов. Но вдруг произошло нечто такое, чего никто не ожидал: вследствие своей тяжести и стремительности падения, тело повешенного оторвалось от головы и рухнуло в море; немного спустя и голова, покачавшись в воздухе, выскочила из петли и отправилась вслед за своим телом...

Зрелище это произвело на всех присутствовавших крайне тяжелое впечатление, а Берта оно прямо ошеломило. Он





*Карл-Альберт на одно мгновение впился взглядом в изуродованное тело, потом, бросив властное «убрать!» стал продолжать свой путь.*

долго простоял на месте, судорожно ухватившись обеими руками за легкую балюстраду галереи. Эта казнь показалась ему ужаснее самой битвы.

Когда Курц, тоже сильно потрясенный этой казнью, вернулся в свое помещение, то нашел пленника лежащим на кушетке и в таком состоянии, что поспешил спросить его:

— Что это с вами, Смолуэйс? Уж не прихворнули ли вы?

— Нет... это так... совсем другое, — еле мог ответить Берт, которого трепала сильнейшая нервная лихорадка.

— Сегодня вечером мы должны достичь Нью-Йорка; ветер попутный. Там у нас начнется уж настоящая игра.

Берт ничего не ответил на это сообщение Курца. Помявшись немного на месте, лейтенант уселся к столу, разложил перед собой ландкарты и углубился в них. Но через несколько времени он откинулся на спинку стула и, бросив взгляд на своего сожителя, опять спросил его:

— Да что такое в самом деле с вами, Смолуэйс?

— Право же, ничего... особенного, г. лейтенант, — ответил Берт, едва попадая зуб на зуб.

— Какое там «ничего»! Разве я не вижу? Говорите же; Иначе я должен буду...

Берт перевел дух и проговорил прерывающимся голосом:

— Я видел, как люди умерщвляли друг друга на море... видел убитого солдата здесь... видел казнь того бедняка... Вообще я в один этот день видел слишком много разных ужасов... это не могло не подействовать на меня... я не железный...

— Мне это тоже не доставляет особенного удовольствия, Смолуэйс. Но вы видите, я...

— Вы — военный, г. лейтенант, а я нет, — продолжал более твердым голо-

сом Берт. — Я читал кое-что о войне и о разных других ужасах. Но читать или видеть — огромная разница... Потом у меня стала теперь кружиться голова. Раньше у меня этого не было, даже, когда я носился с шаром, а вот теперь... Должно быть, это постоянное заглядывание вниз с такой высоты, а главное — все то, что мне пришлось видеть, так подействовало на мои нервы, что...

— К этому нужно привыкать, Смолуэйс, — перебил молодой моряк и после минутного раздумья продолжал: — Все это действует и на других... Конечно, людям не свойственно носиться по воздуху, — они не птицы. А что касается разных ужасов, то... Я говорю — к этому надо привыкать. Люди ко всему привыкают. Чтобы иметь храбрость, не нужно быть военным. Это чувство врожденное, Смолуэйс.

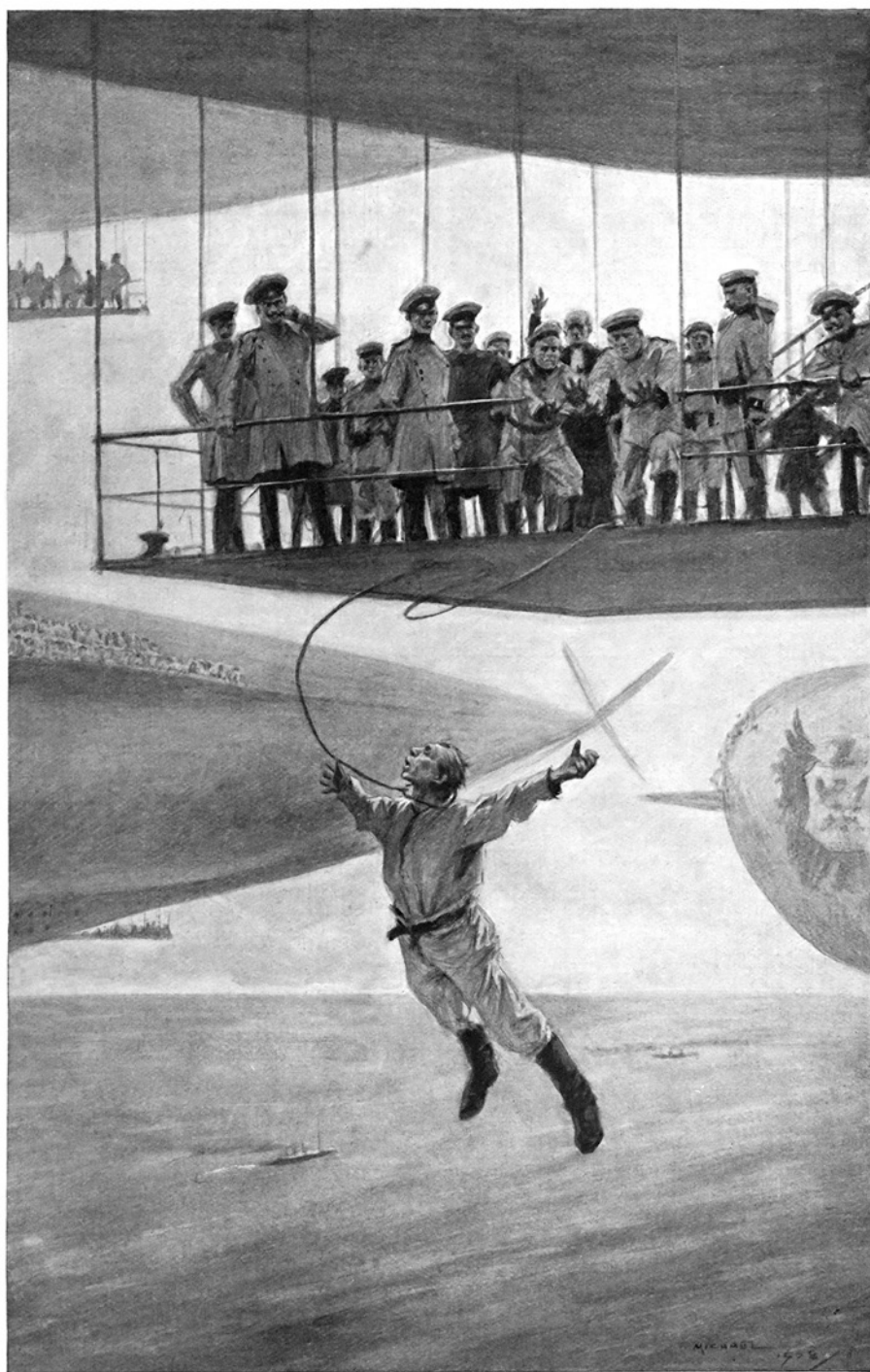
— Так-то так, г. лейтенант, — согласился Берт. — Но все-таки... — Он не докончил своей фразы, и они оба замолчали. Немного погодя Берт вдруг спросил:

— Скажите, пожалуйста, г. лейтенант, за что собственно так ужасно казнили того бедняка? Я так и не мог понять. Слышал только, что он в чем-то провинился, но...

— Не просто провинился, а нарушил строжайший приказ! — горячо воскликнул молодой офицер. — Он осмелился потихоньку закурить! А это у нас здесь считается одним из самых тяжких преступлений... ведь он мог погубить все судно, а вместе с ним и всех, которые находятся на нем. Понимаете?

— Ах, вот за что! — проговорил Берт и глубоко задумался.

Курц снова углубился в рассмотрение карт, бормоча про себя по-немецки: «Интересно бы знать, какие у американцев аэропланы? Похожи ли они на наших драконов?.. Впрочем, мы это ско-



*К борту «Фогельштерна» прикрепили веревку в 60 футов длины с петлей на конце;  
в эту петлю просунули голову преступника и выбросили в пространство,  
в котором он и повис (к с. 108).*

ро узнаем... А игра, которую мы затеяли, все-таки очень любопытна. Но чем-то она окончится?»

Курц побарабанил несколько времени по столу пальцами, потом убрал в стол свои карты и вышел из кабины. Немного погодя Берт отправился на галерейку и нашел там Курца. Молодой моряк задумчиво смотрел в сторо-

ну Нью-Йорка и что-то бормотал себе под нос.

Облачная завеса снова закрывала море. Длинная, летевшая в клинообразном порядке вереница воздушных чудовищ, то поднимаясь, то опускаясь, подобно стае птиц, неуклонно подвигалась к Новому Свету, неся с собой грозу для него.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Нападение на Нью-Йорк

#### I

В описываемую нами эпоху Нью-Йорк был самым обширным, богатым и самым порочным городом в мире. Он представлял собой совершеннейший образец города научного и промышленного века. Блеск, мощь, твердый, беспринципный дух предприимчивости и общественное неустройство этого века нашли в Нью-Йорке самое полное, всестороннее и ярко выпуклое выражение. Этот город давно уже превзошел самый Лондон, с гордостью называвший себя вторым Вавилоном: он был средоточием мировых финансов, мировой промышленности, мировой торговли и мировой разнузданности, и современники сравнивали его с апокалиптическими городами древности. Этот город впитывал в себя богатства всей страны, как некогда Рим всасывал в себя все богатства Средиземия, а Вавилон — Востока. На улицах этого города встречались крайности роскоши и нищеты, цивилизации и варварства. В одном квартале тянулись в облака грандиознейшие мраморные дворцы,

залитые и увенчанные огнями и цветами; в другом, рядом, жалкое, вечно голодное и оборванное разноязычное население, состоявшее из подонков всего мира, теснилось в сырых, грязных и мрачных трущобах. Всевозможные пороки и преступления этих общественных подонков проистекали из одного и того же мутного источника — страстного желания жить при каких бы то ни было условиях и какими бы то ни было средствами.

Странные очертания острова Манхэттена, на котором стоит Нью-Йорк, со всех сторон сжатого морскими проливами и, за исключением узкой полосы на севере, крайне неудобного для распространения жилищ, побудили нью-йоркских строителей вытягивать здания вверх до невозможной почти высоты. За средствами, материалами и рабочими руками дело у них не стояло, и вот они, ради выигрыша места, принялись нагромождать один этаж на другой. Для большого удобства в центре города было устроено несколько подводных туннелей, через Ист-Ривер переброшено четыре колоссаль-

ных моста, а к восточной и западной окраинам проведены однорельсовые железнодорожные пути.

Нью-Йорк, с его утопавшей в роскоши плутократией, во многом напоминал Венецию; например, в великолепии зодчества, живописи, разных художественных изделий и скульптуре и в чрезвычайном развитии мореходства и торговли. Не мог он только похвалиться порядком. В нем царила полная анархия. На всех его улицах постоянно разыгрывались кровавые истории, а в самом центре существовал целый притон для всякого рода преступников; туда даже не решалась заглядывать полиция.

Нью-Йорк был настоящей космополитической пучиной. В его обширной гавани постоянно развевались флаги всех народностей, и на приходящих и отходящих судах ежегодно переливалось несколько миллионов людей. Для мира Нью-Йорк представлял собой всю Америку, а для последней он служил воротами во весь остальной мир.

Писать историю Нью-Йорка — значит описывать общественно-промышленную жизнь всего мира. Разные «святые» и «мученики», мечтатели и негодяи, всевозможные авантюристы, традиции многих племен и религий переполняли его, непрерывными потоками переливаясь на его улицах. И над всеми этими шумными потоками гордо развевалось звездное знамя, как символ самых крайних противоположностей: самого благородного и самого низкого, самого великого и самого ничтожного, стремления ввысь и падения в пропасть.

В продолжение нескольких поколений Нью-Йорк смотрел на войну, как на нечто такое, что происходило где-то далеко, чуть не на другой планете, и лишь влияло на цены и наполняло столбцы газет и журналов сенсационными заголовками и иллюстрациями. Ньюйоркцы были,

пожалуй, еще увереннее англичан того времени, что нападение на них — невозможная вещь. Такой же иллюзии предавалась и вся Северная Америка. Американцы чувствовали себя в такой же безопасности, как зрители боя быков, защищенные надежной преградой; если же чем они и могли рисковать, так разве только деньгами, а денег у них всегда было много. Имевшиеся у них понятия о современной войне заимствовались, главным образом, из преданий о прежних войнах, полных всевозможных приключений. Они видели войну сквозь радужную пелену, тщательно прикрывавшую ее действительные ужасы, мечтали о ней, как о чем-то высоком, облагораживающем, и сожалели, что лишены возможности испытать ее лично. Они с жадностью читали описания своих новых орудий, своих броненосцев, становившихся все более и более чудовищными, и своих невероятно разрушительных взрывчатых снарядов. Но какое могли иметь значение для их личной жизни все эти страшные сооружения, — об этом им и в голову не приходило. Они воображали, что Америка, сидя за горами этих снарядов, находится в полной безопасности. Они размахивали своим звездным знаменем просто по привычке и традиции, громко кричали ура, презирали другие народы и делались необыкновенно патристичными, когда у них возникали какие-либо недоразумения с этими народами на денежной почве, и готовы были разорвать тех из своих политических деятелей, которые громко не порочили и не угрожали разнести в пух и прах соперничающую с ними страну. Они хохлились против Японии, Германии и Великобритании, против всего мира, а в общем занимались своими делами и предавались удовольствиям с такой беспечностью, точно над ними никогда не могло стрястись никакой беды.

И вдруг этот крикливый народ, вообразивший, что для избежания опасности нападения со стороны других народов вполне достаточно заниматься сооружением и усовершенствованием военных орудий, был сразу выведенным из своего векового заблуждения, но оказалось уже поздно.

## II

Непосредственным действием внезапного нашествия немцев на Нью-Йорк явилось простое увеличение его обычной житейской лихорадки.

Периодические издания, т. е. газеты и журналы, которыми умственно питались ньюйоркцы (книги среди этого нетерпеливого делового населения пользовались спросом только со стороны чудаков-коллекционеров), тотчас же запестрели всевозможными «сногшибательными» заглавиями статей и рисунками. К уличной лихорадке в Нью-Йорке прибавилась новая, военная, — только и всего. Вокруг памятника Фаррагуту<sup>1</sup>, в Мэдисон-Сквере, главным образом в полдень, собирались целые толпы послушать патриотических речей ораторов и покричать «ура». Вся молодежь украсилась крошечными флажками и кокардами национальных цветов, и кто не успел запастись такими значками, тот рисковал быть избитым, а то и прямо убитым. Роскошные кафе-шантаны придавали каждому номеру своей программы ярко-патриотическую окраску и, благодаря этому, сделались сценой проявлений самого бурного энтузиазма со стороны многочисленных посетителей. Седобородые мужи ревели как мальчишки при виде балетной группы со звездным знаменем в руках. На всех домах засверкали злободневные огненные транспаранты. Воздух во всех направлениях прорезался ослепительными

снопами электрических прожекторов. В церквях произносились патриотические проповеди.

Подготовка морского и воздухоплавательного отделений на Ист-Ривере встречала сильную помеху со стороны целой массы пароходов, яхт и лодок, кишмя кишевших вокруг и переполненных пассажирами, кричавшими ура и наперебой предлагавшими свои непрошенные услуги. Торговля мелким оружием сразу страшно поднялась. Многие из граждан, дошедшие в своем патриотизме до полного одурения, отводили душу в таких диких выходках, как, например, зажигание разных «патриотических» и «героических» фейерверков прямо на улицах. В Центральном парке не было прохода от массы ребят, собравшихся там с игрушечными воздушными шарами новейшего образца.

В довершение всего этого, сенат, в продолжительном, неописуемо бурном заседании, в Олбани, провел в обеих палатах давно уже яростно оспаривавшийся билль о всеобщей воинской повинности.

## III

Германский воздушный флот достиг Нью-Йорка перед вечером, но еще до получения там известия о поражении атлантической эскадры. Впервые его заметили в Оушен-Гроуве и Лонг-Бранче быстро несущимся с юга над морем в северо-западном направлении, причем «Фатерланд» пролетел почти вертикально над санди-хукской обсерваторией, с изумительной скоростью поднимаясь вверх.

Через несколько минут после этого весь Нью-Йорк дрогнул от пущенных выстрелов со Статен-Айленда. Некоторые выстрелы были довольно удачны.

<sup>1</sup> Дэвид Глазго Фаррагут (1801–1870), американский военно-морской деятель, адмирал.

Например, одна из пушек, на расстоянии пяти миль и на 600 футов вверх, выпустила гранату, разорвавшуюся так близко от «Фатерланда», что разбила стекло в окне кабинета самого принца. Вслед за этим весь воздушный флот мгновенно поднялся на высоту 12 000 футов и в полной недосыгаемости пронесся над неприятельской артиллерией.

И вот вдруг воздушные чудища нависли над Нью-Йорком. Настал момент взаимного любопытства. На время это чувство заглушило чувство вражды. Вечер был необыкновенно ясный и тихий. Внизу, в городе, все кишело народом, с любопытством глазевшим на никогда не виданных воздушных чудищ. Дела в многомиллионном городе были заброшены раньше времени. Интересное зрелище привлекало всех. Все пестрое население громадного города объединилось в одном чувстве любопытства. Страха еще никто не выказывал. Все были уверены, что это лишь «простая дипломатическая демонстрация» со стороны неприятеля. Действительную опасность понимало только правительство; но, опасаясь разных глупостей со стороны необузданной толпы, скрывало от нее действительность и принимало меры к устранению этой опасности.

Вновь прибывшие с не меньшим любопытством глядели сверху на раскинувшуюся внизу грандиозную панораму. Ни один город в мире не был так прекрасно расположен, как Нью-Йорк, так эффектно обрамлен морем и утесами, так хорошо устроен, представляя такое множество изумительных произведений строительного и инженерного искусства. Даже Лондон, Париж и Берлин не могли равняться с ним. Обширная гавань доходила до самой его сердцевины, как в Венеции, которой он не уступал в живописности, великолепии и гордости. Особенно эффектен, он показался смотрящим на него

сверху, когда весь запылал морем огней всевозможных цветов.

— Вот так городок! — восторгался Берт, не отрывая от него глаз с верхней галерейки.

Город был так хорош и издали казался таким мирным, что нападение на него с враждебными намерениями, казалось, было так же бессмысленно и преступно, как атака Национальной галереи или наступление в полном вооружении на мирных людей, собравшихся, напр., в ресторане. Нью-Йорк, при всей его обширности, был так тесно сжат и все его части так ловко пригнаны одна к другой, что нападение на него было равносильно удару ломом по часовому механизму. Многочисленным зрителям снизу казалось, что нависшая над ними рыбообразная воздушная флотилия так же, как и они сами, ни о каких враждебных действиях вовсе и не помышляет. И действительно, не только Берт, но многим и другим, находившимся на этой флотилии, казалось прямым безумием нападение на этот чудный город. Но в голове Карла-Альберта было совсем другое: он видел в себе самом завоевателя, а в Нью-Йорке — предмет завоевания. Чем грандиознее был этот предмет, тем славнее будет торжество завоевателя. В эту ночь принц, по всей вероятности, ничего не чувствовал, кроме радости и торжества.

Но вот взаимное любованье сразу прервалось. Переговоры по беспроволочному телеграфу не привели ни к какому соглашению, и обе стороны приготовились доказывать свою правоту силою.

Среди зрителей, густые толпы которых подобно морю заливали все улицы и площади необъятного города, вдруг раздались крики:

— Смотрите, смотрите, что делается наверху!

Взоры всех поднялись к небу. В наступавших и наверху сумерках плавно



опускалось над городом пять воздушных чудищ. Одно направилось к морской станции на Ист-Ривере, другое — к городской ратуше, третье — к Бруклинскому мосту, остальные два зареяли над крупными торговыми учреждениями на Уолл-Стрите.

Не успевшие еще опомниться от этого зрелища ньюйоркцы вдруг были ошеломлены новою неожиданностью: вся масса трамваев с драматической внезапностью остановилась на полном ходу; одновременно с этим сразу погасло море огней, заливавших весь город и все его здания. Всюду воцарился почти полный мрак. Городские власти, наконец, встряхнулись, снеслись по телефону с Вашингтоном и стали принимать меры к обороне. Они потребовали, чтобы в их распоряжение был предоставлен отряд воздушных судов для более успешной борьбы с неприятелем; сдать же, т. е. признать себя, ничего еще не видя, побежденными, как советовал сделать Вашингтон, наотрез отказались. В городе, по распоряжению его властей, началась лихорадочная деятельность. Полиция с факелами в руках принялась энергично разгонять народные скопища. «По домам! По домам! — кричала она. — Готовятся серьезные события!» Слова эти передавались из уст в уста, разумеется, с добавлениями, оказавшимися, однако, на этот раз несколько не преувеличенными. Жители, спешившие по домам, всюду натывались, в непривычной темноте, на пушки и на солдат, окликавших их и отгонявших назад. Не прошло и получаса, как весь огромный город из светлого, шумного и жизнерадостного превратился в мрачный, зловеще-тихий, полный тревоги и боязни в ожидании грозных событий.

Первую свою жатву смерть собрала во время панического бегства толпы с Бруклинского моста при виде спускав-

шегося воздушного корабля. В образовавшейся во время этого бегства давке погибло более тысячи человек.

В наступившей тишине все громче и громче раздавался рокот пушек, расставленных на всех высотах, окружающих город. Но через несколько времени прекратился и этот рокот. Наступила пауза, во время которой происходили новые переговоры между враждовавшими сторонами. Население сидело в полной темноте и тщетно звонилось по телефону во все учреждения, откуда хотело получить интересовавшие его сведения о положении дел: телефоны тоже перестали действовать.

Вдруг полное тревожного ожидания безмолвие было нарушено громоподобным взрывом и шумом — разрушением Бруклинского моста, треском пулеметов с морской станции и новыми взрывами бомб на Уолл-Стрите и в ратуше. Население города ничего не могло понять и не знало, что предпринять. Сидя в полном мраке, ньюйоркцы с недоумением и трепетом прислушивались к отдаленному шуму, пока он не прекратился так же внезапно, как возник.

Новое затишье продолжалось слишком долго, по мнению ньюйоркцев. Глядевшие в окна верхних этажей могли видеть неясные очертания воздушных чудищ, медленно и бесшумно пронесившихся над зданиями, но и только.

Но вот вдруг в городе снова вспыхнуло электричество, и на улицах появились целые стаи продавцов только что вышедших газетных прибавлений и листов и громко предлагали их публике. Ньюйоркцы моментально расхватили эти вороха печатной бумаги и только теперь узнали, что происходила страшная атака города со стороны немцев, и что он вывесил белый флаг.

## IV

Печальные события, следовавшие за капитуляцией Нью-Йорка, сделались понятными ньюйоркцам только потом, а сначала граждане приняли совершившийся факт с тем равнодушием, какое обыкновенно проявляют люди при каком-нибудь неважном событии. «Так мы сдались? Как же это так?» — Такими вопросами были встречены первые известия о капитуляции. И лишь потом, когда ньюйоркцы поняли весь позор этой капитуляции, они вдруг вспыхнули проявлением патриотизма. «Как! Мы сдались? Это мы-то! В лице нашего города покорена вся Америка!» — раздавалось повсюду, и сердца у всех загорелись.

Листки, выпущенные вторично около часа ночи, не содержали обстоятельных сведений об условиях сдачи города; не сообщали они ничего и о действительной причине возникновения вражды между ними и немцами. Но позднейшие выпуски заполнили эти пробелы. Выяснив причину конфликта, возникшего с Германией, они сообщили все подробности условий сдачи. Победители потребовали: снабжения провиантом их воздушного флота, возмещения взрывчатых снарядов, израсходованных ими при уничтожении атлантической американской эскадры и нападении на Нью-Йорк, передачи им флотилии на Ист-Ривере и сорок миллионов долларов контрибуции. Далее в листках следовали все более и более длинные описания разрушения ратуши, Бруклинского моста и морской станции. Сообщалось и об уничтожении североатлантической эскадры, составлявшей предмет особенных попечений и гордости Нью-Йорка. Говорилось и о разорванных на куски солдатах, совершенно напрасно погубленных в этой невозможной бойне, и о многом другом в таком же роде.

Все это поднимало и разжигало дремавший патриотизм нью-йоркцев.

«Нет! — кричали они. — Мы еще не покорены! Это был только тяжелый сон... Кошмар! Мы еще постоим за себя!»

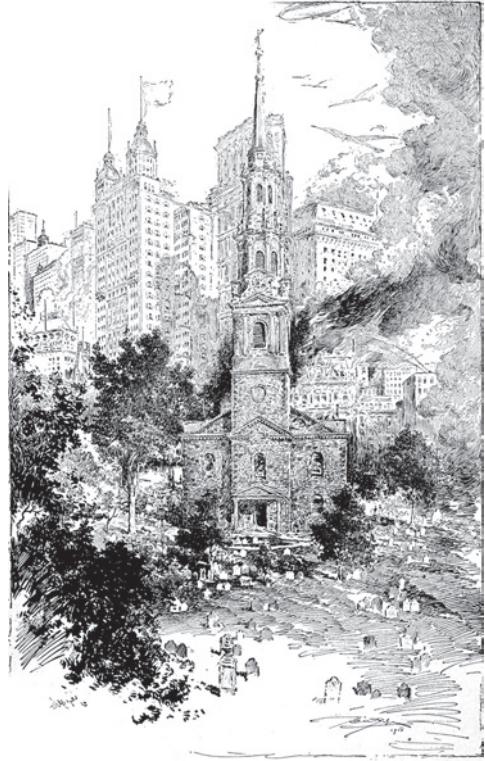
Еще до наступления утра сердца всех граждан многомиллионного города были воспламенены жаждою сопротивления. Газеты книповского толка первые оформили это стихийное чувство и выразили его в следующей краткой и энергичной форме: «Мы никогда не дадим на это своего согласия. Нас захватили врасплох. Теперь же мы знаем, с кем имеем дело, и постоим за себя!». Слова эти пронесли по Нью-Йорку с быстротой урагана. На каждом углу, в бледном свете утренней зари, находились ораторы, зывавшие к духу великой Америки и доказывавшие, что позор этого духа означает личный позор каждого гражданина. Их слушали с шумными одобрениями, и Берту с высоты 500 футов казалось, что город гудит, как встревоженный пчелиный улей.

После взрыва Бруклинского моста, ратуши и почтамта, на одной из башен старого Парк-Роу-Билдинг был вывешен белый флаг. К этому зданию отправился городской мэр О'Хегэн для переговоров с графом Винтерфельдом относительно капитуляции. «Фатерланд», спустив старого дипломата по веревочной лестнице на землю, поднялся вверх и стал витать над огромными старыми и новыми зданиями, громоздившимися около городского парка. Таким образом, Берту было ясно видно все, что происходило в центре города. Городская ратуша, Дворец Правосудия, почтамт и много других общественных зданий представляли груды почерневших развалин; западная сторона Бродвея тоже сильно пострадала. При разрушении ратуши и Дворца Правосудия число человеческих жертв было сравнительно невелико, но взрыв почтамта повлек за собою гибель

множества служащих. Во многих разрушенных зданиях еще дымилось, и пожарные направляли туда целые потоки воды. Длинные пожарные рукава тянулись по всему кварталу, огражденному от напора толпы сильным кордоном полицейской стражи.

Резкой противоположностью этой картины разрушения выделялись находившиеся вблизи и уцелевшие грандиозные здания парк-роуского газетного издательства. Все они были ярко освещены, и работа в них не прекращалась. Занятая там целая армия тружеников не удалилась даже тогда, когда сверху начали сыпаться бомбы. В настоящую минуту редакция и типография проявляли самую кипучую деятельность, собирая подробности о страшных событиях ночи, растолковывая их публике и распространяя среди нее, прямо на виду неприятелей, самые горячие воззвания к сопротивлению. Берт долго не мог понять, что делается в этом огромном здании в такое время; но когда до его уха донесся характерный стук печатающих машин, он понял и выпустил вслух свое любимое восклицание: «Ах, черт их возьми! Вот так люди!».

По ту сторону этого здания, между устоями однорельсового воздушного пути, виднелся, также оцепленный кордоном полицейских, целый лагерь лазаретов, где множество санитаров хлопотали вокруг умерших и раненых во время ночной давки у Бруклинского моста. На севере Берт мог видеть крутую выемку Бродвея, где собирались огромные толпы слушателей вокруг размахивавших руками ораторов. Когда же он поднимал глаза немного вверх, то мог любоваться многочисленными трубами, мачтами для телефонных проводов и плоскими кровлями зданий; на этих кровлях также теснились группы наблюдающих и оживленно дебатующих людей. Всюду тор-



чали флагштоки, но без флагов; только над зданиями Парк-Роу болтался одинокий белый лоскут, по временам развеваемый легким ветерком, потом снова вяло повисавший.

Большую часть своих наблюдений Берт делал из окна кабины Курца, который отсутствовал. Наш герой всю ночь просидел у этого окна, вздрагивая и судорожно цепляясь обеими руками за подоконник при каждом новом взрыве или грохоте. «Фатерланд» то поднимался очень высоко, так что шум почти не достигал до него, то опускался совсем низко и, казалось, находился в самом центре грохота, взрывов, воплей и прочих ужасающих звуков.

Активного участия в деле «Фатерланд» не принимал; он только наблюдал и распоряжался. Под утро Берт, насмотревшись всевозможных ужасов и изму-

ченный нравственно, отошел, наконец, от окна, повалился, как был, на кушетку и тут же забылся тяжелым сном. Сон захватил его в такой неудобной позе, что вернувшийся через несколько часов Курц сжалился над ним и, слегка толкнув его, сказал ему:

— Проснитесь, Смолуэйс, и лягте поприличнее.

Берт вскочил и, протирая глаза, испуганно спросил:

— Что такое?! Опять начали?

— Пока еще нет, — проговорил молодой офицер, тяжело опускаясь на стул. — Господи, как бы хорошо теперь выкупаться в холодной воде и отдохнуть!.. Всю ночь пришлось провозиться в воздушных камерах... Отыскивали повреждения... Знаете, что, Смолуэйс, — добавил он, зевая и потягиваясь, — вы выспались, а я измучен как собака и страшно хочу спать, но так, чтобы мне никто не мешал. Ступайте за своей утренней порцией, а потом отправляйтесь на галерею. Там и оставайтесь, пока я сам не приду туда.

## V

Освежившись немного непродолжительным сном и, подкрепившись горячим кофе с сухарем, Берт продолжал свои наблюдения с верхней галерейки. Он старался быть подальше от часового, чтобы поменьше обращать на себя внимания, помня слова принца, что его считают здесь не человеком, а «балластом».

С юго-востока поднимался довольно свежий ветерок, дававший себя чувствовать качкою, а на северо-западе чернелись быстро надвигавшиеся тучи. Стук боровшегося с ветром винта был теперь гораздо слышнее, чем тогда, когда корабль несли полным ходом, и трение воздушных волн о нижнюю его сторону производило шум, похожий на плеск воды под килем лодки, только послабее.

«Фатерланд» кружился, главным образом, над временною ратушей и по временам опускался для возобновления переговоров с городскими властями и вашингтонским правительством. Но так как нетерпеливый принц не мог долго пробыть на одном месте, то его корабль все время производил боковые экскурсии то в одну, то в другую сторону.

Даже Берту, при всей его умственной ограниченности, бросалась в глаза резкая противоположность между легкомысленным характером американцев и твердой непреклонностью немцев. Все нью-йоркские здания, несмотря на всю их грандиозность и великолепие, казались как бы враждующими друг с другом; их бросающаяся в глаза роскошь была так же непланомерна и беспорядочна, как случайно подобранная коллекция дорогих, но разнокалиберных предметов. Впечатление это усиливалось царившею на улицах сумятицей. Витавшие же над городом немецкие воздушные корабли казались существами другого мира — мира законности и порядка. Все они действовали дружно, имели одинаковый вид и подчинялись одной нераздельной воле.

Берт вдруг заметил, что сделалось видно только часть воздушного флота, а все остальные суда исчезли. Ему очень хотелось бы знать, куда они девались, но не у кого было спросить. Через несколько же времени он сам увидел, как с восточной стороны стала быстро приближаться целая дюжина воздушных кораблей, таща на буксире множество летающих драконов. Потом он узнал, что они летали к своим транспортным судам на океан за провиантом.

В течение дня ветер все крепчал, тучи густели и клубились; к вечеру разыгралась настоящая буря, и качка, как наверху, в воздухе, так и внизу, на море, сделалась очень сильная. Весь этот день принц



вел переговоры с Вашингтоном, между тем как посланные им корабли-разведчики произвели рекогносцировку восточной области: не было ли там чего-либо похожего на воздухоплавательный парк. Высланная им ночью эскадра из 20 воздушных кораблей спустилась над Ниагарой и держала в осаде город и электрические заводы.

Между тем народное движение в Нью-Йорке разрасталось с страшною силою. Несмотря на разрушение некоторых общественных и частных зданий и на пять сильных пожаров, охвативших большой район, нью-йоркцы не хотели признать себя побежденными. Сначала их возбуждение выражалось только в криках, речах и газетной агитации, а потом мало-помалу стало переходить в действие; утром один за другим начали появляться на домах национальные флаги; это было выражением озлобленности населения против неприятеля и против собственного правительства. Германская гордость была сильно оскорблена этим. Граф Винтерфельд тотчас же вошел в переговоры с городскими властями и указал им на это нарушение существующих правил. Вслед за тем нью-йоркская полиция получила соответствующие распоряжения, и между исполнительною властью и упрямыми гражданами, во что бы ни стало желавшими оставить поднятые ими флаги, завязалась сильная борьба; полиция срывала флаги, а граждане их снова вывешивали, причем дело, разумеется, не обходилось без насилий с той и другой стороны.

Капитан воздушного судна, витавшего над кварталом, где помещался колумбийский университет, приказал спуститься, чтобы сорвать посредством лассо развевавшийся над дворцом Моргана огромный флаг.

Пока экипаж судна исполнял это приказание, из верхних окон огромно-

го находившегося рядом здания по судну было дано несколько ружейных и револьверных залпов. Две-три пули пробивали газовые камеры судна, а одна даже ранила кого-то в руку. Тотчас же вступило в дело орудие, помещавшееся в груди германского орла, и сразу прекратило пальбу снизу. После этого корабль взвился кверху и снесся с «Фатерландом» и городскими властями; на место происшествия немедленно прибыла полиция и милиция, и порядок был быстро водворен.

Но вскоре же возникло новое «недоразумение», на этот раз уж более серьезное. Компания молодых клубменов, жаждавших отличиться каким-нибудь «геройским» подвигом, помчалась на своих автомобилях на Бекон-Хилл и с примерною энергией принялась устраивать форт вокруг имевшейся там пушки на подвижном лафете. Обозленных бездеятельностью артиллеристов молодым людям нетрудно было заразить своим воодушевлением; те даже обрадовались возможности показать свое искусство и выказать свои патриотические чувства. Общими усилиями пушка была прикрыта окопами. Когда все было готово, приступили к заряджению орудия. На все эти приготовления обратил внимание неприятельский воздушный корабль «Пруссия», и лишь только снизу была выпущена первая граната, причинившая довольно тяжелую аварию находившемуся ближе других германскому кораблю «Бинген», вынужденному, благодаря этой аварии, спуститься на Статен-Айленд, как бомбы «Пруссии» вдребезги разнесли и окопы, и пушку, и самих «героев».

«Бинген», лишенный газа, повис на группе деревьев, но, к счастью, на нем не вспыхнуло огня, и его уцелевшая команда тотчас же принялась за исправление повреждений. Часть команды, в чи-



*Бомбы «Пруссии» вдребезги разнесли и окопы, и пушку, и самих «героев» (к с. 121).*

сле шести человек, по доверчивости или по самоуверенности, отправилась на поиски газового завода, чтобы переговорить о наполнении опустевших камер поврежденного корабля; но тут же попала в руки враждебной толпы. Поблизости находился целый ряд пригородных домиков, обитатели которых взялись за оружие и начали стрелять в команду «Бингена», занятую его починкой. Укрывшись за деревьями, немцы также открыли огонь по нападавшим.

Перестрелка вызвала на сцену «Пруссию» и «Киль», которые несколькими выстрелами из своих орудий превратили в груды развалин чуть не все окрестные строения и перебили множество их обитателей. Несколько времени исправление «Бингена» под защитой «Пруссии» и «Кили» происходило без всякой помехи. Но лишь только защитники удалились, нападение на команду «Бингена» возобновилось, и притом с большим упорством. Кончилось все это тем, что вся команда исправляемого корабля была перебита, и сам он уничтожен.

Главное затруднение немцев состояло в том, что они не могли высадить достаточного десанта. Воздушные корабли не были в состоянии поднять большое количество людей. На каждом из них было лишь столько, сколько требовалось для маневров и обслуживания его. Сверху они могли наносить страшный вред, но обезоружить находящегося внизу неприятеля и удержать завоеванное не имели возможности. Все их значение состояло в том, что они угрозами возобновить бомбардировку производили известное давление на власти. Этого и было бы вполне достаточно для успешности переговоров о мире, если бы в Америке существовало хорошо организованное управление и разумное население. Но американское правительст-

во отличалось непростительной слабостью, а население — необузданностью. Разгром ратуши, почтамта и других центральных узловых пунктов города совершенно расстроили правильность действий остальных его частей. Все трамваи и железные дороги прекратили движение, телефон и телеграф почти бездействовали. Немцы метили в голову; эта голова была побеждена и оглушена, но лишь для того, чтобы окончательно разнуздать тело. Нью-Йорк превратился в безголовое, разнузданное стадо диких животных, бросившееся без вожака, вразброд. К вечеру весь город был в полной анархии на почве, впрочем, патриотизма, и все его дикие выходки были направлены против общего врага.

## VI

Натянутое перемирие окончилось уничтожением германского воздушного корабля «Веттергорн». Погода к вечеру ухудшилась. Туча за тучей проносились над городом, разражаясь то градом, то дождем, то грозой. Сильный ветер затруднял операции воздушного флота и принудил его опуститься почти до самых кровель зданий, а это суживало поле его зрения и подвергало опасности выстрелов. Вот тут-то и произошла катастрофа с «Веттергорном».

В Юнион-сквере за ночь была поставлена пушка, которую после сдачи города убрали под арку огромного здания Декстера. Утром несколько предприимчивых патриотов нашли ее там. Недолго думая, они втащили орудие на один из верхних этажей дома, где, под прикрытием оконных штор, и установили его. Когда «Веттергорн» медленно проносился над противоположным зданием, патриоты открыли по нему огонь из своей пушки. Выпустив подряд две гранаты, пушка с страшною силою разорвалась, вместе с тем рухнули и все верх-

ние этажи здания и погребли под своими развалинами импровизированных артиллеристов и всех тех, которые находились в доме. Зато обе гранаты попали в «Веттергорн» и взорвали его. Исполинское воздушное сооружение беспорядочными горами исковерканных частей рассыпалось по кровлям зданий и улицам вместе с окровавленными кусками человеческих тел...

«Фатерланд» в это время кружил над развалинами Бруклинского моста и местности, расположенной на юг от ратуши. Пушечные выстрелы, грохот разваливающегося дома и взрыв корабля привлекли Курца и его сожителя к окну. Силою воздушного течения, произведенного взрывом, их отбросило от окна, причем и «Фатерланд» подпрыгнул, как мячик. Когда же молодые люди снова подошли к окну и выглянули в него, то весь Юнион-сквер представился им неузнаваемым, точно над ним пронесся страшнейший ураган. Многие дома на восточной стороне были в огне, зажженные пылающими обломками «Веттергорна».

— Что такое произошло там? — испуганно спросил Берт. — Посмотрите, г. лейтенант, какой переполох среди населения.

Не успел еще Курц и рта открыть, как вдруг раздался сигнал к сбору. Лейтенант должен был поспешить на этот зов. Берт тоже вышел вслед за ним в проход и тотчас же был сбит с ног принцем, торопливо шедшим из своего помещения в центральную часть судна. Карл-Альберт был бледен и весь дрожал от душившего его гнева. Яростно сжимая кулаки, он скрежетал сквозь крепко стиснутые зубы:

— О, я отплачу им за это!.. Я разрушу весь их город!.. Они, должно быть, еще не знают меня, так узнают!

Граф Винтерфельд, спешивший за принцем, споткнулся о валявшегося Бер-

та и тоже упал, но молча встал и последовал дальше, а потом еще кто-то, проходя мимо, нечаянно ударил его ногою по лицу.

— Черт бы вас всех побрал! — пустил им вслед наш герой, поднимаясь на ноги и потирая ушибленное лицо.

Он направился было к маленькой галерейке, но, увидев, что туда же направляется и принц со своими спутниками, юркнул назад в кабину Курца, чтобы еще раз не столкнуться с этим «пугалом», как он величал про себя принца. Молодой человек снова поместился у окна. Город сквозь нависшие облака был почти не виден. Но когда «Фатерланд» стал опять опускаться, городская панорама начала делаться все яснее и яснее. Вдруг с «Фатерланда» что-то упало, маленькое и совершенно безобидное на вид. Берт увидел, что лишь только этот предмет коснулся мостовой, как окружающие его люди как-то странно запрыгали, забегали и закувыркались; потом во все стороны брызнули огненные языки, и множество людей было подброшено кверху, а когда они падали обратно на землю, то оставались лежать на ней, превратившись в неподвижную бесформенную массу. В то же время с грохотом посыпались части разрушающихся зданий, и из этих зданий выбегали толпы испуганных людей. Многие из бежавших, настигаемые падавшими обломками, погибали под ними. Сквозь дым и пыль, тучами застилавшие улицу, проглядывало багровое пламя...

Так началась расплата принца с Нью-Йорком. Но несмотря на крайнее раздражение против вероломного города, Карл-Альберт все-таки старался быть, по возможности, умеренным в этой вынужденной бойне, пытаясь с наименьшей затратой боевых сил и наименьшим количеством человеческих жертв дать почувствовать свою силу.





*Исполинское воздушное сооружение беспорядочными грудами исковерканных частей  
рассыпалось по кровлям зданий и улицам вместе с окровавленными кусками  
человеческих тел...*





С этой целью он хотел ограничиться разрушением одного Бродвея и приказал своему флоту пронестись колонною над этой городской артерией, причем с каждого судна должна быть брошена только одна бомба. Сам он шел, как всегда, во главе.

Таким образом, Берт сделался свидетелем одной из самых хладнокровных боен, когда-либо совершавшихся на земле. Высококультурные и гуманные люди со спокойным духом, и почти ничем не рискуя сами, сеяли смерть и разрушение на беззащитные жилища таких же челове-





ческих существ. Точно шутя, тихо проносясь в безопасной высоте на воздушных кораблях над этими жилищами, немцы разрушали их, как разрушают дети свои карточные домики. Они оставляли за собою развалины, пожары и груды человеческих тел. Южная часть громадного го-

рода была превращена в одно сплошное море огня, из которого не было спасения...

При виде этой страшной картины разрушения Берт вдруг подумал, что такая «научная» бойня была вполне возможна не только здесь, в этом чуж-



*Южная часть громадного города была превращена в одно сплошное море огня, из которого не было спасения... (к с. 127).*

дом ему городе, среди чуждого народа, но и там, на его родине, в Лондоне, в Бен-Хилле. Как ни слабо было в нем патриотическое чувство, но и он задро-

жал от ужаса при мысли, что, продав немцам секрет Беттериджа, быть может, сам способствовал этой возможности.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Воздушная битва

#### I

Американцы, наконец, поняли, во что им может еще обойтись их непростительная медлительность, и мобилизовали всю свою воздушную боевую силу, чтобы вырвать из железных рук страшного врага хоть то, что еще уцелело от Нью-Йорка.

И вот произошла битва, первая, небывалая еще в мире, битва в воздухе.

На крыльях свирепствовавшей бури, среди грозы и ливня, налетели они на немцев. Американский воздушный флот явился двумя отрядами из строительных парков Вашингтона и Филадельфии. Натиск его был так стремителен, что чуть было не захватил неприятеля врасплох. К счастью для немцев, один из их сторожевых кораблей заметил быстро несущуюся американскую воздушную флотилию и поспешил оповестить своих. Прозевай он ее, всему германскому флоту пришлось бы очень плохо.

Немцы, израсходовав половину снарядов и почувствовав отвращение к своей разрушительной деятельности, поднялись было от бури в верхние слои,

когда сторожевой корабль известил о появлении американской флотилии. По получении этого известия принц выстроил весь свой флот в одну боевую линию, приказал держать наготове драконы и подняться еще выше в чистую и холодную область над облаками.

Берт в это время находился в кухне, куда пришел за своей порцией ужина. Молодой человек снова нарядился в меховые вещи Беттериджа. Широко расставив ноги, чтобы сохранить равновесие, он прислонился к стене и жадно поглощал выданную ему порцию супа с хлебом. Люди вокруг него смотрелись усталыми и подавленными; некоторые были даже мрачны и угрюмо задумчивы. Всеми овладело сознание, что под ними находится страна, доведенная ими после всего сделанного до полной враждебности, более грозной, чем бушевавшая внизу буря. Все чувствовали, что их ожидает страшное, справедливое возмездие.

Предчувствие не обмануло их, когда получилось известие о появлении американской воздушной флотилии. Известие это принес на кухню высокий, плотный

силач с красным лицом, белобрысыми волосами, голубыми глазами и большим шрамом на правой щеке. Он крикнул по-немецки несколько слов, вызвавших среди присутствовавших сильное волнение. Берт, хотя и не мог понять этих слов, но чувствовал, что в них было нечто страшное, и невольно вздрогнул от одного звука зловещего голоса вестника. После первых его слов сначала наступила минутная пауза растерянности, потом посыпались расспросы. И вдруг, как бы в подтверждение принесенного вестником известия, раздались резкие звуки рожка, призывавшие всю команду на места. Все бросились на этот призыв, и Берт остался один.

— Ну, должно быть, стряслось что-нибудь серьезное, — пробормотал молодой человек и, быстро dokonчив миску с супом, бросился к маленькой галерейке, делая невероятные усилия, чтобы удержаться на ногах по случаю сильной качки. Судорожно цепляясь за перила, он кое-как спустился по лестнице на галерейку, где бичуемые бурей воздушные волны обдали его точно струями холодной как лед воды. Ему ничего не было видно, кроме быстро мчавшегося мимо густого влажного тумана. Вдруг все огни над ним, на корабле, сразу погасли и «Фатерланд», весь содрогаясь и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, стал подыматься вверх.

Когда огромное воздушное сооружение накренилось на бок, Берту удалось подхватить мимолетное, как молния, видение, похожее на поднимавшийся к небу исполинский, ослепительно сверкавший акантус (тропическое травовидное растение), все листья которого казались огненными языками; это были два многоэтажных, объятых пламенем здания под самым «Фатерландом». Потом молодой человек увидел сквозь хаос клубящихся туч смутные очертания другого воз-

душного корабля, также с трудом пробравшегося в верхние слои. Через мгновение этот корабль совсем исчез в тучах, но немного спустя снова появился в виде огромного темного чудовища, борющегося с разъяренными стихийными силами. Всюду слышались хлопанье лопастей, стук машин, свист, шум и полузаглушенные бурей вопли и крики людей. Берт был ошеломлен, оглушен и ослеплен всем, что творилось вокруг него. Временами он превращался в совершенного автомата, почти ничего не сознающего и только машинально старавшегося сохранить в страшной качке равновесие и не выскочить за борт в зияющую под ним бездну.

Вдруг возле него из невероятных высот что-то упало и, быстро пронесшись в косом направлении, скрылось в тумане бездны; это был один из германских летающих драконов. Машина летела с такою страшною быстротой, что Берт едва успел рассмотреть темную съезжившуюся фигуру человека, сидевшего верхом на спине дракона и крепко державшегося за рулевое колесо.

— Ах, черт возьми! — вырвалось у пораженного Берта. — Что же это в самом деле творится?

Где-то спереди, во мраке, раздался глухой орудийный выстрел; вслед за тем «Фатерланд» сильно накренился на бок, и Берту пришлось напрячь все силы, чтобы не быть сброшенным вниз. Потом что-то страшно зарокотало уже вблизи, и вокруг засверкали частые молнии. «Фатерланд» повис почти вертикально, и Берт, едва удерживаясь окостеневшими от холода руками за обледеневшие перила, очутился вверх ногами над бездною.

Когда корабль снова принял свое естественное горизонтальное положение, Берт хотел пробраться в свое помещение, где было гораздо безопаснее, и начал осторожно, ползком, пробираться к лестнице, но в тот же момент корабль вторично под-

нялся на дыбы и подался назад, как заартачившаяся лошадь, желающая сбросить с себя всадника. Раздался новый грохот, потом слышался частый треск пулеметов. Поднялся такой адский шум, так засверкали молнии, что Берт от ужаса замер на месте. Вот раздался новый громовой удар и притом такой, что, казалось, вся земля треснула пополам, и все вокруг осветилось небывалым ослепительным светом. Полумертвый от страха, Берт лежал на полу галерейки, судорожно вцепившись в тонкие, но, к счастью, крепкие металлические прутья ее плетения.

В этот страшный миг он вдруг увидел, что перед «Фатерландом» в воздухе находится какой-то странный огромный предмет (оказавшийся, как потом узнал молодой человек, американским аэропланом). Аэроплан так близко находился от «Фатерланда», что Берт мог вполне ясно различить на нем людей. Корма была внизу и вся наклонилась вперед. Это воздухоплавательное сооружение принадлежало к совершенно новому типу, с двойными торчавшими вверх крыльями и винтом в переднем конце. Команда помещалась в чем-то похожем на лодку, со всех сторон покрытую сетью. Из длинного, но очень легкого остова аэроплана с каждой стороны выглядывали скорострельные орудия. Берта удивляло, что верхнее левое крыло аэроплана по направлению книзу горело каким-то красноватым дымным огнем. Но его особенно поразило то, что этот аэроплан и один из воздушных немецких кораблей, находившийся футов на 500 ниже, были оба точно нанизаны на молниеносном луче, отклонившемся от своего прямого пути, чтобы захватить и аэроплан и корабль, и что из всех углов и выдающихся мест крыльев аэроплана сверкали ветвистые кустики огненных колючек.

Только что Берт успел уловить глазом все эти удивительные подробности,

как вдруг снова надвинулся прежний непроницаемый мрак, прогремел новый страшный грохот и слышался взрыв отдаленных жалобных воплей, тотчас же замерших в бездне внизу.

## II

За всем этим последовала усиленная и продолжительная качка «Фатерланда», но теперь только горизонтальная, так что Берт снова сделал попытку пробраться в кабину Курца. На нашем искателе приключений не было, как говорится, сухой нитки, он весь продрог, был страшно перепуган и вообще чувствовал себя очень скверно. Вся галерейка покрылась тонким слоем льда, и Берт с огромным трудом полз на четвереньках.

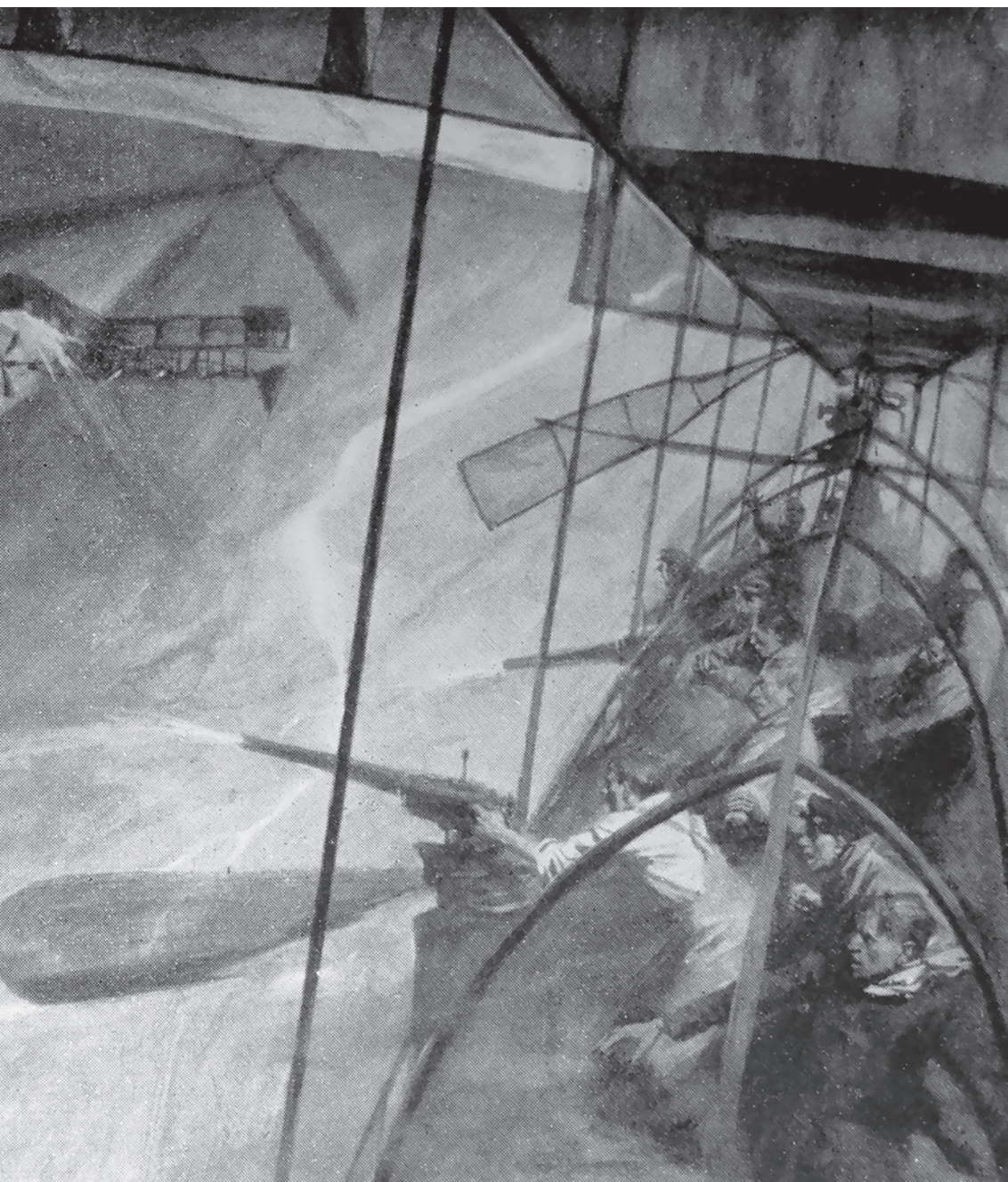
Долго пришлось ему ползти таким образом. Вокруг него, вверху и внизу, зияли страшные бездны, полные воющей снежной бури. И от всего этого его отделяла только тонкая проволочная сетка, которою была покрыта галерейка. Раз ему показалось, что мимо его уха прожужжала пуля, и мрак на мгновение прорезался молниеносной вспышкой; но он так был разбит, что даже не поднял головы, чтобы прислушаться, какое еще испытание угрожает ему. Он весь был поглощен одною мыслью — добраться скорее до своего уютного помещения и по возможности дольше не выходить из него. Временами его бичевал град, и он корчился от боли.

Наконец он облегченно вздохнул, очутившись в тихом и сравнительно теплом проходе, но, как нарочно, этот проход вдруг поднялся почти вертикально вверх, так что Берт едва успел ухватиться за ручку двери, возле которой стоял. Через секунду корабль принял свое естественное горизонтальное положение, и молодой человек поспешил юркнуть в кабину Курца. Войдя в нее, он осмотрелся, сообщая, где бы ему поместить-









*В этот страшный миг он вдруг увидел, что перед «Фатерландом»  
в воздухе находится какой-то странный огромный предмет (к с. 131).*

ся, чтобы не было надобности постоянно хвататься за что попало во время разных положений, то и дело принимаемых судном. Он забрался в помещение под крышкой кушетки и улегся там среди груды разных мягких вещей. Крышка над ним тотчас же крепко захлопнулась, но он на это не обратил внимания: ему было тут хотя и тесновато, зато тепло и уютно, а там будь, что будет.

Берт не видел, как «Фатерланд» поднялся чуть не к самым звездам, оставив под собою хаотическую область бури; не видел он и битвы своего корабля с двумя американскими аэропланами, не знал, что они своими выстрелами пробили две его задние камеры, но были отражены взрывчатыми снарядами, и что после этого принц приказал отступить. Не знал Берт и того, что «Фатерланд» получил сильный удар в бок и несколько времени находился на краю гибели. Он стал быстро опускаться вместе с аэропланом, запутавшимся в его винтах, между тем, как американцы старались взобраться к нему на борт. Для нашего героя все это выражалось лишь в сильной качке. Когда же американский аэроплан отцепился от своего противника вместе со своим экипажем, по большей части перебитым или тяжело раненым, Берт, лежа в ящике, ничего не ощутил кроме сильного толчка вследствие быстрого подъема «Фатерланда» кверху. После этого толчка качка сразу прекратилась. «Фатерланд» уже не боролся с бурей: его поврежденная машина более не действовала, и, лишенный руля, он теперь служил такою же игрушкой ветру, как шар Беттериджа.

Все эти подробности Берт узнал потом от Курца, а пока, успокоенный наступившею тишиной, он крепко заснул.

### III

Он видел во сне Эдну, летевшую вместе с ним по небу, среди фейерверка бен-

гальских огней. Их преследовало какое-то страшилище, похожее на принца Карла-Альберта и на Беттериджа, вместе взятых. Берт проснулся весь в холодном поту и никак не мог сообразить, где он. Ему трудно было пошевелиться, и он с трудом дышал. Сначала ему показалось, что он находится в своей спальне в квартире при магазине Гребя, и что все пережитые им ужасы он видел во сне.

— Греб! — крикнул он.

Глухой отзвук его голоса, неполучение ответа и спертый воздух, в котором ему так трудно было дышать, навели его на новую ужасную мысль. Он ощупал руками тесное пространство ящика, и ему показалось, что это гроб. Значит, он живо похоронен!

— Помогите! — закричал он не своим голосом, ворочаясь и стуча кулаками в стенки ящика. — Спасите меня! Я не умер и не хочу умирать!

Вдруг одна из стенок его «гроба» подалась; он вылетел в какое-то светлое пространство и покатился по чему-то мягкому, потом стукнулся о кого-то и отскочил от него как мячик.

— Черт бы вас побрал, Смолуэйс!.. Вы совсем с ума сошли! Разве можно так прыгать на человека? — вскричал этот «кто-то», оказавшийся Курцем, потиравшим ушибленный бок и с изумлением глядевшим на валявшегося около него Берта.

Над головами молодых людей зияло продолговатое отверстие, походившее на корабельный люк. Берт сразу не мог понять, что это за отверстие, и только вглядевшись догадался, что это — дверь их кабины, перевернутой на бок, а они оба лежат на полу, или точнее, на стене, превратившейся теперь в пол.

— Как это вас угораздило забраться не на кушетку, а в кушетку, Смолуэйс? — продолжал Курц, поднимаясь на ноги. — Я только что вернулся сюда и, не найдя вас здесь, думал, что вы вместе



с некоторыми из наших тоже отправились витать в пространстве, а вы вдруг выскакиваете из ящика и летите прямо на меня... В самом деле, как вы попали туда, Смолуэйс?

— Простите, г. лейтенант, — проговорил Берт, в свою очередь, вставая на ноги, — потом я все расскажу вам. А теперь мне хотелось бы узнать, почему мы в таком странном положении?

— А потому, что мы перевернулись вверх тормашками и застряли между небом и землей.

— После битвы?

— Конечно, да еще какой!

— Кто же победил?

— Не знаю, Смолуэйс... Мне известно только то, что мы выбиты из строя, машина у нас испорчена, и мы несемся по воле ветра, Бог весть куда... Да и как несемся — миль 80 в час!

— А что сейчас под нами, г. лейтенант?

— Кажется, Канада. Страна очень неказистая и неприветливая... Но расскажите же, что с вами было, и как вы ухитрились попасть в ящик. Это меня развлечет.

Берт передал о всех своих злоключениях во время этой ужасной ночи. Память у него восстановилась, и он рассказывал очень интересно и даже с юмором. Несмотря на весь трагизм положения, в котором он находился ночью, рассказ его местами был так комичен, что молодой офицер хохотал чуть не до слез. Особенно его развеселила сцена столкновения Берта с принцем и провожатыми последнего.

— Почему же вы не знаете, чем окончилась битва, г. лейтенант? — спросил Берт после своего рассказа. — Ведь вы все время...

— Я все время просидел в газовых камерах вместе с несколькими матросами, поэтому и не мог ничего видеть. Мы

были назначены туда на случай повреждения этих камер и немедленного их исправления, — пояснил Курц. — Камеры то и дело пробивались, и мы тотчас же накладывали заплаты на пробитые места... Раз у нас даже загорелось было, но, к счастью, вскоре же погасло; весь корабль промок насквозь, так что, огонь не мог разгореться, иначе нам несдобровать бы... Потом налетели на нас эти бешеные американцы, одним ударом расправили вдоль главную газовую камеру, как разрезают селедку, и разбили машину с винтом. Некоторые из наших механических приспособлений полетели за борт, когда нам удалось отцепить от себя неприятельский аэроплан... Хорошо, что мы успели это сделать, иначе нам всем не миновать бы неприятной прогулки вниз вместе с теми беднягами из наших, которые отправились туда вслед за аэропланом с американцами... Пострадал и наш бедный Винтерфельд. После того, как он, по вашим словам, наткнулся в проходе на вас, с ним стряслась новая беда: он упал в самых дверях перед кабиной принца и сильно повредил себе лодыжку... Электрические батареи у нас тоже все повреждены и не действуют, и вот мы теперь служим игрушкой ветра и несемся на север... быть может, прямо к полюсу. Это было бы очень интересно: мы открыли бы, наконец, тайну, которая не дается ученым, и которая поглотила уже столько жертв. Благодаря темноте никому из нас не удалось рассмотреть путем американские аэропланы и что с ними случилось. Говорят, мы много из них уничтожили, зато и сами лишились более половины своих драконов. Очень уж неустойчивы эти выдумки; чуть что — сейчас и кувырк... Да, Смолуэйс, нам самим сейчас неизвестно, кто победил, мы или американцы. Не знаем даже, находимся ли мы еще в ладах с Англией или уже воюем и с нею. Поэтому и не решаемся сделать

попытку спуститься. Вообще нам ровно ничего неизвестно о нашем настоящем, а тем более о будущем положении... Наш «Наполеон» сидит у себя и, вероятно, вырабатывает новые планы или думает действовать по старым, если, конечно, это еще возможно. Одно только можно сказать с полной уверенностью, что мы находимся в центре великих, — иронично подчеркнул молодой офицер, — событий, много разрушили и погубили множество людей... Мы ведем войну на научном основании... Гм... научная война? Еще более кровавая, чем прежние обыкновенные войны!.. Ах, как она мне опротивела!.. А какую я чувствую разбитость и притом так хочется есть и пить! — неожиданно заключил лейтенант и, громко зевнув, потянулся с видом уставшего человека.

— А как вы полагаете, г. лейтенант, будут нас кормить сегодня? — не без тревоги спросил Берт, желудок которого, несмотря на все пережитые его собственником тревобления, тоже начинал требовать своей обычной дани.

— А, право, не знаю, — ответил Курц и, взглянув на своего сожителя с искренним сожалением, вдруг проговорил: — Знаете что, Смолуэйс, я теперь совсем не желал бы быть на вашем месте. Мне сдается, что ваше положение здесь очень... ненадежно. Принц сейчас сильно взбешен, и если он вспомнит о вас, то как бы не приказал выбросить вас за борт, как лишний балласт, тем более, что вы англичанин, следовательно, быть может, наш враг. А между тем мне почему-то жаль вас... я чувствую к вам нечто вроде симпатии — вероятно, потому, что и во мне есть английская кровь... Вы так умеете забавлять меня, и мне вовсе не хотелось бы видеть вас летящим кувырком по воздуху, а это, повторяю, легко может случиться.

— А что же нужно сделать, чтобы избежать этого? — спросил побледневший

Берт. — Ради бога, скажите, г. лейтенант. Я постараюсь...

— Что нужно сделать? — повторил Курц и задумался, потом через минуту весело проговорил: — Нашел! Нашел! Знаете что? Вам нужно найти здесь какое-нибудь дело. Я, пожалуй, попрошу зачислить вас в мое отделение в качестве... ну, хоть надсмотрщика; ведь вы, кажется, смыслите кое-что в механике?

— Да, я немного...

— Ну, вот отлично! А что вас зачислят, за это я ручаюсь, потому что у нас не осталось и половины экипажа, и люди нам очень нужны. Только тогда вам придется работать, а не сидеть сложа руки.

— Да мне страх как скучно, г. лейтенант, и я с удовольствием...

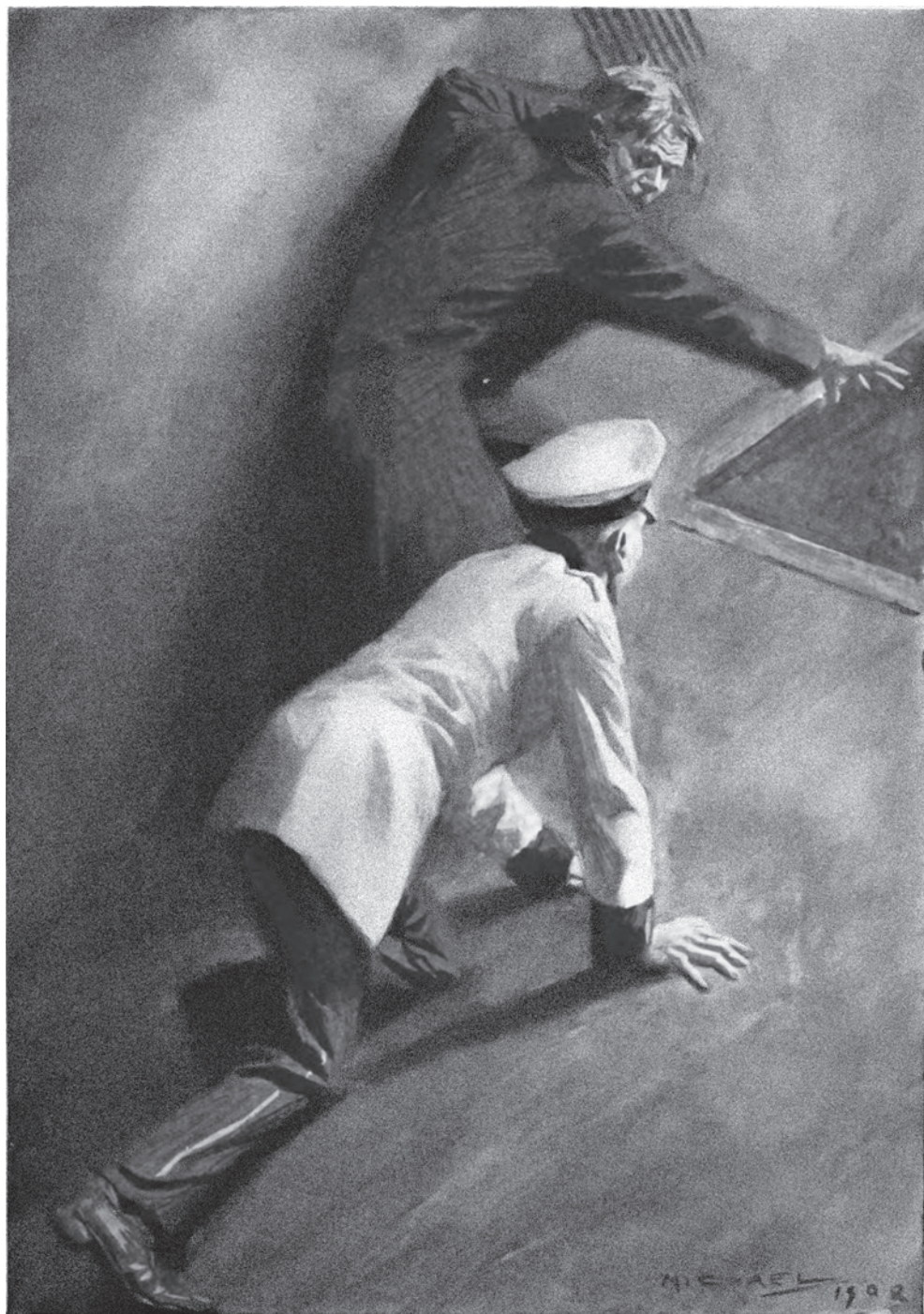
— Ну, и прекрасно. Значит, это дело в шляпе. Теперь давайте, заглянем вниз, а потом отправимся узнавать о завтраке.

#### IV

Так как окно теперь находилось не на стене, а на полу и было прикрыто лишь ставней, то молодые люди легли на пол, открыли ставню и заглянули вниз. Но кругозор в небольшое окно был слишком мал, а движение воздушного судна очень быстрое, так что наблюдатели ничего не увидели, кроме лесов, озер да пустырей, мелькавших перед глазами, как в калейдоскопе.

Но вот вдруг раздался знакомый звук рожка, призывавший к завтраку. Обрадованные молодые люди поспешили на этот зов. Добравшись при помощи стола и стула до двери, они вылезли через нее в проход, пол в котором теперь превратился в стену, а стена стала полом. Шагая через вентиляционные трубы и другие приспособления, то и дело преграждавшие им путь, они все-таки счастливо добрались до кухни. Курц тоже хотел сначала завернуть в кухню, с целью взглянуть, что там делается. К счастью, в кухне,





*Шагая через вентиляционные трубы и другие приспособления, то и дело  
преграждавшие им путь, они все-таки счастливо добрались до кухни.*

сверх ожидания, все оказалось в полной исправности, и офицерам был приготовлен какао, а солдатам — суп.

Курц отправился в офицерскую столовую, а Берт, получив свою порцию солдатского супа, стал тут же с аппетитом поглощать его, в то же время присматриваясь к находившимся здесь людям. Все они были грязные, закопченные и измученные, но ни один из них не имел зверского вида. Трудно было поверить, чтобы эти мирные и даже апатичные с виду люди могли устроить такую страшную бойню в Нью-Йорке.

Продолжая свои наблюдения и доедая суп, Берт вдруг заметил, что все смотрят на находившуюся вверху дверь; взглянул и он туда и увидел Курца, громко крикнувшего: «Его высочество, принц!». Вслед за тем в двери появилась мощная фигура Карла-Альберта, который, с помощью Курца, уселся верхом на дверной раме. Принц, как всегда, был чисто вымыт, причесан, выбрит, одет с иголочки и от него несло тончайшими духами, точно он находился в своем берлинском дворце, а не на полуразрушенном воздушном корабле.

Из-за плеч принца выглядывала голова Курца. Для нашего героя наступил критический момент, когда Карл-Альберт остановил на нем свой холодный, острый как сталь взгляд и потом что-то спросил у Курца по-немецки. Последний коротко, почтительно и, по-видимому, очень убедительно ответил. Принц утвердительно кивнул головой. Берт был спасен.

После этого Карл-Альберт, сидя на двери, как полководец на коне, обратился ко всем с сильной речью, сопровождаемой красивыми жестами руки. Вытянувшаяся в струнку команда, видимо, подбадривалась этой речью и выражала

свое одобрение краткими почтительно-восторженными возгласами. По окончании речи высокий оратор запел тенором знаменитый хорал Лютера: «Eine feste Burg ist unser Gott»<sup>1</sup>. Солдаты хором подхватили, и мощные голоса их разили всю силу нравственного подъема и горячего упования этих сильных духом и телом людей на своего Творца. Общее воодушевление передалось и Берту. Хотя он и не понимал слов хорала, но своим музыкальным слухом тотчас же уловил напев и, в свою очередь, совершенно невольно стал подтягивать.

По окончании пения вся команда гаркнула громогласное «ура», и принц в сопровождении Курца удалился, а Берт вернулся в кабину своего заступника.

## V

Возвратившийся через несколько минут в свое помещение молодой офицер сообщил Берту, что он выпросил его у принца в свое отделение, и тут же начал знакомить своего протеже с его обязанностями.

Главной заботой команды, по распоряжению принца, было стараться подерживать «Фатерланд» в воздухе, на известном расстоянии от земной поверхности. Ветер хотя и был не такой сильный, как ночью, но все же настолько еще крепкий, что не позволял спуститься на землю. Необходимо было выждать, пока он совсем стихнет, и уж тогда сделать попытку к спуску в каком-нибудь укромном месте, где можно было бы спокойно заняться исправлением судна или дожидаться другого корабля, который, быть может, отправился вслед «Фатерланду» для спасения находившихся на нем. Чтобы удержать корабль в воздухе и на определенной высоте (иначе, спустившись, он мог наткнуться на какую-нибудь гору

<sup>1</sup> Крепкая твердыня — наш Господь (нем.).

и наделать больших бед для своих пассажиров), следовало облегчить его тяжесть. С этой целью Курц со своим отрядом пробрался в поврежденные и опустевшие газовые камеры, которые нужно было разрезать на куски и выбросить за борт. Таким образом, и Берту пришлось лазить по наружной сети судна, на высоте 4 000 метров над землей, и делать то, что ему указывали.

Работа эта была нелегкая, и положение очень опасное. Однако Берт вскоре же настолько освоился с этим «высоким» положением и самою работою, что находил возможным по временам даже бросать взгляды вниз на гористую и лесистую, изрезанную быстрыми потоками местность, через которую пролетал «Фатерланд». Чем дальше, тем эта местность становилась более дикою и угрюмою; растительность делалась все реже и мельче; на высотах белелся снег.

После двухчасового напряженного труда команда лейтенанта Курца сняла с остова воздушного судна и выбросила вниз целую массу перепутанной проволоки и шелковых лоскутьев. Избавленный от этой тяжести, корабль еще выше взвился кверху.

С этого дня Берт уже более не считался «балластом» на воздушном судне, только терпимым его экипажем, но сделался там настоящим товарищем и быстро приобрел общее дружеское расположение к себе. Это его очень радовало. Слишком тяжело было ему чувствовать себя как бы отверженным среди людей. В поручаемой ему работе он своим усердием старался превзойти других, и это всеми ценилось, в особенности его ближайшим начальником, лейтенантом Курцем. Кстати сказать, сам Курц, несмотря на свою изнеженность, щепетильность и франтовство, на работе оказывался очень дельным, находчивым, ловким и проворным. Он всюду поспевал, где было нуж-

но, всех ободрял, поощрял и увлекал собственным примером. Всякое затруднение он быстро и верно решал умным советом. При всем этом он так умел обращаться с подчиненными, что те, уважая его как начальника, вместе с тем чувствовали к нему привязанность, как к старшему, по уму и знаниям, товарищу.

Через два часа явилась смена. Берт со своими новыми товарищами отправился в теплое общее помещение, где их всех ожидал горячий кофе с сухарями. Полузамерзшие, они там быстро отогрелись, и у них завязалась оживленная беседа с Бертом, конечно, главным образом, посредством мимики, потому что их новый товарищ знал немецких слов очень немного, да и те немилосердно коверкал на английский образец. Но его отлично понимали и с добродушными улыбками отвечали ему. Вообще он чувствовал себя теперь превосходно.

После полудня ветер совершенно утих, но пошел опять густой снег. Ландшафт внизу, представлявший почти голые утесы, с редкой хвойной порослью, был покрыт белой снежной скатертью.

Курц с новою сменю команды забрался в уцелевшие газовые камеры, выпустил из них известное количество газа и отметил, какие нужно было последовательно, одну за другою, разрезать для медленного спуска корабля. Затем лейтенант отправился в склад взрывчатых снарядов, чтобы выбросить весь их остаток. Треск взрывов на пустынных скалах слабым отзвуком доносился вверх до слуха воздухоплавателей.

А часа в четыре этого же дня и сам «Фатерланд», преждевременно опустившись, очутился на обширной каменистой равнине в виду голых утесов со снежными вершинами. Преждевременный спуск произошел благодаря ошибке капитана, лично сменившего своего лейтенанта и распорядившегося разре-





ности. Когда Берт вместе с прочими выбрался из опрокинувшегося корабля, то увидел, что огромный черный орел, который всего шесть дней назад так величественно поднимался на воздух из Франконии, теперь в самом жалком виде лежит распростертым на холодной каменистой земле угрюмой пустыни...

## VI

Совершенно неожиданно для себя принц Карл-Альберт был выброшен из вихря небывало грандиозных мировых событий, им же самим вызванных, и занесен на пустынный Лабрадор. Сидя здесь, этот гордый человек выходил из себя, негодуя на постигшее его несчастье, в то время, когда весь мир, из которого он устранен капризом случая, наполнялся смятением и ужасом. Народ восставал на народ, воздушные флоты налетали

зять одну газовую камеру слишком рано, а другую слишком поздно. Корабль, с страшною быстротой ринувшись вниз и ударившись о землю, подпрыгнул сначала вверх, потом снова грузно упал на нее и повалился на бок. Небольшая вишечная галерея разбилась, и граф Винтерфельд, случайно находившийся на ней, получил смертельный ушиб, так что вскоре, не приходя в сознание, скончался. Корабль, протащившись по инерции несколько секунд в таком положении по земле, вдруг перевернулся нижней частью вверх и остановился. От этого нового толчка свалился огромный орел вместе с находившимся в его середине орудием и придавил все, что попало под него. Два матроса были сильно помяты, а Берт получил легкий ушиб ноги. В общем же внезапное падение корабля обошлось сравнительно благополучно для его экипажа, потому что большинство оставалось во внутренних помещениях, где можно было сколько угодно кувыряться, не подвергаясь особенной опасности один на другой и взаимно истреблялись, города разрушались, и люди гибли целыми миллионами. Только в Лабрадоре ничего не знали об этом; здесь было угрюмо, неприветливо, зато царствовала полная тишина, — та тишина, какая бывает лишь в пустыне.

Воздухоплаватели разбили лагерь. Шатры офицеров из желтой шелковой ткани, снятой с «Фатерланда», представляли очень живописный вид. Солдаты из местных крупных сосен соорудили для себя бараки. Под руководством электротехников из железных частей погибшего воздушного судна воздвигалась высокая мачта для беспроволочного телеграфа, посредством которого принц снова мог бы войти в сношение с миром. Нетерпеливому принцу казалось, что устройство этого телеграфа никогда не окончится, — слишком уж мед-



*Совершенно неожиданно для себя принц Карл-Альберт был выброшен из вихря небывало грандиозных мировых событий, им же самим вызванных, и занесен на пустынный Лабрадор.*

ленно подвигалась вперед работа. Причин этому было несколько. Во-первых, не доставало необходимых материалов; во-вторых, не хватало рабочих рук, да и те не могли действовать с прежней энергией вследствие сильного холода и недостаточного питания, так как провианта оставалось немного, и порции пришлось уменьшить наполовину, и в-третьих, не имелось огня, без которого трудно было обойтись, так что первую ночь пришлось провести среди снега, воя ветра и завывания голодных волков. Динамо-машины были испорчены, спичек не у кого не было по случаю известного запрещения держать их; не имелось даже ни одного взрывчатого снаряда, с помощью которого можно было бы добыть огня. Только на следующее утро офицер с птичьей физиономией сознался, что у него есть пара револьверов и запас патронов, посредством которых можно получить огонь.

Кроме того, в запасной кладовой «Фатерланда» было найдено два небольших скорострельных орудия и порядочное количество снарядов.

На второй день состоялось погребение тела графа Винтерфельда, причем напутственные молитвы читал сам принц. После этого, добыв огонь, приступили к окончанию сооружения для беспроволочного телеграфа. Принц сам распоряжался работами, и то раздражался упреками и угрозами, когда замечал, что у кого-нибудь из работавших опускались руки, то ободрял команду указанием на великую историческую задачу, которую они предназначены выполнить. Дисциплину он поддерживал с прежнею беспощадною строгостью.

Но вот, мало-помалу, была, наконец, воздвигнута мачта. На шестой день к вечеру все приспособления для беспроволочного телеграфирования были готовы,

и принц принялся по всему неизмеримому воздушному пространству давать условные знаки своему неизвестно где находившемуся воздушному флоту. Несколько времени не получалось никакого результата, и Карл-Альберт выходил из себя.

Картина этого вечера надолго осталась в памяти Берта. Возле электротехников пылало красноватое пламя, а по стальной мачте и медным проводам бежали кверху искры. Принц, со сложенными на груди руками, устремленным в южную даль взором, неподвижно сидел на камне близ мачты и ждал. За ним, к северу, высился увенчанный простым деревянным крестом небольшой курган, насыпанный над прахом графа Винтерфельда. В соседнем ущелье зловещими огоньками горели глаза волков. Невдалеке громоздился остов «Фатерланда». Вокруг одного из костров сидели офицеры, а вокруг другого — солдаты. Все были угрюмы и молчаливы в ожидании известий о товарищах. А вдали, за несколько сотен миль отсюда, эти товарищи, быть может, уж считали их погибшими. Легко могло случиться, что электрические волны, приведенные в движение на Лабрадоре, не достигали своего назначения и бесцельно носились по воздуху. Но все сидели и ждали, лишь изредка, и то вполголоса, как бы чего-то боясь, обменивались своими впечатлениями.

## VII

Измучившись за день, Берт незаметно для себя заснул возле костра. Утром он узнал, что поздно ночью был получен первый ответ от флота, а после того посыпался целый ряд самых поразительных известий.

— Весь мир сейчас в огне, — говорил ему один матрос, говоривший немного по-английски. — Все народы поднялись

один против другого. Берлин и Гамбург разрушены, Лондон и Париж — тоже...

— Неужели разрушен и Лондон? — спросил Берт, чувствуя, как сжалось у него сердце.

— Разнесен в пух и прах! — продолжал матрос. — А наш флот спустился на Ниагару и устроился там лагерем... говорят, Китай с Японией выслали целую уйму разных воздушных чудищ... Вообще, говорят, весь мир в огне...

— А не слыхали, предместье Лондона, Бен-Хилл, тоже разрушен? — полюбопытствовал Берт.

— Нет, об этом я ничего не слышал, — ответил матрос, доедая свой суп.

Увидев Курца, стоявшего с заложенными за спину руками и задумчиво глядевшего на шумевший вдали водопад, Берт подошел к молодому офицеру, отдал ему по-военному честь и сказал:

— Простите, г. лейтенант, я очень желал бы знать...

Курц так быстро обернулся, что Берт не успел закончить своей фразы. Лицо лейтенанта, против обыкновения, было очень серьезно.

— Да, этот водопад напоминает мне тот, который находится на моей родине, — пробормотал он, очевидно продолжая начатый с самим собою разговор, но, заметив Берта, опомнился и воскликнул: — Ах, это вы, Смолуэйс! Что вам?

— Осмелюсь просить вас, г. лейтенант, сообщить мне, если можно, какие получены известия? Наши люди рассказывают такие ужасы, что трудно верить.

— Да, Смолуэйс, на свете творятся такие вещи, которым, действительно, трудно верить. Но едва ли наши люди могут сказать больше того, что делается в мире; ведь им неизвестны подробности... Начинается чуть не светопредставление... Весь мир в огне... За нами отправлен «Граф Цепелин». Завтра он будет здесь и, вероятно, сообщит подроб-



ности. Но и тех, которые уже нам известны, вполне достаточно, чтобы прийти в ужас... Однако вот что: я хочу поближе взглянуть вон на тот водопад. Пойдемте со мною. Дорогою потолкуем.

И Курц, не дожидаясь ответа, быстро зашагал к шумевшему вдали водопаду. За ним поспешил и Берт. Очутившись за чертою лагеря, офицер умерил шаг, дал поравняться с собою Берту и сказал:

— Дня через два мы снова будем в самом пекле войны, и притом такой страшной, истребительной, какой никогда еще не было, даже между первобытными народами... Человечество, кажется, поголовно сошло с ума... Наш воздушный флот разбил американский, но при этом мы потеряли целых одиннадцать кораблей. Зато все их аэропланы уничтожены. Сколько их было, и какое число вместе с ними погибло людей, — нам пока неизвестно. Во всяком случае, мы начали «хорошо». Наше выступление то же самое, что горящая головешка, брошенная в пороховой погреб. Оказывается, каждая страна обзавелась втихомолку воздушным флотом, и вот теперь все сцепились между собою... Самое же удивительное и неожиданное это то, что и японцы с китайцами появились на сцене и тоже на летательных машинах, не хуже, быть может, даже получше наших, и ввязались в нашу, так сказать, семейную распрю. Никто не хотел верить «желтой опасности», о которой давно уже предупреждали умные люди, а она, вот, явилась, да еще какая! Японско-китайский воздушный флот несравненно больше нашего европейского, вместе взятого; говорят, чуть не целые тысячи разных страшных летающих чудовищ, — страшных не только по виду, но и в действительности, и все они рассеялись по всему свету. Пока мы разрушали Нью-Йорк, Лондон и Париж, а французы с англичанами — Берлин, на всех нас налетела желтолицая

Азия... Всюду, во всей Европе, полное смятение. Все растерялись. Азиаты с еще большей свирепостью, чем мы, разрушают наши города, верфи, флоты, — словом, все что попадет им под руку.

— Господи, боже мой, что же это делается! — с ужасом воскликнул Берт, когда его спутник остановился, чтобы перевести дух. — А вы не знаете, г. лейтенант, сильно пострадал Лондон?

— Говорят, что да, но точных сведений пока не имеется, — ответил Курц и снова замолчал.

Несколько времени они шли молча.

— А как тихо здесь! — заговорил опять молодой офицер. — Как я желал бы остаться тут. Но это невозможно. Я — солдат и должен оставаться на своем посту до конца. А между тем как бы было хорошо зажить здесь простою, первобытною жизнью, только без вражды и жестокостей. Но об этом нельзя и мечтать. Скоро нас опять повлекут на бойню... Мы будем убивать, и нас будут убивать... Не знаю, что будет с вами, Смолуэйс, а что касается меня, то я скоро буду убит...

— Что вы, г. лейтенант! — дрогнувшим голосом вскричал Берт. — Почему вы так думаете?

— Непременно буду убит, Смолуэйс, вот увидите, — убежденно проговорил Курц. — Я это чувствую. Раньше я никогда об этом не думал, а сегодня вдруг почувствовал это... не только почувствовал, а даже услышал, точно мне кто-то сказал...

— Бог с вами, г. лейтенант! Это вам только так почудилось.

— Нет, нет, Смолуэйс, я вполне убежден в этом! — упорствовал молодой офицер.

Наступила новая, более продолжительная пауза. Курц замолчал и глубоко задумался, а Берт не решался прерывать его дум.

— Я всегда чувствовал себя молодым, — начал опять Курц на ходу, — но с нынешнего утра мне кажется, что я сразу сделался стариком... уже стоявшим одной ногой в могиле... Ах, да и стоит ли жизнь того, чтобы так цепляться за нее! Войны, землетрясения, голод, мор — все это всегда было, и живые существа гибли сотнями тысяч, но такая война, как наша, ни на что уж не похожа; ей нет никакого оправдания, потому что в ней нет ни малейшего смысла... И ради такой войны молодых, полных сил людей насильно отрывают от домашнего очага, от дорогих их сердцу! Да, наш принц прямо сумасшедший, затеяв эту страшную игру...

Курц замолчал и поник головой. В это время они дошли до болотца, по которому протекал ручей. Берт увидел на краю болотца множество мелких, нежных красных цветов, каким-то чудом распустившихся в таком суровом месте.

— Посмотрите, г. лейтенант, в таком месте и вдруг цветы! — с изумлением воскликнул он, наклоняясь сорвать цветок. — Я никогда не видал таких нежных цветов даже у себя на родине.

— Рвите их, Смолуэйс, если желаете, — проговорил молодой офицер, но сам отвернулся в сторону и по его печальному лицу пробежала судорога.

Берт воспользовался позволением и начал набирать целый букет.

— Странно, как только увидишь цветы, рука так сама и тянется за ними, — продолжал Берт, торопливо обрывая те цветы, стебельки которых были подлиннее, чтобы удобнее было составить букет.

Курц ничего не ответил на это замечание и молча ждал, пока его спутник не набрал довольно большой букет. Потом они стали продолжать путь и вскоре поднялись на небольшую возвышенность, с которой весь водопад был виден, как на ладони. Курц присел здесь на толстый пенек.

— Дальше я не пойду, — заявил молодой офицер и, бросив взгляд на водопад, прибавил: — Да, он очень похож на тот, только в окружающем его есть некоторая разница... Скажите, Смолуэйс, у вас есть любимая девушка? — вдруг спросил он.

— Есть, г. лейтенант, — с некоторым смущением ответил Берт. — И как это странно! Я только что думал о ней, когда вы задали мне этот вопрос... Должно быть, напомнили цветы.

— Да, Смолуэйс, и мне они напомнили о ней...

— Как, г. лейтенант, о моей Эдне?!

— А, так вашу зовут Эдной?.. Нет, Смолуэйс, у меня есть своя Эдна... У каждого из нас должна быть Эдна, пока мы молоды... Но я ее больше уж не увижу... Ах, как это невыносимо больно!.. Хотелось бы увидеть хоть на минуту... на одно мгновение, чтобы сказать ей, что я никогда, никогда не забывал ее!

— Бог даст, увидите, г. лейтенант, и не на минуту, а на...

— Нет, Смолуэйс, я чувствую... уверен, что больше уж не увижу. Мы встретились с нею в первый раз у такого же вот водопада на своей родине, поэтому меня и потянуло сюда... Потом мы часто сходились там и рвали вместе почти такие же цветы, как эти.

— Да, и мы с Эдной собирали цветы, — тихо промолвил Берт. — Мне кажется, что это было уж так давно...

— И мне тоже, Смолуэйс. А между тем после нашего последнего свидания не прошло и месяца... Она так добра, мила и, кажется, любит меня... Я мечтал на ней жениться, а теперь вот... Ах, как мне сейчас тяжело!.. На один бы только миг увидеть ее еще разок, услышать ее милый голос, а потом уж и умереть... Но я даже не знаю, где теперь она. Мать ее хотела с нею куда-то уехать, но при нашем прощании не сообщила мне, куда

именно, потому что сама не решила еще. Хотели сообщить потом... Смолуэйс, я напишу ей письмо и оставлю у себя вместе с ее карточкой вот тут (он указал на грудной карман в своем мундире), а вы потом, когда меня не будет, постарайтесь доставить ей...

— Ах, г. лейтенант, да перестаньте вы носиться с такими мрачными мыслями! — со слезами на глазах воскликнул Берт. — Честное слово, вы сами еще увидите с...

— Нет, Смолуэйс, — увы! — я знаю, что это не будет... Не утешайте меня не-

сбыточной надеждой. Чему суждено быть, того не минуешь. Обещайте мне лучше исполнить мою просьбу.

— Клянусь вам в этом, г. лейтенант! — горячо проговорил молодой человек. — Но мне все-таки кажется...

— Вам только кажется, Смолуэйс, а я вполне уверен... Но довольно об этом. Пойдете лучше назад. Нас могут хватить в лагере.

В продолжение всего обратного пути они оба молчали. Каждый был углублен в свои собственные невеселые мысли.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Разгром германского флота

#### I

Берт долго не мог освоиться с понятием о мировой войне. Лишь понемногу ему удалось представить себе картину всех ее ужасов. Он не привык к грандиозным представлениям. Ему никогда не приходилось думать, так сказать, дальше самого себя. До этого времени он смотрел на войну только как на источник сенсационных новостей, протекавший на ограниченном пространстве, называемом «театром военных действий». И вот вдруг говорят, что весь мир в войне, все страны в огне, все народы принялись за взаимоистребление...

Один за другим, равномерно и почти одновременно, народы следовали по пути открытий и изобретений. Несмотря на то, что каждый народ хранил в строжайшей тайне подробности своих изобретений, все они оказывались очень схожими. Так, например, не прошло и нескольких часов после подъема германского воздушного флота из Франконии, как азиатская армада пронеслась над головами изумленных обитателей равнины Ганга по направлению к западу. Но сое-

диненные силы Китая и Японии были гораздо значительнее сил всей Европы.

— Нам нужно превзойти европейских псов, чтобы одолеть их всех и восстановить, наконец, на земле мир, постоянно нарушаемый этими белолицыми варварами, — сказал Тан-Тинг-Сианг, и по его слову поднялась вся Азия.

Азиаты превосходили даже германцев изобретательностью, сохранением тайны и быстротой, с которой они соорудили воздушный флот. И немудрено: у немцев работали сотни рук, а у азиатов — десятки тысяч. Благодаря прорезавшим весь Китай вдоль и поперек однорельсовым железнодорожным путям, обширные воздухоплавательные парки в Ханси-фу и Цинъюане постоянно снабжались талантливыми работниками, не уступавшими европейцам в знаниях. Известие о выступлении немцев на завоевание мира не застало азиатов врасплох. Во время бомбардирования Нью-Йорка в германском воздушном флоте было только триста кораблей, азиаты же послали их несколько тысяч. Кроме того, у них имелась настоящая боевая летатель-

ная машина, «ниайо», как они называли ее. Эта машина во многом превосходила немецких драконов. Рассчитанная тоже на одного седока, она была построена из стали, тростника и чистого, химически обработанного шелка, и, снабженная мотором и подвижным боковым крылом, отличалась замечательною легкостью. Все азиатские аэронавты были вооружены скорострельными ружьями с взрывчатыми снарядами, наполненными кислородом, и, по японской традиции — большинство их, впрочем, и были японцы, — каждый из них имел на поясе меч. Очевидно, они и на воздухе главным оружием считали именно меч. Крылья машины «ниайо» были спереди усажены стальными когтями, которыми она могла вцепляться в газовые камеры неприятельского воздушного корабля. Таких машин у азиатов оказалось множество; часть их была на буксире у воздушных кораблей, а другая переправлялась морским или сухим путем до известного места. На воздухе эти машины, смотря по состоянию ветра, делали самостоятельные полеты от 200 до 500 миль.

Таким образом, действительно весь мир оказался в огне. Для дипломатических сношений не было времени. По беспроволочному телеграфу взад и вперед носились только угрозы и ультиматумы, и в несколько дней весь мир, неожиданно для самого себя, оказался на военном положении, и притом таком, как еще не было с самого сотворения этого мира. Англия, Франция и Италия объявили войну Германии и нарушили нейтралитет Швейцарии. При виде азиатского воздушного флота индусы подняли знамя восстания в Бенгалии, а в северо-западных областях Индии возникло враждебное индусам движение мусульманского населения, распространившееся, подобно степному пожару, от пустыни Гоби до Золотого Берега. Восточно-

азиатская коалиция захватила нефтяные источники в Бирме и набросилась на Америку и Германию. В течение недели сооружались новые воздушные корабли в Дамаске, Каире и Йоханнесбурге. Австралия и Новая Зеландия с лихорадочною поспешностью также готовились к выступлению.

Быстрому развитию событий как нельзя больше способствовало то роковое обстоятельство, что воздушный корабль можно было построить в какие-нибудь две-три недели, между тем как сооружение морского броненосца требовало столько же лет. Устройство воздушного судна было гораздо проще простой торпедной лодки. Благодаря этому теперь везде, от мыса Горн до Новой Земли и от Кантона вокруг всего земного шара, были устроены заводы, мастерские и склады материалов с целью изготовления возможно большого количества воздушных кораблей и других летательных приборов.

Едва первая часть германского воздушного флота показалась на Атлантическом океане, и получилось известие о скором появлении азиатского, как разом рухнула дутая финансовая система, которая в течение целого столетия искусственно связывала между собою народы. По всем биржам пронесся настоящий циклон реализации ценностей. Банки прекратили платежи, все дела остановились. Нью-Йорк, виденный Бертом во всем его блеске богатства и процветания, сразу очутился на краю небывалого финансового и экономического краха. Всюду начал замечаться недостаток в съестных припасах, а через две недели со дня начала мировой войны на всей земле, за исключением отдаленных и еще диких мест, власти были вынуждены прибегать к самым энергичным мерам к устранению недостатка в пищевых продуктах и обузданию огромной массы безработ-

ных, ежедневно увеличивавшейся с ужасающей быстротой, по мере приостановления промышленных и торговых предприятий.

Всеобщая воздушная война неизбежно должна была привести к полному общественному расстройству. Это сразу сказалось при нападении немцев на Нью-Йорк. Страшная разрушительная сила воздушного корабля была несомненна по отношению ко всему, что находилось под ним, но она оказалась бессильна занять, охранить и удержать за собою завоеванное. Разумеется, это должно было привести к столкновениям между собою различных партий возбужденного городского населения.

История не знает примера этому страшному состоянию всего мира. Бывали только местные случаи, вроде тех действий, которыми опозорили себя в XVIII и XIX столетиях английские военные корабли у африканских и других побережий, да восстания коммунаров в 1871 г. в Париже, под давлением войны с Пруссией.

Другая характерная особенность в самом начале этой войны заключалась в небольшом вреде, который могли нанести друг другу воздушные корабли. Вниз они могли бросать разрывные снаряды страшной силы; крепости, города и морские суда находились в полной их власти, но лично друг другу они не могли сильно вредить, если не хотели сцепиться и вступить прямо врукопашную. Все вооружение огромных германских воздушных кораблей, превосходивших величиною самые большие морские броненосцы, состояло, как мы уже знаем, из сравнительно легкой механической пушки. Положим, когда выяснилось, что предстоит борьба за обладание уже и воздухом, то аэронавты были снабжены скорострельными ружьями новейших систем и снарядами, наполненными кислородом или

другими легкими взрывчатыми веществами; но, в общем, ни на одном воздушном корабле не было столько боевых средств, сколько прежде находилось на небольшой канонерской лодке. Таким образом, эти воздушные чудовища при столкновении в воздухе никаких преимуществ друг перед другом не имели, так что, в сущности, получался тот же средневековый способ единоборства, только в видоизмененной форме. Шансы были равны. Благодаря этому, после первых же опытов у командующих воздушными флотами явилась все увеличивавшаяся склонность избегать прямых схваток и довольствоваться выгодами косвенных, случайных, нападений.

Вообще первые воздушные корабли не были способны достигнуть решающих результатов: немецкие — по своей неустойчивости, а японские и китайские — вследствие крайней легкости. Правда, несколько времени спустя бразильцы построили аэроплан, который был вполне приспособлен к борьбе с воздушными кораблями, но они соорудили всего несколько таких аэропланов и оперировали с ними только в Южной Америке; потом эти машины куда-то исчезли, и о них более ничего уже не было слышно. При всех прежних способах ведения войны на суше и на море побежденная сторона лишалась возможности делать потом набег на завоеванную противником территорию. Борьба тогда шла «по фронту» и за этим фронтом обеспечивалась целостность всего взятого победителем. Когда война велась морская, уничтожался военный флот одного из противников, блокировались его гавани, захватывались угольные станции, и дело обыкновенно оканчивалось миром между обеими враждебными сторонами. При войне же воздушной этого нельзя было сделать. Если бы одной стороне и удалось уничтожить часть флота про-



тивника, даже главную, ей все-таки не удалось бы воспользоваться вполне плодами своей победы, во-первых, потому, что победившая сторона, действовавшая в воздухе, в сущности ничего не завоевывала, а побежденная могла снова надевать сколько угодно воздушных кораблей и напасть с ними на победительницу.

В самом деле, представим себе это более наглядно. Например, А, победивший своего противника Б, витает на своем воздушном флоте над столицей Б, угрожая бомбардировать ее, если тот не признает себя побежденным. Б по беспроволочному телеграфу сообщает, что намерен обстреливать столицу А, если последний не прекратит своей вражды. Потом в дело могут вмешаться В, Г, Д и т. д. до бесконечности.

Вообще воздушная война сделалась всеобщей, распространившейся на все население земного шара, расстроившей весь механизм общественной жизни. Особенности этой войны явились сюрпризом для мира. Никто не мог предвидеть ее последствий, иначе еще в 1900 году состоялась бы всеобщая мирная конференция. Но техника шагает гораздо быстрее и продуктивнее по пути изобретения всего служащего к вреду человечества, нежели то, что может принести ему пользу, и мир с его машинами, газетами и дешевыми брошюрками, которые наполнялись всевозможными бреднями, и еще более дешевыми страстями, с его низменными меркантильными побуждениями, лицемерием, лживостью, пошлостью, «цивилизованным» невежеством и слепой, бесцельной жестокостью, — весь этот мир был захвачен врасплох.

Раз начавшись, эта бесцельная, слепая, губительная война никакими силами не могла быть прекращена до полного истощения и взаимоистребления воюющих. Непрочная ткань кредита, которой люди в своей слепоте дали разрастись и

которая держала все земное население в постоянной взаимной финансовой зависимости, ни для кого непонятной, — эта ткань вдруг распустилась и превратилась в панику. Вверху всюду начали носиться воздушные чудовища всевозможных форм, всюду бросать бомбы и вместе с их разрушительным действием разрушать всякую надежду на лучшее будущее; а внизу всюду стали разражаться общественные катастрофы и умирать с голоду безработные; всюду вспыхивала анархия. Весь запас умственной, создающей силы, таившейся в недрах народов, исправился под мощным давлением разрушающего духа времени. Все газеты и брошюры этого ужасного периода человеческого озверения свидетельствуют о городах, в которые был прекращен подвоз съестных припасов и улицы которых были переполнены голодающими безработными; о полной бездеятельности, вследствие крайней растерянности, всех властей; об осадных положениях, временных правительствах и комиссиях обороны; о восстаниях в Индии, Египте и других зависимых странах и о всеобщей горячке по сооружению новых воздушных кораблей, летательных машин и взрывчатых снарядов.

Наступил период разложения целой исторической эпохи, краха цивилизации, опиравшейся на машины и этими же машинами разрушенной. Крушения прежних великих цивилизаций, например, римской, совершались в течение целых столетий, постепенно, шаг за шагом, следуя закону нормального распада живого организма; наша же машинная цивилизация рухнула сразу, как, благодаря ее же бомбам, рушатся современные здания. Брошенная бомба сокрушила — и конец!

## II

При первых воздушных битвах, вероятно, руководствовались прежним

правилом морских флотоводцев — выведать местонахождение неприятельского флота, напасть на него и уничтожить. Так, по крайней мере, было сделано в битве при Берне, когда итальянские и французские воздушные суда во время атаки ими франконского воздухоплавательного парка подверглись нападению швейцарского пробного флота, через несколько часов подкрепленного немецким; а затем при стычке английских аэропланов с тремя германскими воздушными кораблями.

После этого разгорелась битва в северной Индии, где англо-индийский колониальный флот три дня сражался с несравненно сильнеешим японско-китайским и был им совершенно истреблен. Одновременно началась знаменательная борьба немцев с азиатами, названная «Ниагарскою битвою», хотя она мало-помалу распространилась на половину Америки. Немецкие воздушные корабли, избежавшие уничтожения в этой битве, опустились на землю и сдались американцам, которые потом и воспользовались ими в своих целях.

Начался целый ряд героических стычек между американцами, твердо решившими истребить своих врагов, и постоянно усиливавшимися азиатами, главный лагерь которых находился на берегу Тихого океана под охраною огромного флота. Сначала война в Америке велась с дикою свирепостью: пощады не давалось, в плен не брали. С лихорадочною поспешностью, один за другим, американцы строили воздушные корабли и пускали против азиатов, которые тотчас же уничтожали их. Все подчинилось этой войне; все стали жить и умирать ради нее. В машине Беттериджа европейцы скоро нашли орудие, с помощью которого могли противостоять азиатским летательным аппаратам и даже побеждать их. Но об этом подробнее мы скажем ниже.

Нашествие азиатов на Америку совершенно сгладило немецко-американские несогласия. Вначале казалось, что их стычка должна окончиться самым трагическим образом. После разрушения центральной части Нью-Йорка вся Америка поднялась как один человек. Немцы, задумавшие подчинить себе Америку, заняли, согласно планам принца Карла-Альберта, Ниагару, с целью воспользоваться гигантскими силами этого водопада, выгнали оттуда всех обитателей и превратили все окрестности, вплоть до Буффало, в пустыню. А как только Англия и Франция объявили им войну, немцы опустошили Канадскую область миль на десять вокруг. В это время как раз появились азиаты и налетели на Ниагару. Произошла первая стычка между воздушными флотами Востока и Запада. Тут-то и выяснилось все значение немецкой за-теи.

Сохранение в тайне всеми странами своих приготовлений к снаряжению воздушных флотов придавало особенный характер этому новому виду войны. Каждая страна только смутно слышала кое-что о планах своих соперниц и, ради сохранения все той же тайны, была вынуждена ограничивать опыты с собственными изобретениями. Ни одному строителю воздушных кораблей и аэропланов не было путем известно, к чему собственно будет применяться его машина. Впрочем, многие и из заказчиков, очевидно, сами не думали, что их воздушным кораблям придется служить не только средством для передвижения экипажа с бомбами, но и вступать в битвы друг с другом. Поэтому, когда американцы атаковали на воздухе немцев, средства защиты у последних оказались очень слабы. Лишь после этого все немецкие аэронавты были снабжены короткими скорострельными ружьями особой системы с взрывчатыми снарядами. В тео-

рии для битвы предназначались летающие драконы; им предоставлялась роль морских торпедных лодок. Быстро проносясь, как можно ближе, мимо неприятельского воздушного судна, сидящий на драконе должен был бросить в него бомбу. На практике же эти драконы оказались не совсем удобными по своей крайней неустойчивости. В каждой битве едва одной трети из них удавалось возвратиться к своим кораблям; другие же две трети обыкновенно погибали от неприятельских снарядов или по собственной неосмотрительности.

Соединенный японо-китайский флот так же, как и германский, состоял из воздушных судов и специальных боевых машин тяжелее воздуха, существенно отличавшихся от немецких драконов. Азиатские техники воспользовались известными им европейскими моделями и по ним построили свои машины, но с некоторыми усовершенствованиями. То же самое можно сказать и о их воздушных кораблях. Германские, как нам известно, имели форму рыбы с плоскою головою; азиатские также походили на рыбу, но не на треску, как те, а скорее на так называемую «сковороду» (род камбалы) или на ската. Широкая и плоская нижняя часть азиатского корабля прерывалась окнами и другими отверстиями лишь вдоль средней линии. Кабины, с мостками над ними, располагались вокруг оси, и газовые камеры придавали кораблю вид закрытого цыганского шатра, только более плоского. Германский воздушный корабль, в сущности, представлял из себя управляемый баллон, намного легче воздуха, и не обладал слишком большой скоростью, а азиатский был немного легче и прорезал воздух с гораздо большей быстротой, зато с меньшей устойчивостью. На передней и задней палубах этого корабля помещалось по орудию с взрывчатыми снарядами и, кроме того, имелись

прикрытия для стрелков, снабженных скорострельным оружием. Этого вооружения было вполне достаточно, чтобы превзойти германских исполинов и даже брать над ними верх. Во время битвы азиаты носились среди немцев или же над ними; отваживались пролетать даже под ними, остерегаясь лишь непосредственного соседства с тем местом неприятельского судна, где, по их соображениям, должен был находиться склад взрывчатых снарядов. Сойдясь с немцами, они стреляли из своих орудий, выпуская в газовые камеры неприятельского корабля шрапнель или гранаты, начиненные разрушительным взрывчатым составом.

Но главная сила азиатов заключалась не в их кораблях, а в летательных машинах, с которыми могла бы поспорить разве только машина Беттериджа. Модель азиатской машины была изобретена одним японским художником. Самая машина была построена из вещества, похотдившего на целлулоид, и шелковой ткани, пестро расписанной. Ее боковые крылья имели сходство с согнутыми крыльями бабочек. Передние части этих крыльев так же, как у немецких драконов, были снабжены когтями летучей мыши. Сзади тянулся длинный красный хвост, вроде хвоста колибри. Седок помещался между крыльями, над взрывчатым мотором, как на моторном велосипеде, и сидел верхом. Внизу находилось большое колесо. В руках у седока имелось ружье с разрывными пулями, а с боку висел обоюдоострый меч.

### III

Все эти подробности сделались известны только впоследствии; вначале же о них никто ничего не знал. Каждый из противников вступал в бой при совершенно незнакомых условиях, прямо наудачу. Все составленные заранее в теории планы нападения, защиты и маневров на



практике оказывались никуда не годными и при первой же стычке оставались в стороне, как это случалось во время первых морских сражений на броненосцах, когда они только что появились. Таким образом, каждый командир воздушного судна был предоставлен своему собственному усмотрению, и один видел возможность победы в том, что в другом вызывало отчаяние и вынуждало к бегству. О ниагарской битве смело можно сказать то же самое, что говорилось о сражении при Лиссе: она представляла собою лишь хаос схваток.

Попробуем теперь описать эту интересную, беспримерную битву. С помощью беспроволочного телеграфа принц Карл-Альберт, наконец, снова вступил в командование своим воздушным флотом еще за несколько времени до появления в Лабрадоре «Графа Цеппелина». По распоряжению своего главного командира, германский флот, форпосты которого столкнулись с японцами над Скалистыми горами, стянулся к Ниагаре и ожидал прибытия принца. Карл-Альберт прибыл туда на «Графе Цеппелине», и Берт в первый раз увидел Ниагарское ущелье, лазая на восходе солнца по наружной оболочке средней газовой камеры корабля. «Граф Цеппелин» летел довольно высоко, так что весь живописный ландшафт внизу с его дикими утесами и бурлящими водопадами, которые сияли в лучах утреннего солнца подобно драгоценным камням, был виден как на ладони.

Воздушный флот располагался в виде огромного полумесяца с рогами, обращенный на юго-запад. Длинная боевая линия этих чудовищ, украшенных черными орлами и флагами, представляла грандиозное зрелище.

Хотя в городе Ниагаре была разрушена только незначительная его часть, но на улицах замерла всякая жизнь. Все мосты

были еще целы, на гостиницах и ресторанах по-прежнему развевались флаги и красовались приветливо манящие вывески; электрические заводы тоже продолжали действовать, но вокруг города, по обеим сторонам ущелья, царило полное опустошение. Все, что могло бы послужить прикрытием для немецкого лагеря, было разрушено и уничтожено. С птичьего полета эта картина разрушения производила особенно подавляющее впечатление. Повсюду еще продолжались пожары, и некоторые места были сплошь покрыты черными или тлеющими головнями. Там и сям виднелись следы погибших беглецов, покинутые повозки и трупы людей и лошадей. За опустошенным пространством ландшафт оставался нетронутым, но и там не виднелось жителей. В Буффало свирепствовал сильный пожар, и не было видно никаких признаков борьбы с огненной стихией.

Самый город Ниагару немцы быстро превратили в военное депо. С воздушного флота были командированы техники. По указаниям принца они энергично принялись за оборудование воздухоплавательного парка. В очень короткое время ими была сооружена в углу Ниагарского водопада, с северной стороны, газовая станция для наполнения водородом камер воздушных кораблей, а другую собирались устроить на южной стороне. Над электрической станцией и другими важными пунктами гордо развевался германский флаг.

«Граф Цеппелин» дважды медленно проплыл по воздуху с целью дать возможность принцу, стоявшему на висячей галерейке, основательно ознакомиться с местностью. После этого «Граф Цеппелин» снова поднялся, и принц со всеми своими офицерами и уцелевшим экипажем «Фатерланда» перебрался на «Гогенцоллерн», избранный им флагманским судном вместо погибшего «Фатер-

ланда». Пересадка была произведена посредством прочной веревочной лестницы, переброшенной с «Графа Цеппелина». Такой способ пересадки был довольно рискованный, но, к счастью, все обошлось благополучно. Затем «Граф Цеппелин» направился к Проспект-Парку, чтобы высадить там имевшихся на нем раненых и запастись амуницией и провиантом.

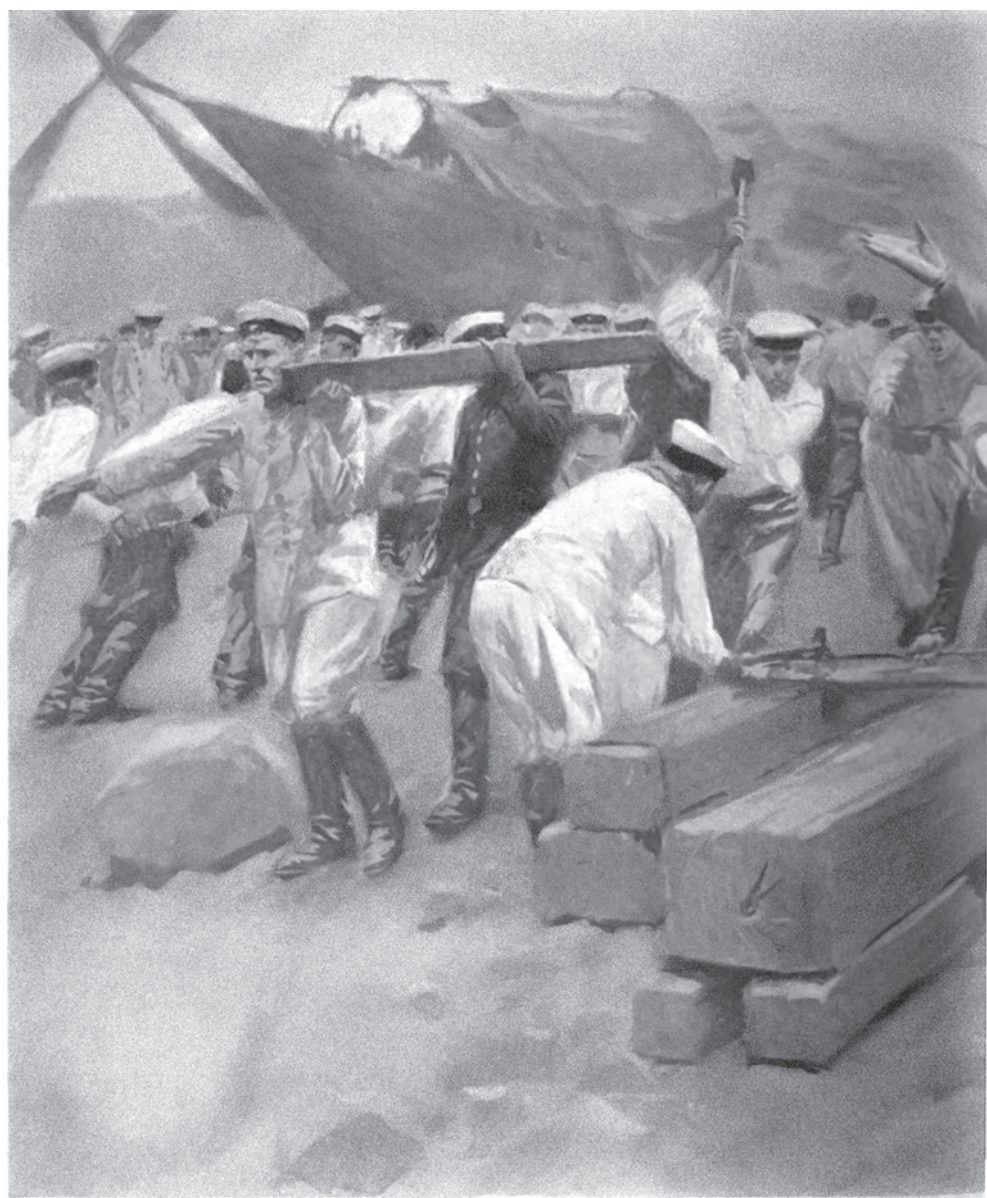
Берту вместе с несколькими солдатами было поручено перенести раненых в одну из ближайших гостиниц. В гостинице никого не было, кроме двух местных сиделок для ухода за ранеными да нескольких негров. Берт и врач с «Графа Цеппелина» завернули в одну из брошенных на произвол судьбы аптек и запаслись там необходимыми медикаментами для раненых. Возвращаясь из аптеки, они никого не встречали на улицах. Обитателям было предложено в течение трех часов оставить город, и они все покинули его. Лишь кое-где валялись тела убитых или погибших в суматохе людей, из-за которых грызлись голодные собаки, да на речной стороне проскользнул ряд вагонов по однорельсовой железной дороге. Все эти вагоны были нагружены материалами и провиантом и направлялись в воздухоплавательный парк.

По возвращении с ящиком лекарств в гостиницу, Берт тотчас же был отправлен для загрузки бомб на «Графа Цеппелина». Работа эта требовала величайшей осторожности, и Берт с особенной осмотрительностью занялся было ею, но вскоре был отозван от нее. Капитан «Графа Цеппелина» поручил ему отнести письмо офицеру, занявшему со своим отрядом оставленный американцами пороховой склад. Полевой телефон только еще устраивался, поэтому пока приходилось прибегать к письменным сношениям отдельных частей между собою. Берт больше угадал, чем понял, приказание

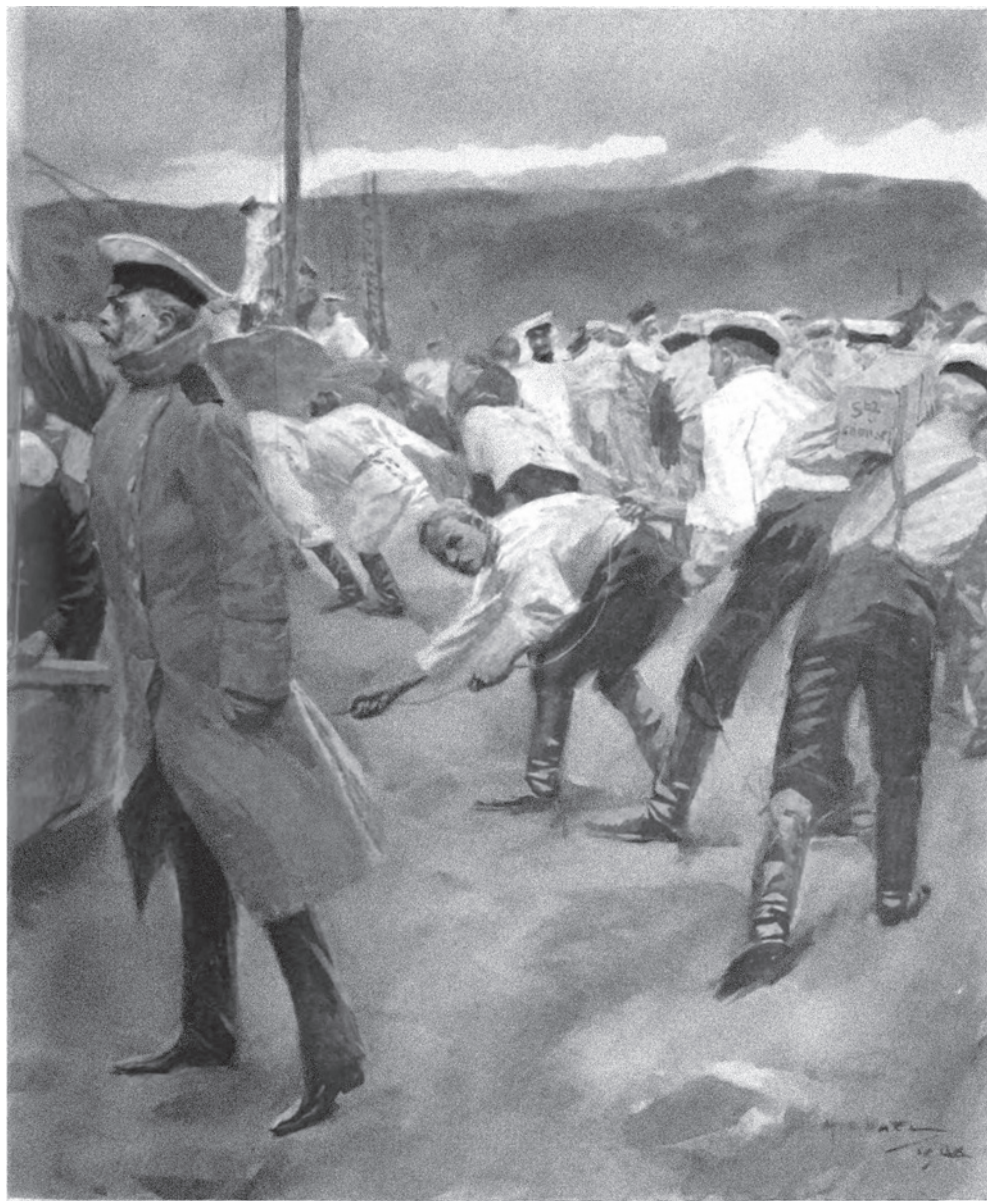
капитана. Ему не хотелось сознаться в полном почти незнании немецкого языка, и он, взяв письмо, отправился с ним с таким видом, точно отлично знал дорогу. Однако, обогнув два-три угла, он понял, что без расспросов ему едва ли удастся найти ее. Он остановился и стал придумывать, у кого бы спросить о дороге, как вдруг внимание его было привлечено пушечным выстрелом и вслед за тем громким «ура», раздавшимися с «Гогенцоллерна».

Он взглянул наверх, но высокие дома по обеим сторонам улицы преграждали вид. Сгорая любопытством узнать, в чем дело, он бросился назад к берегу и, к своему изумлению, увидел быстро поднимавшегося над Козьим островом «Графа Цеппелина», не успевшего еще, по мнению Берта, пополнить запас газа. Заинтересованный этим обстоятельством, он бросился бежать к мосту, ведущему к Козьему острову. Взбежав на мост, он остановился посередине. С этого места было всего виднее вверх. Тут только молодой человек в первый раз увидел азиатские воздушные корабли, всплывавшие на горизонт над пенящимися пучинами верхних порогов реки. Эти корабли показались ему далеко не такими громадными, как германские. Корабли летели прямо на него, так что он не мог видеть длины их корпусов.

Берт стоял как раз на том месте, которое обыкновенно избиралось туристами для того, чтобы полюбоваться живописными окрестностями Ниагары. Над ним, на страшной высоте, маневрировал германский воздушный флот, готовясь к борьбе с азиатским, а под ним с страшной быстротой несла к водопаду свои волны река. Костюм нашего искателя приключений отличался некоторою странностью. На нем была рабочая солдатская куртка; его панталоны из синей бумажной ткани были заправлены в ре-







*С помощью беспроволочного телеграфа принц Карл-Альберт, наконец, снова вступил в командование своим воздушным флотом еще за несколько времени до появления в Лабрадоре «Графа Цеппелина» (к с. 152).*



зиновые сапоги, а голову покрывала белая легкая каска, постоянно съезжавшая на нос, потому что была ему велика. Из-под этой каски выглядывало удивленное лицо молодого человека, походившее на лицо несколько дней не брившегося актера.

— Черт возьми, это еще что такое?! — воскликнул он, продолжая всматриваться в ту сторону неба, откуда неслась стая азиатских воздушных чудовищ.

Долго он смотрел вверх, издавая по временам не то одобрительные, не то испуганные восклицания, обыкновенно выражавшиеся у него в любимом «Ах, черт возьми!». Потом он вдруг чего-то сильно испугался и со всех ног бросился бежать по направлению к Козьему острову.

#### IV

Несколько времени оба неприятельских флота присматривались друг к другу, остановившись в виду один у другого. Немцы насчитывали у себя 76 больших воздушных судов, расположив их в виде исполинского серпа, на высоте 4 000 футов над земною поверхностью. Между рогами серпа было расстояние приблизительно в 30 миль. На буксире крайних кораблей каждого крыла находилось по 30 летающих драконов с седоками; но они были так малы, что Берт не мог их различить. Сначала в поле его зрения очутился южный флот азиатов, состоявший из 40 кораблей, ведших с собою около 400 летательных машин. Некоторое время этот флот медленно, на расстоянии не более 12 миль, двигался параллельно фронту немецкого флота. Сперва Берт мог различать одни корабли, а потом, мало-помалу, стал замечать и летательные машины, представлявшие издали какими-то насекомыми, вьющимися возле больших рыб. В этот раз второй части азиатского флота наблюдатель не

увидел, хотя и эта часть уже должна была быть видна немцам на северо-западной стороне.

Воздух был очень тих и небо почти безоблачно. Германский флот поднялся на такую высоту, что отдельные его части уже не особенно хорошо виднелись, только концы серпа довольно ясно обрисовывались на ясной синеве неба. Двигаясь по направлению к югу, корабли становились между солнцем и наблюдателем, так что последнему они казались темными силуэтами. Очевидно, оба флота не очень торопились вступить в схватку. Но вот дело понемногу началось. Азиаты быстро двинулись на восток, постепенно поднимаясь все выше и выше, затем образовали длинную колонну и стали возвращаться по направлению к левому флангу немцев. Последние повернули в сторону, чтобы избежать фланговой атаки. Вдруг там и сям вспыхнули искры и раздался треск со стороны германского флота; очевидно, немцы не утерпели и открыли по неприятелю огонь. Затем, подобно горсти снежных хлопьев, белые немецкие драконы вихрем понеслись на азиатов, встретивших их дождем красных искр. Берт смотрел как очарованный. Всего каких-нибудь несколько часов назад он сам находился на одном из этих воздушных кораблей и знал, что это простое изделие человеческих рук, а теперь они казались ему не простыми пузырями, носившими на себе людей и повиновавшимися их воле, а самостоятельными живыми существами, двигавшимися и действовавшими по собственному побуждению и по собственной воле.

Стаи немецких и азиатских аэропланов столкнулись и стали опускаться вниз, напоминая выброшенные в окно белые и розовые цветочные лепестки, потом они постепенно начали увеличиваться в размерах. Берт ясно мог видеть, как несколько десятков их, перевертываясь вокруг

себя, с страшной быстротой летели вниз и исчезали там в тучах черного дыма, поднимавшихся над горящим Буффало. Одно время обе стаи совершенно скрылись было из вида, затем снова, но гораздо ниже прежнего, появилось несколько белых и уже не лепестков, а бабочек, преследуемых множеством красных, и опять, кружась друг возле друга, понеслись назад к востоку.

Тяжелый, глухой удар заставил Берта взглянуть на зенит, где витал гигантский полумесяц. Но этот полумесяц уже оказался расстроеным и превратился в огромную беспорядочную массу чудовищ. Один корабль горел с обоих концов и, подобно погибавшим аэропланам, перевернувшись, завертелся вокруг самого себя и ухнул в дым пылающего Буффало.

Сильно заинтересованный страшным, но крайне интересным зрелищем, Берт покрепче ухватился за перила моста и не сводил очарованного взора с неба. Несколько мгновений оба флота, витая один против другого в косом направлении, производили какие-то непонятные наблюдателю маневры; потом с обеих сторон из общей массы стали выделяться отдельные корабли и падать вслед за первым в дымящуюся бездну. Вдруг азиатская стая ринулась в самую середину немецкой. Началось нечто похожее на общую рукопашную схватку. Затем сражающиеся стали разделяться на группы и пары. Немецкий флот начал опускаться вниз. Один из его кораблей, вспыхнув, как факел, быстро исчез на севере; два других, судорожно извиваясь, упали на землю. Потом два азиатских с преследуемым ими немецким, к которому вскоре присоединился товарищ, понеслись к востоку. За ними помчалась пара единокорбцов: большой азиатский корабль и огромный немецкий.

Берт не заметил, как вступил в дело и северный отряд азиатского флота; на-

блюдателя только поразило, что количество кораблей и аэропланов вдруг сильно увеличилось, и вся картина сражения приняла хаотический вид. Вскоре, однако, сражающиеся опять стали выделяться отдельными группами. Здесь немецкий исполин пылающим метеором падал вниз, окруженный дюжиною плоских азиатских судов, препятствовавших ему спастись; там повис в воздухе другой, храбро отбиваясь от целой стаи японских аэропланов; далее исполинскою горящею головнею летел вниз и азиатский гигант.

Долго продолжался этот интересный бой без перевеса на чью-либо сторону. Вдруг слух Берта был поражен характерным стуком моторов. Взглянув в ту сторону, откуда доносился этот стук, он увидел такую фантастическую картину, что невольно схватился за голову, думая, не сон ли уж это. На высоте сотни метров над рекою быстро приближалась с юга целая армия японских воинов, несшаяся подобно валькириям на огненно-красных конях, изобрести которых могла только художественная фантазия японских техников. Кони были крылатые. Когда крылья трепетали в воздухе, кони стрелою поднимались вверх, а когда крылья оставались неподвижными, — кони так же быстро опускались вниз. Таким образом, то поднимаясь, то опускаясь, «валькирии» пронеслись так низко над головой Берта, что он даже мог слышать, как они перекликались между собой. Долетев до города, сказочные кони вместе со своими всадниками стали один за другим опускаться на просторную площадь перед той самой гостиницей, где находились немецкие раненые. Один из желтолицых воинов, проносясь над Бертом, нагнулся к нему, и темные загадочные глаза его на мгновение встретились с глазами Берта. Тут только наш герой понял, что находится слишком уж

на виду, и со всех ног бросился бежать на Козий остров. Там он укрылся за небольшим земляным валом, откуда в полной безопасности мог продолжать любоваться картиною этого титанического боя.

## V

Вскоре между азиатскими аэронавтами и немецкими инженерами началась борьба из-за обладания городом. Эта борьба вполне соответствовала понятию Берта о войне, почерпнутому им из фантастических рассказов и сказок времен его детства. Теперь он увидел эту войну собственными глазами. Первый отряд японских воздушных всадников, вероятно, предполагал, что город совершенно опустел, но сразу был выведен из своего заблуждения, когда со стороны электрических заводов его встретил залп выстрелов. Это побудило японцев укрыться за соседними домами. Затем с востока примчался второй отряд красных коней. Приблизившись к городу, этот отряд медленно проносился над ним с целью, очевидно, рекогносцировки. Немцы снизу открыли по нему беглый огонь. Один из азиатских коней вдруг опрокинулся и исчез между домами. Остальные, точно стая огромных птиц, опустились на кровлю электрического завода. С каждого коня спрыгнуло по небольшой юркой фигурке, которая, приблизившись к брустверу кровли, стреляла вниз и затем быстро отступала к своему коню и укрывалась за ним. Между тем появился новый отряд летающих коней. Но Берт, поглощенный тем, что происходило перед его глазами, не заметил его прибытия. Из соседних зданий выскочило несколько десятков немцев, бросившихся бежать к электрическому заводу. Двое упало. Один сразу замер на месте, а другой сначала несколько шагов протатился по мостовой, потом тоже остался неподвижным. Гостиница, в которой находились раненые,

подняла женеvский флаг. Очевидно, в городе было порядочное число немцев, которые со всех сторон стали стекаться на защиту электрического завода. Тем временем азиатские красные кони все прибывали и вмешивались в разгоревшуюся борьбу своих товарищей с немцами. Они уничтожили почти всех немецких драконов и теперь бросились разрушать зарождавшийся воздухоплавательный парк, электрические заводы и мастерские, служившие немцам операционною базою. Некоторые из вновь прибывавших коней спускались на землю и их всадники, за каким-нибудь прикрытием, превращались в храбрых пехотинцев. Другие витали над местом схватки и выражали свое участие в ней меткими выстрелами в неприятеля. Несколько раз эта фантастическая конница так невысоко пролетала над головой Берта, что он в ужасе падал ничком на землю. Иногда к треску скорострелок внизу примешивался раскатистый грохот вверх. Но молодой человек, весь поглощенный событиями, происходившими на земле, не смотрел на небо.

Вдруг оттуда, сверху, свалилось что-то походившее на бочку. Раздался оглушительный треск. Снаряд этот упал между азиатскими аэропланами, находившимися среди лужаек и цветочных куртин возле реки. Все аэропланы мгновенно превратились в вихрь обломков; цветочные куртины с землей и песком поднялись также на воздух и тут же снова в пестром хаосе опустились на землю, а аэронавтов разбросало во все стороны, как пустые мешки. Над пенящимися водами точно пронеслась буря. Все окна гостиницы и ближайших зданий зазияли темными отверстиями.

Тут только Берт поднял глаза вверх и увидел, что с высоты опускается несколько огромных чудовищ, вслед за которыми стала появляться и главная масса сражавшихся наверху; все это направля-

лось к электрическим заводам. Размеры кораблей в глазах у Берта все увеличивались и увеличивались, так что в сравнении с ними огромные здания стали казаться маленькими, река сузилась, мост сделался небольшим мостиком, а люди превратились в муравьев. И, по мере приближения этих исполинов к земле, все яснее и яснее доносились с них различные звуки: стук машин, трескотня выстрелов, крики, стоны и резкие возгласы командующих. Черные орлы на передних частях германских кораблей производили такое впечатление, точно и они принимали активное участие в битве.

Некоторые из кораблей приблизились к земле на расстояние 500 футов, так что Берт мог различить на нижних галереях немецких стрелков, повисших на канатах азиатов и даже одного немца в алюминиевом водолазном костюме, слетевшего кувырком прямо в водопад над Козьмь островом.

В первый еще раз видел Берт так близко азиатские воздушные корабли, напоминавшие ему своей конструкцией огромные лыжи. Все они были разрисованы белыми и черными узорами. Висячих галерей на них не было, но из небольших отверстий вдоль средней линии выглядывали лица и ружейные дула.

Двигаясь длинными волнистыми линиями, воздушные чудовища продолжали свою отчаянную борьбу. Они кружились и носились взад и вперед друг перед другом, прикрыв собою всю Ниагару, как темными тучами, между которыми лишь местами проглядывали золотистые солнечные лучи. То слетаясь в тесную кучу, то разлетаясь в разные стороны, воздушные чудовища продолжали свою ожесточенную борьбу. Вот один из немецких кораблей загорелся. Все товарищи тотчас же покинули его, быстро поднявшись вверх, чтобы не пострадать при его взрыве. Через минуту тот действительно



взорвался и рухнул вниз. Вскоре вспыхнул другой, потом третий, и оба взорвавшись, последовали за первым.

С каждой минутой становилось яснее и яснее, что немцам не выдержать этой неравной борьбы. Азиаты все настойчивее и решительнее напирала на них. Очевидно, немцам осталось только одно — бегство, чтобы спасти остатки своего флота, и они старались уйти от сильных врагов. Но азиаты следовали за ними по пятам, набрасывались на них, разрезали газовые камеры их кораблей, зажигали их, истребляли их людей. Последние хотя и отстреливались, но выстрелы их по большей части не достигали цели.

Эта упорная охота людей за людьми окончилась тем, что немцы в полном беспорядке рассеялись во все стороны. Это было уже форменное бегство. Азиаты пустились за ними в погоню. Только небольшой клубок, состоявший из четырех немецких и десяти азиатских кора-





*Вскоре вспыхнул другой, потом третий,  
и оба взорвавшись, последовали за первым (к с. 159).*

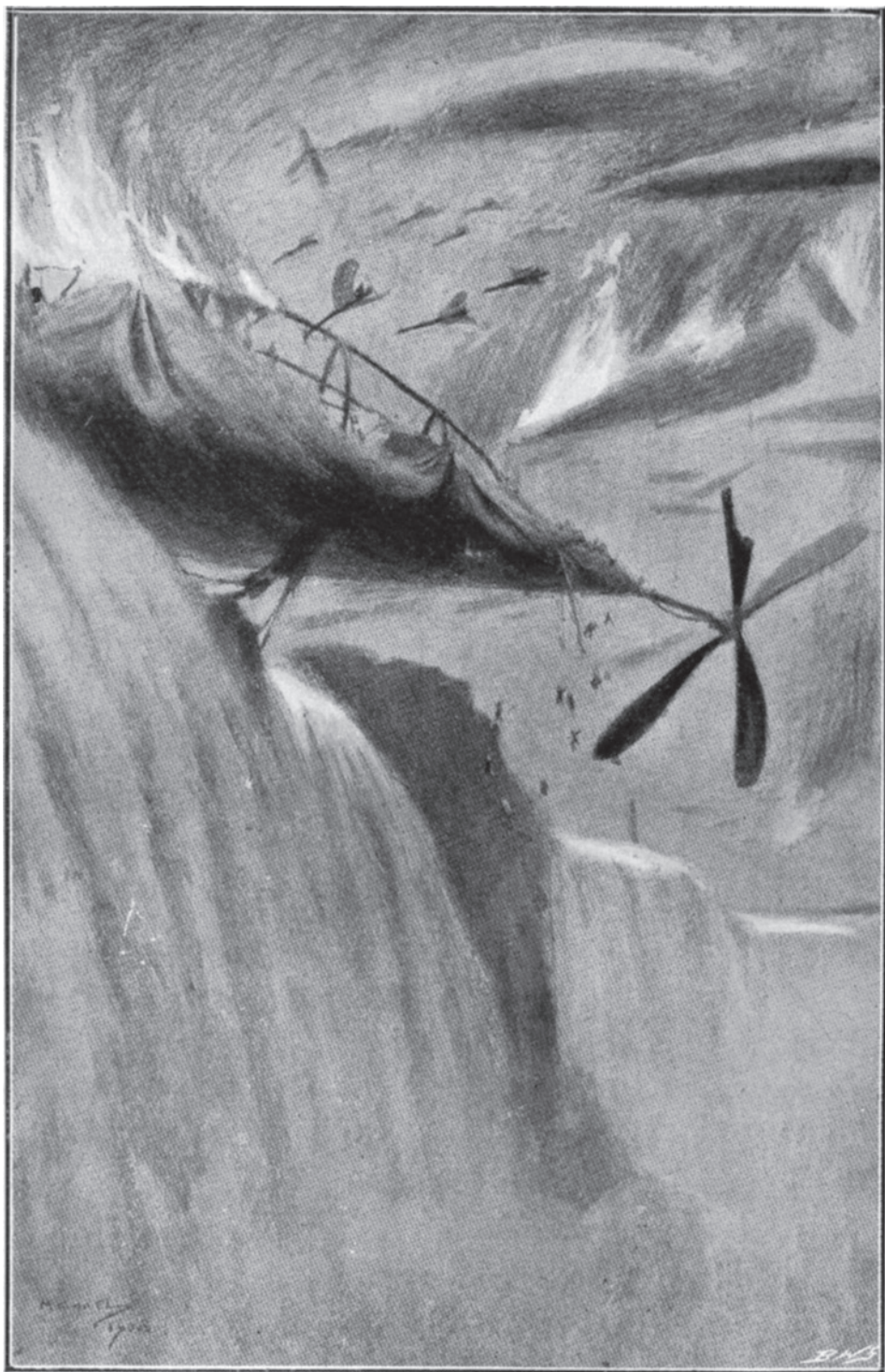
блей, продолжал сражаться вокруг «Гогенцоллерна», кружившегося над Ниагарой в последней попытке отстоять город.

Клубок этот пронесся над канадским водопадом на восток и сделался совсем маленьким, едва видимым, потом стал быстро возвращаться назад и увеличиваться в размере. Увеличиваясь с каждой секундою, клубок, наконец, снова затемнил все небо со стороны наблюдателя. Плоскодонные азиатские корабли держались высоко над немецкими или позади их, все время выпуская в них дождь разрывных снарядов. Аэропланы роились вокруг своих жертв подобно разъяренным пчелам. Два немецких корабля опустились было, но тут же снова поднялись. Во время этой схватки сильно пострадал и «Гогенцоллерн». Сначала он медленно поднялся и круто перевернулся вокруг самого себя, потом вдруг загорелся сзади и спереди, затем стал падать и упал прямо в поток, где извиваясь как живое существо, понесся по течению; в одном месте он зацепился было за камни, но сорванный силою течения, снова поплыл дальше. Его поврежденный и изогнутый винт все еще продолжал работать. Вспыхнувший было на нем огонь погас в воде. Изуродованный немецкий гигант застрял, наконец, в порогах и издали казался огромной каменной глыбой, брошенной рукою титана среди бурлящих вод. Огромный азиатский левиафан, преследовавший погибший «Го-

генцоллерн», прокружил немного над местом катастрофы, потом, в сопровождении шести красных коней-аэропланов, понесся назад к городу.

Не сводя глаз с застрявшего в порогах «Гогенцоллерна», Берт не обратил внимания на страшный треск, раздавшийся около моста, с шумом развалившегося. При этом огромную массу разбитого корабля подбросило вверх, и он снова загорелся; средние газовые камеры взорвались, от пылавшего остова корабля отделилась передняя часть и застряла в обломках моста, а задняя, подобно калек в лохмотьях, понеслась далее и исчезла в самом водопаде.

Берт взбежал на небольшое возвышение, глядевшее прямо на kloпочущие и бурлящие воды водопада. Над головой наблюдателя навис громадный азиатский корабль, заслонивший собою солнце. Но Берт не обращал и на него никакого внимания. Широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрел он, как по ущелью в водяной быстрине катилось что-то похожее издали на огромный пустой мешок. Для Берта Смолуэйса этот мешок был символом всего, что казалось таким грандиозным и могучим, — символом сил, представлявшихся несокрушимыми. И вот теперь этот символ, как пустой мешок, беспомощно несется по стремнине; чтобы погибнуть в пучине, как бы предрекая такую же гибель всей белой расы под напором желтой...



*Передняя часть застряла в обломках моста, а задняя, подобно калек в лохмотьях, понеслась далее и исчезла в самом водопаде (к с. 162).*

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### На Козьем острове

#### I

Звук ударившейся неподалеку в камень пули заставил нашего героя догадаться, что он слишком на виду, и что на нем немецкая обмундировка. Берт поспешно бросился под группу деревьев, каким-то чудом уцелевшую от общего разрушения, и спрятался в ней.

— Разбиты! — трясаясь от страха шептал он. — Окончательно разбиты и уничтожены!.. И кем же? — желтолицыми китайцами и японцами!.. Кто бы мог подумать это?

Заметив в стороне еще группу невысоких деревьев, Берт направился туда. В середине деревьев оказалась небольшая беседка, невидимая из-за деревьев, в которой очень удобно было спрятаться в случае необходимости. Берт обрадовался этому убежищу и тотчас же забрался в него. Раздвинув немного ветви двух деревьев, он взглянул в сторону водопада. Там, где скрылся разрушенный «Гогенцоллерн», теперь было все спокойно; слышался только шум водопада. Азиатский корабль неподвижно повис над электрическим заводом, перед

которым происходил сухопутный бой. Воздушное чудовище имело спокойный и самоуверенный вид. На передней его части гордо развевался длинный волнистый красно-черно-желтый флаг великого азиатского союза «Восходящего Солнца и Дракона». В отдалении, на востоке, виднелся второй азиатский корабль, а на юге — третий.

Сначала Берту показалось, что борьба в городе совершенно окончилась, хотя на одном из полуразрушенных домов все еще висел германский флаг; над электрическим заводом тоже развевалось белое полотнище, остававшееся на месте и во все время последующих событий. Но вот снова послышался треск перестрелки, и Берт увидел кучку немецких солдат, скрывшуюся между домами. За ними пробежали два механика в синих блузах и таких же панталонах, преследуемые тремя японскими солдатами. Передний беглец, высокий и худощавый, бежал легко и быстро; второй же, коротенький и довольно полный человек, делал странные скачки, подперев толстыми руками бока и опрокинув назад голову.





*Отбежав шагов двадцать, толстяк замедлил свои прыжки; он видимо задышался.  
Через несколько секунд японец его догнал.*

Преследователи были в мундирах цвета хаки и легких темных касках с металлическим блеском. Вдруг толстяк споткнулся и упал. Берт замер: перед ним был новый ужас войны. Однако упавший успел вскочить на ноги и пустился бежать дальше. Японец чуть было ни настиг его и уже хотел поразить своим мечом. Отбежав шагов двадцать, толстяк замедлил свои прыжки; он видимо задышался. Через несколько секунд японец его догнал. Берт увидел, как сверкнул в воздухе меч. Вслед за тем раздался слабый крик, и преследуемый опрокинулся навзничь. Азиат нанес ему еще два удара, которые тот в последних проблесках самосохранения тщетно старался отразить руками. Японец ударил его в четвертый раз и, заметив, что судорожные движения немца прекратились, бросился вслед за товарищами догонять второго легконогого беглеца. Опустив раздвинутые ветви, Берт закрыл руками лицо и на несколько времени замер в такой же неподвижности, в какой лежал только что убитый японцем несчастный немец.

Когда Берт немного оправился и снова выглянул из своего убежища, то заметил множество маленьких людей с обнаженными мечами в руках. Они выходили из домов, откуда раньше неслись выстрелы. Одни из них, вложив мечи в ножны, осматривали аэропланы, во множестве лежавшие на улице. Выбрав те, которые уцелели от немецких бомб, садились на них и быстро взвивались вверх; другие, покачив головами, отходили прочь. Далеко на востоке показался ряд азиатских воздушных кораблей. Некоторые из них спустились к городу и выбросили веревочные лестницы, по которым маленькие люди быстро и ловко взобрались на борт своего судна. То же самое сделал и тот корабль, который витал над электрическим заводом. Собрав, очевидно, всех своих людей, эти корабли поднялись наверх и присоединились к ожидавшей их флотилии, вместе с которою и направились к юго-западу.

Вскоре после удаления японцев многие здания в городе вдруг загорелись, из машинного отделения электрическо-

го завода раздалось несколько сильных взрывов. Берт, насколько он мог понять, остался один среди опустошенной местности.

— Ах, черт их побери! — воскликнул он с видом человека, приходящего в себя после тяжелого кошмара.

## II

Собственное положение Берт сразу не мог определить. Ему казалось, что все пережитое им за последнее время действительно было лишь продолжительным кошмаром; что вот-вот он снова очутится в Бен-Хилле, в обществе Гребя, среди своих родных, в ожидании свидания с Эдной, и жизнь потечет по-старому. Но мало-помалу к нему стало возвращаться сознание действительности, и он с тревогою спрашивал себя: уж не пронесся ли ураган разрушения и над Бен-Хиллом, и не смел ли с лица земли зеленую лавочку вместе с Томом, Джессикой и всеми воспоминаниями недалекого прошлого? Он припомнил, что уже осведомлялся об этом, но никто не мог дать ему точных сведений.

Разбираясь в своих впечатлениях, он вдруг вспомнил, что давно уже ничего не ел, и почувствовал сильный голод. В разрушенном городе, наверное, осталось много съестных припасов, но как пробраться туда? Впрочем, быть может, найдется что-нибудь и в той беседке, которую он видел у моста. Молодой человек поспешно направился туда. Дверь в беседку была заперта. Кое-как Берту при помощи увесистого камня удалось проломить несколько дверных досок и пролезть в беседку. К его величайшему удовольствию, стойка и полки были уставлены множеством консервов, печений, фруктов, сладостей, разных вод, сигар и папирос. Нашлось даже несколько запечатанных бутылок с стерилизованным молоком. В одном из углов стоял с чем-то

большой еще не вскрытый ящик. Оказались столовые приборы.

— Ну, вот и слава богу! — воскликнул обрадованный «островитянин», как он в шутку называл себя, — значит, я не умру здесь с голоду. — И он с аппетитом принялся за уничтожение консервов, заедая их бисквитами и запивая молоком. — А что случилось с бедным Куртом? — он так и не научился называть лейтенанта по-немецки — Курцем, — продолжал вслух рассуждать Берт с набитым ртом. — Такой был славный и добрый человек, неужели и он погиб вместе с прочими?.. А этот страшный принц? Что сделалось с ним и со всеми его людьми, которые были на «Гогенцоллерне»?.. Ах, как мне жаль доброго лейтенанта, если он и правда погиб!

Утолив голод, молодой человек закурил сигару и продолжал беседу с самим собою.

— Хотелось бы мне знать, что случилось с Гребом? Жив ли еще он? Вспоминает ли обо мне?.. Гм!.. Греб-то, Гребом, а вот что будет со мною? Удастся ли мне выбраться с этого необитаемого острова?

Потребности стадного существа так сильно стали сказываться в нашем герое, что он пришел в ужас при мысли о том, что вокруг него нет ни единой живой души. Но, быть может, где-нибудь поблизости находятся и еще живые люди, которые, подобно ему, прячутся от дневного света... вернее, впрочем, от кровожадных двуногих зверей — азиатов. Желание наверное узнать это заставило Берта поближе ознакомиться с местом, куда забросила его судьба. Разрушение моста между островом и материком совершенно отрезало его от всего мира. Он понял это только тогда, когда вернулся к тому месту, где находилась оторванная часть от «Гогенцоллерна» и громоздились обломки моста. Несколько времени Берт тупо оглядывал разбитые кабины корабля. Мысль, что в них могли быть

еще живые люди, ему и в голову не приходила, слишком уж там все было исковеркано. Потом он бросил взгляд вверх; нигде больше не было видно ни одного воздушного чудовища.

— Гм!.. Словно ничего и не было! — проговорил он, переводя взгляд сверху вниз на грандиозный водопад, который по-прежнему продолжал с страшным шумом низвергаться в пучину.

Наконец он задался вопросом, что ему делать, и ответил сам себе: «Решительно не знаю!» — Только две недели тому назад он находился еще в Бен-Хилле и не думал ни о каких далеких путешествиях, а теперь вот очутился в Америке, у Ниагарского водопада, среди разрушения и опустошения, произведенных неслыханною войною, и притом был заперт в таком месте, откуда не имелось никуда выхода.

— Впрочем, если хорошенько поискать, может быть, и удастся как-нибудь выбраться отсюда, — размышлял он. — Эх, и дернула же меня нелегкая забраться именно сюда! Что бы вернуться опять в город. Авось, и там нашлось бы местечко, где можно было бы спрятаться и выждать окончания грозы... Впрочем, японцы — настоящие ищейки, они обязательно разнюхали бы меня и расправились бы со мною так же, как с несчастными немцами. Пожалуй, и лучше, что судьба занесла меня сюда... она все-таки ко мне довольно милостива.

Утешив себя этим заключением, Берт забрался на утес около водопада и окинул взглядом канадский берег с его разрушенными зданиями и поваленными деревьями когда-то красивого парка «Виктории», залитого в эту минуту розовым сиянием солнечного заката. Нигде не было и признака живых существ. Берт снова вернулся к мосту и с тоской глядел на огромную брешь, зиявшую посредине моста, и на бурлившую под ним воду. В

той стороне, где находился Буффало, все еще тучами клубился дым, а возле вокзала Ниагары все дома были объаты пламенем. Вокруг все было тихо, пустынно, мертво...

Берт направился по тропинке поперек острова и вскоре наткнулся на два азиатских аэроплана, сильно попорченных в роковой для «Гогенцоллерна» борьбе. Тут же, на деревьях, повис третий, а рядом с ним висело тело азиата. Машина, очевидно, свалилась прямо на деревья и застряла в ветвях. Ее полу-сломаные, помятые крылья и ребра торчали между ветвями, а передний конец вонзился в землю. Китаец-аэронавт раскачивался на дереве головою вниз. Стало уже темнеть, и желтое лицо мертвеца, с налитыми кровью глазами, имело очень страшный и непривлекательный вид. Сломанный сук вонзился в горло азиата, пригвоздив его к дереву. В руке у него было крепко зажато легкое короткое ружье, — даже в минуту страшной смерти верный долгу солдат не выпустил из рук оружия.

Содрогаясь от этого удручающего зрелища, Берт поспешил дальше, поминутно оглядываясь назад и шепча про себя: «Фу, ты, черт!.. терпеть не могу мертвецов!.. Лучше бы уж встретить этого китайца живого!» — Вернувшись другой тропинкой к водопаду, где все-таки было светлее и не так жутко, как под деревьями, он увидел еще один аэроплан лежавшим на земле с поднятыми вверх крыльями. Эта машина казалась совсем неповрежденной.

Берт долго простоял около аэроплана, внимательно рассматривая ее широко распластанные крылья, большое рулевое колесо и пустое седло. Пробормотав что-то вроде «увидим», он отвернулся и машинально взглянул в воду. В водовороте, крутившемся возле выступа утеса, вертелся какой-то продолговатый предмет,

то исчезающий, то снова появлявшийся на поверхности бурлившей воды.

— Ах, черт возьми, еще один! — с ужасом воскликнул молодой человек, взглядевшись в этот предмет.

И он хотел уйти отсюда, но что-то остановило его и заставило еще раз более внимательно взглянуть в водоворот. Берт был уверен, что застрявший там предмет — тело собственника находившегося тут аэроплана. Молодой человек нашел длинный сук, обрезал вынутым из кармана складным ножом ветви и хотел с помощью образовавшейся жерди вытолкнуть тело китайца из водоворота, чтобы тело могло унести течением, и таким образом избавиться от неприятного зрелища. Тогда в его соседстве останется только один мертвец, висящий на дереве; от него он также постарается поскорее избавиться. Наклонившись над водою, Берт старался достать жердью тело мертвеца, лежавшее на воде лицом вниз. Когда молодому человеку после некоторых усилий удалось оттолкнуть тело, и оно, повернувшись лицом кверху, понеслось по течению, он машинально взглянул на это лицо, отступил назад и в ужасе воскликнул: «Курт?! Бедный Курт!»

Да, это действительно был лейтенант Курц. Берт ясно рассмотрел его черты и золотистые волосы на непокрытой голове. Сердце молодого человека сжалось, и он молча, с мучительной тоской, несколько времени следил, как тело несчастного лейтенанта быстро исчезало у него из глаз.

— Курт... милый, дорогой Курт! — крикнул он потом вне себя от горя, жалости и отчаяния вслед уносившемуся телу, — прости меня! Я не знал, что это ты, иначе не оттолкнул бы тебя... О, боже мой! Боже мой!

Подавленный тяжестью новых чувств, Берт ткнулся лицом в холодный шероховатый утес и зарыдал как ребен-

нок. Ему казалось, что теперь порвалось последнее звено цепи, связывавшей его с остальным миром, и ужас полного одиночества еще сильнее охватил молодого человека. Сумерки сгущались. Все вокруг темнело. Деревья и все предметы превращались в какие-то причудливые страшные тени.

— О, господи, я этого не вынесу! — воплем вырвалось у него, когда он, поднявшись на ноги, со страхом оглянулся вокруг себя.

Он снова бросился на землю и зарыдал сильнее прежнего. Сердце у него еще сильнее сжималось при каждой мысли о добром, храбром и веселом молодом офицере. Вскоре отчаяние его перешло в ярость. Катаясь по земле и сжимая кулаки, он кричал на весь остров:

— О, эта проклятая война!.. Будь прокляты и люди, которые ее затеяли!.. Бедный, дорогой лейтенант!.. Да, твои предчувствия оправдались!.. И я даже не могу взять у тебя письма для твоей невесты? Да если бы и взял, я не знаю ее имени... Ах, как ты верно сказал, что людей насильно отрывают от близких их сердцу и забрасывают бог весть куда!.. Вот и я заброшен сюда, на этот мертвый остров, за тысячи миль от родины и от всех близких мне людей... Впрочем, должно быть, и все войны так же ужасны, как эта. Только я вместе со многими другими не понимал этого. Нам толковали, что война — нечто особенно великое, благородное и даже чуть не возвышенное. Возвышенное и великое?... О, господи! Нет, весь свет — сплошной сумасшедший дом, и стоит ли жалеть людей, которые добровольно лезут в него!.. Есть, конечно, между ними и хорошие, как, например, покойный лейтенант, но таких очень немного и они все почему-то преждевременно погибают... Ах, как я любил этого милого лейтенанта!.. Никогда мне не забыть его!.. Я чувствую это... А что, если он пригре-



зится мне ночью?.. Впрочем, нет, едва ли: он был слишком благороден при жизни, чтобы являться потом пугать людей после смерти... Моя Эдна была тоже очень хорошая... Гм!.. Была?.. Но, может быть, она еще жива и теперь? Быть может, ужас войны ее не коснулся? Ведь не все же погибают во время войны?.. Да, я чувствую, что она жива, и мы еще увидимся... Как чувствовал бедный лейтенант Курт, что ему не жить на свете, так и я чувствую, что буду жить... Во всяком случае, я употреблю все силы на то, чтобы вырваться из этой новой тюрьмы, остаться в живых и снова увидеться с Эдной.

Последнюю часть своего монолога молодой человек проговорил, уже поднявшись на ноги. Отерев рукавами куртки мокрое от слез лицо, он повернулся и отправился по направлению к беседке. Когда он проходил мимо группы деревьев, с одного из них ему прыгнуло что-то на плечо. Берт замер от ужаса. Инстинктивно подняв руку к плечу, он ощупал ею что-то маленькое, мягкое и нежно мурлыкающее. Он осторожно снял это существо с плеча и увидел, что это был небольшой, исхудалый от голода котенок. Маленькое животное, сидя у него на руках, терлось мордочкой об его куртку и продолжало мурлыкать, подняв вверх хвост.

— Ах, чтоб тебя!.. Как ты испугал меня! — прерывающимся от волнения голосом воскликнул молодой человек, успокаиваясь и тихонько глядя маленькое животное, которое еще сильнее ласкалось к нему.

В беседке он поужинал сам и накормил котенка, потом улегся на полу и почти сразу заснул.

### III

Проснулся он рано утром и почувствовал себя гораздо бодрее, чем накануне. Котенок спал около него. С пробужде-

нием своего большого друга маленькое животное тоже проснулось и тотчас же принялось ласкаться к нему.

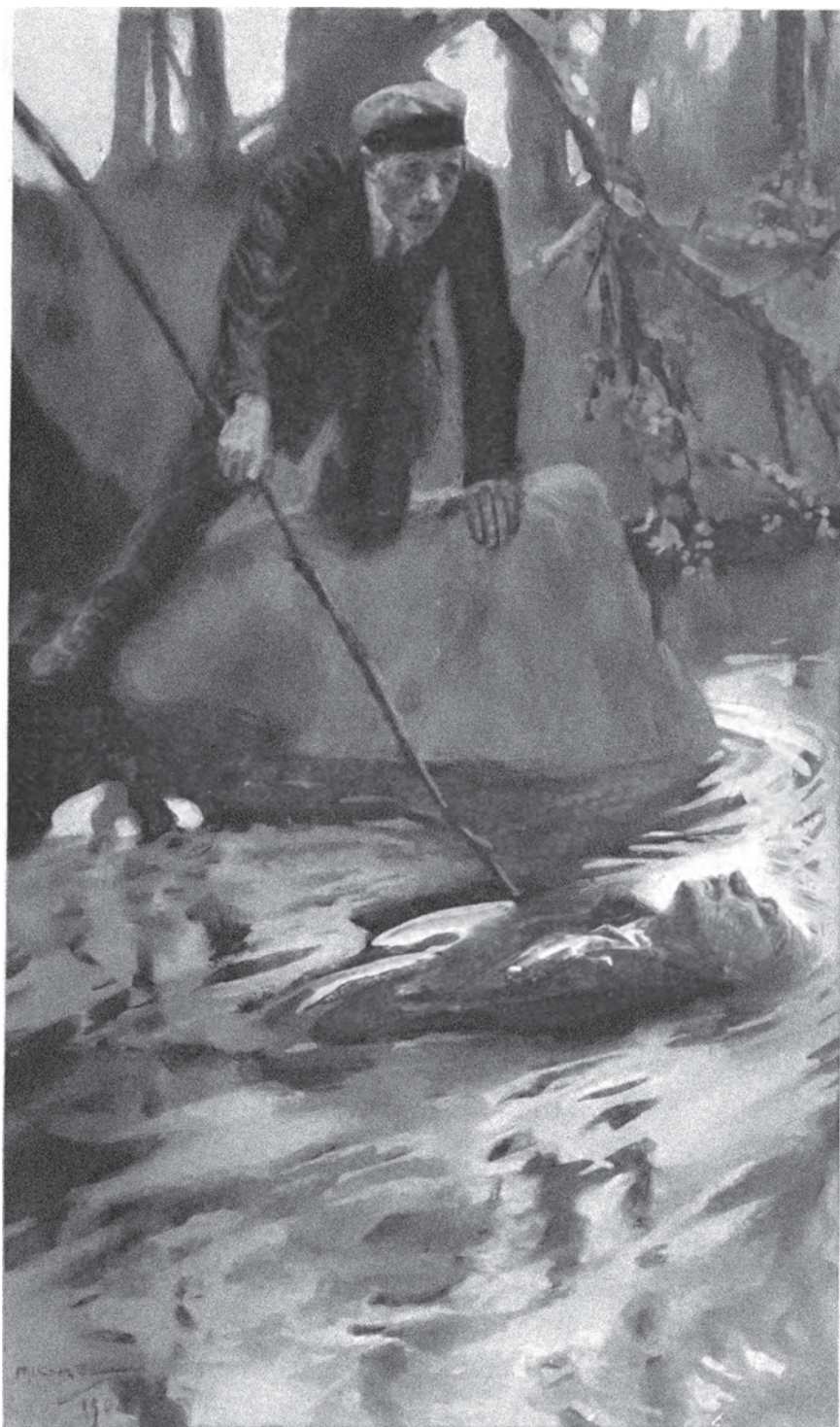
— Что, знать, захотелось молочка? — произнес Берт, глядя котенка по его выгнутой горбиком спинке. — Хорошо, сейчас получишь свою порцию. Мне и самому не мешает закусить.

Он оглянулся вокруг, ища глазами блюдце, в которое вчера вечером наливал котенку молока, и не находил его. Вместо этого он увидел в беседке беспорядок, которого раньше не было, и которого не заметил вечером впотьмах. На стойке оказались две тарелки со следами еды; этих тарелок, насколько ему помнится, он сам не оставлял здесь. Кроме того, нашлись и другие следы пребывания в беседке людей. Это заставило БERTA задуматься. Кто могли быть хозяйничавшие тут в его отсутствие люди, друзья или враги? Опасаться ему их или нет? Разрешением этих интересных вопросов он решил заняться потом, а пока накормить котенка и позавтракать самому.

Прежде всего он позаботился о маленьком четвероногом товарище, которого ему послала, вероятно, в виде утешения судьба, потом утолил и свой голод. После этого он принялся проверять наличие запасов. Из этой проверки он убедился, что здесь хозяйничал не один человек, а, по крайней мере, двое и что настоящей еды не особенно много, все больше сласти.

По окончании ревизии Берт, посадив котенка себе на плечо, отправился на рекогносцировку. Прежде всего его потянуло к тому дереву, на котором висел труп китайца. Вид мертвеца был крайне неприятен, но не внушал уже такого ужаса, как накануне в сумерках. Ружье вывалилось, наконец, из его руки и валялось под деревом.

— Придется как-нибудь стащить его с дерева и бросить в реку, а то вид это-



*Он машинально взглянул на это лицо, отступил назад и в ужасе воскликнул:  
«Курт?! Бедный Курт!» (к с. 167).*

го украшения не особенно казист да и притом труп, разлагаясь, будет заражать воздух, — проговорил Берт, отходя от дерева.

Он отправился к мосту взглянуть на обломок «Гогенцоллерна». Котенок, которого он опустил на землю, бежал за ним, как собака. Обломок за ночь был прибит к берегу и лежал уже на земле. Всюду царствовала мертвая тишина. Только из города доносились вой и лай собак да карканье хищных птиц, целыми стаями носившихся над приготовленной им накануне добычей.

— Да, котик, нам с тобою нужно серьезно обдумать, каким путем выбраться из этой ловушки, — сказал Берт своему бессловесному спутнику, задумчиво глядя на полуразрушенный мост, в середине которого зияла пустота в несколько десятков шагов.

Отсюда он направился производить подробный осмотр своего «владения», как он назвал остров. Котенок не отставал от него ни на шаг, и это его радовало: все-таки было хоть одно живое и дружелюбное существо. Долго он лазил по высотам и пробирался по ущельям, но всюду натывался на реку, в которой шумно бурлили большие и маленькие водопады и торчали пороги, покрытые неглубокой пенящейся водой.

— Черт знает что такое! — вырвалось, наконец, у него его привычное восклицание. — Откуда только набралось здесь столько воды с этими дурацкими водопадами и порогами? И ни одного прохода между ними.

Проходя через поляну, на которой лежал аэроплан, показавшийся ему вчера не особенно поврежденным, он остановился около него и принялся его подробно осматривать.

— Испорчен, никуда не годится! — с досадою пробормотал молодой человек после тщательного осмотра машины. —

Вот, если бы нашелся необходимый инструмент, тогда, пожалуй, еще можно бы что-нибудь сделать, а с пустыми руками что подделаешь... Эх, котик, напрасно ты так обнюхиваешь эту заморскую штуку: она не съедобная, да и вообще ни на что теперь не годится! — заметил он котенку, который, в свою очередь, с самым серьезным видом производил розовым носиком исследование аэроплана.

Берту вдруг послышались шаги людей. Вздрогнув от неожиданности, он с живостью обернулся. Из-под деревьев медленно выходили две высокие фигуры; обе они были оборванные, покрытые копотью и обвязанные тряпками. Задняя фигура сильно прихрамывала, и вся ее голова была окутана белой повязкой; передняя шла довольно бодро, хотя половина ее лица вся вспухла и была багрового цвета, а правая рука висела на перевязи. Передний был принц Карл-Альберт, а задний — птицелицый офицер, — тот самый, которого удалили было из кабины на «Фатерланде» ради мистера Беттериджа и вновь водворили в ней, когда последний оказался самозванцем.

#### IV

С появлением «страшного» принца Берт вступил, так сказать, в новый фазис своего существования. Он уже теперь не мог считать себя полным и неограниченным обладателем этого острова. В первый момент этой неожиданной встречи он сильно смутился, а потом успокоился и даже обрадовался: ведь теперь оба эти лица находились в одинаковом с ним положении, даже, пожалуй, худшем, потому что они были ранены, а он совершенно здоров. Какое ему дело, что один из них был принцем, а другой — офицером высшего ранга: азиаты уничтожили все различия между ним и этими лицами, и теперь они ему равня. Ему очень хотелось

узнать, что с ними произошло, и он без всякой церемонии крикнул:

— Ба! Да это вы? Откуда это вас принесло?

Принц с недоумением взглянул на него, потом перевел вопросительный взгляд на своего спутника.

— Это тот самый англичанин, у которого оказались планы машины Буттеридша, ваше высочество, — пояснил птицелищный офицер по-немецки и потом, обратясь к Берту, строго крикнул по-английски: — При встрече с его высочеством сначала отдают ему честь, а потом ожидают его вопросов!

— Вот тебе и «ровня»! — воскликнул про себя Берт и, став в позицию, отдал довольно неловко честь, приложив правую руку к съехавшей ему на затылок каске.

Невольно повинуясь строгому внушению офицера, Берт стоял молча в ожидании вопроса со стороны принца.

— Вам понятен механизм этой машины? — спросил последний, указывая неповрежденной рукой на аэроплан.

— Я еще не успел подробно ознакомиться с ним, — ответил уклончиво Берт.

Принц перекинулся несколькими немецкими словами с офицером, потом снова обратился к Берту.

— Вы — специалист по механике?

— Починку сумел бы сделать, если бы нашелся инструмент и необходимый материал, — ответил не особенно уверенным тоном Берт, смущаясь от пристального взгляда принца.

— Да?.. Ну, необходимые инструменты и прочее, вероятно, найдутся. Посмотрите, можно ли будет исправить эту машину так, чтобы она была годна в дело?

Берт напустил на себя деловой вид и, засунув в карманы руки, как делал его компаньон Греб, обошел аэроплан кругом.

— Дня три придется повозиться, — объявил, наконец, он, окончив осмотр. — Машина сильно попорчена.

Аэроплан действительно был порядком поврежден, но самый мотор находился в исправности, а это было главное. Берт навыв в мастерской Греб заменять в механизмах одни части другими и даже исправлять сломанное. А здесь находились еще два более поврежденных аэроплана. Из всех трех для мало-мальски смыслящего человека не составляло особенного труда собрать один и сделать его годным.

— Следовательно, можете исправить? — снова спросил принц.

— Постараюсь, — более уверенно ответил Берт. — Но кто же решится сесть на эту машину и сумеет управлять ею.

— Я! — твердо отчеканил принц.

— Ну, и сломишь себе шею! — пробурчал как бы про себя Берт.

К счастью, Карл-Альберт не расслышал этого замечания. Обернувшись к своему спутнику, он что-то говорил ему, описывая здоровою рукою широкие круги в воздухе. Офицер, почтительно изгибаясь, отвечал ему.

Тем временем Берт, продолжая ворчать что-то не особенно лестное о принцах и других «дармоедах», принялся обшаривать аэроплан, ища сумку с инструментами. Ему только сейчас пришло в голову, что она, наверное, должна быть при машине. Такая сумка действительно нашлась. Отыскав, что нужно, Берт сбросил с себя куртку, сдвинул на затылок каску и засучил рукава рубашки.

Принц и его спутник желали посмотреть, как приступит к работе «механик», но последний категорически объявил, что они своим присутствием будут только мешать ему, и просил их удалиться. Когда они исполнили его просьбу и скрылись за деревьями, Берт поднял ру-



жье мертвого китайца и сунул его в ближайшую крапивную заросль.

— Ну, вот, теперь я на всякий случай с запасом, — проговорил он и вернулся к аэроплану.

Когда принц и его спутник через час вернулись сюда, то нашли «механика» с видом опытного мастера возившимся около аэроплана. Они остановились немного в стороне и, продолжая разговаривать между собою, бросали по временам взгляды на его работу.

При виде их Берту вдруг пришло в голову, что они от нечего делать могли снять с дерева тело китайца и стащить его в реку. Но лишь только он хотел сделать им это предложение, как они повернулись и поспешно направились в ту сторону, где находилась беседка с съестными припасами.

## V

Одиночеству, которое так пугало Берта, наступил конец. Но теперь чувства и мысли молодого человека приняли другое направление.

— Хотелось бы знать, какие у них намерения относительно себя, и что они теперь думают обо мне? — рассуждал он, оставшись один. — Гм! Как странно, что из всего экипажа «Гогенцоллерна» уцелели только эти двое... Погиб и добрый Курт, а эти каким-то чудом спаслись... Положим, им порядком досталось, но все-таки они остались живы... Наверное, теперь этот принц думает, что я был не счастливою, а его роковою звездою. А между тем я здесь ровно не при чем. Сам же он все это затеял, черт бы его побрал! Вот теперь и пусть разделяется, как знает.

Прошло около часа, как ушли принц и его спутник. Берт, работая, продолжал свои рассуждения по обыкновению вслух. Вдруг он услышал кашель и взглянул в ту сторону, где кашляли. Принц и

офицер стояли шагах в двадцати и наблюдали за его работою. Это его взбесило.

— Я попросил не смотреть на меня! — крикнул он им довольно резким тоном.

Но те и не пошевельнулись, не обратив, по-видимому, внимания на его крик. Такое пренебрежение к нему, человеку теперь необходимому им, как он думал, еще больше взорвало его. Он сам бросился к ним с клещами в руках.

— Вон там висит мертвый китаец, — громко проговорил молодой человек, указывая клещами на дерево с висевшим на нем азиатом. — Чем мешать мне, вы бы лучше пошли и стащили его оттуда, а потом бросили в реку... Самим, я думаю, неприятно любоваться таким зрелищем.

Принц и его спутник взглянули по указанному направлению, потом перекинулись между собою несколькими словами, после чего птицелицей офицер сказал Берту, что это не их дело; это должен сделать он, Берт.

— Но я один не могу, — возразил молодой человек, — и прошу помочь мне, если вы уж не хотите одни марать своих рук.

Принц и офицер снова обменялись несколькими словами, после чего последний с явною неохотою изъявил готовность помочь Берту в неприятном для непривыкшего человека деле. Берт забрался на дерево и подрезал сук, на котором повисло тело китайца. Когда оно вместе с суком свалилось на землю, они вдвоем с офицером стащили тело к реке и бросили его в воду. Быстрым течением его тотчас же унесло из глаз. Офицер вернулся к принцу, а Берт к аэроплану. Молодой человек был сильно возмущен и ворчал вслух:

— Какие, однако, заносчивые люди! Обращаются со мною так, словно я их подданный или человек низшей расы!..

Ну, и я не буду для них работать. Пусть сами исправляют, как хотят.

С этими словами он снова застегнул рукава рубашки, надел куртку, сунул в карманы несколько гаек и других мелких принадлежностей от машины, схватил сумку с инструментами и направился к группе деревьев. Там, выбрав погуще дерево, он забрался на него и спрятал в его ветвях сумку.

— Вот так-то будет лучше! — пробормотал он, спускаясь с дерева. — Это пригодится потом мне.

Засунув обе руки в карманы и пошвытывая, он не спеша направился к беседке. За ним, с задранной вверх хвостиком, бежал и котенок. В беседке Берт сделал неприятное открытие: оказалось, что, кроме небольшого количества сухарей, фруктов и сладостей, ничего более не осталось. Нашлась только тарелка с недоеденным на ней куском мяса.

— Ну, котик, молочка тебе больше нет... вылакали немецкие коты! — с сильной досадою проговорил он, жалостно смотря на теревшегося около его ног котенка и жалобно мяукавшего.

Докончив остатки мяса, и поделившись им с котенком, Берт почувствовал, что такой незначительной порцией он только раздражил свой аппетит, и его досада сначала перешла в негодование, а потом стала превращаться даже в злобу против «воров», которыми он считал немцев, хотя они имели такое же право на украденное, как и он сам. Берт вскочил и бросился разыскивать похитителей. Он нашел их на прежнем месте.

— Куда девались все съестные припасы, которые были там... в беседке? — грубо спросил он, подбегая с поднятыми кулаками прямо к принцу.

Последний смерил его негодующим взглядом и молча отвернулся. А когда Берт опять подскочил к нему и поднял кулаки против самого его лица, Карл-

Альберт, слегка побледнев, схватил его здоровою рукой за грудь, сильно потряс и отшвырнул от себя, как пустой мешок.

Берт, оттолкнутый сильной рукой, едва удержался на ногах. Ошеломленный, растерянный и озлобленный, он дико озирался по сторонам, потом с криком: «Ах, черт бы вас побрал!» снова бросился с сжатыми кулаками на принца. Последний отступил шаг назад и обнажил саблю.

Неизвестно, чем бы окончилась эта сцена, если бы между враждующими не бросился офицер (он все время порывался сделать это, но по знаку принца оставался на месте) и не крикнул несколько слов, указывая на небо. Принц и Берт взглянули туда и увидели на юго-западе азиатский воздушный корабль, быстро приближавшийся к городу. Вид корабля заставил всех поспешно покинуть это видное место и удалиться в более скрытое под группой деревьев. Воздушное чудовище пронеслось почти над их головами и опустилось возле электрического завода. Пока корабль был на виду, беглецы держали себя очень тихо, даже Берт не проявлял никакой воинственности, но лишь только корабль опустился на землю, и опасность быть им замеченными миновала, наш герой первый снова вошел в азарт. Не переходя пока ко враждебным действиям, он произнес длинную и если не совсем складную, зато очень горячую речь на тему о вреде войны вообще и той, которую затеяли они, немцы, в особенности. Закончил он свое словоизвержение тем, что наотрез отказался от починки аэроплана и с иронией посоветовал им самим заняться этим делом.

— Негодяй! — коротко отрезал принц, сверкнув на Берта глазами.

— Ругайтесь, ругайтесь, принц! — продолжал последний. — Меня этим вы

не примете, и я все-таки настою на своем: во-первых, не стану исправлять машину, а во-вторых, повторяю, что вы, немцы...

— Молчать! — снова крикнул Карл-Альберт таким голосом, что Берт на минуту прикусил было язык, но потом, оправившись, опять начал:

— Я — великобританский подданный, а не ваш, и вы не имеете права затыкать мне рот. Вы можете не слушать того, что я буду говорить. Этого и я не могу вам запретить. Но я выскажу все, что во мне накипело за эти последние дни.

И он долго еще распространялся на тему империализма, милитаризма, капитализма и многих других «измов», то и дело пересыпая свои рассуждения очень нелестными эпитетами по адресу немцев. Офицер несколько раз пробовал остановить оратора, но безуспешно: тот упорно продолжал свое. Потом вдруг он вспомнил о главной причине своего негодования и перешел на еще более грубый тон.

— Ах, да! — воскликнул он, — вы мне так и не сказали, куда девали всю провизию, которую украли из беседки. Не могли же вы съесть ее в один день?

Но принц и офицер давно уже не обращали внимания на его словоизлияния и беседовали между собою. Берт повторил свой вопрос и снова, не дождавшись ответа, крикнул:

— Эй, вы! Почему вы не отвечаете мне? Разве я не вас спрашиваю?

— Вон отсюда! — прогремел выведенный, наконец, из себя принц и с угрожающим видом поднял руку.

— Ага! Хорошо же! — прошипел сквозь зубы Берт и бегом бросился к крапивной заросли, где было спрятано китайское ружье.

## VI

После этого принц и его адъютант поняли, что им нечего надеяться на та-

кого дерзкого человека. Они сами принялись осматривать аэроплан и соображать, каких он требует поправок.

Берт с ружьем направился к утесам, засел там в ущелье и занялся осмотром своего оружия. Это был короткий скорострельный штуцер с полным запасом зарядов.

Берт осторожно вынул патроны, освидетельствовал курок, ознакомился с отдельными частями и, убедившись, что отлично может пользоваться им, вновь зарядил его.

После этого, с ружьем под мышкой, он опять отправился к беседке. Его мучил сильный голод и ему хотелось поискать там чего-нибудь более существенного, чем разные сласти. Но перерыв всю беседку, он не нашел желаемого. У его ног вертелся котенок, пицавший и требовавший, вероятно, молока, негодуя, что его двуногий друг не дает ему полакомиться любимым напитком. Это все сильнее и сильнее раздражало Берта.

— Хорош тоже принц! — кричал он, роясь на всех полках и во всех углах. — Настоящий принц обязательно погиб бы вместе со всем своим экипажем, а не стал бы спасать собственную шкуру...

Сначала он хотел дождаться похитителей в беседке, куда они, по его предположению, непременно должны были прийти, и с оружием в руках потребовать от них категорического объяснения относительно исчезнувших припасов. Но потом он передумал и, держа наготове ружье, снова побрел к тем же утесам, чтобы там обдумать создавшееся неприятное положение. Напасть ему на похитителей или выждать еще немного? У них обоих есть сабли, а имеется ли огнестрельное оружие? Впрочем, револьверы, наверное, есть. Конечно, их обоим нетрудно убить из засады. Но как он тогда узнает, куда они девали провизию? Лучше всего заставить их указать



*С криком: «Ах, черт бы вас побрал!» Берт снова бросился с сжатыми кулаками на принца. Последний отступил шаг назад и обнажил саблю (к с. 173).*



это место. Да, но как это сделать?... А что если вдруг они сами задумают убить его из засады? Это очень легко может случиться. Пришла же ему такая мысль, почему же она не может прийти и им?... Э, да чего тут долго раздумывать! Взять да и пристрелить их скорее — вот и дело с концом...

— Нет! — вслух проговорил он. — Нет, я не могу сделать этого, пока они сами не вынудят меня... решительно не могу.

Поразмыслив еще, он пришел к заключению, что ему необходимо наблюдать за немцами. Тогда, быть может, удастся узнать, имеется ли у них огнестрельное оружие, и куда они запрятали провизию. Остановившись на этом решении, он швырнул в водоворот страшно надоевшую ему каску, постоянно съезжавшую на нос. Потом, крадучись, подошел к тому месту, откуда доносились стуки молотка по чему-то металлическому. Вскоре он увидел своих врагов, возившихся над аэропланом. Они были без мундиров и работали изо всех сил.

Он находил, что крайне интересно видеть, как возятся над грязной неприглядной работой эти гордые люди и мажут свои белые выхоленные руки. Он знал, что как только они доберутся до нижней части машины, то откроют недостачу гаек и шариков, догадаются, что взял их он, Берт, и начнут разыскивать его. Уж не предложить ли им обмен этих предметов на часть провизии? Взглянув в раздумье на небо, Берт заметил азиатский воздушный корабль, направлявшийся к востоку. Немцы, углубленные в свою работу, ничего не видели.

Наконец машина была перевернута и стояла теперь на колесе. Аристократы-работники обтерли свои потные лица, надели мундиры, пристегнули сабли и переговаривались между собою с довольным видом людей, поздравляющих друг

друга с успехом. Потом они быстро направились к беседке. Берт, обождав, пока они скрылись из вида, подошел к аэроплану и при одном взгляде на него, с удовольствием убедился, что аэроплан не мог летать, так как главные части были развинчены.

Теперь ему захотелось узнать, где прячут немцы украденную провизию, и он также отправился к беседке. Берт был уверен, что они пошли подкрепить свои силы, и что провизия у них спрятана, если не в самой беседке, то где-нибудь поблизости. Но он опоздал. Когда он подкрался к беседке, оба его врага сидели к ней спиной и держали на коленях по тарелке с большими кусками холодного жаркого. Вооруженные ножом и вилкой, они так же усердно работали ими, как недавно молотком. Между ними стояла большая жестянка из-под жареного мяса, а другая с сухарями. Оба были радостно возбуждены. Принц даже смеялся.

Когда Берт увидел эту картину, все его мирные намерения сразу исчезли. В нем заговорили голод и злоба. Остановившись шагах в двадцати с ружьем в руках, он прицелился из него и решительным тоном крикнул:

— Руки вверх!

Офицер сразу исполнил это требование, а принц сначала несколько поколебался, потом тоже последовал примеру товарища и поднял вверх здоровую руку. Очевидно, вид ружья подействовал и на него.

— Теперь уходите отсюда скорее! — продолжал Берт, не изменяя своей позы.

Оба машинально повиновались и через минуту скрылись из вида.

— Ах, черт возьми, совсем забыл обезоружить их! — вскричал наш герой, хлопнув себя по лбу. — Ведь у них есть сабли, а может быть, и револьверы. Эй, вы! — громко крикнул он им вдогонку, — остановитесь-ка!

Но немцев давно уже и след простыл. Берт бросился было за ними, но потом одумался и вернулся назад. Он вошел в беседку и осмотрел «позицию» на случай «осады», которую могли предпринять враги. После этого он вышел наружу и прежде всего вскрыл жестянку с жареным мясом, которая оказалась пустою. Это страшно его разочаровало и обозлило. «Слопали, немецкие черти! Вот я им покажу!» — с озлоблением проговорил он и жадно принялся дочищать остатки с тарелок врагов, не забыв поделить и с вертевшимся около него котенком. Не успел он дочистить вторую тарелку, как рядом в кустах ему послышался звук взводимого курка. Схватив лежавшее возле него ружье, он со всех ног бросился бежать в противоположную сторону. Раздался выстрел, и мимо его уха что-то просвистело. Он удвоил скорость ног и остановился, совершенно запыхавшись, только среди утесов, где было удобно спрятаться и защищаться.

— Так я и думал, что у них есть револьверы! — прошептал он, боязливо выглядывая из-за уступа скалы и тяжело отдуваясь.

## VII

Таким образом, на Козьем острове и началась война и продолжалась эта война ровно сутки, самые длинные во всей жизни Берта. Весь остаток дня и всю ночь наш герой просидел за утесом, держа настороже уши и глаза. При этом он строил планы будущего. Прежде всего, по его крайнему убеждению, следовало избавиться от врагов, т.е. убить обоих немцев, иначе они сами убьют его; теперь, после произведенного ими в него выстрела, это уже ясно. Потом нужно будет во что бы ни стало выбраться из этого проклятого места. Но куда? — вот вопрос. Ему здесь всюду мерещились бесконечные пустыни, свирепые амери-

канцы, японцы, китайцы и дикие индейцы. Впрочем, насчет возможности встретить индейцев он потом усомнился. Он где-то читал или слышал, что индейцев более не существует: они все истреблены белыми.

— Да, необходимо что-нибудь предпринять и скорее, иначе умрешь здесь с голоду или будешь укокошен этими немецкими головорезами, черт бы их побрал! — рассуждал он сам с собою.

Вдруг ему показалось, что невдалеке раздаются голоса, и он стал напряженно прислушиваться. Шум падения воды сбивал его с толку. В этом шуме, при некотором воображении, можно было услышать что угодно: голоса, шаги, крики, стоны, вздохи...

— Эх, этот дурацкий водопад! — проворчал Берт. — Ничего не поймешь из-за него. Не то он шумит, не то еще что-то... А что теперь поделывают мои немцы? Вернулись ли они опять к машине? Пускай-ка повозятся с нею. Без гаек и шариков она никуда не годится. А с тех двух они не догадываются снять их; да если и догадываются, — все равно у них ни черта не выйдет: где им их благородными ручками отвинтить и потом куда нужно привинтить гайки и вложить шарики... Чу! В кустах, кажется, что-то зашевелилось и словно пискнуло?.. Уж не котик ли?.. Нет, это, должно быть, мне опять так только показалось... А все этот проклятый водопад! Шумит и шумит, как угорелый, не дает ни к чему прислушаться... Разве выйти из этого дурацкого места?.. А вдруг попадешь к ним прямо в лапы? Наверное, они давно ищут меня, и если найдут, дело мое будет плохо: с двоими мне, пожалуй, не сладить... один этот немецкий принц чего стоит, несмотря на то, что он с одной рукой. А тот, долговязый-то, хоть и хромым, зато с двумя руками. Значит, они все-таки в полтора раза сильнее меня, если считать, что у них обо-

их три руки и три ноги, а у меня только по паре тех и других.

Монолог его начал, в конце концов, делаться все бессвязнее и бессвязнее. Не спавший всю ночь Берт вдруг почувствовал, что его сильно клонит ко сну. Чтобы побороть как-нибудь сон, он взял ружье и вновь начал рассматривать его. Но вскоре это занятие надоело ему, и он, положив на место ружье, принялся усиленно думать, стараясь не слушать шума водопада, который еще больше убаюкивал его. Однако все это было напрасно: глаза его положительно слипались. Нужно было что-нибудь предпринять, чтобы не заснуть и не попасть в руки врагов в сонном виде. Ведь они тогда что захотят, то и сделают с ним. Лучше уж пойти и самому постараться укокошить их. Это будет гораздо благоразумнее.

Приняв это решение, он поднял ружье, выполз осторожно из-за утеса и приостановился на углу его. Все вокруг было тихо. Бесперывный шум падения воды еще больше подчеркивал общую тишину. В лихорадочно работавшем мозгу молодого человека роились последние соображения не окончательно еще затемненного страстью рассудка. Что он намеревается сделать? Убить двух важных лиц. Да, но ведь и они, наверное, ищут случая убить его. Почему же не имеет права он сделать того, что могут сделать они? Нет, он имеет на это полное право. Не он пришел к ним и обокрал их, а они явились к нему и лишили его возможности существовать; кроме того, намереваются лишить еще более существенно — самой жизни.

Он выбрался из своего убежища и осторожно направился к поляне, где находился исправляемый немцами аэроплан, но не нашел их там. Поиски в других известных ему местах также оказались бесплодными. Тогда ему пришло в голову, что они могли забраться на ночь в обломок «Гогенцоллерна», в котором оста-

лось несколько не очень поврежденных помещений. Берт храбро направился туда и, соблюдая всевозможные предосторожности, пробрался вовнутрь обломка. Он попал в довольно просторное и хорошо отделанное помещение, очевидно, кабину самого принца, и осмотрелся. Но там тоже никого не было. Здесь он мог бы отлично заснуть несколько часов, но не решился сделать этого и, выбравшись на землю, снова начал свои поиски по всему острову. Нигде не оказывалось даже признака убежища его врагов.

Усталый и страшно обозленный бесплодными поисками, он вернулся в ущелье за утесом и, не будучи уже в состоянии бороться с одолевавшим его сном, прилег на жесткое каменное ложе и ментально заснул. Когда он проснулся, солнце показывало уже полдень. Вскочив на ноги, он осмотрелся и прислушался. По-прежнему, кроме шумного падения воды, ничего не было слышно. Берт закусил двумя сухарями, которые были у него в кармане, утолил в реке давно мучившую его жажду и, с обновленными силами, стал продолжать поиски врагов.

Прослонившись по острову часа два, он вдруг наткнулся на обоих врагов. Они находились под группой деревьев. Офицер сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, и, по-видимому, спал, а принц стоял немного в стороне и задумчиво смотрел вверх. Поврежденная рука его по-прежнему висела на перевязи, а здоровая лежала на рукоятке сабли.

Берт сделал еще несколько шагов вперед и остановился шагах в пятнадцати от принца. Последний поднял глаза и, заметив молодого человека, обнажил саблю. Берт поднял на прицел ружье. Несколько времени оба врага смотрели друг на друга неподвижными взглядами. Потом Карл-Альберт сделал шаг вперед и взмахнул саблей, а Берт почти машинально выстрелил...



*Карл-Альберт сделал шаг вперед и взмахнул саблей,  
а Берт почти машинально выстрелил...*



Он потом сам рассказывал, что не имел ни малейшего понятия о страшной силе разрывных патронов, которыми было заряжено его ружье. Лишь только прогремел выстрел, как тут же раздался точно пушечный удар. Из груди принца вырвалось огромное пламя, распространившее ослепительно яркий свет, вихрем кружившийся вокруг убитого. Вслед за тем тело последнего, охваченное угасавшим пламенем, тяжело рухнуло на землю.

Берт был так поражен этою неожиданностью, что выронил из рук ружье и с разинутым ртом и выпученными глазами замер на месте. В эту минуту птицелиций офицер легко бы мог изрубить его в куски, так что он даже и не заметил этого. Но тот предпочел бегство и, насколько мог, быстро заковылял в сторону. Берт хотел пустить ему вдогонку пулю, когда опомнился, но раздумал. У него не поднималась рука на повторение того, что он сейчас сделал.

Он сам поспешил удалиться с этого ужасного места. Побродив в каком-то чаду довольно продолжительное время без всякой определенной цели по острову, молодой человек случайно очутился около беседки. Здесь к нему подбежал котенок и стал с жалобным писком тереться об его ноги. Он нагнулся, взял на руки котенка и, поглаживая бархатистую спинку маленького животного, проговорил:

— Бедный мой котик! Ты, должно быть, сильно проголодался и желаешь молочка. Давай, поищем, быть может, на твоё счастье и найдем. Кстати мне и самому не мешало бы поесть чего-нибудь более существенного, чем давешние сухари.

Он опустил на землю котенка и стал обходить беседку кругом, внимательно оглядывая ее. В одном месте он заметил небольшой клочок бумаги, торчавший из-под крыши. Это навело его на мысль,

что уж не здесь ли кладовая немцев. Крыша была довольно высока, и Берт, не обладавший таким высоким ростом, как немцы, вынес из беседки табуретку, поставил ее к стене и забрался на эту табуретку. Молодой человек не ошибся: там, где торчал клочок бумаги, оказалась слабо прибитая широкая доска. Когда Берт легко отнял ее, то нашел за нею на чердаке несколько жестянок с молоком и разной мясной провизией.

— Ну, вот, котик, — воскликнул он веселым голосом, — и тебе будет молочко и мне найдется кое-что!

Он извлек из импровизированной кладовой бутылку молока и большой кусок жаркого. Налив котенку молока, он с аппетитом принялся уничтожать жаркое. По окончании сытной закуски наш герой пришел в более благодушное настроение и, закулив сигару, пустился в рассуждения.

— Ах, как это горько, — говорил он, выпуская кверху кольца ароматного дыма, — что трое людей, попавших в одинаковое трудное положение, никак не могут ужиться вместе! Вот хоть бы этот самый принц, ну зачем он полез на меня?.. Положим, и я несколько погорячился. Но не мог же я подставить голову под его саблю?.. Ах, какая странная вещь жизнь! Сейчас человек жив, а через минуту его вдруг и не стало... А мог ли я подумать, что ухлопаю того самого принца, о котором так много говорилось и писалось?.. Что бы ему, вместо фордыбаченья, подойти ко мне, протянуть руку и сказать: «Ну, Смолуэйс, довольно дуться, будем лучше друзьями. Мы попали в общую беду. Постараемся же общими усилиями избавиться от нее». Неужели и я не протянул бы ему своей руки?.. А вместо этого вон что вышло... Да, много странного на свете. А всему виною эта проклятая война. Не будь ее, ничего бы этого и не случилось. Ну, да, видно, чему

быть, того не миновать... А вот как мне быть с этим офицером, лицо которого так похоже на птичьё?.. Ведь он, пожалуй, захочет отомстить мне за своего принца, да и вообще будет стараться как-нибудь погубить меня... Убить и его?.. Нет, я не могу этого сделать... довольно и одного... я не разбойник с большой дороги, какие, говорят, бывали в старое доброе время... Впрочем, они и сейчас есть, только не на больших дорогах — там теперь нечего делать, — а везде, где имеется нажива... Лучше всего нам как-нибудь сойтись с этим долговязым чудаком. Попробую еще поискать его и потолковать с ним.

Берт обошел почти весь остров, но все его поиски оказались напрасными: немец как в воду канул. Вскоре, однако, Берт узнал причину исчезновения своего второго врага: тот действительно попал в воду и погиб в ней. Проходя случайно мимо полуразрушенного моста, молодой человек заметил, что через брешь

кто-то хотел перебросить канат, чтобы устроить, таким образом, переход через брешь, зиявшую между обоими концами моста. Один конец каната был крепко привязан к дереву по эту сторону моста, а другой, с якорем на конце, закинули на ту сторону, в расчете, что якорь зацепится там за что-нибудь. Якорь действительно зацепился, но не крепко, и когда человек, желавший перебраться через брешь, повис на канате, последний натянулся и вырвал некрепко сидевший якорь, который вместе со смельчаком ухнул в реку; быстрое течение тотчас же подхватило несчастного смельчака и унесло к водопаду, в котором он, конечно, и погиб.

Берт понял, что этим смельчаком был именно его второй враг. Ошеломленный увиденным, молодой человек воскликнул:

— Ну, я не виноват в твоей гибели! Пеняй на самого себя... Но все-таки это ужасно!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### В Америке

#### I

На другой же день после того, как Берт убедился в гибели своего второго врага, он решил во что бы ни стало покинуть ненавистный остров. Так как единственным способом бегства был азиатский аэроплан, то Берт приступил к окончательному его исправлению и ознакомлению с ним. Поправок машина потребовала очень немного. Когда Берт кое-что в ней выпрямил, подвинтил и заменил негодное годным из других двух машин, то она оказалась в полной исправности. Стоило только сесть на нее и привести в действие мотор. Но прежде чем сделать это, молодой человек долго колебался, мучимый разными сомнениями и опасениями. Хотя он и понял, в чем состояла главная суть этой машины, но не был знаком с нею на практике и не знал всех ее особенностей. Ведь это все же не велосипед. Потом он недоумевал и относительно того, в какую сторону ему направиться. Наконец, напустив на себя храбрости, он в конце концов решился. Когда он занес ногу, чтобы взобраться на седло, около него раздался жа-

лобный писк котенка, точно чувствовавшего, что большой двуногий друг хочет покинуть его.

— Бедный мой котик, ты тоже не желаешь оставаться здесь? — произнес Берт. — Ну, хорошо, давай, полетим вместе.

Он сунул котенка в один из карманов куртки и с решительным видом взгромоздился на седло. Котенок сначала пискнул было, неожиданно очутившись в таком тесном даже для него помещении, но потом занялся там крошками сухарей и успокоился. Между тем его друг, усаживаясь поудобнее в седле, ворчал:

— Какая, однако, неуклюжая штука это машина, совсем не то, что велосипед... Ну, котик, держись! — прибавил он и сильно повернул рычаг мотора, а потом другой, приводящий в движение механизм крыльев.

Огромные, прижатые к бокам машины крылья вдруг поднялись и начали хлопать по воздуху; заработал и мотор. Аэроплан, поднявшись немного вверх, понесся вкось реки прямо по направлению к водопаду, причем, долетев до

реки, начал понемногу опускаться; вскоре его нижняя часть начала уже задевать воду. Аэронавт замер от ужаса: еще две-три минуты, и он угодит в самую стремнину! Перед его глазами было несколько рычагов, но он забыл, какой из них нужно повернуть, чтобы заставить машину подняться вверх. Медлить было нельзя: каждая секунда приближала его к неминуемой гибели. Берт с отчаянием повернул первый попавшийся под руку рычаг. Аэроплан быстро стал подниматься вверх и как раз над самым водопадом. Берт сидел ни жив, ни мертв, судорожно вцепившись обеими руками в седло.

Вздохнул он свободнее только тогда, когда благополучно пронесся над водопадом. Но вскоре аэронавт начал испытывать новое неудобство и новый страх. Машина быстро неслась в сторону и в то же время продолжала подниматься вверх. Как остановить ее подъем, он не знал. Кроме того, сидеть на ней было совсем не так удобно, как в корзине аэростата или в кабине воздушного корабля. Аэроплан можно сравнить с упрямым мулом, постоянно поднимающимся на дыбы, чтобы сбросить с себя всадника. При каждом взмахе крыльев Берта подбрасывало вверх, так что он должен был употреблять все усилия, чтобы попасть опять на седло, а не мимо. Но это еще не все. В корзине аэростата, и в особенности во внутреннем помещении воздушного корабля совершенно не ощущается движения воздуха, между тем как аэроплан постоянно образует потоки воздушных волн и сам борется с ними. Таким образом ветер всегда дует в лицо аэронавту, и чем быстрее полет, тем, следовательно, сильнее ветер, независимо от того ветра, который образуется над головой аэронавта от взмаха крыльев машины.

Ветер вокруг Берта и навстречу ему был такой, что у молодого человека за-

хватывало дыхание, и он должен был закрывать глаза. Между тем аэроплан поднимался выше и выше. Берта это сильно тревожило, но он не знал, что нужно сделать, чтобы заставить машину лететь горизонтально. Да и могут ли вообще подобные машины иметь такой полет? Насколько Берт мог припомнить, они то опускались, то подымались, а не летели по прямой линии.

Подъем продолжался долго. Навверху делалось все холоднее. По лицу аэронавта текли слезы, и он то и дело должен был отирать их рукавом куртки. Для этого ему необходимо было освобождать одну руку и держаться за седло другою, чтобы не слететь с него вниз. Мало-помалу он стал привыкать ровнее дышать и смотреть против ветра. Ему в этом отношении много помогла привычка к быстрой езде на велосипедах и моторах. Он окинул глазами находившийся под ним ландшафт. Молодой человек увидел, что пролетал над каким-то большим городом с тремя огромными пробелами, из которых, над горами развалин, вились клубы дыма. Это был Буффало. Вокруг тянулись холмы и равнины. На улицах толпы людей в видимом смятении шныряли между домами, таща в руках и за плечами большие узлы, корзины, сундуки и т. п. предметы. Все эти люди садились со своими пожитками на автомобильные омнибусы и направлялись по дороге в Ниагару. Очевидно, это были жители Буффало, пострадавшие от пожара. Вслед за тем Берт увидел несшийся прямо на него азиатский воздушный корабль и страшно испугался столкновения с ним. Но, к счастью, азиаты пронеслись высоко над ним, даже не заметив его.

Между тем аэроплан продолжал подыматься; панорама внизу разворачивалась все шире и шире. Берт, наконец, догадался, что нужно было сделать для остановки стремления вверх свое-



го воздушного коня. Молодой человек повернул рычаг, действующий на механизм крыльев. Крылья тотчас же широко распустились, хвост машины поднялся вверх и дальнейшее ее движение прекратилось. Вокруг Берта сразу воцарилась полная тишина. Аэроплан повис в воздухе. Это тоже было не на руку Берту. Ему захотелось спуститься на землю. Он попробовал осторожно повернуть еще один рычаг. Вслед за этим повернулось в обратном направлении и правое крыло. Аэроплан, описав в воздухе широкую дугу, стал быстро опускаться по односторонней спиральной линии. При этом новом маневре своего воздушного коня Берт едва усадился на нем, и перед ним мелькнула возможность страшной катастрофы. Он поспешил повернуть тот же рычаг в правую сторону. Крылья опять уравнились и машина снова остановилась. Тогда он сделал попытку повернуть этот рычаг влево, — крылья моментально поднялись вверх, и аэроплан стал стремительно падать вниз. Берту казалось, что находившиеся внизу предметы, увеличиваясь в размере, быстро несутся ему навстречу и вот-вот раздавят его. Он с отчаянием повернул рычаг механизма крыльев, — последние снова заработали, и его крылатый конь опять взвился кверху, продолжая в то же время нестись вперед. Таким образом, то поднимаясь, то опускаясь, наш аэронавт носился в воздушном пространстве. Теперь он, на высоте четверти мили, проносился над красивым горным ландшафтом штата Нью-Йорка. Он заметил, что вид его вызывает в населении панику. Ему даже показалось, что в него стреляли.

— Надо будет подняться еще выше, а не то эти оголтелые как раз подстрелят меня ни за что ни про что! — сказал он сам себе и, повернув рукоятку соответствующего рычага, поднялся еще на четверть мили вверх.

Ему стало страшно надоедать это опасное воздушное путешествие неизвестно куда, и он начал измышлять способ, во что бы ни стало спуститься на землю, но так, чтобы не сломать себе шеи; за легкими ушибами он уж не гнался. Впереди него, в нескольких милях, виднелся лес, и Берту показалось самым удобным спуститься именно в этом лесу. Пролетая над первыми деревьями, он начал слегка повертывать соответствующий рычаг. Крылья стали постепенно опускаться и складываться; в то же время хвост поднимался вверх, а самый конь медленно опускался вниз. Это очень обрадовало Берта. Выбрав группу подходящих, по его мнению, деревьев и пролетая всего в нескольких десятках футов над ними, он вдруг сделал полный поворот рычага. Аэроплан стал стремительно падать вниз и застрял в густых ветвях огромной сосны. При толчке Берт вылетел из седла и попал на толстый сук, на котором и уселся, крепко ухватившись за него обеими руками.

— Ну, вот и слава богу! Кажется, против моего ожидания, все обошлось благополучно! — с довольным видом воскликнул он, ощупывая себя. — Ушибся вот только немного об этот дурацкий сук, да разорвал кое-где панталоны и куртку. Но это неважно. Главное, сам остался цел, — это важнее всего... Уф! Ну, и помучился же я на этой дьявольской азиатской штуке, черт бы побрал того, кто ее выдумал!.. Теперь попробую спуститься на землю и посмотреть, куда еще занесло меня.

Он начал осторожно спускаться с дерева и вскоре очутился на мягкой почве, усыпанной сосновыми и еловыми иглами.

— Ну, и благодать же здесь! — произнес он, с наслаждением вдыхая всеми легкими бальзамический смолистый воздух, распространяемый хвойными деревьями. — Теперь вот нужно будет... —



*При толчке Берт вылетел из седла и попал на толстый сук, на котором и уселся, крепко ухватившись за него обеими руками.*

Он не закончил своей фразы и схватился за карман куртки, в котором что-то пищало и царапалось. — Ах, это ты, котик? — воскликнул он, опуская в карман руку и извлекая оттуда котенка. — Прости, дружок, я совсем забыл было про тебя... Иди, погуляй. Смотри, как тут славно.

Он опустил котенка на землю. Маленькое животное страшно обрадовалось свету и воздуху. Розовый язычок его был зажат между белыми перламутровыми зубками и высовывался только кончик. Очутившись на земле, он встряхнулся, потянулся и пробежал несколько шагов, потом уселся на задние лапки и начал умываться.

— Ах, как досадно, котик, что мы не захватили с собою ружье! — проговорил Берт, оглядываясь по сторонам. — Оно нам, пожалуй, здесь пригодилось бы... Впрочем, черт с ним! В нем такие дурацкие заряды, что из него страшно и стрелять.

## II

Берт не имел ясного представления ни о стране, в которой находился, ни о людях, с которыми мог здесь встретиться. Он знал, что находится в Северной Америке. Об американцах он слышал, что это граждане великой, могущественной и свободной страны; что это люди черствые, но склонные как к юмору, так и к употреблению ножей и револьверов, которые они то и дело пускают в ход по самому ничтожному поводу, а часто и без всякого повода; что они очень богаты, любят сидеть в качалках, положив ноги на стол или кому-нибудь на плечи, постоянно жуют табак, смолу и т. п. невкусные вещи. Среди этих чудаков можно встретить ковбоев, индейцев и до смешного почтительных негров. Больше он ничего не знал ни об Америке, ни об ее обитателях.

Решив бросить застрявший в ветвях дерева и, вероятно, сильно попорченный аэроплан, наш искатель приключений отправился, куда глаза глядят. Следом за ним бежал и котенок. Через некоторое время он добрался до довольно широкой, хорошо укатанной проселочной дороги. По дороге шел человек в синей блузе, черных панталонах и мягкой войлочной шляпе. У пешехода было широкое, круглое, ничего не выражающее лицо. Под мышкой он держал ружье.

Незнакомец покосился на Берта, особенно на его резиновые сапоги и, по видимому, был очень удивлен, когда молодой человек спросил его:

— Не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь, и куда собственно ведет эта дорога?

Незнакомец с угрюмым видом пробурчал что-то себе под нос и не останавливаясь продолжал свой путь.

— Вот неуч-то! — пустил ему вдогонку Берт. — Что, если американцы все такие? Не скоро споешься тогда с ними... Пойду и я за ним... Впрочем, нет, у него ружье и черт его знает что на уме. Возьмет, обернется да и выпалит в меня... Говорят, у них это самое обыкновенное дело — ни с того ни с сего убить человека. Лучше направляюсь в другую сторону.

И молодой человек, не оглядываясь, зашагал в противоположную сторону. Вскоре Берт достиг большого блока уза, одиноко стоявшего близ дороги, среди деревьев. Вокруг этого здания не было ни забора, ни решетки. Берт остановился в нескольких шагах от него, недоумевая, зайти ему в него, или нет. Дом казался заброшенным. Только что молодой человек хотел взойти на несколько ступеней, ведших на крыльцо, как вдруг из-за угла показалась огромная черная собака какой-то странной породы. На ней был широкий кожаный ошейник, усаженный железными колючками. Собака не лаяла,



даже не приближалась к незнакомому человеку, каким она должна была считать Берта, а лишь щетинилась, оскалила два ряда крупных и острых зубов да сверкала большими золотистыми глазами. Потом она издала какой-то странный звук, точно кашлянула.

Наш герой предпочел не добиваться ближайшего знакомства с этим животным, а быть может, и с его зубами и направился далее. Отойдя несколько десятков шагов от блокауза, он вдруг спохватился, что с ним нет котенка. Молодой человек остановился и принялся его кликать, но котенок не показывался.

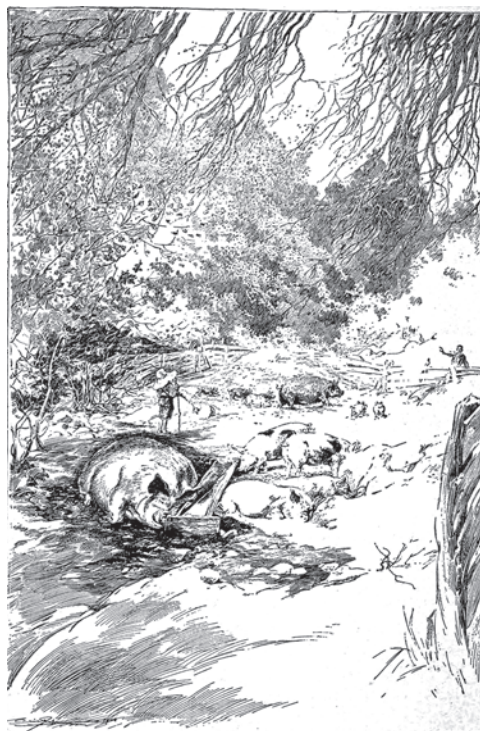
— Наверное, он нашел там что-нибудь съедобное и занялся своей находкой, — размышлял вслух Берт, поглядывая на видневшийся позади блокауз. — Ну, и пусть остается там. А то, сказать по правде, он только связывал меня; бросить же его было жаль.

Успокоив себя этим рассуждением, наш путник зашагал дальше. Дорогою он срезал тонкую, но крепкую ореховую ветвь, очистил ее с помощью своего складного ножа от всего лишнего и превратил, таким образом, в довольно приличную и удобную трость; потом набрал на дороге несколько булыжников и рассовал их по карманам. Через некоторое время он наткнулся на несколько таких же зданий, которое только что миновал; все они были совершенно одинакового вида, с плохо окрашенными верандами, и также ничем не отделялись ни от леса, ни от дороги. Позади домов виднелись различные хозяйственные пристройки. Около одной из них разгуивала большая черная свинья, окруженная своим многочисленным, весело хрюкавшим потомством. На крыльце одного из домов сидела дикого вида женщина с черными, как ночь, глазами и такого же цвета растрепанными волосами, кормившая грудью ребенка. Увидев Берта, она поспеш-

но скрылась в дом, и он слышал, как она задвинула в двери тяжелый засов. Около другого дома показался небольшой мальчик. Берт попробовал спросить у него, что это за место. Но тот, засунув в рот пальцы одной из рук, ничего не ответил и только дико смотрел на него.

— Ну, сторонка! — пробормотал Берт. — Ни черта, видно, в ней не добыешься... Будем, однако, продолжать путь и посмотрим, что будет дальше.

Чем дальше он подвигался по лесной дороге, тем больше и больше стало попадаться по обеим ее сторонам домов. Мимо путника прошли двое грязных мужчин с некрасивыми неприветливыми лицами. У одного было ружье, у другого — топор. Оба внимательно оглядели Берта и, презрительно усмехнувшись, продолжали путь. Берт и не пытался заговорить с ними. Пропустив вперед этих неприятных встречных, он свернул на





ближайшую боковую тропинку, ведущую вдоль однорельсового железнодорожного пути, и скоро добрался до небольшого деревянного здания, на котором красовалась дощечка с надписью сильно выцветшими буквами: «Станция»; самое же название станции совсем нельзя было прочесть.

— Гм, — проворчал наш путник, — хороша станция! Во-первых, неизвестно какая, а во-вторых, желал бы я знать, сколько времени нужно сидеть на ней в ожидании поезда? Я вот давно таскаюсь здесь, а пока ни одного не слышал.

Увидев на правой стороне целый ряд зданий, он повернул туда и встретился со старым негром.

— Здравствуй, старина! — проговорил Берт.

— Добрый день, масса! — ответил негр своим гортанным голосом.

— Как называется здешняя местность?

— Танудую, масса.

— Спасибо, старина!

Негр приложил правую руку к сердцу и низко поклонился.

— Гм! — промычал Берт, — оказывается, негры здесь гораздо вежливее американцев.

Он осмотрелся и заметил на некоторых домах вывески с надписями на английском языке и на языке эсперанто. В одном доме находилась лавка и нечто вроде харчевни. Это оказался единственный дом, вход в который был гостеприимно открыт. Молодой человек почувствовал аппетит и стал обшаривать свои карманы. Несколько недель он обходился без денег, так что и думать о них забыл, а теперь вот в них явилась надобность. Он нашел у себя шиллинг и три пенса. Хватит, значит, заплатить за простую закуску, а там что будет.

В дверях лавки появился коренастый малый в одном жилете без сюртука

и оглядел нашего героя с головы до ног.

— Добрый день — приветствовал его Берт. — Можно у вас в лавке достать чего-нибудь поесть и выпить?

— Это не лавка, а магазин! — с гордостью ответил лавочник на невозможном англо-американском наречии.

— Виноват, — поспешил извиниться Берт. — Могу я получить в вашем магазине, чего прошу?

— Можете, если у вас есть деньги, — не очень любезным тоном произнес лавочник и повернулся назад в лавку.

Берт последовал за ним. Лавка оказалась просторною и довольно светлою. За длинной стойкой, уставленной всевозможными дешевыми закусками, виднелось множество полок с банками, ящиками, коробками и бутылками. По правую сторону тянулся ряд столов, окруженных стульями, очень грубой работы, зато отличавшихся прочностью. Налево был проход в другие помещения. За одним из длинных столов помещалась компания, состоявшая из двух десятков мужчин. Все они были вооружены ножами, револьверами и ружьями. Лица у всех были угрюмые, а у некоторых прямо свирепые. Компания равнодушно слушала выкрики дешевого граммофона, стоявшего на соседнем столе в углу. Прислушавшись, Берт узнал одну из тех уличных ходовых песен, которую он пел с Гребом, и его, вместе с воспоминаниями о той роковой минуте, когда он был похищен шаром Беттериджа, охватила сильная тоска по родине. Один из посетителей, человек с воловьей шеей и медвежьими ухватками, движением пальца остановил граммофон. Глаза всех присутствовавших устремились на нового гостя, имевшего такой необычный вид.

— Этот джентльмен желает есть и пить, — проговорил лавочник, обращаясь к полной особе женского пола, сидевшей за стойкою и зевавшей во весь рот.

— Ну, что ж, — отозвалась та, — смотря по деньгам, он может получить, чего пожелает, начиная с куска хлеба и кончая цельным обедом.

— Я бы желал полный обед, если он будет стоить не дороже шиллинга, — не смело заявил Берт.

— А что это за монета? — спросил торговец. — У нас о таких не слыхать.

— Это английская монета стоимостью в четверть доллара, — пояснил один из компании, в широкополой соломенной шляпе, из-под которой выглядывало худощавое и более симпатичное лицо, нежели у его соседей.

— Вот она, — произнес Берт, вынимая из кармана серебряную монету и показывая ее присутствовавшим.

— Ха-ха-ха! — закатился торговец, подпирая руками бока. — Он называет магазин лавкой и желает получить за какую-то чудную монету в четверть доллара полный обед!.. Да откуда вы попали сюда, молодой джентльмен?

— Из Ниагары, — с некоторым недоумением ответил Берт, убирая монету обратно в карман.

— Из Ниагары?! — воскликнул лавочник. — А давно вы оставили Ниагару?

— С час назад.

— Час тому назад?! — повторил лавочник и, обедев присутствовавших многозначительным взглядом, добавил: — Слышите, джентльмены?!

Все, в свою очередь, с изумлением уставились на Берта.

— Видите, в чем дело, — поспешил пояснить тот. — Я прибыл сюда по воздуху на азиатской летательной машине.

И он в кратких словах рассказал всю историю своих приключений, начиная с того, как он попал на воздушный шар, и кончая тем, как очутился здесь.

Вслушав этот рассказ слушатели с недоверием посмотрели на рассказчика, и один из них спросил его:

— А где эта летательная машина?

— В лесу, недалеко отсюда... Я могу провести вас туда, — ответил Берт таким уверенным тоном, что недоверие к нему стало сильно колебаться.

— А годится она? — спросил толстогубый человек с широким шрамом на лбу.

— Не знаю, — ответил Берт. — После того, как она застряла на дереве, я не осматривал ее. Но, повторяю, я могу довести туда всех, кто пожелает. Только я со вчерашнего дня ничего не ел...

Высокий человек, в костюме охотника, до сих пор слушавший молча, вдруг сказал властным тоном, обращаясь к лавочнику:

— Логен, накормите этого молодого джентльмена за мой счет. Потом я поговорю с ним пообстоятельнее и осмотрю его машину. Быть может, она пригодится нам.

Берту тотчас же накрыли стол и подали такой сытный обед, какого он давно не видал.

Когда Берт окончил обед, вся компания направилась к застрявшему на дереве аэроплану. Впереди шли Берт и тот, кто велел его накормить. Имя этого человека было Лорайр. Очевидно, он пользовался известным авторитетом среди всех остальных, относившихся к нему с полным уважением.

Добравшись до того дерева, на котором висела машина, Лорайр распорядился осторожнее снять ее. Для этого пришлось срубить пару соседних деревьев. Когда же, наконец, аэроплан со всевозможными предосторожностями был снят с дерева и положен на землю, над ним устроили на всякий случай навес из ветвей. Один из компании был отправлен в ближайший город за механиком. Прибывший механик осмотрел аэроплан и объявил, что повреждения в нем незначительны и машину нетрудно исправить.

Пока вся компания, состоявшая из 17 человек, бросала жребий, кому первому сделать пробный полет на машине, когда она будет исправлена, Берт познакомился с механиком, который оказался довольно общительным человеком, и расспросил его о Лорайре. Последний, по словам механика, был очень богатым человеком и глубоким патриотом, пользовавшимся огромною популярностью среди своих сограждан.

Вечером в «магазине» Логена собралась масса публики. Все толковали о случайно попавшем к ним по воздуху англичанине и об азиатской машине, на которой он прилетел и которая, по словам исправлявшего ее механика, очень замысловато устроена. Но главную темой была война, охватившая Америку и весь мир. Кто-то приехал из ближайшего города на велосипеде и привез плохо оттиснутый на отвратительной бумаге уличный листок, содержание которого действовало на присутствовавших самым разжигающим образом. В этом листке сообщались исключительно местные, американские, новости, потому что все сношения с Европой и другими странами прекратились. Прежние подводные кабели уже несколько лет как были упразднены, а станции воздушного телеграфа Маркони, расположенные за океаном и вдоль атлантического побережья, оказались особенно излюбленными пунктами для военных действий неприятелей. Весь мир был в войне. Народ шел на народ. Города пылали и разрушались. Произведения искусства и науки, создававшиеся веками, гибли в одну минуту. Нищета народов увеличивалась. Всюду были народные волнения. Всюду разрушались троны и создавались временные управления. Всюду стали царить хаос и запустение. И над этим миром, подобно легендарным чудовищам, носились в воздухе разнузданные страсти челове-

ка в виде летательных машин всевозможных систем, всюду сеявших смерть и разрушение...

Берт пока ничего не знал об этой мировой катастрофе. Сидя в дальнем углу, он слушал, что говорили вокруг него. Собравшиеся здесь люди, разобщенные со всем миром, также не знали, что происходило в этом мире. Они были поглощены собственными делами и говорили о нападении на их страну азиатов и о бесчеловечной жестокости, с которою все уничтожают эти хищники.

— Главное их пристанище на Тихом океане, — утверждал один из ораторов. — С тех пор, как началась эта война, они на наше тихоокеанское побережье высадили не менее миллиона людей. Они замыслили вгнестись в нашей стране и непременно добьются своего, если мы не дадим им сильного и дружного отпора. Это страшно упорный народ.

Все толковали о мерах, какие необходимо принять в защиту от окончательно разгрома их страны этими азиатскими пришельцами. Прежде всего нужно немедленно создать сильный воздушный флот, но такой, который мог бы не только противостоять азиатскому, но и победить его. Один из присутствовавших, разыгрывавший из себя всезнайку, хриплым голосом доказывал, что немецкие монопланы никуда не годятся; японские лучше, но тоже страдают сильными недостатками. Верх же совершенства представляет собою английская машина Беттериджа, о которой одно время столько писалось в газетах.

— Я видел эту машину и могу... — вмешался было Берт, но его никто не слушал и он поневоле замолчал, не будучи в состоянии перекричать спора, возникшего между присутствовавшими о воздушных машинах.

— Но, к сожалению, этот английский изобретатель умер, — продолжал

всезнайка, когда в зале водворилась сравнительная тишина.

— Как неужели Беттеридж умер?! — раздалось со всех сторон.

— Увы, да! И унес с собою тайну своего изобретения, потому что чертежей его машины после его смерти не нашлось.

«Ах, как это хорошо, что он убрался! — воскликнул про себя Берт. — Значит, его-то мне уж нечего опасаться». И он стал слушать дальше, рассчитывая вмешаться, когда будет удобно.

— Неужели он даже перед смертью никому не успел передать своего секрета? — спросил человек в соломенной шляпе.

— Нет, он умер скоропостижно, от удара. Это был полнокровный, горячий, часто доходивший до бешенства. Во время одного из припадков он сразу и скопугился. Неожиданная смерть его — громадная потеря для Европы и для нас. С помощью его машины мы могли бы вести более успешную борьбу с азиатами.

Берт нашел возможным вмешаться.

— Послушайте, джентльмены, — снова начал он — я имею...

Но его опять никто не слушал. Внимание всех было обращено исключительно на оратора, который продолжал:

— О том, чего нет, не стоит, конечно, и говорить. Нам нужно считаться с тем, что есть. Поэтому я предлагаю...

Здесь Берт снова не выдержал. Поднявшись с места, он вскричал прерывающим от волнения голосом:

— Мистер Лорайр, выслушайте меня хоть вы! Я имею сказать кое-что именно о машине Беттериджа.

Лорайр сидевший к Берту ближе всех, услышал его возглас и сделал повелительное движение рукою. Сразу водворилась полная тишина.

— О чем хотите вы сказать? — спросил он у Берта.

Только теперь публика удостоила взглянуть на молодого человека и заметила по его взволнованному виду, что он действительно хочет сделать какое-то важное сообщение.

— Я сейчас вам покажу, — продолжал Берт, расстегивая дрожавшими руками куртку и вытаскивая из-под рубашки фланелевый нагрудник. — Вот все чертежи машины Беттериджа, — прибавил он, распарывая фланель и вынимая из нее сверток бумаг.

— Но как они попали к вам? — с удивлением спросил Лорайр, рассматривая бумаги.

— Сам Беттеридж перед тем, как отправить меня на своем воздушном шаре, вручил мне их. Я был с ним хорошо знаком, — чувствуя внезапный прилив храбрости, соврал наш герой.

— А, так это вы улетели на его воздушном шаре? — спросил всезнайка.

— Я, — коротко ответил Берт.

Собрание сидело как ошпаренное. Взоры всех обратились на Берта. Никто не знал, что сказать. Наконец всезнайка покачал головой и произнес:

— Ну, не злая ли ирония судьбы? Она дает нам средство борьбы, воспользоваться которым, быть может, уже поздно.

Лорайр собрал со стола бумаги, передал их Берту и сказал:

— Уберите опять эти бумаги и поедьте вместе со мною.

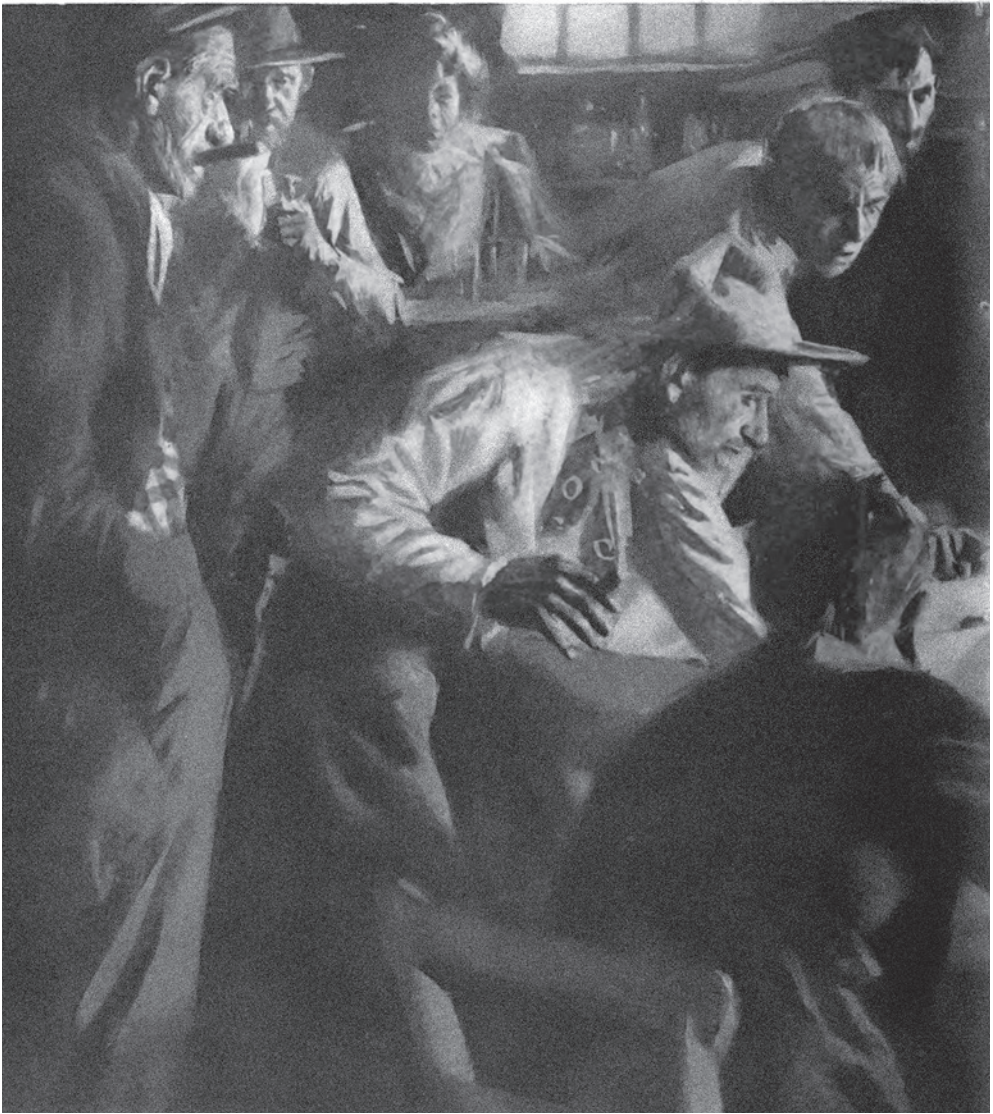
Берт завернул бумаги во фланель и сунул их за пазуху.

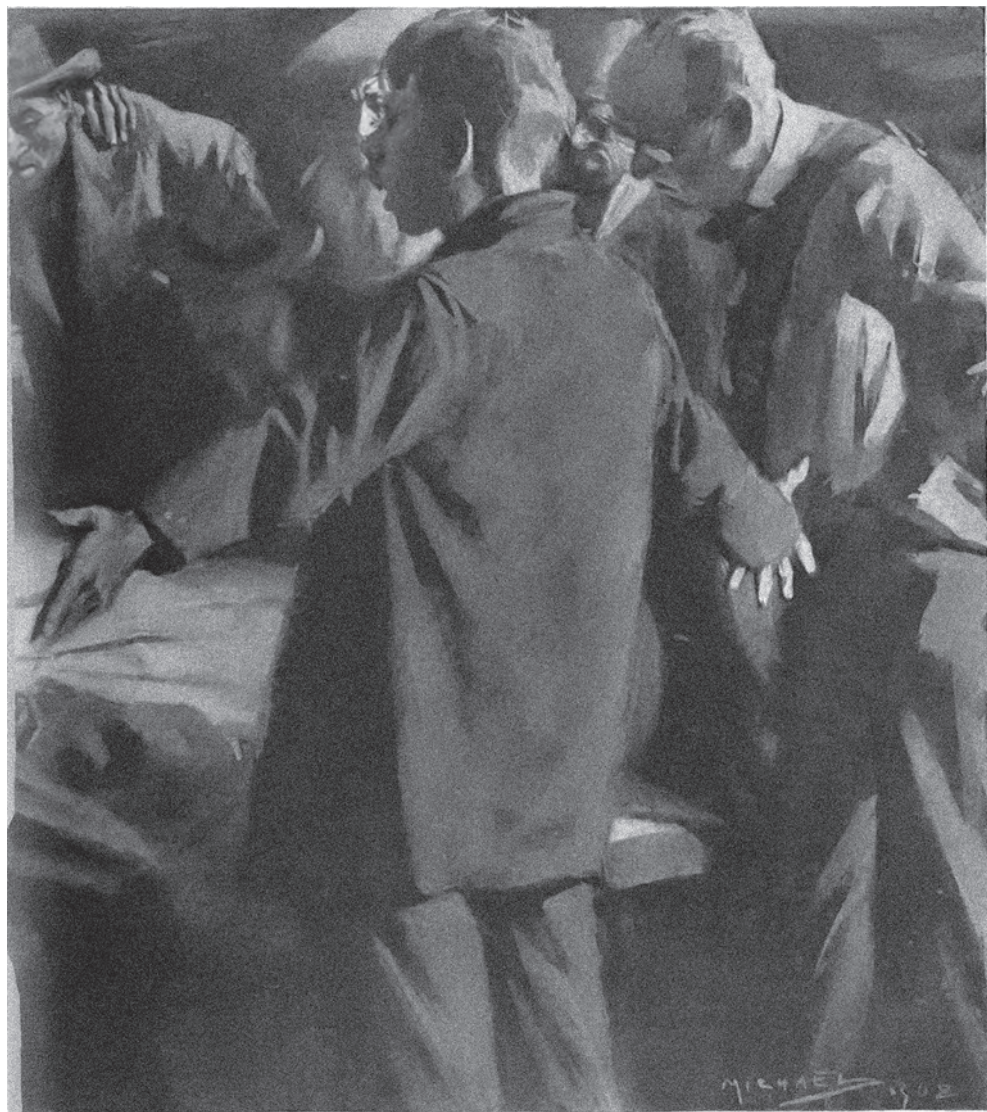
— Куда же мы поедем, мистер Лорайр? — с любопытством осведомился он.

— К президенту, — ответил тот, поднимаясь с своего места. — Вы покажете ему эти чертежи. Не думаю, чтобы было поздно воспользоваться ими.

— А где находится президент? — продолжал Берт, очень довольный предложением Лорайра.







— Я сейчас вам покажу, — продолжал Берт, расстегивая дрожащими руками куртку и вытаскивая из-под рубашки фланелевый нагрудник. — Вот все чертежи машины Беттериджа, — прибавил он, распарывая фланель и вынимая из нее сверток бумаг (к с. 191).



— Где-то в окрестностях Олбани... Впрочем, он переезжает с места на место, организуя всюду защиту от внезапно-го нападения этих азиатских хищников. Но мы где-нибудь разыщем его, — проговорил Лорайр и, обращаясь к лавочнику, прибавил: — Ну, Логен, теперь дайте нам пару надежных велосипедов.

— Пожалуйста сюда, мистер Лорайр, и выбирайте сами, — предложил лавочник, приглашая его в заднее помещение, наполненное мужскими и дамскими велосипедами, отдававшимися на прокат.

Все самокаты оказались на деревянных рамах и таких же колесах, что очень не понравилось Берту, по собственному опыту знавшему непрочность таких машин. Но других не было; пришлось довольствоваться этими.

— А как вы думаете, мистер Лорайр, сколько времени продлится наше путешествие? — полюбопытствовал Берт, накачивая воздух в шины выбранного им для себя велосипеда в то время, как ту же операцию в велосипеде Лорайра услужливо производил сам хозяин.

— А право не знаю. Несколько дней придется, пожалуй, нам покататься, прежде чем мы найдем, кого нужно, — ответил Лорайр.

#### IV

В течение целой недели жизнь Берта была полна самых разнообразных впечатлений и ощущений; из последних самым преобладающим была сильная усталость ног. Молодой человек отвык ездить на велосипедах; езда на моторе, которым он пользовался последний год, не требует такой постоянной и усиленной работы исключительно одними ногами. А теперь ему пришлось, почти не отдыхая день и ночь катить по стране, очень похожей на Англию, только более обширной и с менее скученным населением. Президента они нигде не могли найти. Одно

время Лорайру удалось было войти с ним в сношение по телефону, но в самом начале разговора сообщение прервалось, и следы его снова были потеряны. В довершение несчастья нашего героя в передней шине его велосипеда сделался прокол, и она плохо стала держать воздух. Но Лорайр ни за что не хотел останавливаться ради этого повреждения, и Берту то и дело приходилось сходить с своего самоката и подкачивать в шину воздух, а потом нагонять уехавшего вперед спутника. В конце концов у молодого человека сделалась сильная боль в пояснице и в ногах. Но его мучитель находил, что и это пустяки, на которые не стоит обращать внимания. Сам же Лорайр, к удивлению Берта, почти не чувствовал ни малейшей усталости.

Но в общем путешествии совершалось благополучно. Никаких особенных приключений не было. Раз только за ними или, вернее, над ними, гналась азиатская летательная машина. В это время они подъезжали к селению, в котором и остановились с таким видом, будто туда и ехали. Удостоверившись в этом, азиат понесся далее. В некоторых местах они встречали полное опустошение и безлюдье, в других жизнь шла еще обычным порядком, в третьем жители находились в постоянном страхе. Город Олбани оказался почти разрушенным. В одном месте огромное здание все было в пламени, но никто не думал тушить пожара.

Многое на пути возбуждало удивление и любопытство Берта, но он не решался расспрашивать своего спутника. Лорайр был не из болтливых, притом и страшная спешка, с которой они ехали, не допускала праздной болтовни.

За разрушенным железнодорожным мостом стоял скорый поезд, с которым ехали одни крупные богачи. Этот поезд стоял здесь уже седьмой день, в ожидании устройства временной переправы

через реку. Все пассажиры были издалека и, в явное противоречие нетерпеливому американскому характеру, очень терпеливо ждали, развлекаясь игрой в карты и пикниками на зеленых лужайках.

В стороне, на деревьях, окаймлявших проселочную дорогу, висело шесть человек китайцев. В мирной деревушке, где путники остановились вечером на отдых до восхода луны, один грязный босоножий мальчуган скартавил им:

— А насы вон там, в лесу, повесили сестерых китайцев.

— За что же? — спросил Берт.

— А за то, сто они исполтили мост... Они были с бомбами... Насы весят всех китайцев.

Ночью наши путники наскочили было на полуразложившийся труп, который валялся прямо посреди дороги, вблизи одного селения, а под утро налетели было на автомобиль, у которого лопнула шина. На автомобиле сидели молодая женщина и молодой человек с ружьем на коленях, а под автомобилем возился старик. При виде велосипедистов старик выполз из-под машины и заговорил с ними, как с близкими знакомыми, с которыми только что расстался. Он жаловался, что их машина вдруг остановилась, и ни он сам, ни его зять (старик кивнул на молодого человека с ружьем) не знают причины внезапной остановки машины, так как ничего не смыслят в технике. При прода-

же им этого автомобиля их уверили, что с ним не может случиться никаких недоразумений, даже выдали ручательство на целый год, и вдруг вот при первой же поездке они застряли на дороге да еще ночью. На них уже пробовали напасть трое бродяг, от которых они насилу отстрелялись. Могут напасть и в большем числе, тогда ему с зятем, пожалуй, и не отвертеться от разбойников. Всем известно, что он везет с собою крупную сумму. Старик назвал свое имя, довольно известное в финансовом мире.

— Не будете ли вы добры помочь нам? — обратился старик к Берту, который воспользовавшись этой остановкой, накачивал воздух в свою шину.

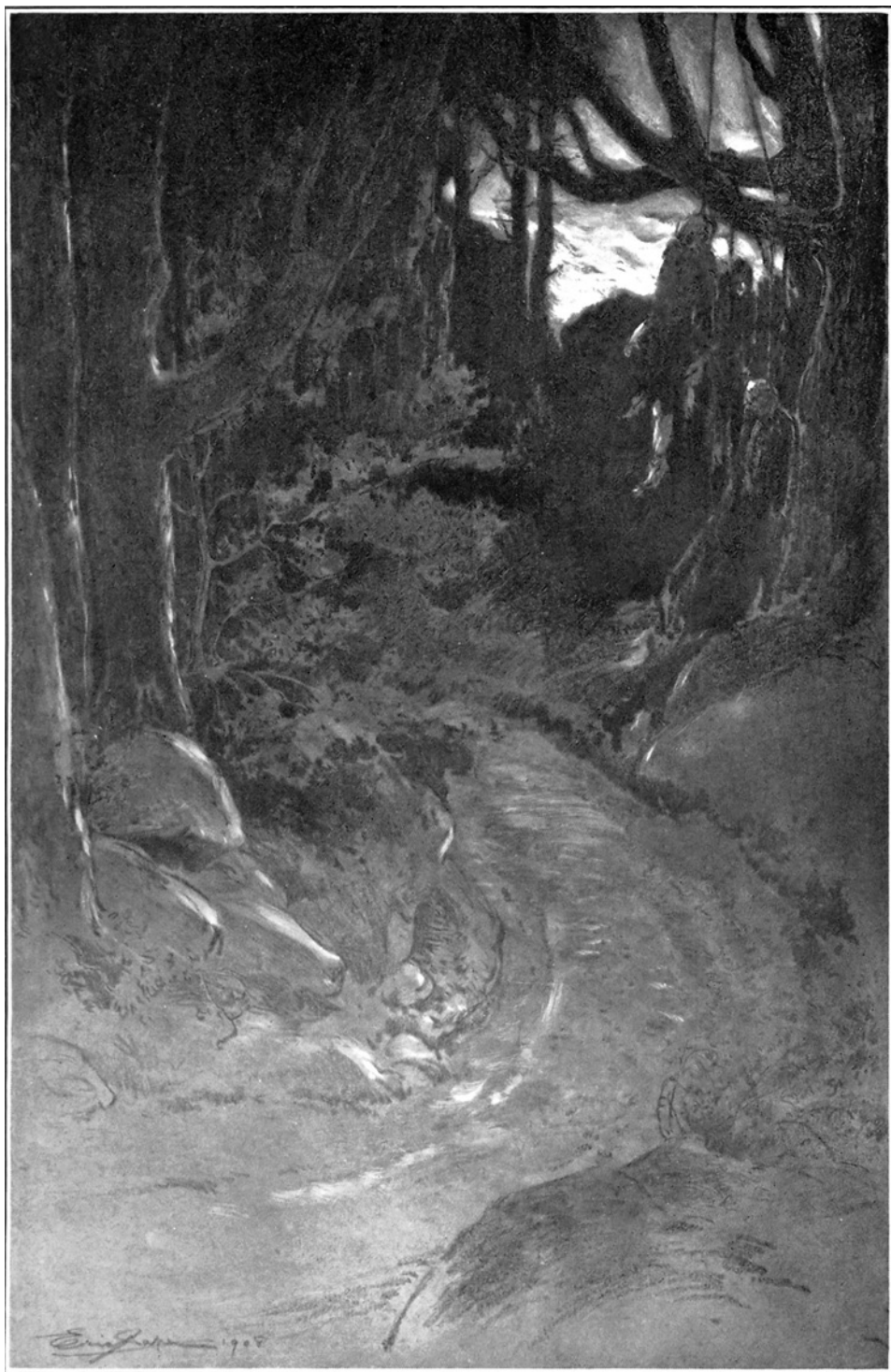
Берт хотел было исполнить просьбу старика, но Лорайр остановил его.

— Ну, вы окончили возню с вашей несчастной шиной? — резко проговорил он. — Садитесь и едем дальше. Нам нет времени спасать троих, когда на нас лежит обязанность спасти целую страну.

С этими словами, непонятными для старика и его спутников, Лорайр вскочил на велосипед и быстро помчался далее. Вслед за ним последовал и Берт.

Наконец в плохонькой гостинице одного захолустного городка им удалось разыскать президента. Лорайр, знавший его лично, представил ему Берта. Президент был очень обрадован, когда увидел чертежи знаменитой машины Беттериджа.





*В стороне, на деревьях, окаймлявших проселочную  
дорогу, висело шесть человек китайцев (к с. 197).*

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### Мировая война и ее последствия

#### I

Здание вековой цивилизации наклонилось вперед и обрушилось в одну минуту, и груды его развалин расплавились в огненном горниле войны.

Отдельные стадии финансовой и научной цивилизации, с которых началось двадцатое столетие, так быстро следовали одна за другою, что на укороченных страницах всемирной истории они представлялись одним сплошным крахом.

При зарождении двадцатого века мир считал себя на вершине благосостояния и процветания; люди воображали, что они находятся в полнейшей безопасности. Такое самообольщение более всего поражает вдумчивого и мыслящего обозревателя, изучающего дух этих странных времен по сохранившимся отрывкам тогдашней литературы и прислушивающегося к тем слабым голосам, которые раздавались среди рева многомиллионной толпы.

Всем живущим при настоящем, твердо установленном, серьезно и научно обоснованном, действительно безопасном мировом строе не может не бросить-

ся в глаза полнейшая неустойчивость и ненадежность прежнего строя. Каждое прежнее учреждение и постановление кажутся совершенно случайными или основанными на диких традициях; каждый закон точно был создан для данного лишь случая, без всякого предвидения будущих живых потребностей; нравы кажутся дикими, воспитание бесцельным, беспринципным, направленным только во вред подрастающим поколениям. Все финансовые предприятия того времени представляются нынешнему хорошо вышколенному и развитому уму какою-то бессмысленною и пагубною игрою в прятки. Вся денежная и кредитная система, основанная на пустой традиции о ценности золота, является чем-то до фантастичности дутым. При всем этом люди в то время жили в плохо устроенных и до невозможности переполненных городах. Железные дороги и другие пути сообщения распределялись по лицу земли без всякой планомерности, в силу лишь различных минутных капризов и интересов единичных лиц. Когда кто-либо поумнее и подальновиднее указывал на всю

беспорядочность, случайность, безрассудность и непрочность всех тогдашних затей, и вообще всего строя жизни, люди негодовали на «отсталого брехуна» и кричали: «Мы идем все дальше и дальше по пути улучшения, а он находит, что мы на этом пути можем только сломать себе шею. Какой жалкий слепец!»

Сравнивая слепое доверие человечества к своей цивилизации начала XX века с прежними историческими периодами, мы, быть может, окажемся в состоянии проследить его источник. Это доверие было не столько рассудочным, сколько являлось неизбежным последствием продолжительного благосостояния. Можно без преувеличения сказать, что разбираемая историческая эпоха в этом отношении стоит совершенно отдельно, и в эту эпоху за все время существования человечества люди в первый раз были более, чем сыты. Статистика того времени указывает на невиданное ранее улучшение санитарных и гигиенических условий, на двигавшийся гигантскими шагами процесс умственного развития и на процветание искусства во всех его областях, придающего такую красоту жизни. Уровень и характер среднего воспитания поднялись на неведомую ранее высоту. В начале XX века в Западной Европе и Северной Америке почти не было неграмотных; никогда еще не замечалось такой огромной массы читающих; никогда не существовало таких дешевых и удобных способов передвижения. Каждый, самый обыкновенный человек, беспрепятственно мог объехать весь свет, и это стоило не больше годового заработка дельного ремесленника. Каждый год, каждый месяц, чуть не каждый день приносили человечеству новые и новые блага: открытие новой страны, новых рудников, изобретений новых машин, приобретение новых знаний и т. д.

Триста лет продолжалось это поступательное движение человечества вперед; у него накапливались материальные и духовные сокровища, и постепенно увеличивались удобство и безопасность его существования. Положим, находились и тогда люди, утверждавшие, что наравне с умственным и физическим совершенствованием идет упадок нравственности. Но эта горькая истина, заставившая новое время основать действительную цивилизацию именно на законах строгой нравственности, тогда большинством с негодованием отвергалась. Только создающим и сохраняющим силам и удавалось тогда держать противовес коварной игре случая, естественному невежеству, предрассудкам, слепым страстям и пагубному эгоизму. Но последовательность причин и последствий неумолима, и вся та ложь, которая накопилась в сердцевице прогресса, должна была принести свои плоды. Люди воображали, что, так как прогресс является естественной необходимостью, то, следовательно, нравственность или безнравственность тут ни при чем. Они видели, что их армии и флоты растут до чудовищности и на них тратится несравненно больше, чем на народное образование; что количество грозных разрушительных орудий и снарядов все увеличивается; что соперничество народов все усиливается; что чем теснее сближаются между собою народы, тем больше становится их внутренняя рознь; но ничего этого они не понимали. С беспечностью умственной близорукости они терпели у себя жадную, бессовестную, продажную и лживую печать, неспособную ни к чему хорошему, но не знавшую соперников во всем дурном. Твердой и однообразной узды со стороны властей для печати не существовало, да и большинство самих властей состояло из лиц недалеких и совершенно неспособных к управлению.

Могло ли человечество при таких условиях предотвратить пагубную для него же самую воздушную войну? Вопрос этот такой же праздный, как если бы спросить, мог ли бы человек, раздавленный поездом, предотвратить свою гибель? Конечно, человечество не в состоянии было помешать возникновению этой войны, раз оно само допустило ее.

Древние цивилизации — ассирийско-вавилонская, египетская, греческая и римская — разрушались постепенно, шаг за шагом; цивилизация же европейская в буквальном смысле взлетела на воздух сразу. В течение каких-нибудь пяти лет от нее не осталось ничего, кроме жалких обрывков. Еще накануне возникновения воздушной войны мир представлял картину прогресса, доходившего до своего апогея, обеспечивал полную безопасность существования, имел грандиозно развитую промышленность, огромные благоустроенные города, быстроходные суда, которыми были усеяны все моря, густую сеть всякого рода путей сообщения, телеграфов и телефонов по лицу всей земли. Все и повсюду, за немногими неизбежными исключениями, благоденствовало и процветало. И вот вдруг, совершенно неожиданно, над этою картиною полного благоустройства пронеслись германские воздушные корабли и положили начало конца всему...

После нападения немцев на Нью-Йорк наступила оргия всеобщего разрушения. Англия, Франция, Италия и Испания, по примеру Германии, с лихорадочною поспешностью принялись увеличивать свои воздушные флоты. Ни одна из этих стран до того времени не делала таких грандиозных приготовлений к воздушной войне, как Германия, но каждая, хотя и в меньших размерах, все-таки готовилась ко всяким «случайностям». Общий страх перед немецкою энергией и предприимчивостью, олицет-

ворением которой являлся принц Карл-Альберт, давно уже вынудил названные государства войти в тайные переговоры. Между ними состоялось соглашение, благодаря которому они оказались в состоянии оказать противодействие Германии.

Другой европейской державой, обладавшей воздушным флотом, была Франция. Англия, вечно дрожавшая за свое господство в Азии и хорошо понимавшая всю силу нравственного воздействия воздушного флота на полудикие народы, устроила свои воздухоплавательные парки в Северной Индии, поэтому в Европе она могла играть второстепенную роль.

Но и на своих островах у нее имелось с десятков крупных воздушных судов, десятка три мелких и целая коллекция разного типа пробных аэропланов, т. е. таких, с которыми пока производились только опыты.

Еще до появления воздушного флота принца Карла-Альберта в Америке уже происходили дипломатические переговоры между европейскими державами. Результатом этих переговоров было нападение общими силами на Германию. Над Бернер-Оберландом вдруг появился довольно многочисленный отряд воздушных судов всевозможных форм и размеров. Он сжег и уничтожил двадцать пять швейцарских воздушных кораблей, которые тоже совершенно неожиданно вступили с ними в борьбу. Затем этот отряд разделился на две части; одна из них отправилась громить Берлин, а другая решила занять франконский воздухоплавательный парк, пока там еще не был готов второй германский воздушный флот.

Немало вреда причинили нападающие своими разрывными снарядами Берлину и Франконию, пока немцам не удалось их прогнать.



Двенадцати их кораблям, вполне наполненным газом, и пяти наполненным только наполовину, зато превосходно оборудованным и с образцовым экипажем, при помощи флотилии гамбургских монопланов, удалось отбить отряд союзного флота не только от воздухоплавательного парка во Франконии, но и от Берлина.

Немцы напрягали все усилия, чтобы создать новый грандиозный воздушный флот. Их летучие отряды уже витали над Лондоном и Парижем, когда из Бирмы и Армении получилось известие о появлении авангарда азиатского воздушно-го флота.

Это была роковая новость для всей Европы и Америки. В этот момент сразу покачнулась мировая финансовая система. С уничтожением немцами американского флота в северной Атлантике и их пагубного столкновения с союзниками в Европе, положившего конец их морскому владычеству на Северном море, и с разрушением в главнейших городах мира на целые миллиарды различных ценностей, — человечество в первый раз поняло всю колоссальную убыточность затеянной им игры в войну. Кредит в этом диком вихре окончательно рухнул. Всюду проявлялось стремление набрать возможно больше золота и прятать его, как это бывало в прежние времена общей паники. Это алчное стремление охватывало весь мир.

Наверху, в воздухе, разыгрывались драмы столкновения и уничтожения; внизу на земле, происходили не менее пагубные события, разрушавшие дутое здание финансовых и торговых предприятий, на которых человечество основывало все свои надежды. И пока наверху боролись между собою воздушные флоты, внизу все более и более уменьшался видимый запас золота. Весь мир был охвачен манией взаимного недоверия.

В течение каких-нибудь нескольких недель деньги — за исключением потерявших всякую ценность бумажных — исчезли из обращения и были попрятаны по подвалам и другим укромным местам. И, по мере их исчезновения, останавливались торговля, промышленность, — словом, все, что зиждилось на деньгах. Это походило на истечение кровью живого организма с последовательной остановкой всех его функций.

И в то время, когда все это трещало и разваливалось, когда ограбленные, ошеломленные миллионы людей с недоумением и страхом глядели на эту мировую разруху, — по воздуху всюду носились целые стаи азиатских кораблей, аэропланов и монопланов, бросавшихся то к Америке, то к Европе и везде сеявших смерть и разрушение. Страницы всемирной истории все наполнялись и наполнялись ужасами мировой войны.

Британско-индийский воздушный флот погиб в Бирме, а германский был разбит и рассеян в отчаянной битве при Карпатах. Весь Индийский полуостров был охвачен восстанием. В Азии и Африке развевались знамена Джихада.

В течение нескольких недель казалось, что восточноазиатский союз овладевает всем миром, но затем рухнула и дутая, скороспелая «современная» цивилизация китайцев. Плодовитое и мирное население Поднебесной империи позволило себя «просветить», т. е. оно, под влиянием европейского и японского давления, неохотно, с затаенной ненавистью и злобою, допустило введение у себя полицейских порядков, всеобщей воинской повинности, железных дорог, телефонов, телеграфов, санитарных мероприятий и многого другого; вообще позволило втиснуть себя в новые формы жизни, совершенно чуждые его национальному духу и всем его многовековым традициям.

Но, под насилием войны, порвалось терпение и китайцев: весь этот многомиллионный народ поднялся как один человек, а падение центральной власти в Пекине вследствие временных побед англо-германского воздушного флота над китайским, усилило это восстание до небывало грандиозных размеров. По примеру Иокогамы, во всех больших городах появились баррикады, завесили черные флаги, и революция овладела всею страной. Таким образом, вся Азия, как и весь мир, превратилась в арену хаотической борьбы.

Общий развал общественного строя был естественным последствием мировой войны. Где было гуще население, там явилось большее число безработных, лишенных всяких средств к существованию. Уже после трех недель с начала мировой войны и общей разрухи, в рабочих центрах всех больших городов стал воцаряться голод, а через месяц не существовало ни одного густонаселенного города, в котором не происходило бы полной анархии, сопровождавшейся грабежами, разбоями и убийствами. Никакие «чрезвычайные положения» не помогали: анархия как чума, распространялась по лицу земли гигантскими шагами, и, сопровождаемая всемогущим царем-голодом, стала проникать и туда, где о нем ранее и не имели понятия.

Между тем характер самой борьбы начал изменяться. Исполинские воздушные корабли, наполненные газом, стали заменяться летательными машинами. Когда окончились генеральные сражения воздушных флотов, вследствие взаимного истребления, азиаты старались укрепляться вблизи наиболее слабых пунктов тех стран, с которыми вели борьбу; из этих мест они всюду и рассылали летучие отряды аэропланов и мо-

нопланов. Вначале они действовали почти беспрепятственно, но потом, когда американцы, а за ними и европейцы стали спешно строить воздушные машины Беттериджа, силы враждовавших начали уравниваться, и борьба сделалась еще ожесточеннее.

Машины по системе Беттериджа, хотя и были совершенно непригодны для дальних экспедиций и генеральных сражений, но они оказались вполне приспособленными для так называемой «гверильяской»<sup>1</sup> борьбы.

Они могли быстро изготовляться, стоили недорого, отличались удобством по своей легкости и их нетрудно было прятать. Чертежи, переданные Бертом президенту Северо-Американских Штатов, были тотчас же скопированы, напечатаны и распространены по всем штатам. Они были посланы и в Европу, где также ими немедленно воспользовались. Каждый город, каждая община, даже каждое частное лицо приглашались строить такие машины и пользоваться ими в целях защиты. Вскоре же они стали фабриковаться всеми, начиная с государств и кончая простыми разбойниками и применяться ко всевозможным целям. Своеобразная особенность машины Беттериджа, сразу приобретшей такую популярность, заключалась, главным образом, в крайней простоте ее устройства; она была так же проста, как обыкновенный моторный велосипед.

Таким образом, широкий размах, принятый в начале войны, мало-помалу сократился в силе, зато распространился по всему миру и превратился в кипящий поток, заливавший все уголки земли. Весь мир из одного целого, еще более сплоченного, чем он был в лучшие времена римской империи, вдруг превратился в винегрет общественных обломков, та-

<sup>1</sup> От исп. *guerrilla*, «малая война», партизанская война.

ких спутанных, как в период средневекового разбойничьего рыцарства, только в большем объеме. Разница с тем периодом состояла еще в том, что тогда общественное разложение совершалось постепенно, а теперь оно произошло сразу.

Но несчастье мира этим не ограничилось. Вместе с этой всеобщей разрухой выступил другой, не менее страшный враг человечества — чума, или так называемая красная смерть, и, в свою очередь, стала требовать жертв. Но омраченное человечество не обращало внимания на нового, не менее страшного врага и продолжало свою убийственную игру. Всюду носились новые и новые воздушные флоты, везде сея смерть и разрушение; люди всячески старались истреблять друг друга и разрушать то, что создано их же руками. Мир все более и более погружался в беспросветную тьму...

Долго пришлось бы описывать все ужасы, которые принесла с собою эта бессмысленная и бесчеловечная война. Никто не был в состоянии прекратить ее. Она окончилась сама собою и лишь тогда, когда почти все оказалось разрушенным, подобно груде тонкого фарфора, по которой сильно ударили толстой палкой. Каждый день этого страшного времени делает всемирную историю запутаннее, хаотичнее, неопределеннее. К чести цивилизации, последняя все-таки не без героического сопротивления дала одолеть себя. Из разрозненного и расшатанного общественного строя возникали патристические союзы и временные правительства, пытавшиеся водворить хотя какой-нибудь порядок и подпереть остатки разрушавшихся зданий. Но эти-то именно попытки и ускорили гибель всего. И когда, наконец, полное истощение источников искусственной цивилизации сигнало с неба последнее воздушное судно,

на земле ничего не осталось, кроме анархии, голода и чумы. Великие народы и государства превратились в простые звуки. Повсюду были развалины, груды непогребенных трупов, толпы жалких, исхудалых, голодных, бесприютных людей, погруженных в полнейшую апатию. Здесь хозяйничали разбойничьи шайки, там — охранительные комитеты и банды повстанцев, овладевшие целыми округами. Всюду образовывались и тут же распадалась всевозможные союзы, ордена и религиозные общества на началах самого дикого фанатизма. Вся культура пошла насмарку; весь порядок, все благосостояние на земле лопнули, как мыльный пузырь. В какие-нибудь пять лет человечество совершило такое попятное движение назад, какое оно прошло в период со времен Антонинов<sup>1</sup> до девятого столетия.

## II

Среди этой мировой трагедии бродила маленькая, незначительная фигурка, интересная разве только тем, что в течение нескольких недель она была игрушкой слепого случая, забросившего ее в самый центр этой трагедии. Эту фигурку звали Бертом Смолуэйсом. Несмотря на всю его незначительность, нам все-таки придется еще кое-что сказать о нем.

Из своего далекого и невольного путешествия Берт возвратился целым и невредимым на родину, благодаря своей счастливой звезде.

Ему удалось попасть на борт английского торгового судна. Переезд через океан был полон всевозможных приключений. Одно время судно преследовалось японским броненосцем, вскоре, к счастью, отвлеченным английским крейсером, который вступил с ним в борьбу.

Потом на море разразился силь-

<sup>1</sup> *Антонины* — третья римская императорская династия, правившая с 96 по 192 год.

нейший шторм, во время которого судно лишилось руля и средней мачты, так что несколько времени было игрушкой стихий. Затем вышел весь провиант и пришлось питаться только рыбой. Близ Азорских островов над бригом проне-слась флотилия красных фигурных азиатских кораблей, к счастью, не обратившая внимания на небольшое парусное судно. Кое-как удалось пристать к Тенерифе, наскоро исправить там руль, поставить новую мачту и запастись провизией. Город оказался разрушенным, а в гавани стояли два больших линейных корабля, наполненных трупами людей. Повсюду шныряли разбойничьи шайки, и одна из них чуть было не захватила бриг; капитану и экипажу с большим трудом удалось отстоять себя и свое судно.

В Могадоре<sup>1</sup> с брига отправили на берег лодку за пресной водой; лодка со всеми находившимися на ней людьми едва не попала в руки лукавых арабов. Оттуда забралась на бриг «красная смерть» и вскоре уложила в постель весь экипаж. Девять человек умерли; осталось в живых только четверо, из которых никто ничего не смыслил в морском деле. С большим трудом удалось капитану обучить свой маленький экипаж обращению с парусами и рулем. Вскоре плохо исправленный руль снова перестал действовать, и судно, волей ветра, понесло обратно к экватору. Кое-как, с огромными усилиями, привели немного в порядок руль и направили судно на север. Опять оказался недостаток провизии и воды для питья. Наконец наткнулись на нефтяной тендер, шедший из Рио-де-Жанейро, на котором чума также произвела капитальную чистку. Обрадованный возможностью иметь у себя на борту несколько лишних людей, капитан тендера охотно принял к себе всех с брига, а его взял на буксир. На

этом тендере Берт и вернулся в Англию, где только начала свое победное шествие «красная смерть».

Жители Кардифа, к которому пристал тендер, находились в состоянии полной растерянности; большинство бежало в горы. Лишь только тендер вошел в гавань, на его борт тотчас же явился представитель какого-то самозванного комитета и захватил всю оставшуюся на судне провизию.

Берт пешком побрел по совершенно разоренной и лишенной всякого порядка стране. Много опасностей и лишений пришлось ему перенести, много он видел такого, от чего кровь стыла в жилах; но он все вынес, потому что уже привык ко всевозможным ужасам. Его теперь трудно было узнать. Он сильно возмужал, обветрился, похудел, окреп, закалился, сделался энергичным и проворным; рот его, прежде так часто и глупо разевавшийся, теперь всегда был плотно сжат; на лбу у него красовался большой рубец — память о стычке с разбойниками на Тенерифе. В Кардифе он захотел переменить одежду и сделал то, что ранее показалось бы ему совершенно невозможным: «заимствовал» из покинутой лавки закладчика фланелевую рубашку, костюм из Манчестера и револьвер с сотней патронов. Там же он вымылся, переменял белье, переоделся и даже собственноручно подстриг себе волосы. Городская стража, ранее так ревностно преследовавшая любителей чужой собственности, частью перемерла, а оставшаяся в живых была занята уборкой трупов многочисленных жертв «красной смерти». Дня три Берт вел в окрестностях города полуразбойничий образ жизни, охотясь за провизией, чтобы запастись ею для дальнейшего пути.

Уэльская провинция, в которой он находился, представляла в то время уди-

<sup>1</sup> Ныне Эс-Сувейра, портовый город в Марокко.



вительную смесь современного благосостояния с отголосками средних веков. Дома, зеленые изгороди, рельсовые пути, электрические провода — все осталось там цело. Банкротство, общественный развал, голод и даже чума почти не коснулись некоторых провинций; от всего этого пострадали лишь большие города. Поэтому Берт не находил особенной перемены в Уэльсе. Но чем дальше он подвигался вглубь страны, особенно, когда

и самого собственника телеги и лошади, с лицом покрытым темно-синими пятнами. Много попадалось необработанных полей, истоптанных скотом посевов и поломанных изгородей. Все встречавшиеся люди, с желтыми изможденными лицами, были плохо одеты, но хорошо вооружены; выражение их лиц и глаз напоминало бродяг и преступников. Они с жадным любопытством спрашивали о новостях и за них готовы были поделить-



*Самые дороги были размыты и поросли травой,  
дачные и деревенские поселки наполовину пустовали.*

стал приближаться к Лондону, опустошение и беспорядок все больше и больше бросались в глаза. Всюду начали попадаться неподрезанные деревья на дорогах, самые дороги были размыты и поросли травой, дачные и деревенские поселки наполовину пустовали; тут повис оборванный телеграфный или телефонный провод, там стояла прямо на дороге брошенная телега и валялся труп павшей лошади, а невдалеке лежало тело

ся всем, чем могли. Однажды Берт попал в компанию таких людей, которые ловили каждое его слово, как манну небесную, и старались удержать его у себя на несколько дней. Полная остановка телеграфных и почтовых сношений и прекращение печатания газет являлось одним из крупных неудобств в духовной жизни людей этого несчастного времени; они вдруг были вынуждены снова пробавляться одними устными сведениями, как



*Тут повис оборванный телеграфный провод,  
там стояла прямо на дороге брошенная телега и валялся труп павшей лошади,  
а невдалеке лежало тело и самого собственника телеги и лошади.*

в средние века. Это накладывало на них печать особенной беспомощности и растерянности.

Когда Берт переходил из области в область, из селения в селение, избегая больших городов, он во многих местах находил огромную разницу в условиях. В одном большом имении оказалось полное запустение: господский дом был сожжен, жилище священника и самая церковь были разрушены, всюду все разгромлено, поля не обработаны и т. д.; а в следующем, в этой же местности, царил порядок: все здания оказались целыми, поля хорошо обработанными, везде столбы с надписью, угрожавшей крутой расправой бродягам, и вооруженная охрана дорог и строений; имелся и лазарет для чумных больных под управлением опытного врача. Словом, полнейшая противоположность разоренному селению.

Таких счастливых уголков, правда, было гораздо меньше, чем разоренных, но все-таки они встречались, и всем им постоянно угрожали нападения азиатов, африканцев и других воздушных пиратов, рыскавших за поисками добычи, а главное — провианта, которого у всех не доставало. Поддержание порядка и охрана стоили огромных усилий и самой тщательной бдительности. Во многих местах стояли столбы с надписями: «Карантин» и «Бродяги расстреливаются». Телеграфные и телефонные столбы были увешаны полуистлевшими трупами, валявшимися, кроме того, почти на всех дорогах и распространявшими страшный смрад.

Смело бравирюя всеми опасностями, по временам мимо Берга проносились велосипедисты и автомобили с седоками в масках и больших дорожных очках. Полиции почти не было видно. Иногда проезжали на моторах оборванные исхудалые солдаты, которые, несмотря на общую разруху, все еще оставались в строю.

Такие встречи стали учащаться по мере приближения нашего путника к Лондону. Иногда Берт, по ночам или когда его сильно начинал донимать голод, пробовал искать убежища в местных приютах, славившихся раньше своей благотворительностью, но постоянно терпел неудачу: многие из этих учреждений были или закрыты или превращены в лазареты. В одном таком приюте, близ Глочестершира, двери и окна стояли открытыми настежь, но изнутри не доносилось ни звука. Когда Берт заглянул в окно, то его обаяние поразил невыносимый трупный запах, а зрение — вид трупов, лежавших на всех койках и прямо на полу; очевидно, эти трупы некому было убрать.

Отсюда Берт направился на север к воздухоплавательному парку, устроенному при Бирмингэме, в надежде найти там какое-нибудь занятие, хотя ради куска хлеба. Правительство, в лице военного министерства, все еще существовало и среди всех бед полнейшего общественного развала с похвальной энергией продолжало высоко держать британское знамя, поощряя не только административных, но и частных лиц к полезной деятельности в защиту отечества. Эти лица собрали вокруг себя лучших из уцелевших техников и рабочих, озаботились укреплением и снабжением воздухоплавательного парка, необходимыми припасами на случай его осады и принялись поспешно строить монопланы по системе Беттериджа.

Но Берт не был принят в этот парк даже простым рабочим за неимением у него достаточных специальных знаний, и он уже находился на пути в Оксфорд, когда возникла та великая борьба, во время которой был положен конец всей этой затее.

Берт не был свидетелем этой борьбы. В то время, когда она происходила, он находился уже в Виндзоре, откуда, обо-

гнув южную часть Лондона, направился прямо в Бен-Хилл. Прежде всех он там увиделся с братом Томом, только что вырвавшимся из цепких когтей «красной смерти»; он выглядел сильно постаревшим, похудевшим, угрюмым и озлобленным. Жена его, Джессика, была еще больна и лежала в постели. Мучимая горячкой, эта энергичная женщина даже в горячечном бреде заботилась о делах: она громко негодовала на мужа за его мешкотность в разноске товара заказчикам, хотя их торговля уже давно прекратилась, и Том Смолуэйс занимался тем, что ловил голубей, воробьев, галок и др. птиц.

Том Смолуэйс принял брата с сдержанною радостью.

— Господи! Да никак это ты, Берт? — вскричал он, целуясь с братом. — Я так и думал, что ты когда-нибудь да вернешься к нам... Где же это ты пропадал так долго?... Только вот что, брат, если ты хочешь есть, то я не могу доставить тебе этого удовольствия: у нас у самих ровно ничего не осталось.

Берт успокоил его, заявив, что он сыт, и даже сам угостил его куском сыра и хлеба, «заимствованными» им где-то по дороге домой. Братья уселись, и Берт принялся рассказывать свои приключения. По окончании рассказа он вдруг заметил на прилавке под разбитым стаканом письмо в измятом и покрытом густым слоем пыли конверте. Берт взял это письмо и увидел, что оно было адресовано на его имя.

— От кого бы это? — недоумевал молодой человек, сдувая с конверта пыль.

— Это от Эдны, — поспешил ответить Том. — Она вскоре после твоего исчезновения приходила к нам, спрашивала о тебе и просила, чтобы мы взяли ее к себе жить... Это было как раз после большой битвы и пожара в Клэпхэме. Я готов был взять ее, но Джессика почему-то не

захотела. Тогда Эдна написала это письмо и просила передать его тебе. С тех пор я не видал ее... Да она, наверное, все описала в письме.

В письме Эдна действительно писала о своем посещении родных Берта и сообщила, что она идет просить приюта у тетки, муж которой имеет небольшой кирпичный завод близ Хоршема.

Там ее и нашел Берт после нового двухнедельного, полного всевозможных приключений путешествия.

### III

Свидание молодых людей было очень трогательное и сердечное.

— Ах, Берт, милый! Пришел-таки ко мне... отыскал... не забыл! — сквозь радостные слезы причитала молодая девушка, обнимая его. — Я так и говорила ему, что ты непременно вернешься... Я это чувствовала... А он все пристает, чтобы я вышла за него замуж, и угрожает убить меня, если я не исполню его требования...

Когда они оба настолько поуспокоились, что Эдна могла связно говорить, а Берт получил возможность сознательно слушать, то выяснилось, что местечко, где жила молодая девушка, попало в руки шайки безработных под предводительством некоего Билла Гора. Он был сначала мясником и атлетом, а потом, благодаря воцарившемуся беспорядку, сделался настоящим разбойником. Шайка эта была организована одним местным спортсменом, неизвестно куда потом исчезнувшим. Билл Гор был его правой рукою и после него стал во главе шайки. Исчезнувший организатор шайки носился с идеей об облагораживании человеческой породы и воспитании «сверхчеловека». С целью практического осуществления этой идеи спортсмен то и дело то женился, то разводился. Билл Гор подражал ему в этом отношении с таким усердием, что





— Ах, Берт, милый! Пришел-таки ко мне... отыскал... не забыл! (к с. 207).

подавал надежду вскоре превзойти его. Как-то раз он случайно встретил Эдну и тут же потребовал, чтобы она вышла за него замуж. Девушка наотрез отказалась, но он объявил, что убьет ее, если она не согласится сделаться его женою.

Передав Берту эту историю и добавив, что каждую минуту ожидает исполнения Биллом Гором его угрозы, Эдна прочла в глазах своего возлюбленного грозную решимость. Если бы автор считал своего героя рыцарем, то, конечно, заставил бы его вызвать своего соперника на поединок, в котором он, благодаря ловкости и храбрости, остался бы победителем, чем и завоевал бы себе счастье. К сожалению, наше повествование не рыцарский роман, а потому и герой этого повествования поступил гораздо прозаичнее. Он просто-напросто зарядил свой револьвер, уселся с ним у окна в жилище Эдны и стал выжидать. Когда молодая девушка взволнованным голосом сказала ему, что к их дому приближается ее преследователь с двумя товарищами, Берт осторожно выглянул из окна. В калитку входили трое мужчин, очень странно одетых. На них были красные куртки с галунами, белые панталоны, пестрые чулки и зеленые башмаки. У двух на головах были широкополые, сильно помятые и лихо надетые набекрень, белые войлочные шляпы. Сам Билл красовался в дамской шляпе, густо усаженной петушиными перьями.

Берт вздохнул и, отойдя от окна, в глубоком раздумье остановился на несколько мгновений посередине комнаты. Молодая девушка с беспокойством смотрела на него и ожидала, что он сделает. Наконец он с решительным видом подошел к другому окну, выходящему как раз к крыльцу, к которому приближались разбойники.

— Эдна, который из них Билл Гор? — спросил он дрогнувшим голосом.

— А вот тот, который в дамской шляпе, — с еще большим волнением тихо ответила девушка.

Берт быстро распахнул окно и метким выстрелом прямо в сердце уложил на месте своего соперника, а за ним и одного из его спутников; другого же, очевидно, только ранил, потому что тот поспешил бежать и куда-то скрылся.

Стоя с разряженным револьвером в руке, Берт снова задумался. Молодой человек знал, что его могут присудить к повешению, как убийцу, если он не объяснит этого убийства политическими целями. Ни слова не говоря, он схватил шляпу и поспешно направился в местный трактир, где нашел в соборе всю шайку Билла Гора. «Патриоты», как называли себя разбойники, весело пировали в ожидании еще более веселого пира вечером в честь новобрачных, если их предводителю удастся жениться еще раз, в чем они, впрочем, не сомневались.

Берт, держа в правой руке заряженный вновь револьвер, смело приблизился к буйной компании и предложил ей примкнуть к «комитету общественной безопасности», находившемуся под его, Берта, начальством, организованному им в виду смутного времени. Он говорил тоном человека, имеющего огромное значение.

Вся компания отнеслась очень почтительно к этому новоявленному «организатору», но объявила, что прежде чем согласиться на это предложение, ей необходимо посоветоваться с ее предводителем, которого ожидает сюда.

— Он более не явится, — объявил Берт. — Я только что убил его, потому что он не соответствовал тем великим целям, которые я преследую... Да и всем другим, которые осмелятся выступить против этих целей, предстоит то же самое! — прибавил он, с угрожающим видом взмахнув револьвером.





*Берт быстро распахнул окно и метким выстрелом прямо в сердце уложил на месте своего соперника (к с. 209).*

Поза, тон и угроза «организатора» действовали: компания сразу сдалась. Билл Гор был тут же забыт, и его шайка превратилась в членов «комитета общественной безопасности».

Этим, впрочем, и ограничилась вся деятельность Берта Смолуэйса на пользу общественной безопасности; он как был, так и остался самым заурядным человеком. Вскоре после этого подвига молодой человек обвенчался с Эдной и сделался обладателем, кроме хорошенькой женщины, небольшого клочка земли, и таким образом из искателя приключений превратился в фермера. С этого времени жизнь его, вдали от шума и хаоса великих мировых событий, стала мирно протекать в трудах по хозяйству среди семьи. Эдна каждый год дарила ему то сына, то дочь, и когда явился на свет четвертый ребенок, счастливому семьянину вся его прошлая жизнь с ее необыкновенными приключениями начала казаться каким-то давнишним сном.

Берт Смолуэйс путем даже не знал, как продолжалась и чем окончилась воздушная война. Погруженный в заботы о семье, которая с каждым годом продолжала увеличиваться, и о хозяйстве, он мало интересовался мировыми событиями, несмотря на то, что ирония судьбы заставила его сыграть в них такую видную роль. Лишь изредка до него доходили неясные слухи об этих событиях. В первое время, когда он поселился на ферме и работал в огороде и в поле, над ним проносились иногда воздуш-

ные корабли, но так как они не причиняли вреда ни ему, ни его соседям, то он и не интересовался ими. Даже его прежняя страсть рассказывать о своих приключениях мало-помалу стала исчезать за неимением времени и слушателей; родня и знакомые уже знали об этих приключениях, а новых слушателей не было. Иногда к нему и соседям заглядывали грабители и разбойники, которых так много расплодилось во время неурядицы, но общими усилиями их удавалось прогнать без вреда для себя. Не мало случилось и других мелких и крупных непри-





ятностей, неизбежных и в более лучшие времена, нежели в те, которые ему пришлось переживать, но в общем все было сравнительно благополучно.

Союз его с Эдной оказался очень счастливым. У них было одиннадцать че-

ловек детей, из которых умерло только четверо, а остальные росли и крепили на радость родителям и пользу хозяйства. Сами родители прожили очень долго в полном мире, согласии и возможном в то время благосостоянии.

## ЭПИЛОГ

Водно ясное летнее утро, лет тридцать спустя после появления первого германского воздушного флота, какой-то старик с мальчиком-подростком бродил между развалин Бен-Хилла. Старик, впрочем, был не слишком еще стар: ему шел всего 64 год. Но постоянный тяжелый труд и перенесенная болезнь согнули его в дугу. Рот вследствие отсутствия зубов провалился, щеки были впалые, и все лицо было серовато-желтого цвета, с многочисленными морщинами.

Это был Том Смолуэйс и его племянник, Тедди, младший сын его брата, Берта. Живший когда-то и имевший зеленую и фруктовую торговлю в Бен-Хилле, старик теперь обитал в одном из покинутых домов, окна которого выходили как раз на тот пустырь, где Том, под постоянной угрозой продажи этой земли ее владельцем, возделывал свой огород. В нижнем этаже этого дома Джессика, также превратившаяся в костлявую и облысевшую старуху, но по-прежнему энергичную и трудолюбивую, держала трех коров, телят, свиней и кур. Старые супруги состояли членами небольшой общины разоренных людей, кое-как

устроившихся в этих местах, так же, как Том Смолуэйс. Когда миновали паника, голод и чума, все эти люди основали общину и стали вести борьбу за существование, какую вели люди в первобытные времена. Все они оказались очень трудолюбивыми, благодаря именно этой борьбе. Ничто так не закаляет человека, как борьба. На их душе был только один грех: они, по общему соглашению, утопили в пруде некоего Уилкса, агента по продаже домов, который, в привычной погоне за наживой, вздумал было требовать предъявления контрактов и прав на то или другое владение, самовольно занятое членами новообразовавшейся общины. Потом некоторые остряки уверяли, что Уилкса никто и не думал топить, а просто, ради шутки, окунули его в воду, да и продержали в ней дольше, чем следовало; если же он захлебнулся, то они в этом не виноваты.

После общей разрухи и гибели цивилизации такие общины стали возникать во многих местах, где еще осталась хоть горсть людей. Как в первобытные времена, члены этих общин начали уже заботиться не о роскоши, а о том, чтобы не

умереть с голоду, и, в тесном общении с домашними животными, снова принялись за обработку земли. Основателями таких общин являлись, по большей части, духовные лица. Люди опять схватились за религию и почувствовали потребность к чему-нибудь такому, что могло бы сплотить их между собою.

В Бен-Хилле главенствовал над местной общиной баптистский священник, проповедовавший простую религию, вполне приспособленную к новым условиям жизни. Он обыкновенно поучал свою паству по воскресным дням в старой, каким-то чудом уцелевшей церкви на Бэкенгем-Роад. В эту церковь по воскресеньям и собиралось все окрестное население в остатках городской одежды начала XX столетия. Все мужчины были в черных сюртуках, холщевых панталонах, часто босиком, но обязательно в цилиндрах. Особенно отличался по этим дням Том Смолуэйс, красуясь в зеленом цилиндре с золотым галуном, в длинном зеленом сюртуке и такого же цвета панталонах. Женщины, в том числе и Джессика, являлись в церковь в жакетах и огромнейших шляпах, украшенных искусственными цветами и перьями разных птиц. Так же были одеты и дети. Даже четырехлетний внук Стрингера щеголял в огромном цилиндре, державшемся на голове ребенка только благодаря тряпкам, которыми она была обмотана.

Таков был наряд бен-хиллцев по воскресным дням, представлявший интересный остаток культурного века. По будням же они щеголяли в грязных лохмотьях, кое-как сшитых из фланели, бумажной ткани, парусины, мебельной и ковровой материи и т. п.; ноги были или прямо босые или обутые в неуклюжие деревянные башмаки. Уцелевшие после войны, голода и чумы люди сразу оказались на самом низком уровне умственного развития. Они утратили вся-

кое представление о прядильно-ткацком искусстве, едва были в состоянии кое-как изготовлять себе одежду даже из готовых материалов, оставшихся от прежних запасов в разных торговых складах, уцелевших от пожара. Все прежние культурные привычки в них понемногу заглохли, благодаря прекращению всего, что вызывало эти привычки: фабричного производства, мореходства, железнодорожного передвижения, телеграфных и телефонных сообщений и проч.

Кулинарное искусство также совершенно утратилось, и люди стали готовить себе пищу из чего, как и где попало. В холодное время года люди подкладывали под одежду солому, сено, паклю или что-нибудь подобное и обвязывали все это вокруг своего тела прямо веревками, что придавало наряженным таким образом вид каких-то смешных и странных движущихся тюков.

В такой одежде были Том Смолуэйс и его племянник, за исключением согревающих веществ, которые не были подвернуты под их одежду только потому, что день был летний и теплый.

— Ну, вот, Тедди, и ты, наконец, попал к нам в Бен-Хилл, — говорил старик, остановившись, чтобы отереть рукавом холстинной рубашки выступивший у него на лбу пот. — Из детей брата Берта ты последний, с которым мне пришлось познакомиться только теперь. Всех твоих братьев и сестер я знал уже раньше... Не обижали тебя дорогой те, с кем ты пришел сюда?

— Неет... ничего, — как бы нехотя протянул в ответ мальчик, ковыряя пальцем в носу. — Дорогой нам попался один человек... Он ехал на каком-то чудном колесе, — вдруг прибавил он, немного оживившись.

— Вот как, на колесе! — воскликнул старик. — Это теперь большая редкость... Куда же он ехал?

— Наши спросили его, и он сказал, что едет в... ну, я позабыл куда. Но он не знал, хороша ли туда дорога... Наверное, такая же плохая и вся размытая водою, по которой мы шли. Кругом Берфорда все было под водою, и мы должны были сделать обход по горам. Там оказалась очень хорошая дорога... Нам говорили, что эта дорога называется «римскою». Что значит римская, дядя?

— Не знаю, племянничек, я никогда не бывал на ней... А тот, кого вы встретили, на одном колесе ехал или на двух?

— На одном, дядя. Это-то и показалось всем нам очень чудно.

— Да, теперь это очень чудно, Тедди. А вот в мое время, бывало, так и жарили на этих колесах. На этой вот самой дороге — она тогда была гладкая как доска — сразу, бывало, катит их десятка три-четыре... Тогда они назывались велосипедами, моторами и как-то еще... Потом пошли такие повозки, которые ходили сами собою... автомобилями назывались...

— Неужели сами собою, дядя?

— Да, племянник, сами собою. Заведут бывало их, они и катят, да так, что ни-почем не догонишь, как ни беги... На что вот у тебя прыткие ноги, а и тебе не догнать бы их... Людей на себе возили по несколько человек за раз, и разную поклажу... В день-то их тут, бывало, целая сотня прошмыгнет, а то и больше.

— Куда же они ехали-то, дядя?

— Все больше в Брайтон... город это был тогда такой у самого моря... большой, богатый город... ехали туда все из Лондона, а то так обратно, из Брайтона в Лондон...

— А зачем же ездили, дядя?

— Мало ли зачем! По разным делам... Дел тогда у всех было много... важные дела были.

— Какие же, дядя?

— Разные, племянник... Всех не перескажешь. Тогда много было нужно лю-

дям, не то, что теперь... А вон, видишь, торчит длинный, толстый железный столб, весь желтый от ржавчины, а еще вон тот, что валяется поперек развалин большого дома? На этих столбах была железная дорога и по ней ходили большие длинные повозки, помногу за раз... Вагонами они назывались. Все они бывали битком набиты людьми и всякой всячиной.

Мальчик с любопытством смотрел на указанные стариком предметы и на остатки рельсов, валявшихся по сторонам дороги.

— Дядя, да как же это они ходили по столбам-то? — спросил он.

— А на столбах-то, видишь ли, были проложены железные полосы... рельсами они назывались. По этим вот самым рельсам и ходили они.

— Вот чудно-то!.. А тут что было, дядя? — продолжал мальчик, указывая на массы развалившихся и уцелевших зданий.

— А это все были дома, в которых жили люди... Много людей. Проходи ты тут хоть целую неделю, везде увидишь такие же дома... Даже еще выше и больше этих... Некоторые были чуть не до самых облаков. Да вот сейчас увидишь: мы ведь подходим к самому Лондону, — благоговейным полупшепотом проговорил старик, торжественно поднимая вверх указательный палец правой руки.

Пожевав несколько времени беззубым ртом, он продолжал:

— И все они теперь стоят пустыми, заброшенными... Никто больше и не заглядывает сюда. Разве забредет кто-нибудь случайно, как мы, вот, сейчас с тобою... Только собаки да кошки и хозяйничают теперь тут, охотятся за крысами и мышами. А раньше-то что тут делалось, господи, боже мой!.. Я здесь часто бывал и хорошо помню. Все дома, улицы и площади были полны людьми до того вре-



мени, когда началась эта воздушная война, после которой настал голод, а за ним пошла косить людей «красная смерть»... И работала же она! После нее здесь оказалось почти столько же мертвых людей, сколько раньше было живых... Страшно было тогда, Тедди! Ни шагу, бывало, не пройдешь, не наткнувшись на смердящего мертвеца... Да, поработала «красная смерть»! Никого не миловала: ни старых, ни малых, ни богатых, ни бедных... Даже собаки и кошки, нажравшись разной падали, заражались и заражали других... Немного уцелело людей, да и уцелевшие-то на что стали похожи? Например, я и твоя тетка, — разве мы такими были бы теперь, если бы ничего не случилось с нами, из того, что нам пришлось перенести?.. Да и сейчас можно еще найти мертвецов в некоторых домах, если заглянуть в них. Только очень уж противно смотреть на них, поэтому никто из наших и не ходит туда... Когда все окончилось, мы тут, в этой самой местности, обыскали все дома и похоронили много мертвецов, но со всеми не могли сладить: очень уж сделалось противно. Плюнули и ушли... Тут дома по большей части разрушены, а вон там, поближе к Норвуду, есть еще уцелевшие, даже мебель в них не тронута, покрылась только пылью да наполовину развалилась, особенно та, которая была пожиже. Кроме мебели, там много и других вещей. Я в позапрошлом году был там в одном из домов и видел комнату, битком набитую книгами... Ты знаешь, что такое книги, Тедди?

— Знаю. У папы есть они, и даже с картинками.

— Ну, так вот я видел там этих самых книг целые кучи. Все они покорибились, позеленели от времени. Возьмешь в руки, — глядишь, вся и рассыпалась. Я не хотел ни одной брать. На что мне они? Я никогда не был охотником до чтения. Но сосед Хайгинс, ко-

торый ходил со мною, набрал их целую уйму... Разумеется, из тех, которые оказались поцелее. Насилу мы дотащили с ним вдвоем. Дома он открыл одну, заглянул в нее, да и говорит: «Не разучился я еще читать, Смолуэйс». Заглянул и я, но ровно ничего не мог прочесть. Я и раньше-то читал не важно, а теперь и совсем перезабыл все буквы. Недолго и ему пришлось читать книги: все они тоже скоро рассыпались... Бумага так и разваливалась, как труха. Так ни одной целной у него и не осталось. Зря, значит, я помогал ему и нести их... Я тогда же еще говорил ему, что напрасно мы берем их: не уцелеют они. «У меня, говорит, уцелеют». Вот тебе и уцелели!.. С тех пор у нас и не слыхать больше о книгах... Из молодых никто и читать даже не умеет. А ты умеешь, Тедди?

— Нет... Меня не учили.

Некоторое время оба шли молча. Потом старик, очевидно, под влиянием какой-то навязчивой мысли, медленно и как бы сам себе проговорил:

— Целый день они лежат там, тихие и немые, как в могиле...

— Кто это, дядя? — спросил мальчик.

— А вон те, мертвецы-то, что находятся непогребенными в домах.

— А разве они ночью не лежат там?

— Да, Тедди, говорят, что они по ночам...

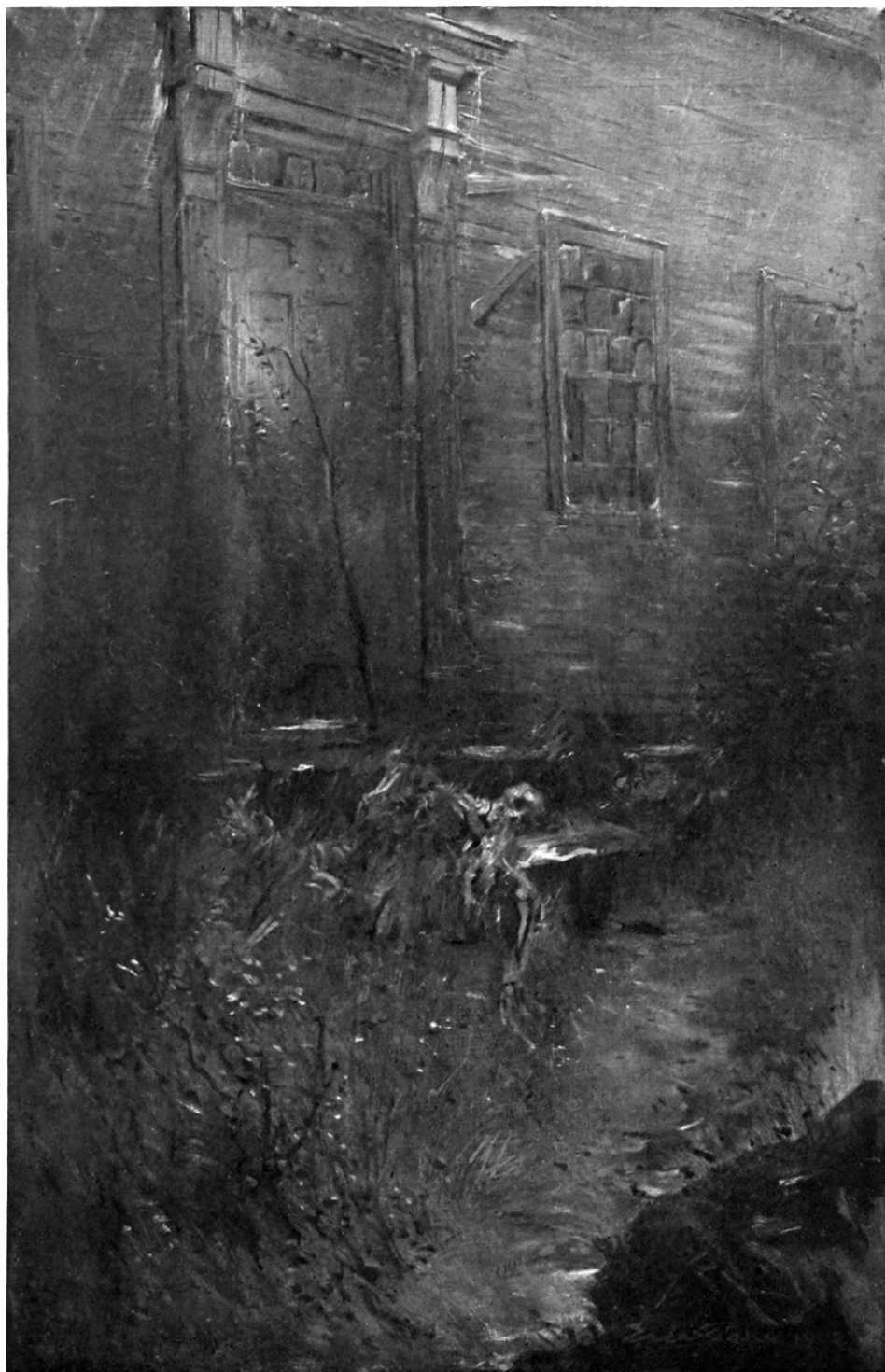
Старик вдруг замолчал, с испугом оглянувшись и что-то пробормотал себе под нос.

— Что же они делают по ночам, дядя? — приставал мальчик.

— Не знаю, племянник, — ответил точно нехотя старик. — Я никогда не бываю здесь по ночам, поэтому сам ничего не видал. Но люди болтают...

Он снова замолчал и зажевал губами.

— Что же болтают люди, дядя? — любопытствовал мальчик.



*После нее здесь оказалось почти столько же мертвых людей,  
сколько раньше было живых...*

— Ах, какой ты безотвязный, Тедди! — воскликнул старик. — Ну, хорошо, так и быть, я расскажу тебе о том, что болтают люди. Одни, например, говорят, что если снять с мертвого одежду, пока его кости не побелели, то над тем, кто снял, непременно стряется какая-нибудь беда. Другие говорят, что будто по ночам, когда светит луна, покойники ходят по городу и воют. Третьи... Да мало ли что болтают люди, Тедди. Всех не переслушаешь. Сам я, говорю тебе, ничего такого не видал, потому что по ночам не подхожу даже к окнам... Я не любопытен и не охотник слушать эти истории... Стоит только развесить уши, так таких историй наслушаешься, что и в самый полдень не будешь помнить себя от страха.

Старик опять умолк и принялся по своей привычке жевать губами.

Но лишь только мальчик хотел о чем-то спросить его, он вновь заговорил:

— Рассказывают еще вот об одном свиноводке, который ровно трое суток проплутал по Лондону. Он хотел достать себе водки в Чипсайде, да заблудился в развалинах и никак не мог выбраться из них. Так целых три дня и три ночи он проплутал там, и, не вспомни он некоторых слов из Библии, ему никогда бы не выбраться оттуда и не попасть домой. Он рассказывал, что днем вокруг него все было тихо, а как только сядет солнце и станет темнеть, сейчас и начнет везде что-то шуметь, шептать, ходить... Быстро так затопчут ноги, потом загремят колеса, затопают лошади, покатаются омнибусы, трамваи, раздадутся гудки и свистки, да такие пронзительные, что у свинопаса, как говорится, душа уходила в пятки. И как только раздадутся эти гудки и свистки, он вдруг начинал видеть то, чего до тех пор не было: целые толпы людей на улицах, покупателей и продавцов в магазинах, рабочих в разных мастерских, автомобили, омнибусы, велосипе-

ды... А люди все такие нарядные, женщины такие красивые... Во всех фонарях и окнах такой же свет, какой бывает только при самой яркой луне... Но все это были не настоящие люди, а духи тех, которые раньше жили там, потом вдруг умерли и остались непогребенными. Он рассказывал, что они проходили даже сквозь него, но он не чувствовал их, а только видел; они же на него и внимания не обращали... Проходили сквозь него словно какой-то пар или туман. Одни из них выглядели веселыми и довольными, другие — хмурыми и недовольными, а третьи — прямо злыми и такими страшными, что, глядя на них, говорил он, прямо жутко делалось... Потом все вокруг него громко заговорили и наговорили таких ужасов, что у него даже волосы на голове поднялись дыбом, после этого все начали делаться страшными: вместо голов у них на плечах появились размалеванные голые черепа, а в пустых глазах забегали огни, и все они начали протягивать к нему костлявые руки, чтобы схватить его. Он чуть было не умер со страха...

Старик опять замолчал и зачмокал губами.

— Ну, а потом что было, дядя? — вскричал мальчик, с нетерпением теребя его за рукав.

— Погоди, Тедди!.. Какой ты скорый!.. Дай передохнуть! — произнес старик и, переводя дух, продолжал: — Вот тут-то ему и пришли слова из Библии, и он громко сказал: «Помоги мне, Господи! Да не убоюсь с Тобою». Только что успел он проговорить эти святые слова, как запели петухи, и улица сразу опустела, словно ничего и не было. После этого он тут же выбрался из города, точно его кто вывел оттуда, и благополучно вернулся домой. Тем все и кончилось.

Мальчик выслушал этот рассказ, разинув рот, с сильным любопытством и страхом. Потом через минуту спросил:

— А кто были все те люди, которые жили в этих больших домах, дядя?

— Они назывались богачами, Тедди. У них было много бумажных денег, и эти деньги потом оказались ничего не стоящими, когда началась война, наступил голод, и явилась «красная смерть»... Все богачи вдруг обеднели и принялись умирать, — кто от войны, а кто от голода и от «красной смерти»... Больше, впрочем, от голода и от «красной смерти», потому что, говорят, за войной всегда следуют эти братец с сестрицей и губят гораздо больше людей, чем самая война... Много тут было, Тедди, всякой всячины и помимо денег. Бывало, на больших улицах, где находились самые богатые магазины, и не пролезешь от толкотни и давки; покупатели так и лезли, как мухи на мед... Всего больше сбегалось и съезжалось туда женщин, таких нарядных да красивых, что глаза, бывало, разбегались, глядя на них... И все они ничего не делали: ни хозяйством не занимались, ни землю не обрабатывали... Только и делали, что разъезжали по магазинам и кушали хорошую еду и разные сласти...

— Откуда же они брали еду, дядя, если сами не готовили ее себе?

— Покупали на деньги, Тедди, в лавках и магазинах... У меня тоже была лавка; я покажу тебе, где она находилась... Нынче люди и понятия не имеют, какие прежде были магазины, лавки и всякие торговли. У тебя от удивления глаза выскочили бы из лба, если бы ты видел, сколько разного добра было в моей лавке. Целые большие ящики с грушами, яблоками, каштанами, орехами, виноградом, бананами, апельсинами...

— Что такое бананы и апельсины, дядя?

— Это были такие вкусные, сочные и сладкие плоды, Тедди... Я получал их из-за моря... из Америки, Испании, Италии и из разных других мест. Их привозили

на больших кораблях... пароходами назывались те корабли. Я продавал все эти фрукты за деньги... Много, бывало, выручал за них денег... Я тогда жил и одевался не так, как теперь... Сейчас, вот, я ношу парусину, а тогда из нее шили только мешки... Э, да что говорить о том, что миновало, как сон!.. Много народу приходило ко мне в лавку, особенно женщин и детей, и все таких парадных, Тедди, каких ты никогда не видел, да и не увидишь... Спросит, бывало, такая расфуфыренная леди: «Ну, Смолуэйс, что у вас сегодня новенького?» — «А вот, говорю, сударыня, только что получены особенные яблоки и апельсины». — Ну, она сейчас, бывало, и выберет у меня, что ей придется по вкусу, и прикажет доставить ей на дом... Не успеваешь, бывало, разносить... Ах, Тедди, вот жизнь-то была! С утра до ночи, бывало, в лавке толпятся покупатели, а мимо окон так и шныряют автомобили, велосипеды, трамваи... Идет расфранченный народ... Гремит музыка... Тогда у всех в домах была разная музыка, граммофоны, фонографы... Машины такие, которые сами играли и пели... Да, да, Тедди, не качай головой, я правду говорю: заведут их, бывало, а они и начнут играть и петь, словно люди... Мне и самому часто кажется, что все это я видел во сне, а как увидишь вот эти дома, так сразу и вспомнишь, что все это было наяву, а не во сне...

— Да куда же все это подевалось, дядя?

— Погубила проклятая война, племянник. До этой войны всем так хорошо жилось, что и рассказать трудно. Каждый имел какое-нибудь выгодное дело, всегда хорошо одевался... Гораздо лучше, чем мы теперь по воскресеньям, когда ходим в церковь, и у всех было много хорошей еды... Что, не веришь, племянник? Думаешь, старый дядя все привирает? Нет, все это истинная правда, все это было на



моих глазах... Было, да сплыло!.. А у кого не было денег, чтобы купить еды, тому в столовых, устроенных для таких людей, она давалась даром... И еда-то была такая вкусная, что если бы попробовал, то все пальцы облизал бы... Разные печенья, белый сладкий хлеб. Теперь ничего такого уж нет, Тедди: и готовить не умеют, да и не из чего... Да что говорить! — жилось тогда людям так, как никогда уж, видно, не придется больше жить.

Старик замолчал, глубоко вздохнул и зачмокал губами. Молчал и мальчик, стараясь разобраться в том, что услышал от дяди. Испутив несколько глубоких вздохов и почмокав в промежутки между ними губами, старик продолжал:

— Вот бы нам теперь с тобою, Тедди, кусок хорошей маринованной лососины или голландского сыру, а то, еще лучше, хорошую порцию сочного бифштекса с хреном да мелким поджаренным картофелем... потом сладкого пудинга, потом кружку настоящего портера, а после всего этого тубочку...

— Да расскажи же, дядя, как это вышло, что весь народ вдруг перемер? — перебил мальчик, чувствующий, что при разговоре о еде у него начинает сосать под ложечкой, и старавшийся перевести беседу на другое.

— Эх, племянник, какой ты бестолковый! — воскликнул старик, отвлеченный от своей любимой темы о еде. — Говорю тебе — войну люди затеяли, да еще никогда раньше небывалую — воздушную. С нее вот все и началось... Ежели бы эта война была обыкновенная, сухопутная или морская, какие бывали раньше, то ничего бы особенного, может быть, и не было... Постреляли бы, постреляли, потузили бы друг друга, кто чем, да и заключили бы мир. А при воздушной войне вышло совсем другое. Начать-то ее начали, а кончить-то никак и не могут. Вот все и перевернулось вверх тормашками...

Налетели разные враги на Лондон, да и зажгли его со всех концов... Все корабли, которые были на Темзе, либо сожгли, либо потопили... Целые недели везде все горело и дымилось, а тушить было некому, потому что все обезумели от неожиданности и страха... Во все большие дома и в Хрустальный дворец — красивый он такой был — бросали сверху бомбы и весь его разрушили вместе с другими домами... Людей сверху нарочно не убивали, но, разумеется, при этом и люди гибли целыми кучами... Раз вот здесь, высоко в воздухе, под самыми облаками, произошло большое сражение. Целые уймы больших воздушных кораблей — больше даже самого Хрустального дворца — налетели и начали между собою бой, да такой, что убитые валились сверху как снег зимой... Страсть что было тогда, Тедди!.. Но не столько перебили людей, сколько перепортили всего того, чем жили люди... Когда разгромили железные дороги, пароходы, телеграфы и многое другое, все сразу и остановилось... Ну, и натерпелись же мы, Тедди! Когда съели все, что было у нас в запасе, и достать в другом месте было негде — да мы боялись уходить и из дому, — мы принялись ловить собак, кошек и крыс и питались ими... Дом-то наш был старый и в нем было пропасть крыс. Тем мы только и спаслись от голодной смерти... Но многие не могли не только есть, даже видеть крыс, поэтому так и мерли с голоду... А мы с тетей ничего — ели... Не умирать же, в самом деле, с голоду?.. Думали, этим все и кончится, потому что война в наших местах стала утихать, ан, вдруг новый враг — «красная смерть»!.. Мы с твоей теткой тоже побывали у нее в когтях. Сначала я, а потом и тетя. Но Господь выручил, не дал нас ей совсем в обиду. Я хорошо помню, как все началось. Пошел было я на свой огород посмотреть, не найду ли там картофеля,

моркови или еще каких овощей, из которых тетя могла бы сварить суп. Только что я наклонился над грядой с картофелем, как вдруг меня скрючило, да так лихо, что я свету невзвидел... Всего задергалось и по всему телу пошла такая боль, что и сказать невозможно. Упал я на землю, да и начал кататься по ней, но ни подняться, ни кричать не могу. Когда тетя увидала, что я не возвращаюсь с огорода, пришла сама туда, чтобы обругать меня... Она всегда ругалась, когда я, бывало, замешкаюсь в чем-нибудь. Но на этот раз, видя, в каком я положении, она не стала ругаться, — поняла, что я не притворяюсь и даже не побоялась заразиться от меня, хоть и догадалась сразу, что меня скручивает «красная смерть». Сама стащила меня в дом, хоть и нелегко ей это было. Помог ей бог отстоять меня от лихой смерти, зато потом и сама свалилась. Само собою разумеется, и я ухаживал за ней, как она за мной. Тут, спасибо, подоспел твой отец, и мы с ним вдвоем отстояли ее... В то время мы с ней и облысели. Достал я ей тогда парик... снял с одной убитой. Но она не стала носить его, бросила в печь. «На что мне, говорит, чужие волосы, когда господь отнял мои собственные? Не захотел, стало быть, он, чтобы мы с тобою были с волосами, ну и да будет его святая воля»... Умная и дельная женщина твоя тетка, Тедди. Язычок у нее острый, нечего греха таить, зато режет только правду...

— Много, значит, перемерло от «красной смерти» людей-то, дядя? — спросил мальчик, когда старик на минуту остановил свой язык, чтобы дать ему отдых.

— Страсть сколько, племянник! Точно помелом сметала их. Перестали даже хоронить — некому было. Те, которые брались за это дело, сами тут же умирали... Даже животных не щадила эта ненасытная смерть. Немного уцелело и их

вместе с людьми... Все дома были наполнены мертвыми, как раньше живыми... К Лондону за целую милю даже подойти нельзя было, до такой степени от него разило мертвецами...

— А откуда пришла «красная смерть», дядя?

— Бог весть, Тедди. Одни говорят, что она у нас появилась оттого, что люди стали есть крыс. А я знал многих, которые и не нюхали крыс, но все-таки умерли от «красной смерти». Другие уверяют, что ее занесли к нам азиаты из какого-то Тибета, где она будто бы совсем нестрашна... Разное болтали об этом. Наверное же можно сказать только то, что эта страшная гостья пожаловала к нам после голода, а голод появился после ужаса, ужас же наступил, когда началась воздушная война...

— А почему началась эта война, дядя?

— Да, просто, должно быть, потому, Тедди, что люди завели себе воздушные корабли и не знали, что с ними делать умнее войны, вот и затеяли ее на пагубу самим себе.

— А когда окончилась она, дядя?

— Не знаю, Тедди. Да и окончилась ли еще она, Бог весть... Прошлым летом к нам заходил один бывалый человек и говорил, что война кое-где еще идет... На свете немало еще оставалось людей, и они продолжают кромсать друг друга. Кроме нашей земли, племянник, есть много других. Германия, например, Франция, Испания, Италия, Америка, Китай... да мало ли их! Всех и не перечтешь... Так вот, у них, — говорил этот человек, — есть еще летательные машины, газ для них и многое другое, что было когда-то и у нас. Ну, значит, они еще и могут продолжать войну... А мы давно уже не видали таких машин... Последний воздушный корабль пролетел здесь, над нашей местностью, лет семь тому назад...

Он был такой маленький, словно общипанный, и летел как-то боком. С тех пор мы не видали...

Старик замолчал и остановился у остатков старого забора, с которого он, бывало, по субботам любовался на первые опыты южно-английского воздухоплавательного клуба. В его душе возник ряд воспоминаний о тех давно минувших днях, и он сказал своему юному спутнику, указывая дрожавшею рукою вдаль:

— Видишь, Тедди, вон там, внизу, красную гору? Это развалины бывшего газового завода...

— А что такое газ, дядя?

— Это, Тедди, такая штука... вода не вода, воздух не воздух, а вообще... его не увидишь глазами и не схватишь руками. Им наполняли воздушные корабли, и они тогда поднимались вверх, а без него не могли... Этот же газ жгли, где не было электричества...

— А электричество что за штука, дядя?

— А это, племянник, еще чуднее газа... совсем что-то такое непонятное.

Мальчик тщетно старался составить себе, со слов дяди, хоть какое-нибудь понятие о газе и электричестве. Но все его усилия оказались напрасными, и он снова заговорил о войне.

— Дядя, зачем же люди так долго тянут эту войну? — спросил он.

— Эх, дружок, да ведь упрямее человека никого нет на свете! — Вот из-за

этого самого упрямства люди и тянут ее. Каждому скверно от войны, но он хочет, чтобы другому было еще хуже... Так уж создан человек, Тедди. Он никак не может успокоиться до тех пор, пока не погубит много других и не погибнет потом сам.

— Надо бы закончить ее, — с задумчивым видом заметил мальчик, нахмутив брови.

— Не следовало бы вовсе начинать ее, Тедди! — воскликнул старик с внезапно загоревшимся взором. — Но люди были все такие жадные. У каждого было всего много, но ему хотелось иметь еще больше. Вот они принялись все отнимать друг у друга... И, должно быть, до тех пор будут делать это, пока ни у кого ничего не останется, да и сами все не перегибнут от своей жадности и упрямства.

Старик умолк и принялся жевать губами. Задумчивый взор его блуждал по равнине, где в лучах солнца горели и сверкали остатки бывшего Хрустального дворца. Этого старика, являвшегося одним из последних представителей отжившего поколения, охватило смутное сознание всего погибшего, и он тихо, медленно, с расстановками, повторил свое окончательное суждение:

— Да, Тедди, войны не следовало бы начинать!

Он проговорил это совершенно просто. По его убеждению, кто-то, где-то не должен был допускать войны. Но кто и где — это было выше разума Тома Смоуэйса.

КОНЕЦ

# КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ

## 1899

Перевод  
Э. Пименовой и М. Шишмаревой

Иллюстрации  
Анри Лано и Франтишека Женишека





## Глава 1 БЕССОННИЦА

Однажды, в жаркий полдень, во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Боскасле, направлялся из этого местечка в живописной бухточке Пентарджена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пентарджену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись; его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез.

Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, «жаркой не по сезону!».

— Да, жарко, — коротко отозвался незнакомец. Он помолчал с секунду и добавил однозвучным, вялым тоном: — Я не могу спать.

Избистер резко остановился.

— В самом деле?

Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.

— Это может показаться невероятным, — продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки, — трудно поверить, но вот уже шесть ночей, как я не спал, совсем не спал, ни минуты.

— Советовались вы с докторами?

— Да. Ни одного путного совета. Микстуры, пилюли. А моя нервная система... Все эти лекарства, может быть, и хороши для большинства людей... Как бы это объяснить?... Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу.

— Это должно помочь, — заметил Избистер.

Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. «Бедняге хочется поговорить — это ясно», — подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор.

— Сам я бессонницей никогда не страдал, — заговорил он беспечным тоном светской болтовни, — но я знаю, что для таких случаев существуют средства...

Незнакомец сделала жест отрицания.

— Я боюсь делать эксперименты.

Он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали.

— А моцион? Пробовали вы моцион? — нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.

— Пробовал, как раз в эти дни. И, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Нью-Кея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость — вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и... от забот. Я, видите ли...

Он оборвал речь, точно у него не хватило сил продолжать, потом потер лоб своей тонкой, костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой:

— Я — одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей... Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни?... У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей. Даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе задачи, цели в жизни. Но, наконец, нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтоб сделать это, чтоб побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой! Сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело, ощущаете ли всю тяжесть его, чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души — времени и жизни?... Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение или, наоборот, раздражение. Нам нужны движение, воз-

дух, иначе наше мышление замедляется, ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступает дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только затем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели — алкалоиды, которые заглушают естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин...

— Да, да, понимаю, — вставил Избистер.

— Но я окончил свое дело, — сказал раздражительно бедный больной. — Я добился своего.

— Ценою бессонницы?

— Да.

С минуту оба молчали.

— Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя — алчу и жажду, — снова заговорил незнакомец. — Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я кончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно... несутся бешеным потоком неведомо куда... — Он помолчал и кончил: — в бездну.

— Вам надо заснуть, — сказал Избистер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. — Вам положительно необходимо заснуть.

— Мысли мои вполне ясны — яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как в водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится... все глубже, все ниже... прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых... все дальше в пучину, на дно.

— Но позвольте... — возразил было Избистер.

Незнакомец вытянул руку решительным жестом.

— Я знаю, что я сделаю: я убью себя, — Глаза его сверкали безумием, голос звенел. — Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна, где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я, во всяком случае, найду... сон.

— Ну, уж это совсем неразумно, — проговорил Избистер, пораженный истерическим волнением незнакомца, — Наркотики все-таки лучше.

— Там я найду сон, — повторил тот не слушая.

Избистер смотрел на него.

— Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалворт-коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот с нее упала девушка — с самой верхушки, и что ж бы вы думали? Цела и невредима. Живет и по сей день.

— А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться?

— Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться... Что, хорошо?

Их взгляды встретились.

— Мне жаль разочаровывать вас, — прибавил Избистер беспечно. «С дьявольской находчивостью», — подумал он про себя, — но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще. ...Такой род самоубийства, — я говорю с точки зрения художника (он засмеялся), — право, это уж чересчур по-любительски.

— Но что же мне делать? — прокричал почти с гневом незнакомец. — Когда ночь за ночью не спишь ни секунды.... Ведь от этого с ума можно сойти!

— Скажите: всю эту длинную дорогу по берегу вы сделали один?

— Да.

— Неостроумно. Простите, что я так говорю. Один! Еще бы, как тут не свихнуться? Вы правильно тогда сказали: физическая усталость — плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство? Ходьба — хорошо говорить! Жара, солнцепек, одиночество — с утра до ночи, день за днем.... А вечером вы, наверно, ложились в постель и силились заснуть, а?

Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво-проницательный взгляд.

— Посмотрите на эти скалы! — крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос. Он взволнованно и сильно жестикулировал руками. — Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас! Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине. А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи? Это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем, как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня...

Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.

— Для меня все это, весь этот мир — лишь внешняя оболочка моего страдания... моего горя.

Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин, потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением.

— Вам надо выспаться — вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, — вот увидите.



Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки; и вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать о чем попало.

Но незнакомец, по-видимому, не слушал его: он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы, да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошенного участия своего новоявленного друга.

Бедняга был как будто даже благодарен ему — по-своему, безмолвно и апатично, — и когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскасл, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвевшее лицо к своему спутнику.

— Что это? Что это?.. Вертится, вертится — быстро-быстро, как веретено. Все вертится... и без конца.

Он показал рукою, как все вертится.

— Ничего, милейший, все вздор, — проговорил Избистер тоном старого друга. — Вы только не волнуйтесь. Положитесь на меня.

Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда, миновав Пинолли, они подходили к пло-

скогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же — как у него вертится в мозгу. На мыске, перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэкапита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскаслскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил:

— Положительно что-то странное творится с моей головой. — Он усиленно жестикулировал, должно быть оттого, что ему не хватало достаточно выразительных слов, — Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился.... Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так! Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону... все вертится и жужжит... Я не могу этого выразить... не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах.

Он замолчал обессиленным.

— Успокойтесь, голубчик, — сказал Избистер. — Я вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять: право, это не так важно.

Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирал глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль.

— Знаете что, зайдемте ко мне, — предложит он. — Выкурим по трубочке. Я покажу вам мои наброски Блэкапита. Хотите?

Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался.

— Так, значит, решено: вы зайдете ко мне. Выкурите трубку или сигару. А заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?

Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер.

Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.

— Я не пью, — медленно выговорил он наконец, направляясь тем не менее к дому по садовой дорожке. Немного погодя он рассеянно повторил: — Нет, я не пью... А оно все вертится, все вертится...

В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой.

Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки вроде хрипенья.

Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине.

— Хотите, может быть, поужинать со мной? — проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. — У меня ничего нет, кроме холодной баранины, — продолжал он, — Но баранина первый сорт — из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт.

Выждав немного и не получив ответа, он повторил эти слова. Но человек,

сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке.

Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла, незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен.

Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать.

— Может быть... — нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь.

Наружная дверь была не заперта. Он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы: он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного.

Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника. Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела: он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кiset с табаком и стал не спеша набивать трубку.

— Что же это будет, однако, хотел бы я знать? — пробормотал он уже с некоторым оттенком досады. — Ну, да уж пусть себе спит, не будить же его. — Он храбро чиркнул спичкой и закурил.

Вдруг он услышал за собой шаги своей хозяйки. Она шла с зажженной лампой из кухни в его комнату. Он обернул-



*Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо.  
Он тряс его, кричал ему в ухо — напрасно.*



ся и замахал на нее трубкой, шепча ей, чтоб она не входила к нему. Не без труда удалось ему объяснить ей положение дел: ведь она даже не знала, что у него сидит гость. Она отправилась обратно со своей лампой, видимо заинтригованная такой таинственностью, а он снова занял свой наблюдательный пост у клумбы, взволнованный и не в духе.

На дворе совсем стемнело. В воздухе замелькали летучие мыши. Он давно уже докурил свою трубку, а человек в кресле все не шевелился. Хорошо бы взглянуть на него поближе.... Но всякие сложные соображения удерживали его. Наконец любопытство превозмогло. Тихонько прокрался он в свою комнату, где теперь было совершенно темно, и остановился на пороге. Незнамец сидел в прежней позе, выделяясь темным пятном на светлом квадрате окна. За окном стояла полная тишина; только со стороны гавани слабо доносилось пение: должно быть, матросы пели на одном из стоявших там мелких судов. Высокие стебли дельфиниума на клумбе слабо вырисовывались на буром фоне ближнего холма.

Вдруг Избистер вздрогнул: у него мелькнула одна мысль. Он нагнулся над столом и прислушался. Его подозрение окрепло. Мало-помалу оно превратилось в уверенность. Ему стало страшно.... Если человек этот спит, так отчего же не слышно его дыхания?..

Бесшумно, осторожно, поминутно прислушиваясь, Избистер обошел вокруг стола. Вот он положил руку на спинку кресла и нагнулся над спящим, почти касаясь головой его головы. Потом нагнулся еще ниже, заглянул ему в лицо и откинулся назад с криком испуга: вместо глаз на него глядели белые стекляшки. «Глаза открыты, а зрачки закатились под лоб, — сообразил он, всмотревшись пристальнее. — Что же такое, наконец, с этим человеком?»

Его испуг превратился в ужас. Он взял незнакомца за плечо и принялся трясти его.

— Вы спите? — спросил он дрогнувшим голосом и, не получив ответа, повторил тоном ниже: — Вы спите?

Человек этот умер — теперь он был в этом убежден. Он вдруг засуетился: быстрыми шагами перешел комнату, наткнувшись при этом на стол, и сильно позвонил.

— Пожалуйста, свету! — крикнул он своей хозяйке в коридор. — С моим знакомым что-то случилось.

Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо. Он тряс его, кричал ему в ухо — напрасно. Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу. На ее лице было написано изумление. Он повернулся к ней бледный, мигая от внезапного света.

— Я побегу за доктором, — сказал он, — С ним, должно быть, припадок, если только это... не смерть. Есть вас доктор в деревне? Где он живет?

## Глава II ТРАНС

Состояние каталептического столбняка, в которое впал незнамец, продолжалось беспримерно долгое время. Со временем его окоченелые члены приобрели прежнюю гибкость. Тогда стало возможным закрыть ему глаза, и он производил впечатление человека, спящего спокойным сном.

Из квартиры художника его перенесли в больницу в Боскасле, а из больницы через несколько недель отправили в Лондон. Но все усилия врачей вывести его из этого состояния оставались бесплодными. Спустя некоторое время по причинам, о которых речь впереди, было





*Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу.  
На ее лице было написано изумление (к с. 231).*

решено оставить эти попытки. Долго, очень долго пролежал он таким образом, инертный, недвижимый — не мертвый, не живой, остановившись, так сказать, на полдороге между жизнью и небытием. Спячка его была абсолютной тьмой, в которую не проникал ни один луч мысли или сознания: это был сон без сновидений, длительный, глубокий покой. Его душевная буря, все разрастаясь, достигла своего предела и сразу сменилась полной тишиной. Где был человек в это время? Где была его душа? Где витает вообще душа человека, когда он теряет сознание?

— Мне кажется, это было вчера, так ясно я это помню, — сказал Избистер, — Право, я не мог бы помнить яснее, если бы все это случилось вчера.

Это был тот самый молодой художник, с которым мы познакомились в прошлой главе, но теперь он уже не был молодым. Его когда-то густые темные волосы, которые были у него всегда немного длиннее, чем это принято у мужчин, теперь были острижены под гребенку и серебрились сединой. Его когда-то свежее, розовое лицо огрубело и стало красным. Теперь он носил бородку клином, и в ней было, по крайней мере, наполовину седых волос.

Он разговаривал с другим пожилым человеком в легком летнем костюме. Это был Уорминг, лондонский адвокат и ближайший родственник Грехэма — того самого больного, который впал в транс. Оба стояли в комнате рядом и смотрели на распростертое тело того, о ком они говорили.

Это было сухое желтое тело с вялыми членами и непомерно отросшими ногтями, с осунувшимся лицом и щетинистой бородой. Прикрытое только длинной рубашкой, оно лежало на налитом водою гуттаперчевом матрасе, в высоком ящике из тонкого стекла. Эти стеклянные стенки как будто ограничивали спящего от ре-

альной жизни, отделяли его от мира живых, как аномалию, как диковинку, как странное уродство. Двое живых стояли у самого ящика, заглядывая в него.

— Признаюсь, я очень тогда испугался, — снова заговорил Избистер. — Меня и теперь бросает в дрожь, когда вспомню эти белые глаза. Они у него, знаете, совсем закатились тогда, так что видны были только белки. Все это так живо мне вспоминается теперь... когда я смотрю на него.

— А вы с тех пор ни разу его не видали? — спросил адвокат.

— Много раз думал зайти посмотреть, да все дела мешали. Дела в наше время не много оставляют человеку досуга. Я ведь большей частью жил в Америке все эти годы.

— Вы, кажется, живописец, насколько я припоминаю? — спросил Уорминг.

— Был. Потом, когда я женился, я скоро понял, что мне надо распрощаться с искусством. Искусство — роскошь, по крайней мере для нашего брата — людей среднего дарования. Я занялся практическим делом, и успешно. Видали вы в Дувре на скалах рекламы? Все это работа моей мастерской.

— Хорошие рекламы, — сказал Уорминг, — хоть, признаюсь, мне неприятно было встретить их там.

— Работа прочная: продержится, пока стоят сами скалы, ручаюсь! — самодовольно воскликнул Избистер. — Эх, как меняется жизнь! Двадцать лет тому назад, когда он уснул, я проживал в Боскасле свободным художником. Благородное старомодное честолюбие да ящик с акварельными красками составляли все мое имущество. Не думал я тогда, что моим кистям выпадет со временем честь размалевать весь берег милой старой Англии от Лэндс-Энда вплоть до Лизарда. Да-а, удача часто приходит, откуда меньше всего ее ждешь.

У Уорминга, видимо, были кое-какие сомнения насчет такой удачи, но он сказал только:

— Помнится, мы тогда чуть-чуть не встретились в вами в Боскасле. Вы уехали за час до моего приезда.

— Да. Вы приехали тем самым ди-лижансом, который отвез меня на станцию. Это было в день юбилея Виктории: я помню, еще флаги развевались на Вестминстере и на улицах была страшная дав-ка. Мой извозчик на кого-то наехал в Челси, и вышла целая история...

— Да, это был второй юбилей — бриллиантовый, — заметил Уорминг.

— Да, да. Во время первого, главного, когда праздновалось пятидесятилетие, я был еще мальчишкой и жил в провинции, так что ничего не видал... о госпо-ди — я опять возвращаюсь к Грехэму, — какой это был переполох тогда, если б вы знали! Моя хозяйка ни за что не хотела оставить его у себя. И в самом деле, он был такой страшный! Пришлось перенести его в гостиницу. Боскаслский доктор — не теперешний молодой, а прежний — старичок — провозился с ним до двух часов ночи. Мы с хозяином гостиницы помогали ему: держали свечи, подавали все нужное, бегали в аптеку... Ничего не помогло.

— Вначале это был, кажется, обыкновенный столбняк?

— Да. Он был деревянный: как ни согни, так и остается. Если б его на голову поставить, он и то бы стоял. Ничего подобного я никогда не видал. То, что вы теперь видите (он указал на распростертую фигуру движением головы), совершенно другое... А этот старикашка доктор... как бишь его звали?

— Смитерс?

— Да, Смитерс... Он просто ошибся. Он ведь надеялся очень скоро привести его в чувство. Чего он только не испробовал! Мороз по коже продирает, как

вспомнишь. И горчицу, и нюхательный табак, и шипки. А потом притащил еще эту проклятую машинку... динамо не динамо, а как ее?

— Индукционную катушку?

— Да. И пустил ее в ход. Если бы вы видели, как его дергало! Каждый мускул прыгал. Вы только представьте себе: полутемная комната... лишь у кровати горят две свечи, которые мы двое держим в руках... пламя колеблется... на стенах дрожат тени... маленький доктор нервничает, суетится, а тот весь корчится под током, точно автомат на пружинах.... Уф! мне и теперь часто снится эта картина.

Молчание.

— Да, странное явление, — сказал Уорминг.

— Очень странное. Человек в этом состоянии, можно сказать, отсутствует вполне. Остается только тело без души — не мертвое, но и не живое. Это все равно, как стул в каком-нибудь общественном месте — пустой, но на котором написано «занят». Ни ощущений, ни пищеварения, ни биения сердца. Взгляните: ну кто скажет, что это живой человек? В известном смысле он мертвее мертвого, потому что у него даже волосы перестали расти, — так я слышал от врачей. А у мертвецов ведь волосы еще некоторое время...

— Да, я знаю, — перебил его Уорминг с оттенком неудовольствия.

Они еще раз заглянули в стекло. Действительно, престранный феномен представлял этот спящий. Во всей истории медицины не было подобных примеров. Бывали случаи, что спячка продолжалась около года, но к концу этого срока она всегда заканчивалась или пробуждением или смертью. Случалось и так, что вслед за пробуждением наступала смерть.

Избистер заметил на теле спящего несколько знаков, оставшихся после впрыскивания под кожу питательных веществ (в первое время врачи прибега-

ли к этому средству, чтобы предупредить паралич сердца). Он указал на них Уормингу, который и сам давно их заметил, но старался не смотреть.

— Подумать только, как много перемен произошло в моей жизни с тех пор, как он здесь лежит! — продолжал Избистер с эгоистическим самодовольством здорового человека, который любит жизнь. — Я успел жениться, обзавестись семьей. Мой старший сын, — в то время я и не помышлял ни о каких сыновьях, — мой старший сын уже американский гражданин и скоро кончает университет. Я постарел, поседел. А этот человек ни на один день не состарился и ни на йоту не стал умнее — в практическом смысле, хочу сказать, — чем был я в дни моей зеленой юности. Курьезно!

Уорминг повернулся к нему.

— Я тоже стариком стал. Мы с ним в крикет играли мальчишками, а он все еще выглядит молодым человеком. Пожелтел, это правда. Но все-таки еще молодой человек.

— А сколько событий совершилось за эти годы. Война...

— И началась, и кончилась, и забыли о ней.

— У него, я слыхал, было небольшое состояние? — спросил Избистер, помолчав.

— Как же! — подтвердил, принужденно покашливая, Уорминг. — Я хорошо это знаю, так как был назначен его опекуном.

— А-а... — Избистер опять помолчал, потом нерешительно заговорил: — Вероятно... ведь содержание его здесь недорого стоит... вероятно, за эти годы его состояние возросло?

— Конечно. Он проснется — если только проснется — богатым человеком, значительно богаче, чем был.

— Видите ли, меня, как делового человека, естественно, занимает этот во-

прос, — сказал Избистер. — Мне даже приходило иногда в голову, что эта спячка была для него очень выгодна. Он, можно сказать, весьма предусмотрительно поступил, заснув на такой большой срок. Если б он продолжал жить...

— Сомневаюсь, чтобы он загадывал вперед на такой долгий срок, — перебил Уорминг. — Он никогда не отличался предусмотрительностью. Мы с ним всегда расходились по этому пункту. Он был очень неблагоразумен во всем, и я поневоле должен был его опекать. Вам, как человеку практическому, должно быть понятно, что.... Впрочем, не в этом вопрос. Выгодна или невыгодна для него эта спячка — во всяком случае, сомнительно, чтоб он вернулся к жизни. Такой сон истощает, медленно, но все же истощает. Тихонько, незаметно человек катится вниз... вы меня понимаете?

— Очень жаль, если так. Воображаю его изумление, если бы он проснулся!

— Жаль будет, если мы этого не увидим. Сколько было перемен за эти двадцать лет! Словно возвратившийся Рип Ван Винкль.

— Куча перемен, — сказал Уорминг. — Да, перемен было немало для каждого из нас. Для меня, например: я теперь старик.

— Я бы этого не сказал, — нерешительно пробормотал Избистер, изобразив удивление на своем лице. Но удивление вышло несколько запоздалым.

— Мне было сорок три года в тот год, когда я получил уведомление от его банкиров об этом казусе. Это вы ведь тогда телеграфировали им, помните?

— Да. Я нашел их адрес в чековой книжке, которая оказалась у него в кармане, — сказал Избистер.

— Ну-с, сорок три да двадцать... сумму нетрудно получить.

Избистеру очень хотелось задать один вопрос. Выждав приличную паузу,



он, наконец, решился дать волю своему любопытству.

— Ведь это может затянуться на многие годы, — начал он. Потом он немного замялся и продолжал: — Надо прямо смотреть в глаза будущему. В один прекрасный день опека над его состоянием может перейти... в другие руки, не так ли? Что тогда?

— Поверьте, мистер Избистер, я и сам много думал об этом. Дело в том, что между моими близкими нет никого, кому бы можно было доверить такую опеку... Да, положение не из обыкновенных, — беспримерное, можно сказать.

— Мне кажется, в подобных случаях опекуном следовало бы назначать какое-нибудь официальное лицо, — сказал Избистер.

— Скорее, официальное учреждение. Тут нужен бы бессмертный опекун — конечно, если он очнется и будет жить, как полагают многие из врачей... Я даже обращался под этому поводу в некоторые учреждения, но пока безуспешно.

— А что ж бы вы думали? Чудесная мысль! Сдать его на попечение Британскому музею, например, или Королевской медицинской коллегии. Оно странно звучит, это правда, но ведь и весь-то случай странный.

— Вы говорите: сдать медицинской коллегии. А как вы убедите их принять его? В этом главное затруднение.

— Вы правы. Этот их формализм, канцелярщина...

Новая пауза.

— Да, прекурьзная история, могу сказать, — снова заговорил Избистер. — Заметили вы, как у него нос заострился и как провалились глаза?

Уорминг поглядел на спящего и ответил не сразу.

— Я сомневаюсь, чтобы он проснулся когда-нибудь.

— Я никогда не мог хорошенько понять, отчего с ним это приключилось, — сказал Избистер. — Он говорил мне что-то такое о переутомлении. Так неужели только от этого? Мне очень хотелось бы знать.

— Он был человек одаренный, но чересчур впечатлительный, нервный, порывистый во всем. У него были серьезные домашние неприятности. Он разошелся с женой и, вероятно, чтоб как-нибудь забыться, очертя голову бросился в политику. Он был фанатик-радикал, вернее социалист — энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками, работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлет. Любопытное произведение. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств. Большая часть из них провалилась, но два-три сбылись. Впрочем, вообще говоря, читать такие вещи, значит время терять.... Да, от многого придется ему отказаться и многому поучиться, когда он проснется.... если только проснется.

— Дорого бы я дал, чтобы видеть этот момент... послушать, что он скажет, когда оглядится и узнает, как долго он спал, — сказал Избистер.

— И я хотел бы видеть, очень хотел бы, — проговорил Уорминг с недовольным чувством жалости к себе, какое часто бывает у старых людей. — Но я никогда не увижу. — Он замолчал и задумчиво смотрел на восковое лицо спящего, — Этот человек никогда не проснется, — прибавил он и вздохнул. — Никогда.

### Глава III ПРОБУЖДЕНИЕ

Но Уорминг ошибся: Грехэм проснулся.

Что за сложное целое представляет собою эта кажущаяся столь простою

единица, которую мы называем человеческим «я». Кто проследит, как происходит ее реинтеграция изо дня в день в момент нашего пробуждения, как растут, переплетаются и сливаются составляющие ее бесчисленные факторы? Кто проследит эти первые движения пробуждающейся души, этот переход от бессознательного к полусознательному вплоть до того момента, когда оно озарится полным светом сознания и мы вновь обретаем себя? Такое бывает почти с каждым из нас даже после одной ночи крепкого сна. Так было и с Грехэмом после его долгой спячки. Туманное облако еще неосознанных ощущений сменилось странным чувством жути, и он осознал себя, довольно смутно правда, слабым, очень слабым, но живым.

Это странствование во мраке в поисках своего «я» заняло, казалось ему, целые века. Чудовищные сны, бывшие для него в свое время страшной действительностью, оставили в его памяти неясные, но тревожные следы, туманные образы странных существ, небывалых пейзажей, точно с другой планеты. Было еще впечатление какого-то важного разговора. ...Какое-то имя, — он никак не мог припомнить его, — вертелось у него в голове; потом явилось странное, давно забытое ощущение собственного тела... мучительное сознание бесплодных усилий выплыть на свет, как это бывает с утопающими.... Затем перед ним встала незнакомая панорама, в которой все колебалось и сливалось, ослепляя его.

Грехэм понял, что глаза у него открыты, что он смотрит на какой-то непонятный предмет.

Это было что-то белое, похожее на ребро деревянной рамы. Он слегка повернул голову, чтобы лучше рассмотреть этот предмет, но ему не видно было, где он кончается. Он попробовал было отдать себе отчет, где он. Да, впрочем, не

все ли равно, когда он чувствует себя таким бессильным и жалким? Мрачное уныние — таков был общий тон его мыслей. Он испытывал чувство беспричинной, неопределенной тоски, как бывает, когда проснешься незадолго до рассвета. Потом ему показалось, что он как будто слышит шепот и поспешно удаляющиеся шаги.

Попытка повернуть голову вызвала в нем ощущение крайней физической слабости. Он думал, что лежит в постели, в гостинице той деревушки, где он оставался в последний раз; но такой белой рамы над постелью там, помнится ему, не было. Он, очевидно, долго спал. Теперь он припомнил, что у него была бессонница. Вспомнилась ему скала, водопад и как он разговаривал с каким-то прохожим...

Долго ли он спал? Кто это сейчас убежал из комнаты? И что это за гомон вдали, который то разрастается, то затихает, точно шум прибоя? Он с усилием протянул руку, чтобы взять часы, которые он всегда клал на ночь на стул возле себя, и наткнулся на что-то гладкое и твердое, похожее на стекло. Это было так неожиданно, что он испугался. Он разом повернулся на бок, с минуту в недоумении смотрел перед собой, потом сделал усилие, чтобы сесть. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал: у него закружилась голова, он совсем ослабел... «Да что же это такое? Где же я наконец?»

Он протер глаза. Загадочность того, что его окружало, приводила его в тупик, но ход его мыслей был вполне логичен: ясно, что сон освежил его ум. Он заметил, что он совершенно раздет и лежит не на кровати, а на какой-то мягкой упругой подстилке, в ящике из цветного стекла. Подстилка была полупрозрачная, что он заметил с некоторым страхом, а под ней было зеркало, в котором смутно отражалось его тело. К его руке, — он ис-

пугался, увидев, как высохла и пожелтела его кожа, — был так искусно прикреплен какой-то гуттаперчевый прибор, что он, казалось, представлял с ней одно целое. И это странное ложе помещалось в ящике из зеленоватого стекла — так ему, по крайней мере, казалось. Одна из перекладин белой рамы этого ящика и привлекала его внимание в первый момент. В углу ящика стояла подставка с какими-то незнакомыми ему блестящими приборами очень тонкой работы, между которыми он различил только максимальный и минимальный термометры.

Зеленоватый цвет стекловидного вещества, окружавшего его со всех сторон, мешал ему хорошо рассмотреть, что было за ящиком, но он все-таки мог видеть обширный великолепный зал с огромной, лишенной всяких орнаментов аркой, находившейся прямо против него. У самой его клетки была расставлена мебель: стол, накрытый скатертью, серебристой, как рыба чешуя; два-три изящных кресла. На столе стояли разные яства, бутылка и два стакана. Тут только он почувствовал, как он голоден.

В комнате не было ни души. После минутного колебания он сполз со своей прозрачной подстилки и попробовал встать на чистый, белый пол своей клетки. Но он плохо рассчитал свои силы, пошатнулся и, чтобы не упасть, уперся рукой в стекловидную стенку ящика. Она удержала его руку на мгновение, растягиваясь и выпячиваясь наружу, потом вдруг лопнула с легким треском и исчезла, как мыльный пузырь. Ошеломленный, он вылетел из ящика, ухватился за стол, чтоб удержаться на ногах, столкнув при этом на пол один из стаканов, который зазвенел, но не разбился, и опустился в кресло.

Когда он немного опомнился, он взял бутылку, наполнил оставшийся на столе стакан и выпил. Это была бес-

цветная жидкость, но не вода; она имела очень приятный вкус и запах и обладала свойством быстро восстанавливать силы. Он поставил стакан и стал осматривать его кругом.

Огромный зал ничуть не потерял своего великолепия после того, как исчезла зеленоватая оболочка, сквозь которую он смотрел перед этим. По ту сторону находившейся перед ним высокой арки начиналась лестница, которая вела вниз, в широкую галерею. Вдоль этой галереи, по обе стороны, тянулись колонны из какого-то блестящего камня цвета ультрамарина с белыми прожилками. Оттуда доносился гул человеческих голосов и какое-то ровное и непрерывное гудение.

Теперь Грехэм совершенно очнулся. Он сидел, выпрямившись, и прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже забыл о еде. Вдруг ему стало неловко: он вспомнил, что он раздет. Обыскивая глазами, чем бы прикрыться, он увидел на стуле возле себя длинный черный плащ. Он завернулся в этот плащ и снова опустился в кресло, весь дрожа.

Он был совершенно ошеломлен и терялся в догадках. Одно было ему ясно: он спал очень долго, и его куда-то перенесли во время сна. Но куда? И кто эти люди там, за голубыми колоннами, эта толпа, кричащая вдали? Не может быть, чтобы все это было в Боскасле. Он налил из бутылки еще стакан бесцветной жидкости и выпил.

Что это за здание? Где находится этот великолепный зал? И почему ему кажется, что эти стены все время дрожат, точно живые. Он обвел взглядом изящный, простой, без всяких архитектурных украшений зал и увидел в потолке большое круглое отверстие, сквозь которое сверху лился яркий свет. Вдруг он заметил, что на этот светлый круг набежала какая-то тень и скрылась, потом еще и еще.

«Тррр, тррр...» — у этой мелькающей тени был свой самостоятельный звук, отчетливо слышимый сквозь глухой ропот толпы, наполнявший воздух.

Он хотел крикнуть, позвать, но голос изменил ему. Он встал и неверными шагами, как пьяный, направился к арке. Спотыкаясь, он кое-как спустился с лестницы, наступил на край бывшего на нем плаща и еле удержался на ногах, ухватившись за колонну.

Он очутился в галерее; перед ним открылась широкая перспектива с преобладанием голубого и пурпурного тонов. Галерея заканчивалась перед ним открытым выступом, обнесенным решеткой, чем-то вроде балкона. Балкон был ярко освещен и висел на большой высоте, но, по-видимому, все вместе представляло внутренность какого-то гигантского здания, потому что за балконом, как сквозь дымку, виднелись вдали величественные очертания причудливых архитектурных форм. Теперь голоса доносились до него громко и явственно. На балконе спиной к нему стояли, сильно жестикулируя и оживленно о чем-то разговаривая, три человека в роскошных костюмах широкого, свободного покроя и ярких цветов. Через балкон долетали крики огромной толпы. Раз ему показалось, что мимо промелькнула верхушка знамени или флага; потом в воздухе пронеслось что-то бледно-голубое, может быть подброшенная вверх шляпа, и, описав дугу, упало. Кричали как будто по-английски; очень часто повторялось слово «проснись». Потом он услышал чей-то пронзительный крик, и вдруг три человека на балконе стали громко смеяться.

— Ха-ха-ха! — покатывался один из них, рыжеволосый, в ярко-красном плаще. — Когда проснется Спящий! Ха-ха-ха!

Еще со смехом он оглянулся назад, в сторону галереи, — и замер. Лицо его сразу изменилось. У него вырвался воз-

глас испуга. Двое других быстро обернулись в ту же сторону и тоже окаменели. На их лицах выразилась растерянность, почти ужас.

У Грехэма вдруг подогнулись колени. Его рука, державшаяся за колонну, соскользнула. Он покачнулся и упал ничком.

## Глава IV ОТГОЛОСКИ ВОЛНЕНИЙ

Последним впечатлением Грехэма, прежде чем он лишился чувств, был оглушительный звон колоколов. Впоследствии ему рассказали, что час он был без сознания, между жизнью и смертью. Когда он, наконец, пришел в себя, он снова лежал на своем прозрачном гуттаперчевом ложе. Во всем теле и в сердце он ощущал живительную теплоту. Он заметил, что рука его по-прежнему забинтована, но странный резиновый прибор был снят. Его окружала все та же белая рама, но заполнявшее ее зеленоватое стекловидное вещество исчезло. Над ним стоял человек в темно-лиловом плаще — один из тех троих, которых он застал на балконе, — и внимательно всматривался в его лицо.

Откуда-то издалека слабо, но назойливо доносился трезвон и смешанный многоголосый гул. В его воображении встала картина огромной кричащей толпы. Потом сквозь этот шум до него долетел короткий резкий стук, как будто где-то вдали захлопнулась тяжелая дверь.

Он повернул голову.

— Что все это значит? Где я? — с усилием выговорил он.

Тут он увидел рыжего человека — того самого, который первым заметил его. Чей-то голос, ему показалось, спросил: «Что он говорит?» — и другой ответил шепотом: «Молчите».



Потом заговорил человек в лиловом. Он говорил по-английски, с легким иностранным акцентом.

— Не бойтесь, вы в безопасности, — сказал он пониженным голосом, как говорят с больными. — Из того места, где вы заснули, вас перенесли сюда. Вы пролежали здесь довольно долго. Все это время вы спали. У вас была спячка, транс.

Он сказал еще что-то, чего Грехэм не расслышал, потом взял поданный ему кем-то флакон. Грехэм ощутил на лбу прохладную струю какой-то ароматической жидкости, которая удивительно освежила его. Ощущение было такое приятное, что у него от удовольствия сами собою закрылись глаза. Когда он их снова открыл, человек в лиловом спросил его:

— Что, теперь лучше? — Это был еще молодой человек, лет тридцати, с остроконечной белокурой бородкой и с приятным лицом. Его лиловый плащ был застегнут у горла золотой пряжкой. — Лучше вам теперь?

— Да, — ответил Грехэм.

— Вы проспали... некоторое время. Это был каталептический сон. Вы слышите? Катаlepsия!.. У вас, должно быть, теперь очень странное ощущение. Но вы не волнуйтесь: все будет хорошо.

Грехэм молчал, но эти слова возымели свое действие: он успокоился. Взгляд его с выражением вопроса перебегал поочередно на каждого из троих окружавших его людей. Они тоже смотрели на него как-то особенно. Он знал, что он должен быть где-то в Корнуэлсе, но представление о Корнуэлсе совершенно не вязалось с этими новыми впечатлениями. Вдруг он припомнил то, о чем думал в Боскасе в последние дни перед своим каталептическим сном. Тогда это было у него почти принятым решением, но почему-то он все не мог собраться привести его в исполнение. Он откашлялся и спросил:

— Телеграфировали ли моему двоюродному брату Уормингу? Улица Чэнсери-Лэн, двадцать семь?

Они внимательно слушали, стараясь понять. Но ему пришлось повторить свой вопрос.

— Как странно он произносит слова, — шепнул рыжий молодому человеку с белокурой бородой.

— Он имеет в виду электрический телеграф, — пояснил третий, юноша лет девятнадцати-двадцати с очень милым лицом.

— Ах, я дурак! И не догадался! — вскрикнул белокурый. — Не беспокойтесь, будет сделано все возможное, — прибавил он, обращаясь к Грехэму, — Только, боюсь, трудновато будет... телеграфировать вашему кузену. Его нет в Лондоне.... Но, главное, вы не волнуйтесь и не утомляйте себя этими мелочами. Вы проспали очень долго, и вам необходимо окрепнуть — это прежде всего.

— А-а, — протянул Грехэм неопределенно и замолчал.

Все это было очень загадочно, но, очевидно, эти люди в необыкновенных костюмах знали лучше, что нужно делать. А все-таки странные люди, и комната странная... Должно быть, он попал в какое-нибудь только что основанное учреждение.... Тут его осенила новая мысль... подозрение. Может быть, это помещение какой-нибудь публичной выставки? И он пролежал здесь все это время? Как мог Уорминг допустить это?.. Ну, хорошо же: если так, он ему покажет, он с ним поговорит!.. Но нет, не может быть. На выставку не похоже. Да и где же видано, чтобы выставляли напоказ голого человека?

И вдруг неожиданно для себя он понял, что с ним случилось. В один миг, без всякого заметного перехода от подозрения к уверенности, он понял, что спячка его длилась бесконечно долго. Теперь



*Над ним стоял человек в темно-лиловом плаще — один из тех троих, которых он застал на балконе, — и внимательно всматривался в его лицо (к с. 239).*

он знал так твердо, словно разгадал каким-то таинственным путем чтения мыслей, что означал этот почтительный, почти благоговейный страх, написанный на лицах окружавших его людей. Он смотрел пронзительным взглядом. И в этом взгляде они, казалось, тоже прочли его мысль. Губы его зашевелились: он хотел заговорить и не мог. И почти в тоже мгновение у него явилось необъяснимое побуждение утаить свое открытие от этих людей, желание говорить совершенно прошло. Он молча смотрел на свои голые ноги, весь дрожа.

Ему дали выпить какой-то розовой жидкости с зеленоватой флуоресценцией и с привкусом мяса, и силы его быстро поднялись.

— Это... помогает... Мне лучше теперь, — выговорил он с трудом.

Кругом послышался почтительный шепот одобрения.

Так и есть: он спал страшно долго. Может быть, год или больше. Теперь он знает наверное. Он снова сделал попытку заговорить, но снова ничего не вышло. Он поднес руку к горлу, откашлялся и с новым отчаянным усилием попробовал в третий раз.

— Долго ли... — начал он, стараясь говорить ровным голосом, — долго ли я спал?

— Да, довольно долго, — ответил белокурый молодой человек, быстро переглянувшись с остальными.

— Сколько времени?

— Очень долго.

Грехэм вдруг рассердился.

— Ну да, я понимаю, — сказал он с терпением. — Понимаю, что долго. Но я хочу... хочу знать, как долго. Год? Или, может быть, больше? Несколько лет, может быть? Я хотел еще что-то.... Забыл что.... У меня путаются мысли. Но вы... — он вдруг зарыдал, — зачем вы от меня скрываете? Скажите, сколько времени...

Больше он не мог говорить. Тяжело дыша и утирая слезы, он молча сидел, ожидая ответа.

Они вполголоса о чем-то советовались между собой.

— Ну что же? Сколько лет? — спросил он слабым голосом. — Пять? Шесть?.. Неужели больше?

— Гораздо больше.

— Больше?!

— Да.

Он смотрел на них вопрошающим взглядом. От волнения у него дергалось все лицо.

— Вы проспали много лет, — сказал рыжий.

Грехэм выпрямился. Он смахнул набежавшие слезы своей прозрачной рукой и повторил: «Много лет...» Потом закрыл глаза, опять открыл и в недоумении озирался вокруг, останавливая взгляд то на одном, то на другом, то на третьем чужом, незнакомом лице.

— Сколько же? — спросил он наконец.

— Вы должны подготовиться... Вы очень удивитесь.

— Ну?

— Более grossa лет.

Это незнакомое слово вывело его из себя.

— Больше чего? Как вы сказали?

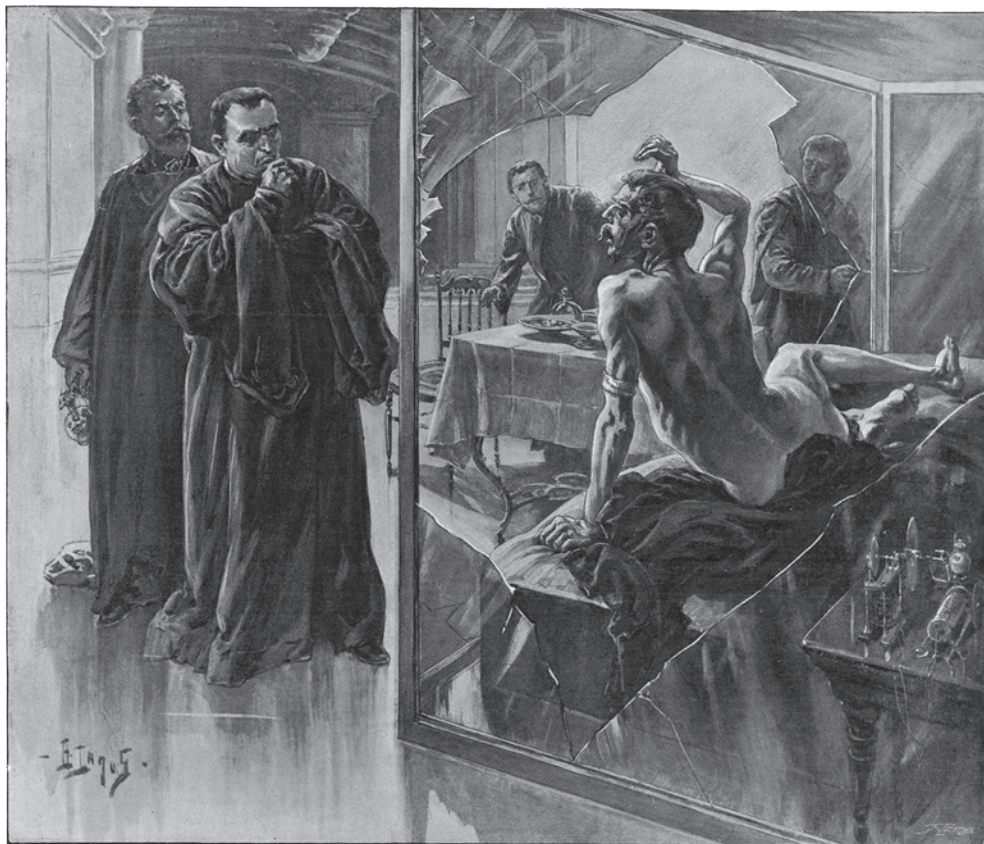
Двое старших стали шептаться. До него долетели слова «десятичная система», но к чему они относились, он не разобрал.

— Сколько, вы сказали? — повторил он с гневом свой вопрос. — Говорите же! Не глядите на меня так. Говорите!

Они продолжали шептаться. На этот раз он уловил конец фразы: «Больше двух столетий».

— Что? — вскрикнул он, быстро поворачиваясь к самому молодому, который, как ему показалось, произнес эти слова. — Кто это сказал? Что такое? Два столетия?





— Как вы сказали? Повторите еще.

— Да, — ответил рыжий, — двести лет.

Грехэм машинально повторил: «Двести лет». Он приготовился услышать большую, очень большую цифру, но это конкретное «двести лет» ошеломило его.

— Двести лет! — повторил он еще раз, напрасно сиюсь охватить воображением необъятную бездну, разверзшуюся перед ним. Ах, нет, не может быть!

Они молчали.

— Как вы сказали? Повторите еще.

— Двести лет. Ровно два столетия, — повторил рыжий.

Наступила пауза. Грехэм со слабой надеждой смотрел то на одного, то на другого.... Но нет, они не смеялись: лица их были серьезны. Он понял, что ему ска-

зали правду.

— Не может быть, — повторил он упрямо, уже и сам не веря себе. — Должно быть, я еще сплю и вижу сон... Вы говорите: спячка. Но спячка никогда не длится так долго. Какое право вы имеете так издеваться надо мной? Скажите правду: ведь это было недавно, несколько дней тому назад, что я шел пешком вдоль берега в Корнуэльсе? Потом я был в Боскасле...

Тут голос изменил ему.

Белокурый молодой человек вопросительно взглянул на друга и нерешительно проговорил:

— Я не силен в истории...

— Боскасл?.. Совершенно верно, — подхватил самый младший из троих, —



На юго-западе старого герцогства Корнуэлс было такое местечко. Там еще уцелел один дом — я видел его.

Грехэм повернулся к говорившему.

— В мое время это был целый поселок. Маленькая деревушка... я заснул где-то там... не припомню в точности где... — Он сдвинул брови и прошептал: — Двести с лишком лет... — Ледяной холод сжимал ему сердце.

Вдруг он заговорил быстро-быстро:

— Но ведь если с тех пор прошло двести лет, то, стало быть, не осталось в живых ни души... ни одного человеческого существа, которое я бы знал? Все, все, кого я когда-нибудь видел, с кем я говорил, — все до единого умерли?

Ответа не было.

— Все умерли — богатые и бедные, простые и знатные, — все до одного? Ни нашей королевы нет, ни королевского семейства, ни министров — моих современников, — ни одного из государственных деятелей, которые были при мне?.. Может быть, и Англии нет?.. Англия, вы говорите, существует? Ну, слава богу, хоть одно утешение!.. А Лондон?.. Это Лондон, да? Мы в Лондоне теперь?.. А вы кто же?.. Постойте, я знаю, вы мои сторожа. — Он смотрел на них почти безумным взглядом. — Но отчего же я здесь?.. Молчите! Не говорите! Дайте мне...

Он умолк и закрыл лицо руками. Когда он снова поднял голову, перед ним держали наготове второй стаканчик подкрепляющей розовой жидкости. Он выпил все. Лекарство почти мгновенно оказало свое действие. Из глаз его полились обильные слезы и облегчили его.

Наплакавшись вволю, он поднял глаза на своих караульчиков и неожиданно, совсем по-детски засмеялся сквозь слезы.

— Двести лет! — выговорил он.

Губы его передернулись гримасой, и он опять истерически зарыдал и закрыл руками лицо.

Через несколько минут он успокоился. Он сидел, свесив руки с колен, — в той самой позе, в какой его застал Избистер у скалы в Пентардажене два века тому назад. Вдруг он услышал приближающиеся шаги, и чей-то громкий, повелительный голос сказал:

— Что же это вы делаете? Отчего мне не дали знать? Это была ваша обязанность. Вы за это ответите! Никого не пускайте к нему. Заперты двери? Все? Его не надо беспокоить: не надо ему говорить. Ему ничего не сказали?

Белокурый что-то ответил вполголоса. Грехэм повернул голову и увидел подходившего к нему человека маленького роста, толстого, коренастого, с короткой шеей, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и орлиным носом. Густые, черные, почти сходящиеся на переносице и слегка нависшие брови, из-под которых смотрели пронзительные серые глаза, придавали его лицу что-то внушительное, почти наводящее страх. Он бросил беглый взгляд на Грехэма и повернулся к белокурому.

— Зачем тут эти двое? — резко спросил он, — Они здесь лишние.

— Прикажете уйти? — спросил рыжий.

— Конечно, уходите пока. Да не забудьте запереть за собой двери.

Двое людей, к которым относилось это приказание, мельком взглянув на Грехэма, послушно повернулись и пошли, но не к арке, как он ожидал, а в противоположную сторону, где была глухая стена. Тут случилась престранная вещь: средняя часть стены с легким треском отделилась в виде широкой вертикальной полосы и начала подниматься, свертываясь валиком, как штора. Пропустив уходивших, она опять упала и слилась со стеной. В комнате теперь осталось только трое: Грехэм, белокурый молодой человек и вновь прибывший.

В первые минуты этот человек не обращал никакого внимания на Грехэма: он продолжал допрашивать белокурого, очевидно своего подчиненного, насчет подробностей важного события — «пробуждения Спящего». Он говорил громко, произносил отчетливо каждое слово, но Грехэму были понятны далеко не все слова. Пробуждение его не столько поразило этого человека, но, судя по тому, как он был взволнован, доставило ему много неприятных хлопот.

— Я вас покорно прошу ничего ему не рассказывать. Не надо его волновать, — твердил он без конца.

Получив ответы на свои вопросы, он быстро повернулся к Грехэму и остановил на нем испытующий взгляд.

— Очень странно вы себя чувствуете?

— Да.

— Вас поражает то, что вы видите? Жизнь очень изменилась, а?

— Что делать, придется привыкать.

— Да, я полагаю.

— Прежде всего... я хотел бы одеться.

— Да, да, вы сейчас получите платье.

Толстяк сделал знак белокурому, и тот вышел.

— Скажите, это правда, что я проспал два столетия? — спросил Грехэм.

— А, вам уже успели сообщить.... Да, двести три года, уж если вы хотите знать.

Итак, это был неоспоримый факт. Приходилось примириться с ним. Грехэм ничего не сказал, только брови его сдвинулись и опустились углы рта. Помолчав, он спросил:

— Что это так трещит за стеной? Мельница, верно, работает поблизости или динамо-машина? — И, не дожидаясь ответа, прибавил: — Впрочем, может быть, теперь уже нет ни мельниц, ни динамо-машин? Условия жизни, я думаю, страшно изменились... Что значат эти крики? — задал он новый вопрос, видя, что толстяк молчит.

— Ничего особенного, — ответил тот нетерпеливо. — На улице кричат. Вы все равно не поймете.... Потом, может быть, когда узнаете... Вы сами сказали: многое изменилось. — Он говорил отрывисто, хмурил брови и беспрестанно оглядывался, как человек, который попал в трудное положение и старается найти выход. — Подождите немного: скоро вам дадут одежду, а пока побудьте здесь: сюда никто не войдет. Вам еще побриться надо.

Грехэм машинально потрогал свою давно не бритую бороду.

В это время вернулся белокурый молодой человек. Он подошел к ним, но вдруг остановился, прислушиваясь, потом взглянул вопросительно на своего начальника и выбежал через арку на балкон. Долетавшие оттуда крики становились все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Вдруг он пробормотал какое-то проклятие и бросил на Грехэма неприязненный взгляд. Между тем рев толпы все разрастался, то поднимаясь, то падая, как морской прибой. Гневные возгласы, визг, хохот — все сливалось в этом тысячеголосом вое. Один раз послышались короткие, отрывистые звуки, как будто звуки ударов и резкий крик отдаленных голосов, потом что-то щелкало и трещало, точно ломали сухие прутья или хлопали бичом. Грехэм тщетно напрягал слух, стараясь что-нибудь понять в этом гаме.

Но вот он уловил целую фразу, повторенную много раз. Что это? Не может быть! Он не верил ушам...

Но нет, он не ошибся. Там кричали: «Покажите нам Спящего! Покажите нам Спящего!»

Толстяк бросился к арке.

— Безумцы! — закричал он. — Как они узнали? Кто им сказал?... Да знают ли они, или только догадываются?

Должно быть, ему что-то ответили, потому что он продолжал:

— Я не могу выйти. Мне за ним надо смотреть. Крикните им с балкона.

Опять последовал какой-то ответ.

— Скажите им, что он и не думал просыпаться. Скажите что-нибудь, что хотите! — Он поспешно вернулся к Грехэму. — Вам надо поскорее одеться. Вам здесь нельзя оставаться. Невозможно будет...

И он выбежал вон, не отвечая на вопросы, которыми Грехэм его осыпал. Через минуту он опять вернулся.

— Не спрашивайте. Я ничего не могу вам сказать. Объяснять слишком сложно. Узнаете потом. Сейчас вы получите платье, сию минуту. А потом вы пойдете со мной. ...Здесь вам быть нельзя. У нас свои неприятности... Вы скоро поймете, в чем дело... слишком скоро, может быть.

— Но что это за голоса? Они кричат...

— О Спящем? Это вы. Они забрали себе в голову.... Впрочем, я и сам хорошо не знаю. Я ничего не знаю. Я...

В комнате раздался резкий звонок, покрывший своим треском долетавший снаружи смешанный шум. Толстяк сломя голову бросился к батарее каких-то приборов, стоявших в углу. С минуту он внимательно слушал, уставившись глазами на какой-то хрустальный шарик, потом кивнул головой, пробормотал невнятно несколько слов и подошел к стене, через которую ушли те двое. От стены опять отделилась средняя полоса и закатилась вверх, как штора. Толстяк стоял, чего-то ожидая.

Грехэм поднял руку и с удивлением почувствовал, как много у него прибавилось сил. Очевидно, это было действие укрепляющих лекарств. Он спустил с постели одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Так приятно было чувствовать себя здоровым и бодрым.

Он с наслаждением ощупывал свое тело: ему просто не верилось, что это он.

Из-под арки снова появился белокурый молодой человек, и почти в ту же минуту в отверстии раскрытой стены оказалась клетка спускавшегося откуда-то лифта. Когда она остановилась, из нее вышел сухопарый, седобородый человек, в темно-зеленом в обтяжку костюме с длинным свертком в руках.

— Вот ваш портной, — сказал толстяк Грехэму. — Вам нельзя носить черное. Не понимаю, как попал сюда этот плащ. Такой беспорядок!.. Ну, да мы это разберем.... Надеюсь, вы не замешкаетесь? — прибавил он, обращаясь к портному.

Темно-зеленый поклонился, подошел к Грехэму и присел возле него на постель. Держался он очень спокойно, и только сверкавшие любопытством глаза выдавали его.

— Вы найдете моды сильно изменившимися, сэр, — вежливо сказал он Грехэму и бросил беглый взгляд исподлобья на толстяка.

Быстрым привычным движением он развернул свой сверток и разложил у себя на коленях образцы каких-то блестящих материй.

— Вы жили, сэр, в эпоху по преимуществу цилиндрическую — в эпоху викторианизма. Тогда вообще имели слабость к закруглениям: полушарие преобладало даже в головных уборах. А теперь...

Он достал какой-то приборчик, размерами и формой напоминавший карманные часы, нажал в нем какую-то кнопку, и на циферблате прибора, как на экране кинематографа, задвигалась человеческая фигурка в белом. Портной выбрал образчик голубоватой шелковой материи.

— Вот, мне кажется, именно то, что вам требуется, — сказал он.

К ним подошел толстяк и заглянул через плечо Грехэма.

— Пожалуйста, поскорее: время дорого, — сказал он.

— Положитесь на меня, — ответил портной. — Мою машину сейчас привезут.... Ну-с, что же вы об этом думаете, сэр? — обратился он к Грехэму.

— Что это у вас за прибор? — спросил, в свою очередь, человек девятнадцатого века.

— Вот, видите ли, в ваши времена были модные журналы. Теперь их вытеснила вот эта самая штучка. Преостроумное изобретение. Смотрите.

Он снова нажал кнопку, и на циферблате прибора выскочила та же фигурка, но уже в новом наряде более широкого покроя. Щелк, щелк — и опять человек переменял костюм. Все это портной проделал очень быстро, поглядывая в то же время на отверстие в стене, где опусклся лифт.

Вот, наконец, там что-то загрохотало, и скова показалась клетка лифта. На этот раз из нее вышел анемичный, коротко стриженный парень монгольского типа в светло-голубом балахоне из грубого холста. Вместе с ним приехала какая-то сложная машина на колесах, которую он бесшумно вкатил в зал. Портной убрал свой приборчик, попросил Грехэма стать против машины и начал давать инструкции своему анемичному подмастерью, который отвечал на каком-то гортанном наречии, совершенно незнакомом Грехэму. После этого парень отправился в угол, где стояла батарея. Портной между тем вытягивал из машины какие-то рычажки, их которых каждый заканчивался маленьким диском. Потом одним ловким поворотом он направил все эти рычажки таким образом, что каждый диск прилег вплотную к телу Грехэма: два приšli на плечах, два на локтях, одни на

шее и так далее — на всех стигах. В это время лифт привез еще одного пассажира. Грехэм не мог его видеть, так как стоял спиной к стене. Приладив свои рычажки, портной повернул рукоятку машины, и она заработала с легким ритмическим стуком. Еще минута — и он снял рычажки, остановив машину. Грехэм был свободен. На него опять накинули плащ, и белокурый молодой человек поднес ему стаканчик с розовым питьем. Тут только он увидел новоприбывшего — юношу с очень бледным лицом, который разглядывал его с нескрываемым любопытством.

Все это время толстяк нервно шагал из угла в угол, косясь на Грехэма. Теперь он вдруг повернулся и вышел через арку на балкон, откуда по-прежнему доносился, то разрастаясь, то замирая, смешанный шум волнующейся толпы.

Между тем подмастерье подал своему хозяину кусок шелковой голубой материи, и они принялись вдвоем всовывать его в машину примерно так, как в девятнадцатом столетии вкладывали бумагу в печатные станки. Затем они откатали машину в противоположный угол зала, где со стены свободной петлей свешивался тонкий кабель. Конец этого кабеля они соединили с машиной, и она сейчас же очень энергично заработала.

— Скажите, какою силой приводят в действие ваши машины? — спросил Грехэм у белокурого, указывая рукой на суетившихся у кабеля людей и стараясь не замечать преследовавшего его неотступного взгляда бледного юноши. — А этот кабель, верно, проводник энергии? Да?

— Да, — отвечал белокурый.

— А кто такой этот человек?

Он указал в сторону арки, куда скрылся толстяк. Белокурый замялся, нерешительно погладил свою бородку и ответил, понижая голос:



— Это Говард, ваш главный хранитель. Вот видите ли, сэр... Довольно трудно это объяснить... Совет назначил вам трех хранителей — главного и двух помощников. В этот зал допускалась публика — с некоторыми ограничениями, конечно. Каждому, естественно, хотелось удовлетворить свое любопытство, и нам пришлось уступить желанию народа... Но вы меня извините, я не могу... Пусть он сам вам объяснит.

— Странно! — пробормотал Грехэм, — Хранители... Совет... Ничего не пойму! — Потом, повернувшись спиной к новоприбывшему, он спросил вполголоса: — Отчего этот человек так пялит на меня глаза? Он, верно, магнетизер?

— Магнетизер?! О нет. Он капилломист и притом это в своем роде художник — артист своего дела. Он получает в год до шести дюжин львов.

Это звучало уже совсем дико. Грехэм подумал, уж не сходит ли он с ума.

— Шесть дюжин львов? — переспросил он растерянно.

— Ах, да, я и забыл, что в ваше время не было львов. Вы считали по-старинному, на фунты стерлингов... Лев — это наша монетная единица... Да, правда, все изменилось, даже в мелочах. Вы жили в эпоху десятичной системы, арабской. Десяти, сотни, тысячи — такой был у вас счет. У нас же теперь одиннадцать арифметических знаков. Десять и одиннадцать изображаются одним знаком, и только двенадцать — двумя. Двенадцать дюжин составляют gross, двенадцать grossов — дозанду, а двенадцать дозанд — мириаду. Совсем просто... А вот и ваше платье готово, — прибавил белокурый, взглянув через плечо Грехэма.

Грехэм быстро оглянулся: за ним стоял, улыбаясь, портной и держал новое платье, бережно перекинув его через руку, а его подмастерье уже откатывал свою странную машину к клетке лифта,

подталкивая ее одним пальцем. Грехэм вытаращил глаза.

— Да неужто вы уже успели... — начал было он.

— Только что кончил, — ответил портной.

Он положил платье возле Грехэма, отошел к постели, на которой тот недавно лежал, откинул прозрачный матрац и приподнял бывшее под ним зеркало таким образом, чтобы можно было смотреться в него.

В это время в углу раздался неистовый трезвон. Толстяк бросился туда со всех ног. Белокурый побежал за ним, спросил его о чем-то и выбежал в галерею.

Покуда портной помогал Грехэму натянуть нижний костюм — темно-красное трико, заменявшее чулки, панталоны и сорочку, белокурый вернулся с балкона, и толстяк, увидев его, быстро пошел ему навстречу. Они стали торопливо шептаться. В манере обоих, в каждом их движении чувствовались тревога и страх.

Когда на Грехэма поверх трико накинули какое-то сложное, но красивое покроя одеяние из голубоватой ткани, он представлял из себя довольно странную фигуру: небритый, с желтым лицом, еще дрожащий от слабости. Но теперь он был, по крайней мере, одет, и даже по последней моде. Он погляделся в зеркало и остался доволен собой.

— Мне надо еще побриться, — сказал он.

— Сию минуту, — отозвался Говард.

При этих словах бледный юноша, преследовавший Грехэма неотступными взглядами, выступил вперед. Он на секунду зажмурился, снова широко раскрыл глаза и подошел к нему вплотную. Потом остановился, оглянулся назад и сделал плавный жест рукой.

— Подайте стул, — нетерпеливо приказал Говард.

Белокурый засуетился, и в один миг за спиной у Грехэма очутился стул.

— Садитесь, — сказал ему Говард.

Грехэм заметил, что в правой руке у пучеглазого сверкнула сталь. Он не решился сесть, опасливо поглядывая на него.

— Что же вы, сэр? Или вы не поняли? — напомнил ему белокурый учтиво, но с ноткой нетерпения в голосе. — Садитесь. Он вас побреет и острижет.

— Ах, вот что? — пробормотал Грехэм с облегчением.

— Но вы сказали, кажется, что он...

— Капиллотомист? Ну да. Он лучший художник в мире в этой области.

Грехэм сел. Белокурый куда-то исчез. Пучеглазый, грациозно изгибаясь, опустился Грехэму затылок, темя, уши и, вероятно, еще долго производил бы свое исследование, если бы Говард не торопил его. Видя, что приходится поторопиться, он приступил к делу. Ловко и быстро пуская в ход один за другим какие-то невиданные инструменты, он выбрил Грехэму подбородок, подправил усы, постриг и причесал волосы. Всю эту операцию он проделал, не проронив ни звука, с вдохновенным видом поэта. Как только он кончил, Грехэму подати башмаки.

Вдруг из угла, где стояли таинственные приборы, раздался громкий голос: «Скорее! Скорее! Народ узнал. Весь город в волнении. Прекращают работу. Не мешкайте ни минуты. Идите!»

Это воззвание страшно взволновало Говарда. Он заметался от арки к лифту и от лифта к углу, не зная, куда ему кинуться прежде. Потом, очевидно решившись, направился в угол и погрузился в созерцание хрустального шарика. Между тем глухой гул голосов, непрерывно долетавший со стороны арки, все усиливался. На один миг он превратился в дикий рев и снова стал замирать, точно раскат удаляющегося грома. Грехэма неудержимо по-

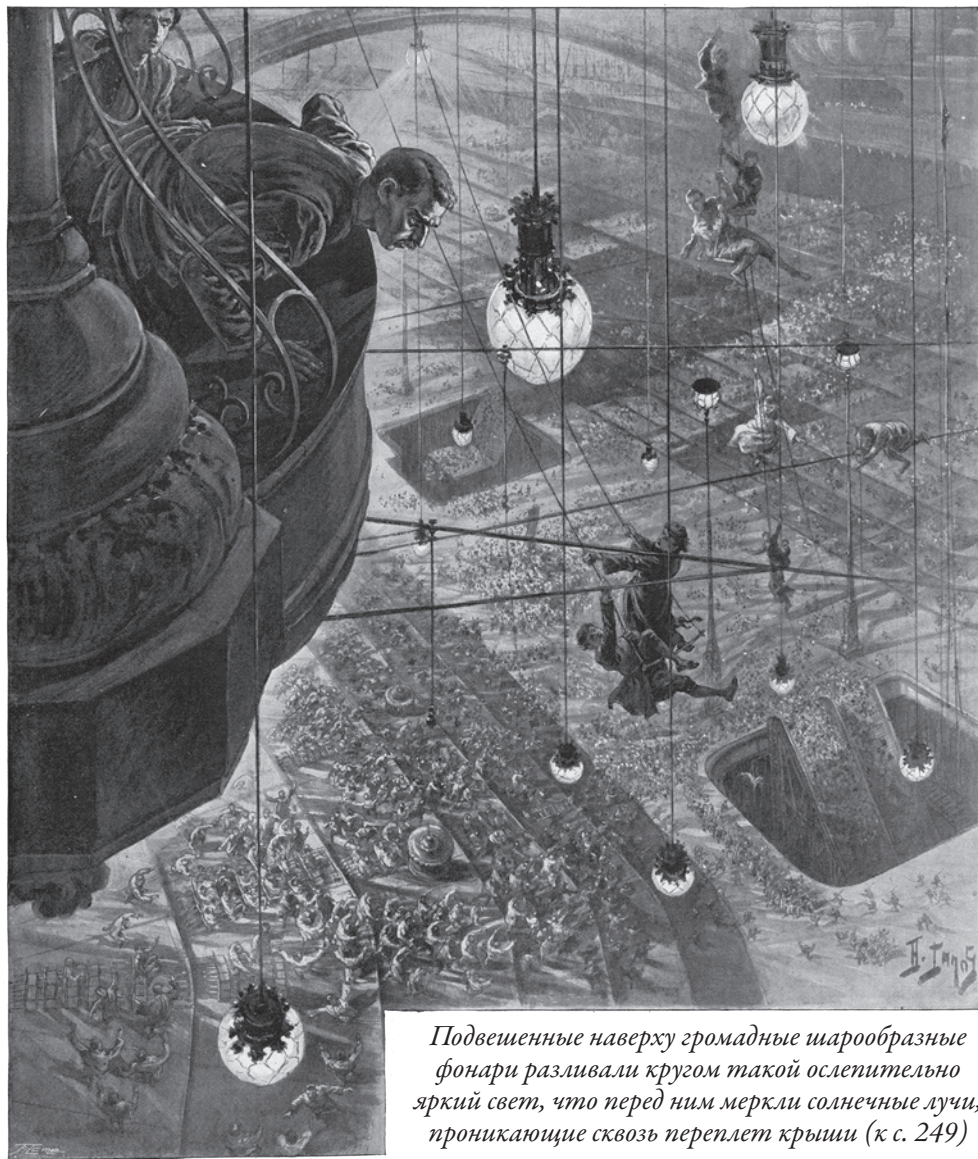
тянуло туда, в галерею. Он бросил исподтишка быстрый взгляд на Говарда и, отдаваясь своему порыву, юркнул под арку. В два прыжка он очутился внизу и в следующий момент уже стоял на том самом балконе, где после пробуждения он застал трех человек.

## Глава V ДВИЖУЩИЕСЯ УЛИЦЫ

Он подбежал к решетке балкона. Откуда-то снизу до него донеслись громкие крики кишевшей на огромном пространстве волнующейся толпы. При его появлении в этих криках послышалось изумление.

Подавляющая грандиозность того, что он увидел, — вот первое, что поразило его. Под ним была площадь необычайных размеров, окруженная гигантскими зданиями. Вокруг всего широкого пространства площади стояли колоссальные кариатиды, поддерживая узорчатую, необыкновенно тонкой работы крышу из какого-то прозрачного вещества. Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши. Там и сям над этой глубиной висели легкие, как паутинка, мостики, усеянные прохожими. В воздухе по всем направлениям были протянуты тонкие кабели.

Он видел над собой массивный фронт ближайшего здания, противоположный же фасад был так далеко, что представлялся ему как в тумане: весь он был прорезан какими-то арками, большими круглыми отверстиями вроде бойниц, усеян балконами, башенками, широкими окнами и какими-то мудреными барельефами и испещрен по всем направлениям надписями, составленными из непонят-



*Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши (к с. 249)*

ных букв. В круглые отверстия, проделанные в стене этого здания, были проведены особенно толстые кабели, прикрепленные под крышей площади в разных местах. Едва успел Грехэм заметить эти кабели, как внимание его привлекла крошечная человеческая фигурка в светло-голубом. Человек лепился под самой крышей на каменном выступе у места прикрепления

одного из кабелей. Свесившись вперед, он возился с какими-то проводами, соединенными с главным кабелем, почти невидным на таком расстоянии. Вдруг он так стремительно бросился вниз, что у Грехэма замерло сердце, и, скользя по кабелю с головокружительной быстротой, исчез в одном из круглых отверстий здания по ту сторону площади.

До сих пор Грехэм смотрел только вверх и прямо перед собой, и то, что он видел, до такой степени завладело его вниманием, что он долго не замечал ничего другого. Но каково же было его изумление, когда он взглянул, наконец, вниз! Под ним была улица, но совсем не такая, к каким он привык. В девятнадцатом столетии улицами назывались полосы твердого, неподвижного грунта, вдоль которых посредине ехали экипажи, а по бокам шли пешеходы. А эта улица была футов в триста шириною и... двигалась. Двигалась вся, за исключением середины, которая была ниже краев. В первый момент это ошеломило его, но потом он понял, в чем дело.

Под балконом, где он стоял, эта необыкновенная улица неслась слева направо, неслась непрерывным потоком со скоростью курьерского поезда девятнадцатого века. Это была бесконечная платформа, составленная из отдельных, сцепленных между собою площадок, что позволяло ей следовать по всем поворотам пути. По всей платформе были расставлены скамьи, местами виднелись киоски. Но все это мчалось с такой быстротой, что он не мог рассмотреть подробностей. Таких движущихся платформ было несколько, все они шли параллельно одна другой. Ближайшая к нему, наружная, платформа двигалась с наибольшей быстротой; смежная с ней, бывшая немного пониже, двигалась тише; следующая — еще тише и так далее. Разница в скорости движения была так мала, что позволяла легко переходить с одной платформы на другую и таким образом перебираться на середину улицы, которая была неподвижна. А за этой неподвижной средней полосой начинался новый ряд платформ, которые тоже двигались с постепенно увеличивающейся быстротой, но только в обратную сторону, справа налево. Все эти платформы ки-

шли народом. Это была необыкновенно пестрая толпа. Одни на наружных платформах сидели группами, как в вагонах, другие переходили с платформы на платформу, направляясь к середине на неподвижной полосе.

— Вам нельзя здесь быть! — закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. — Сейчас же уходите!

Грехэм ничего не ответил. Он слышал слова, не вникая в них. Бегущие платформы грохотали, народ кричал. В этой проносившейся мимо толпе особенно выделялись молодые женщины, с распущенными волосами, в необыкновенно красивых и оригинальных нарядах, с какими-то перевязями на груди. Потом он заметил, что преобладающим цветом в этом калейдоскопе костюмов был светло-голубой. Он вспомнил, что такого цвета платье было и на подмостке портного. До него донеслись крики: «Где Спящий? Что сделали со Спящим?» И вдруг вся ближайшая к нему платформа покрылась светлыми пятнами человеческих лиц. Поднимались руки, на него указывали пальцами. Он заметил, что на том месте неподвижной полосы улицы, которое приходилось против балкона, выросла густая толпа людей в голубом. Там завязалась какая-то борьба. Людей разгоняли в обе стороны, толкая на бегущие платформы, которые и увозили их против воли. Но, отъехав на приличное расстояние от места свалки, они сейчас же соскакивали опять на середину улицы и возвращались назад.

«Это Спящий, право, это Спящий!» — кричали одни. «Да нет, совсем не он!» — перебивали другие. Все больше и больше лиц обращалось вверх, к балкону.

Грехэм заметил, что по всей длине средней полосы улицы, на равных расстояниях один от другого, темнели открытые люки, служившие, по-видимому,



началом лестниц, уходивших вниз, под землю. По всем этим лестницам вверх и вниз сновали люди. Один из ближайших к нему люков оказался центром разгоревшейся борьбы. Сюда сбегались голубые с движущихся платформ, ловко перепрыгивая с одной на другую. Внимание толпы на внешних платформах делилось между этим люком и балконом. Десятка два дюжих молодцов в ярко-красной форме, действовавших очень методично и дружно, были, по-видимому, приставлены к люку, чтобы никого не пускать вниз. Толпа вокруг них быстро росла. Яркий цвет мундиров резко отличался от светло-голубых костюмов их противников, — да, противников, так как было ясно, что между красными и голубыми происходит борьба.

Грехэм с жадным любопытством смотрел на эту картину, не обращая внимания на Говарда, который что-то кричал ему в ухо и тряс его за плечо. Потом Говард вдруг куда-то исчез, и Грехэм остался один.

Толпа продолжала кричать: «Вон Спящий, смотрите!» — и все новые и новые голоса подхватывали этот крик. Сидевшие на наружной, ближайшей к Грехэму, платформе вставали, и он заметил, что люди покидали ее по мере удаления от балкона. То же происходило и по ту сторону улицы на наружной платформе, мчавшейся в противоположном направлении: к балкону она приближалась, переполненная народом, а удалялась пустая. Толпа в середине улицы росла с невероятной быстротой: это было какое-то живое, волнующее море. Отдельные крики «Спящий! Спящий!» слились в один сплошной непрерывный ликующий рев. Махали платками, слышались крики: «Остановить улицы!» Выкрикивалось еще какое-то имя, совершенно неизвестное Грехэму: «Острог» или что-то в этом роде. Нижние платформы вско-

ре тоже переполнились народом, бежавшим навстречу их движению, чтобы не удалаться от балкона.

«Остановите, остановите улицы!» — раздавалось со всех сторон. Многие быстро перебежали с середины улицы на ближайшую платформу, пронеслись мимо, выкрикивая какие-то непонятные слова, потом соскакивали на смежные платформы и бегом возвращались назад с криком: «Да, да, это Спящий, это он!»

Сначала Грехэм стоял не шевелясь, но мало-помалу он понял, что эти крики относятся к нему. Эта неожиданная популярность очень польстила ему, и, желая как-нибудь выразить свою признательность, он поклонился и помахал рукой. Это вызвало такую бурю восторга, что он был поражен.

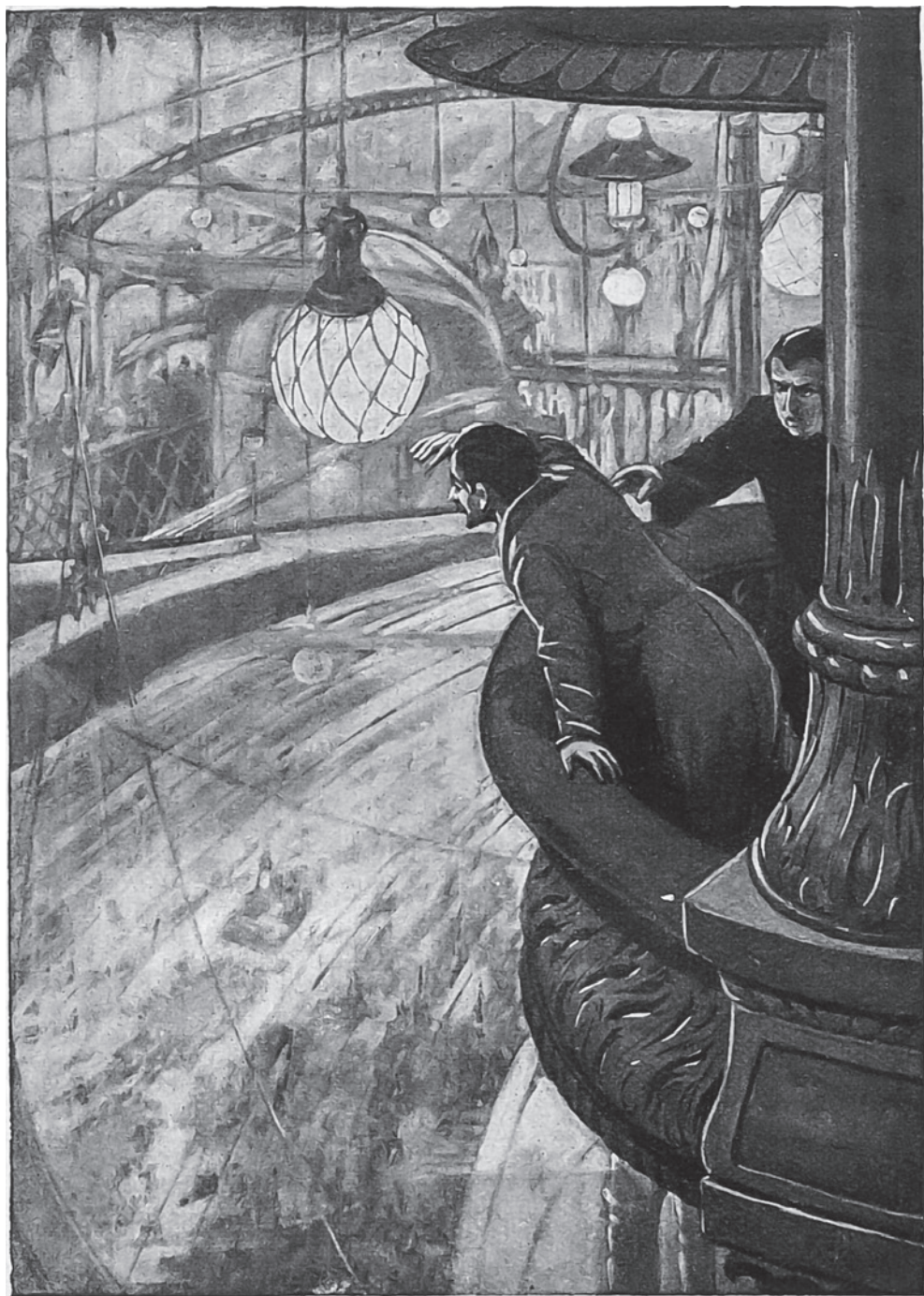
Свалка у люка приняла ожесточенный характер. Балконы переполнились людьми. Люди скользили по кабелям, проносились по воздуху через всю огромную площадь, сидя на каких-то трапециях. Он услышал за собой голоса: по лестнице, со стороны арки, бежало несколько человек. Он вдруг почувствовал, что его схватили за руку, и, обернувшись, увидел перед собой Говарда, кричавшего ему что-то, чего он за шумом не мог разобрать. Говард был бледен как полотно.

— Уйдите отсюда, — расслышал он наконец. — Они остановят улицы. Поднимется настоящий содом.

Грехэм увидел, что по галерее между колоннами бегут еще люди. Впереди была его стража — рыжий и белокурый — и еще какой-то высокий человек в красном мундире, а за ним бежала целая толпа других в такой же форме с жезлами в руках. У всех были встревоженные, перепуганные лица.

— Уведите его! — закричал Говард.

— Зачем? — спросил Грехэм. — Я не понимаю...



— Вам нельзя здесь быть! — закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. — Сейчас же уходите! (к с. 251).

— Говорят вам — уходите! — сказал человек в красном решительным тоном. Не менее решительно было и выражение его глаз. Грехэм обвел взглядом окружавшие его лица и тут в первый раз испытал самое неприятное ощущение из всех, какие бывает у человека — сознание своего бессилия против грубой силы. Кто-то схватил его за руку... Его потащили с балкона. Тогда шум, доносившийся с улицы, удвоился и изменил характер: казалось, половина кричавших там голосов перенеслась наверх, в галерею огромного здания, в котором был он. Ошеломленного, растерявшегося, тщетно пытающегося сопротивляться Грехэма протащили через всю галерею, и не успел он опомниться, как очутился один с Говардом в клетке лифта, быстро уносившего их вверх.

## Глава VI ЗАЛ АТЛАСА

С того момента, как ушел портной, и до того, когда Грехэм с Говардом очутились в лифте, прошло не более пяти минут.

Грехэма все еще окутывал туман его бесконечно долгой спячки: все еще непривычное для него сознание того, что он жив и живет в столь далекую от его прежней жизни эпоху, придавало в его глазах всему окружающему отпечаток чудесного, сказочного. Все, что он видел, было для него сном наяву. Он все еще был недоумевающим зрителем, оторванным от жизни, участвовавшим в ней лишь наполовину. Все его новые впечатления, особенно эта бушующая, ревущая толпа, которую он видел в рамке балкона, имела для него характер театрального представления, как будто он смотрел из ложи на сцену.

— Я не понимаю, — сказал он. — Из-за чего вся эта кутерьма? У меня му-

тится ум. Чего они требуют? Кому грозит опасность?

— Мы переживаем смутное время, — ответил Говард, избегая пытливого взгляда Грехэма. — Дело в том, что ваше появление, ваше пробуждение именно в данный момент как раз совпало с...

Он круто оборвал речь. Он говорил вообще с трудом, точно у него перехватило дыхание.

— Я не понимаю, — сказал Грехэм.

— Поймете позже, — отвечал Говард.

Он с беспокойством поглядел вверх, как будто ему казалось, что лифт подымается слишком тихо.

— Надеюсь, что пойму, когда немного осмотрюсь, — проговорил Грехэм неуверенно. — А пока все это ошеломляет меня. Все кажется возможным, всему можно поверить, всему... У вас и счет, как я слышал, другой.

Лифт остановился. Они вышли и очутились между высокими стенами длинного узкого коридора, вдоль которого тянулись сотни толстых кабелей и труб.

— Неужели мы все в одном и том же здании? — спросил Грехэм. — Где мы?

— Это центральная сеть проводов, служащих для разных общественных надобностей, — освещения и так далее.

— А что это было на улице, под балконом? Бунт? Какое у вас управление? Полиция у вас еще есть?

— И даже не одна, — ответил Говард.

— Не одна?

— Да, целых четырнадцать видов.

— Ничего не понимаю.

— Ничего нет удивительного. Наш общественный строй, наверное, покажется вам очень сложным. А по правде сказать, я и сам плохо в нем разбираюсь. Да и не я один... Вы, может быть, поймете со временем... Ну, идемте в Совет.

Внимание Грехэма все время раздвигалось. Ему хотелось успеть побольше расспросить Говарда обо всем, но его беспрестанно отвлекали новые впечатления, новые встречи в коридорах и залах, по которым они проходили. Мысли его то сосредоточивались на Говарде и его уклончивых ответах, то обрывались под ярким впечатлением чего-нибудь нового, неожиданного. Половина людей, попадавших им в коридорах и залах, была в красных мундирах. Светло-голубых холщовых костюмов, которые преобладали на движущихся улицах, здесь не было и следа. Все эти люди с любопытством смотрели на него и кланялись ему и Говарду.

Помнилось ему также, что они проходили каким-то длинным коридором, где было много маленьких девочек. Все они сидели рядами на низких скамейках, точно в классе. Учителя не было, а вместо него стоял какой-то невиданный аппарат, из которого, как ему показалось, исходил человеческий голос. Девочки с удивлением и любопытством разглядывали его и провожатого. Но его увлекли дальше, прежде чем он успел отдать себе отчет, что это было за сборище детей. Он решил про себя, что внимание попадавших им навстречу людей относилось не к нему, а к Говарду. Говард был, по-видимому, важной персоной, его же, Грехэма, ведь никто ни знал. А между тем тот же Говард был приставлен к нему сторожем. Странно!..

Потом ему, как во сне, представлялся другой проход, над которым висел пешеходный мостик на такой высоте, что видно было только ноги проходивших по нему. У него осталось смутное впечатление еще каких-то переходов и встречных прохожих, которые оборачивались и с изумлением глядели вслед им обоим и сопровождавшему их конвойному в красном мундире!

Действие подкрепляющего питья, которое ему давали раньше, начинало проходить. Он скоро устал от быстрой ходьбы и попросил Говарда идти потише. Вскоре они опять сидели в клетке лифта. В ней было окно, выходившее на ту самую площадь, на которую он смотрел с балкона. Но окно было из не вполне прозрачного стекла и закрыто, и, кроме того, они были на большой высоте, откуда нельзя было различать движущихся улиц. Но зато он видел, как люди проносились в воздухе, скользя по кабелям, и сновали по хрупким, легким, как кружева, мостикам.

Потом они вышли из лифта и перешли улицу по узкому стеклянному крытому мосту, висевшему над ней на огромной высоте. Пол моста был тоже стеклянный, так что у него голова закружилась, когда он нечаянно посмотрел вниз. Ему вспомнились скалы между Нью-Кеем и Боскасом, которые он представил себе так живо, как будто видел их вчера, и он решил, что этот мост должен находиться на высоте футов четырехсот над движущимися улицами. Он остановился и посмотрел себе под ноги, вниз, на копошившуюся там красно-голубую толпу людей, казавшихся крошечными на таком расстоянии, по-прежнему махавших руками и продиравшихся к балкону — к игрушечному балкончику, каким он ему представлялся теперь и на котором он недавно стоял. На этой высоте свет огромных осветительных шаров был так ярък, что по контрасту с ним все, что было внизу, казалось подернутым мглой.

Вдруг откуда-то сверху, с еще более высокого пункта, сорвался человек, сидевший в открытой корзинке, — сорвался так стремительно, точно упал, — и, скользя по кабелю, пронесся мимо них. Глаза Грехэма невольно приковались к этому странному путешественнику, и только когда тот исчез в круглом от-



версии стены пониже моста, взгляд его опять обратился на бушевавшую внизу толпу.

Одна из наружных платформ мчалась, вся красная от покрывавшей ее сплошной массы красных мундиров. Когда она поравнялась с балконом, эта красная масса распалась на отдельные красные пятнышки и полилась с платформы на платформу к тому месту у люка, где происходила борьба.

Оказалось, что все эти красные люди были вооружены дубинками, которыми они действовали очень ловко, расшвыривая толпу. Раздался тысячеголосый яростный вопль, долетевший до Грехэма наполовину заглушённым.

— Вперед! — крикнул Говард, толкая его.

В эту минуту еще какой-то человек бросился по кабелю вниз. Грехэм хотел посмотреть, откуда он слетел, и, взглянув вверх, увидел сквозь стеклянную крышу моста и сквозь сеть переплетающихся над ней кабелей неясные очертания вертящихся лопастей, напоминавших крылья ветряных мельниц, и между ними просветы далекого бледного неба. Но тут Говард опять потащил его вперед.

— Я хочу посмотреть, — начал было Грехэм упираясь.

— Нет, нет, нельзя останавливаться, идите за мной! — закричал Говард, еще крепче сжимая его руку. Красные конвойные, сопровождавшие их, уже готовы были, как ему показалось, подкрепить это приказание более осязательным воздействием, и он должен был покориться. Вскоре они вошли в узкий коридор, все стены которого были испещрены геометрическими фигурами.

В глубине коридора показалось несколько негров в черных с желтым мундирах, с узким перехватом у талии, отчего они были похожи на ос. Один из них поспешно отодвинул к стене какой-то

щит, оказавшийся дверью, дал им пройти и повел их куда-то дальше. Они очутились в галерее, выступавшей в виде хор над одним концом высокого зала, или, вернее, огромного вестибюля. На противоположном конце подымавшиеся вверх ступени широкой лестницы вели к величественному portalу, полузавешенному тяжелой драпировкой. Здесь тоже стояли навтыжку негры в черных с желтым мундирах и белые люди в красном. Сквозь портал был виден другой зал, еще больших размеров.

Сопровождавший их черный служитель прошел вперед, отодвинул второй щит и остановился в ожидании. Проходя по галерее, Грехэм слышал, как шептались внизу, и видел, что все головы поворачивались в его сторону. «Спящий! Спящий!» — донеслось до него. Через узкий проход, проделанный в стене вестибюля, они вышли в другую галерею, железную, ажурной работы. Она тянулась вокруг того самого большого зала, который он уже видел сквозь портал. Только теперь, очутившись в этом зале, он получил полное представление о его колоссальных размерах. Черный служитель с тонкой, как у осы, талией отступил в сторону, как подобает хорошо выдрессированному рабу, и задвинул за ними щит.

Все то, что Грехэм видел до сих пор, по роскоши убранства не могло идти в сравнение с этими хоромами. В противоположном конце зала, ярко освещенная, стояла гигантская, могучая белая фигура Атласа, в напряженной позе, с земным шаром на согнутой спине. Эта фигура поразила его: она была так колоссальна, так реальна в своем терпеливом страдании, так проста... Если не считать этой гигантской фигуры да высокой эстрады посредине зала, он был совершенно пуст. Эстрада терялась в огромном пространстве этой пустыни, и только группа

из семи человек, стоявших на ней вокруг стола, давала понятие об ее настоящих размерах. Все эти люди были в белых мантиях. По-видимому, они поднялись со своих мест при появлении Грехэма и теперь в упор смотрели на него. На одном конце стола сверкала сталь каких-то механических приборов.

Говард провел его по галерее до того места, которое приходилось прямо против могучей, согнувшейся под тяжестью своей ноши фигуры. Тут они остановились. Два красных конвоира, не отстававшие от них ни на шаг, стали по бокам Грехэма.

— Постойте здесь, я сейчас вернусь, — пробормотал Говард и, не дожидаясь ответа, побежал куда-то дальше по галерее.

— Позвольте, — начал Грехэм и двинулся было вслед за Говардом, но одни из красных загородил ему дорогу.

— Извольте оставаться здесь, сэр, — сказал он. — Так приказано.

— Кем?

— Все равно кем. Приказ.

Грехэм покорился.

— Что это за здание, — спросил он, — и кто эти люди?

— Члены Совета, сэр.

— Какого Совета?

— У нас один Совет.

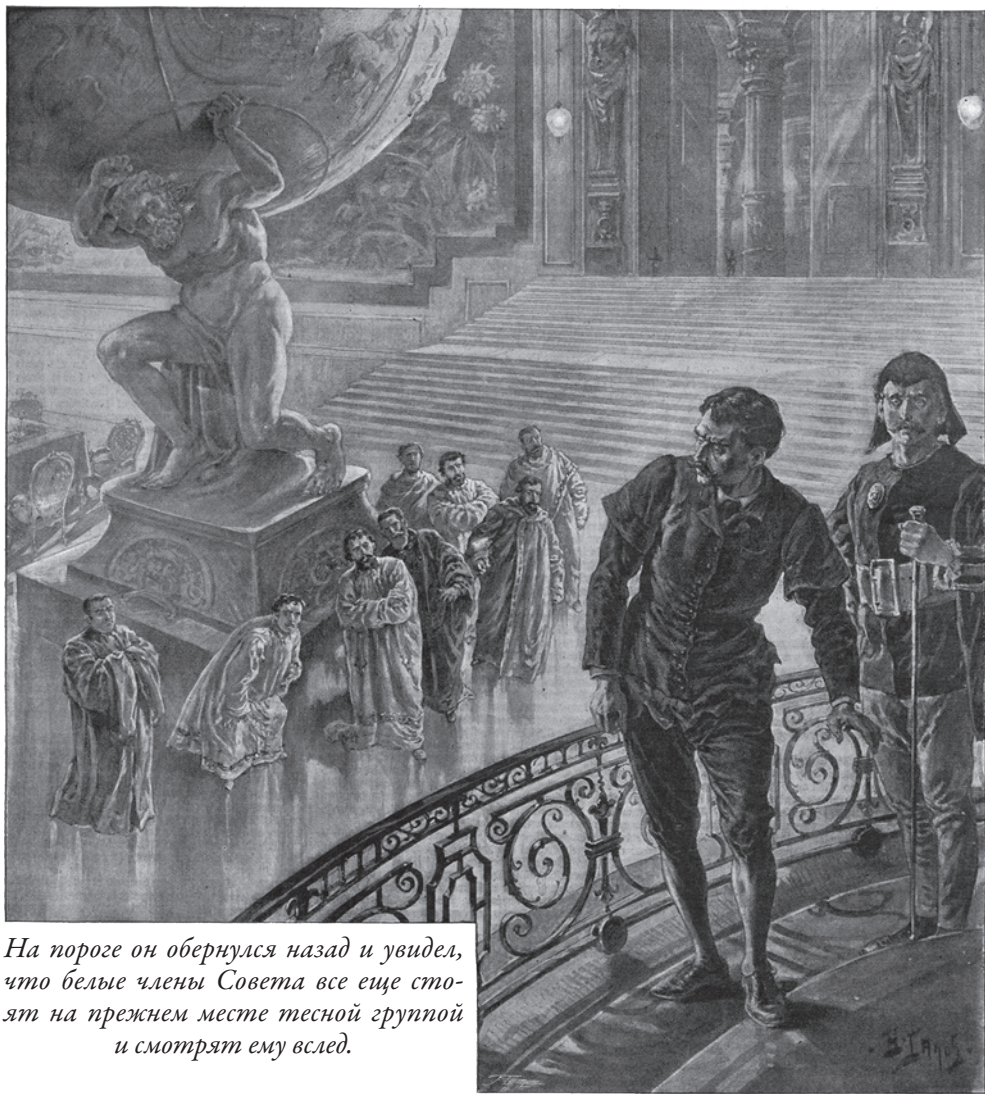
— А... — пробормотал Грехэм и после безуспешной попытки заговорить с другим конвойным подошел к решетке галереи и стал смотреть на людей в белом, которые стояли внизу и, в свою очередь, смотрели на него, о чем-то перешептываясь.

Теперь он насчитал их восемь человек, хотя и не заметил, когда появился восьмой. Ни один из них не сделал ему знака приветствия. Они стояли и смотрели на него, как в девятнадцатом столетии остановившаяся на улице кучка людей могла бы смотреть на воздушный

шар, неожиданно показавшийся сверху. Что это за таинственное собрание? Кто эти восемь человек, стоящие у ног внушительного белого колосса среди пустыни этого огромного зала, где их не могут подслушать ничьи нескромные уши? Зачем его поставили перед ними и зачем они так странно смотрят на него и говорят о нем шепотом, так что он не может их слышать? Внизу показался Говард. Он быстро шел через зал, направляясь к эстраде. Перед ступенями эстрады он остановился, отвесил глубокий поклон и проделал ряд своеобразных движений, как это, очевидно, полагалось по церемониалу. Потом он поднялся по ступенькам и стал у того конца стола, где были расставлены таинственные приборы. С ним заговорил один из членов Совета.

Грехэм с любопытством следил за их неслышной беседой. Он видел, как собеседник Говарда поглядывал наверх, в его сторону. Он тщетно напрягал слух: до него не долетало ни звука. Но, судя по энергичной жестикуляции обоих собеседников, разговор принимал все более и более оживленный характер. В недоумении он поднял вопрошающий взгляд на своих сторожей, но их бесстрастные лица ничего не сказали ему... Когда он снова глянул вниз, он увидел, как Говард разводил руками и качал головой, явно протестуя. Его прервал один из белых сановников, ударив рукой по столу.

Разговор тянулся бесконечно долго — так, по крайней мере, казалось Грехэму. Он поднял глаза на безмолвного великана, у ног которого заседал Совет, потом взгляд его стал блуждать по стенам. Они были сплошь покрыты рисунками в японском вкусе, вставленными в рамы из темного металла. Воздушная грация этих рисунков еще более усиливала внушительное впечатление, которое производила могучая белая фигура гиганта, застывшего в своей напряженной позе.



*На пороге он обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной группой и смотрят ему вслед.*

В то время как Грехэм вспомнил о Совете и снова посмотрел вниз, Говард спускался с эстрады. Когда он подошел настолько близко, что можно было рассмотреть его лицо, Грехэм заметил, что он очень красен и отдувается, как человек, только что покончивший с трудной задачей. Следы волнения еще оставались на его лице даже и тогда, когда он поднялся на галерею

— Сюда, — сказал он коротко, и все четверо направились к маленькой дзве-

ри, которая отворилась при их приближении. Красные конвойные стали по бокам этой двери, а Говард попросил Грехэма войти. На пороге он обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной группой и смотрят ему вслед. Потом тяжелая дверь затворилась за ними, и первый раз с момента своего пробуждения Грехэм очутился в полной тишине. Даже пол был затянут войлоком, так что не слышно было шагов.

Говард отворил вторую дверь, и они вошли в первую из двух смежных комнат, в которой все убранство было белого и зеленого цвета.

— Что это за Совет? — спросил Грехэм. — О чем они совещались? Что они намерены сделать со мной?

Говард тщательно запер дверь, тяжело перевел дух и что-то пробурчал себе под нос, потом прошелся по комнате и остановился перед Грехэмом отдуваясь.

— Уф! — вырвалось у него с облегчением. Грехэм смотрел на него и ждал.

— Надо вам знать, — начал Говард, избегая его взгляда, — что наш общественный строй очень сложен. Всякое неполное объяснение может дать вам совершенно ложное представление о нем. Все дело тут отчасти в том, что ваш маленький капитал вместе с завещанным вам состоянием вашего кузена Уорминга, увеличиваясь из года в год процентами и процентами на проценты, вырос до чудовищной цифры. А кроме того, и по другим причинам, — я не могу вам объяснить почему, — вы стали важным лицом, настолько важным, что можете влиять на судьбы мира.

Он замолчал.

— Ну и что же? — спросил Грехэм.

— У нас теперь трудное время... Народ волнуется...

— Ну?

— Ну, словом, дела обстоят таким образом, что признано целесообразным изолировать вас.

— То есть посадить меня под замок?

— Нет... только просить вас побыть некоторое время в уединении.

— Это, по меньшей мере, странно, — возмутился Грехэм.

— Вам не сделают никакого вреда, но вам придется посидеть ...

— Пока мне не растолкуют, какое отношение имеет моя личность к вашим общественным делам?

— Именно.

— Прекрасно. Так начинайте же ваши объяснения. Почему вы сказали: «Не сделают вреда»? Разве и это было под сомнением?

— Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.

— Почему?

— Это слишком длинная история, сэр.

— Тем больше причин начать не откладывая. Вы говорите, я важная особа. В таком случае вы должны исполнить мое требование. Я хочу знать, что значат крики толпы, которые я слышал с балкона? Какое отношение имеют они к тому, что я очнулся от моей многолетней спячки? И кто те люди в белом, которые сейчас совещались обо мне?

— Все в свое время, не торопитесь, — сказал Говард. — Мы переживаем переходное время: никто ни в чем не уверен. Ваше пробуждение... Никто не ожидал, что вы проснетесь. Это событие и обсуждает Совет.

— Какой Совет?

— Тот, который вы видели.

Грехэм сделал порывистое движение.

— Это черт знает что! Вы обязаны все мне рассказать!

— Вооружитесь терпением. Я очень вас прошу, подождите.

Грехэм резко опустил на стул.

— Я так долго ждал возвращения к жизни, что, очевидно, могу и еще подождать, — сказал он.

— Вот так-то лучше, — одобрил Говард. — А теперь мне придется оставить вас... ненадолго. Мне нужно быть в Совете... Извините.

Он направился к выходу, приостановился было в нерешительности, потом бесшумно отворил дверь и исчез.

Грехэм попробовал дверь и убедился, что она заперта каким-то особенным, неизвестным ему способом, потом он



повернулся, походил из угла в угол и сел. Он долго сидел неподвижно со скрещенными руками с нахмуренным лбом, стараясь связать в одно целое все пестрые впечатления первых часов своей новой жизни. Эти гигантские сети протянутых в воздухе кабелей, паутина висячих мостов, эти огромные залы, бесконечные переходы; эта бурная волна народного движения, заливающая улицы, потом эта кучка белых людей у ног колоссального Атласа, — людей, явно недоброжелательно к нему настроенных; загадочное поведение Говарда, его обмолвки о каком-то огромном капитале, который по праву принадлежит ему, Грехэму, но которым, может быть, уже успели распорядиться без него; намеки на чуть ли не мировое значение его личности — всего этого никак не мог вместить его ум. Что он должен делать? Вернее, что он может сделать? Эти законопаченные комнаты красноречиво говорили о том, что он узник.

На одну минуту ему показалось несомненным, что весь этот ряд подавляющих впечатлений — просто сон. Он попробовал закрыть глаза, что оказалось не трудно, но это освященное временем средство не привело к пробуждению.

Потом он принялся исследовать все незнакомые детали обстановки обеих маленьких комнат, куда его заперли.

В большом овальном зеркале он увидел свое отражение и был поражен: на нем был изящный костюм, пунцовый со светло-голубым. Остроконечная, с легкой проседью борода и полуседые волосы, оригинально, но красиво зачесанные надо лбом, совершенно меняли его лицо. Теперь ему можно было дать на вид лет сорок пять. В первую минуту он не узнал себя. И громко расхохотался, когда, наконец, узнал.

«Вот зайти бы к Уормингу в таком виде и предложить ему пойти со мной

позавтракать в ресторане!» — мелькнуло у него в голове.

Продолжая смеяться, он стал перебирать одного за другим тех немногих близких друзей своей молодости, над кем можно было бы теперь так хорошо подшутить, и вдруг вспомнил, что из всех людей не осталось в живых ни души, что все они умерли много десятков лет тому назад. Сердце его сжалось острой болью, смех разом оборвался и сменился выражением отчаяния на побледневшем лице.

Но потом более яркая, волнующая картина огромных зданий и этих удивительных движущихся улиц, запруженных народом, снова выступила на первый план. Отчетливо, как живые, представились ему толпы кричащих людей и эти неслышно совещающиеся вдали сновники в белом, в которых он чувствовал врагов. Какую маленькую, ничтожную фигурку представляет он собою! Как он бессилен и жалок при всем своем «мировом значении»! И как странно, как непонятно все, что его окружает, — весь мир!

## Глава VII В ПОКОЯХ БЕЗМОЛВИЯ

Но надо было жить, надо было чем-нибудь наполнять свое время. Грехэм вздохнул и принялся за осмотр своего помещения. Любопытство пересиливало и усталость и тоску.

Первая комната была очень высока, с потолком в виде купола. Посредине этого купола был овальный прорез, выходящий на крышу воронкой, и снизу были видны широкие лопасти вращавшегося в нем колеса, очевидно приспособления для вентиляции. Слабое гудение колеса было единственным звуком, нарушавшим тишину. В промежутки между тихо

вертевшимися лопастями мелькали полоски темного неба, и вдруг Грехэм увидел звезду.

Это очень его удивило и заставило обратить внимание на тот факт, что в комнате не было окон. Он осмотрел ее внимательнее и заметил, что своим ярким освещением, не уступавшим дневному свету, она была обязана маленьким лампочкам, которыми были усеяны все карнизы. Тогда он стал припоминать и вспомнил, что ни в одном из огромных коридоров и залов, которыми они с Говардом проходили, он не заметил окон. Правда, он видел несколько окон, выходящих на улицу, но для освещения ли предназначались они? Быть может, они имели другое назначение. Может быть, этот город освещается искусственным светом и ночью и днем, так что в нем никогда не бывает темно?

Поразила его еще одна вещь: ни в той, ни в другой комнате не было камина. Может быть, на дворе стояло лето и эти комнаты были летним помещением? Или, быть может, весь город равномерно отапливается зимой и так же равномерно охлаждается летом? Его это заинтересовало. Он тщательно ощупал гладкие стены, осмотрел все карнизы, углы: нигде не было и следов каких-нибудь проводов для отопления. В одном углу стояла кровать, на вид очень простая, но с целым ассортиментом остроумных приспособлений, позволявших обходиться без посторонних услуг. Все вообще поражало полным отсутствием вычурных украшений при необыкновенной красоте форм и таком приятном сочетании цветов, что нельзя было оторвать глаз. На всем лежал отпечаток изящной простоты. Эта кровать да несколько удобных кресел вокруг легкого небольшого стола составляли всю меблировку. На столе стояли стаканы, бутылки с напитками и два блюда с каким-то полупрозрачным кушаньем,

похожим на желе. Но странно: не было ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. «И вправду, видно, свет переменялся», — подумал Грехэм.

Во второй комнате вдоль одной стены тянулся длинный ряд небольших цилиндров с зелеными надписями по белому фону, что вполне гармонировало с убранством этой комнаты. Посредине этого ряда цилиндров выступал вперед, в виде квадратного ящика около ярда длиной и шириной, какой-то аппарат. Одна его сторона, обращенная к комнате, представляла гладкую белую доску. Перед аппаратом стоял стул.

Сначала Грехэм занялся цилиндрами. «Уж не заменяют ли им книги эти приборы?» — мелькнуло у него в голове. Надписей он долго не мог разобрать. В первую минуту ему показалось, что они на русском языке, но потом, по некоторым словам, он догадался, что это сокращенные английские фразы. «Человек, который хотел быть королем», — прочел он на одном цилиндре.

— А-а, «Человек, который хотел быть королем». Фонетическое правописание!

Он вспомнил, что читал когда-то повесть под этим заглавием; припомнил и самую повесть, одну из лучших в мире. Затем он разобрал еще два заглавия на двух других цилиндрах: «Сердце тьмы» и «Мадонна будущего». О таких книгах он никогда не слышал. Если они существуют, то значит их авторы жили не в царствование Виктории, а позднее. Он повертел в руках еще один цилиндр и поставил на место. Потом перешел к черырехугольному аппарату. «Это уж, во всяком случае, не книга». Он снял крышку. Внутри оказался такой же цилиндр, как и остальные, только с кнопкой на верхнем конце вроде кнопки электрического звонка. Он нажал эту кнопку. Что-то затрещало, и когда треск прекра-

тился, он слышал музыку и голоса, а на белой поверхности передней доски появились цветные движущиеся тени. Тогда он понял, что это за аппарат. Он отступил на шаг и стал смотреть.

На гладкой поверхности передней доски отчетливо выступила картина. Фигуры на ней двигались, как живые. И не только двигались, но и говорили, правда, слабыми, как будто издали доносившимися голосами. Получалось такое впечатление, как если бы смотреть на сцену в перевернутый бинокль и слушать через длинную трубку.

Начало представления сразу заинтересовало его. Действующих лиц было двое — мужчина и женщина, очень хорошенькая. Мужчина — молодой человек — в волнении расхаживал по сцене, осыпал гневными упреками женщину, которая дерзко возражала ему. Оба были в живописных костюмах своего времени, казавшихся такими странными человеку девятнадцатого столетия. «Я работал, — говорит мужчина, — а что сделала ты?»

— Ого! Да это любопытно! — пробормотал Грехэм и опустился на стул перед экраном.

Он так увлекся миниатюрным спектаклем, что забыл обо всем. Через пять минут он с удивлением убедился, что маленькие фигурки вдруг упомянули о нем. «Когда проснется Спящий», — услышал он. Это было сказано в ироническом смысле. Фраза, очевидно, вышла в поговорку и применялась в таких случаях, когда говорили о чем-нибудь очень далеком, несбыточном, невероятном. С большим интересом он прослушал всю пьесу, заканчивавшуюся трагически, и оба ее главных героя стали ему близки и понятны.

Что за странная была эта жизнь, — жизнь другой, чуждой эпохи! Что за странный уголок незнакомого мира, в который ему довелось заглянуть! Поисти-

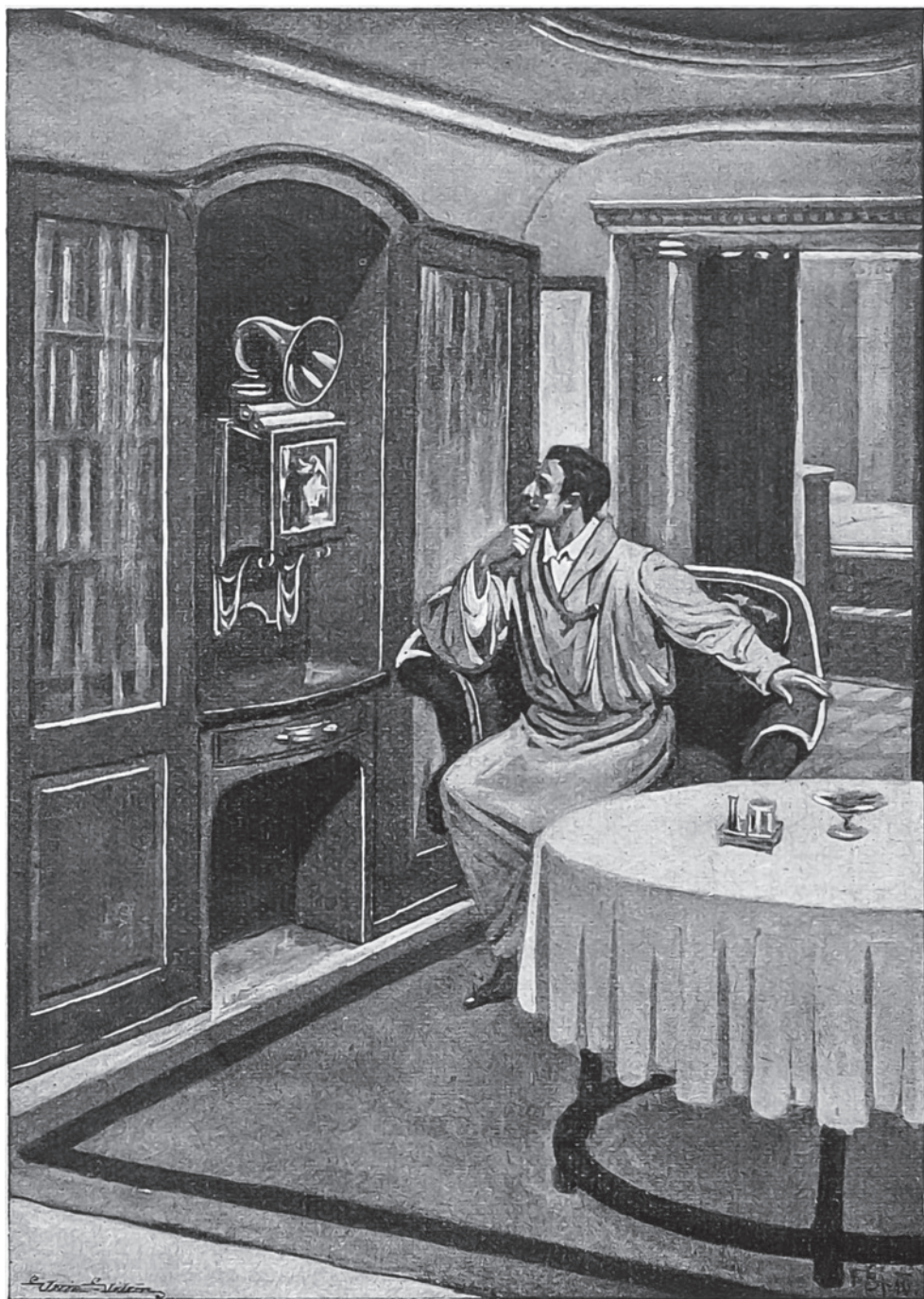
не удивительный мир беззастенчивых, энергичных людей, людей с тонким вкусом, жаждущих наслаждений, и вместе с тем мир экономической борьбы... В пьесе было много такого, чего он не понял, да и не мог понять: какие-то намеки на злободневные вопросы и тому подобное. Но по некоторым маленьким черточкам можно было судить, как радикально изменились за два века нравственные идеалы. Голубой холст, занимавший так много места в его первых впечатлениях от нового Лондона, и здесь фигурировал много раз, и всегда как одеяние простолюдина. Пьеса была, несомненно, из современного быта и отличалась глубоким реализмом. Он еще долго сидел, погруженный в раздумье, после того как она кончилась и экран опустился.

Но вот он, наконец, встряхнулся, протирая глаза. Новейший суррогат нашего теперешнего «романа» так всецело завладел его воображением, что, увидев себя опять в зеленой с белым комнате, где стояли цилиндры, он удивился почти не меньше, чем при пробуждении от своего двухсотлетнего сна.

Он встал, оглянулся кругом и сразу вернулся из мира фантазии в страну реальных чудес. Яркое впечатление маленькой драмы, разыгранной на экране кинетоскопа, побледнело, и перед ним опять встала картина борьбы на необъятном пространстве движущихся улиц, таинственный Совет в зале Атласа и все быстрые фазы его переживаний с минуты пробуждения. В пьесе говорилось о Совете как о власти неограниченной, самодержавной. Много раз упоминалось и о Спящем... Это его почти не поразило тогда; до его сознания в то время как-то не доходило, что ведь он-то и есть этот Спящий... И он стал припоминать, что именно говорили о нем.

Потом он машинально снова прошел в первую комнату, спальню, и стал





*На гладкой поверхности передней доски отчетливо выступила картина.*



смотреть на небо в промежутках между вертящимися лопастями колеса. Если не считать ритмического слабого стука лопастей, кругом стояла мертвая тишина. Комната по-прежнему была ярко освещена неугасимым искусственным светом, но он заметил, что мелькавшие вверху узкие полоски неба теперь казались почти черными и были усеяны звездами.

От нечего делать он снова принялся бродить по комнатам. Наружной двери, обитой чем-то мягким, он никак не мог открыть, как ни старался. Хотел позвонить, но не нашел ни звонка, ни каких-либо других приспособлений, чтобы вызывать прислугу. Чудеса новой жизни уже не удивляли его, но ему страстно хотелось разобраться в своем положении, хотелось знать, какое место занимает он среди новых людей. Он убеждал себя успокоиться и терпеливо ожидать, пока к нему придут, но не мог справиться со своим волнением. Желание знать и жажда новых ощущений томили его.

Он опять вернулся в комнату с кинетоскопом. Он давно уже догадался, что в нем можно менять цилиндры, и теперь ему хотелось узнать, как это делается. Он долго копался, прежде чем ему удалось найти секрет. «А эти цилиндрики, должно быть, много поспособствовали закреплению форм языка. Он так мало изменился за два столетия, что я свободно понимаю его», — подумалось ему. Он взял наудачу первый попавшийся цилиндр и вставил его в аппарат. Аппарат на этот раз воспроизвел оперу. Музыка была незнакомая, но фабулу он сразу узнал. Это была история Тангейзера в переломке на современные нравы. Сначала ему очень понравилось. Играли живо и с большим реализмом. Но что это такое? Этот Тангейзер посещает не Грот Венеры, а Город Наслаждений... Что это? Фу, какая гадость! Не может быть, чтобы это было списано с жизни! Это просто плод

фантазии — разнузданной фантазии развратного писаки... нет, положительно ему не нравилась эта опера: очень уж она была на животные инстинкты человека. И чем дальше, тем хуже. Он возмутился. Какое это искусство? Где же тут идеализация действительности? Это просто фотографические снимки самых грубых сторон человеческой жизни... Нет, нет, довольно с него этих Венер двадцать второго столетия!..

Он и забыл, какую роль играл прототип этих самых Венер в «Тангейзере» девятнадцатого века, и отдался своему архаическому негодованию. Ему стало стыдно. Он поднялся со стула, почти сердясь на себя за то, что мог себе позволить смотреть на эту мерзость, хотя бы и без свидетелей. Нетерпеливым движением он пододвинул к себе аппарат и принялся трогать то тот, то другой рычажок, чтобы остановить механизм. Что-то щелкнуло. Блеснула фиолетовая искра, ему свело руку и обожгло палец. Машина стала. Когда на другой день он хотел заменить цилиндрик с «Тангейзером» чем-нибудь другим, то аппарат оказался испорченным.

Он принялся ходить из угла в угол, стараясь справиться со всей этой массой впечатлений, которые давили его. То, что он уже успел подметить из действительной жизни нового Лондона, и то, что ему открыли цилиндрики, сбивало его с толку своим противоречием. Странная вещь: никогда раньше, дожив до тридцати с лишним лет, он не представлял себе такой картины грядущих времен. «Мы в наше время создавали будущее, — думал он, — и ни одному из нас не приходило в голову задаться вопросом, какое будущее мы создаем... Так вот оно, это будущее! К чему идут эти слепцы? Чего они достигли? О, зачем моя злая судьба привела меня к ним?..»

Его не поражала грандиозность улиц и зданий, не поражало и многолюдство.

Но эти рукопашные схватки! Этот жестокий антагонизм между согражданами! И это систематическое потакание своим низменным инстинктам среди богатых классов...

Он вспомнил социалистическую утопию Беллами, так далеко опередившую то, что он нашел здесь, проспав двести лет. Нет, этого никто не назовет утопией. Где тут социалистический строй? Он уже достаточно видел теперь, чтобы убедиться, что истонное противоречие между роскошью, расточительностью, удовлетворением чувственности, с одной стороны, и позорной бедностью — с другой, оставалось во всей своей силе. Главнейшие факторы человеческой жизни были ему настолько хорошо известны, что он ясно понимал все значение такого соотношения. Не только здания в этом городе были колоссальны. Не только колоссальны были толпы народа, запружавшие его. Колоссально было и всеобщее недовольство. О нем кричали люди на улицах, о нем говорила растерянность Говарда; она носилась в воздухе; все было пропитано им. Где он? В какой стране? Как будто в Англии. А между тем все здесь так чуждо ему... такое все «не свое»... Он попробовал представить себе остальной мир, но мысль его остановилась перед завесой тумана, за которой все было загадкой.

Ломая голову над этими вопросами, он метался из комнаты в комнату, как зверь в клетке. От усталости он дошел до той степени лихорадочного возбуждения, когда уже не можешь ни сидеть, ни лежать. Он то становился под вентилятор и прислушивался, стараясь уловить далекие отголоски уличных волнений, которые, он был уверен, все еще продолжались, то принимался говорить сам с собой.

«Двести три года, — твердил он без конца, смеясь бессмысленным смехом, —

Мне, стало быть, теперь двести тридцать три. Старейший из живущих... Надеюсь, они еще не упразднили прав старшинства. Мои права неоспоримы — права человека девятнадцатого столетия. Что ни говори, а великий был наш век... Великий? А болгарская война? А турецкие зверства? Ха-ха!»

В первую минуту он и сам удивился, поймав себя на этом смехе, а потом стал опять хохотать громко, без удержу. Потом сообразил, что ведет себя как сумасшедший. «Полно, полно! Возьми себя в руки», — сказал он себе.

Он умерил шаги, стараясь ходить ровнее. «Новый мир... Не понимаю я его... Почему все пришло к этому? Почему?.. Кто мне ответит?.. Должно быть, они теперь умеют летать и мало ли что еще... Надо припомнить, как начиналось у нас с этими полетами...»

И он перенесся воображением на двести лет назад. Мало-помалу воспоминания его приняли личный характер. Год за годом перебирал он первые тридцать лет своей жизни. Сначала ему казалось, что память его ослабла, что многое он забыл. Мелькали какие-то обрывки воспоминаний, все больше мелочи, случайные встречи, не игравшие в его жизни никакой роли. Ярче другого вспоминалось детство, школьные годы, школьные книги. Но потом постепенно стало оживать и дальнейшее: знаменательные события, трагические моменты... Образ давно умершей жены, ее когда-то столь магические для него чары. Ожили и другие забытые образы — лица соперников, друзей и врагов. Вспомнились тяжелые минуты колебаний, минуты быстрых решений и, наконец, последние годы сомнений и внутренней борьбы, закончившиеся напряженной умственной работой. Вскоре он убедился, что прошлое вернулось к нему немного потускневшее, быть может, как металл, долго проле-

жавший без употребления, но не утеревшее ни одной черточки, так что его можно было освежить. Освежить? Но зачем? Что принесет ему это, кроме гнетущей тоски? Каким-то чудом он был оторван от жизни, ставшей невыносимой. Надо благодарить за это судьбу.

Мысль вернулась к настоящему. Тщетно он старался осмыслить факты, разобраться в невылазной путанице новых впечатлений... Он поднял глаза к вентилятору в потолке и увидел, что небо порозовело. «Скоро солнце взойдет, надо уснуть», — подумал он. «Уснуть! Какое блаженство!» Только теперь он почувствовал, как отяжелели его члены, как он жестоко устал. Он подошел к простенькой маленькой кровати с мудреными приспособлениями, лег и мгновенно заснул.

Ему пришлось познакомиться со своей тюрьмой ближе, чем он думал, ибо его продержали в заточении трое суток. Странная, непостижимая судьба: вернуться к жизни только затем, чтобы быть оторванным от нее и обреченным на полное одиночество! Перед загадочностью этого заточения бледнело даже чудо его воскресения из мертвых после двухсотлетнего сна.

За все трое суток к нему не входил никто, кроме Говарда, который в определенные часы приносил ему пищу и питье. И кушанья, и напитки были очень вкусны и питательны, но совершенно не знакомы Грехэму. Говард, входя, всякий раз очень тщательно запирали за собою дверь. Он был всегда очень любезен, охотно разговаривал о пустяках, но уклонялся от всяких объяснений насчет того, что особенно занимало Грехэма и из-за чего, как он был уверен, все еще продолжалась борьба за этими глухими стенами. Стоило только задать вопрос об общем положении дел в государстве, как тот заговаривал о другом.

Чего только не передумал Грехэм за эти трое суток? Зачем его держат взаперти? Зачем умышленно оставляют в неведении? Зачем им непременно нужно, чтоб он ничего не видел и не знал? Чтобы объяснить себе эту загадку, он старательно припоминал то, чему был свидетелем, но ни одно объяснение не удовлетворяло его. Кругом него и с ним самим творились такие чудеса, что все становилось возможным и вероятным. Теперь его ничто не удивит: он был готов ко всему. Таким образом, когда пришла, наконец, минута освобождения, она его не застала врасплох.

Уже и раньше он догадывался, что во всем совершающемся не последнюю роль играет личность Спящего, то есть собственная его особа, и поведение Говарда только укрепляло его в этой догадке. Беззвучно отворяясь и затворяясь за этим хитрецом, тяжелая мягкая дверь, казалось, пропускала отголоски происходящих за нею важных событий. Но даже на самые настойчивые, прямые вопросы он отвечал одними увертками.

— Пробуждения вашего не предвидели, а тут, как на грех, оно еще совпало с критическим моментом социального переворота, — твердил он на разные лады. — Чтобы объяснить вам все, пришлось бы рассказать историю страны за полтора гросса лет.

— Я понимаю, в чем дело, — сказал Грехэм. — Вы боитесь меня: боитесь, что я могу вам повредить. Очевидно, у меня есть какая-то власть... или могла бы быть, если б...

— Нет, не то. Прямой власти у вас нет, но... Это я вам, пожалуй, скажу. Ваше громадное состояние (оно возросло до чудовищной цифры за эти двести лет) дает вам опасную возможность вмешательства в общественные дела. Могут оказать нежелательное влияние и ваши допотопные понятия восемнадцатого века.

— Девятнадцатого, — поправил Грехэм.

— Это не меняет дела. Понятия остаются все-таки допотопными, раз вам не знакома ни одна черта нашего общественного строя.

— Скажите, вы считаете меня дураком?

— Конечно нет.

— Так отчего же вы думаете, что я буду действовать безрассудно?

— Мы, видите ли, не ожидали, что вы вообще когда-нибудь будете действовать. На ваше пробуждение никто не рассчитывал. Ну разве можно было думать, что вы проснетесь? Все были уверены, что вы давно умерли. На вас смотрели, как на диковину, как на беспримерный феномен приостановки разложения — и только. По распоряжению Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить ваш труп. И вот... Но это слишком сложно объяснять. Я не могу так, сразу, без всякой подготовки... Вы ведь еще не совсем проснулись.

— Пойдите, не виляйте! — остановил его Грехэм. — Вы говорите, опасное влияние... допотопные понятия... Допустим, что это так. Но отчего же, в таком случае, вы не поделитесь со мной вашей мудростью? Вам следовало бы с утра до ночи, не теряя времени, знакомить меня с фактами, с новыми условиями жизни, чтобы я мог употребить свое влияние с пользой. А я... Чему я научился, что я узнал за эти два дня, с тех пор как проснулся?

Говард закусил губы.

— Я отлично вижу все махинации этого вашего Совета, Комитета или как его там. Вы — его креатура. Говорите же, зачем меня прячут? Кому это нужно? Неужели причина — мое несчастное богатство? Может быть, пока я здесь сижу, ваш Совет стряпает отчет о моих деньгах, который и представит мне потом?

— Такое подозрение... — начал было Говард.

— Э, что там! Не в том дело, — перебил Грехэм. — Скажу вам только, это не пройдет даром тем, кто меня сюда засадил. Не пройдет, попомните мое слово! Я жив. Жив, могу вас уверить. С каждым днем мой пульс бьется сильнее и яснее работает ум. Довольно опеки! Я вернулся к жизни и хочу жить.

— Жить?!

Лицо Говарда осветилось какой-то новой мыслью. Он подошел к Грехэму и заговорил конфиденциальным, дружеским тоном:

— Совет поместил вас сюда для вашего же блага. Но вас это волнует. Понятное дело: вы человек энергичный. Вам здесь скучно. Но все, чего бы вы ни захотели... всякое желание будет исполнено — мы уж позаботимся об этом... Может быть, вы хотели бы... общества?

Он сделал многозначительную паузу.

— Да, хотел бы, — подумав, ответил Грехэм.

— Так и есть! Как это мы упустили из виду?

— Я хотел бы видеть народ, тех людей, что кричали на улицах...

— Ну, это, боюсь... — Говард замаялся, — Но всякое другое общество...

Грехэм стал ходить по комнате не отвечая. Говард стоял у двери, наблюдая за ним. «Что хочет он сказать своим предложением? Что значат его намеки?» Грехэму это было не совсем ясно. «Общество!» А что, если поймать его на слове и потребовать себе собеседника, все равно кого. Может быть, можно было бы вытянуть из этого человека хоть что-нибудь относительно общественных событий? Узнать, по крайней мере, чем кончилась междоусобица, разыгравшаяся в момент его пробуждения?



Он все ходил, соображая, и вдруг догадался, на что намекал Говард. Он круто повернулся к нему.

— Что вы хотели сказать? Какое общество вы мне предлагали?

Говард поднял на него испытующий взгляд и пожал плечами.

— Общество человеческих существ, разумеется, — проговорил он с двусмысленной улыбкой на своем деревянном лице. — Надо вам сказать, что в отношении моральных идей, как и во много другом, мы шагнули вперед сравнительно с вашей эпохой. Если бы вы пожелали, например, развлечься в вашем уединении... женским обществом, мы не нашли бы в этом ничего зазорного, уверяю вас. Мы сумели освободиться от предрассудков. В нашем городе существует особый класс женщин, — необходимый класс, отнюдь не заклейменный всеобщим презрением, как это было в ваше время, и...

Грехэм остановился перед ним и слушал, что будет дальше.

— Это вас развлекло бы, помогло бы вам скоротать время, — продолжал Говард. — Мне следовало бы раньше вспомнить... Но я так озабочен... У нас там такое творится, что голова идет кругом.

И он махнул рукой в сторону двери.

Грехэм колебался. На один миг в его воображении встал образ красивой женщины и своею доступностью соблазнительно манил его к себе. Но минута слабости прошла. В нем закипело негодование.

— Нет! — крикнул он резко и снова принялся нервно шагать из угла в угол.

— Я понимаю, в чем тут дело, — заговорил он опять минуту спустя. — Все, что вы делаете, все, что вы говорите, убеждает меня, что с моей особой связан исход каких-то важных событий, что от меня зависит, какой они примут оборот. И вы рассчитываете усыпить меня раз-

вратом. Так знайте же: я не хочу развлекаться, как вы это называете. Конечно, и распутство тоже жизнь в известном смысле. А что потом? Вечная смерть, забвение... В прежней моей жизни я много думал над этим проклятым вопросом. Я решил его для себя ценою страдания и не намерен начинать сначала. Мне нужны люди, народ, а вы держите меня здесь, как кролика в мешке...

Он дал волю душившему его бешенству. Он потрясал кулаками, выкрикивал архаические проклятия своего века, топал ногами, грозил.

— Я не имею понятия, какой вы партии, какие ваши симпатии, кто вы такой вообще. Я ничего не знаю, и вы нарочно не пускаете меня к свету. Но что вы меня заперли не с добрыми намерениями, это я знаю. И я предупреждаю вас, предупреждаю: берегитесь последствий! Как только я буду у власти...

Он вдруг остановился, сообразив, что такие угрозы могут быть для него роковыми. Говард смотрел на него с каким-то странным выражением в глазах.

— Прикажете передать это Совету? — спросил он.

Грехэму вдруг захотелось броситься на этого негодая, ударить его, придушить. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что Говард мгновенно очутился у двери. В следующую секунду она беззвучно затворилась за ним, и человек девятнадцатого века остался один.

С минуту он стоял в оцепенении, забыв даже опустить свои сжатые кулаки. Потом ударил себя по лбу с криком: «Какой я дурак! О господи, как глупо я себя вел!» — и снова забегал по комнате в бессильной злости.

Он долго еще бесновался, проклиная судьбу, браня себя за глупость, мечая громы и молнии на мерзавцев, которые заперли его. Он бесновался, потому что не решался хладнокровно взглянуть на

свое положение и постараться вникнуть в него. Он злился и взвинчивал себя, потому что боялся понять, боялся того страха, который его охватит, когда он поймет.

Мало-помалу, однако, он успокоился настолько, что был в состоянии рассуждать. «Я не могу себе объяснить, зачем они меня заперли, — говорил он себе. — Но ведь есть же у них законы, новые, свои. Стало быть, у них допускаются такие меры и со мной поступают по закону. Цивилизация ушла вперед на целых два столетия, и, значит, эти люди далеко опередили мое поколение. Не может быть, чтобы они были менее гуманны, чем мы. А между тем — как это сказал Говард? — они сумели освободиться от предрассудков. Что, если гуманность для них такой же предрассудок, как целомудрие?»

Его фантазия стала усиленно работать, рисуя не весьма приятные картины того, что могут с ним сделать. И как он ни старался отвязаться от этих картин, призывая на помощь рассудок, это плохо ему удавалось.

«Ну что ж, будь что будет! — решил он наконец. — В крайнем случае я уступлю, исполню их требования. Но какие их требования? Чего они хотят? И отчего не скажут прямо, чего им от меня нужно, вместо того чтобы держать меня под замком?»

И опять пошли бесконечные догадки о том, как намерен Совет распорядиться его особой. Снова и снова припоминал он в мельчайших подробностях поведение Говарда, его зловещие взгляды, необъяснимые увертки, замалчиванья... Некоторое время мысли его упорно кружились на одном месте, изыскивая способы побега. Но если б даже удалось бежать, куда он денется в этом огромном, чуждом ему мире? Это все равно, как если бы какой-нибудь древнесаксонский крестьянин неожиданно очутился в Лон-

доне девятнадцатого столетия. Да и есть ли возможность убежать из этих законопаченных комнат?

«Может быть, они порешили меня уморить. Но кому может быть выгодна моя смерть?»

Ему вспомнилась волнующая толпа, рукопашные схватки на улицах, гневные крики — все признаки близкого социального переворота, центром которого каким-то непостижимым образом был он сам. Из темных глубин его памяти ни с того ни с сего всплыли слова, когда-то сказанные другим Советом:

«Во имя общего блага пусть один человек умрет за народ».

## Глава VIII НА КРЫШАХ

Через овальный прорез в потолке первой комнаты долетали снаружи какие-то неопределенные звуки. Мелькавшие между лопастями колеса прожекторы, теперь почти совсем черные, показывали, что на дворе была ночь. Поглощенный мрачными мыслями о том, как с ним поступят в конце концов неведомые власти, которым он так опрометчиво бросил вызов, Грехам стоял под вентилятором, забыв об окружающем. Вдруг он вздрогнул от нового неожиданного звука: он услышал над собой человеческий голос.

Он поднял голову и сквозь просветы между вертевшимися лопастями различил смутные очертания лица и плеч человека, смотревшего на него. Вот протянулась темная рука. Ближайшая лопасть, пролетая, ударила по ней своим острым ребром, и сверху на пол закапало что-то жидкое.

Грехэм нагнулся: на полу была кровь. В испуге он снова вскинул голову к потолку. Фигура исчезла.

Он не шевелился, напряженно всматриваясь в мигавшую между лопастями черноту ночи. Он заметил, что в воздухе над вентилятором плавают какие-то пушинки: они то налетали порывами, то скрывались из глаз, относимые ветром, который поднимали лопасти колеса. Откуда-то неожиданно блеснул яркий луч света. Пушинки сверкнули в нем белыми искорками, и затем все снова погрузилось в темноту. Стало быть, за стенами его теплой, ярко освещенной тюрьмы была зима, и шел снег.

Он машинально прошелся по комнате и снова стал под вентилятор. Там теперь опять торчала человеческая голова. Он услышал шепот. Потом раздался резкий звук удара по металлу, послышалась возня, глухой говор, и колесо остановилось. В комнату вихрем ворвались снежные хлопья и растаяли, не долетев до полу.

— Не бойтесь, — донеслось до него сверху.

— Кто вы? — прошептал он в ответ.

С минуту нельзя было различить ничего, кроме лопастей колеса, которые еще слегка раскачивались по инерции. Потом в один из промежутков осторожно просунулась человеческая голова. Человек этот висел почти верх ногами, уцепившись рукой за что-то невидимое в темноте, — должно быть, за край вентиляционной трубы. Судя по тому, как у него на лбу вздулись жилы, надо думать, что ему очень трудно удерживаться в этой позе. Его темные волосы были мокры от снега. Лица нельзя было хорошо рассмотреть при таком положении тела. Видно было только, что это молодое лицо с блестящими большими глазами.

Несколько секунд оба молчали, разглядывая друг друга.

— Это вы Спящий? — спросил, наконец, незнакомец.

— Да, — ответил Грехэм. — Что вам от меня нужно?

— Я от Острога, сэр.

— От Острога?

Продолжая висеть в вентиляторе, человек повернул голову так, что лицо пришлось в профиль к Грехэму: он, очевидно, прислушивался. Вдруг раздался испуганный возглас, и он быстро откинулся назад, еле успев увернуться от лопасти колеса, которое опять завертелось. И как ни всматривался после того Грехэм в черную дыру вентилятора, он не видел ничего, кроме вертящихся лопастей, мелькающих полосок неба да тихо падающих снежных хлопьев.

Так прошло с четверть часа. Но, наконец, наверху опять послышались какие-то звуки. Опять раздался удар по металлу: колесо стало, и между лопастями показалось то же лицо. Все это время Грехэм не сходил с места; он стоял, прислушиваясь, напряженно всматриваясь в пустоту и весь дрожа от волнения.

— Кто вы? Что вам нужно? — повторил он свой вопрос.

— Нам надо поговорить с вами, сэр, — отвечал человек. — Мы хотим.... Ох, как трудно держаться!.. Рука затекла. ...Вот уже три дня, как мы пытаемся пробраться к вам.

— Освобождение? Побег? — проговорил Грехэм прерывистым шепотом.

— Да, сэр, если вы захотите.

— Вы — моя партия? Партия Спящего?

— Да, сэр.

— Так говорите, что мне надо делать?

Вверху послышалась возня. Между лопастями просунулась рука, пальцы были в крови. Потом на краю прореза показали колени. Раздался громкий шепот: «Посторонитесь», — и вслед за тем к ногам Грехэма свалился человек, тяжело упав на руки, и стукнувшись об пол плечом. Освобожденный вентилятор с шумом завертелся. Нежданный гость ловко повернулся, вскочил на ноги

и с любопытством смотрел на Грехэма своими живыми глазами, тяжело дыша и потирая ушибленное плечо.

— Да вы и в самом деле Спящий, — сказал он. — Я вас узнаю. Я видел вас еще в то время, когда к вам разрешалось ходить всем без всяких ограничений.

— Да, я тот самый человек, что пролежал в летаргии двести с лишним лет, — ответил Грехэм. — А теперь меня посадили в тюрьму. Вот уже, по крайней мере, три дня, как я здесь сижу, почти с тех пор, как проснулся.

Незнакомец хотел было что-то сказать, но вдруг насторожился, бросил быстрый взгляд в сторону двери и кинулся туда, бормоча что-то невнятное и позабыв о Грехэме. В руке его сверкнуло стальное лезвие, и он принялся изо всех сил колотить по петлям двери.

— Эй, тише вы там! — послышалось с потолка.

Грехэм поднял голову, увидел подошвы двух спускающихся ног и не успел опомниться, как на спину ему обрушилась какая-то тяжесть, свалив его на пол. Он упал на четвереньки, лицом вперед, и груз перекатился через его голову. Он привстал на колени: перед ним сидел второй гость.

— Простите, сэр, я вас сверху не заметил, — сказал, с трудом переводя дух, этот человек. Он встал и помог Грехэму подняться. — Я вас очень ушиб?

В эту минуту снова послышался ряд тяжелых ударов в вентиляторе. Сверху слетело что-то большое, чуть не задев Грехэма по лицу, со звоном упало на пол, подпрыгнуло, опять упало и, дребезжа, улетело на месте, оказавшись большим куском от лопасти вентилятора из какого-то белого металла.

— Что это значит? — вскрикнул Грехэм, в недоумении поднимая глаза к прорезу. — Кто же вы наконец? Что вы хотите делать? Я ничего не понимаю.

— Посторонитесь, сэр! — сказал второй незнакомец и еле успел оттащить его из-под вентилятора, как с потолка свалился второй тяжелый кусок металла.

— Мы за вами пришли, — проговорил тот же человек прерывистым шепотом. Грехэм взглянул на него и увидел, что у него рассечен лоб и из прореза выступают капельки крови. — Нас прислал ваш народ. Народ зовет вас...

— Мой народ, говорите вы? Куда же мне идти?..

— В зал Большого театра, что на Рыночной площади. Здесь ваша жизнь в опасности. У нас есть свои шпионы. Хорошо еще, что мы узнали вовремя. Совет решил или убить вас, или снова усыпить не дальше как сегодня. У нас все готово. Есть своя милиция. Служащие в Управлении ветряных двигателей, инженеры и половина кондукторов движущихся улиц на нашей стороне. Все публичные залы переполнены народом, вас ждут. Весь город восстал против Совета. У нас есть оружие.

Он вытер кровь со лба.

— Оружие? Зачем?

— Чтобы вас защищать. Народ не даст вас в обиду... Что такое?

Он быстро обернулся на неожиданно раздавшийся резкий свист. Это свистнул его товарищ, возившийся около двери. Грехэм тоже взглянул в ту сторону и увидел, что тот показывает им знаками, чтоб они спрятались, а сам торопливо пятится за дверь. Дверь тихонько отворилась, и на пороге показался Говард. Он нес в руках нагруженный поднос, осторожно ступая и не подымая глаз. Но не успел он войти, как дверь захлопнулась за ним с громким стуком. Он вздрогнул, поднял голову и выронил поднос: стальное лезвие рассекло ему шею. Он упал как подкошенный лицом вниз и растянулся поперек комнаты ногами к двери. Ударивший его человек поспешно нагнулся,



заглянул ему в лицо, потом спокойно выпрямился и как ни в чем не бывало, занялся опять своей работой у двери.

— Вот ваша отравка, — шепнул Грехэму на ухо второй незнакомец, указывая на поднос с его ужином, валявшийся на полу.

В этот момент обе комнаты вдруг погрузились в темноту: бесчисленные лампы, горевшие по карнизам, разом погасли. Овал прореза в потолке выступил светлым пятном в этом мраке. Грехэму было видно, как там кружился снег и торопливо двигались какие-то темные фигуры. Вот три из них опустились на колени у края прореза. Вот в комнату стал спускаться какой-то темный предмет, оказавшийся приставной лестницей. Потом показалась рука, державшая горящий факел.

На одну минуту Грехэма взяло сомнение. Но все поведение этих людей, их неподдельное волнение, их решительность, все их слова так совпадали с его собственными чувствами, с его страхом перед Советом, с его желанием вырваться на свободу, что он, не колеблясь, отбросил свои опасения. О чем тут думать? Ведь его ждет народ.

— Я ничего не понимаю во всем этом, но я вам верю, — сказал он. — Говорите, что я должен делать.

Человек с рассеченным лбом схватил его за руку и сказал:

— Вставайте наверх. Скорее! Может быть, они уже заметили...

Вытянув в темноте руки, Грехэм нащупал лестницу и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Но прежде чем начать подниматься, он обернулся назад и, заглянув через плечо незнакомца, стоявшего ближе к нему, увидел при желтом мерцающем свете факела, что товарищ его, сидя верхом на трупе Говарда, продолжает работать над дверью. Он отвернулся и полез наверх, подталкиваемый сво-

им провожатым. Не успел он коснуться ногой верхней ступеньки, как его подхватило несколько услужливых рук, и в следующий момент он стоял под открытым небом, возле воронки вентилятора, на чем-то твердом, холодном и скользком.

Его стала пробирать дрожь: разница в температуре между наружным воздухом и теплым помещением его тюрьмы была очень велика. Его окружали какие-то люди — человек шесть или семь. Легкие снежные хлопья падали ему на руки и на лицо и сейчас же таяли. Сначала было темно. Но вот бледный фиолетовый луч на миг прорезал темноту, после чего она, казалось, стала еще гуще.

При этом мимолетном свете Грехэм увидел, что он стоит на крыше огромнейшего здания, занимавшего, по всей вероятности, несколько кварталов прежнего Лондона. Крыша была плоская, и по ней во всех направлениях были протянуты толстые кабели. Из темноты сквозь завесу снежной метели выступали неясные силуэты гигантских ветряных двигателей, гудя своими колесами то громче, то тише, смотря по силе ветра. Откуда-то снизу лился перемежающийся бледный свет, и каждая снежинка горела золотым огнем, попадая в полосу этого света, а вдали подымались гигантскими призраками еще какие-то машины, отбрасывавшие бледно-зеленые искры.

Все это дошло до его сознания лишь смутно и урывками за те немногие минуты, пока его избавители о чем-то торопливо совещались между собой. Вот кто-то накинул на него теплый плащ из какой-то пушистой материи и пристегнул его ремнями у пояса и на плечах. Все говорилось и делалось быстро, решительно. Прежде чем он успел опомниться, какая-то темная фигура взяла его за руку и, указывая вдоль плоской крыши в ту сторону, откуда лился мглистый, призрачный свет, сказала: «Сюда!» — и потяну-

ла его за собой. Он повиновался.

— Осторожнее! — раздался тот же голос, когда он споткнулся о кабель, — Между ними идите, а не шагайте через них... Скорее!

— Где же народ? — спросил Грехэм. — Народ ждет меня, мне сказали?

Ответа не последовало. Дорожка между кабелями становилась все уже. Проводник Грехэма выпустил его руку и быстро зашагал вперед. Грехэм шел за ним, не оглядываясь по сторонам, думая только о том, как бы не отстать. Они почти бежали.

— А где остальные? Они тоже идут? — спросил он, задыхаясь от бега, но опять не получил ответа. Проводник только оглянулся на него и побежал дальше. Вскоре они добрались до открытого прохода с металлическими перилами по бокам, тянувшегося под углом к той дорожке, по которой они раньше шли. Они свернули в этот проход. Грехэм оглянулся назад, но за падающим снегом не было видно, идут ли за ними остальные.

— Бегите за мной! Не отставайте! — сказал проводник, и они опять побежали.

— Нагнитесь! — услышал Грехэм, и они благополучно увернулись от бесконечного приводного ремня, который несся вверх, к шкиву колеса небольшого ветряного двигателя, торчавшего у них над головами.

— Сюда! — И они очутились по щиколотку в мокром снегу. — Пойдите, я пойду вперед, — сказал проводник.

Грехэм плотнее завернувшись в свой плащ и пошел за ними.

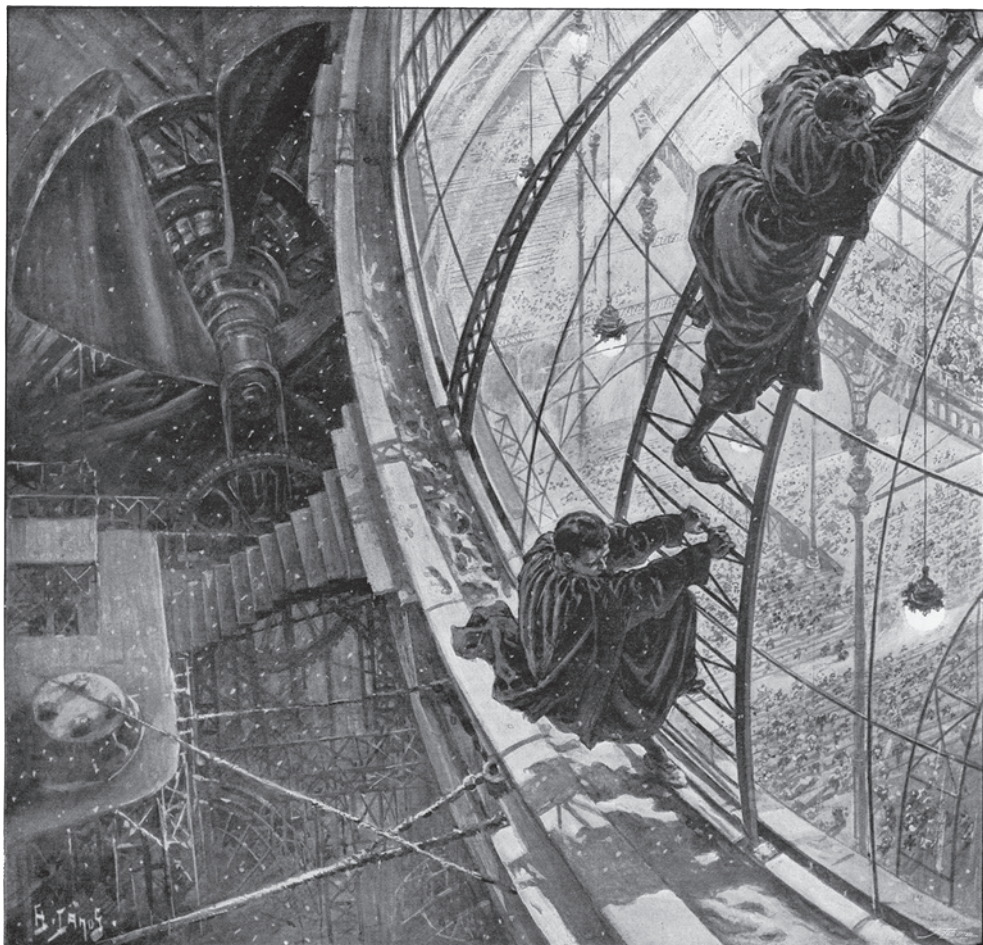
Теперь они пробирались по узкому открытому желобу, огороженному с обеих сторон металлическими стенками в половину человеческого роста. В одном месте желоб был переброшен с крыши на крышу. Грехэм нечаянно заглянул через стенку и вдруг увидел под собой уз-

кий черный провал. На один миг он пожалел, что согласился бежать. У него закружилась голова. Он машинально мессил ногами мокрый снег, не смея поднять глаз, боясь только одного: как бы ему не сделалось дурно.

Выбравшись из желоба, они снова оказались на широкой плоской крыше, мокрой от снега и местами, очевидно, полупрозрачной, потому что снизу проходил слабый свет и можно было даже видеть мелькающие огоньки. Грехэм со страхом ступал по тому прозрачному полу: ему казалось, что он идет по тонкому льду. Но проводник его бежал вперед как ни в чем не бывало, и это успокоило его. Пройдя эту крышу, они вскарабкались по скользким ступенькам на широкий карниз большого стеклянного купола и обогнули его. Из-под купола долетали звуки музыки, прорываясь отдельными нотами сквозь шум ветра. Внизу толпились люди: кажется, там танцевали. Но останавливаться было некогда: проводник все время торопил его.

Они полезли куда-то еще выше и очутились на широком ровном пространстве, сплошь уставленном ветряными двигателями. Один из них был так велик, что можно было различить только нижнюю половину его колеса: вертящиеся лопасти становились видимы, пролетая низом, и, уносясь вверх, терялись в темноте. Они довольно долго пробирались между колоссальными металлическими скреплениями этого двигателя и, наконец, вышли на другую прозрачную, но покатуую крышу. Грехэм с удивлением увидел себя над площадью движущихся улиц, таких же, как те, на которые он смотрел с балкона три дня тому назад. На гладкой покатуой поверхности крыши было так скользко, что им пришлось ползти на четвереньках.

Вся крыша была покрыта мокрым снегом, так что трудно было хорошо рас-



*Далеко внизу, на дне глубокой ямы, копошились какие-то букашки — жители бессонного города с его неугасимым искусственным светом.*

смотреть, что находится под ней. Где-то внизу виднелись лишь контуры зданий, настолько неясные, что нельзя было даже определить расстояния. Но ближе к коньку крыши стекло оказалось чистым, и, заглянув вниз, Грехэм увидел под собой страшную глубину. У него голова закружилась, руки и ноги онемели, и, не смотря на настойчивые понукания проводника, он лег ничком на скате крыши и лежал, как пласт, не в силах шевельнуться. Далеко внизу, на дне глубокой ямы, копошились какие-то букашки — жители бессонного города с его неугасимым

искусственным светом, — неслись платформы движущихся улиц, совершая свой нескончаемый путь.

Рассыльные, почталыоны, люди, спешившие по всевозможным неизвестным делам, стремглав летели вниз, скользя по кабелям. Хрупкие висячие мостики были тоже переполнены людьми. Ему казалось, что под ним гигантский улей, населенный людьми вместо пчел, и только тонкое стекло — он даже не знал, насколько крепкое, — не давало ему свалиться в этот улей с головокружительной высоты. Там, внизу, было светло и тепло,

а он промок до костей и продрог. Неизвестно, как долго пролежал бы он на одном месте в полузабытьи, если б проводник не закричал ему с ужасом в голосе:

— Идите! Что же вы лежите! Идите скорей!

Он напряг все свои силы и взобрался на конек крыши. Тут, следуя примеру проводника, он сел и быстро съехал вниз по противоположному скату. «Хорошо, если в стекле нет трещин. Что, если я попаду на такую трещину?» — невольно подумал он, пока стремглав катился с этой скользкой горы. Но вот его ноги уперлись во что-то, и в следующую секунду он стоял на железной закраине крыши по щиколотку в талом снегу, благодаря судьбу за то, что под ним не было больше предательского прозрачного пола. Проводник его уже перелез через железную решетку на ровную площадь соседней крыши, где опять тянулись ряды огромных ветряных двигателей с вертящимися лопастями. Грехэм последовал за ним. Сквозь частый дождь снежных хлопьев смутно вырисовывались переплеты гигантских скреплений, и доносилось ровное гудение колес. Вдруг в этот монотонный шум ворвались пронзительные звуки свистков. Необыкновенно сильные и резкие, они, казалось, неслись со всех сторон.

— Нас ищут! — вскрикнул проводник Грехэма в невыразимом ужасе.

В тот же миг кругом разлился ослепительный свет: ночь разом превратилась в сияющий день. На верхушках ветряных двигателей выросли высокие шесты с прикрепленными к ним осветительными шарами, испускавшими целые снопы ярких белых лучей. Шесты с такими шарами тянулись по всем направлениям, теряясь в бесконечной перспективе. Шары горели спереди, сзади, повсюду, насколько можно было видеть сквозь снежную пелену.

— Становитесь сюда! — крикнул Грехэму проводник и толкнул его на металлическую решетку, тянувшуюся по крыше узкой темной лентой между двумя снежными сугробами. Грехэма удивило, что это место было свободно от снега, но когда он стал на него, его окоченевшие ноги почувствовали тепло, и тут только он заметил, что от решетки шел пар.

— Бегите за мной! — раздался голос проводника уже в десяти ярдах дальше. И, не дожидаясь ответа, он бросился бежать по ярко освещенному пространству между двумя рядами ветряных двигателей. Грехэм, подгоняемый страхом, пустился за ним так скоро, как только несли его ноги. Его ищут... ловят... могут поймать! Нет, все, что угодно, только не попадаться больше в лапы Совету...

Через несколько секунд они уже ныряли между железными переплетами гигантских скреплений, под чудовищными движущимися колесами и рычагами, то исчезая в их тени, то снова появляясь в пятне яркого света. Вдруг проводник юркнул куда-то вбок и скрылся в полосе густой тени у подножия огромной подпорки. В следующую минуту Грехэм был подле него.

Они присели на корточки и выглядывали из своей засады, с трудом переводя дыхание.

Перед ними была странная, фантастическая картина. Снег перестал идти; лишь изредка то здесь, то там лениво опускался сверху запоздалый пушистый комок. Но вся окружавшая их широкая ровная площадь сверкала белизной, отчего тянувшиеся по ней движущиеся тени исполинских машин выступали еще рельефнее, еще резче и казались живыми титанами мрака. Кругом, куда ни взгляни, торчали переплеты металлических скреплений, сказочно огромных, работы нечеловеческих рук, и медленно



в наступившем затишье двигались широкие ободы гигантских колес, уходя сверкающими полукругами все выше и выше в светящуюся мглу. В тех местах, где падали усеянные блестками снежинок снопы света, было видно, как с яростной, неукротимой настойчивостью работали рычаги и неслись вверх и вниз бесконечные ремни, исчезая в черноте собственной тени. И, несмотря на всю эту мощную деятельность, на ту безустанную работу, так громко говорившую о сознательном плане, эти чудовищные машины среди снежной пустыни исключали всякую мысль о близком присутствии человека: казалось, что они существуют сами по себе — такие же безлюдные, неприступные и заброшенные, как какая-нибудь снеговая вершина Альп.

— За нами гонятся! — шепнул Грехэм проводник. — Мы не прошли еще и полдороги. Сидеть страшно холодно, но что поделаешь! Придется переждать, по крайней мере, пока снег пойдет гуще.

У него стучали зубы от холода.

— Где же Рыночная площадь? Где народ? — спросил Грехэм озираясь

Но тот ничего не ответил.

В это время опять поднялся ветер и повалил снег.

— Смотрите! Что это? — вскрикнул в испуге Грехэм, невольно съеживаясь еще больше.

Из-за крутящегося снежного вихря, в чернеющей пасти далекого неба, скользя по воздуху порывистыми взмахами и описывая неправильные круги, показалось что-то серое, бесформенное, быстро летевшее вниз. Остановившись на миг почти прямо над ними, оно описало круглую дугу и, широко распутив огромные крылья и волоча за собой хвост густого белого пара, понеслось в обратную сторону. Легко, как птица, оно скользнуло вверх, пролетело немного в горизонтальном направлении, описав полукруг,

и скрылось за метелью. И между ребрами этого странного тела Грехэм успел рассмотреть двух маленьких человечков, занятых важным делом. Они осматривали местность — это было ясно: каждый держал перед собой что-то длинное, очень похожее на подзорную трубу. С секунду они были отчетливо видны, потом стали быстро удаляться, становились все меньше и меньше, пока их не застлало снежной пеленой. Проводник дернул Грехэма за рукав.

— Теперь бежим. Скорее! — сказал он.

И оба опять побежали под аркадой железных подпорок, ныряя под колеса и рычаги. Вдруг проводник круто повернул назад. Грехэм, не ожидавший этого, налетел на него. Ярдах в двенадцати впереди чернела глубокая пропасть. Она тянулась направо и налево и, насколько можно было видеть, совершенно преграждала им путь.

— Делайте теперь то же, что я, — шепнул проводник.

Он лег на живот, подполз к краю обрыва, повернулся и осторожно спустил одну ногу. Потом, нащупав, очевидно, то, что искал, начал спускаться и исчез. Через секунду высунулась его голова.

— Это закраина крыши, — прошептал он, — Здесь мы можем все время прятаться в тени. Ползите за мной.

После минутного колебания Грехэм стал на четвереньки, подполз к провалу, заглянул в его черную глубину и обмер. На него напал такой страх, что он не мог шевельнуться, не мог даже заставить себя вернуться назад. Но это продолжалось недолго: минута слабости прошла. Он сел, осторожно свесил одну ногу, за которую тотчас же ухватились руки проводника, с ужасом почувствовал, что скользит вниз, в темную бездну... и вдруг стал обеими ногами на что-то твердое, расплескав жидкую грязь. Он мог толь-

ко догадываться, что стоит в желобе крыши, так как кругом была непроницаемая тьма.

— Сюда! — услышал он у себя над ухом голос проводника и ощупью пополз за ним вдоль желоба, прижимаясь к стене. Это путешествие продолжалось не больше десяти минут, но ему оно показалось целым веком. Не было, кажется, той степени волнения и страха, которой он не пережил бы за эти десять минут. Он не чувствовал ни рук, ни ног от холода и усталости.

Желоб постепенно спускался. Вскоре они ползли уже на половине высоты здания. Над ними тянулись ряды каких-то длинных светлых пятен, похожих на привидения. «Завешенные окна», — догадался Грехэм. От одного из этих призраков-окон спускался кабель, чуть-чуть серая в темноте и исчезающий нижним концом в черной части провала. В ту минуту, когда они подползали к этому кабелю, Грехэм почувствовал на своей руке руку проводника.

— Тише! — шепнул ему тот.

Он поднял голову в испуге и на голубовато-сером фоне туманного неба увидел распростертые крылья летательной машины, медленно и бесшумно скользящей по отлогому наклону вниз. Через минуту машина описала полукруг, стала снова подниматься и скрылась.

— Не шевелитесь: они еще могут повернуть.

На мгновение оба окаменели. Потом проводник тихонько поднялся на ноги, нащупал в темноте спускавшийся от окна конец кабеля и стал что-то делать с ним.

— Что вы там делаете? — спросил его Грехэм.

В ответ раздался слабый крик. Проводник весь скорчился и прижался к стене. Грехэм нагнулся и заглянул ему в лицо: широко раскрытыми от ужаса глазами он всматривался в светлевшую над

ними полоску неба. Грехэм перевел глаза в ту сторону и высоко-высоко над собой увидел в воздухе маленькое светлое пятнышко: это была летательная машина. Он видел потом, как расправились ее крылья, как она повернула и начала опускаться, вырастая с каждой минутой. Вот она долетела до угла крыши и, приняв горизонтальное направление, понеслась прямо на них.

Проводник снова схватился за кабель и лихорадочно принялся что-то с ним делать. Он бросил Грехэму какой-то предмет. Тот поймал его на лету и нащупал большой деревянный крест. Крест оказался прикрепленным к кабелю тонкими шнурами с петлями для рук из какого-то упругого вещества.

— Садитесь верхом на эту штуку, а руками возьмитесь за петли. Да смотрите крепче держитесь! — прошептал вне себя от волнения проводник.

Грехэм исполнил все в точности.

— Теперь прыгайте.... Прыгайте ради самого бога!

Страшную минуту пережил Грехэм. Он радовался одному — что в темноте нельзя было видеть его лица. Он хотел ответить, спросить... но язык не слушался его. Он начал дрожать мелкой дрожью. Одним мгновенным испуганным взглядом он охватил парившую над ними тень, которая, как ему показалось, застирала собою все небо и быстро надвигалась на них.

— Прыгайте же! Прыгайте скорее, или мы будем в их руках! — закричал проводник в отчаянии и, видя, что Грехэм не слушается, толкнул его в спину.

Он невольно качнулся вперед и в ту самую минуту, когда летательная машина была уже над его головой, с безумным, рыдающим криком, которого он не мог удержать, ринулся в черную бездну, сидя на деревянном кресте и судорожно вцепившись руками в петли шнура. Что-то

затрещало над ним, что-то быстро проползло, царапая по стене, и стало. Он слушал, как терлись о кабель шнуры его креста, в своем быстром полете, слышал крики аэронавтов. На один миг он почувствовал на своей спине чьи-то колени... Может быть, его хотели схватить.... Но он стремглав несся вниз, падал всюю тяжестью своего тела с все возрастающей быстротой. Вся его сила сосредоточилась в руках. Он не кричал только потому, что задыхался.

Вдруг в глаза ему блеснул ослепительный свет, что заставило его еще крепче сжать в руках петли шнура. Мимо него промелькнули осветительные шары, висячие мостики, сети переплетающихся кабелей. Под ним была большая площадь движущихся улиц: он узнал ее. Все это несло вверх мимо него. На один миг в мозгу его мелькнуло впечатление большого круглого отверстия в стене, зиявшего ему навстречу.

Он снова очутился в темноте и падал, все падал, сжимая немеющими пальцами петли шнура. Потом... Что это? Опять потоки света... и голоса.... Много, много кричащих человеческих голосов.... И он влетает в ярко освещенную огромную комнату, переполненную ревущей толпой. Народ! Его народ!.. Навстречу ему несутся какие-то подмости, напоминающие сцену в театре. Кабель его начинает загибаться петлей, направляясь к круглому отверстию вправо. Его полет замедляется. Вот он уже различает отдельные возгласы: «Спящий с нами! Повелитель и властелин! Спасен!» Подмости приближаются с все уменьшающейся быстротой. И вдруг...

Он услышал испуганный крик человека — проводника, сидевшего у него за спиной, и снизу этот крик был подхвачен тысячей голосов. Он почувствовал, что уже не скользит больше по кабелю, а падает вместе с ним. Зал огласился дики-

ми воплями. Он уперся во что-то мягкое протянутой рукой, навалившись на нее всем своим весом, и это ослабило силу падения...

Когда он очнулся, он понял, что лежит неподвижно. Ему не хотелось шевелиться, но его подняли и понесли. Потом, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что его положили на каком-то возвышении и дали ему выпить чего-то, но он не помнил наверное. Про своего проводника он как-то совершенно забыл и не заметил, куда тот девался. Когда сознание окончательно вернулось к нему, он был на ногах, его поддерживал десяток заботливых рук. Он стоял в небольшой комнатке, открытой в сторону зала и напоминавшей глубокую нишу, или альков, или, пожалуй, ложу бенуара, какие обыкновенно бывали в театрах его времени. И в самом деле, уж не театр ли это помещение, куда он попал?

У него звенело в ушах от несмолкаемого крика, который раздавался кругом. Толпа ревела тысячами глоток: «Спящий! Спящий! Это он! Он с нами наконец! С нами наш повелитель и властелин! Он жив! Он спасен!»

Грехэм не различал отдельных людей. Он видел лишь общую картину огромного зала, битком набитого народом. Перед ним белели ряды обращенных к нему человеческих лиц, мелькали машущие руки, развевающиеся одежды. Это человеческое море влекло его к себе таинственными непреодолимыми чарами. Перед ним тянулись галереи, балконы, зияли огромные арки, позволяя видеть широкие коридоры, уходящие вдаль. И все это было заполнено людьми, густою плотной толпой, ликующей и кричащей. На подмостках сцены недалеко от него лежал, свернувшись гигантской змеей, упавший кабель, подрезанный аэронавтами у верхнего конца. Теперь его убрали какие-то люди. Но все это про-





*Он стремглав неся вниз, падал всю тяжестью своего тела с все возраставшей быстротой.*



носились перед ним, как во сне. От неистовых криков звенело в ушах, и все предметы прыгали перед глазами.

Шатаясь на нетвердых ногах, он оглянулся на окружавших его. Кто-то поддерживал его под локоть.

— Проведите меня в маленькую комнату... в маленькую, — повторил он, почти плача.

Больше он ничего не мог сказать.

Кругом засуетились. Какой-то человек в черном выступил вперед и взял его за свободную руку. Перед ним поспешно распахнули дверь. Он шел, шатаясь как пьяный. Его подвели к стулу. Он тяжело опустился на него и закрыл лицо руками. Он весь дрожал как в лихорадке: он не владел собой. С него сняли тяжелый теплый плащ, но когда и кто — он не помнил. Он заметил только, что его пунцовые брюки совсем почернели от грязи. Вокруг него бегали, о чем-то хлопотали, что-то делали, но все это проходило мимо его сознания, не задевая его.

Итак, он спасся. Об этом кричали сотни голосов. Он спасся, он жив. Он среди своих сторонников, среди друзей.

Он судорожно вздыхал, борясь со своим волнением, стараясь подавить рыдания, подступавшие ему к горлу; потом затих и остался сидеть, как сидел, — закрывшись руками. А из зала неслись ликующие крики народа, который его спас.

## Глава IX НАРОД ИДЕТ

Кто-то протягивал ему стакан с каким-то прозрачным напитком. Он поднял голову и увидел перед собой черноволосого молодого человека в желтом костюме. Он выпил залпом и ожил. Около него, указывая рукой на полуоткрытую дверь, которая вела в зал, стоял еще какой-то высокий человек в черной мантии

и что-то кричал ему в ухо, но что именно, нельзя было разобрать за оглушительным шумом, доносившимся из зала. Немного подальше стояла молодая девушка в серебристо-сером платье, и Грехэм, несмотря на всю свою растерянность, заметил, что она очень хороша собой. Ее темные глаза смотрели на него с удивлением и любопытством; ее губы дрожали. В полуоткрытую дверь была видна часть зала, битком набитого народом. Оттуда неслась неровный гул голосов, стук топчущих ног, рукоплескания и крики. Весь этот гам то замирал, то опять разрастался, оглушая, как гром. Так продолжалось все время, пока Грехэм был в маленькой комнате. По движению губ человека в черном он догадывался, что тот старается ему что-то объяснить.

С минуту он бессмысленно смотрел перед собой, потом вскочил и схватил за руку этого кричащего человека:

— Скажите мне: кто я? кто я?

Стоявшие кругом подались вперед, стараясь расслышать, что он сказал.

— Кто я? — повторил он с волнением всматриваясь в окружавшие его лица.

— Они ничего ему не сказали? — воскликнула девушка в сером.

— Говорите же, говорите! — кричал Грехэм.

— Вы — властелин земли: вам принадлежит полмира.

Он не верил своим ушам, не смел верить. Не хотел ни слышать, ни понимать.

Он опять прокричал во весь голос:

— Три дня, как я проснулся, три дня, как я в тюрьме, догадываюсь: у вас в этом городе идет какая-то борьба.... Ведь это Лондон?

— Да, — ответил темноволосый молодой человек.

— Ну, а те, что совещались в большом зале, где статуя Атласа? Кто они? Какое отношение они имеют ко мне? Я чувствую, что они говорили обо мне. Мне

кажется, что, пока я спал, или весь мир сошел с ума, или я сам. Что они хотели сделать со мной? Ведь они нарочно усыпляли меня? Зачем им это понадобилось?

— Чтобы не дать вам очнуться, — сказал молодой человек в желтом. — Чтобы не допустить вашего вмешательства.

— Но почему?

— Потому что вы Атлас, сэр. Мир держится на ваших плечах. Они правят вашим именем.

Шум и крики, доносившиеся из зала, уже несколько минут, как затихли. Раздавался только чей-то один ровный голос. Но не успел человек в желтом договорить своей последней фразы, как в зале, покрывая его слова, снова поднялся оглушительный гвалт: рев, топот ног, ликующие возгласы; доносились и отдельные голоса, хриплые и пронзительные, перебивавшие друг друга. И все время, пока продолжался этот гам, люди, находившиеся в маленькой комнате, не могли разговаривать между собой.

У Грехэма все смешалось в голове. То, что он сейчас узнал, никак не укладывалось в его сознании.

— Совет, — повторил он растерянно. Потом, хватаясь за неожиданно всплывшее в его памяти имя, спросил: — А кто такой Острог?

— Это наш вождь, организатор восстания, и мы действуем вашим именем.

— Моим именем? А вы кто? И почему его здесь нет?

— Он послал нас. Я его брат, сводный брат. Мое имя Линкольн. Он хочет, чтобы вы показались народу, а потом будет просить вас прийти к нему. Затем-то он нас и послал, а сам он отдает приказания в Главном управлении ветряных двигателей. Народ скоро двинется. Он восстанет...

— От вашего имени! — подхватил темноволосый молодой человек. — Они

давили, угнетали нас, делали, что хотели, и, наконец, даже...

— От моего имени! От имени властелина земли?

Среди затишья, наступившего в зале в эту минуту, отчетливо прозвучал голос темноволосого молодого человека, громкий и негодующий. Весь дрожа от волнения, он прокричал:

— Никто не ожидал, что вы проснетесь. Они ловко действовали, проклятые тираны. Но они ошиблись в расчете. Они не могли решить, что с вами делать теперь: усыпить ли вас снова, или просто убить.

Опять гул в зале покрыл собой все звуки. Человек, назвавший себя Линкольном, подошел вплотную к Грехэму.

— Острог уже все подготовил. Говорят, скоро начнется сражение. План его уже выработан. Острог — вполне верный человек! Вы можете на него положиться. Народ организован. Мы захватим все кабели. Может быть, Острог уже распорядился сделать это. А потом...

— Здесь, в этом театре, собралась только часть наших сил, — вмешался молодой человек в желтом. — У нас пять мириад обученных людей.

— У нас есть оружие, есть предводитель, — закончил Линкольн, — Их полиция покинула улицы и заперлась в... — конца фразы нельзя было расслышать за шумом. — Теперь или никогда! Совет висит на волоске. Они не могут положиться даже на армию.

— Слышите, народ вас зовет!

Мысли Грехэма кружились, не находя выхода в этом хаосе. Его душевное состояние напоминало бурную лунную ночь, когда месяц то вынырнет из-за туч бледным призраком, то снова спрячется и все погрузится в безнадежную тьму.

Он — властелин земли, и этот властелин земли промок, как губка, ползая на крышах по грязному талому снегу. Вся

быстрая смена впечатлений представляла непрерывный ряд контрастов. С одной стороны, Белый Совет — каких-то восемь человек, но за ними власть и дисциплина, — тот самый Белый Совет, от которого он только что убежал. С другой — эти многотысячные толпы, плотная масса людей, взывающих к нему, провозглашающих его властелином. Та сторона держала его в заточении, решала, жить ему или умереть. Эти же тысячи народа, кричащего вон за той маленькой дверью, спасли его, помогли ему вырваться на волю. Но почему так делалось и зачем, он не понимал.

Вдруг дверь из зала распахнулась. Голос Линкольна потонул в ворвавшемся гаме. Вслед за тем в маленькую комнату ввалилась толпа. Бывшие впереди, оживленно жестикулируя, подбежали к Линкольну. Губы их шевелились, но слов нельзя было разобрать, можно было лишь догадаться по доносившемуся из зала тысячеголосому крику, что они говорили: «Покажите нам Спящего!» К этому примешивались отдельные голоса, призывавшие к тишине и порядку.

Грехэм взглянул в открытую дверь и увидел, как картину в рамке, часть зала, представлявшего сплошную массу взволнованных человеческих лиц — мужских и женских, — поднятых рук и развевающихся светло-голубых одеяний. Все эти люди кричали. Какой-то оборванец в темно-коричневом балахоне, худой, как скелет, стоял на стуле и размахивал черным флагом.

Грехэм встретил взгляд девушки в сером и прочел в нем удивление и ожидание. Чего хотят от него эти люди? Каким-то чутьем он угадал, что настроение толпы изменилось: теперь в этих криках, в этом общем реве слышался призыв к бою. В его душе что-то перевернулось. Он сам не понимал, какое влияние так преобразило его. Но минута слабости,

растерянности прошла. Стараясь изо всех сил, чтобы его услышали, он стал спрашивать ближайших к нему, чего от него хочет народ.

Линкольн кричал ему в ухо, но он не слышал его. Все остальные, кроме молодой девушки, энергичными жестами приглашали его войти в зал.

Что это он слышит? Дикий гам сменился стройным пением. Пели все поголовно, отбивая такт ногами. Это было необыкновенное пение: человеческие голоса как будто неслись в волнах могучего потока инструментальной музыки, напоминавшей орган. Звуки сливались, переплетались, рисуя картину марширующих войск, развевающихся знамен, всей торжественной обстановки выступления в бой.

Грехэма увлекали к двери. Он машинально повиновался. Это мощное пение захватило его, приподняло, вдохнуло в него мужество. Перед ним открылся весь зал: широкое, волнующееся море цветных одежд и флагов.

— Сделайте им рукой знак приветствия, — сказал ему Линкольн.

— Подождите, накиньте на него вот это, — раздался голос с другой стороны.

Чьи-то руки задержали его в дверях, и на плечах у него очутился длинный черный плащ, ниспадающий мягкими складками. Он высвободил одну руку и пошел за Линкольном. Возле себя он увидел девушку в сером. Лицо ее сияло одушевлением, рука была протянута вперед. Она казалась ему в эту минуту воплощением чудной музыки, которая так преобразила его. Он прошел в дверь и очутился в том самом алькове, куда он свалился, когда перерезали канат, — и в тот же миг широкая разлившаяся волна музыки упала и рассыпалась пеною ликующих возгласов. Альков действительно оказался ложею огромного театра, очень сложной архитектуры, с множеством балконов,



*Он высвободил одну руку и пошел за Линкольном. Возле себя он увидел девушку в сером. Лицо ее сияло одушевлением, рука была протянута вперед.*



галерей, расположенных амфитеатром, ярусов и высоких арок в глубине. Продолжая следовать за Линкольном, Грехэм прошел на сцену и стал лицом к собравшейся толпе. В глубине театра, прямо против себя, он увидел устье широкого открытого прохода, переполненного людьми, как и весь зал. Из всей этой живой колышущейся массы вдруг выделялась какая-нибудь отдельная фигура или лицо, на один миг овладевала его вниманием и потом снова сливалась с толпой. Прямо против сцены мелькнуло лицо хорошенькой женщины. Ее несли трое мужчин, высоко приподняв над головами. С развевающимися волосами, горящими глазами, она смотрела в его сторону и махала зеленым жезлом. Недалеко от этой группы какой-то старик с бледным изнуренным лицом с трудом отставивал свое место в общей давке, а за ним виднелась лысая голова с широко разинутым беззубым ртом. Какой-то голос выкрикивал таинственное имя Острог. Но все эти мимолетные впечатления потонули в том море неизведанных чувств, которые поднялись в нем, когда возобновилось мощное пение под музыку. Все начали снова отбивать такт. Зеленые жезлы склонялись в воздухе в знак приветствия. Вдруг он увидел, что ближайšie к сцене ряды тронулись с места. Они прошли мимо него, направляясь к высокой арке, с криком:

«В Совет! В Совет!». Он поднял руку. Раздался восторженный рев. Он чувствовал, что надо бы сказать им что-нибудь ободряющее. На языке у него вертелись смелые, вдохновенные слова. Он протянул руку по направлению к арке и закричал: «Вперед!». Теперь они уже не отбивали такт на месте: они маршировали под музыку. Кого только не было в этой толпе: бородатые, взрослые люди, старики, юноши, нарядные женщины с обнаженными руками, молоденькие де-

вушки — все люди нового века. Богатые наряды и потерявшие цвет лохмотья перемешивались в этом стремительном вихре голубых одежд. Огромное черное знамя, колыхаясь над головами, повернуло вправо. Мимо него промелькнули негр в голубом балахоне, сморщенная старуха в желтом платье, два китайца. Какой-то высокий темноволосый юноша с болезненным лицом и горящими глазами подбежал к самой рампе, прокричал какое-то приветствие и снова пошел за другими, оглядываясь назад. Головы, руки, флаги, жезлы — все колыхалось в такт.

Перед ним выплывали отдельные лица, встречались с ним глазами и уносились дальше общим потоком. Ему делали приветственные знаки, кричали что-то дружелюбное, хотя он и не слышал слов. Лица были большею частью красные, возбужденные, но попадались и смертельно бледные, отмеченные печатью болезней; и не одна рука, посылавшая ему привет, поражала своей худобой. Вот они, люди нового века! Странное, фантастическое сборище! По мере того, как этот широкий живой поток пронесся мимо него слева направо, боковые ярусы и коридоры зала, как притоки, беспрерывно вливали в него все новые и новые массы людей. Основной мотив песни обогащался гулкими отголосками, которые со всех сторон посылали величественные своды арок. Звуки плыли, летели вперед; стремительно шли вперед и люди. Казалось, весь мир марширует в такт этим звукам. Он чувствовал, что и сердце его бьется в такт. Людской поток все расширялся и ускорял свой бег.

Линкольн потянул его за собой. Бессознательно подчиняясь движению его руки, Грехэм повернул в сторону арки и, сам того не замечая, тоже зашагал в такт, подгоняемый бодрящими звуками песни. Все это шествие двигалось вниз

по отлогому спуску. Он смутно сознавал, что перед ним расчищают дорогу, что его окружает почетный караул и что Линкольн не отстает от него ни на шаг. Услужливые руки расталкивали толпу в обе стороны. Он видел перед собой черные плащи своих телохранителей, маршировавших по трое в ряд. Его провели по узкому проходу с железными решетками по бокам, и вдруг он увидел себя над улицей, на открытой галерее, под которой двигалась вся масса народа, не переставая приветствовать его громкими криками. Он не знал, куда его ведут, да и не стремился узнать.

## Глава X БИТВА В ТЕМНОТЕ

Они шли по галерее, висевшей на большой высоте. Перед ним и за ним маршировал его караул. Все широкое русло движущихся улиц внизу кипело народом, быстро двигавшимся влево. Люди кричали, махали шляпами, протягивали к нему руки... Они кричали, приближаясь, кричали, проходя мимо, кричали, удаляясь, пока непокрытые головы их не исчезали в далекой, постепенно суживающейся перспективе электрических огней.

Теперь песня гремела при поддержке оркестра и разливалась вольнее. К размеренному топоту марширующих ног примешивались беспорядочные шаги людей, сбегавших из боковых улиц.

Но странная вещь: здания на противоположной стороне улицы казались пустыми, висячие мосты были безлюдны, и ни одной души не спускалось по кабелям, переплетавшимся над всем этим широким пространством. Это его поразило. Он невольно подумал, что и тут должно было бы царить такое же оживление, как и внизу.

У него вдруг появилось странное, беспокойное ощущение, как будто что-то колебалось, дрожало у него внутри. Он остановился. Его телохранители, бывшие впереди, продолжали идти прежним шагом, задние остановились вместе с ним. Их лица были обращены в одну сторону. Он взглянул по этому же направлению и понял, в чем дело: дрожали огни осветительных шаров.

Сначала он подумал, что это случайное явление, не имеющее никакого отношения к тому, что делается внизу. Каждый из огромных шаров ослепительно белого цвета то съеживался и почти погасал, точно его сжимали невидимые лапы, то опять разгорался, отчего свет быстро чередовался с темнотой.

Но скоро Грехэм догадался, что то мерцание огней отнюдь не случайность.

Вся картина — общий вид домов, улиц и толпы, проходившей внизу, — резко изменилась: все спуталось, перемешалось в этой борьбе света с тьмой. Ото всюду выскакивали чудовищные тени; они подпрыгивали вверх, расширялись, росли с неимоверной быстротой, на миг отступали, затем вновь устремлялись вперед еще более грозно. Пение и размеренный топот тысяч марширующих ног прекратились. Слышались только поспешные шаги групп, бегущих в разных направлениях, да крики: «Гасят огни! Гасят огни!» Грехэм взглянул вниз. При судорожно пляшущем в предсмертной агонии свете огней он увидел, что все широкое пространство улицы превратилось в арену жестокой борьбы. Огромные белые шары света помутнели, затянулись красноватой дымкой; они мигали быстрее и быстрее, как будто не решаясь ни разгореться, ни погаснуть, потом перестали мигать и превратились в красные угольки, чуть тлеющие среди надвинувшейся тьмы. В десять секунд все погасло, и не осталось ничего, кроме торжеству-

ющего мрака, который, как черный дракон, поглотил все эти мириады людей.

Грехэм почувствовал, что его схватили за руки. Кто-то наступил ему на ногу. Чей-то голос прокричал ему в ухо:

— Не бойтесь, мы с вами.

Грехэм стряхнул с себя оцепенение, овладевшее им в первую минуту, быстро повернулся и, стукнувшись лбом о голову Линкольна, прокричал в свою очередь:

— Что значит эта темнота?

— Совет распорядился перерезать провода, которые служат для освещения города. Придется подождать, пока... народ заставит их...

Его голос потерялся, заглушённый ревом толпы. Раздавались голоса: «Спасайте Спящего! Берегите Спящего!» Один из телохранителей Грехэма наткнулся на него в темноте и больно ушиб ему руку.

Вокруг него, как вихрь, носился дикий гам, все разрастаясь, становясь все громче, все яростнее. До него долетели отдельные слова, обрывки фраз, но прежде чем он успевал их осмыслить, они тонули в море других оглушительных звуков. Голоса перекликались, отдавая противоречивые приказания. Где-то очень близко раздались пронзительные крики.

Кто-то крикнул над его ухом: «Красная полиция!»

Вдали послышался треск, и вслед за тем вдоль улицы по краям запрыгали слабые искры. При этом мимолетном свете Грехэм различил головы и фигуры вооруженных людей, резко выступавшие при каждой вспышке искры и тотчас же снова исчезающие в темноте. Треск все усиливался приближаясь; искры вспыхивали по всей улице, то там, то здесь, чаще и чаще.

Вдруг темнота расступилась, точно отдернули черную завесу. Сноп ярких лучей света почти ослепил его на мгнове-

ние. Он заглянул вниз и в ужасе отшатнулся: там кипела отчаянная борьба. По улице понеслись угрожающие крики. Он взглянул вверх, чтоб узнать, откуда идет этот ослепительный свет. Высоко над его головой висел на кабеле человек, держа в руке сверкающую звезду, свет которой разгонял темноту. На этом человеке был красный мундир.

Взгляд Грехэма снова скользнул вниз. Ему бросилась в глаза кучка людей, выделявшаяся красным пятном неподалеку от галереи. Вскоре он убедился, что это были солдаты красной полиции. Толпа оттеснила их на одну из крайних верхних платформ, и теперь они стояли, прижавшись спинами к выступу какого-то здания и защищались, как могли. Оружие сверкало, зеленые жезлы взвивались вверх и опускались, поражая противника струйками сероватого дыма. Люди падали, и на их месте тотчас же вырастали другие.

Вдруг свет звезды погас, крошечная тьма поглотила эту сцену кровавой борьбы.

Грехэм почувствовал, что его толкают назад, вдоль галереи. Возле него прокричали какую-то фразу, но он был слишком ошеломлен, чтобы вслушиваться.

Его прижали к стене, и он слышал, как мимо него бежали люди. Ему показалось, что между его телохранителями завязалась борьба.

Вдруг снова вспыхнула звезда, и все опять залилось ослепительным белым светом. Грехэм увидел, что отряд красной полиции увеличился и подвинулся ближе, передние ряды спустились уже почти до середины улицы.

На нижних галереях противоположных зданий тоже появилось много красных солдат. Они стреляли через головы товарищей в самую гущу толпы, нападавшей на них. Тут только понял Грехэм, что все это значило: народ в самом на-

чале своего выступления попал в засаду. Все, естественно, пришли в замешательство, когда погасли огни, и красная полиция воспользовалась этим для нападения. Вдруг он заметил, что его оставили одного: его караул и Линкольн были далеко в том конце галереи, откуда его привели. Они отчаянно махали руками и бежали к нему. В эту минуту по улице пронесся дикий крик. Весь фасад противоположного здания покрылся красными мундирами полицейских солдат. Все они показывали пальцами в его сторону, что-то крича. И в то же время народ внизу кричал в ужасе: «Спящий, Спящий! Спасайте Спящего!»

Что-то ударило в стену над его головой. Он поднял глаза и увидел на стене звездообразный серебристый отпечаток расплывшейся пули. Кто-то схватил его за руку. Он обернулся. Подле него стоял Линкольн. Хлоп! — опять удар в стену.... В него стреляли два раза и оба раза промахнулись, — он только теперь об этом догадался. Он взглянул в сторону улицы — все опять скрылось; вторая звезда погасла.

Крепко держа его за руку, Линкольн потащил его за собой.

— Скорей, скорей, пока темно, — кричал он.

Энергия Линкольна заразила Грехэма. Как ни велико было его оцепенение, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Им овладел животный страх смерти. Он бежал без оглядки, спотыкаясь в темноте, наткнулся на своих телохранителей, ожидавших его, и побежал дальше вместе с ними. Единственной его мыслью было: «Скорее! Скорее! Подальше от этой страшной галереи, где он служит мишенью».

Почти сразу же после второй звезды загорелась третья. Вместе с появлением света раздался торжествующий крик по ту сторону улицы и другой, ответный

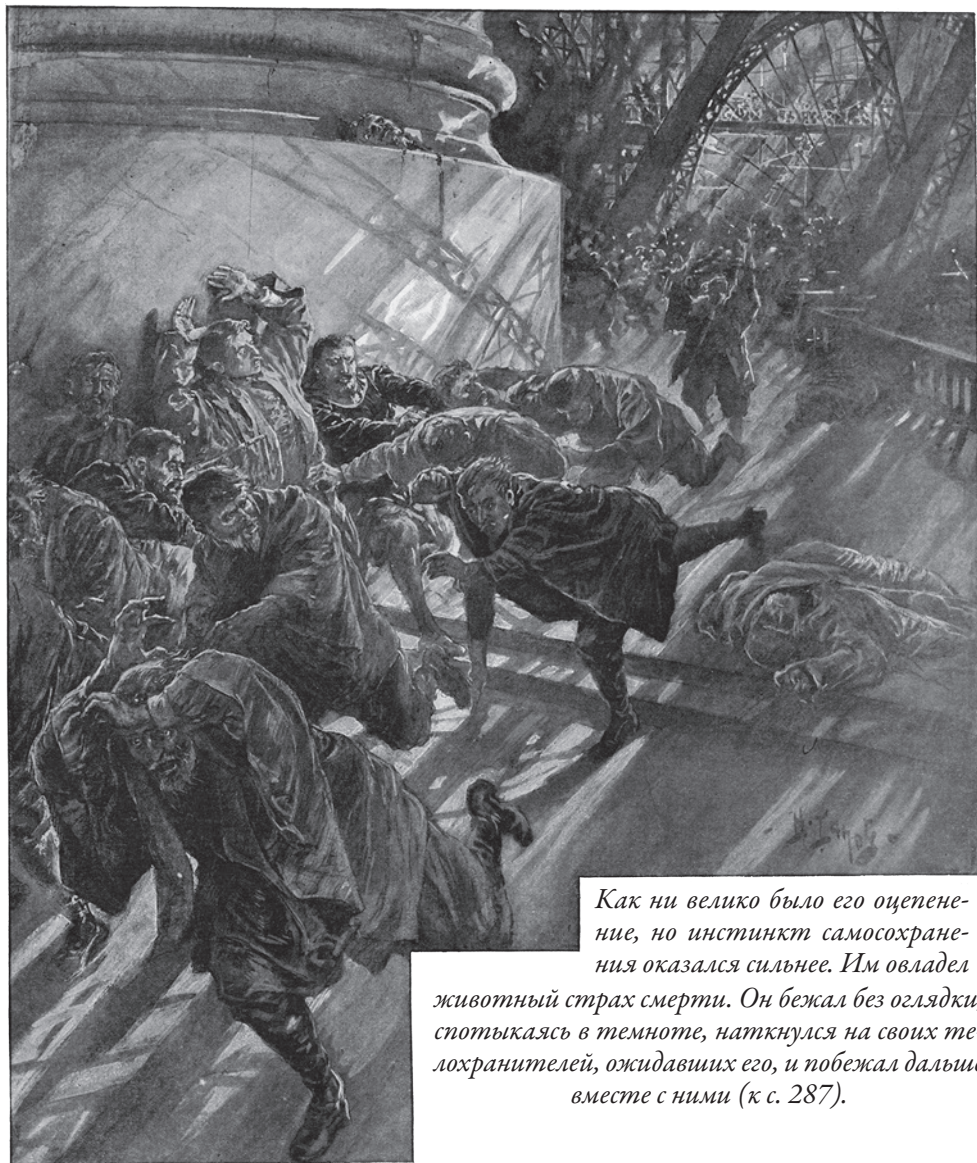
внизу. Вся середина улицы, как он успел заметить, была уже занята красными солдатами. Их лица были обращены к нему. Они тоже кричали.

Во всем этом было что-то фантастическое, непостижимое, и все это касалось его, Грехэма, вращалось вокруг него, как вокруг центра. Ведь эти красные солдаты — гвардия Совета, задавшегося целью снова захватить его.

Грехэм не знал, что направленные в него выстрелы были первыми за последнее полтора года лет и что только благодаря этому он остался цел. Он слышал, как пули шлепались о стены, один раз ему обожгло ухо брызгами расплавленного металла. Он видел, не глядя, что весь отряд красной полиции, засевшей в противоположном здании, целится только в него. Один человек из его караула, бежавший впереди, упал. Грехэм уже не мог остановиться. Он перескочил через извивавшееся в предсмертных муках тело.

В следующий момент он очутился в каком-то совершенно темном проходе и с разбегу налетел на кого-то, бежавшего, очевидно, навстречу. Потом почти скатился с лестницы в наступившей темноте, еще раз наткнулся на кого-то, ударился руками в стену и только благодаря этому устоял на ногах. Тут на него навалилась толпа бежавших следом за ним. Общим течением его отнесло куда-то вправо. Его прижали к стене и так сдавили, что чуть не переломали ему ребра. Был момент, когда он думал, что сейчас задохнется. Но толпа, захватившая его в своем стремительном беге, понесла его дальше. Его жали со всех сторон, минутами ноги его не касались пола. Он тоже толкался, стараясь выбраться из давки, но безуспешно. Он слышал испуганные крики: «Они идут! Они идут!» Где-то совсем близко раздался подавленный стон, и вслед за тем он почувствовал под ногами что-то мягкое, живое... Кру-





*Как ни велико было его оцепенение, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Им овладел животный страх смерти. Он бежал без оглядки, спотыкаясь в темноте, наткнулся на своих телохранителей, ожидавших его, и побежал дальше вместе с ними (к с. 287).*

гом раздавался треск выстрелов. Кричали: «Спящий! Где Спящий?» Но он был так ошеломлен всем происходящим, что не мог заставить себя заговорить. Он потерял свою личную волю, превратился на время в слепую бессознательную частицу охваченного паникою целого. Вместе с другими он пробирался вперед, сопротивляясь натиску задних рядов, насколько у него было сил. Споткнувшись о ка-

кую-то ступеньку, он чуть не упал и вслед за тем почувствовал, что он подымается вверх по какому-то крутому уклону. Вдруг лица окружавших его людей вынырнули из темноты, испуганные, растерянные, мертвенно-бледные под яркими лучами ослепительно-белого света. Совсем близко от себя, через два-три человека, он увидел молодое лицо — лицо юноши, которое даже не особенно поразило

его в тот момент, но потом долго вспоминалось ему. Этот юноша, казалось, шел вместе с другими, но его несло напором толпы: перед тем он получил смертельную рану и теперь был уже мертв.

Очевидно, загорелась четвертая звезда. Ее ослепительный свет широкими потоками вливался через огромные окна и арки какого-то гигантского здания, в котором очутился Грехэм. Теперь он видел, что его окружает плотная масса черных фигур и что он вместе со всеми идет по партеру того самого театра, откуда он так торжественно вышел несколько часов тому назад. Но теперь полосы яркого света снаружи перемежались с резкими тенями, падавшими от простенков, и это придавало всей картине что-то зловещее, призрачное. Неподалеку от Грехэма красная полиция прокладывала себе путь сквозь толпу. Он не знал, заметили ли его красные. Он стал искать глазами Линкольна и скоро увидел его возле сцены, окруженного плотной черной кучкой революционеров. Он тоже озирался во все стороны, как будто отыскивая его, Грехэма. Их разделяла вся масса толпы.

Позади Грехэма, за низким барьером, подымались места амфитеатра в ту минуту пустые. У него вдруг блеснула новая мысль. Он стал протискиваться к барьеру. В тот момент, когда он, наконец, добрался до него, свет погас. Пользуясь этим, он сбросил с себя черный плащ, который не только стеснял его движения, но и делал его слишком заметным, потом перелез через барьер и пустился наугад в темноту, пробираясь между креслами амфитеатра. С наступлением темноты выстрелы прекратились и крики затихли. Вдруг он споткнулся о ступеньку, которой не ожидал, и упал. В эту минуту все снова осветилось ярким светом. Лучи пятой звезды лились в широкие окна театра. Снова затрещали выстрелы, снова поднялась буря криков.

Грехэм хотел встать, но его опять сшибли с ног. Он увидел возле себя небольшую кучку черных: прячась за креслами, они стреляли в красную полицию, расположившуюся внизу. Шальные пули попадали в стены, в мягкую обивку кресел, оставляя блестящие выемки на их металлических ручках. Грехэм инстинктивно присел за спинку кресла. Так же инстинктивно запомнил он расположение выходов и наметил ближайший из них, с тем, чтобы пробраться в него, как только наступит темнота.

Перепрыгивая через ряды кресел, в его сторону бежал с зеленым жезлом в руке молодой человек в светло-голубом.

— Эй, посторонись! — закричал он, чуть не задев его ногой по голове и соскакивая на пол возле него. Потом посмотрел на него во все глаза, очевидно не узнавая, повернулся назад, выстрелил и, крикнув «к черту Совет!», приготовился снова стрелять. В этот момент Грехэму показалось, что у молодого человека вдруг исчезла половина шеи, и на своей щеке он почувствовал теплую струю. Зеленый жезл остановился на полдороге, не успев выпустить заряда. Человек в голубом на секунду застыл в той позе, как стоял, потом начал тихо склоняться вперед. Лицо его потеряло выражение, ноги подвернулись, и он упал. И в тот же миг погасла пятая звезда, и все погрузилось во мрак. В смертельном ужасе Грехэм вскочил, бросился к проходу, споткнулся обо что-то в темноте, упал, снова вскочил на ноги и побежал дальше. Когда загорелась шестая звезда, он был уже под сводами коридора. Теперь он мог еще прибавить ходу. Он пробежал весь коридор, и в ту минуту, когда он поворачивал за угол, свет снова погас. Кто-то налетел на него. Его сшибли с ног, чуть не раздавили. Не без усилий ему удалось подняться, и он очутился в невидимой толпе таких же беглецов, как и он, мчавшихся в

одном направлении. Их всех поглощала одна и та же мысль — бежать подальше от этого страшного места, где лилась кровь. Его толкали, толкал и он; несколько раз он терял почву из-под ног, сжатый со всех сторон как тисками; но, как только путь становился свободен, снова пулся бежать.

Несколько минут он бежал в темноте извилистым коридором, который вывел его на открытое место. Тут он увидел широкую лестницу и вместе с другими спустился по ней на большую площадь. Здесь тоже толпился народ. Кричали: «Они идут! Идут красные! Стреляют! Бегите! Скорее на Седьмую улицу! Там безопаснее!» В толпе были и женщины и дети. Все протискивались к узким сводчатым воротам, смутно видневшимся в конце площади. Грехэм в числе прочих прошел в эти ворота и очутился на другой площади, еще больших размеров. Откуда-то сверху сюда проникал тусклый свет. Окружавшие его черные фигуры рассыпались вправо и влево и, насколько можно было рассмотреть при этом тусклом свете, побежали вверх по низким широким ступеням. Он наудачу последовал за теми, которые повернули направо. Поднявшись на верхнюю ступеньку и почувствовав себя на просторе, он остановился. Перед ним тянулись ряды скамеек и возвышался небольшой киоск. Он спрятался в тени его широкой крыши и стал осматриваться, тяжело переводя дух. Теперь только он догадался, где он: широкие ступени, по которым он только что поднялся, были платформы движущихся улиц, стоявшие на месте. Они подымались террасами в обе стороны. За ними огромными призраками вставали гигантские здания с чуть заметными надписями покрывавших их реклам, а над ними, сквозь переплеты висячих мостов и сети кабелей, тянулась полоса бледного неба. Мимо него пробежало несколько

человек. Судя по их воинственным возгласам, они спешили присоединиться к сражающимся.

С дальнего конца улицы доносился треск выстрелов. Там, очевидно, сражались. Но это была не та улица, на которую выходил театр и где он сам чуть не был убит в общей свалке. Оттуда уже не могло быть слышно выстрелов: это было слишком далеко.

Дрались из-за него — смешно подумать! Эта мысль поразила его: он был как человек, который с увлечением читал интересную книгу и вдруг начал анализировать то, что раньше воспринимал непосредственным чувством. До сих пор он почти не замечал деталей: слишком уж сильно было общее впечатление. Странно: перед ним ярко вставали побег из тюрьмы, огромная толпа в театре, нападение красной полиции на народ; но ему стоило больших усилий восстановить в памяти момент своего пробуждения, однообразные часы, проведенные им в заточении, и то, о чем он думал тогда. Мысли его как-то сами собой пере скакивали через этот промежуток времени и переносили его в далекое прошлое, к мрачным красотам корнуэльского берега и к той скале у Пентарджена, под которой он сидел два века тому назад. Контраст между прошлым и настоящим был так резок, что не верилось в реальность всего окружающего. Только теперь эта пропасть понемногу заполнялась, и он начинал уяснять себе свое положение.

Теперь оно больше не было для него загадкой, как в дни его одиночного заключения. Разгадка уже намечалась в общих чертах. Каким-то непонятным образом он оказался владельцем половины мира, и крупные политические партии боролись из-за него. На одной стороне был Белый Совет с его красной полицией, твердо решившийся присвоить его права, а может быть, и лишить его жиз-

ни; на другой — освободивший его революционный народ со своим невидимым вождем Острогом. Весь гигантский город содрогается от агонии этой междоусобной борьбы. Так вот к чему пришел мир, его мир!

— Не понимаю, ничего не понимаю! — вырвалось у него.

Ему посчастливилось ускользнуть от обеих враждующих партий. Здесь, под прикрытием темноты, он свободен пока. Ну, а дальше что? Что будет с ним дальше и что происходит теперь там? Он живо представил себе, как рыщут красные, разыскивая его и обращая в бегство революционеров в черном.

Так или иначе благодаря счастливой случайности у него есть время передохнуть. В этом укромном уголке его никто не заметит, и он может без помехи наблюдать. Его взгляд машинально скользил по смутным очертаниям гигантских зданий, и он с невольным изумлением спрашивал себя: неужели и над этой громадой хитроумных сооружений восходит солнце и сияет природа все тем же знакомым милым светом дня?

Мало-помалу он отдохнул и пришел в себя. Его платье высохло. Он решил выйти из своей засады и отправился бродить. Много миль прошел он по полутемным улицам, ни с кем не заговаривая и не привлекая ничего внимания на себя, — такая же незаметная темная фигура, как и все другие, попадавшиеся ему на пути. Никому и в голову не приходило, что это тот самый человек из далекого прошлого, который стал предметом всех вожелений, нечаянно оказавшись собственником половины мира. Всякий раз, как он попадал на освещенное место или слышал впереди оживленные голоса собравшейся толпы, он поскорее сворачивал в сторону, в какой-нибудь глухой переулок, боясь, чтобы его не узнали. И хоть он ни разу больше не натолкнул-

ся на сражающихся, в воздухе тем не менее чувствовалась война. Один раз ему пришлось спрятаться, чтобы не попасться на глаза быстро проходившему по улице отряду, который по пути все увеличивался новыми добровольцами. Тут были не только мужчины, но и женщины, и все были вооружены. Борьба сосредоточивалась, по-видимому, в той части города, которую он оставил за собой. Минутами до него долетал издали треск выстрелов и крики, показывавшие, что там еще дерутся. В нем боролись любопытство и страх. Страх одержал верх, и, насколько он мог ориентироваться, он продолжал удаляться от места сражения. Ни в ком не возбуждая подозрений, он спокойно шел в полутьме и вскоре перестал слышать даже отголоски битвы. Навстречу ему попадалось все меньше и меньше народу. Чем дальше он шел, тем проще становилась архитектура зданий, наконец потянулись постройки, не похожие на жилые дома: очевидно, он попал на окраину, где были товарные склады. Теперь на улице, кроме него, не было ни души. Он замедлил шаги.

Усталость давала себя чувствовать. Иногда он сворачивал в сторону и присаживался на какую-нибудь из многочисленных скамеек верхних платформ, но от сознания своей причастности к происходящей борьбе на него всякий раз нападало такое лихорадочное беспокойство, что он не мог долго усидеть на месте.

Вдруг его отбросило в сторону. Раздался оглушительный грохот; по улице пронесся порыв холодного ветра. Кругом зазвенели стекла. Посыпались кирпичи, как от землетрясения. Не дальше как в ста ярдах от него обрушился железный переплет стеклянной крыши. Где-то вдали слышались крики и топот бегущих ног. Он заметался в паническом ужасе, бросаясь вперед, назад, сам не зная зачем.



Навстречу ему бежал человек.

— Ведь это взрыв! Что они взорвали? — спросил он на бегу, поравнявшись с Грэхемом, и, прежде чем тот успел заговорить, пробежал дальше.

Кругом поднимались огромные здания, окутанные таинственным полумраком, хотя светлая полоса неба над ними показывала, что наступал уже рассвет. Не странно ли, что все или почти все эти дома-великаны принадлежат ему? Ему снова живо представилась необычайность всего случившегося с ним. Он сделал такой невероятный скачок во времени, какой позволяют себе только романисты. Он помнил, как трудно было ему поверить в реальность этой сказки, но, наконец, факт был признан, и он решился применить к действительности и стать в положение постороннего зрителя, ожидающего увидеть интересное представление. И вдруг вместо этого ему грозит опасность — неопределенная, но тем более пугающая. Со всех сторон его обступают враждебные тени. Где-то в темном лабиринте этого города его подстерегает смерть. Неужели же его убьют, прежде чем он успеет увидеть новый мир? Как знать, быть может, его ждет гибель за ближайшим углом? В нем заговорило страстное желание жить, жить, чтобы увидеть, узнать.

Он начал бояться углов. Ходить опасно: лучше уж спрятаться куда-нибудь. Но куда? Как сделать, чтобы его не заметили, когда улицу опять осветят? Он сел на скамейку в тени киоска на одной из верхних платформ и в полной уверенности, что здесь он один, закрыл свои усталые глаза.

А что, если когда он их снова откроет, он увидит, что все исчезло, что нет больше ни этого чернеющего внизу русла параллельных платформ, ни этого нестерпимого ряда гигантских зданий напротив? Что, если все события этих последних дней — его пробуждение, эта

кричащая толпа, эта битва впотьмах — не что иное, как фантазмагория, сон, но только необыкновенно живой. Да, это, наверное, сон, слишком уж все последовательно, бессмысленно, — так не бывает наяву. Ведь если он действительно проспал двести лет, то человечество должно было поумнеть за это время. Каким же образом оно может смотреть на него, Грэхэма, как на своего властелина?

Все это он передумывал, сидя с закрытыми глазами. Почти надеясь, вопреки всему, увидеть какую-нибудь знакомую картину из жизни девятнадцатого столетия — деревушку Боскал, быть может, утесы Пентарджена или спальню своего дома, — он открыл глаза. Но факты не считаются с нашими надеждами. Мимо него вдоль улицы шел, маршируя в ногу, отряд вооруженных людей с черным знаменем, а перед ним тянулась все та же бесконечная высокая стена зданий с чуть светящимися на них в полумраке непонятными надписями.

— Нет, это не сон... не сон! — прошептал он и безнадежно уронил голову на руки.

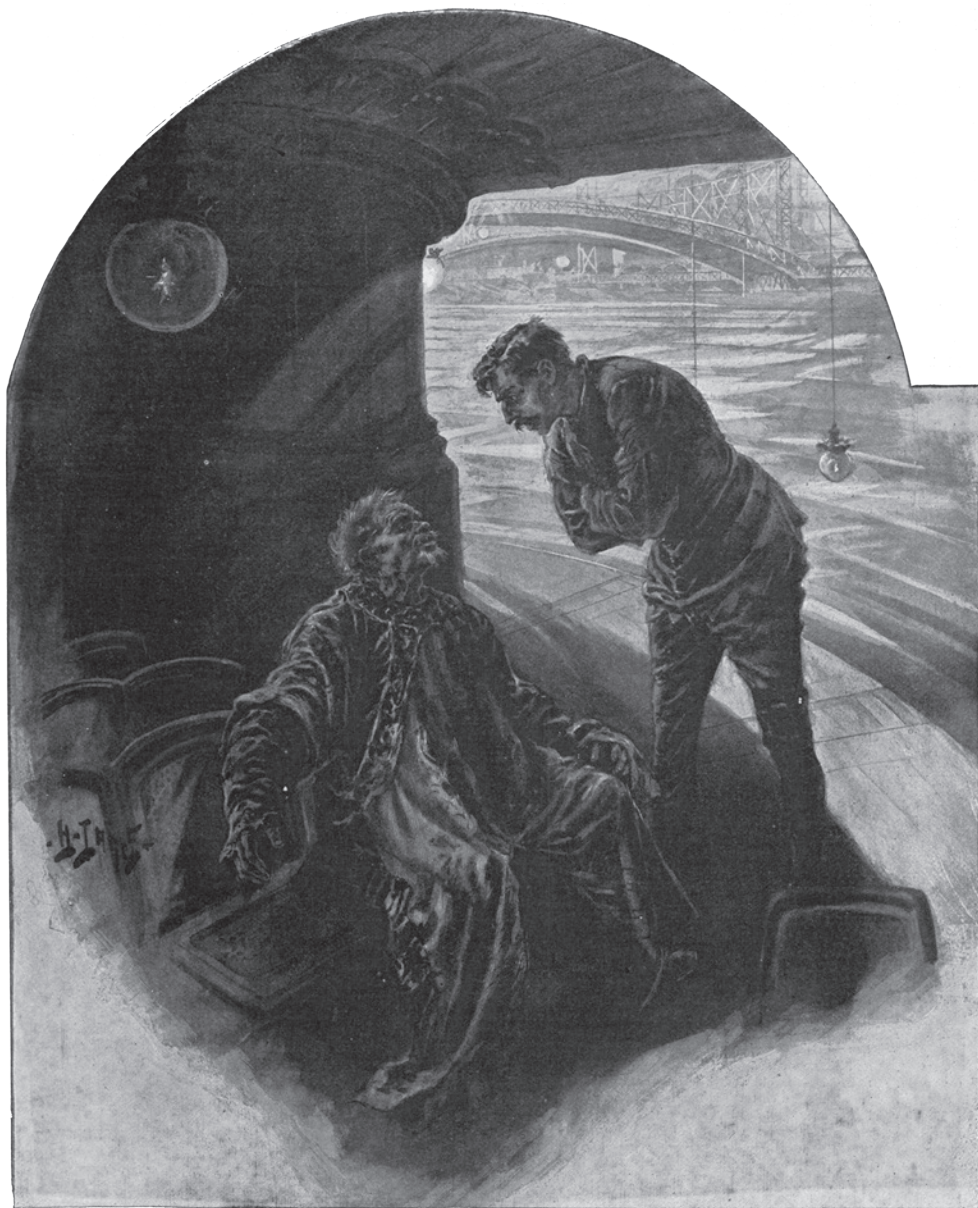
## Глава XI СТАРИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЕТ

Он вздрогнул, неожиданно услышав чей-то кашель, и, быстро обернувшись, увидел в двух шагах от себя тщедушную фигурку, сидевшую скорчившись за спинкой одной из скамеек.

— Какие новости? — слышался дребезжащий старческий голос.

— Никаких, — не сразу ответил Грэхэм.

— Вот сиюю здесь, ожидаюсь, пока зажгут свет, — сказал старик. — Куда ни сунься, везде наткнешься на этих головорезов голубых.



*Он увидел в двух шагах от себя тщедушную фигурку, сидевшую скорчившись за спинкой одной из скамеек.*

Грехэм ответил неопределенным мычанием. В темноте он не мог разглядеть лица своего собеседника. Ему очень хотелось поговорить, но он не знал, как начать.

— Чертовски темно, — снова заговорил старик. — Пришлось вый-

ти на улицу, а тут что ни шаг, то опасность.

— Да, скверное положение, — пробормотал Грехэм.

— Главное, проклятая темнота. Плохо в темноте старым людям. Все точно

взбесились. Стреляют, дерутся. Полицию расколотили, повсюду хозяйничают разбойники. Не понимаю, отчего не требуют негров, они бы защитили нас... Не хочу я больше бродить один в темноте. Сейчас я наткнулся на труп и упал.... В компании все-таки веселее... конечно, в хорошей компании. — Он поднялся на ноги, подошел к Грехэму и стал всматриваться в его лицо. Осмотр, очевидно, удовлетворил его. Он опустился на скамейку с заметным облегчением и продолжал: — Да, времена, нечего сказать! Резня; везде валяются трупы; здоровые, сильные люди пропадают ни за грош. У меня три сына. Где-то они в эту минуту? Бог знает!

Старик замолчал, потом повторил дрожащим голосом:

— Где-то они?

Грехэм молчал, придумывая, в какой бы форме предложить вопрос, чтобы не выдать своего незнания современной жизни. Старик снова прервал паузу.

— Острог победит. Победит! — сказал он. — А какой толк из этого выйдет, это уж трудно сказать. Мои сыновья служат при ветряных двигателях, все трое. Моя невестка была его любовницей — самого Острога! Мы не какие-нибудь! А вот мне, старику, все-таки пришлось скитаться ночью без приюта.... Я знал, что к этому придет. Давно знал, раньше многих. Не думал я, что доживу до таких ужасных времен.

Было слышно, как у него хрипело в груди.

— Вы говорите, Острог... — начал было Грехэм.

— О! Это голова!

— У Совета, кажется, мало друзей среди народа, — заметил Грехэм, не зная, что сказать...

— Очень мало, да и те ненадежные. Белый Совет отжил свое время. Его два раза выбирали. А Острога.... Ну, а те-

перь прорвалось, и уж ничто не поможет. Два раза Острог провалился на выборах. Надо было видеть, как он бесновался! Он был страшен. Теперь разве только бог поможет белым, а то их дело пропало. Острог поднял на них рабочие союзы. Никто другой не посмел бы. Вся эта голубая сволочь вооружена и идет напролом. А тот не остановится: он уж доведет до конца!

Старик помолчал.

— А Спящий... — заговорил он опять и остановился.

— Ну? — сказал Грехэм.

Дребезжащий голос понизился до конфиденциального шепота. Чуть белевшее в темноте старческое лицо придвинулось к лицу Грехэма.

— Настоящий Спящий давным-давно умер!

— Что?!

— Да, умер дюжины лет тому назад.

— Ну что вы! Быть не может!

— Верно говорю: умер. А тот Спящий, который проснулся теперь — подставной, какой-то жалкий нищий, полудиот, которого они опоили... Мало ли что я знаю, только лучше помолчу.

Старик стал бормотать что-то бессвязное. Он знал, очевидно, так много, что не мог удержать всего при себе.

— Я не знаю, кто подсунул ему сонного зелья, — меня в то время еще на свете не было, — но зато я знаю, кто ему впрыскивал возбуждающее, чтобы разбудить его. Разбудить или убить — середины быть не могло. Решительная мера, совершенно в духе Острога.

Грехэм был так поражен, что несколько раз прерывал и переспрашивал старика, пока, наконец, вполне уяснил себе весь дикий смысл его слов. Так, стало быть, его пробуждение не было естественным! Или, может быть, все это просто стариковские бредни? Неужели же в них есть хоть доля правды? Он напря-

женно рылся в тайниках своей памяти и припомнил кое-что из тогдашних своих впечатлений, что можно было объяснить именно таким образом. «Хорошо, что я встретил этого старика; может быть, от него я узнаю что-нибудь о новых людях», — подумалось ему.

Старик закашлялся, сплюнул, и опять задребезжал его слабый старческий голос:

— В первый раз его провалили. Я хорошо это помню.

— Провалили? Кого? Спящего?

— Да нет, нет, Острога. Как он тогда обозлился! Он рвал и метал! Его тогда умаслили кое-как, пообещали, что в следующий раз он будет выбран наверное, — и успокоились, перестали бояться его. Вот дураки-то! А теперь весь город в его руках; он измелет всех нас в порошок. И раньше, конечно, не все было тихо у голубых; случалось, что рабочий зарежет какого-нибудь китайца или надсмотрщика, но хоть нас-то, по крайней мере, не трогали. Ну, а как принялся работать Острог, пошла сплошная резня! На улицах — трупы, в домах — грабеж, везде — темнота! Никто не запомнит таких дел за целый gross лет. Да, по пословице: от распри великих страдают малые.

— Как вы сказали: никто не запомнит... чего?

— А? — переспросил старик и, проворчав что-то такое насчет того, как скучно, когда глотают слова, заставил Грехэма повторить вопрос.

— Никто не запомнит такой смуты, вот что хотел я сказать. Слыханное ли дело: ходят с ножами, с ружьями, убивают друг друга, орут «свобода! свобода!» и тому подобную чепуху... Ничего похожего я не видал за всю свою жизнь. Совсем как в старые времена — три grossа лет тому назад, — когда взбунтовалась парижская чернь. Ну, да это должно было повториться: так все идет на свете. Кому

и знать, как не мне. Вот уже пять лет, как Острог делает свое дело, и все эти пять лет мы не выходим из смуты: голод, мятежные речи, угрозы, резня. Голубые бунтуют. Никто не спокоен за свою жизнь. Все разваливается. Совету приходит конец, — вот до чего дожили!

— Вы, я вижу, действительно, много знаете, — сказал Грехэм.

— Люди говорят, а я слушаю. Я не зря болтаю.

— Так вы наверное знаете, что это Острог поднял восстание и подстроил так, что Спящий проснулся? И сделал это, чтобы захватить власть и отомстить за то, что его не выбрали в Совет?

— Ну, разумеется, всякий дурак это знает, — ответил старик. — Он решил так или иначе стать первым лицом. В Совете или не в Совете — все равно. Кто ж этого не знает! И вот теперь можем радоваться! Междоусобица, убийства, трупы! Да, господа, уж не с луны ли вы свалились? Неужели вы ничего не слыхали о ссоре Острога с Вернеями? А как вы думаете, из-за чего все эти волнения? Из-за Спящего? А? Неужто вы верите, что этот Спящий — настоящий Спящий и проснулся сам, без чужой помощи?

— Я, видите ли, человек нелюдимый, притом я старше, чем кажется, и память у меня плохая, — сказал Грехэм. — Много из того, что случилось за последние годы, как-то ускользнуло от меня. Будь я сам Спящий, я и тогда, сказать вам по правде, знал бы не меньше.

— Ну, будто вы так уж стары? Вы совсем не выглядите стариком. Правда, впрочем, не у всякого сохраняется память до глубокой старости, как у меня. Но такие вещи, какие творятся теперь, трудно забыть. А все-таки который вам год? Ведь вы, наверное, много моложе меня? Впрочем, нельзя судить по себе. Я молод для такого старика, как я, а вы, может быть, стары для своих лет.



— Вот именно, — сказал Грехэм. — Моя жизнь, надо заметить, сложилась не совсем обыкновенно. Я очень мало знаю. А истории и вовсе не знаю, можно сказать. Ваш Спящий или Юлий Цезарь — для меня все одно: их имена одинаково мало мне говорят. Может быть, вы еще что-нибудь расскажете, мне интересно послушать.

— Да, я-таки знаю кое-что, — прощамкал старик. — Но что это? Слышите?..

Оба притихли. Что-то загрохотало. Платформа под ними затряслась. Они увидели, что все прохожие останавливаются и что-то кричат друг другу. Старик заволновался и стал, в свою очередь, окликать проходивших мимо, засыпая их вопросами. Ободренный его примером, Грехэм встал и подошел к столпившимся на улице людям. Никто не знал, что случилось.

Он вернулся назад. Старик сидел на прежнем месте, бормоча себе под нос.

У Грехэма пропала охота разговаривать. Его угнетал загадочный смысл гигантской борьбы, так близко его касавшейся и столь чуждой ему. Кто прав, этот старик или революционеры? И правду ли он говорит, что победа будет за ними? Каждую минуту пожар мятежа мог охватить и эту глухую часть города; тогда его непременно узнают, и ему придется действовать так или иначе. Необходимо выведать все, что можно, от этого старика, пока есть еще время.

Он сделал было движение, собираясь заговорить, но старик предупредил его.

— Да, дела! — забормотал он. — Вот хоть бы взять этого Спящего, в которого так верят наши дураки. Я хорошо знаю эту историю. Да мало ли я их знаю! Ведь когда я был мальчишкой, я еще печатные книги читал — вот, сколько я живу на свете! Трудно поверить, не правда ли? Вы, я думаю, никогда не видели пе-

чатной книги? Но все-таки они имели и свои преимущества. По ним можно было многому научиться. А эта новая выдумка, — говорильные машины, — бог с ней совсем. Слушать-то ее — никакого труда: но что легко дается, легко и забывается.... Ну, а историю Спящего я знаю, как свои пять пальцев, с начала до конца.

— Вы не поверите, — заговорил Грехэм нерешительно, — я такой невежда во всем... я всегда был так поглощен моими личными делами, и жизнь моя сложилась так странно, что я ровно ничего не знаю о Спящем. Кто он был такой?

— Кто он был? Я-то знаю! — сказал старик. — Он был неважная птица, так себе человек, как и все. И влюбился он, бедняга, в ветреную женщину, которая обманула его. От горя с ним сделался столбняк, а потом спячка. Постойте, как это называлось в те времена? Фотография? Такая машина, которая снимала людей? Так вот, сохранились бумажки, на которых он изображен спящим еще полтора гросса лет тому назад. Полтора гросса.

— Влюбился в дурную женщину, которая обманула его, — прошептал задумчиво Грехэм. — Ну, что же дальше? Продолжайте.

— Ну-с, был у него двоюродный брат по фамилии Уорминг, человек одинокий, бездетный. Он составил огромное состояние, спекулируя на акциях только что изобретенных в то время идамитных дорог. Вы, верно, слышали об этом. Нет? Неужели! Он скупил все акции и стал хозяином предприятия. В те времена были еще мелкие частные предприятия — тысячи всевозможных акционерных обществ. Не прошло и двух дюжин лет, как его дороги убили старые железные дороги. Он не хотел ни принимать пайщиков в свое дело, ни дробить свое состояние и придумал целиком завещать его Спящему. Он сам назначил Совет опеку-

нов, сам написал устав для него. Он знал ведь, что Спящий никогда не проснется, а будет спать, пока не умрет. Он отлично знал. И вдруг — представьте такой случай — умирает в Америке один богач. У него, надо вам сказать, были два сына, и оба утонули, — и тоже завещает Спящему весь свой капитал. Таким образом, в руках Совета опекунов с самого начала оказалось около дюжины мириад львов.

— А как его звали?

— Грехэм.

— Нет, я спрашиваю, как звали того американца.

— Избистер.

— Избистер? Никогда не слышал этого имени!

— Конечно, не слышали, — сказал старик. — Не многому научишься в нынешних школах. Наша молодежь ничего не знает. Ну, а я знаю. Этот американец был выходец из Англии. Он оставил Спящему еще больше, чем Уорминг. Как он разбогател, я не знаю. Он изобрел какой-то особый машинный способ писания картин или что-то в этом роде. Но суть в том, что и его огромное состояние попало в Совет опекунов Спящего. Отсюда-то и произошел теперешний Белый Совет.

— Как же он достиг такой власти?

— Э, да вы совсем невинный молодец! Ведь деньги к деньгам льнут, разве вы не знаете? Это одно. А другое: ум — хорошо, а два — лучше. И они ловко сыграли игру, можно сказать. Они вершили политические дела своими деньгами, а так как биржевые курсы и тарифы зависели от них, то капитал продолжал все расти. Долгие годы двенадцать опекунов скрывали его рост от народа. Совет подчинял себе вся и всех, то ссужая деньгами под проценты, то входя крупным пайщиком во всевозможные предприятия. Он подкупал политические партии, закупил все газеты. Если бы вы

знали историю последнего гросса лет, вы бы не спрашивали, как и почему росла власть Совета. А теперь имущество Спящего исчисляется миллиардами миллиардов львов. И смешно сказать, все это произошло, из-за каприза, какого-то Уорминга, которому пришла фантазия оставить такое странное завещание, и из-за несчастного случая с сыновьями другого чудака Избистера... Да, странные бывают люди, — сказал старик, помолчав. — Но для меня всего страннее то, как могли члены Совета действовать так дружно столько лет! Целых двенадцать человек! А все-таки проиграли игру! Я помню, в дни моей молодости о Совете говорили как о божественной власти. Никто и подумать не смел, что Совет может грешить. Никто и не подозревал, что эти боги развратничают не хуже обыкновенных смертных. И я их почитал за богов. Ну, а теперь стал умнее. Да, поумнел на старости лет. Ведь мне восьмая дюжина пошла. А я вот учу уму-разуму вас, молодого. Восьмая дюжина, а я еще вижу и слышу. Слышу, положим, лучше, чем вижу. И голова еще свежа. За всем слежу, все понимаю.... Да, немало я перевидал в своей жизни. Мне было лет тридцать, когда Острог появился на свете. Я помню его молодым человеком задолго до того, как он стал во главе Управления ветряных двигателей. Много перемен случилось на моих глазах. Я и голубую блузу носил, и кем только я ни был! И вот под старость дожил до этого разгрома. Проклятая темнота! На улицах кучами валяются трупы. Война между своими. И все это дело его рук!

Речь старика перешла в бессвязное бормотание. Грехэм молчал, обдумывая все то, что узнал от него.

— Позвольте, верно ли я вас понял, — сказал он, наконец, и стал считать по пальцам. — Спящий спал — это первое.

— Его подменили, — вставил старик.

— Допустим. А тем временем имущество Спящего все росло да росло в руках двенадцати членов Совета, пока не поглотило почти всю частную собственность на земле. Таким образом, Совет фактически завладел миром. И понятно: ведь он платящая сила, вроде той, какою был английский парламент прежних времен.

— Вот-вот, это вы верно сравнили, — подхватил старик, — Вы, я вижу, не так непонятливы...

— Теперь второе. Острог революционизировал весь мир тем, что разбудил Спящего, того самого Спящего, в пробуждение которого верили только самые невежественные люди. Разбудил его затем, чтобы он потребовал у Совета отчета в своих деньгах за все двести лет.

Старик многозначительно крикнул и сказал:

— Как странно видеть человека, который только сегодня в первый раз узнает обо всех этих вещах.

— Да, пожалуй, что и странно, — согласился Грехэм.

— Бывали вы когда-нибудь в «Веселых Городах»? — спросил старик. — Всю жизнь я мечтал, — он засмеялся. — Я и теперь бы еще мог позабавиться. Хоть поглядеть на других.

Он пробормотал что-то такое, чего уже совсем нельзя было разобрать.

— Скажите, когда проснулся Спящий? — спросил вдруг Грехэм.

— Три дня тому назад.

— Где же он теперь?

— У Острога. Совет посадил его под замок, но он убежал. Не больше четырех часов тому назад. Да где вы были все это время, что ничего не знаете? Он был в театре на Рыночной площади, где потом сражались. Да, он бежал. Весь город об этом кричал. Все говорильные ма-

шины. Даже дуракам, которые стоят за Совет, пришлось в это поверить. Все бежали смотреть на него, всякий запасался оружием. Что вы, пьяны были или спали? Да нет, вы просто шутите, прикидываетесь дурачком. Ведь затем они и электричество потушили, чтобы остановить говорильные машины и помешать народу собираться. Оттого-то мы и очутились в этой проклятой темноте. Неужели вы хотите сказать ...

— Да, я знаю, что Спящего освободили, я слышал об этом, — сказал Грехэм. — Но позвольте: вы наверное знаете, что он у Острога?

— Наверное. И уж Острог его не выпустит, будьте покойны.

— А вы уверены, что этот Спящий — подставной?

— Дураки-то считают его настоящим. Мало ли во что верит народ. Ну, а Острогу не все ли равно, настоящий он или подставной. Ему лишь бы провести свою линию. Я хорошо его знаю. Я ведь, кажется, говорил вам, что он мне в некотором роде родня. Через мою невестку.

— Едва ли этому Спящему удастся вырваться из-под опеки, как вы думаете? Должно быть, он сделается простой марionеткой в руках Острога или Совета.

— Ну уж, конечно, в руках Острога. Да и чего ему надо? Какого еще положения? Все к его услугам, требуй, чего хочешь, развлекайся, как хочешь. Чем ему мешает эта опека?

— А что это за «Веселые Города», о которых вы говорили? — спросил вдруг Грехэм.

Ему пришлось повторить свой вопрос. Когда, наконец, старик убедился, что он не ослышался, он захихикал и, лукаво подтолкнув Грехэма локтем в бок, сказал:

— Нет, это уж чересчур. Вы смеетесь надо мной, стариком. Я давно уже начинаю догадываться, что вы только прики-

дываетесь простачком, а знаете побольше моего.

— Может быть, кое-что я и знаю, — сказал Грехэм, — но я не знаю, что такое «Веселые Города», уверяю вас.

Старик конфиденциально подмигнул, продолжая хихикать.

— Мало того, я даже не умею ни читать, ни считать по-вашему, не знаю ваших монет, не знаю, какие теперь на свете народы и страны, не знаю, где я. У меня нет приюта, и я не знаю, где добыть себе еду и питье.

— Ну, рассказывайте, — перебил старик. — А дать вам стаканчик вина, так небось не выльете его себе в ухо, а отправите прямо в рот.

— Даю вам слово, что я не шучу. Ничего этого я не знаю и буду очень благодарен, если вы меня просветите.

— Хе-хе! Известное дело, кто ходит в шелку, тот любит позабавиться, — и он провел сморщенной рукой по рукаву Грехэма. — Да, шелк. Ну все равно, не в этом дело.... А хотел бы я, признаться, очутиться на месте Спящего. Недурная жизнь его ждет. И удовольствие, и почет. Я ведь видел его. Когда к нему пускали всех без разбора, я, помню, тоже добыл себе билет и ходил посмотреть. Странное у него было лицо, желтое, как лимон. Как две капли воды похож на настоящего, каким тот изображен на прежних фотографиях. Совершенный мертвец. Ну, ничего, откормится. Бывает же такая удача. Его, верно, на Капри пошлют поправляться.

Тут на него опять напал кашель, и несколько секунд он не мог говорить.

— Везет людям, везет... — завистливо забормотал он потом. — Всю жизнь просидел я в Лондоне на одном месте. Все ждал, все надеялся, не посчастливится ли и мне...

— А почему вы знаете, что настоящий Спящий умер? — прервал его Грехэм.

Старик заставил его повторить вопрос, прежде чем ответил.

— Люди не живут дольше десяти дюжин лет. Это против законов природы. Дураки могут верить сказке про Спящего, а я не верю. Я не дурак.

Грехэма, наконец, рассердила эта самоуверенность старика.

— Дурак вы или нет, — сказал он, — а только насчет Спящего вы ошиблись.

— Что?

— Вы ошиблись насчет Спящего, я говорю.

— Да вы-то как можете это знать? Вы только что сказали, что вы ровно ничего не знаете. Не знаете даже, что такое «Веселые Города».

Грехэм помолчал.

— Так знайте же: я — Спящий, — сказал он наконец.

Старик смотрел на него во все глаза не понимая. Грехэм должен был повторить свое заявление.

— Извините меня, сэр, это глупая шутка с вашей стороны, — сказал старик. — Такие слова могут дорого вам обойтись в это смутное время.

Грехэм немного смутился, но повторил свое заявление.

— Я вам сказал, что я — Спящий. Много-много лет тому назад я заснул в одной деревушке. Случилось это в те дни, когда еще были деревни с живыми изгородями, с постоянными дворами, с мелкими участками пахотной земли. Разве вы никогда не слыхали о тех временах? И это я, я, который говорю с вами, проснулся четыре дня тому назад.

— Четыре дня тому назад! Спящий? Но Спящий у них. Они добрались до него и уж не выпустят теперь. Вздор. До сих пор вы говорили, как человек разумный, и вдруг... Линкольн его хорошо сторожит; я это наверное знаю. Можете быть уверены, что его не пустят разгуливать по улицам одного. Чудак вы, право;



любите шутить. Теперь я понимаю, отчего вы так смешно коверкали слова! Так я и поверю, что Острог выпустил бы Спящего из своих рук! Конечно, не поверю, не на такого напали. Не понимаю, к чему вы ведете всю эту игру.

Грехэм встал.

— Я вам серьезно говорю: я — Спящий, — сказал он.

— Станный вы человек, — проговорил с негодованием старик. — Сидит один в темноте, ломает английский язык и сочиняет небылицы!

Грехэм, который уже готов был выйти из себя, после этих слов старика взглянул на свое положение глазами постороннего зрителя и разразился смехом.

— Фу, какая бессмыслица! Когда же кончится этот сон? Он становится все более диким. Чего я сижу тут, в этой проклятой темноте, каким-то живым анахронизмом и стараюсь убедить старого дурака в том, что я — я! Нет, довольно!

Он круто повернулся и зашагал прочь. Старик бросился за ним.

— Не уходите, — кричал он, — не уходите! Я старый дурак, ваша правда. Не уходите, не оставляйте меня одного в темноте!

Грехэм приостановился, не зная, что делать, но вдруг он сообразил, как неблагодарным было с его стороны выдавать свою тайну.

— Я не хотел вас обидеть, — забормotal старик подходя. — Называйте себя Спящим, если вам так нравится, или кем хотите, — какая в этом беда?..

С минуту Грехэм колебался, потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел своей дорогой.

Несколько времени он еще слышал за собой ковыляющие шаги старика и его постепенно удаляющиеся крики. Но, наконец, все затихло, и темнота поглотила его.

## Глава XII ОСТРОГ

Теперь Грехэм мог лучше разобраться в своем положении. После разговора со стариком ему стало ясно, что необходимо прежде всего разыскать Острога. На этом решении он и остановился. Во всяком случае, несомненно было одно: главари восстания очень ловко сумели скрыть исчезновение Спящего. Но каждую минуту он ожидал услышать известие о своей смерти или о том, что он, Спящий, снова попал в руки Совета.

Он еще долго бродил по полутемным улицам. На одном перекрестке он столкнулся с каким-то человеком.

— Слышали новость? — спросил тот останавливаясь.

— Нет. А что такое? — спросил, в свою очередь, встревоженный Грехэм.

— Около дозанды! Целая дозанда людей! — И человек побежал дальше.

Потом мимо него прошла кучка мужчин и между ними одна женщина. Все оживленно жестикулировали и громко разговаривали между собой.

— Сдались! Целая дозанда погибших!

— Не одна дозанда, а две!

— Ура Острогу!

Не успели затихнуть вдали эти возгласы, как появилась новая толпа прохожих, тоже что-то кричавших. Некоторое время все внимание Грехэма было поглощено доносившимися до него обрывками фраз. Он начинал сомневаться, по-английски ли говорили все эти люди, до такой степени они коверкали слова. Сам он не решался заговорить. Но настроение всех попадавшихся ему навстречу людей вполне согласовалось с его собственным представлением о вероятном исходе борьбы и со слепой верой старика в великого Острога. Ему трудно было освоиться с мыслью, что эти люди празднуют победу над Советом — тем самым

всемогущим Советом, который всего несколько часов тому назад так неотступно преследовал его, а теперь оказался слабейшей стороной в борьбе. И если это так, если власть белых чиновников действительно пала, то интересно знать, как это отразится на нем.

Он все присматривался к прохожим, выбирая, к кому бы обратиться с вопросом, и все не решался. Он долго шел следом за одним толстяком, наружность которого показалась ему более располагающей, но так и не мог собраться с духом и заговорить.

Наконец ему пришло в голову, что самое простое — обратиться в Управление ветряных двигателей, которым заведовал Острог. Оставалось только спросить первого встречного прохожего, где оно помещается. На первый вопрос он получил короткий ответ: «Возле Вестминстера». На второй ему ответили указанием кратчайшего пути, на котором он тотчас же заблудился. Потом ему посоветовали с большой широкой улицы, по которой он шел, свернуть куда-то в темный переулок, где он чуть не свалился с лестницы, спускавшейся вниз. Тут начались приключения другого характера, но тоже не из приятных. Он столкнулся в темноте с каким-то невидимым существом, которое принялось осипшим голосом изливать на него потоки брани на неизвестном языке; только по некоторым отдельным словам можно было догадаться, что все это говорилось по-английски. Затем из темноты донесся женский голос, напевавший веселенький мотив. Голос быстро приближался. Женщина наткнулась на Грехэма — не совсем неумышленно, как ему показалось. Она обняла его, должно быть, в виде извинения, засмеялась и принялась было болтать что-то такое о своей сестре, которую она ищет, но, получив довольно резкий отпор, оставила его в покое и снова скрылась в темноте.

Кругом становилось люднее. Пешеходы спотыкались впотьмах, натыкались друг на друга. Слышались восклицания, возбужденные голоса. Кричали: «Сдались! Совет сдался!», «Не может быть!», «Нет, правда, все говорят». Переулок сделался шире. Еще поворот, и Грехэм очутился на широкой площади, в глубине которой толпился народ. Он обратился к проходившей мимо него темной фигуре, спрашивая дорогу к Вестминстеру. «Все прямо через площадь», — ответил женский голос. Он двинулся по указанному направлению, но сейчас же наткнулся на какой-то столик, уставленный посудой. Глаза его теперь привыкли к темноте, и, хорошенько всмотревшись, он различил целых два ряда таких столиков, тянувшихся через всю площадь, оставляя посреди не узкий проход. Он пошел вдоль этого прохода. Со стороны некоторых столиков доносился звон стаканов и стук ножей и вилок. Нашлись, стало быть, храбрые люди, которые могли спокойно есть, несмотря на грозные события дня и удручающую темноту.

Далеко впереди, откуда-то сверху падало полукруглое пятно света. Когда он подошел ближе, пятно исчезло, точно наверху задернули темную занавеску. Он опять чуть не скатился со ступенек, спускавшихся вниз, и очутился в узкой галерее с железными перилами по бокам. Вдруг в нескольких шагах впереди он услышал рыдания и, всмотревшись, увидел двух маленьких девочек. Они сидели на полу, скорчившись, крепко прижавшись к перилам, и плакали навзрыд. Но как только он подошел, они затихли, точно испуганные зверьки. Он пробовал спрашивать, уговаривать, но они упорно молчали. Пришлось оставить их в покое. Не успел он отойти, как снова услышал за собою плач.

Вскоре он очутился у подножия большой лестницы, на которую падал сверху

слабый свет. Он поднялся наверх и оказался на площади движущихся улиц. Тут шумно сновала взад и вперед беспорядочная толпа. Кричали, пели революционные песни, и пели прескверно — кто в лес, кто по дрова. Кое-где горели факелы, отбрасывая фантастические дрожащие тени. Он стал было опять спрашивать дорогу к Вестминстеру, но два раза был поставлен в тупик ответами на том же диком жаргоне. Наконец в третий раз ему посчастливилось получить удобопонятный ответ: оказалось, что до Вестминстера остается еще две мили и надо идти прямой дорогой.

Чем ближе подходил он к Вестминстеру, тем чаще попадались толпы поющих и кричащих людей, и, судя по всеобщему оживлению, по этим ликующим крикам, а главное, по тому, что город был теперь опять освещен, падение Совета можно было считать совершившимся фактом. Но странно: никто из встречных ни словом не обмолвился об исчезновении Спящего.

Освещение города восстановилось внезапно. В один миг по улицам разлился яркий свет, так что все идущие, и Грехэм в том числе, остановились, ослепленные. Свет застал его почти уже у цели пути: среди возбужденной толпы, которая запрудила всю улицу, ведущую к Управлению ветряных двигателей. И вместе с появлением света в нем поднялось беспокойное чувство от сознания, что теперь его могут узнать, и его смутное намерение разыскать Острога превратилось в определенное желание, нетерпеливое и тревожное.

Немного не доходя здания Управления он попал в такую давку, что уж и не чаял выбраться из нее: его совсем затолкали. Кругом в толпе раздавалось его имя. Осипшие от крика голоса орали: «Спящий! Спящий!» Многие были в повязках. Все эти люди проливали кровь

за него, за его дело... Передний фасад огромного здания ярко светился: на нем медленно двигалась картина, освещенная изнутри. Но с того места, где стоял Грехэм, ничего нельзя было рассмотреть, а протискаться ближе ему, несмотря на все усилия, никак не удавалось. Из долетавших до него отрывочных фраз он понял, что картина воспроизводит последние моменты борьбы вокруг зала Атласа. Глядя перед собой на высокий фасад, в котором не было ни одного подъезда, и недоумевая, как он проберется внутрь здания, Грехэм медленно продирался вперед, пока по особенно густой толпе, теснившейся посреди улицы у люка подземной лестницы, не догадался, что это и есть вход в Управление. Но добраться до люка было не так-то легко. А когда, наконец, это ему удалось, то оказалось, что вход охраняется стражей. Ему пришлось долго пререкаться, пока его пропустили. Когда, в виде последнего аргумента, он объявил было, что он Спящий, над ним принялись хохотать, как над сумасшедшим, и препроводили его во вторую караулку для опроса. На этот раз он был умнее и, умолчав о Спящем, сказал просто, что принес очень важное известие, которое может передать только самому Острогу с глазу на глаз. Один из солдат неохотно отправился с докладом. Грехэм долго ждал в прихожей возле лифта. Но вот, наконец, отворилась дверь, и появился Линкольн, взволнованный, удивленный. Он приостановился на пороге, всмотрелся в таинственного посетителя и вдруг бросился к нему с радостным возгласом:

— Как! Это вы?! Вы живы!

Грехэм рассказал свои похождения в кратких словах.

— Брат здесь, в Управлении. Он вас ждет, — сказал Линкольн. — Мы боялись, что вас убили в театре. Мы до поры до времени решили скрывать ваше ис-

чезновение. Положение наших дел далеко не завидное, надо вам сказать, хоть мы и трубим о победе для ушей непосвященных. Поэтому мы пока не решались разыскивать вас.

Они сели в лифт, поднялись в один из верхних этажей, прошли по узкому коридору, миновали большой зал (совершенно пустой, если не считать попавшихся им навстречу двух человек, бежавших со всех ног по каким-то поручениям) и вошли в сравнительно небольшую комнату. Всю обстановку этой комнаты составляли длинная оттоманка и подвешенный на кабелях у стены большой овальный диск, по поверхности которого медленно ползли какие-то мутно-серые тени. Линкольн попросил Грехэма обождать и ушел, предоставив ему разгадывать, как умеет, назначение странного диска.

Но вскоре его внимание было привлечено другим. До него вдруг донесся рев толпы, очень далекий, но, несомненно, ликующий рев. Он раздался внезапно и так же внезапно затих, словно прорвавшись сквозь щелку на минуту приотворившейся двери. Затем в соседней комнате послышались торопливые шаги, мелодический звон металла о металл, шелест платья, и женский голос произнес: «А вот и Острог». Вслед за тем порывисто зазвенел тоненький колокольчик, и все опять стихло.

Но вот за дверью снова началось движение: доносились шаги, голоса. Вскоре среди этих смешанных звуков выделились твердые, размеренные шаги одного человека и стали быстро приближаться. Дверь отворилась, портьера тихо приподнялась, и на пороге показался высокий седой человек в шелковом плаще молочно-белого цвета. Он остановился и, придерживая одною рукой портьеру, смотрел на Грехэма. Потом рука его опустилась, и он ступил шаг вперед. Первым

впечатлением Грехэма были: большой, широкий лоб, глубоко сидящие светло-голубые глаза под густыми седыми бровями, орлиный нос и резко очерченные, крепко сжатые губы. Только тяжелые складки над глазами да опущенные углы энергичного рта выдавали возраст этого человека, совершенно не гармонируя с его прямой, стройной фигурой и бодрой осанкой. Грехэм инстинктивно поднялся ему навстречу. С минуту оба они стояли и молча смотрели друг на друга.

— Вы Острог? — спросил, наконец, Грехэм.

— Да, я Острог.

— Вождь восстания?

— Да, так говорят.

Опять наступила неловкая пауза.

— Это вам, кажется, я обязан своим спасением? — нерешительно проговорил Грехэм.

— А мы уже боялись, что вас убили, — сказал Острог, не отвечая на вопрос. — Убили, или, вежливо выражаясь, усыпили навсегда. Нам стоило большого труда сохранить нашу тайну — скрыть ваше исчезновение, хочу я сказать.... Где вы пропадали? И как попали сюда?

Грехэм повторил свой рассказ. Острог внимательно слушал.

— А знаете, чем я занимался, когда пришли мне доложить о вашем приходе? — сказал он, чуть-чуть улыбнувшись, когда Грехэм замолчал.

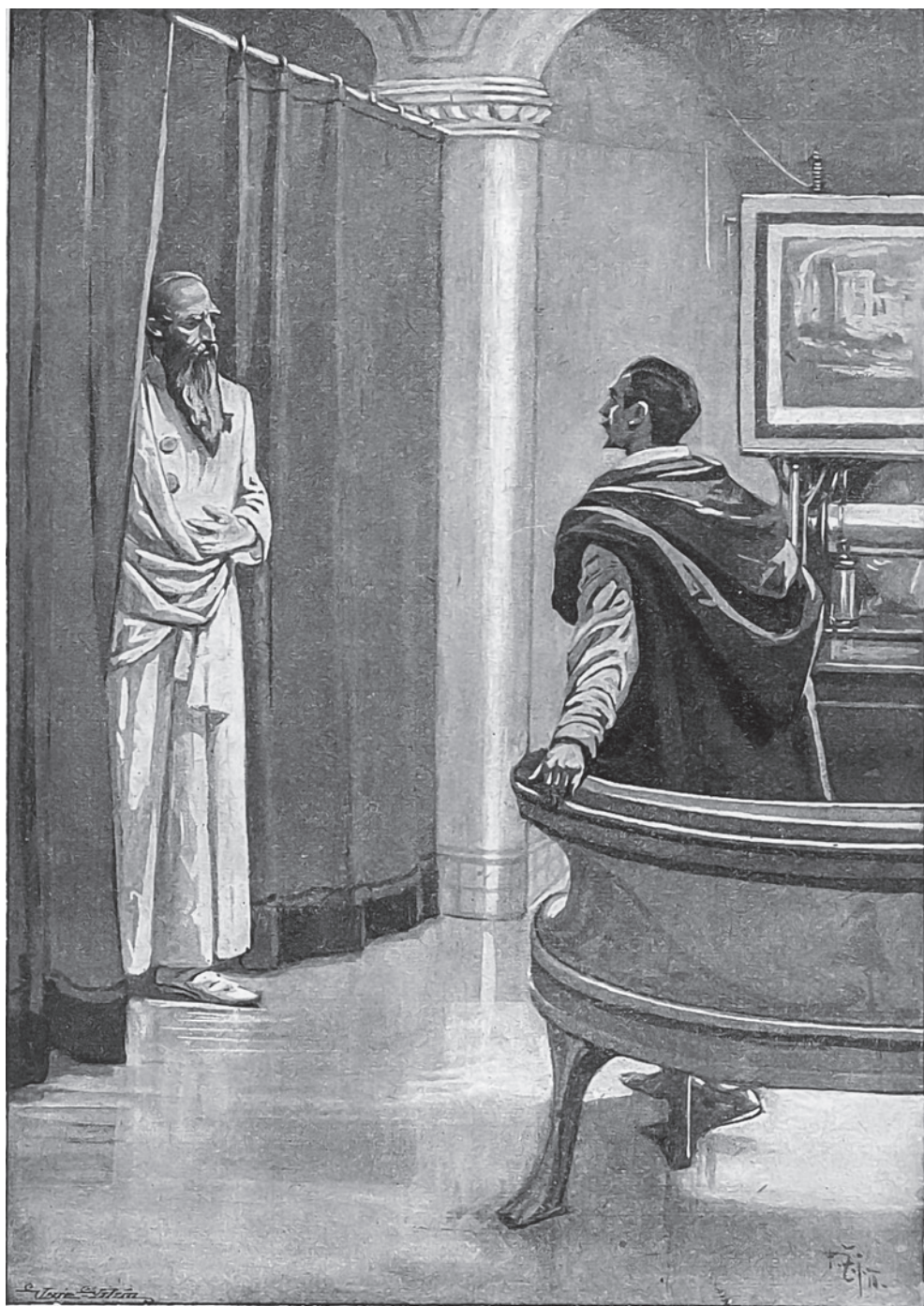
— Понятия не имею.

— Готовил вашего двойника.

— Моего двойника?

— Ну да. Мы разыскивали человека, похожего на вас. Чтобы облегчить ему его роль, мы решили загипнотизировать его. Нам невозможно обойтись без Спящего. Все восстание держится на этой идее: народ уверен, что Спящий проснулся, что он жив и с нами. Да вот и сейчас в театре собралась огромная толпа народа: хотят вас видеть, требуют, чтобы им показали





*Дверь отворилась, портьера тихо приподнялась, и на пороге показался высокий седой человек в шелковом плаще молочно-белого цвета (к с. 303).*

вас. Они даже нам не вполне доверяют... Вам ведь, конечно, известно, какое вы занимаете положение?

— Очень смутное, — отвечал Грехэм.

— Так слушайте, — Острог прошелся по комнате, потом повернулся к Грехэму и продолжал: — Вы — собственник половины земного шара. Значит, фактически вы все равно, что король. Ваша власть, правда, ограничена разными сложными законами, но тем не менее вы — центральная фигура: в глазах народа вы — символ правительственной власти. Этот Белый Совет, или «Совет опекунов», как его называют...

— Да, я кое-что уже слышал обо всем этом.

— Вот как! От кого же?

— Я столкнулся сегодня с одним болтливым старикашкой, и он...

— А, понимаю.... Итак, народные массы — это словечко перешло к нам еще от ваших времен: у нас ведь тоже есть народные массы, как вам известно; народные массы смотрят на вас как на своего законного господина, правителя — совершенно так, как в ваши дни смотрели на королей. И вот народ всего земного шара недоволен правлением ваших опекунов. Вообще говоря, это все та же старая история — старое недовольство: протест бедняка против бедности, против рабства труда, против дисциплины и собственной неспособности. Но нельзя не признать, что ваши опекуны правили дурно. Во многом — в своем отношении к рабочим союзам, например, — они вели себя крайне неразумно и дали много поводов к недовольству. Мы, партия народа, подняли агитацию в пользу реформ задолго до того, как вы проснулись. А тут неожиданно-негаданно произошло ваше пробуждение.... Да, будь оно даже нарочно подстроено нами, оно не могло бы прийти более кстати

для успеха нашего дела. — Он улыбнулся. — В уме народа давно уже мелькала фантастическая мысль разбудить вас и обратиться к вам с жалобой, как к верховному судье. Ничего не значит, что вы десятки лет провели в состоянии небытия: народ ведь не принимает в расчет таких мелочей.... И вдруг вы проснулись...

Он жестом показал, какой эффект произвело это событие. Грехэм молча кивнул головой.

— Совет был совершенно ошеломлен. Все они там перессорились. Впрочем, они и раньше вечно грызлись между собой. В первый момент они не могли решить, что им с вами делать. Чтобы выиграть время, они, как вам известно, посадили вас под замок.

— Да, да, я знаю. Ну, а теперь мы побеждаем?

— Мы побеждаем, это несомненно. С сегодняшнего дня за пять коротких часов победа перешла на нашу сторону. Мы разбили их на всех пунктах. К нам примкнули все служащие в Управлении ветряных двигателей, весь Рабочий союз со своими миллионами членов. Мы завладели аэропланами.

— Да? — сказал Грехэм.

— Это было очень важно. Иначе они могли бы бежать.... Весь город восстал. Треть населения оказалась в рядах борцов за свободу. На нашей стороне все голубые, все общественные учреждения — словом, почти все за исключением нескольких человек аэронавтов да половины состава красной полиции. А та половина, которая осталась им верна, разбита: частью обезоружена, частью перебита, кроме нескольких десятков солдат, которые заперлись в ратуше. Теперь, если не считать ратуши, весь Лондон в наших руках. Вас освободили. Половина их красной полиции погибла в безумной попытке снова захватить вас. Потеряв вас, они потеряли головы. Все свои силы

они направили на театр, а мы, пользуясь этим, отрезали их от ратуши. Нынешняя ночь была поистине ночью победы. Мы победили вашим именем. Еще вчера Белый Совет был верховным правителем, каким он был целый гросс лет — полтора века, по-вашему, — и вдруг... Довольно было шепнуть, что Спящий проснулся, и нет больше Совета.

— Простите, все это для меня китайская грамота, — перебил Грехэм, — Мне не совсем ясны условия этой борьбы. Если бы вы объяснили.... Где теперь Белый Совет? Кончена борьба или все еще продолжается?

Острог, не отвечая, перешел комнату. Послышался короткий металлический звон, и вслед за тем они очутились в полной темноте. Только овальный диск выделялся на стене светлым пятном.

Очнувшись от первого изумления, Грехэм заметил, что мутносерая поверхность диска начала углубляться и приняла вид большого овального окна, за которым происходила странная сцена.

Он смотрел не отрываясь, но сначала ничего не понимал. Он видел только, что действие происходит при дневном свете — при свете серого, зимнего дня. На втором плане картины сверху донизу тянулся толстый кабель из белой скрученной проволоки. Затем шли ряды огромных ветряных колес с широкими промежутками темноты между ними. Все это было очень похоже на то, что он видел во время своего бегства из ратуши. Он заметил еще, что по всему свободному пространству в этой полутьме шагали по два в ряд люди в красных мундирах между двумя плотными рядами черных фигур, и понял еще прежде, чем Острог заговорил, что перед ним верхний этаж современного Лондона — лондонские крыши. Но теперь на них не было снега, как накануне. «Должно быть, это новейшее усовершенствование камеры-обскуры, — подумал он про

овальный экран, — Однако что за странность: ведь эти красные фигуры двигаются слева направо, а между тем исчезают в левом углу». Но он скоро сообразил, что вся картина, как панорама, медленно передвигалась справа налево.

— Сейчас вы увидите сражение, — сказал Острог. — Заметили вы людей в красном? Это наши пленные. Место действия — площадь лондонских крыш. Теперь ведь наши крыши представляют одну сплошную площадь. У нас и улицы под крышами и общественные скверы; у нас нет промежутков между отдельными домами, как было в ваше время.

В эту минуту половина картины закрывалась какою-то движущейся тенью, — судя по очертаниям, тенью человека. Сверкнула искра, отбросив металлический отблеск на противоположную стену. По поверхности диска проползла мутная пленка, и картина опять осветилась. Теперь на экране между колесами ветряных двигателей бежали люди, целясь друг на друга из каких-то особенных ружей, выбрасывавших маленькие дымящиеся искорки. Направо толпа становилась все гуще и гуще. Люди отчаянно жестикулировали и, должно быть, кричали, но о последнем можно было только догадываться. И все вместе — и люди и колеса — ровно и медленно передвигались по экрану в одну сторону, постепенно скрываясь из глаз.

— Сейчас покажется ратуша, — сказал Острог.

С правого края экрана стало медленно выдвигаться что-то черное, оказавшееся огромным черным провалом пожара между уцелевшими зданиями, провалом, от которого к бледному зимнему небу тянулись тоненькие струйки дыма. Кое-где среди этого разрушения уныло торчали обгорелые остоны массивных колонн — остатки прежнего великолепия, — а между ними бежали, ла-





*Острог, не отвечая, перешел комнату. Послышался короткий металлический звон, и вслед за тем они очутились в полной темноте. Только овальный диск выделялся на стене светлым пятном.*

зили, копошились миниатюрные фигурки людей.

— Вот она, ратуша, — сказал опять Острог, — Это их последний оплот. Чтобы предупредить нашу атаку, они взорвали соседние здания, пожертвовав огромным запасом пороха, с которым можно было продержаться еще, по крайней мере, месяц. Безумцы! Вы слышали взрыв? Им выбиты все окон-

ные стекла в ближайшей половине города.

Пока он говорил, на экране показалось высоко вздымавшееся над дымящимися развалинами массивное белое здание, оторванное разрушением от окружающих домов. Часть его передней стены обвалилась, оставив раскрытыми огромные великолепные залы. Что-то зловещее было в их роскошном убранст-



ве при тусклом свете этого серого зимнего дня. Местами зияли черные впадины коридоров с висящими по стенам оборванными концами кабелей и металлических проводов. И среди этого разрушения повсюду двигались красные крапинки — красные мундиры защитников Совета. Время от времени вспыхивали бледные искры, освещая на миг эту картину смерти. В первый момент Грехэму показалось, что защитники белого здания отражают атаку, но потом он рассмотрел, что революционеры не переходят в нападение, а только поддерживают перестрелку с гарнизоном крепости, пользуясь, как прикрытием, колоссальными развалинами ближайших домов.

Как странно подумать, что каких-нибудь десять часов тому назад он стоял под вентилятором в маленькой комнатке этого белого здания, теряясь в догадках по поводу того, что происходит за его стенами!

Острог между тем продолжал в коротких и точных словах описывать события дня. Бесстрастным тоном говорил он об огромной потере людей, о чудовищном опустошении, которое произвел этот взрыв. Он указал Грехэму на груды развалин, похоронивших под собою сотни человеческих трупов, на двигавшиеся между ними лазаретные фуры и на крошечные фигурки санитаров, подбиравших раненых среди хаоса, бывшего еще вчера площадью движущихся улиц. Гораздо больше интереса проявил он, когда заговорил о тактических приемах противника, о расположении отдельных частей гарнизона и о том, как долго может он еще продержаться. Вскоре междоусобная борьба, разыгравшаяся в новом Лондоне, не представляла больше тайны для Грехэма. Это не была война равных противников: это был великолепно организованный переворот. Острог поражал своим знанием всех мельчайших подробностей этой борьбы: ему, казалось, было

известно, чем занята и чего добивается каждая маленькая кучка красных и черных фигурок, ползающих по экрану.

Вот его рука протянулась к ярко освещенной картине, отбросив на нее огромный черную тень. Он показал Грехэму комнаты, где его держали в заточении, и, водя пальцем по экрану от одного полуразрушенного дома к другому, наметил весь путь его бегства.

Грехэм узнал тот черный провал между домами, через который был перекинут желоб, узнал колеса ветряного двигателя, под которым он прятался от летательной машины. Остальной части его пути нельзя было проследить, так как дома, по крышам которых он шел, были разрушены взрывом. Он снова взглянул на картину: половина ратуши уже продвинулась за экран, а справа, как в тумане, выдвигался какой-то холм с разбросанными по нему домами и башенками.

— Итак, Совет низвержен, говорите вы? — спросил Грехэм.

— Окончательно! — ответил Острог.

— А я?.. Неужели правда, что я...

— Вы собственник половины мира.

— Но почему же это белое знамя...

— Это знамя Совета, знамя владычества над миром. Оно падет. Борьба кончена. Их нападение на театр было последней отчаянной попыткой. У них осталось не больше тысячи человек, да и те ненадежны. Запасы пороха у них почти вышли. А мы решили тряхнуть стариной: льем пушки.

— Но позвольте: ведь к ним может подоспеть подкрепление. Не кончается же мир этим городом, я полагаю?

— Для них, пожалуй, да. Все остальные города и страны или восстали вместе с нами, или сохраняют нейтралитет в ожидании исхода борьбы. Ваше пробуждение ошеломило весь мир: все колеблется, никто не может решить, что ему делать.

— Ну, а летательные машины? Разве в распоряжении защитников Совета нет летательных машин? Отчего они не пускают их в ход?

— Они пробовали. Но большинство аэронавтов оказалось на нашей стороне. Правда, аэронавты не посмели открыто выступить на защиту восставших, но они отказались действовать против нас... Нам, впрочем, пришлось-таки повозиться с этими господами. Половина сочувствовала нам, а другая половина знала это. Ну вот, как только им стало известно, что вы бежали, все летательные машины, бывшие в действии, спустились — все, кроме одной. Час тому назад мы убили человека, стрелявшего в вас.... Да, надо заметить, что с первой же минуты мы позаботились занять по возможности все станции летательных аппаратов во всех городах. Таким образом, в наших руках оказались почти все аэропланы. Ну, а легких летчиков мы не боимся: по тем из них, которым удалось подняться, мы все время поддерживали ружейный огонь и не допускали их к ратуше. А если бы какой-нибудь и спустился поблизости, ему все равно не пришлось бы больше подняться, так как там нет ни одной площадки, достаточно широкой для взлета. Некоторые из аппаратов были подбиты нашими выстрелами, многие спустились добровольно и сдались, остальные улетели на континент искать союзников, которые поддержали бы их дело. Большинство аэронавтов, надо сказать, сами добивались, чтобы их взяли в плен и лишили возможности действовать. Да и в самом деле, упасть с высоты — перспектива не из приятных.... Итак, вы видите теперь, что Совету не на что надеяться и с этой стороны. Совет погиб, дни его сочтены.

Он засмеялся и снова повернулся к экрану, чтобы показать на нем Грехэму станции летательных аппаратов. Но даже четыре ближайшие станции были дале-

ко, и трудно было что-нибудь рассмотреть за густой пеленой утреннего тумана. Грехэм заметил только, что это сооружения колоссальных размеров даже по сравнению с огромными зданиями, окружавшими их.

Картина между тем все передвигалась влево. Исчезла ратуша, скрылись из виду холмы, и справа опять показалась та самая площадь крыш, на которой Грехэм перед тем видел красные мундиры пленных, шагавших под конвоем. А там опять потянулись черные развалины зданий, снова выдвинулась одиноко торчащая среди них белая твердыня ратуши. Но теперь она уже не имела того зловеще-призрачного вида, как при первом своем появлении: утренние тучи рассеялись, и все белое здание было залито солнцем. Возня пигмеев вокруг этого великана все еще продолжалась, но вяло: его красные защитники уже почти не стреляли.

Таким-то образом человек девятнадцатого столетия, не выходя из полутемной запертой комнаты, увидел на освещенном экране заключительную сцену великой борьбы двадцать второго века. Не сходя с места, он проследил все последние перипетии восстания, поднятого его именем в целях укрепления его владычества над миром. И, как откровение, блеснула у него новая мысль, что этот мир, теперешний мир, близок ему, а не тот, который он оставил так далеко за собой, и что видел он сейчас на экране не театральное представление, которое посмотришь и забудешь, а реальную жизнь; что ему самому предстоит участвовать в этой жизни и принять на себя свою долю ее опасностей, обязанностей и ответственности. Он повернулся к Острогу с готовыми вопросами на губах. Острог начал было отвечать, но перебил себя на полуслове.

— Нет, лучше я вам все это потом объясню. Сначала нужно исполнить все

дела и обязанности. Народ из всех частей города стекается толпами к этому дому. Все рынки, все театры переполнены. Вы подросли как раз вовремя. Вас хотят видеть. И не только Лондон хочет вас видеть, а все города: Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Капри.... Тысячи городов поднялись и требуют, чтобы вы им показались. Народ всего мира давно уже, многие годы, требовал, чтобы вас разбудили, а теперь, когда ваше пробуждение стало совершившимся фактом, они не верят...

— Послушайте, не могу же я объехать весь мир.

Но Острог был уже на другом конце комнаты. Он нажал там какую-то кнопку: комната разом осветилась, а картина на экране побледнела и расплылась. И только тогда он ответил:

— В этом нет никакой надобности. На то существует кинетотелефотграфия. Если вы здесь, в Лондоне, ответите поклоном на приветствия толпы, его увидят мириады людей, разбросанных по всему миру. Им нужно будет для этого только собраться в темных помещениях, снабженных надлежащими приборами. Эти приборы передают только черный и белый цвета так, что они увидят ваше неокрашенное отражение, но увидят вполне отчетливо. А вы здесь услышите их приветственные клики.... Есть у нас, кроме того, еще один оптический прибор, которым пользуются иногда танцовщицы и акробаты. Вам он, верно, не знаком. Мы и его пустим в дело. Действует он так: ставят человека в фокусе ярких лучей света, причем отбрасывается на экране его отражение в настолько увеличенном виде, что публика, даже сидящие в задних рядах самой дальней галереи, могут сосчитать все волоски на его ресницах.

Чувствуя, что ему все равно не осилить всего, что он слышит, Грехэм в отча-

янии ухватился за один из множества вопросов, вертевшихся у него в голове.

— Как велико население теперешнего Лондона? — спросил он.

— Двадцать восемь мириад жителей.

— Я не понимаю...

— Свыше тридцати трех миллионов.

Воображение Грехэма решительно отказывалось охватить эту цифру.

— Итак, решено: вы покажетесь народу, — продолжал Острог. — Само собой разумеется, что вам придется что-нибудь им сказать. Не спич, конечно, как это называлось в ваше время, а, как говорят по-нашему, слово, то есть одну небольшую фразу из пяти-шести слов. Ну, например, в таком роде: «Я проснулся, и сердце мое с вами». Этого вполне достаточно.

— Как вы сказали? — переспросил Грехэм.

— «Я проснулся, и сердце мое с вами». При этом вы поклонитесь по-царски.... Но прежде вас надо переодеть. Ваш цвет черный. Вы явитесь им в черном. Согласны?.. Ну, а когда они вас увидят, они успокоятся и мирно разойдутся по домам.

Грехэм немного замялся.

— Ну что ж, делайте, что хотите; я ведь в вашей власти, — сказал он наконец.

Острог был, видимо, того же мнения. После минутного раздумья он подошел к портьеру и отдал несколько коротких приказаний кому-то невидимому. Через секунду явился слуга с черным плащом в руке. «Точь-в-точь такой, какой они накиннули на меня в театре», — подумал Грехэм. Слуга набросил ему на плечи этот плащ, и в ту же минуту в соседней комнате зазвенел пронзительный звонок. Острог повернулся было к слуге с готовым вопросом, но вдруг передумал, раздвинул портьеру и скрылся.

С минуту Грехэм в недоумении смотрел на стоявшего перед ним навтыж-

ку лакея, прислушиваясь к удалявшимся шагам Острога. Из-за двери доносился шум торопливых шагов, слышались возбужденные голоса, шел быстрый обмен вопросами и ответами. Но вот портьера снова раздвинулась, и снова показался Острог. Его крупное выразительное лицо горело от волнения. Большими быстрыми шагами он перешел комнату, одним поворотом руки погасил освещение, потом схватил Грехэма за руку, указывая ему на осветившийся экран.

— Смотрите: не успели мы отвернуться, как они... События не ждут.

Огромная черная тень его указательного пальца упиралась в здание ратуши, резко выступавшее на ярко освещенном экране. Грехэм ничего не понимал. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил, что высокий шест на крыше ратуши, на котором раньше развевалось белое знамя, теперь опустел.

— Неужели?... — начал было он.

— Совет сдался. Владычество его пало, пало навсегда... Взгляните.

По шесту теперь медленно поднималось свернутое черное знамя, развертываясь на ходу.

Картина вдруг побледнела: в комнату вошло новое лицо, впуслав за собой в открытую дверь полосу света. Это был Линкольн с докладом.

— Они там беснуются, — сказал он.

Острог крепче сжал руку Грехэма.

— Мы подняли народ. Мы раздали ему оружие, и он отстоял наше дело. Так хоть сегодня мы — его слуги. Надо исполнить его желание. Сегодня для вас его воля — закон.

Линкольн молча откинул портьеру и посторонился, пропуская вперед Грехэма и Острога...

Из всего, что видел Грехэм по дороге к Рыночной площади, у него осталась в памяти только длинная узкая комната с выбеленными стенами и с правильными

рядами коек по бокам. Оттуда еще издали доносились стоны и вопли. Люди в неизменных голубых холщовых балахонах беспрерывно выносили оттуда тяжелые носилки, покрытые белыми простынями, а вокруг коек суетились другие люди в красных хламидах (очевидно, форменный цвет медицинского персонала больницы). Грехэму смутно припомнилась потом пустая койка с окровавленным постельным бельем, бледные, измученные люди с перепачканными кровью повязками, лежавшие на других койках.... Но все это он видел лишь мельком, с высоты тянувшихся под потолком этой комнаты висячих мостков, по которым они проходили, а потом массивная колонна скрыла от них тяжелую картину, и они продолжали путь.

Рев толпы, долетавший с Рыночной площади, все приближался. Еще один поворот, и звуки хлынули бурной волной, прокатились, как гром. Впереди, в глубине длинного перехода, Грехэм увидел развешивающиеся черные знамена, волнуемое море голубых и коричневых одежд: перед ним открылось широкое пространство зала, того самого колоссального театра, куда он спустился по кабелю, где был свидетелем кровавой борьбы и откуда потом бежал, спасаясь от красной полиции. В этот раз он вошел сюда по верхней галерее, приходившейся значительно выше сцены. Театр был теперь ярко освещен. Грехэм машинально искал глазами тот проход между креслами амфитеатра, по которому он пробирался ползком, прячась от выстрелов, но не мог отличить его среди множества других таких же проходов. За густой толпой не видно было никаких следов недавней борьбы. Толпы заполняла весь партер, все ложи, все места, кроме сцены.

Как только Грехэм с Острогом показали на галерее, крики замолкли, пение прекратилось, и все лица обратились



кверху. Все это разнокалиберное, беспорядочно оравшее скопище людей притихло, как один человек, сливаясь в одном всепоглощающем чувстве. И каждый с жадным любопытством, не отрываясь, смотрел на того, кто спал, и проснулся, и теперь вступил в свои права.

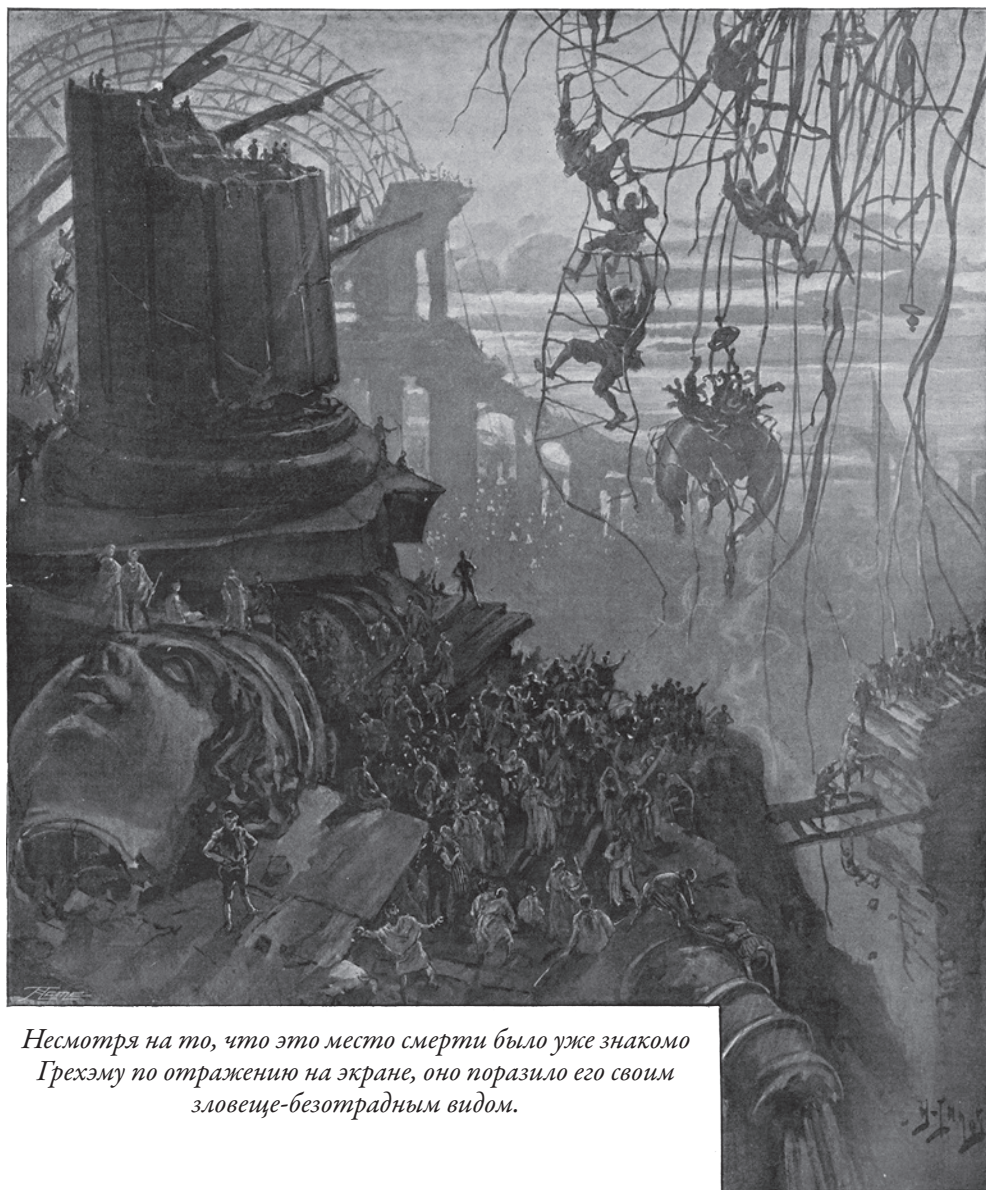
### Глава XIII КОНЕЦ СТАРОГО СТРОЯ

По соображениям Грехэма было около полудня, когда опустилось белое знамя Совета. Но нужно было еще несколько часов на выполнение всех формальностей сдачи, и потому, сказав свое «слово», он вернулся назад, в Управление ветряных двигателей, и удалился в отведенное ему там помещение. Он был так утомлен волнениями последнего дня, что даже любопытство его притупилось. Он долго сидел не шевелясь, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не думая ни о чем. Потом лег и заснул. Проснувшись, он увидел возле себя двух врачей, явившихся с каким-то подкрепляющим средством, которое должно было придать ему сил для участия в дальнейших церемониях этого дня. Он выпил лекарство, принял холодную ванну, и бодрость вернулась к нему. Охотно, с большим интересом отправился он после этого в сопровождении Острога на заключительную сцену сдачи Белого Совета.

Ему казалось, что они прошли несколько миль, спускаясь и поднимаясь на лифтах, кружа по извилистым переходам бесконечного лабиринта зданий. Наконец на повороте одного коридора перед ними открылся широкий вид на окруженное развалинами белое здание ратуши и на нависшие над ним облака, позолоченные отблеском заходящего солнца. Вместе с этим их обдало волною огуши-

тельных звуков. В следующий момент они уже стояли на выступе крыши одного из полуразрушенных домов. Несмотря на то, что это место смерти было уже знакомо Грехэму по отражению на экране, оно поразило его своим зловеще-безотрадным видом. Оно представляло собой неправильный амфитеатр разрушенных зданий, тянувшихся почти на милю кругом. Развалины, сверкающие золотом заката с левой стороны, направо и внизу, казались мертвыми и холодными, исчезая в тени. Над мрачной крепостью Белого Совета, занимавшей центр, по-прежнему висело черное знамя победителей, ниспадая тяжелыми неправильными складками в безветренном воздухе. Развороченные взрывом огромные залы и коридоры зияли темными впадинами, как разверстые пасти чудовищ. Отовсюду свешивались, точно морская трава, оборванные сети металлических проводов и концы переплетающихся кабелей, а снизу из этого хаоса неслись звуки труб и неистовый рев бесчисленных голосов. Белая громада последнего оплота Совета стояла словно посреди кладбища: ее кольцом окружали почерневшие остовы каменных зданий, обломки балок, груды массивного камня от обвалившихся гигантских стен. Внизу, между развалинами, бежала, сверкая, вода, а вдали виднелся торчавший футов на двести кверху конец обломанной водопроводной трубы, из которого вода била широким фонтаном. Повсюду, куда ни взгляни, тысячные толпы народа.

Люди лепились на каждом выступе, на каждой площадке — везде, где только можно было стать ногой. На таком расстоянии они казались крошечными фигурками, отчетливо видными в каждом уголке, кроме тех мест, которые были залиты сплошным золотом прощальных солнечных лучей. Люди карабкались по полуразвалившимся стенам, взбирались



*Несмотря на то, что это место смерти было уже знакомо Грехэму по отражению на экране, оно поразило его своим зловеще-безотрадным видом.*

целыми группами на высокие колонны, кишели, как муравьи, по всему амфитеатру развалин, проталкиваясь, продираясь к центру. Воздух звенел от их крика.

Верхние этажи ратуши казались совершенно пустыми: там не показывалось ни одной живой души. Только над крышей слабо шевелилось тяжелое черное знамя, выделяясь черным призраком

против света. Мертвые лежали внутри здания, или их уже успели убрать, или, может быть, их не было видно за толпой. Только пять-шесть забытых трупов валялись среди обломков в самом низу, где бежала вода.

— Благоволите показаться народу, государь, — сказал Острог Грехэму. — Все жаждут видеть вас.

После минутного колебания Грехэм шагнул вперед и остановился на краю выступа.

Довольно долго простоял он, никем не замечаемый снизу, резко выделяясь своею высокой черной фигурой на светлом фоне неба. Но, наконец, его заметили. Внизу произошло движение, пронесся рокот восторга. Все лица обратились кверху. Он видел, что его узнали. «Надо чем-нибудь выразить им мои чувства», — подумалось ему. Он молча указал на белую твердыню ратуши и выразительно махнул рукой в знак того, что владычество Совета пало. Крики внизу слились в единодушный рев и понеслись к нему ликующей, бурной волной.

В это время вдаль показался небольшой отряд солдат в черных мундирах, медленно приближавшийся к ратуше, с трудом проталкиваясь сквозь толпу.

Полоса неба на западе из багровой превратилась в бледно-зеленую, и звезды заблестели на небесном своде, а церемония капитуляции все еще была впереди. Вверху шла своим чередом обычная неспешная смена бесстрастных светил: тихо подходила ночь, ясная и прекрасная. А внизу были суматоха, волнение.... Выкрикивались противоречивые приказания, гул голосов то разрастался в рев, то падал, сменяясь тишиной. Видно было, как люди в черных мундирах, подгоняемые окриками своего начальства и криками толпы, вытаскивали из ратуши трупы ее защитников, погибших в рукопашных схватках среди лабиринта ее коридоров и залов.

Теперь уже недолго оставалось ждать. С минуты на минуту должны были показаться побежденные — члены Белого Совета. Черный отряд выстроился в две шеренги по всему пути, которым ему было назначено проходить. Толпа замерла в ожидании. Повсюду, куда мог проникнуть глаз сквозь голубую мглу надвигав-

шейся ночи, на всех карнизах отбитого у врагов белого здания, на каждом выступе ближайших полуразрушенных домов стояли и сидели люди, и даже теперь, когда никто не кричал, человеческий говор шумел, поднимаясь и падая, как море, набегающее на прибрежные камни.

По приказанию Острога на одной высокой груде развалин построили на крепких металлических подпорках деревянный помост с возвышением посредине. Сюда-то и перешли теперь Грехэм, Острог и Линкольн со свитой подчиненных Острога. Весь помост вокруг возвышения заняли черные солдаты революционных войск со своими зелеными «ружьями» как называл это странное оружие Грехэм про себя. Стоявшие возле него заметили, как взгляд его беспрестанно переходил от копошившейся внизу толпы народа к хмурому зданию ратуши, откуда должны были появиться члены Совета, а потом поднимался к призрачным остовам окружающих зданий и снова опускался вниз.

Но вот раздался угрожающий рев. Вдали, в черной пасти наружных сводчатых ворот ратуши, показались члены Совета — маленькая, жалкая кучка белых фигур. Они приостановились в воротах, жмурясь от света: там, у себя, в своей крепости, они сидели впотьмах: Грехэм видел, как они медленно приближались, минуя одну за другой яркие звезды электрического света, зажженные по всему их пути. Грозный ропот народа преследовал их по пятам. По мере их приближения все яснее выступали их бледные, измученные, перепуганные лица. Поравнявшись с помостом, все они подняли головы и бросили тревожный взгляд на своих победителей. Грехэму припомнилось, как холодно-враждебно смотрели на него эти самые люди три дня тому назад, когда он стоял перед ними в зале Атласа... Он узнал в лицо некоторых из





*Развороченные взрывом огромные залы и коридоры зияли темными впадинами, как разверстые пасти чудовищ (к с. 312).*



них — того, который гневно ударил рукой по столу в ответ на что-то, сказанное Говардом; узнал и другого — человека с грубым лицом и рыжей бородой, и еще одного — невысокого роста брюнета с вытянутым черепом и тонкими чертами лица. Он заметил, что двое из них все время шептались и все оглядывались на Острога. Последним шел высокий, черноволосый, очень красивый человек. Он шел, потупившись, низко опустив голову. Только подходя к помосту, он вдруг поднял глаза, на минуту встретился взглядом с Грехэмом, потом взглянул на Острога и снова потупился. Дорога для шествия побежденных была проложена таким образом, что они должны были пройти мимо помоста победителей, потом повернуть и по дощатым мосткам подняться на эстраду, где должна была совершиться официальная церемония сдачи.

«Наш господин! Государь! Бог и государь! К черту Совет!» — кричал народ.

Грехэм окинул взглядом эти несчетные массы людей, заполнявшие все видимое пространство внизу и тонувшие во мгле дали, потом взглянул на Острога, стоявшего подле него с бледным застывшим лицом... на маленькую кучку белых фигурок, медленно двигавшихся по мосткам с поникшими головами.... Все это было так чуждо, так непривычно! Он поднял голову, увидел над собой знакомые тихие звезды, и в душе его с особенной силой заговорило сознание того чудесного, необычайного, что он пережил за последние дни. Неужели та скромная жизнь, что так странно оборвалась два века тому назад и так живо сохранилась в его памяти, была его жизнь? И неужели это он же, тот самый человек, живет теперь?

## Глава XIV «ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО»

Итак, после жестокой борьбы, сломившей все преграды к его воцарению, человек девятнадцатого столетия прочно занял свое положение главы нового сложного мира.

Когда после своего освобождения и после сдачи Совета он очнулся от долгого глубокого сна, он в первый момент не мог отдать себе отчета, где он и что с ним было. Усилием воли Грехэм, однако, поймал оборвавшуюся нить воспоминаний, и все случившееся за последние дни мало-помалу воскресло перед ним: сначала как что-то далекое, чужое, как сказка, которую он слышал или читал. Но даже прежде, чем память его окончательно прояснилась, в душе его проснулись радость возвращения к жизни, сознание своего нового положения и изумление перед необычайностью судьбы, вознесшей его на такую высоту. Он — собственник половины земного шара, властелин земли! Новый мир нового века принадлежит ему в полном значении этого слова. Теперь ему уже не хотелось проснуться и убедиться, что все им пережитое было лишь сном; теперь он страстно желал, чтобы этот сон оказался действительностью.

При утреннем его туалете присутствовал величавый гофмейстер — маленький человечек, несомненно японского типа, хотя по-английски он говорил, как англичанин, — отдававший краткие приказания услужливому до раболепства камердинеру, который помогал ему одеваться. От этого человека он узнал кое-что новое о положении дел в стране. Государственный переворот был теперь общепризнанным фактом. В городе уже возобновилась правильная повседневная жизнь. За границей почти повсеместно падение Белого Совета было принято с восторгом. Совет никогда и нигде

не пользовался большой популярностью, и сотни городов Западной Америки, которые и теперь, как двести лет тому назад, старались ни в чем не отставать от Лондона, Нью-Йорка и вообще Востока, единодушно восстали при первом же известии о заточении Спящего. В Париже шла междоусобная война. Все остальные города земного шара придерживались выжидательной политики, и ни один не перешел на сторону Совета.

Когда Грехэм сидел за завтраком, в углу вдруг зазвонил телефон, и гофмейстер доложил ему, что это Острог спрашивается, хорошо ли он провел ночь. Грехэм встал из-за стола и ответил. Вскоре после этого явился Линкольн. Грехэм поспешил заявить о своем неслучайном желании видеть людей и как можно скорее ознакомиться с новой жизнью, куда его бросила судьба. Линкольн сказал ему на это, что через три часа назначено собрание главных сановников города, на которое приглашены и их жены. Собрание это состоится в парадных апартаментах директора Управления. Что же касается желания Грехэма осмотреть город, то с этим придется обождать, так как народ еще слишком возбужден. Но если он хочет, то может хоть сейчас увидеть город с высоты птичьего полета, со сторожевого поста надзирателя ветряных двигателей, — с так называемого «вороньего гнезда».

Грехэм охотно согласился. Тогда Линкольн, сославшись на неотложные дела, извинился, что не может иметь удовольствия сопутствовать ему, и сдал его на попечение гофмейстера, с которым Грехэм и отправился к «вороньему гнезду».

Высоко, над самыми высокими ветряными двигателями, на добрых тысячу футов выше крыш, висело это «воронье гнездо», казавшееся снизу крошечным кружочком, насаженным на тонкий

металлический шпиль. Грехэма подняли туда по проволочному кабелю в корзинке. На половине высоты шпиля была прикреплена легкая, как кружево, круглая галерейка, вокруг которой спускался ряд каких-то труб, вращавшихся на общем кольце. Все эти трубы были соединены с зеркалами, помещенными в «вороньем гнезде», и составляли новейшее оптическое приспособление, при помощи которого из Управления ветряных двигателей можно было в каждый данный момент увидеть, что происходит в любой части города. Этим-то приспособлением и воспользовался Острог, чтобы показать Грехэму на экране ход междоусобной борьбы, закончившейся восставлением прав народа и Спящего.

Японец-гофмейстер, по фамилии Асано, первым поднялся на верхушку. Они пробыли там целый час. Грехэм расспрашивал, а спутник его добросовестно отвечал.

День выдался чудный — ясный, совершенно весенний. Дыхание легкого ветерка обдавало теплом. На ярко-голубом небе ни облачка. Вся необъятная ширь раскинувшегося во все стороны города сверкала серебром в лучах восходящего солнца. Прозрачный воздух, не застилаяемый ни дымом, ни туманом, был чист, как воздух горных вершин.

Если бы не развалины, тянувшиеся вокруг ратуши неправильным кругом, да не черное знамя над ее крышей, напоминавшее о недавней борьбе, на всем протяжении огромного города нельзя было с этой высоты подметить никаких признаков внезапного переворота, в какие-нибудь сутки изменившего судьбы всего мира. В развалинах все еще копошились люди-муравьи, и видневшиеся вдали гигантские открытые станции воздухоплавательных аппаратов, с которых в мирное время отбывали аэропланы во все большие города Европы и Америки,



*Высоко, над самыми высокими ветряными двигателями, на добрых тысячу футов выше крыши, висело это «воронье гнездо» (к с. 317)*



сплошь чернели черными плащами революционеров. На узких временных мостках, перекинутых через площадь развалин, сутились рабочие над починкой оборванных кабелей и проводов: надо было восстановить сообщение между городом и ратушей, куда Острог был намерен перенести свою главную квартиру. Остальная панорама дышала такою невозмутимой тишиной, что когда взгляд Грехэма, оторвавшись от беспокойного муравейника, наполнявшего развалины, останавливался на этой залитой солнцем картине жизни мирного города, он почти забывал о тех тысячах людей, что лежали скрытые от посторонних глаз где-то там, в закоулках этого полуподземного лабиринта, уже умершие или умирающие от ран, забывал о десятках сиделок и хирургов, хлопотавших вокруг них, и о сотнях носильщиков, не успевавших вытаскивать мертвецов, — забывал, одним словом, обо всех ужасах и обо всех чудесах этого нового мира с его неугасимым электрическим светом. Там, внизу, в крытых галереях человеческого муравейника, торжествовала революция — он хорошо это знал. На улицах там царил революционный черный цвет: черные значки, черные знамена, черная драпировка на домах. А здесь, вверху, под ярким утренним солнцем, вне кратера недавно кипевшей борьбы, тянулся выросший за полтора столетия лес ветряных двигателей, мирно гудевших за своей неустанной работой, как будто никакого переворота не совершилось на земле.

Вдали, тоже усеянные ветряными двигателями, туманной голубовато-сизой линией вставали гребни Серрейских холмов. Поближе, с северной стороны, выступили резкими очертаниями холмы Хайгетский и Масвеллский с таким же лесом торчащих на них колес и лопастей. И так везде, везде — он это знал. На каждой вершине каждого холмика, где

некогда переплетались живые цветущие изгороди, где под тенистыми деревьями ютились коттеджи, фермы, церкви, деревенские гостиницы, теперь отбрасывали свои колеблющиеся тени вертящиеся колеса таких же бездушных гигантов, каких он видел кругом, — все тех же неумолимых порождений нового века, безустанно накапливавших электрическую энергию и рассылавших ее по жизненным артериям городов. А у подножия холмов пались неисчислимые стада Британского пищевого треста, его собственности, охраняемые одинокими пастухами.

Это полчище зловещих призраков-машин, с их машущими крыльями-лопастями, совершенно изменило общий вид местности. Нигде ни одного знакомого очертания. Собор Святого Павла и некоторые из старинных зданий Вестминстера, как он слышал, уцелели, но они были скрыты от глаз, погребены под сводами гигантских надстроек нового великого века. Ни одна струйка бегущей воды не оживляла этой каменной громады. Не серебрилась больше на солнце веселая Темза: жадные трубы водопроводов еще далеко от города выпивали каждую каплю ее воды. Ее прежнее русло, углубленное и расширенное, наполнилось морской водой, и по этому каналу тащились теперь целые караваны грязных барж и барок, подвозя, так сказать, прямо к ногам рабочего весь нужный строительный материал. Вдали, на востоке, над линией горизонта, тянулася, словно повисший в воздухе, частый лес высоких мачт парусного океанского флота, ибо весь тяжелый груз доставлялся с разных концов света на больших парусных судах и только такие товары, в которых была неосложная надобность, подвозились на быстроходных пароходах.

К югу по гребню холмов тянулись колоссальные ходы водопроводов, доставлявших морскую воду на фабрики,



и, расходясь радиусами по трем направлениям, белели ленты идамитных дорог, усеянных какими-то движущимися серыми крапинками. Грехэм решил при первой же возможности осмотреть эти дороги. Насколько можно было понять из описания гофмейстера, каждая такая дорога состояла из двух отдельных полос, слегка покатых к бокам. По каждой полосе можно было ездить только в одну сторону. Идамит был искусственный состав, напоминающий стекло. По идамитным дорогам ездили в особых, очень узких одноколесных, двух и четырехколесных повозках на резиновых шинах. Эти повозки неслись со скоростью от одной до шести миль в минуту. Железные дороги канули в вечность; лишь кое-где уцелели железнодорожные насыпи: остатки седой старины. Некоторые из них послужили фундаментом для идамитных дорог.

В числе других диковинок нового века бросался в глаза огромный флот воздушных шаров, развозивших рекламы. Непрерывными вереницами летели они к северу и к югу по линиям пути аэропланов. Но аэропланы не показывались: их рейсы пока прекратились, и только где-то высоко-высоко над Серрейскими холмами, в голубой дали неба, чуть виднелось крошечное пятнышко — парящий небольшой моноплан.

Грехэм уже знал, хотя никак не мог себе этого представить, что в Англии исчезли почти все провинциальные города и все деревни. Только местами, в поле у дороги, на больших расстояниях одно от другого, стояли колоссальные здания гостиниц, сохранявших названия трех городков, которые они собой заменили. Так, например, были гостиницы Борнемаут, Уэрхем, Свэнедж. Такое исчезновение маленьких городков было неизбежным следствием роста культуры, как объяснил Грехэму его спутник. При старом

строе по всей стране были рассыпаны фермы; через каждые две-три мили попадался помещичий дом или деревенька с ее непременно атрибутами: церковью, мелочной лавочкой и сапожной мастерской. На каждые восемь-десять миль приходился рыночный городок, где имели свою постоянную резиденцию местный адвокат, местный лабазник, шорник, торговец шерстью, врач, ветеринар, портной и так далее. Окрестным фермерам надо было ездить на рынок, и десять миль в два конца было как раз такое расстояние; какое они могли проехать, не слишком утруждая лошадь и себя. Но с постепенным введением более быстрых способов сообщения — сначала железных дорог, потом автомобилей и, наконец, идамитных дорог, вытеснивших все остальные, — исчезла надобность в маленьких рыночных городках. Все они умерли своею смертью, но зато большие города разрослись. Приманкой неисчерпаемых (или казавшихся неисчерпаемыми) источников заработка они стянули к себе всю рабочую силу, а нанимателей привлекли приманкой неистощимого запаса рабочих рук.

По мере того, как возрастали требования комфорта и усложнялась жизнь, бедным людям становилось почти невозможно жить не в городе или приходилось отказаться от всяких удобств. С упразднением сельских церквей и мелких поместий, с перекочевкой ремесленников в города деревня утратила последние следы культуры. А когда телефон, кинематограф и фонограф окончательно вытеснили газету, книгу и школьного учителя, то жить вне поля действия электрических проводов было бы все равно, что жить дикарем, отрезанным от цивилизованного мира. В деревне нельзя было ни одеваться, ни питаться так, как того требовал изощрившийся вкус нового века. В деревне не было ни порядочных вра-

чей, ни общества, ни поприща для деятельности.

Постоянное усовершенствование земледельческих машин все более и более сокращало надобность в рабочих руках: один инженер мог заменить тридцать рабочих. Таким образом, для сельскохозяйственных рабочих создавалось положение, обратное положению лондонских писцов и конторщиков в старые времена: теперь рабочие с раннего утра покидали город, неслись на автомобилях и летели по воздуху к месту своей работы, а к вечеру тем же путем мчались обратно в город отдыхать и наслаждаться благами культуры. Город поглотил человечество.

Человек вступил в новую стадию своего развития. Он был кочевником, охотником, потом земледельцем в стране, где города и торговые гавани служили лишь рынками, передаточными пунктами для деревни. Наконец он перекочевал в города. И это скопление людей в городах было лишь логическим завершением эпохи изобретений.

Это положительно не укладывалось в голове Грехэма, как ни просто должно оно было казаться людям двадцать второго столетия. А когда он попробовал представить себе континент в виде огромного пустыря с десятком разбросанных по нему городов, фантазия окончательно изменила ему... Ничего, кроме городов! Один огромный город на сотни миль равнины... Города у больших рек, города вдоль морских берегов, города среди снежных вершин.... На земле почти повсеместно господствует английский язык. Со своими разветвлениями — наречиями испано-американским, англо-индийским, англо-негритянским и англо-китайским — он стал родным языком двух третей населения земного шара. На континенте, как любопытные пережитки далекой старины, удержались еще только три языка: немецкий, господству-

ющий к востоку до Антиохии и к западу до Генуи и сталкивающийся в Кадиксе с испано-американским; галлицизированный русский, сталкивающийся с англо-индийским в Персии и в Курдистане, и с англо-китайским в Пекине, и французский, сохранившийся во всей своей чистоте и блеске, поделивший Средиземное море с немецким и англо-индусским и достигающий пределов Конго в виде франко-негритянского наречия.

На протяжении всего земного шара, кроме «черного пояса» тропиков, находящегося под протекторатом цивилизованных городов, утвердился единый общественный строй. Весь мир цивилизован; весь мир состоит из городов, и весь или почти весь этот мир от полюсов до экватора — его, Спящего, собственность!..

На юго-западе в туманной дали поднимались роскошные «Веселые Города» — страшные города, о которых говорил кинофонограф и о которых он слышал на улице от болтливого старика. Какое странное явление эти «Веселые Города»! При взгляде на них невольно вспоминался легендарный Сибарис. Там жили красота и искусство — продажное искусство и продажная красота. Печальное, безотрадное место, где вечно веселились, где не умолкала музыка, куда прибегали за отдыхом и развлечением все те, кто выходил победителем в жестокой, бесславной экономической борьбе, которая никогда не затихала в сверкающем лабиринте огромного города, раскинувшегося внизу...

Борьба была, несомненно, жестокая. Об этом можно было судить уже по тому, что об экономических взаимоотношениях труда и капитала в Англии девятнадцатого века теперешние люди говорили как о какой-то идиллии. Взгляд Грехэма блуждал по необъятному пространству современного Лондона, отыскивая тру-

бы фабрик и заводов в этой громаде зданий!

## Глава XV ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Если б Грехэм из той привычной обстановки, которая окружала его в девятнадцатом столетии, попал прямо в парадные приемные Управления ветряных двигателей, они поразили бы его своею грандиозностью и вычурностью своих орнаментов. Но он уже начал привыкать к широким замашкам нового века, и никакая роскошь, никакие размеры не могли его удивить. Эти чертоги нельзя было даже назвать комнатами или залами. Это была какая-то путаница арок, мостов, коридоров и галерей, соединявших собою все части одного колоссального зала. Бродя по этим переходам, он вышел, наконец, к отлогому гладкому спуску, какие ему уже не раз случалось видеть в последние дни, и спустился на открытую площадку, от которой шли вниз широкие, очень отлогие ступени роскошной мраморной лестницы. Мужчины и женщины в блестящих нарядах спускались и поднимались по ней непрерывною пестрой толпой. Грехэму с его места была видна начинавшаяся у подножия лестницы длинная перспектива необыкновенно сложных архитектурных украшений, в которых преобладали белый, матово-желтый и пурпурный цвета и бесконечная сеть легких мостиков филигранной работы и галереек, точно сделанных из фарфора. Все это заканчивалось таинственной дымкой каких-то полупрозрачных ширм или портьер.

Взглянув вверх, он увидел над собою такую же паутину легких галерей, наполненных такою же нарядной толпой. И все эти люди глядели вниз, на него: все лица были обращены в его сторону. В воздухе

стоял сдержанный говор бесчисленных голосов, а откуда-то сверху (откуда именно, он не мог разобрать) неслись веселые, подмывающие звуки музыки.

Центральная часть громадного помещения была полна народу: там собралось по меньшей мере пять тысяч человек. И, несмотря на это, не чувствовалось тесноты. Костюмы поражали великолепием. Попадалось много фантастических костюмов, не только женских, но и мужских: влияние пуританских понятий на цвет и покрой мужского платья давно уже отошло в вечность. Некоторые из мужчин, правда немногие, щеголяли в женских прическах. У одного, которого Линкольн назвал Грехэму таинственным наименованием «амориста», ровно ничего ему не объяснившим, волосы были заплетены в две косы, как у гётевской Маргариты. Длинные волосы у мужчин встречались, впрочем, редко. Но у всех они были завиты щипцами на самый разнообразный манер. Плешивых совсем не было видно: этот порок, очевидно, исчез с лица земли. Много было китайских косичек. Вообще не было заметно какой-нибудь преобладающей моды. Статные, стройные люди, по-видимому, предпочитали платье в обтяжку, тогда как изъёмы фигуры у других прикрывались большей частью буфами и широкими складками. Там и сям мелькали тоги и хитоны. Сильно сказывалось также влияние эстетических понятий Востока. Толстяки, которые во времена Виктории сочли бы верхом неприличия не затянуться в наглухо застегнутый сюртук, теперь преспокойно распускали свое брюшко под длинными ниспадающими складками какой-нибудь хламиды. Грехэму, представителю строгой эпохи, совсем не нравились все эти люди: и внешность их, костюмы и манеры были чересчур изысканны, на его взгляд, и слишком уж экспансивно делились они своими впечатлениями. Же-

лая показать свое удивление или восторг, они не в меру жестикулировали, кричали, хохотали, а главное, с изумительной откровенностью выражали те чувства, которые возбуждали в них присутствующие дамы. Дамы здесь, к слову сказать, были в значительном большинстве: это сразу бросалось в глаза.

Костюмы дам были не менее изящны и отличались еще большей вычурностью, чем у мужчин. Одни щеголяли классической простотой или почти полным отсутствием складок и прямыми линиями мод первой французской империи. На других были платья в обтяжку, перехваченные поясом у талии. У многих были мантии на плечах. Но все они одинаково сверкали белизною обнаженных рук и плеч; очевидно, промежуток двух столетий ничуть не ослабил милой откровенности вечерних туалетов дам.

Грехэм заметил еще, что все эти люди отличались необыкновенной грацией движений. Когда он сказал об этом Линкольну, тот объяснил ему, что пластика движений составляет у них существенную часть воспитания каждого богатого человека.

Появление владыки было встречено сдержанным гулом приветствий, но это общество было слишком хорошо воспитано, чтобы надоедать человеку своим любопытством. Грехэма здесь не обступали толпой, не провожали назойливыми взглядами, когда он спускался с лестницы в центральный зал.

Он узнал от Линкольна, что здесь собрались все крупные представители современного лондонского общества: чуть ли не каждый из присутствующих или занимал какую-нибудь важную государственную должность, или приходился сродни кому-нибудь из власть имущих. Многие явились с континента, из тамошних «Веселых Городов», где они развлекались; они нарочно приехали, чтобы

присутствовать на чествовании властелина земли. Ведомство воздухоплавания в лице начальников своих отделений, сыгравшее некоторую, довольно, впрочем, пассивную роль в падении Совета, положительно чувствовало себя именинником и как-то особенно лезло всем в глаза. Не отставало от него и Управление ветряных двигателей. В числе других гостей были и уполномоченные от крупных торговых фирм. Между ними особенно выдавался своею меланхолически интересной наружностью и цинически наглым обращением главный директор Правления общевропейских свинных заводов. Мимо Грехэма, чуть не задев его плечом, прошел епископ в полном облачении, поглощенный беседой с господином в тоге и в лавровом венке.

— Кто это? — вырвалось у Грехэма.

— Лондонский епископ, — ответил Линкольн.

— Нет, другой... с которым он говорит.

— Поэт-лауреат.

— Как? Вы до сих пор еще...

— О нет, само собою разумеется, что он не пишет стихов. Но он приходится двоюродным братом Уотсону, одному из членов Совета, и состоит, кроме того, членом клуба роялистов Алой Розы, а они там свято чтут традиции.

— Асано мне говорил, что у вас есть король.

— Да. Но он не принадлежит к этому клубу. Его пришлось исключить. Он ведь Стюарт по крови.

Все это было не совсем вразумительно, но Грехэм не успел попросить объяснения, так как в эту минуту началась церемония представления гостей. Грехэму скоро стало ясно, что и теперь, в двадцать втором столетии, продолжало процветать различие общественных положений, ибо Линкольн счел возможным представить ему только самых высокопо-



ставленных лиц — немногих избранных. В первую очередь попал директор Общества аэронавтов, оказавшийся важной персоной благодаря своей своевременной измене Совету. Мужественное, загорелое лицо этого господина резко выделялось среди других изнеженных лиц. Приятно поразили Грехэма и манеры его своею простотой. В его говоре не слышалось того непривычного для Грехэма акцента новых англичан, который так резал ему ухо. После нескольких банальных, ничего не значащих фраз он осведомился о здоровье владыки и выразил ему, в довольно грубой форме, свою неизменную преданность. Затем, без всякого перехода, отрекомендовал себя «воздушным волком» старого закала, без всяких претензий, человеком, который ничего не боится, ученостью похвастать не может, но знает, что знает, а чего не знает, того не стоит и знать. Выложив все это одним духом, он так же круто оборвал речь, поклонился, весьма независимо и отошел.

— Я рад, что этот тип еще сохранился, — сказал Грехэм Линкольну.

— Самодовольный дурак, — заметил тот презрительно. — Но это он правда сказал: он знает то, что знает.

Грехэм еще раз взглянул вслед удалявшейся неуклюжей фигуре. В ней было для него что-то знакомое, напоминавшее ему его прежнюю жизнь.

— Уж если говорить всю правду, так мы его купили, — продолжал Линкольн. — Частью купили, а частью он перешел на нашу сторону потому, что боялся Острога. А нам было очень важно его заполучить: весь успех нашего дела зависел от него.

С этими словами он повернулся в сторону нового подходящего гостя и представил Грехэму генерального инспектора Общественных школ. Это была довольно деревянная фигура в форменном серо-зеленом мундире. Беседуя с

Грехэмом, он озарял его благосклонными взглядами сквозь золотое пенсне и подкреплял свои слова красивыми жестами выхоленных рук.

Грехэму было интересно знать, как поставлено школьное дело в современном мире, и он задал деревянному господину несколько прямых вопросов в этом смысле. Тот был, видимо, удивлен таким горячим проявлением интереса к столь сухому предмету. Он что-то такое промямлил насчет монополии народного образования, принадлежащей их компании, о контрактах между Синдикатом и лондонскими муниципалитетами и с большим увлечением распространился об успехах воспитания, достигнутых со времен королевы Виктории.

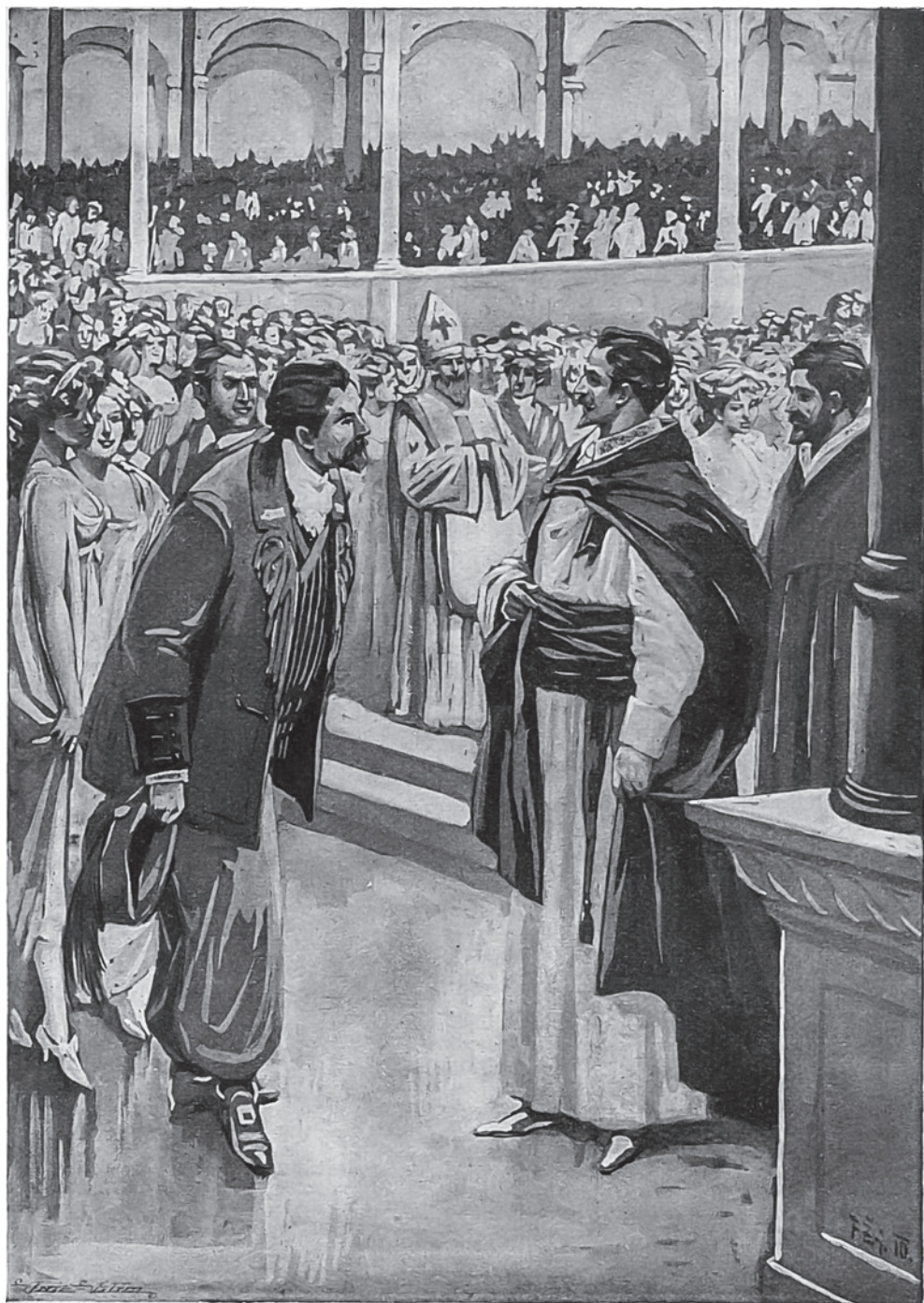
— В наших школах совершенно отсутствует зубрежка: экзаменов у нас не бывает, — сказал он. — Разве это не прогресс?

— Как же вы добиваетесь от детей, чтоб они учились? — спросил Грехэм.

— Мы стараемся сделать ученье привлекательным. А когда это не удается, предоставляем детей самим себе. — И он перешел к подробностям, к отдельным примерам.

Разговор затянулся. Грехэм узнал, что народные университеты еще существуют, но в измененном виде. По поводу женского образования инспектор снисходительно заметил:

— Да, между молодыми девушками, несомненно, встречается тип с серьезным складом ума, с горячим стремлением к знанию... если оно не слишком трудно дается. Таких девушек немало: мы их насчитываем тысячами. В настоящий момент у нас около пятисот фоновграфов в разных частях Лондона читают для женщин лекции о влиянии Платона и Свифта на любовные дела Шелли, Газлита и Бернса. По окончании лекции каждая слушательница напишет реферат на



*В первую очередь попал директор Общества аэронавтов,  
оказавшийся важной персоной благодаря своей своевременной измене Совету.*

эту тему, и фамилии тех из них, чьи рефераты будут признаны лучшими, будут занесены на золотую доску.... Вы видите теперь, что семена, посеянные в ваше время, не заглохли.... У нас...

— Простите, я хотел еще спросить вас о начальных школах, — перебил Грехэм, — Существует у вас какой-нибудь контроль над ними?

— О да, очень строгий контроль, — был ответ.

Грехэм, очень интересовавшийся начальным образованием в последние годы своей прежней жизни, уцепился за эти слова и приступил к своему собеседнику с новыми вопросами. Но он не услышал ничего нового.

— Зубрежки мы не признаем, — повторил деревянный инспектор, становясь почти сентиментальным.

— Вы, по-видимому, учите очень немногому.

— Школа для ребенка, — продолжал инспектор, — должна быть таким местом, где ему весело и легко. Об этом мы и хлопочем. Главные правила поведения — послушание, правдивость, и довольно с него. Успеет еще поработать. Ведь этим бедным детям предстоит жизнь тяжелого труда. Наука приводит народ только к недовольству и смутам. Мы в наших школах забавляем детей. Но даже теперь, при всей нашей предусмотрительности, среди рабочих бывают беспорядки. И откуда только они набираются социалистических идей, не понимаю! Друг от друга, должно быть. Это все еще бродит старая закваска — социалистические бредни. Туда же — социализм, анархизм!.. Ну, и агитаторы, конечно, не зевают: от них не уберешься. Мы же, я лично, по крайней мере, всегда считали и считаем мою первой обязанностью бороться с народным недовольством. Зачем делать людей несчастными?

— Ну, это как смотреть... — пробормотал Грехэм нерешительно и, помолчав, добавил: — Я, собственно, желал бы знать...

Но тут Линкольн, все время зорко следивший за выражением его лица, прервал их беседу.

— Простите, государь: другие ждут, — сказал он вполголоса.

Инспектор школ почтительно откланялся и отошел.

— Вы, может быть, желали бы познакомиться с кем-нибудь из дам? — сказал Линкольн Грехэму, перехватив случайно брошенный им взгляд, и через минуту представил ему дочь главного директора Правления общеевропейских свинных заводов. Это была молодая особа с ярко-рыжими волосами и живыми голубыми глазами. Грехэм не мог не признать, что она очень хороша собой. Линкольн скромно удалился, чтобы не мешать их беседе, и молодая девица сейчас же пустилась болтать о «добром старом времени», которое должен был так хорошо знать ее собеседник. Болтая, она улыбалась, а глазки ее смеялись так задорно, что нельзя было не улыбаться в ответ.

— Сколько раз я старалась вообразить это милое романтическое время, — говорила она. — Какой вы счастливец! Вы жили в те годы, вы их помните. Каким странным, должно быть, вам кажется теперешний мир! Я видела фотографии из вашей эпохи. Так смешно: маленькие отдельные домики, закопченные дымом из труб... кирпичные домики.... Ведь кирпичи, кажется, делались из обожженной глины? Потом эти мосты над головой с мчащимися по ним поездами. А эта простота реклам! Рекламы в виде надписей — так дико! А эти смешные, торжественные фигуры в черных пуританских костюмах! Черные сюртуки... высокие шляпы, фи! На улицах лошади, чуть ли не коровы. Даже собаки бегают



на свободе.... Да, странная жизнь. И после всего этого вдруг проснуться в наш век оторванным от прошлого, от всего, что было так близко и дорого. Ужасно!..

— В моей прежней жизни не много было счастья. Я не жалею о ней, — сказал Грехэм.

Она бросила на него быстрый взгляд, потом сочувственно вздохнула.

— Не жалееете?

— Нет. Ненужная жизнь ненужного человека — о чем тут жалеть? Но теперь... Мы в наше время считали мир в достаточной мере цивилизованным, и жизнь казалась нам слишком сложной. А теперь, — хоть не прошло еще и четырех суток, как я вновь родился на свет, — теперь, оглядываясь на свое прошлое, я вижу, какие это были варварские, дикие времена. Это была только заря цивилизации. Да, ранняя заря. Вы и представить не можете, каким я себя чувствую дикарем, как мало я знаю.

— Спрашивайте, если хотите: я буду отвечать, — проговорила она улыбаясь.

— Хорошо. Прежде всего скажите, что это за общество здесь собралось? Я никого не знаю. Мне говорили, что здесь будут все важные особы, генералы.

— Военные? Таких у нас нет.

— Нет, не военные. Я разумею — начальники управлений, государственные деятели, вообще люди с положением. ... Вон тот, например, седой человек с такой внушительной наружностью... Кто он такой?

— Ах, этот... Он действительно важная особа — главный директор Компании производства противожелчных пилюль. Фамилия его Морден. Рабочими этой компании, говорят, изготавливается до мириады мириад пилюль в двадцать четыре часа. Вы только представьте себе: мириада мириад!..

— Да-а. Неудивительно после этого, что у него такой высокомерный вид, —

сказал Грехэм. — Фабрикант пилюль! Особа!.. Да, странные времена!.. Ну, а этот в красном?

— Этот, строго говоря, не принадлежит к «сливкам» общества, но мы любим его. Он очень умен, с ним интересно, знаете. Это один из главных пайщиков компании медицинского факультета при Лондонском университете. Теперь ведь все факультеты принадлежат компаниям на паях, и все наши врачи — пайщики этих компаний. Красный цвет — их форменный цвет. У нас, конечно, уважают медицину, но люди, которым платят за труд, это все-таки, понимаете...

Она презрительно улыбнулась, как будто говоря: «На какое же положение в обществе могут они претендовать?»

— А нет ли здесь кого-нибудь из великих художников или писателей? — спросил Грехэм.

— Писателей? О нет! Это такой невозможный народ... так много о себе воображают. Они вечно друг с другом ссорятся. Есть даже такие, что готовы подражаться из-за того, кому первому войти в дверь. Ужасные люди!.. А из художников здесь, кажется, только Рэйсбери, модный капиаллотомист из Капри.

— Капиаллотомист? Ах, припоминаю. Художник! Почему нет?

— Нам, видите ли, приходится его ублажать, — сказала молодая девица, как будто оправдываясь. — Ведь наши головы в его руках. — И она кокетливо улыбнулась.

Но Грехэм ответил на ее вызов только новым вопросом:

— Ну, а искусства у вас процветают? Я думаю, живопись сделала большие успехи за эти двести лет?

Она взглянула на него с недоумением и вдруг засмеялась.

— Я в первую минуту было подумала, что вы говорите... — Она опять засмеялась. — Теперь понимаю. Вы спрашива-



ете о тех чудаках, которых так ценили в ваше время за то, что они расписывали масляными красками огромные четырехугольные куски холста. Их вставляли потом в золоченые рамы и развешивали по вашим четырехугольным стенам.... Нет, у нас это давно вывелось. Людям надоела эта мазня.

— А что же вы подумали в первую минуту, когда я спросил?

Она многозначительно указала пальчиком на свою щеку, горевшую, несомненно, неподдельным румянцем, потом провела по своим ресницам и бровям.

— Я думала, вы вот про что, — сказала она и улыбнулась вызывающе-лукавой улыбкой, отчего сделалась обворожительно мила.

Грехэму стало неприятно. Он вспомнил дам, своих современниц, так часто прибегавших к «живописи», на которую намекала эта рыжеволосая девица, и устыдился нравов своего века. Он как-то разом осознал, что на него обращены тысячи глаз, и почувствовал, что краснеет.

— О да, понимаю, — смущенно пробормотал он в ответ на объяснение своей дамы и неловко отвернулся, чтобы не видеть игривого выражения ее лица. Он оглянулся кругом и встретил целый ряд любопытных глаз, в упор смотревших на него. Но это продолжалось лишь миг: все поспешили скромно потупиться и сделать вид, что они заняты разговором со своими соседями.

— Кто этот мужчина, что разговаривает с дамой в желтом? — спросил он свою собеседницу, избегая смотреть на нее.

Человек этот оказался одним из самых крупных антрепренеров американских театров, только что поставивший в Мексике грандиозную драму, прогремевшую на весь свет. Его лицо напоминало Грехэму Калигулу. Следующая знаменитость оказалась главным органи-

затором «Черного труда». В ту минуту Грехэм как-то пропустил мимо ушей это определение, но впоследствии ему пришлось вспомнить о нем. Между тем рыжеволосая девица продолжала с прежней развязностью давать ему характеристики разных лиц. В числе других она указала ему на прехорошенькую дамочку, отрекомендовав ее одною из «субсидиарных» жен лондонского епископа англиканской церкви. Она при этом рассыпалась в похвалах гражданскому мужеству его преосвященства, решившегося пойти против допотопного закона, по которому для духовенства была обязательна моногамия и который создавал «в высшей степени противоестественное и неудобное положение вещей».

— С какой стати человек должен подавлять свои естественные влечения и калечить себя только потому, что он духовное лицо? — прибавила просвещенная барышня.

Грехэм собрался пуститься в расспросы по поводу «субсидиарных жен», но появление Линкольна прервало на самом интересном месте этот интересный разговор. Линкольн повел его в другой конец зала, где почтительно ожидали своей очереди представиться государю какой-то высокий человек, весь в пунцовом, и две очаровательные дамочки в бухарских халатах — так, по крайней мере, показалось Грехэму. Обменявшись со всеми троими несколькими банальными любезностями, он, по указанию Линкольна, направился к другой группе.

Мало-помалу новые пестрые впечатления начали укладываться в его голове в нечто цельное, принимать определенный характер. Сначала эта блестящая толпа пробудила в нем враждебные чувства, насмешливый протест демократа. Но трудно устоять против всеобщего поклонения, против лести: это не в человеческой натуре. Вскоре эта мело-

дичная музыка, яркий свет, игра живых красок, ослепительная белизна оголенных женских плеч, мягкие пожатия рук, мелькающие мимо оживленные лица, журчащий ропот сдержанных голосов, сознание интереса и благоговения, которое он возбуждал в этой толпе, — все это соткало вокруг него нежную, ласкающую атмосферу, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он забыл свои широкие замыслы, свои великодушные решения. Невольно, незаметно поддавшись он опьянению власти. Поступь его стала увереннее, обращение свободнее, голос окреп. Черный плащ ниспадал с его плеч смелыми, гордыми складками. Во всей его фигуре было теперь что-то царственное. Да, что ни говори, а этот новый мир был интересный, блестящий, заманчивой!..

Случайно подняв голову, он увидел видение. Наверху по перекинутому через зал воздушному мостику проходила молодая девушка, которую он встретил в ложе театра в день своего бегства из ратуши. Она смотрела вниз, на него. Ее лицо только промелькнуло перед ним и сейчас же скрылось, но он успел уловить на этом лице выражение жадного и нетерпеливого ожидания, относившееся к нему.

Сначала он не мог даже припомнить, где он видел ее, но вместе с воскресшим воспоминанием об их первой встрече в душе его пробудились и те волнующие чувства, которые она вызывала в нем. Он вдруг почувствовал, что его раздражает назойливо-веселая музыка, мешающая ему припомнить торжественный напев революционной песни, под которую маршировала толпа.

Новая его собеседница, которую ему только что представил Линкольн, принуждена была повторить свое замечание, не получая ответа. Грехэм очнулся и, сделав над собой усилие, вернулся к действительности.

Но с этой минуты он не мог отделаться от смутного беспокойства. Он был недоволен собой: он забыл свои обязанности, не исполнял своего долга. Ослепленный роскошью и блеском, он упустил из виду самое важное, и это мучило его. Чары окружавших его блестящих красавиц, околдовавшие его, начинали терять свою силу. Их кокетливые заигрывания, в истинном смысле которых он больше не мог сомневаться, не вызывали теперь с его стороны тех уклончивых, смущенных ответов, под которыми таилось удовлетворенное самолюбие. Глаза его невольно искали в толпе эту девушку, олицетворяющую восстание.

«Где же он ее видел?»

Уже в самом конце раута он стоял на одной из верхних галерей, поджидая Линкольна, который обещал устроить ему в этот день полет, если позволит погода, и теперь пошел отдать необходимые распоряжения, оставив его в обществе новой элегантной дамочки с веселыми глазками и сказав, что он скоро вернется. Грехэм и его собеседница говорили об идамите (тема, надо сказать, была выбрана им, а не ею).

И вдруг, прорываясь сквозь журчащие переливы легкой музыки, все приближаясь и разрастаясь, грубо и властно зазвучала Песня Восстания — могучая песня, которую он слышал в театре. А! Теперь он вспомнил! Он поднял голову, пораженный. Над ним в стене было круглое окно, открытое настежь; через него то и вывалились эти звуки. За окном, на фоне голубоватой дымки наступившего вечера, виднелась сеть переплетающихся кабелей и тянулись ряды висячих осветительных шаров. Подхваченная тысячей голосов, песня разлилась широкой волной и вдруг оборвалась и смолкла. Теперь до Грехэма явственно доносились гуденье бегущих платформ и рокот многотысячной толпы. Он понял — не со-

знанием, а чутьем, — что вся эта огромная толпа там, снаружи, пришла сюда ради него.

Могучая песня восстания оборвалась; в ушах его опять раздавалась игристая музыка вальса; но торжественный, благородный напев, раз прозвучав, остался жить в его душе.

Дама с веселыми глазками все еще болтала об идамите, когда он вдруг опять увидел девушку, которую встретил в театре. Теперь она шла по галерее, быстро приближаясь к нему. Она не видела его; он заметил ее первый. На ней было все то же блестящее светло-серое платье. Пышные волосы темной короной возвышались над ее белым лбом. На ее опущенную голову из круглого окна падала полуса холодного, бледного света.

Собеседница Грехэма поймала его взгляд и обрадовалась удобному предлогу избавиться от него.

— Вы желали бы познакомиться с этой девушкой, государь? — храбро спросила она, — Это Элен Уоттон, племянница Острога. Она очень образованна, много знает. Нет, кажется, женщины серьезнее ее. Вам она, наверное, понравится.

Минуту спустя Грехэм уже разговаривал с девушкой в сером, а быстроглазая дамочка упорхнула.

— Я хорошо вас помню, — говорил Грехэм. — Вы были в театре в тот день, когда народ перед своим выступлением пел революционную песню. Помните? Все пели хором и отбивали такт. Вы стояли в ложе недалеко от меня. А потом я вышел в зал.

Ее минутное смущение уже прошло. Она взглянула на него спокойно и твердо.

— Да, это была чудная минута, — сказала она и замолчала. Ей, видимо, хотелось что-то прибавить, но она не решилась. Наконец, сделав усилие над собой,

она продолжала: — Все эти люди готовы были умереть за вас, государь. Многие и умерли в ту ночь.

Лицо ее горело. Она быстро оглянулась, как будто испугавшись, не подслушивает ли их кто-нибудь. В другом конце галереи показался Линкольн. Он пробиравшись в толпе, направляясь к ним. Она увидела его и, быстро повернувшись к Грехэму и, видимо, спеша высказаться, заговорила совсем новым, дружески конфиденциальным тоном:

— Государь! Сейчас я не могу... здесь неудобно. Но знайте, что народ очень несчастлив. Его угнетают, обманывают. Не забудьте же о народе, который шел умирать, чтобы сохранить вам жизнь.

— Я ничего не знаю... — начал было Грехэм.

— Теперь я не могу вам объяснить, — Перед ними выросла как из-под земли физиономия Линкольна. Он поклонился девушке и извинился, что прерывает их разговор.

— Надеюсь, государь, вам понравился новый мир? — обратился он затем к Грехэму, почтительно улыбаясь и обводя широким жестом огромное пространство освещенного зала и наполнившую его нарядную толпу. — Во всяком случае, вы, наверно, нашли, что мир изменился.

— Да, изменился, пожалуй... но, в сущности, не так радикально, как можно было ожидать.

— Посмотрим, государь, что-то вы скажете, когда мы подыдемся на воздух... Ветер утих. Аэроплан вас ждет. Итак, если угодно...

Девушка стояла молча в выжидательной позе. Грехэм взглянул на нее, хотел было задать ей вопрос, но по выражению ее лица увидел, что лучше не говорить. Он низко поклонился ей и пошел за Линкольном.





— Вы желали бы познакомиться с этой девушкой, государь? —  
храбро спросила она, — Это Элен Уоттон, племянница Острога.





— Я хорошо вас помню, — говорил Грехэм (к с. 330).

## Глава XVI МОНОПЛАН

Лондонские станции летающих машин были сосредоточены на южной стороне реки. Они опоясали город неправильной дугой, образуя три группы,

по две станции в каждой. За ними сохранились названия шести старинных городских предместий: Рогемптона, Уимблдон-Парка, Стритхема, Норвуда, Блэкхита и Шутерс-Хилла. Все шесть станций были построены по одному образцу и представляли собою гигантские помо-

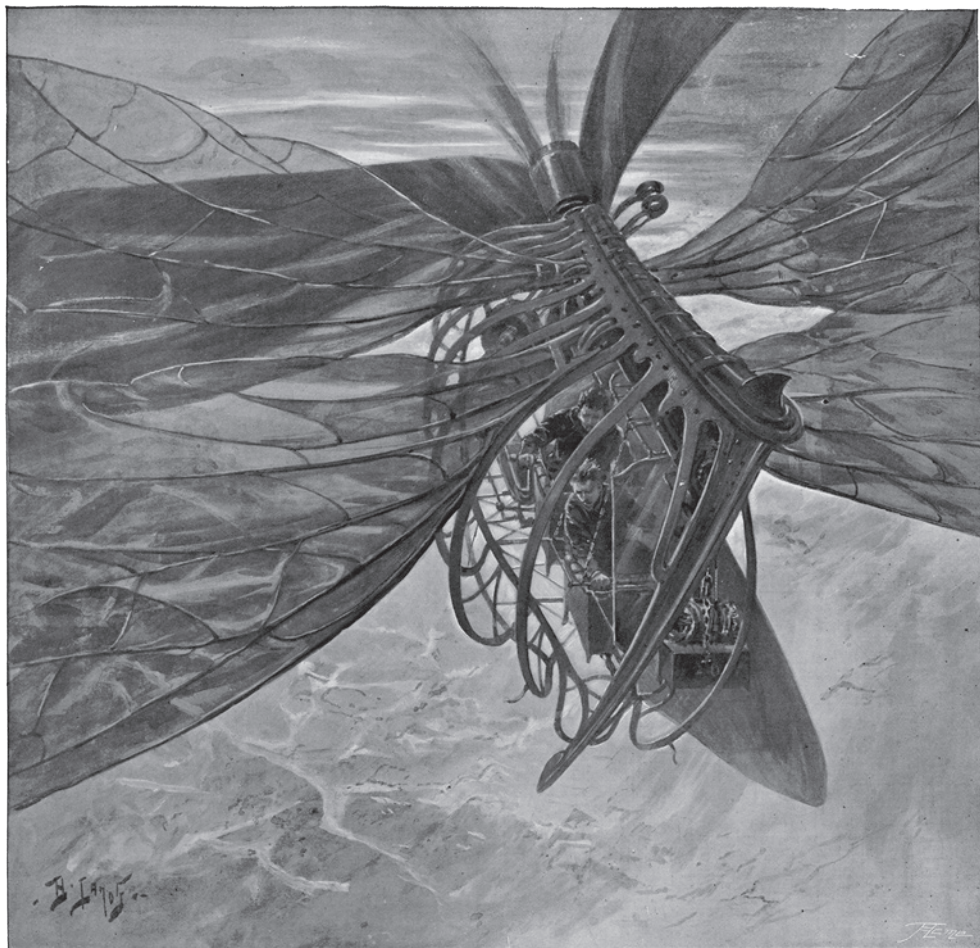
сты, подымавшиеся высоко над крышами домов. Каждый помост имел до четырех тысяч ярдов в длину и около тысячи в ширину и держался на толстых подпорках, отлитых из какого-то нового сплава алюминия с железом, заменившего в архитектуре чистое железо. Под помостами, между переплетами стропил и скреплений, тянулись длинные ряды лестниц и подъемных машин. Самые же помосты представляли совершенно ровную площадь, где всегда стояли наготове подъемные подвижные платформы и куда спускались прибывающие аэропланы.

Грехэм отправился на станцию по движущимся улицам в сопровождении Асано: Линкольн не мог ему сопутствовать, так как его вызвал Острог по каким-то неотложным делам. Сильный полицейский отряд ожидал государя у подъезда Управления ветряных двигателей и поспешил очистить ему место на одной из верхних движущихся платформ. Никто не знал об его предполагавшемся путешествии, тем не менее вокруг него тотчас же собралась довольно большая толпа, последовавшая за ним до места его назначения. Он слышал, подъезжая, как со всех сторон выкрикивалось его имя, и видел, как тысячи мужчин, детей и женщин в голубых балахонах стремглав вбежали по лестницам на среднюю полосу улицы, жестикулируя и что-то крича ему вслед, но что именно — он не мог разобрать. Как только он сошел, наконец, с движущейся платформы, значительно выросшая возбужденная толпа окружила его плотным кольцом, так что сопровождавшему его караулу пришлось расчищать ему путь. Потом он узнал, что многие явились, чтобы подать прошения государю, но так и не могли пробиться к нему.

На западной станции его ожидал моноплан с опытным пилотом у руля. До сих пор он видел монопланы только из-

дали, на большой высоте, откуда они казались маленькими птичками. Но теперь раскинувшийся на подъемной платформе летательной станции алюминиевый кузов этой машины казался очень внушительным. Он был не меньше кузова двадцатитонной яхты. Его боковые крылья-паруса из какого-то искусственного стекловидного состава в раме из тонких металлических прутьев и с такими же металлическими прожилками по поверхности, отчего они напоминали крылья пчелы, отбрасывали тень на несколько сот ярдов кругом. Между ребрами кузова в задней его части были подвешены каким-то очень хитрым способом два кресла: одно — для пилота, другое — для пассажира. Кресло пассажира было снабжено пневматическими подушками, навесом и подвижной рамой, которую можно было по желанию раздвинуть или сдвинуть для защиты от непогоды. Когда рама была сдвинута, пассажир сидел, как в карете. Но Грехам, жаждавший новых впечатлений, пожелал оставить ее открытой. Перед креслом пилота было стекло, защищавшее его лицо от встречного ветра. Пассажир мог привязать себя к креслу ремнями, что было даже необходимо, особенно при спуске. Он мог также, держась за поручень, передвинуться по рельсикам вместе с креслом в носовую часть кузова, где помещался небольшой ящик с его теплыми вещами и походной аптечкой. Этот ящик служил в то же время противовесом тем частям машины, которые выступали в корму.

На станции не было никого, кроме Асано и свиты. По знаку пилота Грехэм вошел на моноплан и уселся в висячее кресло. Асано спустился с подъемной платформы на помост станции и в знак прощального приветствия махнул рукой. И в тот же миг и Асано, и свита, и станция покатились вправо и скрылись из глаз.



*Грехэм инстинктивно ухватился за поручни кресла. Он чувствовал, что мчится вверх*

Мерно стучала машина, винт быстро вертелся. Скользящие мимо здания с секунду неслись в горизонтальном направлении, потом все вдруг опрокинулось набок. Грехэм инстинктивно ухватился за поручни кресла. Он чувствовал, что мчится вверх; слышал, как свистела вдоль навеса встречная струя воздуха; слышал сильные ритмические удары винта: раз-два-три — пауза, раз-два-три — пауза.... В кузове машины ощущалось колебательное движение, уже не прекращавшееся во все время полета. Площади крыш, мимо которых они теперь

проносились, летели вправо и вниз, быстро уменьшаясь. Грехэм вопросительно взглянул на пилота: тот был спокоен. Он с усилием отвел глаза от его лица и заглянул через борт машины. Он не увидел ничего особенно поразительного: такое же приблизительно впечатление могло бы получиться в вагоне фуникулерной железной дороги при очень быстром ходе. Он узнал здание ратуши, узнал Хайгетский мост. Тогда он, наконец, решился заглянуть вниз, в дыру между двумя перекладинами дна кузова, в которые упирались его ноги.



Его обуял животный ужас, вытеснив из его души все, кроме ощущения непрочности его положения и неминуемой гибели, которая его ждет. Пальцы его крепко вцепились в железные поручни кресла. Он не мог оторвать глаз от бездны, зиявшей у него под ногами. Футов на сто под ним вертелось колесо одного из ветряных двигателей юго-западной части Лондона. Дальше виднелась южная летательная станция, усеянная черными точками — людьми. Все это падало, падало, проваливалось в пропасть с ужасающей быстротой, уносясь от него. На миг у него появилось непреодолимое побуждение самому броситься вниз, догнать уходящую землю. Он стиснул зубы и, сделав над собой усилие, поднял глаза. Минута паники миновала.

Довольно долго просидел он так, со стиснутыми зубами, держась за поручни и тупо глядя в небо. «Тук-тук-тук... тук-тук-тук», — назойливо стучала машина. Крепче сжав поручни, он перевел глаза на пилота и увидел улыбку на его загорелом лице. Он попробовал улыбнуться в ответ, вышло немножко натянуто.

— Престранное ощущение с неприятными, — заорал он, стараясь перекрыть свист ветра и совершенно забывая о своем монаршем достоинстве.

Он все еще не решался заглянуть вниз и долго смотрел через голову пилота на бледно-голубую полосу неба, тянувшуюся впереди. Он все никак не мог отвязаться от мысли о возможных случайностях, грозивших моноплану. Что, если в машине испортится какой-нибудь винт? Что тогда?.. Нет, лучше не думать... А моноплан между тем все выше и выше улетал в прозрачное, ясное небо.

Мало-помалу Грехэму удалось взять себя в руки, и удручающая мысль об опасности отошла на второй план. И как только прошло это потрясающее сознание движения в воздушном простран-

стве, без всякой опоры, прошли и все неприятные ощущения. Грехэм почувствовал себя очень хорошо. Его предупреждали о морской болезни, которой аэронавты подвергаются не менее моряков. Но он находил, что колебательное, пульсирующее движение летящего моноплана, по крайней мере, при слабом ветре, какой был теперь, ничем не хуже нырянья лодки по волнам в свежую погоду; а на лодке его не укачивало. Острота же разреженного воздуха, по мере того как они подымались, вызвала в нем ощущение какой-то особенной легкости, как от действия веселящего газа. Голубая полоса неба впереди затянулась перистыми облачками. Взгляд его осторожно скользнул ниже. Сквозь ребра кузова мелькнула сверкающая стая белых птиц, паривших в воздухе с ним наравне. Он долго любовался ими. Потом, набравшись храбрости, заглянул опять себе под ноги — прямо вниз: тонкий шпиль «вороньего гнезда» с торчащей на нем вышкой, уменьшавшейся с каждой минутой, отливал золотом в ярких лучах заходящего солнца. Теперь он не боялся смотреть. Вот показалась синяя гряда холмов... А вот, уже с подветренной стороны, и запутанный лабиринт крыш удаляющегося Лондона. Резко выделялась ближайшая окраина города. Она так поразила Грехэма своим видом, что последние остатки его страха высоты мигом улетучились. Новый Лондон кончался обрывом — отвесной стеной футов в триста-четырееста вышиною. Стена эта местами прерывалась террасами и в общем представляла собою очень сложный и красивый фасад.

От широкой сети предместий, составлявшей в девятнадцатом веке, так сказать, переходную ступень от города к деревне, не оставалось и следа. Теперь вокруг Лондона тянулся пустырь с разбросанными по нему развалинами домов и остатками разнообразных растений,



украшавших когда-то сады бывших пригородных вилл. Местами среди этой одичавшей растительности бурели полосы земли, вспаханной под огороды, зеленели поля, засеянные зимними травами, и под ними торчали одинокими островками голые стены обвалившихся домов, десятки лет тому назад покинутых своими обитателями, но почему-то пощаженных новой культурой. Кое-где среди этого хаоса жалких остатков старины, еще пытавшихся бороться с завоеваниями нового века, гордо возвышались дворцы современных увеселительных заведений, соединенные с городом целой сетью металлических проводов. В этот зимний день они казались покинутыми.

Да, Лондон неузнаваем. Границы города очерчены так резко, как это было, пожалуй, только в средние века, когда городские ворота запирались с наступлением ночи и шайки грабителей рыскали вокруг стен.

Там, где некогда тянулась улица Бэт, теперь из широкой полукруглой пасты главных ворот выливался на идамитную дорогу поток вывозимых товаров и вливался обратный поток. Лондон кончался, начиналась деревня. Грехэм увидел под собой возделанные поля долины Темзы — бесчисленные крошечные буроватые полосы земли, перерезанные сверкающими ниточками оросительных каналов.

Его возбуждение быстро росло. Он был точно пьяный. Он втягивал в себя воздух большими глотками и не мог надышаться. Он громко смеялся: ему хотелось петь, кричать. И, не в силах бороться дольше с этим желанием, он запел.

Постепенно они начали заворачивать к югу. В общем они не поднимались и не опускались; но двигались не по горизонтальной линии, а по волнистой: короткие крутые подъемы чередовались с отлогими длинными спусками, во вре-

мя которых кормовой винт совершенно бездействовал. С каждым подъемом Грехэм испытывал какую-то странную гордость от сознания усилия, увенчанного успехом, а на спусках у него захватывало дух и замирало в груди — ощущение жуткое, но необыкновенно приятное, вроде того, как когда катишься в санках с ледяной горы. Так бы, кажется, и летел всю жизнь в этом разреженном живительном воздухе, никогда бы не спустился на землю.

Но вскоре он опять увлекся созерцанием расстилавшегося внизу, быстро уносившегося к северу ландшафта и залюбовался подробностями. Удивительно живописными казались с высоты развалины домов; но ему было больно смотреть на эти развалины, больно сознавать, что это было все, что осталось от ферм и деревень, которыми была когда-то усеяна эта безлесная, безлюдная равнина. Он знал и раньше об исчезновении в Англии деревень, но большая разница — знать от других или видеть своими глазами. Он пробовал, не распознает ли он знакомые места в этой пустой котловине, зиявшей под ним, но с той минуты, как долина Темзы скрылась из виду, не попадалось больше никаких примет, по которым можно было бы ориентироваться. Но вот вдали показались острые вершины меловой гряды холмов, и по знакомым очертаниям ее восточного ущелья да еще по развалинам города, тянувшегося вдоль его боков, он узнал Гилдфорд Хогс-Бэк. Теперь уже легко было распознать и другие места: Лейс-Хилл, песчаные пустыри Ольдершота и так далее. В Даунсе весь гребень холма был усеян гигантскими ветряными двигателями. Колеса их медленно, словно нехотя, вертелись, чуть-чуть подталкиваемые слабым юго-западным ветром. Лондонские ветряные двигатели были ничто в сравнении с ними. Самый большой из тех,

какие до сих пор видел Грехэм, мог бы сойти разве за младшего брата этих великанов. Долина Уэя вся заросла кустами и деревьями, кроме одной широкой полосы, где на месте прежней железной дороги пролегла широкая идамитная дорога в Портсмут, в эту минуту густо усеянная движущимися черными точками. Там и сям мелькали зеленые пятна лугов, покрытых стадами овец Британского треста пищевых продуктов. Затем под кузовом моноплана пронеслись высоты Уилдена, гряда Хиндхедских холмов, Питч-Хилл и Лейс-Хилл со вторым внушительным рядом ветряных двигателей, которые, казалось, отбивали у конкурентов и ту слабую струю ветра, какая долетала до них. Подальше краснело поле вереска, окропленное желтыми пятнами дрока, и по нему бегало стадо черных быков, подгоняемое двумя пастухами верхом на лошадях. Все это пронеслось мимо и расплылось в туманной дали.

Грехэм устал смотреть и задумался. Писк какой-то маленькой птички, раздавшийся над самым его ухом, вывел его из забытья. Они пролетали теперь над Южным Даунсом. Он оглянулся через плечо и увидел холмы Портсдауна и выступавшие над ними зубчатые стены Портсмута. Вслед за тем показались ярко освещенные солнцем, уменьшенные расстоянием, но отчетливо видимые белые утесы Ниддлс. Еще минута, и перед ними выросли мачты кораблей — густой лес мачт, целый плавающий город, — и впереди сверкнула стальным блеском узкая полоска воды. Вот внизу промелькнул остров Уайт, а за ним раскинулась широкая гладь открытого моря, то отливающая пурпуром в лучах солнца, то мутно-серая под набежавшим облачкам, то серебристо-зеркальная с зеленоватым оттенком, как стекло. Позади уже не видно было земли. Прошло еще несколько минут.

От серой гряды облаков, застилавших горизонт, отделилась внизу длинная полоса с твердыми, определенными очертаниями и вскоре оказалась линией берега — северного берега Франции. Эта сверкающая на солнце полоска земли быстро выростала в длину и в высоту и гостеприимно манила к себе все новыми и новыми деталями развевавшегося веселого ландшафта.

Вскоре из-за горизонта выплыл Париж, дал одну минутку полюбоваться собой и снова погрузился за линию горизонта: моноплан, описав широкий полукруг, стал опять заворачивать к северу. Грехэм успел, однако, заметить Эйфелеву башню (она, стало быть, уцелела) и рядом с ней огромный купол какого-то нового здания, увенчанный высоким шпилем. Заметил он еще (хоть и не понял в то время значения этого явления), что со стороны города тянулся густой столб дыма. Пилот пробормотал что-то такое о беспорядках на подземных дорогах, но он пропустил это мимо ушей. Бесчисленные минареты и башенки, высоко подымавшие свои головы над лесом ветряных двигателей в своих порывах к небу, поразили его грандиозной легкостью своих очертаний: уже по одному этому он мог убедиться, что по части красоты и изящества Париж стоит, как и двести лет тому назад, впереди своего огромного соперника Лондона.

Грехэм повернул голову, чтобы бросить прощальный взгляд на удалявшуюся чудную панораму, и вдруг увидел, что над городом поднялось что-то голубоватое, легкое, как тень, и полетело по ветру, точно перышко или опавший лист. Потом описало дугу и понеслось прямо на них, быстро увеличиваясь в объеме. Пилот что-то сказал в пояснение.

— Что такое? — переспросил, не дослышав, Грехэм, не отрывавший глаз от голубого облачка, казавшегося живым.

— Лондонский аэроплан, государь! — прокричал пилот ему в ухо, указывая рукой на приближавшуюся тень.

Они взвились кверху, продолжая лететь на север. Аэроплан быстро нагонял. Вот он все ближе и ближе, все больше и больше... Какими слабыми казались удары их маленького кормового винта, какою ничтожною — работа их машины в сравнении со стремительным полетом этого чудовища. Широко раскинув свои перепончатые прозрачные крылья, оно пронеслось под ними, точно живое существо. Перед Грехэмом мелькнули на миг эти могучие распластанные крылья; ряды закутанных пассажиров в свободно подвешенных креслах за стеклянными рамами, наглухо закрытыми от ветра; скорчившаяся за стеклянным щитом фигура пилота, вся в белем... В ушах его пронесся грохот машины, мерный стук работающего винта...

Обогнав их, аэроплан стал подниматься. Крылья их маленького моноплана затрепетали от струи ветра, которую оставлял за собой великан в своем стремительном полете. Жадными глазами смотрел Грехэм ему вслед. Дикий восторг наполнял его грудь.... Но не успел он опомниться, как аэроплан был уже далеко впереди. Он снова начал опускаться, становясь все меньше и меньше. И не успели они, кажется, сдвинуться с места, как он опять превратился в голубое пятнышко, чуть видимое в прозрачном воздухе.

Это был аэроплан, совершавший постоянные рейсы между Лондоном и Парижем. В мирное время и в безветренные дни он делал по четыре перелета в день, считая в оба конца.

Спустя несколько минут они снова летели над каналом — летели очень тихо, как казалось Грехэму, только теперь получившему истинное представление о скорости воздушных полетов. С левой стороны впереди показалась линия берега.

— Земля! — закричал пилот, но голоса его почти не слышно было за свистом встречной струи воздуха, ударявшейся о навес. — Земля!

— Нет еще! — отозвался со смехом Грехэм, тоже крича во все горло. — Нет еще, не земля!.. Прежде я хочу хорошенько ознакомиться с этой машиной.

— Простите, государь, но я... — начал было пилот.

— Я хочу ознакомиться с этой машиной, — упрямо повторил Грехэм. — Я иду к вам.

Он быстро высвободился из своего кресла, поднялся на ноги и шагнул к месту пилота, держась за перила прохода, разделявшего их. На один миг у него закружилась голова; он побледнел и крепче уцепился за перила, но сейчас же овладел собой и в два шага очутился подле пилота. Ему сдавило грудь от напора воздуха. С него сорвало шляпу. Ветер трепал его волосы. Он с трудом удерживался на ногах. Пилот поспешно передвигал в машине какие-то гайки, чтобы восстановить нарушенное равновесие.

— Объясните мне, как вы управляете машиной, — сказал ему Грехэм. — Что нужно сделать, чтобы пустить ее в ход?

Пилот замялся.

— Машина эта очень сложного устройства, государь... — нерешительно пробормотал он.

— Все равно, объясните! — прокричал Грехэм.

Пилот молчал.

— Я, право, не знаю... — начал он наконец. — Воздухоплавание составляет привилегию... секрет...

— Знаю. Но я ваш повелитель и хочу знать этот секрет.

Он захохотал, возбужденный опьяняющим воздухом и непривычным сознанием своей власти.

Моноплан сделал крутой поворот к западу. Холодный ветер резанул Грехэма





— Я хочу ознакомиться с этой машиной, — упрямо повторил Грехэм. — Я иду к вам.



по лицу и закрутил плащ вокруг его ног. Два человека молча глядели друг другу в глаза.

— Государь! — заговорил пилот. — У нас существуют правила...

— Только не для меня, — перебил Грехэм. — Вы, кажется, забываете...

Пилот внимательно всматривался в его лицо.

— Нет, государь, я помню, — сказал он. — Но до сих пор ни один человек на земле, никто, кроме профессиональных пилотов, связанных обетом молчания, не управлял летательными аппаратами. Пассажиров не посвящают в этот секрет.

— Все это я уже слышал. Я не стану терять времени на пререкания с вами. Хотите знать, для чего я проспал двести лет? Хотите? Так я вам скажу: чтобы проснуться и летать.

— Но, государь если я нарушу наши правила, меня ждет...

Величественным взмахом руки Грехэм снял со своего подданного всю ответственность за нарушение правил.

— В таком случае, я подчиняюсь, — сказал пилот. — Извольте смотреть...

— Нет! — заорал Грехэм, покачнувшись и хватаясь за перила. Моноплан неожиданно повернулся носом вверх: начинался подъем, — Нет, не смотреть! Я хочу сам управлять. Сам, хотя бы мне пришлось сломать себе шею!.. Я сяду рядом с вами. Подвиньтесь, вот так. Я твердо решил научиться летать — пусть даже ценой моей жизни. Не даром же я спал столько лет! Летать было всегда моей заветной мечтой. И теперь... Ну, пустите руки!

— Государь! За мной следят дюжины шпионов...

Грехэм вышел из себя. Ему доставляло какое-то особенное наслаждение давать волю своему гневу. С проклятием оттолкнул он пилота и нагнулся к рычагам. Машина закачалась.

— Кто господин здесь, на земле, — я или вы с вашим обществом?.. Прочь руки! Я сам возьмусь за руль, а вы держите меня за руки. Так. Теперь говорите: как сделать, чтобы мы опустились.

— Государь!..

— Ну что там еще?

— Вы защитите меня?

— Да, да! Весь Лондон спалю, а не дам вас в обиду.

Этим обещанием Грехэм заплатил за свой первый урок воздухоплавания. Пилот покорился.

— Для вас же лучше, если вы научите меня править. Как вы не понимаете, что это в ваших интересах? — говорил Грехэм с громким смехом, все больше и больше пьянея, — Ну-с, в какую сторону поворачивать руль? Сюда? Ага, понимаю!.. Ах, как хорошо!

— Назад, назад, государь!

— Назад? Ладно! Назад так назад... Раз, два, три! О господи, как хорошо!.. Теперь мы вверх полетели... Вот это значит жить!

И вот аппарат начал выделять в воздухе самые невероятные пируэты. Он то принимался кружиться спиралью, то стрелой взвивался вверх, то кидался вниз, как коршун на добычу, и, как ястреб, взмахом крыльев снова поднимался вверх. Во время одного из своих бешеных спусков он чуть не налетел на караван аэростатов, тянувшийся на юг, и только неожиданно ловким поворотом руля кое-как избежал столкновения в последний момент. Возбуждающее действие разреженного воздуха, необыкновенная быстрота и плавность движения и то ни с чем несравнимое ощущение легкости во всем теле, которое они вызывали, окончательно опьяняли Грехэма: он совсем обезумел.

Его отрезвило одно маленькое происшествие, заставив вернуться к грубой действительности, к той чуждой жизни

с ее неразрешимыми загадками, которая ожидала его на земле. Нырять в воздухе, моноплан столкнулся с чем-то живым, и Грехэм почувствовал, что на щеку ему упала теплая капля. Он оглянулся: за кормой кружилось что-то белое, падая вниз.

— Что это? — спросил он растерянно, забывая править рулем.

Моноплан клюнул носом и стал быстро опускаться. Пилот испуганно схватился за руль, и только когда машина приняла опять горизонтальное положение, он глубоко перевел дух и ответил:

— Это был лебедь. Мы убили его.

— Я его не заметил!.. — сказал Грехэм.

Пилот промолчал. Сконфуженный Грехэм предоставил ему править и пересел на свое пассажирское место.

Некоторое время они летели в горизонтальном направлении, потом начали круто спускаться. Грехэм заглянул вниз: навстречу им, быстро вырастая, поднималась из темноты платформа летательной станции. Они спускались на землю, и вместе с ними опускалось солнце, садясь за тянувшиеся на западе меловые холмы и заливая небо золотым заревом своих прощальных лучей.

Вскоре можно уже было различить людей, толпившихся на платформе. Снизу доносился глухой шум, напоминавший гул морского прибоя. Грехэм оглянулся кругом: крыши домов вокруг станции чернели народом, собравшимся встречать своего властелина и ликовавшим по случаю его благополучного возвращения. Под арками помоста станции тоже стояла густая толпа: в темноте чуть белели бесчисленные ряды человеческих лиц, и в воздухе радостно мелькали белые носовые платки.

## Глава XVII ТРИ ДНЯ

Линкольн дожидался Грехэма в помещении под арками летательной станции. Он горел нетерпением узнать, как ему понравилось воздушное путешествие, и вышел ему навстречу. Грехэм был в неописуемом восторге.

— Я должен научиться управлять машиной, — говорил он. — И непременно научусь. Это совсем не так трудно, — стоит только захотеть. А я хочу летать. Я жалею несчастных, которые умерли, не изведав этого блаженства. Купаться в чудном, живительном воздухе... нестись навстречу вольному ветру... Ничто не сравнится с этим дивным ощущением!

— Наш новый век, я надеюсь, доставит вам еще много таких ощущений, — заметил Линкольн. — Скажите, чем бы вы желали развлечься теперь? У нас есть, например, новый род музыки, которая, может быть...

— Нет. Пока я поглощен воздушными полетами и не могу думать ни о чем другом. Но ваш пилот мне сказал, что управление летательными аппаратами составляет профессиональную тайну, которую строго воспрещено открывать посторонним...

— Совершенно верно. Но вы — другое дело. Только прикажите, и мы завтра же зачислим вас в профессиональные аэронавты.

Грехэм горячо ухватился за это предложение и принялся опять распространяться о своих ощущениях во время полета.

— Ну, а дела как? — спросил он неожиданно, перебивая себя на полуслове. — Я и забыл про дела,

Линкольн ответил с деланной небрежностью: — Завтра Острог сам вам расскажет подробно... Говоря вообще, все постепенно входит в норму. Революция восторжествовала во всем мире. Кое-

какие трения, разумеется, всегда неизбежны, но ваша власть теперь крепка как никогда. Пока Острог печется о ваших интересах, вы можете спать спокойно.

— А нельзя ли, — заговорил Грехэм после паузы, — зачислить меня в эти, как вы их называете... присяжные аэронавты... теперь же, сегодня? Тогда я мог бы завтра с утра начать мои уроки воздухоплавания.

— Что ж, это можно, — сказал, подумав, Линкольн. — Я вам это устрою, — Он засмеялся. — Я было шел сюда с блестящими предложениями... думал, предложить вам развлечься. Но вы, я вижу, уже выбрали себе развлечение. Тем лучше. Сейчас я протелефонирую в Департамент воздухоплавания, а потом мы вернемся в Управление, в ваши апартаменты. Вы пообедаете, а тем временем явятся и аэронавты.... Но, может быть, после обеда вы предпочли бы...

Он запылулся.

— Что? — спросил Грехэм.

— Мы, видите ли, думали угостить вас балетом. Нарочно для вас выписали танцовщиц с Капри. Тамошний театр славится своим балетом...

— Я ненавижу балет, — сухо ответил Грехэм. — Всегда ненавидел. И потом это слишком старо. Танцовщицы существовали еще в древнем Египте.

— Это правда. Но наши танцовщицы...

— Я не нуждаюсь в развлечениях. Танцовщицы могут подождать. Теперь я займусь воздухоплаванием. Меня вообще очень интересует устройство новых машин. Я хочу распробовать ваших техников...

— Весь мир к вашим услугам, — сказал Линкольн. — У вас широкий выбор. Вам остается только приказывать: все будет исполнено.

Явился Асано, и, как и прежде, под охраной полиции они вернулись тем

же путем в апартаменты Грехэма. Толпа на улицах была теперь еще гуще. Народ провожал своего властелина громкими, радостными криками. Ответы Линкольна на нескончаемые вопросы Грехэма толпились в этом гаме. Сначала Грехэм отвечал улыбками и поклонами на приветствия, раздававшиеся со всех сторон, но Линкольн сделал ему маленькое внушение, объяснив, что такая простота обращения, по современным понятиям, не подобает его высокому сану и может быть сочтена неуместной, после чего человек девятнадцатого столетия, которому и самому надоело поминутно кивать головой, с большим удовольствием забыл о своих подданных на весь остаток пути.

Как только они вернулись в Управление ветряных двигателей, Линкольн, по требованию Грехэма, разослал гонцов за моделями всевозможных машин, по которым можно было бы наглядно уяснить себе успехи механики за последние два века. Асано, со своей стороны, вызвался продемонстрировать кинематографические снимки машин в действии. Небольшая моделька усовершенствованного телеграфа до такой степени заинтересовала Грехэма, что тонкий гастрономический обед, ожидавший его на столе, сервированном ловкими руками хорошеньких служанок, долго оставался нетронутым. Куренье табака давно уже стало архаической модой, но как только Грехэм выразил желание покурить, во все концы света полетели заказы, и к десерту на столе появился ящик превосходных сигар, доставленных из Флориды пневматической почтой.

Затем явились аэронавты и модели машин в сопровождении опытного инженера. Достижения новейшей техники одно за другим проходили перед изумленным взором Грехэма. Необыкновенная чистота и точность работы некоторых машин поразили его, и можно смело



*Явился Асано, и, как и прежде, под охраной полиции они вернулись тем же путем в апартаменты Грехэма.*

сказать, что все эти арифмометры, автоматические строители, элеваторы, прядильные станки, моторы, косилки и молотилки были для него в данный момент гораздо привлекательнее самой обворожительной баядерки.

— Мы были дикарями! — твердил он в экстазе. — Как посмотришь на все эти чудеса, так подумаешь, что мы жили в каменном веке... Ну-с, что же вы мне еще покажете, господа?..

Тут выступили на сцену ученые по другим отраслям знания. Перед Грехэмом были проделаны очень интересные опыты гипнотизма. Его современники, вероятно, удивились бы, если б знали, какой известностью будут пользовать-

ся в XXII веке имена Милна Бромгуэлла, Фехнера, Либо, Уильяма Джемса, Майерса и Гарин. Научные изыскания в области психологии получили теперь много практических применений, ставших общим достоянием. Лечение внушением почти окончательно вытеснило порошки и пилюли, антисептические и анестезирующие средства; к нему прибегали и все те, кто занимался умственным трудом. Благодаря гипнозу значительно расширилось поле интеллектуальной работы, доступной человеческим силам. Известные фокусы быстрого «счета в уме», поражавшие умением некоторых людей справляться с невероятно огромными числами, и «чудеса» месмеристов, какими привык



Грехэм считать подобные явления, теперь могли быть проделаны каждым, кто мог оплатить услуги опытного гипнотизера. Старая система преподавания в школах была давным-давно упразднена и заменена новыми приемами. Экзаменов больше не существовало. Вместо того чтобы тратить годы на зубрежку, учащиеся прибегали к гипнозу. В течение нескольких недель с перерывами юношу усыпляли гипнозом. Гипнотизер читал ему параграф за параграфом учебную книгу, которую надо было пройти, и затем внушал, чтобы он все это запомнил. Особенно полезен был этот способ запоминания при изучении математических наук. Им пользовались также и многие игроки в шахматы. Короче говоря, все виды умственной работы, где мысль идет строго определенным логическим путем, были совершенно освобождены от бесплодных блужданий фантазии и доведены до идеальной точности мышления. Все дети рабочего класса, как только они достигали такого возраста, что могли выдерживать гипноз, превращались этим способом в прекрасно обученных мастеров и ремесленников и, таким образом, избавлялись от долгого искуса подготовки. Ученики училищ воздухоплавания, страдавшие головокружением во время полетов, тем же способом вылечивались от своих воображаемых страхов. На каждом перекрестке можно было встретить гипнотизера, готового за самую дешевую плату прийти на помощь вашей слабой памяти и навеки запечатлеть в ней желаемый факт, имя, ряд чисел, мотив песни, ее слова. И обратно: вы могли, если хотели, изгладить из своей памяти любое воспоминание, отделаться от неудобных привычек, искоренить в себе то или другое желание. Такого рода психирургические операции немало облегчали жизнь: человек забывал все, что было недостойного и унижительного в его прошлом; неутешные вдовы переста-

вали оплакивать своих умерших мужей; ревнивые любовники освобождались от рабства любви. Но исполнение желаний было все еще неразрешенным вопросом, и факты передачи мыслей оставались лишь случайными фактами.

Гипнотизер, демонстрировавший свое искусство перед Грехэмом, закончил представление несколькими поразительными мнемоническими опытами над жалкими бледнолицыми детьми в голубых балахонах.

Грехэм, как и большинство его современников, боялся действия гипноза, иначе он мог бы давно облегчить свою душу от многих тягот. Но он держался того устарелого мнения, что, подвергаясь гипнозу, человек до известной степени теряет индивидуальность, отказывается от своей воли. Поэтому теперь, как ни убеждал его Линкольн, он решительно не пожелал отдать себя в руки гипнотизера. На этом блестящем пиршестве последних приобретений науки он хотел оставаться самим собой.

Так прошел день, еще день и еще. Наглядное ознакомление со всевозможными машинами чередовалось с уроками воздухоплавания, доставлявшими истинное наслаждение ученику. На третий день Грехэм пролетел над всей Францией и видел вдали снежные вершины Альп. Здоровая усталость после движения на воздухе приносила ему крепкий сон. Он чувствовал себя бодрее и сильнее с каждым днем: от той безвольной анемии, которую он никак не мог стряхнуть с себя в первые дни после своего пробуждения, не оставалось и следов. Те часы, когда он не летал и не спал, заполнялись благодаря усердию Линкольна разнообразными развлечениями. Все, что было нового и любопытного в жизни двадцать второго столетия, проходило перед глазами Грехэма. Можно было бы наполнить целые тома описанием тех диковин,



*Лечение внушением почти окончательно вытеснило порошки и пилюли, антисептические и анестезирующие средства (ж с. 343).*

которые ему пришлось теперь увидеть, так что, при всем его интересе к новизне, он в конце концов почувствовал пресыщение.

Часа полтора ежедневно у него уходило на официальный прием. Его общий расплывчатый интерес к новым современникам, которых ему послала судьба, очень скоро стал приобретать личный характер: он начал разбираться в людях, у него явились симпатии и антипатии. Вначале все непривычное, каждая странность, которую он подмечал, поражала его: вычурность костюмов, какая-нибудь особенность в манерах и обращении, расходившаяся с его понятиями о приличиях, неприятно резала ему глаз и поднимала в нем враждебное чувство к этим, как он их называл про себя, «чужакам». Но потом это прошло, прошло так бесследно, что ему самому казалось странным, как он мог так чувствовать когда-нибудь. Он совершенно освоился со своим положением, вошел в новую жизнь, и его прошлое, времена королевы Виктории, отошли бог знает куда, в туманную даль.

В течение этих трех дней он несколько раз встречался с хорошенькой рыжеволосой дочкой директора Общеευропейских свиных заводов и только теперь вполне оценил ее общество. На второй день его водили в балет, где он видел современную знаменитость — танцовщицу новой школы, — и не мог не признать ее необыкновенной артисткой. В конце третьего дня Линкольн деликатно намекнул Грехэму, не угодно ли ему будет теперь посетить «Веселые Города», но тот решительно не пожелал понять намека. Не менее решительно отказался он и от услуг гипнотизеров, которые, как уверял Линкольн, могли посредством внушения сделать вполне безопасными его эксперименты воздухоплавания.

Он все больше кружился над Лондоном в своих воздушных полетах. К Лон-

дону его привязывала нить старых воспоминаний. Узнавать знакомые места было для него неисчерпаемым источником интереса. «Вот здесь, прямо под нами, был ресторан, где я обыкновенно обедал в мои студенческие годы, — говорил он, — А здесь была станция Ватерлооской железной дороги. Какая там кипела жизнь! Можно было запутаться во всех этих приходящих и отходящих поездах. Сколько раз я, бывало, стоял на платформе в ожидании своего поезда с саквояжем в руке и смотрел вперед вдоль полотна на бесконечные ряды сменявшихся сигналов. Не думал я тогда, что буду через много-много лет пролетать над этим местом на моноплане».

В эти три дня внимание Грехэма было до такой степени поглощено всякими новинками во всех областях знания, что он совсем забыл о важных политических событиях, разыгрывавшихся за стенами его палат. Никто из окружающих не говорил о политических делах. Правда, к нему ежедневно являлся его великий визирь, его майордом Острог, и в туманных выражениях докладывал ему о дальнейшем ходе укрепления его власти, упоминая при этом о «небольших беспорядках» в таком-то городе или о «недовольстве» в другом; но все это говорилось как-то вскользь и всегда заканчивалось успокоительным заверением, что «все будет скоро улажено, и тогда...» Ни разу за все это время не долетал до слуха Грехэма и торжественный напев революционного гимна: он не знал, что пение этого гимна было запрещено в черте города. И мало-помалу в душе его засыпали благородные чувства, так волновавшие его в ту минуту, когда он смотрел на город с вышки «вороньего гнезда».

Но уже к концу второго дня, несмотря на весь его интерес к рыжеволосой красавице, а может быть, даже именно благодаря частым разговорам с нею и той

ассоциации мыслей, которую они вызывали, его начало тревожить воспоминание об Элен Уоттон и об ее таинственных словах во время их последнего свидания. Образ этой девушки глубоко запечатлелся в его душе. Беспрерывная смена впечатлений за последние дни заставила померкнуть этот образ на время, но теперь он снова ожил и манил его к себе. Что значили ее отрывочные странные намеки? Что она хотела сказать?.. По мере того как ему приедались эти «последние слова» техники и всякие новинки, которыми его угощали, ему все чаще вспоминались ее строгие глаза и глубокое волнение, так ясно читавшееся на ее благородном лице.

## Глава XVIII ГРЕХЭМ ВСПОМИНАЕТ

Они встретились в галерее, соединявшей его парадные покои с помещением Управления. Галерея была узкая и длинная, с рядами сводчатых ниш по бокам. В каждой нише было большое окно, выходившее в роскошный сад.

Он наткнулся на нее неожиданно: она сидела в одной из ниш. Она повернула голову на шум шагов и вздрогнула, увидев его. Румянец сбежал с ее лица.

Она быстро встала, шагнула ему навстречу и остановилась в нерешимости. Он подошел и тоже остановился, выжидая, что она скажет. Он понял, что она его ждала, искала встречи с ним, иначе зачем бы она очутилась в этой галерее? Она хотела заговорить и не могла: волнение душило ее.

— Я хотел вас видеть! — сказал он. — Все это время я думал о вас и хотел вас видеть. Несколько дней тому назад вы начали говорить... вы мне хотели что-то сказать... что-то такое о народе... Что вы хотели сказать?

Она взглянула на него: в ее глазах была тревога.

— Вы говорили тогда, что народ очень несчастлив...

С секунду она продолжала молчать, потом сказала резко:

— Я вас, должно быть, удивила тогда.

— Удивили. Но вы...

— Я сказала сущую правду. — Она опять подняла на него глаза, не решаясь продолжать. Наконец глубоко перевела дух и заговорила с усилием: — Вы... забываете народ.

— То есть как?

— Вы забываете народ, — повторила она.

Он смотрел на нее вопросительно, не понимая.

— Я знаю, вы удивлены. И немудрено: вы не понимаете, что вы значите для народа. Вы не знаете, что творится кругом. Вам многое непонятно.

— Вы, пожалуй, правы. Но если так, объясните...

Она повернулась к нему с внезапной решимостью.

— Это очень трудно объяснить. Я думала... я давно хотела с вами поговорить. А теперь не знаю как. Нет слов... То, что с вами случилось, так необыкновенно... Ваш сон, ваше пробуждение — чудо. Для меня, по крайней мере, и для всего народа. Вы жили, страдали и умерли простым гражданином, а проснулись властелином земли.

— Властелином земли, — повторил он задумчиво. — Да, так мне говорят. Но вы постарайтесь ясно представить себе, как я был далек от этой мысли и как мне теперь трудно понять... Эта чуждая, новая жизнь... царство городов, крупных предприятий... все эти тресты, рабочие союзы... Потом эта власть и почет... Да, власть. Я слышал, как они кричали мне вслед. Я властелин — я знаю. Если хотите — царь с великим визирем Острогом, который...



Он не договорил.

Ее глаза с пристальным вниманием остановились на его лице.

— Что же дальше? — спросила она. Он улыбнулся.

— ...который готов принять на себя всю ответственность.

— Вот именно этого мы и боялись, — сказала она и после минутного молчания продолжала спокойно и твердо: — Нет. За все отвечаете вы, а не он. Вы должны принять на себя всю ответственность. На вас все упования народа. Послушайте, — заговорила она мягче, — в течение, по крайней мере, половины тех лет, которые вы проспали, миллионы народа из поколения в поколение молились о том, чтобы вы проснулись. Молились!

Он сделал движение, хотел что-то сказать и не мог. Она тоже молчала, собираясь с силами, чтобы продолжать. Слабый румянец выступил у нее на щеках.

— Знаете ли вы, что для этих миллионов людей вы были королем Артуром, Барбароссой... Они верили, что этот король пробудится от сна, когда пробьет его час, и восстановит их права.

— Но ведь народная фантазия всегда...

— Слыхали вы нашу поговорку: «Когда проснется Спящий»? Все эти годы, пока вы лежали недвижимым, бесчувственным трупом, на вас приходили смотреть тысячи тысяч. Публика допускалась к вам каждое первое число. Вы лежали, прибранный, в белой одежде, и мимо вашего ложа тянулись вереницы народа в почтительной тишине. Я была еще маленькой девочкой, когда меня привели к вам в первый раз. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрела на ваше бледное, спокойное лицо.

Она отвернулась и, не глядя на него, упавшим голосом продолжала:

— Я смотрела тогда на ваше лицо, и мне казалось, что вы только ждете... что вы не просыпаетесь и молчите только по-

тому, что еще не исполнилась мера вашего долготерпения. — Она опять повернулась к нему. — Вот что я... что все мы о вас думали. Вот каким вы нам представлялись. — Глаза ее блестели, голос звенел. — И в этом городе и повсюду по всей земле мириады мириад мужчин и женщин ловят каждое ваше слово, каждое ваше движение. Все ждут от вас чуда, — всего! И если...

— Если?..

— Если ожидания их будут обмануты, ответственность ляжет не на Острога, а на вас.

Он с удивлением глядел на ее сияющее, вдохновенное лицо. Как трудно было ей заговорить, и как свободно лилась, каким горячим чувством звучала теперь ее речь!

— Неужели вы думаете, — говорила она, — что вы, маленький человек, проживший свою маленькую жизнь в далеком прошлом, стоите чего-нибудь сами по себе? Неужели все это чудо — чудо вашего векового сна и вашего пробуждения — совершилось только затем, чтобы вы могли прожить вторую никому не нужную жизнь? На вас сосредоточилась вся любовь, все благоговение, все надежды половины мира. И неужели после этого вы считаете себя вправе свалить ответственность на другого?

— Я знаю... — начал он запинаясь, — все говорят, что власть моя велика — по крайней мере, в глазах народа. Но насколько она реальна, действительна — вот вопрос. Я не могу в нее поверить. Это какая-то сказка, сон... Может быть, моя власть — просто мыльный пузырь, который лопнет от первого толчка.

— Испытайте!

— Впрочем, в сущности, ведь и всякая власть есть лишь иллюзия в умах людей, которые в нее верят. В этой-то вере вся моя власть. Но крепка ли моя власть?

— Испытайте! — повторила она, — Вы говорите власть — в вере людей. Но ведь этих людей миллионы, и пока они верят, они будут повиноваться.

— Но поймите же: я ничего не знаю. Я как впотьмах... Совсем другое Острог, члены Совета. Они в курсе дела. Весь ход событий, все условия современной жизни известны им до последних мелочей. Им легко прийти к тому или другому решению. Вот вы сказали, что народ несчастлив. А в чем его несчастье, как мне знать? Научите меня ради бога...

Он растерянно протянул к ней руки.

— Я только слабая женщина, и не мне вас учить, — проговорила она. — Но я скажу вам, что я думаю. О, сколько раз я горячо молилась дожить до этого часа, увидишь вас и все вам рассказать... Так знайте же, земля залита морем человеческих слез. Мир полон горя. Мир страшно изменился. От тех времен, когда жили вы и ваши современники, ничего не осталось. Точно какая-то неизлечимая смертельная язва поразила человечество и высосала из него жизнь.

Она подняла на него свои строгие глаза, горевшие мучительным волнением, и заговорила с новой энергией:

— Ваши дни были днями свободы. Да. Я всегда так думала, думала с завистью, потому что не знала счастья в моей жизни.... За эти два столетия люди потеряли свободу и не сделали ни выше, ни лучше, чем были в ваше время. Знайте: этот город — тюрьма. Теперь каждый город — тюрьма, и ключи от всех этих тюрем у Мамоны. Несчетные мириады людей трудятся как каторжные от колыбели до могилы, без всякого просвета впереди. Неужели это справедливо? И неужели так будет всегда? О да, у нас гораздо, несравненно хуже, чем было у вас. Кругом, куда ни взгляни, ничего, кроме нужды и горя. Те блага житейские, те суетные удовольствия, которые вас окружают, ле-

жат на грани такой нищеты, такого страдания, что их не перескажешь словами. Только беднякам известно, как они страдают. И тысячи таких бедняков принимают за вас смерть в последние дни. Да, вы обязаны им жизнью.

— Я обязан им жизнью, я знаю, — печально повторил Грехэм.

— В ваше время тирания городов только еще зарождалась, — продолжала она, — А это самая ужасная тирания. В ваше время господство лордов, феодалов уже отошло в прошлое, а господство новой денежной аристократии еще не утвердилось. Половина человечества жила по деревням, среди природы. Города еще не поглотили людей. Помню, мне в детстве рассказывали повести из книг того времени... О, тогда была настоящая аристократия, истинное благородство! Да и простые смертные жили полной человеческой жизнью. Они знали, что такое честь, что такое любовь. И вы это знаете: вы пришли из того мира.

— Простите, вы немножко идеализируете... Но все равно. Допустим, что в мое время человечество знало много хороших вещей. Ну, а теперь?

— Теперь оно знает наживу и «Веселые Города», да еще рабство — вечное, позорное рабство.

— Рабство...

— Да, рабство.

— Неужели вы хотите сказать, что в ваше время люди владеют людьми, как скотом или недвижимой собственностью?

— Хуже. Вы ничего не знаете. От вас скрывают, Вас развлекают, чтобы отвлечь ваше внимание... Скоро вас повезут в «Веселые Города». Но надо, чтобы вы узнали правду. Видели вы на улицах людей в голубом — мужчин, детей и женщин с испытанными, желтыми-желтыми лицами, с потускневшими глазами?

— Еще бы! Их целые тысячи. На них натыкаешься на каждом шагу.

— Все они говорят на отвратительном жаргоне, очень слабо напоминающем английский язык.

— Да, я заметил.

— Это невольники — ваши невольники. Рабы Рабочего Общества, которого вы хозяин.

— Рабочего Общества?.. Позвольте, я, кажется, припоминаю... Когда я блуждал по городу после своего побега, я видел несколько домов... Огромные дома казарменной постройки, все на один образец, выкрашены голубой краской. Так это...

— Ну да, это дома Рабочего Общества. Как бы вам объяснить?.. Вас, конечно, поразило это преобладание голубого цвета, это однообразие костюмов... точно казенный мундир... Так вот почти треть населения нашего города носит этот мундир. А скоро будет носить половина. Рабочее Общество разрослось незаметно.

— Но что же это за общество? Объясните.

— Скажите, как поступали в ваше время с людьми, которым грозила голодная смерть?

— У нас были работные дома, содержавшиеся на счет городских доходов.

— Ах, да, работные дома. Я помню, о них говорится в истории. Так вот Рабочее Общество поглотило, вытеснило работные дома. Оно выросло из этой, как она называлась?.. — вы, наверно, помните — из Армии Спасения. Но с течением времени из религиозной организации она превратилась в коммерческое предприятие. Благотворительность — такая была первоначальная идея этого учреждения. Оно задавалось целью доставлять заработок голодному, бездомному люду, спасало его от работных домов. Но потом Совет ваших опекунов прибрал Рабочее Общество к своим рукам, — к слову сказать, это было одно из первых

приобретений Совета... Совет купил вашу Армию Спасения, и с тех пор характер учреждения совершенно изменился. Оно разбогатело и невероятно разрослось. Теперь нет ни работных домов, ни приютов, ни богаделен. Есть только Рабочее Общество. Его отделения разбросаны по всему миру. Повсюду вы увидите проклятый голубой мундир. Всякий рабочий — будь то мужчина, женщина или ребенок, — если он заболел или лишился заработка, в конце концов непременно попадает в лапы Рабочего Общества. Всем бесприютным и голодным только две дороги: или в голубую казарму или в омут головой. «Веселые Города», где так хорошо и незаметно помогают отправиться на тот свет, этим людям не по карману: легкой смерти не бывает для бедняков. А в казармах Рабочего Общества в любой час дня и ночи они находят кров и пищу, но под неперменным условием — облечься в голубой мундир. С каждого приходящего за каждый день приюта берут день работы, а затем возвращают ему его платье и отпускают на все четыре стороны.

— Он, стало быть, свободен?

— Вам кажется, что это совсем не так ужасно? В ваше время люди умирали с голоду на улицах. Казалось, чего уж хуже. Но они умирали людьми. А эти, в голубой холстине... У нас есть пословица: «Голубую блузу только надень, — в ней ляжешь и в могилу». Рабочее общество живет трудом бедняков и уж, конечно, принимает меры, чтобы обеспечить за собой этот труд. Является голодный, беспомощный человек, его кормят, дают ему выспаться, а там — изволь работать. Если он хорошо поработал, ему в поощрение дают два-три пенса на дешевое место в театре в кинематографе, в танцевальном зале, на общественном обеде или на гонках. А на другой день что ему делать? Куда идти? Просить милосты-

ню запрещено: городская полиция строго преследует нищих. Да никто и не подает милостыни. И возвращается человек день за днем все в ту же голубую казарму. Собственное его платье, наконец, изнашивается, превращается в такие лохмотья, что стыдно показаться на улице. Надо проработать несколько месяцев, чтобы скопить на новое. Да и зачем ему свое платье? Ведь он уже казенный человек. Огромное большинство детей рабочих классов рождается в родильных приютах Рабочего Общества.

За каждого такого ребенка мать обязана проработать месяц на Обществе. Ребенка кормят, одевают и учат до четырнадцати лет, и за это он расплачивается двухлетней работой. И такой ребенок уж никогда не снимет голубой блузы — будьте уверены.... Вот как Рабочее Общество обделывает свои дела.

— У вас, стало быть, нет ни нищих, ни бродяг?

— Нет. Все кандидаты в бродяги работают на Общество или сидят в тюрьме.

— А если такой кандидат не хочет работать?

— Заставят. От голубой казармы ему не уйти. А у них там умеют справляться с непокорными. У них есть целая градация взысканий за леность: лишение обеда и мало ли что еще... Нет, у нас не допускаются бродяги. Уехать же из города бедный человек не имеет возможности. Проезд до Парижа стоит два льва. Бедняки должны сидеть на месте, работать и не протестовать. А для непокорных у нас есть тюрьмы — темные, отвратительные. За малейший проступок — тюрьма.

— Вы говорите, почти треть населения ходит в голубой холстине?

— Теперь уже более трети. Страшно подумать: чуть ли не половина народа живет жизнью рабочего скота. Ни радости, ни надежды, никаких человеческих чувств. Единственное развлечение: слу-

шать рассказы про «Веселые Города», существующие, словно в насмешку над позорной жизнью бедняка, его нищетой и страданиями. По всему миру разбросаны эти миллионы искалеченных, безгласных людей, не знающих ничего, кроме вечных лишений и неудовлетворенных желаний. Они рождаются, живут, как скот, и умирают. Вот до какого состояния мы дошли!

Грехэм молчал, совершенно подавленный.

— Но ведь теперь все это изменилось, — проговорил он наконец. — Недаром же была революция. Острог...

— Да, на революцию была вся надежда. Весь мир ее ждал. Но только не Острог даст народу то, что ему нужно. Острог — политик. Он не верит в лучшее будущее, да и не желает его. Страдания народа, по его мнению, неизбежное зло. Впрочем, таково мнение всех сильных мира, всех богатых и счастливых людей. Народ им нужен для достижения их политических целей: ведь унижением народа они только и живут... Но вы пришли из другой, более светлой эпохи. Все свои упования народ возлагает на вас.

Он, не отрываясь, глядел на нее. В ее глазах блеснули слезы. Горячая волна прихлынула ему к сердцу. В этот миг он забыл и народ, за который она так горячо ратовала, и голос совести, заговоривший в нем, — забыл все на свете под непосредственным впечатлением ее одухотворенной красоты.

— Но что же мне делать? Говорите! — вымолвил он, не сводя с нее глаз.

Она наклонилась к нему и ответила почти шепотом:

— Править. Править миром, как никто еще не правил до сих пор, — на благо и счастье людей. Вы это сможете, если захотите. Народ зашевелился везде, во всех концах мира. Даже средние классы недовольны существующим порядком



вещей. Довольно одного слова, чтобы все восстали как один человек. Скажите это слово. Вы не знаете, что творится кругом. Вам не говорят. Народ не хочет больше возвращаться к своему рабскому труду. Народ отказывается сложить оружие... Не думал Острог, что, разбудив в нем надежды, он разбудит спящего льва.

У Грехэма сердце так билось, что он не мог говорить. Он старался справиться со своим волнением и вдуматься в ее слова.

— Народ ждет только вождя, — продолжала она. — Будьте же этим вождем: вы — властелин мира.

Он, наконец, отвел глаза от ее лица и сел. Наступило молчание.

— Старые мечты... старые грезы: свобода, всеобщее счастье! — заговорил он тихо. — Я сам когда-то об этом мечтал. Но может ли один человек... один?

Голос его пресекся, он замолчал.

— Нет, не один, а все, все человечество, все люди! Им нужен только вождь, человек, который смело, высказал бы то, по чему они томятся, чего они хотят.

Он грустно покачал головой. С минуту оба молчали. Вдруг он поднял голову. Глаза их встретились.

— У меня нет вашей веры, нет вашей молодости, — сказал он. — И я далеко не всесилен. Моя власть — только призрак власти... Постоите, дайте договорить... Я искренно хочу — не скажу: дать человечеству счастье — это не в моих силах, — а облегчить ему жизнь. Не от меня зависит, чтобы на земле наступил золотой век. Но вы правы: я должен действовать. И я буду действовать — это я твердо решил. Вы меня разбудили... Я сокращу Острога: он узнает свое место. Рабство рабочих прекратится — это я, во всяком случае, вам обещаю.

— Так вы будете править? Да?

— Да, но с условием...

— С каким?

— Вы будете мне помогать.

— Я?! Но что же я могу?

— Неужели вы не понимаете, что и я один не могу? Ведь я совсем, совсем один...

Она подняла на него глаза, и взгляд ее смягчился.

— Нужно ли говорить, что я готова прийти вам на помощь? — сказала она.

— Я так беспомощен...

— Отец и хозяин, — сказала она, — Мир — ваш.

Они молчали. Вдруг ударил колокол, отбивающий часы.

— Хорошо, я буду править, — проговорил он медленно и, помолчав, закончил: — С вами.

Опять наступила длинная пауза. Часы пробили час. Она продолжала молчать. Грехэм встал.

— Острог меня ждет. — Он смотрел на нее, собираясь еще что-то сказать, — Когда я стал было расспрашивать его, он... Но все равно: я и сам все узнаю. Все то, о чем вы мне говорили, я хочу видеть своими глазами. Я обойду город и посмотрю. А когда я вернусь...

— Я буду знать о вашем возвращении и буду ждать вас здесь.

Он постоял еще немного, ожидая, не прибавит ли она чего-нибудь, но она молчала. Они еще раз посмотрели друг другу в глаза испытующим взглядом; потом он повернулся и пошел в приемные комнаты Управления.

## Глава XI

### ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОСТРОГА

Острог уже ждал Грехэма, чтобы от-  
дать ему обычный отчет о событи-  
ях дня. Насколько прежде Грехэм всег-  
да спешил отбыть эту церемонию, что-  
бы поскорее отдаться своему любимому  
занятию — урокам воздухоплавания, на-



*Я должен действовать. И я буду действовать — это я твердо решил.  
Вы меня разбудили...*

столько же теперь он затягивал ее, поминутно прерывая докладчика короткими, быстрыми вопросами. Ему не терпелось взять бразды правления в свои руки и показать свою власть. Известия Острога о положении дел за границей были самые утешительные. В Париже и в Берлине, правда, произошли небольшие волнения, но то был лишь «слабый, неорганизованный протест», и в обоих городах порядок скоро был восстановлен.

— Дело в том, — прибавил Острог, понукаемый настойчивыми расспросами Грехэма, — что за последние годы Коммуна снова подняла голову. В этом-то, собственно говоря, и коренится главная причина теперешней борьбы.

Тогда Грехэм, становившийся с виду тем спокойнее, чем больше он волновался, спросил, не было ли в городе вооруженных столкновений.

— Было одно небольшое... в одном только квартале. Но, к счастью, на место вовремя подоспели аэропланы с Сенегальской дивизией нашей африканской сельской полиции. Полиция Соединенного Африканского Общества прекрасно обучена... Мы ожидали беспорядков в континентальных городах и в Америке. Но в Америке все спокойно. Все очень довольны низвержением Совета, по крайней мере пока.

— А почему вы ожидали беспорядков? — резко спросил Грехэм.

— В низах идет брожение. Народ недоволен существующим строем.

— Рабочим Обществом, может быть?

— Вы быстро учитесь, я вижу, — вырвалось у Острога. Но он сейчас же спохватился и ответил спокойно: — Да, недовольны они главным образом Рабочим Обществом. Это недовольство и было первой причиной, вызвавшей революцию. А ваше пробуждение послужило для нее ближайшим толчком.

— А затем?

Острог улыбнулся.

— Ну-с, все это было нам как нельзя более на руку. — Он становился совсем откровенным. — Мы постарались расшевелить это недовольство. Мы воскресили старые идеалы всеобщего счастья, покоившиеся мирным сном в течение двух столетий. Старые, отжившие идеи: все равны... все благоденствуют... каждый имеет свою долю на жизненном пиру и так далее, и так далее. Вам это, конечно, знакомо. Несбыточные глупые бредни! Но нам они пригодились: без них мы бы не могли низвергнуть Совет. А теперь...

— Теперь?

— Теперь революция завершилась, Совет пал, но народ продолжает волноваться. Видно, мало усмиряли... Правда, мы сами раззадорили его обещаниями. Удивительно, с какой силой и быстротой оживает и разрастается этот расплывчатый гуманизм вашей допотопной эпохи. Даже мы были поражены успехами революции — мы, сами посеявшие ее семя. ... Пришлось прибегнуть к силе. В Париже, как я вам уже говорил, мы были вынуждены вызвать подкрепление из-за границы.

— А здесь?

— И здесь не все идет гладко. Десятки тысяч рабочих не хотят возвращаться к работе: объявили всеобщую забастовку. Половина фабрик пустует. Народ толпится на улицах. Толкуют про Коммуну. Человек в приличном костюме не может показаться на улице, чтобы не подвергнуться оскорблениям. Голубые жаут от вас великих и богатых милостей. Но вам нечего беспокоиться. Мы приняли меры. Говорильные машины расставлены во всех частях города и красноречиво призывают к порядку. Стоит только не выпускать из рук узды, и мы их усмирим. Мы действуем смело.

Грехэм ответил не сразу. Он обдумывал свои возражения, не желая быть

слишком резким.

— Я знаю, — проговорил он, наконец, очень сдержанно, — вы даже негров из Африки вызываете для усмирений.

— Негры — полезный народ, — заметил спокойно Острог. — Хорошая рабочая сила. Здоровые, послушные животные, не зараженные вредными идеями, как наша здешняя сволочь. Если б Совет в свое время организовал из негров городскую полицию, дела могли бы принять другой оборот... Но вам-то, повторяю, нечего бояться, здесь ничего не может произойти, кроме отдельных маленьких вспышек. И, наконец, в крайнем случае, у вас есть собственные крылья, и в случае нужды вы улетите на Капри: вы ведь теперь умеете летать... Все главные ресурсы современной техники в нашем распоряжении. Наши инженеры ветряных двигателей получают такое огромное жалованье, что уж, конечно, останутся нам верны. То же самое и аэронавты. Все летательные аппараты, таким образом, в наших руках, и мы полные господа воздушной стихии. А в наше время быть господином воздуха — значит быть господином земли. Против нас не может организоваться никакая сколько-нибудь крупная сила. У них нет даже вождей, если не считать вожakov нескольких отделов тайного сообщества, которое мы же и учредили незадолго до вашего пробуждения. Все это мелкие честолюбцы или сентиментальные дураки. Все завидуют друг другу и грызутся между собой. Ни один не может стать центральной фигурой. Стихийное движение, народный мятеж — вот единственное, чего еще мы можем опасаться. Это возможно, не скрою. Но это не помешает вашим воздушным полетам. Те времена, когда народные массы могли делать перевороты, давно миновали.

— Кажется, что так, — задумчиво проговорил Грехэм. — Вообще ваш век,

должен дознаться, поражает меня неожиданностями. Мы в наше время, помню, бредили демократическим строем, мечтали о наступлении блаженной поры, когда все люди будут, как братья, и не будет обездоленных на земле.

Острог бросил на него острый взгляд.

— Дни демократизма прошли, — сказал он. — Прошли и не вернуться. Они кончились с той минуты, когда народные массы перестали одерживать победы, когда на смену лучникам Кресси и марширующей пехоте пришли дорогостоящие пушки, броненосцы и стратегические железные дороги. Мы живем в эпоху торжества капитала. Владычество денег никогда еще не было так велико. Деньги подчинили себе землю, море и небо. И за теми, кто владеет этой новой силой, — вся власть. Таковы факты, а с фактами приходится считаться... Мир для толпы?! Толпа — властелин мира?.. Помилюйте! Да даже в ваше время это положение было отвергнуто, как нелепость. Теперь же оно имеет лишь одного сторонника — бессильного, ничтожного — человека толпы.

Грехэм молчал, подавленный мрачными думами.

— Но царство толпы миновало, — продолжал Острог. — Люди толпы еще могли развернуться в деревне, на просторе полей. Тогда народилась первая аристократия — аристократия захвата власти. То были смельчаки, проявлявшие свое удалство набегами, поединками, грабежами. Но их строго усмирили. Первая долговечная аристократия, закованная в железные доспехи, возникла вместе с укрепленными замками. Но и она не устояла перед пушкой и ружьем. Ныне наступило царство второй аристократии — настоящей. Дни огнестрельного оружия были сравнительно еще днями демократизма. Теперь же человек



толпы — ничтожество, ноль. Наш век — век колоссальных предприятий, гигантских машин, чудовищных городов. Где же рядовому человеку разобраться в этом сложном механизме общественных отношений?

— Однако же вы сами говорите, что у вас не все идет гладко, — заметил Грехэм, — Есть какая-то сила, которую вам приходится сдерживать, подавлять.

— О, на этот счет можете быть покойны, — ответил с принужденной улыбкой Острог, отмахивая в сторону все затруднения величественным жестом руки. — Поверьте, не затем я поднял эту силу, чтобы она обрушилась на меня.

Грехэм вдруг выпрямился и заговорил другим голосом:

— Не в этом вопрос.

Острог насторожился.

— Неужели так будет всегда? — продолжал Грехэм уже с нескрываемым волнением. — Неужели так должно быть? Неужели напрасны были все наши надежды?

— Что вы хотите сказать? Какие надежды? — спросил растерянно Острог.

— Я жил в демократический век. Спустя двести лет я попадаю в другую, новую эпоху, и что же я застаю? Аристократическую тиранию!

— Да. Но вы забываете, что вы сами — главный тиран.

Грехэм сдвинул брови.

— Но хорошо, оставим в стороне личности, — сказал Острог. — В том, что вы видите кругом, нет ничего ненормального. Господство аристократии, то есть избранных, лучших, страдания и вымирание неприспособленных — таков естественный ход прогресса.

— Вы говорите — аристократия. Да неужели же все эти господа, с которыми я теперь встречаюсь...

— О нет, не эти! — перебил Острог, — Это конченые люди. Легкая жизнь и разврат очень скоро сведут их в

могилу. Все они умрут, не оставив потомства. Такие типы заранее обречены на вымирание; конечно, если человечество пойдет тем путем, каким оно шло до сих пор, и не свернет на другую дорогу. Широкий простор для всевозможных эксцессов, облегчение перехода к небытию для прожигателей жизни!

— Все это прекрасно, — сказал Грехэм. — Но, кроме прожигателей жизни, есть еще толпа — миллионы трудящегося бедного люда. А этим что же остается? Тоже вымирать?.. Нет, эти не вымрут, они будут жить. Но они страдают, и страдания их — такая сила, которую даже вы...

Острог нетерпеливо дернул плечом, и когда он снова заговорил, голос его звучал уже далеко не так слейно:

— Напрасно вы волнуетесь. Дня через три-четыре все будет улажено. Толпа — большое глупое животное, и не нам бояться ее. Толпа не вымрет, вы правы, но толпу укрощают и ведут за собой. Я ненавижу рабов. Вы, верно, слышали два дня тому назад, как орала и пела на улицах эта сволочь. Это они с чужого голоса пели. Если б вы попросили любого из них объяснить, ради чего он так надсаживается, он не сумел бы ответить. Они воображают, что старались для вас, хотели доказать вам свою верность и преданность. Еще вчера они готовы были своими руками передуть всех членов Совета, а сегодня уже ропщут на нас за то, что мы низвергли Совет.

— Неправда! — перебил Грехэм. — Они ропщут потому, что у них не стало больше терпения, потому что их жизнь — сплошная мука. Они взывают ко мне, потому что верят в меня и надеются...

— На что надеются? И на каком основании? Какие их права? Получать щедрую плату за никуда негодную работу — вот чего они требуют, чего хотят... На что

они могут надеяться? На что и вообще может надеяться человечество? Что придет день, когда на земле воцарится сверхчеловек, когда все низшее, слабое, скотское будет или вычеркнуто из жизни, или покорено. Убогим, слабоумным выродам нет места в этом мире. Их прямой долг, святая обязанность — умереть. Смерть неудачникам! Лишь этим путем вымирания слабых могла инфузория дорости до человека, и этот же путь, надо надеяться, поможет человеку дорости до существа высшего порядка.

Острог прошелся по комнате, что-то обдумывая, потом снова повернулся к Грехэму.

— Я представляю себе, какую должна казаться наша сложная жизнь англичанину времен Виктории. Вам жаль старых обычаев. Выборное начало. Даже и нас, людей двадцать второго столетия, еще тревожат призраки этих отживших учреждений. Вас возмущают наши «Веселые Города». Мне следовало раньше об этом подумать, но я был так занят, что упустил из виду. Но все равно: вы скоро сами поймете и взглянете на дело иначе. Наша чернь готова, пожалуй, сочувствовать вашим теперешним взглядам — из зависти. Ей недоступны дорогие развлечения, и вот она кричит на улицах: «Долой «Веселые Города!» Но «Веселые Города» необходимы. Это наши клоаки, через которые государство извергает свои нечистоты. Из года в год они своими приманками стягивают к себе все слабое, безвольное и порочное, все, что только есть ленивого и непригодного к жизни в стране, и незаметно, шаг за шагом, приводят все эти отбросы человечества к беспечальной смерти. Люди едут туда, живут, веселятся и умирают бездетными, ибо у женщин легкого поведения не бывает детей, а человечество остается только в выигрыше. Если б

народ не был так глуп, он бы не завидовал богачам. Вы говорите, мы поработили народ, вы хотели бы улучшить его положение, облегчить ему жизнь. Но ведь трудящиеся классы — это рабочий скот, и если они опустились так низко, значит на лучшее они неспособны. — Он улыбнулся так цинично, что Грехэму захотелось ударить его. — Вы скоро сами в этом убедитесь, вот увидите. Мне хорошо знакомы все эти высокопарные, великодушные идеи: в ранней юности я читал вашего Шелли и тоже бредил свободой. Теперь-то я знаю, что все это химеры. Только ум, знания и сильная воля делают человека свободным. Свобода внутри нас. Если бы этому стаду безмозглых баранов в синей холстине сегодня удалось освободиться от нашего ига, поверьте, оно завтра же нашло бы новых господ. Пока на свете есть овцы, будут и хищные звери. Пришествие аристократии — фатальная необходимость: весь вопрос лишь во времени. И сколько там ни протестуй глупое человечество, в конце концов мы придем к сверхчеловеку. Пусть чернь бунтует, пусть даже останется победительницей и перебьет всех нас, своих господ. На наше место явятся другие. Конец будет все тот же.

— Я все-таки не понимаю...

Грехэм не дождался. С минуту он сидел потупившись, не глядя на Острога, потом вдруг поднял голову и заговорил мягко, но решительно:

— Вот что: я сам посмотрю. Я ни на чем не могу остановиться, пока не увижу своими глазами. Я хочу знать, что делается на свете. И я должен предупредить вас, Острог: я не намерен быть веселым царем ваших «Веселых Городов». Это меня совсем не прельщает. Я не желаю больше развлекаться. Итак уже слишком много времени потрачено на аэронавти-

ку и на прочие затеи. Теперь я хочу видеть, как живет мой народ, как сложилась будничная, серая жизнь простолюдина: как он работает, женится, растит детей и умирает.

Острог всполошился.

— Все это вы можете узнать из наших реалистических романов, — заметил он осторожно, стараясь скрыть свое беспокойство.

— Мне нужен не реализм, а действительность, — сказал Грехэм.

— Вот видите ли... — Острог замялся. — Есть некоторые затруднения... Но, впрочем, если вы непременно хотите...

— Непременно хочу.

— Хорошо. Дайте подумать... Вы желаете, говорите вы, присмотреться к быту простого народа? Для этого вам надо обойти пешком весь город. — Он на секунду задумался и вдруг пришел к решению: — Вам придется переодеться. Народ очень возбужден, и, если ваше появление на улицах будет открыто, может произойти страшнейшая кутерьма. Надо действовать крайне осторожно. А знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю вас: это ваше желание обойти город и самолично удостовериться... это, пожалуй, недурная идея... Немного трудно будет. Но так или иначе я это устрою. Вы повелитель, и раз вы серьезно решили отправиться в эту экскурсию, никто не может вам помешать. Асано позаботится о вашем костюме, он, разумеется, будет вас сопровождать... Что ж, идите, идите, это положительно хорошая мысль.

У Грехэма вдруг мелькнуло одно познание.

— А вам не понадобится мое присутствие в эти дни? — неожиданно спросил он.

— О, нет, не думаю. Во всяком случае, на такое короткое время вы можете, мне кажется, доверить мне дела, — про-

говорил Острог улыбаясь. — Если бы даже мы расходились во мнениях...

Грехэм зорко взглянул на него.

— В ближайшем будущем не ожидается вооруженных столкновений?

— Нет, нет!

— Я хотел только сказать... Я вспомнил о вашей африканской полиции... Об этих неграх. Не думаю, чтобы народ был враждебно настроен против меня... Да, наконец, не в этом дело. Я не хочу, чтоб негры вызывались в Лондон для усмирения. Слышите? Не хочу! Я ваш повелитель, и такова моя воля. Может быть, это предрассудок архаического человека, но у меня свои понятия о взаимных отношениях европейцев и подчиненных рас.

Острог из-под насупленных бровей внимательно наблюдал за выражением лица своего собеседника.

— Я не собирался вызывать в Лондон негров, — проговорил он нехотя, — но если...

— Вооруженные негры не явятся в Лондон ни в каком случае, — сказал Грехэм. — Что бы ни произошло. Это я твердо решил.

Острог почтительно поклонился, рассудив за благо не отвечать.

## Глава XX НА УЛИЦАХ

В тот же вечер Грехэм, сохраняя полное инкогнито, в народной форме низшего служащего при Управлении ветряных двигателей, сопровождаемый Асано в рабочей синей блузе, осматривал город, по улицам которого несколько дней тому назад он бродил в темноте. Теперь он видел этот город при полном освещении, бодрствующим и кипящим жизнью. Несмотря на дурную волну революции, только что пронесшуюся над страной, несмотря на раздававшийся кругом

ропот недовольства — предвестник новой великой борьбы, в которой та первая вспышка была лишь прелюдией, — торговая жизнь текла здесь по-прежнему широкой, могучей рекой. Грехэм уже знал кое-что о гигантском размахе нового века, но тем не менее подробности поражали его на каждом шагу, ослепляя бесконечной сменой ярких впечатлений, пестрыми волнами красок.

Впервые за все время своей новой жизни он так близко соприкасался с народом. Он понял теперь, что все, им виденное раньше, если не считать мимолетных впечатлений от рынков и театров, имело исключительный характер, не выходило из относительно узкой области политики и что все его переживания до сих пор вертелись около вопроса об его собственном положении. Теперь же перед ним был город в самые оживленные часы ночи; он видел народ, уже вернувшийся в значительной мере к своим обычным занятиям, видел повседневную будничную жизнь, нравы и обычаи новой эпохи.

Не успели они выйти на первую улицу, как наткнулись на огромную толпу: все подвижные платформы на противоположной стороне были битком набиты рабочими в голубых ливреях. Грехэм сейчас же заметил, что эта толпа составляла часть процессии. Странно было видеть процессию, совершающую свое шествие сидя. Многие держали знамена из толстой красной материи, с грубо наляпанными на них воззваниями в таком духе: «Не складывать оружия!», «Зачем нам разоружаться?», «Будьте на страже!» и так далее. Знамя мелькало за знаменем — целый поток красных знамен, и, наконец, раздалась Песня Восстания под громкий аккомпанемент каких-то неизвестных инструментов.

— Это все забастовщики, которым следовало бы быть на работе, — сказал

Асано. — Все они уже два дня не ели, кроме, может быть, немногих, которым посчастливилось что-нибудь украсть.

Мало кто спал в городе в эту ночь: все высыпали на улицу. Кругом слышались возбужденные голоса. Народ со всех сторон теснил Грехэма; толпа сменяла толпу. У него мутилось в уме от этого неумолчного гама, от криков и загадочных обрывков фраз. Все это были недвусмысленные признаки разгоревшейся великой борьбы. И повсюду его, Грехэма, популярность подчеркивалась черными знаменами и черными драпировками, украшавшими стены домов. Он то и дело ловил, слова на грубом уличном жаргоне, каким говорили необразованные классы, еще не доросшие до науки учителей-фонографов. И всюду в воздухе носился все тот же клич: «Не разоружайтесь!» — тревожный клич, требовавший, очевидно, безотлагательных мер, о чем он не слышал ни намека за все время, что просидел в Управлении ветряных двигателей. И он дал себе слово, как только вернется, переговорить с Острогом в более решительном тоне, чем он говорил до сих пор: и об этом странном призыве не разоружаться, и о том, что выражает этот призыв.

Дух тревоги и возмущенного протеста, царивший в городе в ту ночь, до такой степени поглощал его внимание с самого начала их скитаний, что он просмотрел много странных вещей, которые иначе непременно бросились бы ему в глаза. Его преследовала неотвязная мысль о значении этой тревоги, благодаря чему впечатления его были бессвязны, отрывочны. И все-таки кругом было столько странного, поражающего, что самое сосредоточенное настроение не могло бы сохраниться во всей своей цельности и не уступить иной раз место впечатлению какой-нибудь яркой картины. Бывали моменты, когда революционное



движение совершенно вылетало у него из головы перед какой-нибудь поразительной бытовой сценкой нового века. Сама Элен, заставившая заговорить в нем голос совести, поднявшая в его душе мучительный вопрос о долге, минутами отступала куда-то далеко за пределы его сознания.

Один раз, например, он заметил, что они пересекают церковный квартал (подвижные улицы создавали такую легкость сообщений, что не было больше надобности иметь отдельные молельни в каждой части города), и внимание его было привлечено фасадом здания, принадлежавшего одной из христианских сект. Они ехали с большой скоростью, сидя на одной из верхних быстроходных платформ, и этот фасад вынырнул перед ними на повороте улицы, быстро приближаясь. Весь он сверху донизу был испещрен крупными надписями — белыми буквами по голубому. Но посередине вместо надписей светилась большая кинематографическая картина, изображающая очень реальна сцену из Нового Завета под черной драпировкой в знак того, что господствующая религия идет рука об руку с политикой момента. Грехэм уже настолько освоился с фонетическим написанием, что без труда разбирал надписи. Они поразили его, как невероятное кощунство: «Спасение души в первом этаже направо», «Копите денежки и не забывайте вашего творца», «Самое скорое в Лондоне обращение грешников — опытные мастера: не зевайте!», «Что сказал бы Спящему Христос?», «Идите по стопам святых вашего века», «Будь христианином, но не в ущерб твоим коммерческим делам», «На кафедре сегодня все знаменитые епископы. Цены обыкновенные», «Молитвы на скорую руку для деловых людей».

Таковы были самые безобидные начертания.

— Возмутительно! — вырвалось у Грехэма, когда это оглушительное меркантильное благочестие развернулось перед ними во всей красе.

— Что такое? — спросил его маленький адъютант, пробега глазами надпись за надписью и, видимо, не понимая, что могло так его поразить.

— Все! Где ж тут вера? Где душа, сущность религии?

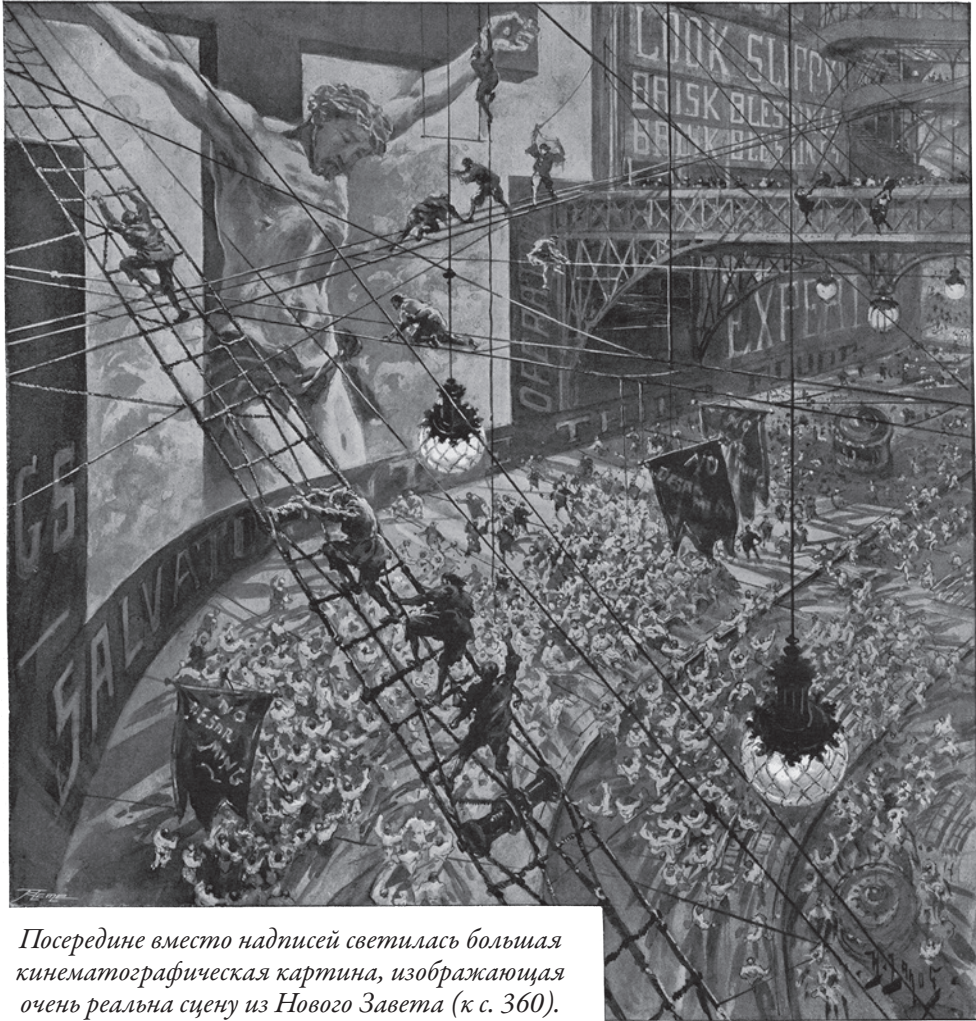
Асано удивленно взглянул на него.

— Ах, это! Вас это шокирует? — протянул он тоном человека, сделавшего открытие. — Впрочем, оно и понятно. Я забыл, в наше время конкуренция так обострилась, что ничего не поделаешь без реклам. А с другой стороны, люди так заняты, что не могут уделить времени заботам о душе. Не то, что в старину, — Он улыбнулся. — У вас, в ваши дни, была идиллия — деревенский простор, тихие субботние вечера, посвящавшиеся молитве. Впрочем, я где-то читал, что начиная с вечера воскресенья, и у вас уже...

— Нет, но это! — повторил Грехэм, оглядываясь назад, на отступающую вдаль голубую с белым пестроту реклам. — И это, наверное, не единственная религиозная община, прибегающая к таким...

— Их у нас сотни, и прибегают они к самым разнообразным приемам для рекламы. Но ведь если секта скромно молчит, она не имеет дохода. Религия, как и все прочее, шагнула вперед вместе с веком. Есть у нас секты для высших классов: те поприличнее. Там вы увидите и дорогие обряды с ладаном, и приличную исповедь, и все такое. Но такие, как эта, гораздо популярнее и богаче. Вот за это самое помещение, что мы сейчас видели, они платят несколько дюжин львов Совету, то есть вам.

Грехэм все еще плохо разбирался в новой монетной системе. Но упомина-



*Посередине вместо надписей светилась большая кинематографическая картина, изображающая очень реальна сцену из Нового Завета (к с. 360).*

ние о «львах» напомнило ему об этой системе, и в один миг он забыл все эти крикливые новые храмы с их меркантильной паствой, заинтересовавшись новым вопросом. Ответы Асано подтвердили то, о чем он и раньше догадывался: золото и серебро как монетная единицы давно вышли из употребления, и золотая чеканная монета, воцарившаяся в мире с легкой руки финикийских купцов, была развенчана. Перемена эта совершилась постепенно, но быстро благодаря быстрому распространению системы чеков,

которая уже и в его времена на практике почти совершенно вытеснила золото во всех крупных торговых сделках. Теперь же вся городская, да и вся мировая торговля производилась при помощи маленьких чеков Совета на предъявителя — коричневых, зеленых и розовых в зависимости от суммы платежа. У Асано было с собой несколько штук таких чеков, которыми он и расплачивался, когда приходилось платить. Напечатаны они были не на бумаге, а на полупрозрачной шелковистой ткани, очень прочной

на вид, и на всех стояло факсимиле подписи Грехэма. Таким образом, в первый раз после двухсот с лишним лет он снова увидел знакомые изгибы и завитушки своего автографа.

Затем начались новые впечатления, но ни одно из них не было особенно ярко, так что мысли его постоянно возвращались к вопросу о разоружении. Больше всего другого поразила его вывеска одного теософского храма, сулившая «Чудеса». «Чудеса» эти были выведены огромными огненными буквами, которые то вспыхивали, то гасли.

На Нортумберлендском проспекте перед ними открылось здание общественной столовой. Это заинтересовало его. Благодаря энергии Асано он скоро получил возможность хорошо осмотреть внутренность этой столовой с крытой галерейкой, предназначавшейся для прислуги. В обширный обеденный зал, над которым тянулась галерейка, доносился какой-то странный заглушённый рев, минутами переходивший в резкий визг. Грехэм не понимал значения этих звуков, но они напоминали ему тот таинственный сдавленный голос говорительной машины, который он услышал в ночь своих одиноких скитаний по городу в тот момент, когда снова зажглись осветительные шары.

Он уже привык к чудовищным размерам зданий и к многолюдству, и тем не менее эта картина огромного зала, наполненного жующими людьми, поразила его. И лишь, после того как он хорошо присмотрелся к сервировке стола и получил ответы на свои бесчисленные вопросы по поводу различных деталей, ему стало ясно значение этой колоссальной общественной трапезы нескольких тысяч человек.

Вообще он постоянно замечал с удивлением, что многое такое из жизни новой эпохи, что, казалось бы, должно было сразу броситься ему в глаза, не про-

изводило на него впечатления до тех пор, пока его не заинтересовывала своя загадочностью и не наводила на размышления какая-нибудь подробность. Так и теперь: до этой минуты он не догадывался, что все эти обширные залы и коридоры громадного города, слившегося в одно непрерывное целое под общей крышей и не боящегося таких случайностей, как перемена погоды, означают уничтожение домашнего очага; что типичный «свой дом» времен королевы Виктории — маленький кирпичный особнячок с кухней и кладовой, со спальнями и столовой — стерт с лица земли (если не считать развалин, торчащих кое-где на пустыре, окружавшем город) так же окончательно и бесповоротно, как шалаш дикаря. И теперь только он понял то, что мог бы заметить с самого начала, а именно — что Лондон, рассматриваемый с точки зрения жизни его населения, представляет собою уже не агрегат отдельных домов, а гигантскую гостиницу с бесконечной градацией житейских удобств, с десятком тысяч общих столовых, часовен, театров, рынков и всяких публичных мест — целый синтез предприятий, которых он, Грехэм, был главным хозяином. Жильцы имели свои спальни, быть может, даже уборные, вполне удовлетворяющие санитарным условиям, хоть и разных степеней комфорта, а день проводили приблизительно так же, как проводили, его и при Виктории обитатели новых больших отелей: или занимались спортом, разговаривали, читали, думали — все на людях! — или же отбывали свою работу в промышленных кварталах, или сидели в торговых конторах.

Он видел теперь, что новый город был лишь логическим, неизбежным развитием того типа города, какой существовал и в его время. Экономия труда посредством кооперации — такова была основная причина возникновения но-

вейших городов. Еще при его современниках главной помехой к исчезновению домашнего очага была сравнительная некультурность народа, страсти и предрассудки, сильно укоренившееся варварское чувство личной гордости, зависть, соперничество и грубость низших и средних классов, исключавшие всякую возможность слияния смежных хозяйств. Но народ уже и тогда быстро приручался. Ему самому за короткий тридцатилетний период его прежней жизни приходилось наблюдать, как быстро распространялся обычай обедать вне дома, как маленькие кофейни вытеснялись просторными и людными общественными столовыми, как вырастали один за другим женские клубы, читальни, библиотеки и другие публичные места. То, что тогда было лишь в зачаточном виде, теперь выросло и расцвело. Замкнутый домашний очаг, защищенный крепкими запорами от посторонних вторжений, отошел в область преданий.

Те люди, что сидели внизу, принадлежали, как оказывалось, к низшим слоям среднего класса, стоявшим лишь ступенью повыше синих рабочих, — к тем самым слоям, для которых во времена Виктории было до такой степени непривычным делом есть не в тесном домашнем кругу, что когда такой человек случайно попадал на обед в публичном месте, он старался скрыть свое смущение под напускным весельем и вызывающей развязностью манер. Эти же люди в ярких, хоть и в дешевых костюмах не отличались большой общительностью, но и не дичились друг друга; они ели быстро, с деловым видом и держались свободно и просто.

Он заметил еще один маленький, но характерный факт. Обеденный стол на всем своем протяжении оставался безукоризненно чистым во время еды; ни тени того хаоса хлебных крошек, пятен

соуса и пролитого вина, разбросанных ножей и вилок, каким была бы непременно отмечена шумная трапеза эпохи Виктории. И убранство стола было другое: никаких украшений — ни ваз, ни цветов. Не было даже скатерти, ибо верхняя крышка стола была сделана, как ему сказали, из какого-то прочного состава, похожего видом на камку, и вся она была покрыта рекламами, расположенными изящным узором.

Возле каждого обедающего стоял открытый шкафчик с очень сложным столовым прибором. Тарелки были белого фарфора; ножи, вилки и ложки — тоже белые, из какого-то красивого металла. Но всего этого было только по одной перемене, и после каждого блюда каждый обедающий сам мыл свой прибор, пользуясь двумя кранами с холодной и горячей летучей жидкостью, бывшими у него под рукой.

Суп и вошедшее во всеобщее употребление искусственное вино получались из таких же кранов, а остальные кушанья, разложенные на блюдах с большим вкусом, автоматически двигались по серебряным рельсам вдоль стола. Каждый останавливал то или другое блюдо по своему выбору и брал сколько хотел, кушанья появлялись из дверцы на одном конце стола и исчезали на другом. То извращенное демократическое чувство, та ложная гордость, которая видит нечто постыдное в оказании друг другу мелких услуг, была, очевидно, очень сильна у этих людей.

Грехэм был так поглощен всеми этими наблюдениями, что, только выходя, заметил огромную диораму реклам, торжественно передвигавшуюся вокруг зала вдоль верхней части стен и предлагавшую публике самые заманчивые вещи по части всяких житейских удобств.

Они перешли в другой зал, тоже битком набитый народом, и здесь-то он от-



крыл источник загадочного рева, долетавшего в первый зал. На одну секунду они остановились у рогатки, заплатили за вход и вошли. Грехэм услышал оглушительный вой, а затем раздался скрипучий механический голос:

— Властелин спокойно поживает! Он в добром здоровье. Остаток жизни хочет посвятить аэронавтике. «Женщины теперь прекраснее прежнего», — говорит он... Га! Га! Наша образцовая цивилизация поражает его превыше всякой меры. Превыше всякой меры... Га! Га! Он вполне полагается на Острога. Безусловно, доверяет ему. Острог — голова, Острог будет его первым министром. Он уполномочен сменять и назначать чиновников. Все казенные места в его руках. Все места в руках Острога. Члены Совета отправлены в свою собственную тюрьму, что над залом Атласа...

Грехэм застыл на месте при первой же фразе. В недоумении озираясь кругом, он поднял голову и увидел глупую рожу автомата с разинутым ртом, из которого вылетал этот рев. Это была говорильная машина для репортерских сообщений. С минуту она как будто набиралась духу: было слышно, как что-то пыхтит внутри ее цилиндрического тела. Потом опять раздалось оглушительное «га! га!», и опять она заревела:

— Париж усмирен! Сопротивление подавлено! Га! Га! Все важные стратегические пункты заняты черной полицией. Черные храбро дрались, во время боя пели песни, написанные в честь их предков поэтом Киплингом. Случилось, правда, раза два, что они вышли из повиновения. Досталось-таки тогда пленным инсургентам — пленным и раненым. Ни мужчин, ни женщин не щадили. А мораль — не бунтуйте! Га! Га!.. Молодцы ребята эти негры! Ни перед чем не останавливаются. Так и надо! Пусть это будет уроком нашей разну-

зданной черни. Да, черни, подонкам человечества. Га! Га!..

Голос умолк. В зале пронесся ропот:

— Проклятые негры!

Вдруг возле них какой-то человек заговорил, обращаясь к толпе:

— Так вот как поступает наш повелитель, ребята! Вот как он поступает!

— Черная полиция? — пробормотал Грехэм. — Что это значит? Неужели?..

Асано тронул его за плечо и посмотрел на него предостерегающим взглядом. В это время другая говорильная машина пронзительно взвизгнула и заорала диким голосом:

— Ха-ха-ха! Послушайте живую газету! Живую газету! Ха-ха!.. Возмутительные насилия в Париже! Доведенные до отчаяния черной полицией, парижане избивают ее. Ужасные репрессии! Возвращаются варварские времена. Кровь! Кровь! Ха, ха!..

Тут первая машина гаркнула во все горло: «Га! Га!», заглушив последнюю фразу противника, и посыпала, но уже тоном пониже, новыми комментариями по поводу ужасов происходящей смуты:

— Закон и порядок прежде всего! Прежде всего закон и порядок! — трещала она.

— Но как же... — начал было Грехэм.

— Не возражайте, — шептал ему Асано. — Может выйти спор, и тогда...

— Ну, так уйдем, — сказал Грехэм. — Я хочу видеть все своими глазами.

Только теперь, проталкиваясь со своим спутником к выходу в возбужденной толпе, окружавшей машины, он вполне оценил размеры этого зала. Всех говорильных машин, больших и малых, визжащих и ревуших, лепечущих и скрипящих, в нем было около тысячи, и возле каждой стояла своя толпа взволнованных слушателей, все больше мужчин в синей холстине. Машины были всех размеров, начиная с маленького болтливого

аппаратика, пересыпавшего глупым хихиканьем свои сентенции и остроты, и кончая такими пятидесятифутовыми гигантами, как тот ревун, который оглушил Грехэма при входе.

Необычайное стечение публики объяснилось тем, что все с горячим интересом следили за ходом событий в Париже. Борьба была, очевидно, гораздо ожесточеннее, чем говорил Острог. Все машины были заняты обсуждением этой борьбы. Их слова повторялись толпой, и огромный улей гудел отрывистыми фразами: «Народ казнил полицейских», «Женщин жгли живьем» и в таком духе.

— Но как допускает это повелитель? — спросил один из толпы, мимо которого они проходили. — Так-то начинает свое правление наш государь?

«Так-то начинает свое правление государь?» И долго после того, как они вышли из зала, преследовала Грехэма эта фраза и рев и визг машин: «Га! Га!.. Ха-ха-ха! Так-то начинает свое правление государь?»

Как только они вышли на улицу, он приступил к Асано с вопросом о причинах парижских событий.

— Зачем это разоружение? Из-за чего волнуется народ? Что все это значит?

Асано, видимо, старался об одном: уверить его, что «все благополучно».

— Но эти жестокости! Чем вы их объясните?

— Лес рубят — щепки летят, сами знаете, — сказал Асано. — Бунтует только чернь, да и то лишь в одном квартале. Все остальные спокойны. Нет во всем мире более необузданных дикарей, чем парижские рабочие... да еще наши, пожалуй.

— Как! Лондонские?

— Нет, японцы. Им нельзя давать спуску.

— Но жечь женщин живьем!..

— Коммунаров, — поправил Асано, — Разве вы не знаете коммунаров? Ведь это грабители. Вы господин земли; мир — ваша собственность. А им только позволю: они отнимут у вас все и отдадут землю во власть черни.... Но у нас не будет Коммуны. Нам черная полиция не понадобится... Их долго щадили. Им и теперь оказано снисхождение. Ведь это все их собственные негры — из французских колоний: сенегальские полки, с Нигера, из Тимбукту.

— Полки? — переспросил Грехэм. — Я думал, что только один...

Асано искоса посмотрел на него.

— Ну нет, не один... немного побольше.

Грехэм почувствовал себя совершенно беспомощным.

— Я не думал... — начал было он, но вдруг круто оборвал на полуслове и перешел к расспросам насчет говорильных машин.

Говорильными машинами в публичных местах, как объяснил ему Асано, пользовались только низшие классы (и действительно, толпа которую они видели в зале машин, состояла из очень бедно одетых людей, почти из оборванцев). У людей зажиточных классов были свои машины. В каждой приличной квартире устанавливалась от города говорильная машина, которую квартирохозяин мог соединить проводами с любым из крупных газетных синдикатов по своему выбору.

— Почему же нет говорильной машины в моем помещении? — спросил Грехэм, выслушав это объяснение.

Асано удивился.

— Разве нет? Я и не знал, — сказал он. — Должно быть, Острог приказал убрать.

Грехэма покорило.

— Мне он ничего не сказал. Почему же я мог знать? — вырвалось у него.

— Может быть, он думал, что так вам будет покойнее, — заметил Асано.

Грехэм немного подумал, потом сказал:

— Сейчас же, как только мы вернемся, я велю снова поставить на место машину.

Не без труда уразумел он тот факт, что этот обеденный и газетный залы были не главными центральными учреждениями такого рода, что такие точно залы были во множестве разбросаны по всему городу. Но потом, во время их ночной экспедиции, в каждом новом квартале, куда они попадали, до ушей его сквозь уличный гам поминутно доносилось или своеобразное «га! га!» гигантской говорильной машины, органа Острога, или пронзительное «ха-ха-ха! Слушайте живую газету» — его главного конкурента.

Не менее распространенным в городе учреждением были детские ясли. Одно из таких заведений они посетили теперь, отправившись туда прямо из общественной столовой. Поднявшись на лифте, они перешли стеклянный мост, перекинутый над обеденным залом и над ближайшей из подвижных улиц, и очутились у входа в первое отделение яслей. Здесь они предъявили особый билет за собственноручной подписью Спящего, без чего посторонних не пропускали. Перед ними немедленно вырос человек в лиловом плаще с золотой пряжкой (атрибут практикующих врачей) и объявил с почтительным поклоном, что он готов их сопровождать. По обращению этого господина Грехэм догадался, что инкогнито его открыто, и, уже не стесняясь, принялся расспрашивать об устройстве заведения и о странных приспособлениях, попадавших ему на глаза.

По обе стороны коридора, устланного мягкой дорожкой, заглушавшей шаги, тянулись узенькие дверки, размерами и видом напоминавшие двери тюремных

одиночных камер эпохи Виктории. Но верхняя часть каждой дверки были из того самого зеленоватого прозрачного вещества, которое окружало его при его пробуждении, и в каждой камере сквозь эту прозрачную пленку виднелись неясные очертания мягкого гнездышка — колыбели с новорожденным младенцем внутри. При каждой колыбельке был сложный аппарат, контролировавший температуру и влажность и подававший звонок в центральное управление при малейшем отклонении от нормы. Система таких яслей, как узнал Грехэм, почти окончательно вытеснила старомодный способ вскармливания новорожденных, зависевший от стольких случайностей и сопряженный с риском. Их проводник не замедлил обратить его внимание на кормилиц-автоматов с удивительно реально подделанными под живое тело руками, плечами и грудью, но вместо ног имевших медные подставки, а вместо лица — плоский круг с объявлениями для матерей, которые приходили навещать младенцев.

Из всех странных вещей, на каждом шагу поражавших Грехэма в ту ночь, ничто не шло до такой степени в разрез с его понятиями, с привычками всей его жизни, как эти детские ясли. Маленькое, беспомощное красное существо с крошечными ручками и ножками, слабо шевелящееся в своих первых робких попытках к движению, — и уже покинуто, уже не знает материнской ласки, материнского поцелуя! Его отталкивало, ему претило это зрелище. Но сопровождавший их доктор был другого мнения. Его статистика доказывала с бесспорной очевидностью, что во времена королевы Виктории самым опасным периодом в жизни ребенка был период кормления грудью, и что детская смертность за этот период достигала ужасающей цифры, тогда как Международный Синдикат детских яслей не

терял и полупроцента из миллиона младенцев, находившихся на его попечении. Но даже эти убедительные цифры не могли поколебать предубеждения Грехэма.

В одном из коридоров они наткнулись на молодую чету в синей холстине, стоявшую у одной из узеньких дверок. Оба — и муж и жена — хохотали до слез, заглядывая сквозь прозрачную дверь на лысую голову своего первенца. Должно быть, по лицу Грехэма они прочли, что он думал о них, ибо веселье их мигом прекратилось и уступило место смущению. Этот маленький инцидент только укрепил в нем сознание той пропасти, которая лежала между его взглядами, его симпатиями и нравами нового века. Глубоко взволнованный и возмущенный, прошел он вслед за своим провожатым во второе отделение, предназначенное для детей, уже начинающих ползать, и затем в детский сад. Бесконечная анфилада комнат для игр была совершенно пуста. Слава богу! Современные дети еще спали по ночам. Маленький японец мимоходом обратил его внимание на игрушки нового типа, представлявшие, впрочем, лишь дальнейшее развитие идей вдохновенного сентименталиста Фребеля. В этом отделении были живые няньки, но многое и здесь исполнялось машинами. Машины забавляли детей, пели, плясали, нянчили и укачивали.

Но все-таки Грехэму далеко не все было ясно.

— Как жаль: столько сирот, — проговорил он задумчиво, невольно возвращаясь к своему первому впечатлению, и во второй раз услышал, что между этими детьми почти нет сирот.

Когда они вышли из яслей, он с ужасом заговорил о бедных малютках, которых выращивают искусственным способом, точно растения в парниках.

— Неужто нет более материнства? — говорил он. — Или оно было просто ло-

маньем?... Нет, материнство, несомненно, инстинкт... А это... это так неестественно, так ужасно!..

— Отсюда, мы пройдем в танцевальный зал, — сказал Асано вместо ответа. — Там, наверное, полно: политические неурядицы этому не мешают. Наши женщины, за немногим исключением, не слишком-то интересуются политикой. Там вы увидите современных матерей. В Лондоне большинство молодых женщин имеет детей. В наших средних классах редко бывает больше одного ребенка в семье, но иметь одного считается почти обязательным: это доказывает, так сказать, жизнеспособность организма. Ну, а что касается материнского инстинкта, то он не заглох, могу вас уверить. Матери очень гордятся своими детьми: часто приходят сюда взглянуть на свое потомство.

— Вы вот сказали: не больше одного ребенка в семье. Так, значит, население земного шара...

— Убывает? Да. Но только не в среде голубых. Этот народ так беспечен...

Воздух вдруг зазвенел звуками плясовой музыки. Перед ними открылся широкий проход с рядами великолепных колонн, судя по виду, из чистого аметиста, и вдоль этого прохода мимо них (они подходили сбоку) неслась веселая ватага танцующих с криками и смехом. Мелькали пышные прически, локоны, венки на головах, пестрая смесь ярких красок, шелестящие складки развевающихся одежд. Все это мчалось и кружилось в торжествующем бешеном вихре.

— Да, мир изменился, — проговорил Асано со слабой усмешкой. — Сейчас вы увидите матерей новой эры.... Свернемте сюда. Скоро мы опять увидим эту толпу, только сверху.

Они поднялись сперва на одном лифте, очень быстро, потом на другом — значительно медленнее. По мере того как они подымались, музыка становилась все



громче. Но вот задорные, резвые звуки, словно вырвавшись на свободу, разлились бурной волной, и, поднимаясь все выше под переливы этой волны, они стали, наконец, различать топот многих сотен танцующих ног. Заплатив за вход у рогатки, они вошли в широкую галерею, висевшую над танцевальным залом, и перед ними предстала изумительная картина — волшебное сплетение движения и звуков, красок и форм.

— Вот матери и отцы тех детей, которых вы только что видели, — сказал Асано.

Этот зал не отличался такою пышностью убранства, как зал Атласа, но по размерам это было самое грандиозное из всего, что видел до сих пор Грехэм. Прекрасные белоснежные статуи, поддерживавшие на своих плечах своды галерей, еще раз напоминали ему о возрождении скульптуры в новом веке. Как красиво, причудливо изгибались их стройные тела, как заманчиво улыбались их губы. Источник музыки, гремевшей в зале, был невидим, но звуки ее наполняли каждый его уголок, и все пространство блестящего гладкого пола было усеяно танцующими парами.

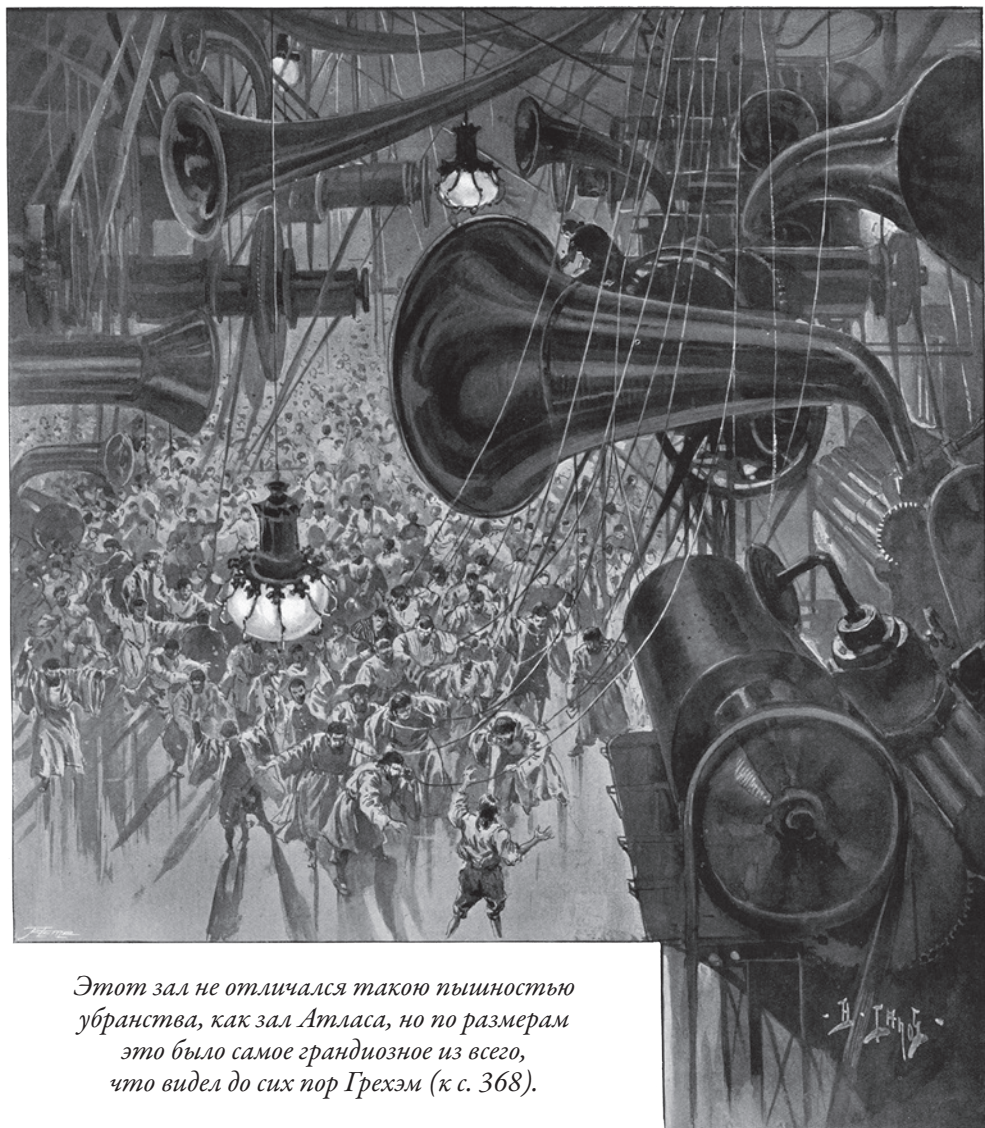
— Взгляните на них, на этих матерей, — шепнул Грехэму маленький японец. — Как видите, они умеют веселиться.

Галерея, на которой они стояли, тянулась вдоль верхнего края внутренней стены, не доходившей до потолка и отделявшей танцевальный зал от другого, наружного, с широкими открытыми арками, так что с галереи видно было непрерывное движение, и был слышен грохот мчащихся подвижных платформ. В наружном зале была тоже толпа, не менее многолюдная, чем та, что плясала внутри, но далеко не в таких блестящих костюмах; большинство было в неизменной синей форме Рабочего Общества, так хорошо теперь знакомой Грехэму.

Эти не могли попасть на бал за неимением денег, но были не в силах уйти от соблазнительных звуков. Многие, недолго думая, тут же расчистили себе место и в своих развевающихся лохмотьях отплясывали с большим увлечением, гикая в такт и выкрикивая какие-то шуточки, которых Грехэм не понимал. Кто-то в темном углу принялся было насвистывать припев революционного гимна, но сейчас же умолк, точно ему заткнули рот. За темнотой Грехэм не мог рассмотреть, что там произошло. Он опять повернулся к танцевальному залу. Над кариатидами выступали бюсты знаменитых людей — всех тех, кого новый век признавал своими эмансипаторами и пионерами в различных областях человеческой мысли. Их имена по большей части были не знакомы Грехэму, но он узнал между ними Грант Аллена, Ле Галлиенна, Ницше, Шелли, Годвина. Ниспадавшие крупными складками фестоны черной драпировки заставляли еще резче выступать огромную надпись, красовавшуюся под огромным потолком. «Праздник пробуждения», о котором она возвещала, был, видимо, в полном разгаре.

— Мириады людей решили отпраздновать этот день, — сказал Асано. — А рабочие бастуют сами по себе, по другим причинам. Этот народ всегда рад задать себе праздник, лишь бы увильнуть от работы.

Грехэм подошел к парапету и, перегнувшись вниз, стал смотреть на танцующих. Если не считать двух-трех нежных парочек, шептавшихся по углам, на галерее были только он да его провожатый. Снизу поднималось теплое дыхание жизни, бьющей ключом. Воздух был пропитан запахом духов. Все танцующие — как женщины, так и мужчины — были очень легко одеты, с обнаженными руками, с открытой шеей. У многих мужчин были длинные локоны, придававшие им



*Этот зал не отличался такою пышностью убранства, как зал Атласа, но по размерам это было самое грандиозное из всего, что видел до сих пор Грехэм (к с. 368).*

женоподобный вид. Все были бритые, некоторые нарумянены. Между женщинами было много очень красивых, и все они были одеты с утонченным кокетством. Грехэм с любопытством следил за пронесившимися парами. Да, положительно, эта толпа наслаждалась до самозабвения. Это видно было по возбужденным пылающим лицам, по томно полупу-крытым глазам.

— К какому классу принадлежат эти люди? — неожиданно спросил он.

— К классу рабочих — привилегированных рабочих. Или, по-вашему, к среднему классу. Мелкие независимые ремесленники давно исчезли с лица земли. А эти все больше служащие в крупных предприятиях, мастера по всем специальностям, техники. Сегодня праздник, и все танцевальные залы пе-

реполнены. Все церкви и молельни — тоже.

— А женщины?

— То же самое. У нас существует бесчисленное множество отраслей женского труда. Впрочем, тип женщины-работницы родился еще в ваше время. Теперь же большинство женщин живет независимо, своим трудом. Но почти все они замужем... более или менее, — у нас имеется много видов брака. Это увеличивает их годовой доход и дает им возможность веселиться.

— Вижу, — сказал Грехэм, глядя на раскрасневшиеся лица, кружившиеся в бешеном вихре, и не будучи в силах отделаться от кошмара красненьких детских ножек и ручек, беспомощно взывавших о ласке. — Все это матери, говорите вы?..

— Да, большинство.

— Чем ближе я смотрю, тем сложнее кажется мне ваша жизнь... вообще проблемы жизни. Вот это, например, совершенный сюрприз для меня — такой же, как события в Париже.

Он помолчал и снова заговорил:

— Все это матери. Так. Когда-нибудь, надеюсь, я усвою себе современные взгляды. Я слишком сжился со старыми привычками, порожденными, вероятно, старыми потребностями, которые уже отжили свое время. В мое время считалось, что дело женщины не только рожать детей, но и растить, лелеять, отдавать им всю себя, воспитывать их. В мое время ребенок был обязан матери всем, что было самого существенного в его умственном и нравственном воспитании. Или он совсем не получал воспитания. Правда, тогда было много детей, которые росли без всякого присмотра. Теперь же, очевидно, нет больше надобности в материнском уходе: детей выращивают, как личинки. Все это прекрасно, но зато прежде был идеал — образ серьезной, терпеливой женщины с ясной душой, кроткой

царицы домашнего очага, матери, творящей людей. Любовь к матери была своего рода религией...

Он опять помолчал и повторил задумчиво:

— Да, религией.

— С изменением потребностей меняются идеалы, — заметил маленький японец.

Ему пришлось повторить свои слова, потому что Грехэм их не слышал.

— Вы правы, — сказал он, когда очнулся от своего минутного забытья и вернулся к действительности. — Что существует, то разумно, я и сам понимаю. Воздержание, самоограничение, вдумчивость, самоотвержение были нужны в эпоху варварства, когда жизнь была полна опасностями. Аскетизм — дань человека непобежденной природе. Но ныне человек покорил природу во всех практических веществе. Общественные дела вершатся мастерами вроде Острога с их черной полицией, и люди наслаждаются жизнью...

Он снова посмотрел на танцующих.

— Наслаждаются от души.

— Бывают и у них тяжелые минуты, — проговорил Асано.

— Все они здесь выглядят молодыми. Я был бы самым старым между этими людьми. А в мое время я считался человеком средних лет.

— Да, здесь все молодежь. В наших городах мало стариков среди этого класса.

— Как так?

— Жизнь старика в наше время не слишком приятна, если только он недостаточно богат, чтобы нанимать себе сиделок и любовниц. Поэтому у нас имеется особое учреждение, так называемое Эвфаназия...

— А, знаю, легкий переход к смерти.

— Да. Это последнее удовольствие в жизни, и очень дорогое. Компания Эвфаназии знает свое дело. Вы уплаци-

ваете определенную сумму вперед, затем отправляетесь в «Веселые Города» и возвращаетесь усталым, истощенным, живым мертвецом.

— Не скоро я пойму ваши порядки, — заметил после паузы Грехэм. — Но я вижу, что во всем этом есть логическая связь. Наша броня суровой добродетели, жестоких самоогорчений была необходимым оплотом против опасностей и шаткости жизни. Но уже и в наше время стоики и пуритане были вымирающим типом. В старину человек ограждал себя от страдания, теперь он ищет наслаждений. В этом вся разница. Цивилизация изгнала страдания и опасность для обеспеченных людей. А ведь у вас только обеспеченные идут в счет... Я проспал двести лет...

С минуту они стояли у парапета, любуясь запутанными фигурами танца. Картина была действительно очень красивая.

— Клянусь богом, — сказал вдруг Грехэм, — я предпочел бы быть солдатом и умирать от ран или замерзнуть в снегу, стоя на часах, чем быть одним из этих наруганных дураков.

— Может быть, замерзая в снегу, вы думали бы иначе, — заметил Асано.

— Я недостаточно цивилизован, и в этом все мое горе, — продолжал Грехэм, не слушая его. — Я первобытный дикарь, человек каменного века. А у этих людей уже заглох источник гнева, страха и негодования. Привычка, жажда жизни берут свое, и они чувствуют себя весело, легко и свободно. А меня это глубоко возмущает. Что делать, вам придется примириться с моими допотопными понятиями. Эти люди — привилегированные рабочие, говорите вы. И вот, пока они здесь пляшут, другие люди сражаются, умирают в Париже за спасение мира, чтобы они могли плясать.

Асано чуть-чуть улыбнулся.

— Ну, уж коли на то пошло, так и в Лондоне люди умирают.

Грехэм ничего не ответил.

— А где спят все эти люди? — спросил он после минутной паузы.

— Выше и ниже этого зала все этажи заняты спальнями, — сказал Асано.

— Значит, тут они и живут? А работают где?

— Сегодня вы едва ли застанете кого-нибудь на работе. Половина рабочих или шатается по улицам, или стоит под ружьем. А остальные празднуют. Но если вы хотите, мы обойдем те места, где происходят работы.

Грехэм постоял еще немного, следя за танцующими, потом вдруг отвернулся.

— Довольно с меня, я хочу видеть рабочих, — сказал он.

Асано повел его вдоль галереи, пересекавшей зал. Вскоре они дошли до поперечного прохода, откуда тянуло свежим воздухом. Асано взглянул в ту сторону, проходя, потом вдруг повернул назад и, улыбаясь, обратился к Грехэму:

— Государь, здесь есть кое-что вам знакомое... и все-таки... Но нет, я вам не скажу. Идемте!

И он пошел вперед по крытому проходу. Грехэму сразу стало холодно. По изменившемуся звуку шагов он догадался, что они идут по крытому мосту. Спустя минуту они вышли в круглую галерею, забранную стеклами для защиты от наружного воздуха и огибавшую кольцом большую круглую комнату, которая показалась ему знакомой, хоть он и не мог припомнить в точности, бывал ли он тут раньше и когда. В этой комнате стояла приставная лестница — первая, которую он видел после своего пробуждения. Они поднялись по ней и очутились в холодном, темном помещении, где увидели другую такую же лестницу, стоящую почти вертикально. Грехэм все еще не понимал, что это было за место. Но когда они поднялись



наверх по второй лестнице, он догадался, где они: он увидел металлическую решетку, за которую держались его пальцы. Он был на куполе собора св. Павла.

Собор лишь немногим возвышался над общею площадью городских крыш, уходя верхушкой в тихий сумрак ночи. Округлые очертания купола, отливавшие жирным блеском под светом далеких огней, покато спускались и исчезали в зияющей внизу темноте.

Он взглянул вверх, на безоблачное небо: звезды сияли по-прежнему. На западе виднелась Капелла, вставала Вега, а прямо над ним, свершая свой путь вокруг полюса, торжественно плыли семь ярких звезд Большой Медведицы.

Все эти созвездия были ясно видны, ибо с этой стороны ничто не застилало неба. Но на востоке и на юге гигантские круглые тени вертящихся колес ветряных двигателей совершенно закрывали вид: за ними не видно было даже ослепительного света огней вокруг рагуши. На юго-западе, над заревом, отсвечивавшим в небе от осветительных шаров, висел Орион и, как бледный призрак, выглядывал из-за тонкого переплета железных скреплений. Со стороны одной из летательных станций доносился вой сирены, возвещавшей о том, что аэроплан готовится к отлету.

С минуту Грехэм молча смотрел на огни летательной станции, потом взгляд его снова обратился к звездам. Он долго молчал и, наконец, сказал, улыбаясь в темноте:

— Как странно, что я опять стою на куполе святого Павла и опять вижу эти знакомые тихие звезды... Положительно, это самое странное из всего.

Затем Асано повел его дальше. После бесконечных поворотов длинного перехода они пришли в торговые кварталы, где происходила, между прочим, крупная биржевая игра и где в какой-нибудь час

наживались и терялись состояния. Перед Грехэмом открылась нескончаемая анфилада высоких залов с нагроможденными один над другим рядами галерей, на которые выходили тысячи контор, с запутанной сетью пешеходных мостиков, воздушных рельсовых путей, трапещей и кабелей. Сильнее чем где-либо бился здесь пульс интенсивной жизни, торопливой работы, не поддающейся никакому учету. Повсюду лезли в глаза назойливые рекламы. Мутилось в голове от этой пестроты красок и огней. Бесчисленные говорильные машины наполняли воздух резкими выкриками на идиотском жаргоне: «Разуйте глаза и не зевайте!», «Валите сюда, дурачье, и хватайте!»

Вся анфилада залов и галерей была переполнена народом, и все эти люди были или поглощены темными гешефтами, или охвачены горячкой игры — так, по крайней мере, казалось Грехэму.

С большим удивлением он узнал, что за последние дни в этих кварталах было сравнительно безлюдно, так как недавний политический переворот сократил до небывалого минимума количество коммерческих сделок. Один огромный зал был весь занят столами с рулеткой, и вокруг каждого стола стояла возбужденная, потерявшая человеческий образ толпа игроков. В другом зале был настоящий содом: женщины и мужчины, с перекошенными бледными лицами, с надувшимися от напряжения красными шеями, визжали и ревели во всю глотку, продавая акции какого-то абсолютно фиктивного предприятия, выдававшего каждые пять минут дивидент в десять процентов и погашавшего в то же время некоторую часть своих акций при помощи лотерейного колеса.

Во все эти дела и делишки вкладывалось столько энергии, что, казалось, вот-вот начнется общая свалка. Пройдя несколько шагов, Грехэм увидел густую

толпу и посредине ее двух почтенных коммерсантов, которые ругались, как извозчики, и уже готовы были вцепиться друг в друга, поспорив из-за какого-то щекотливого пункта коммерческой этики. Очевидно, в жизни еще оставалось кое-что, из-за чего стоило драться. По-дальше он наткнулся на крикливое объявление, горевшее кроваво-красным пламенем огромных букв, в два раза больше человеческого роста: «ГАРАНТИРУЮТ ХОЗЯИНА».

— Какого хозяина? — спросил он.

— Вас.

— В чем же меня гарантируют? Не понимаю.

— Разве в ваше время не было гарантий?

Грехэм подумал.

— Может быть, вы хотите сказать — страхования?

— Ну да, гарантия, страхование... это одно и то же. Так это называлось в старину, теперь припоминаю. Страхуется ваша жизнь. Полисы раскупаются дозами народа, на вас ставят мириады львов. Это та же игра. Играют и на других — на всех известных людей. Смотрите!

Толпа шарахнулась вперед, заревела, и Грехэм увидел, что большой черный экран загорелся новой кроваво-красной надписью еще больших размеров: «Годовая рента на хозяина — х 5 пр. Г». Общий рев еще усилился. Несколько человек, запыхавшиеся, с дико выпученными глазами, простирая вперед жадные руки, ловя воздух хищно скрюченными пальцами пробежали мимо. У тесного входа началась неистовая давка.

Асано наскоро сделал подсчет.

— Семнадцать процентов в год с гарантируемой суммы. Не дали бы они так много, государь, если б увидели вас в эту минуту. Но они не знают. Прежде страхование вашей жизни было верным помещением капитала, но теперь, разуме-

ется, это не что иное, как азартная игра. Эта последняя ставка — безнадежное дело. Сомневаюсь, чтобы спекулирующие выручили свои деньги.

Толпа, прибывавшая с каждой минутой, так крепко стиснула их, что они не могли податься ни вперед, ни назад. В числе спекулирующих Грехэм заметил очень много женщин и вспомнил то, что говорил ему Асано об экономической независимости прекрасного пола в двадцать втором столетии. Современные дамы ничуть не терялись в толпе и отлично умели постоять за себя, очень ловко работая локтями, в чем ему пришлось убедиться на собственных боках. Одна интересная особа с кудряшками на лбу, затертая в давке, в двух шагах от него, сперва все поглядывала на него очень внимательно (он даже подумал, уж не узнала ли она его), потом протиснулась ближе, толкнула его плечом — едва ли случайно — и взглядом, древним, как мир, дала ему понять, что он заслужил ее благосклонность. Их скоро разлучил, став между ними клином, почтенный седобородый старец, очень высокий и худой. В своем благородном стремлении к самопомощи, вспотевший, как мышь, от доблестных усилий, он продвинулся вперед, слепой ко всему земному, кроме сверкавшей перед ним приманки «х 5 пр. Г».

— Я не хочу больше этого видеть, — сказал Грехэм Асано. — Не затем я вышел на улицы. Покажите мне рабочий народ. Я хочу видеть людей в синей холстине. А эти сумасшедшие паразиты...

Но тут его сдавило напором толпы.

## Глава XXI

### ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Из делового квартала они направились в отдаленную часть города, где было сосредоточено производство. До-

рогой они дважды пересекли Темзу и прошли через широкий виадук, идущий поперек одной из больших дорог, ведущих в город с севера. Впечатление в обоих случаях получилось беглое, но яркое. Река представляла широкую, блестящую, покрытую рябью полосу черной воды, протекающую под арками зданий и исчезающую в темноте, где мерцали блестящие отраженных огней. Ряд темных барок, управляемых людьми в синих блузах, двигался по направлению к морю. Дорога представляла длинный, очень широкий и высокий тоннель, вдоль которого бесшумно и быстро двигались громадные колеса машин. И здесь тоже в изобилии виднелись синие мундиры Рабочего Общества. Грехэма больше всего поразила плавность движения двойных платформ и величина и легкость огромных пневматических колес сравнительно с размерами вагонов, которые они приводили в движение. Его внимание почему-то особенно приковал к себе очень узкий и высокий вагон с продольными металлическими перекладинами, на которых были подвешены сотни свежих бараньих туш. Край арки внезапно заслонил перед его глазами дальнейшую картину.

Однако они скоро покинули движущуюся платформу и спутались на лифте в наклонный проход. Они дошли таким образом до другого лифта, на котором опять спустились, и тут картина изменилась. Даже намек на какие бы то ни было архитектурные орнаменты исчез здесь совершенно; огней стало меньше, и они были тусклее, а здания по мере углубления в фабричные кварталы становились все массивнее по отношению к занимаемому ими пространству. И всюду — в пыльном воздухе гончарных мастерских, среди колес машины, размалывающей полевой шпат, около горнов в металлических мастерских и среди озер пылающего, необработанного идамита — вид-

нелись синие блузы мужчин, женщин и детей.

Многие из этих огромных, пыльных галерей, ведущих в машинные отделения, были пусты и безмолвны. Виднелся бесконечный ряд потухших горнов, указывавший на революционную приостановку работ. Но всюду, где работы еще производились, они исполнялись медленно и вяло рабочими, одетыми в синие холщовые блузы. Единственные люди, не одетые в синий холст, были надсмотрщики и рабочая полиция в оранжевых мундирах.

Под свежим впечатлением раскрасневшихся лиц в танцевальных залах и деятельной энергии делового квартала Грехэм невольно обратил теперь внимание на утомленные глаза, впалые щеки и слабые мускулы большинства рабочих новой эпохи. Те, которых он видел здесь, на работе, были явно ниже в физическом отношении нескольких старших надсмотрщиков и надсмотрщиц, одетых в светлые цвета и руководивших работами. Дюжие работники времен королевы Виктории отошли в прошлое вслед за ломовыми лошадьми и тому подобными производителями силы и совершенно исчезли. Их драгоценные мускулы заменились остроумными машинами. Рабочий позднейших времен, как мужчина, так и женщина, главным образом представлял собою разум машины и был ее кормильцем, слугой и помощником или даже артистом, действующим, впрочем, всегда под чужим руководством.

Женщины в сравнении с теми, которые сохранились в памяти Грехэма, отличались, как на подбор, невзрачностью и плоскогрудостью. Двести лет эмансипации от всех нравственных стеснений, налагаемых пуританской религией, двести лет городской жизни сделали свое дело и уничтожили женскую красоту и силу этой бесчисленной толпы работниц в си-

них холщовых блузах. Красота и ум, привлекательность и исключительность всегда прокладывали дорогу к освобождению от грязной работы и открывали доступ в «Веселые Города» с их наслаждениями и великолепием и далее — к Эвфании и покою. Вряд ли можно было ожидать, чтобы эти люди, получающие такую скудную умственную пищу, могли устоять против подобных искушений. Во время прежней жизни Грехэма новые, накапливающиеся в молодых, развивающихся городах рабочие массы представляли собою разнообразную толпу, подчиняющуюся традициям личной чести и высшей нравственности. Теперь же они дифференцировались в отдельный класс, имевший свои физические и нравственные особенности и даже свой собственный диалект.

Они спускались все ниже по направлению к фабричным кварталам. Скоро они очутились под одной из подвижных улиц и увидели ее платформы, двигавшиеся по рельсам прямо над их головами, и полосы белого света, пробивавшиеся сквозь щели между ее поперечными перекладинами. Те фабрики, где работы не производились, были скудно освещены. Грехэму казалось, что они погружались в темноту вместе со своими гигантскими машинами. Впрочем, и там, где работы не прекращались, освещение все же было довольно скудное по сравнению с городскими улицами.

По ту сторону огненных озер расплавленного идамита находились заповедные мастерские ювелиров. Грехэм лишь с затруднением и только при помощи своей подписи был допущен в эти галереи, высокие, темные и скорее даже прохладные. В первой из них несколько человек были заняты выделкою золотых филигранных украшений. Каждый из этих рабочих сидел отдельно, на маленькой скамейке, возле маленькой лампы под абажуром. Стран-

ное впечатление производил длинный ряд этих светлых пятен вдоль темной галереи. Ярко освещенные, проворные пальцы, быстро перебирающие желтые блестящие полоски металла и напряженные, внимательные лица, склонившиеся над работой, казались призрачными видениями, вынырнувшими из окружающей темноты.

Работа исполнялась превосходно. Однако не было ни малейшего намека на самостоятельность и изобретательность. Большей частью выделялись разные причудливые орнаменты или же исполнялись сложные геометрические фигуры. Рабочие тут носили особую белую форму, без всяких карманов и рукавов. Они надевали ее, когда приходили на работу, а вечером, перед уходом, снимали ее и подвергались осмотру, прежде чем оставляли владения Компании. Однако полисмен рабочей компании сказал вполголоса Грехэму, что, несмотря на все эти предосторожности, Компанию все же нередко обкрадывают.

В следующей галерее женщины градили и оправляли пластинки искусственного рубина. Рядом с этой галереей мужчины и женщины были заняты выделыванием медной сети, служащей основой для рубиновых пластинок. У многих из этих рабочих губы и ноздри были синевато-белого цвета, что было результатом особой болезни, развившейся под влиянием работы с пурпуровой эмалью, которая была тогда в большой моде.

Асано старался оправдываться перед Грехэмом в том, что повел его такой дорогой, где вид испорченных лиц мог произвести на него неприятное впечатление. Но эта дорога была удобнее.

— Это как раз то, что я хотел видеть, — сказал Грехэм, стараясь не показать своего ужаса при виде особенно обезображенного лица, внезапно очутившегося перед ним.



— Она могла бы быть осторожнее и не так обезобразить себя, — заметил Асано.

Грехэм возмутился.

— Но сэр, — возразил Асано, — без пурпура мы не можем приготовить этих вещей. В ваши дни люди могли выносить грубые изделия, но ведь они были ближе к варварству на целых двести лет!

Они продолжали идти вдоль одной из самых нижних галерей фабрики изделий из рубина и пришли к маленькому мосту, образующему род свода. Взглянув через перила вниз, Грехэм увидел пристань под такими огромными арками, каких еще он никогда не видел. Три баржи, наполовину скрытые в облаках белой мучнистой пыли, выгружали при помощи целой толпы кашляющих людей свой груз размоленного полевого шпата. Каждый рабочий двигал маленькую тележку. Пыль наполняла все пространство, образуя удушливый туман, придававший желтый оттенок электрическому свету. Жестикующие тени рабочих то появлялись, то исчезали на длинной белой известковой стене. То и дело какой-нибудь из них останавливался и начинал кашлять.

Туманная масса громадных каменных сооружений, поднимавшихся над чернильными водами реки, напомнила Грехэму о множестве дорог, галерей и лифтов, которые, поднимаясь этажами над его головой, отделяли его от поверхности земли. Люди работали молча, под наблюдением двух полисменов рабочей полиции, и только шаги их производили глухой звук, когда они ступали по плитам.

В то время как Грехэм наблюдал эти сцены, в темноте раздался чей-то голос, начавший петь.

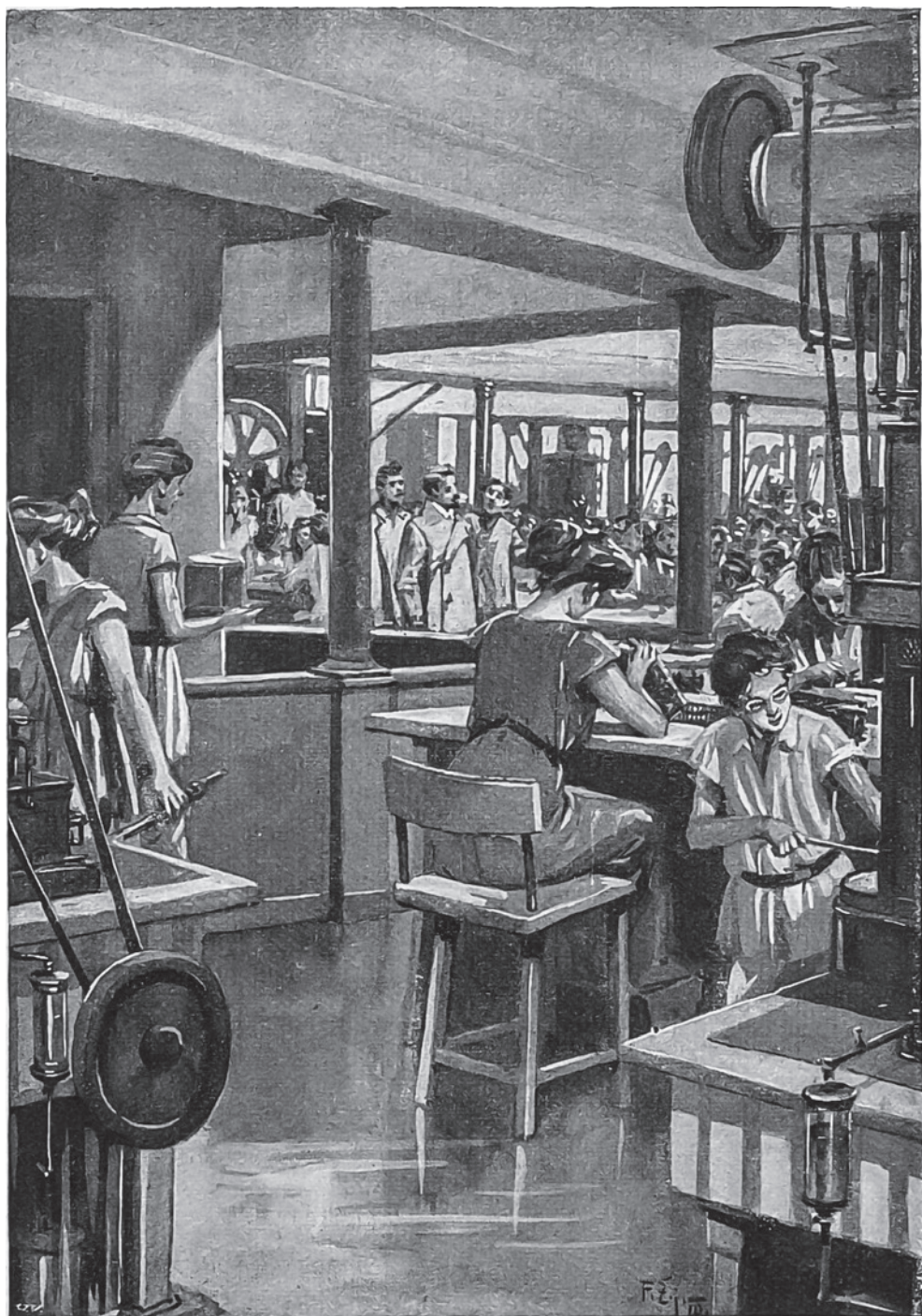
— Молчать! — крикнул полицейский, но его приказание не было исполнено. Сначала один, а потом и все покры-

тые белой пылью рабочие, вызывающе подхватили припев Песни Восстания. Шаги рабочих, ступающих по плитам, отбивали такт этой песни: «трамп! трамп! трамп!» Полицейский, отдавший приказание, взглянул на своего товарища, и Грехэм увидел, что тот пожал плечами. Он больше не делал попыток прекратить пение.

Так ходили они по фабрикам и местам, где трудился народ, и видели много тяжелых и прискорбных вещей.

Эта прогулка оставила в уме Грехэма вереницу смутных и постоянно меняющихся картин. Он видел громадные залы, битком набитые целыми толпами людей, гигантские своды, исчезающие в облаках пыли, сложные машины, длинные ряды ткацких станков с бегущими нитями, слышал тяжелые удары дробильных машин, грохот и скрип ремней и машинных приборов, видел плохо освещенные подземные боковые отделения для спальных мест и бесконечный ряд тусклых огней. В одном месте он ощутил запах дубильной кожи, в другом — запах пивоварни, в третьем — испарения, не поддающиеся никакому определению. И везде он видел столбы и арки такой массивной постройки, каких он никогда не видал доселе. Это были кирпичные титаны, на которые опиралась громадная тяжесть этого сложного мирового города, давящего своею сложностью миллионы живущих в нем анемичных людей. И потому он видел бледные лица, тощие, изможденные члены, уродство и вырождение.

Три раза Грехэм слышал Песню Восстания во время своего долгого и неприятного странствования по этим местам. В конце одного прохода он увидел беспорядочную свалку. Это были крепостные рабочие, захватившие свой хлеб раньше окончания работ. Поднимаясь по направлению к улицам, Грехэм увидал де-



*В следующей галерее женщины гранили и отправляли  
пластинки искусственного рубина (к с. 375).*

тей в синих блузах, бегущих в поперечный проход, и тотчас же понял причину их паники, так как увидал отряд рабочей полиции, вооруженной дубинками и направляющейся скорым шагом в ту сторону, где произошли какие-то беспорядки. Вдали где-то начиналась смута, но большинство из этих оставшихся рабочих продолжало работать, работать без всякой надежды. Все то воодушевление, которое еще сохранилось у этого падшего человечества, сосредоточилось в эту ночь наверху, на улицах, где раздавались громкие крики, звавшие повелителя, и где люди шумно и мужественно хватались за оружие.

Грехэм и его спутник снова очутились на движущейся платформе, ослепленные ярким светом центрального прохода. Они скоро различили отдаленный лязг и визг машин одного из отделов службы всеобщих известий. Но вдруг показались бегущие люди, и вдоль платформы и на улицах послышались крики и возгласы. Пробежала женщина, на побледневшем лице которой выражался безмолвный ужас. Другая бежала за ней, задыхаясь и пронзительно крича.

— Что такое случилось? — спросил с недоумением Грехэм, так как он не мог понять их жаргона. Только когда он услышал настоящую английскую речь, он понял, в чем дело, и узнал, что кричали все эти люди, пробегая мимо, что заставляло женщин визжать от страха и что внезапно разнеслось по всему городу, как первые предвестники надвигающейся грозы, вселяя повсюду ужас и вызывая содрогание.

— Острог вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция идет сюда из Южной Африки! Черная полиция!.. Черная полиция...

Лицо Асано побледнело, и на нем выразилось удивление. Он с минуту ко-

лебался, затем взглянул на Грехэма и рассказал ему то, что сам уже знал раньше.

— Но как они узнали об этом? — спрашивал он себя с изумлением.

Грехэм услышал, как кто-то крикнул:

— Прекратите всякую работу! Прекратите всякую работу!

Какой-то смуглый горбун, смешно и пестро одетый в зеленое с золотом, вскопчил вприпрыжку на движущуюся платформу, громко крича на хорошем английском языке:

— Это сделал Острог! Острог — негодяй! Повелитель обманут!..

Голос его хрипел, и тонкая струйка пены капала из его отвратительного кричащего рта. В его криках слышался невыразимый ужас, вызванный действиями черной полиции в Париже. Он удалился, продолжая выкрикивать: «Острог — негодяй!»

На мгновение Грехэм остановился, так как ему снова пришло в голову, что это сон. Он взглянул на громады высоких зданий по обеим сторонам пути, исчезающих в голубоватом тумане поверх фонарей, посмотрел вниз на жужжащие ярусы движущихся платформ, на бегущих, кричащих и жестикулирующих людей...

— Повелитель обманут!.. Повелитель обманут!..

И вдруг он понял действительное положение вещей. Его сердце забилося сильнее.

— Настало, — сказал он. — Я должен был бы знать это! Час настал!..

Он поспешно прибавил:

— Что же мне делать?

— Вернитесь назад, в Дом Совета, — сказал Асано.

— Но отчего бы мне не обратиться?.. Ведь народ находится здесь!

— Вы только потеряете время. Они будут сомневаться, не поверят, что это вы. Но они непременно соберутся около





— Острог вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция идет сюда из Южной Африки! (к с. 378).

Дома Совета. Там вы найдете их вождей. Ваша сила там, с ними!

— Быть может, это только слух?

— Но это похоже на правду, — возразил Асано.

— Подождем фактов!

Асано пожал плечами.

— Лучше идти к Дому Совета! — закричал он. — Именно туда они все направляются. Пожалуй, уже теперь нельзя пройти через развалины.

Грехэм нерешительно взглянул на него, но все же последовал за ним.

Они поднялись на верхнюю быстходную платформу, и там Асано заговорил с одним рабочим, который отвечал ему на простонародном жаргоне.

— Что он говорит? — спросил Грехэм.

— Он знает очень мало. Впрочем, он сказал, что черная полиция явилась бы сюда раньше, чем кому-нибудь это стало известно, если б кто-то в Управлении ветряных двигателей не проведал про это и не разгласил этого. Он говорит, что это была девушка...

— Девушка?



— Он так сказал. Но он не знает, кто она такая. Она вышла из Дома Совета, громко крича, и рассказала об этом людям, работавшим в развалинах.

Снова раздался крик, давший определенное направление беспорядочному народному движению. Этот крик пронесся, точно ветер, вдоль улиц.

— Все по местам! Все по местам! Каждый человек получает оружие! Каждый пусть идет на свое место!

## Глава XXII БОРЬБА В ДОМЕ СОВЕТА

Асано и Грехэм направились к развалинам около Дома Совета, повсюду встречая возбужденную толпу. Волнение все возрастало. «Все по местам! Все по местам!» — поминутно раздавались крики. Мужчины и женщины, бросив свою подземную работу, бежали к лестницам подземного прохода. В одном месте Грехэм увидел арсенал революционного комитета, осажденный толпой кричащих людей. В другом несколько человек, одетых в ненавистную оранжевую форму рабочей полиции, спасаясь от преследующей толпы, перескочили на быстроходную платформу, движущуюся в противоположном направлении.

По мере того как Грехэм и его спутник приближались к правительственным зданиям, призыв «По местам!» превратился в один общий несмолкаемый крик. Что кричали отдельные люди, разобрать было нельзя.

— Острог обманул нас! — рычал какой-то человек охрипшим голосом, и эта фраза, повторяемая несколько раз над самым ухом Грехэма, оглушала и преследовала его. Этот человек стоял рядом с ним на быстроходной платформе и кричал что-то тем, которые толпились на нижних платформах. Его крик относительно

Острога сменялся по временам какими-то непонятными приказаниями, которые он отдавал. Но вскоре он спрыгнул вниз и исчез.

В ушах Грехэма продолжал звучать этот крик. У него не было никакого определенного плана, и он не знал, как поступить. Он думал о том, чтобы обратиться к толпе с какого-нибудь возвышения и чтобы встретиться в Острогом лицом к лицу. В душе его закипало бешенство. Он чувствовал сильнейшее возбуждение, мускулы у него были напряжены и руки невольно сжимались.

Путь к Дому Совета через развалины был уже непроходим, но Асано обошел это затруднение и провел Грехэма через центральное почтовое управление. Оно номинально продолжало работать, но почтальоны в синей одежде лениво передвигались, постоянно останавливаясь под арками галереи, чтобы посмотреть на бегущих мимо и кричащих людей. «Пусть каждый отправляется на свое место!.. Каждый должен быть на своем месте!..» Здесь Грехэм, по совету Асано, открыл, кто он такой.

Они переправились в Дом Совета в кабине, движущейся по канату. В короткий промежуток времени после капитуляции советников произошли большие перемены в наружном виде развалин. Каскады морской воды, низвергавшиеся с шумом из разорванных труб, были прекращены, и громадные временные трубы были проложены вверх над головами, поддерживаемые рядами непрочных на вид балок. Небо снова заслонила сеть восстановленных кабелей и проволок, обслуживавших Дом Совета. А слева от белого здания выдавалась масса подъемных кранов и строительных машин, которые двигались взад и вперед.

Подвижные пути, проходящие через эту область, были тоже восстановлены, хотя они теперь еще двигались под от-

крытым небом. Это были те самые пути, которые Грехэм видел с маленького балкона в тот час, когда проснулся, девять дней тому назад. В некотором отдалении отсюда находился раньше зал, где он лежал в спячке: теперь на этом месте была лишь груда бесформенных каменных обломков.

Был уже день, и солнце ярко светило на небе. Быстроходные платформы, появляясь из освещенных голубым электрическим светом подземных проходов, были наполнены людьми, которые все более и более густой толпой собирались над обломками и хаосом развалин. Воздух был наполнен их криками, и все устремлялись и теснились к центральному зданию. Грехэм заметил, что среди этой толпы существовало стремление установить нечто вроде грубой дисциплины, но большинство все же представляло бесформенную массу. И повсюду раздавались голоса, взывавшие к порядку: «Все на свои места! На свои места!»

Кабель доставил их в зал, в котором Грехэм тотчас же узнал преддверие зала Атласа, находившегося над галереей, по которой он проходил с Говардом через час после своего пробуждения, чтобы показаться Совету, который теперь исчез. Но тут было пусто, и только два служителя при кабеле еще оставались на своих местах. Они, по-видимому, были чрезвычайно удивлены, узнав в человеке, соскочившем вниз, Спящего, который тотчас же спросил их:

— Где Острог? Я должен немедленно видеть Острога! Он ослушался меня. Я вернулся, чтобы взять власть из его рук...

Не дожидаясь Асано, Грехэм поднялся по ступеням на дальнем конце зала и, отвернув занавес, очутился перед лицом вечно работающего Титана.

Зал был пуст. Его внешность, однако, сильно изменилась после того,

как он его видел в первый раз. Она довольно-таки сильно пострадала от первого революционного взрыва. С правой стороны огромной статуи верхняя часть стены была разрушена на протяжении двухсот футов, и пролом был заткнут такой же стекловидной перепонкой, какая окружала Грехэма, когда он проснулся. Это до некоторой степени заглушало гул толпы, доносившийся снаружи. «По местам!.. По местам!.. По местам!..» — все еще кричали там. Сквозь эту перепонку просвечивали балки и подпорки железных подмостков, которые то поднимались, то опускались, управляемые целой толпой рабочих. На зеленоватом фоне этой картины виднелась строительная машина, неподвижно простиравшая теперь свои огромные рычаги, выкрашенные в красный цвет, точно тонкие металлические руки, которые служили для того, чтобы брать глыбы пластического минерального теста и аккуратно прилаживать их, придавая им нужную форму и положение. Около машины стояли рабочие и смотрели на гудящую внизу толпу.

Грехэм на минуту остановился, смотря на эту картину, и Асано догнал его.

— Острог находится там, в маленьких комнатах правления, — сказал он.

Асано был мертвенно бледен и всматривался в лицо Грехэма.

Они не прошли и десяти шагов, как с левой стороны Атласа поднялась вверх узкая панель в стене, и оттуда вышел Острог в сопровождении Линкольна и двух одетых в черные и желтые цвета негров. Он прошел через зал по направлению к другой панели, которая тоже раскрылась перед ним.

— Острог! — крикнул Грехэм, и при звуках его голоса маленькая группа с удивлением повернулась.

Острог что-то сказал Линкольну, и один подошел к Грехэму. Грехэм загово-

рил, и голос его звучал повелительно и громко.

— Что это я слышу? — спросил он, — Вы призываете сюда негров, чтобы удержать в повиновении народ?..

— Давно пора! — отвечал Острог. — Они все больше и больше отбиваются от рук после восстания. Я слишком легко отнесся...

— Не хотите ли вы сказать, что эти проклятые негры находятся уже в дороге?

— Да. Но ведь вы же видели, что делается там, снаружи?

— Ничего удивительного! Но после всего, о чем вы говорили... Вы слишком много берете на себя, Острог!

Острог ничего не ответил, но подошел ближе.

— Эти негры не должны являться в Лондон. Я повелитель здесь, и они не должны приезжать сюда!

Острог взглянул на Линкольна, который тотчас же приблизился к нему вместе со своими двумя служителями.

— Отчего же нет? — спросил Острог.

— Белые люди должны управляться только белыми. Притом же...

— Но негры здесь только орудие!..

— Это не имеет отношения к делу. Я тут повелитель и хочу им оставаться! Говорю вам: негры не должны быть здесь!

— Народ...

— Я верю в народ!

— Потому что вы сами анахронизм — вы человек прошлого, случайность! Вы, быть может, владеете половиной собственности всего мира, но повелителем его вы не можете быть. Вы слишком мало знаете для этого!

Острог снова взглянул на Линкольна и прибавил:

— Я знаю теперь, что вы думаете, и догадываюсь о том, что вы намерены делать. Но и теперь еще не поздно предостеречь вас. Вы мечтаете о человеческом

равенстве, о социалистическом порядке! В вашем уме сохранились в полной силе эти обветшалые мечты девятнадцатого века. И вы хотите управлять этим веком, которого вы не понимаете!

— Прислушайтесь! — сказал Грехэм, — Вы слышите этот звук? Точно бушующее море! Тут нет отдельных голосов, а есть только единый голос! Понимаете ли вы сами это?

— Мы научили их этому...

— Может быть. Однако можете ли вы научить их теперь забыть это? Но довольно разговоров. Негры не должны быть здесь!

Острог взглянул ему в глаза.

— Они будут!

— Я запрещаю! — сказал Грехэм.

— Они уже отправились...

— Я не хочу этого!

— Нет! — возразил Острог, — Как мне ни грустно следовать методу Совета... Ради вашего блага вы не должны становиться на сторону... беспорядка. А теперь, когда вы здесь... Вы очень хорошо сделали, что пришли сюда!..

Линкольн подошел и положил свою руку на плечо Грехэма. Внезапно Грехэм понял, какую громадную ошибку он сделал, придя к Дому Совета. Он повернулся к занавеси, отделявшей прихожую от зала, но цепкая рука Асано помешала ему. В следующую минуту Линкольн схватил Грехэма за платье.

Грехэм повернулся и ударил Линкольна по лицу, но тотчас же негр схватил его за ворот и рукав. Грехэм вырвался, разорвав с треском рукав, и отскочил назад, но его сшиб с ног другой служитель. Он тяжело упал на землю и несколько мгновений лежал, глядя на высокий потолок зала...

Потом он вскрикнул и, ворочаясь, старался вскочить. Он схватил одного из служителей за ногу и бросил его головой вниз. Линкольн подбежал к нему, но тот-

час же тяжело упал, сраженный ударом в челюсть, и остался недвижим.

Поднявшись, Грехэм сделал два шага шатаясь. Но Острог схватил его за горло и повалил навзничь. Руки его были прижаты к земле. После нескольких отчаянных усилий освободиться Грехэм вдруг прекратил борьбу. Он лежал и смотрел на тяжело дышащего Острога.

— Вы... пленник!.. — проговорил, задыхаясь и торжествуя, Острог. — Вы... были безумцем... возвратившись назад!

Грехэм повернул голову и заметил сквозь неправильное зеленоватое окно в стенах зала, что люди, работавшие с подъемными кранами, с жаром жестикулируют, сообщая что-то толпе, находящейся внизу. Они видели!..

Острог заметил, куда он смотрит, и тоже повернулся. Он крикнул что-то Линкольну, но Линкольн не двигался. Пуля ударилась в лепные украшения над Атласом. Две полосы прозрачного вещества, прикрывавшие щель, разлетелись, края образовавшейся трещины потемнели, свернулись и быстро отодвинулись в сторону. В одно мгновение комната Совета оказалась открытой и струя холодного ветра проникла через отверстие, принося с собой гул голосов снаружи, из развалин, точно таинственный шепот каких-то духов.

— Спасите повелителя!.. Что они делают с ним? Его предали.

Грехэм заметил, что внимание Острога чем-то отвлечено и нажим его рук несколько ослабел. Осторожно освободив свою руку, Грехэм поднялся на колени и в следующее мгновение повалил Острога на спину, стоя на одном колене и держа его за горло, в то время как рука Острога вцепилась в его шелковый воротник.

Но к ним уже устремлялись люди с эстрад — люди, намерения которых были непонятны ему. Он увидел мель-

ком человека, бегущего по направлению к портьерам прихожей, и в тот же миг Острог разжал руки, а вновь прибывшие люди бросились на него и, к величайшему изумлению Грехэма, схватили его. Они повиновались крикам Острога.

Его протащили шагов двенадцать, пока он понял, наконец, что это не были друзья и что они тащили его к открытой панели. Когда он увидел это, то начал упираться, пробовал бросаться на землю и звал на помощь изо всех сил. И на этот раз он услышал ответные крики.

Руки, державшие его за шею, ослабели, и вдруг в нижнем углу пролома показалась сначала одна, а потом множество черных фигур, кричащих и размахивающих оружием. Они прыгали через отверстие в светлую галерею, которая вела в Комнаты Молчания. Они бежали по галерее и были так близко от него, что Грехэм мог различить ружья в их руках. Затем Острог что-то крикнул над самым его ухом людям, державшим его, и он должен был употребить все свои силы, чтобы не дать себя подтащить к отверстию, которое зияло перед ним.

— Они не могут сойти вниз! — кричал, задыхаясь, Острог. — Стрелять они не смеют! Все прекрасно! Мы и на этот раз уведем его от них!..

Грехэму казалось, что эта постыдная неравная борьба продолжалась довольно долго. Его платье было изодрано во многих местах, он был весь в пыли, и одна рука у него была отдавлена. Он слышал крики своих приверженцев и даже слышал выстрелы. Но он чувствовал, что силы его слабеют и что все его попытки бесцельны и бесполезны. Помощь не приходила, и зияющее темное отверстие неуклонно приближалось к нему...

Однако вдруг тиски рук, державших его, опять ослабели, и он с трудом поднялся с земли. Тут он увидел удаляющуюся от него седую голову Остро-



га и понял, что его уже никто не держит. Он повернулся и очутился лицом к лицу с человеком, одетым в черное. Одно из зеленых ружей щелкнуло как раз около него, прямо ему в лицо пахнула струя едкого дыма и мелькнул стальной клинок. Огромный зал закружился у него перед глазами...

Почти у самого его лица какой-то человек в бледно-голубом заколол кинжалом одного из черно-желтых слуг. Затем его снова схватили чьи-то руки...

Его тащили в две разные стороны. Ему казалось, что люди что-то кричат ему. Он хотел понять, но не мог. Кто-то обхватил его за ноги и поднял, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Но он внезапно понял, в чем дело, и перестал бороться. Его подняли на плечи и унесли прочь от зияющей дыры в панели, точно ожидавшей его, чтоб проглотить. Раздались радостные, ликующие крики...

Он видел теперь, что люди в синем и черном преследуют отступающих приверженцев Острога и стреляют им вслед. Он видел с высоты, на которой находился, все пространство зала около изображения Атласа и понял, что его несут к возвышенной эстраде, находящейся в центре. В дальнем конце зала собиралась толпа, и оттуда люди бежали к нему. Они смотрели на него и радостно кричали.

Он скоро заметил, что его окружал как бы отряд телохранителей. Какие-то люди около него выкрикивали приказания, и усатый человек, одетый в желтое, которого он видел раньше среди тех, кто приветствовал его в театре в день его пробуждения, тоже находился тут же и делал какие-то указания. Зал был уже густо наполнен волнующейся толпой, и маленькая металлическая галерея гнулась под тяжестью кричащих людей. Занавес в конце зала был сорван, и в передней тоже кишел народ.

Кругом был такой оглушительный шум, что человек, стоящий возле Грехэма, с трудом расслышал его вопрос:

— Куда девался Острог?

Человек, спрошенный им, указал ему, через головы толпы, на нижние панели зала, с противоположной стороны пролома. Эти панели были открыты, и вооруженные люди, одетые в синее с черными шарфами, вбегали туда и исчезали в комнатах и коридорах, находившихся за ними. Грехэму показалось, что к нему доносятся звуки выстрелов и происходящей там борьбы.

Его подняли и пронесли, описывая ломаную линию, через огромный зал к отверстию возле пролома. Он заметил, что окружающие его люди, соблюдая известную дисциплину, стараются удерживать толпу так чтобы около него всегда оставалось свободное пространство.

Вынесенный из зала, он увидел прямо перед собой неотделанную новую стену, упирающуюся, казалось, в голубое небо. Его поставили на ноги; кто-то взял его за руку и повел. Какой-то человек в желтом шел около него.

Его вели по узкой кирпичной лестнице, и рядом с ним возвышались выкрашенные в красную краску краны, рычаги и остальные части огромной строительной машины.

Когда он достиг вершины лестницы, его повели дальше по узенькому проходу с перилами, и тут внезапно перед ним открылся амфитеатр развалин, откуда раздавались крики:

— Повелитель с нами! Повелитель! Повелитель!

Грехэм заметил, что его более не окружают люди и что он стоит на маленькой временной платформе из белого металла, составлявшей часть лесов, окружавших главные постройки Дома Совета. Все громадное пространство развалин было покрыто волнующейся



— Вы... пленник!.. — проговорил, задыхаясь и торжествуя, Острог.  
— Вы... были безумцем... возвратившись назад! (к с. 383).

несметной кричащей толпой, и в разных местах уже развевались черные знамена революционных обществ, образующие нечто вроде центров, вокруг которых среди всеобщего невообразимого хаоса группировались люди. Отвесные лестницы, стены и леса, по которым его освободители добрались до отверстия в зале Атласа, теперь унизаны были народом, а на всех выступлениях и столбах повисли маленькие, энергичные черные фигурки, взбиравшиеся все выше и старавшиеся увлечь за собой остальную массу. Позади него, на самом возвышенном пункте лесов, группа людей пыталась укрепить как можно выше огромное черное знамя, которое развевалось и хлопало во все стороны. Через зияющее отверстие в стене перед собой он мог рассмотреть напряженно внимательную толпу, наполнявшую зал Атласа. К югу ясно и отчетливо виднелись отдаленные летательные станции, казавшиеся близкими вследствие необычайной прозрачности воздуха. Одинокий моноплан поднялся с центральной станции, быть может, навстречу прибывающим аэропланам...

— Что случилось с Острогом? — спросил Грехэм.

Задавая этот вопрос, он увидел, что все глаза обращены на верхушку крыши Дома Совета. Он тоже посмотрел в ту сторону, которая так привлекала всеобщее внимание. Сначала он ничего не видел, кроме зубчатого угла стены, резко выделяющегося на безоблачно синем небе. Затем мало-помалу он начал различать внутренность какой-то комнаты и с удивлением узнал зеленые и белые украшения своей прежней тюрьмы. Какая-то маленькая белая фигура, за которой следовали две другие, казавшиеся еще меньше и одетые в черное с желтым, быстро прошла через комнату и направилась к самому краю развалин.

Человек, стоявший около него, воскликнул:

— Острог!

Грехэм обернулся, чтобы спросить, но не успел, потому что раздалось испуганное восклицание другого человека, стоявшего возле него и указывавшего на что-то своим тощим пальцем. Грехэм посмотрел туда и увидел, что моноплан, только что перед этим поднявшийся с летательной станции, теперь несся прямо на них. Такой быстрый, плавный полет был для него новинкой и поэтому привлек его внимание.

Моноплан все приближался, быстро увеличиваясь в размерах. Проскользнув над отдаленным краем развалин, он очутился в поле зрения густой народной массы, столпившейся внизу. Он спустился, пересекая это пространство, и снова поднялся и пронесся над головами людей, затем взвился еще выше, чтобы обогнуть громаду Дома Совета. Он казался хрупким и прозрачным, и из-за его ребер виднелся одинокий аэронавт. Он исчез за линией развалин, темневшей на фоне небесного свода.

Внимание Грехэма сосредоточилось теперь на Остроге, который делал какие-то знаки руками. Его помощники торопливо разрушали около него стену. В следующий момент снова показался моноплан в виде далекой маленькой точки, которая теперь медленно приближалась, описывая дугу.

Вдруг человек в желтом крикнул:

— Что они делают? Чего народ смотрит? Зачем оставили там Острога? Почему его не взяли в плен? Ведь они поднимут его теперь. Моноплан унесет его! А!..

На его восклицание отвечали, словно эхо, громкие крики в развалинах. Треск зеленых ружей донесся через пропасть к Грехэм, и, взглянув вниз, он увидел множество людей в черно-желтых мундирах, бегущих по одной из галерей

с проломанной стеной, находящейся под тем выступом, на котором стоял Острог. Они стреляли на бегу в каких-то невидимых людей. Затем показались гнавшиеся за ними синие фигуры. Эти крошечные сражающиеся фигурки производили самое странное впечатление. Издали они казались какими-то маленькими игрушечными солдатыками. Необъятный вид дома, внутренность которого была раскрыта вследствие пролома стен, придавал этой битве, среди мебели и проходов, какой-то нереальный характер. Это происходило, быть может, за двести ярдов от него и приблизительно на высоте пятидесяти ярдов, над головами тех, кто находился в развалинах внизу.

Люди в черном с желтым вбежали на какую-то открытую арку и, обернувшись, дали залп, один из синих преследователей, бежавший впереди, у самого края пролома, как-то странно взмахнул руками и качнулся вбок. Грехэму показалось, что он повис над краем на несколько мгновений и затем свалился вниз. Грехэм видел, как он на лету стукнулся о выступающий угол, отскочил в сторону и, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, скрылся за красными рычагами строительной машины.

Какая-то тень на мгновение заслонила солнце. Грехэм взглянул вверх — небо было чисто. Он понял, что это промелькнул моноплан.

Острог исчез! Человек в желтом протиснулся вперед и, возбужденно жестикулируя, кричал:

— Они пристают! Они пристают! Скажите людям, чтоб они стреляли в него! Скажите им это!..

Грехэм ничего не понимал. Он только слышал громкие голоса, повторявшие эти загадочные приказания.

Вдруг из-за края развалин показался моноплан. Скользя над стеной, он подпрыгнул и сразу остановился. Грех-

эм тут понял, что моноплан пристал для того, чтобы дать Острогу возможность бежать на нем. В то же время он заметил голубоватый дым и сообразил, что люди внизу стреляют по выступающей части машины.

Какой-то человек возле него хрипло издал одобрительный возглас. Грехэм увидел, что синие достигли арки, которую защищали за несколько мгновений перед этим черножелтые, и, опрокинув их, непрерывным потоком ринулись в открытый проход.

И вдруг моноплан соскользнул с края стены и стал падать. Он падал под углом в 45 градусов и так круто, что Грехэму показалось, — да и всем другим точно так же, — что он уже не в состоянии будет подняться вверх.

Он пролетел так близко, что Грехэм мог разглядеть Острога, цепляющегося за поручни сиденья. Его седые волосы развевались. Аэронавт с мертвенно-бледным лицом налегал изо всей силы на рычаг двигательной машины. Он слышал, как ахнула в ожидании толпа внизу...

Грехэм схватился за перила и замер, напряженно всматриваясь. Минута казалась ему вечностью. Нижнее крыло опускавшегося моноплана чуть не задело людей внизу, кричавших и толкавших друг друга.

Затем он поднялся.

В первую минуту казалось, что он, во всяком случае, не в состоянии будет пролететь над стеной или что он заденет ветряные колеса, вращавшиеся вверх.

Но он преодолел все эти препятствия и поднялся. Он накренился на один бок, но улетал все дальше и дальше в синеве небес...

Напряженное ожидание разрешилось яростью, когда люди поняли, что Острог ушел от них. С запоздалой энергией они возобновили стрельбу, пока треск отдельных выстрелов не превра-



тился в сплошной гул и все пространство не заволокло синей мглой, а воздух пропитался едким дымом.

Слишком поздно! Моноплан, улетающая, становился все меньше и меньше и, наконец, описав дугу, плавно спустился к летательной станции, откуда он недавно поднялся.

Несколько мгновений продолжалось смутное гудение толпы в развалинах, а затем всеобщее внимание обратилось на Грехэма, стоявшего на самом верху, среди лесов. Он увидел, что лица всех обращены к нему, и услышал громкие радостные крики по поводу своего избавления. И вдруг раздалась Песнь Восстания, и она пронеслась, как дуновение бури над волнующимся морем людей...

Маленькая группа людей около него поздравляла его со спасением. Человек в желтом, стоявший рядом с ним, смотрел на него сияющими глазами. А звуки песни все росли и становились громче. «Трам! Трам! Трам!...»

Полное и ясное сознание того, что произошло, пришло к нему не сразу, но Грехэм, наконец, понял, что его положение быстро изменилось. Острог, всегда стоявший рядом с ним, когда бы он ни смотрел на кричащую толпу, теперь был далеко, стал его противником! Не было никого, кто бы мог управлять за него. Даже все эти люди, стоявшие около него, вожди и организаторы толпы, и те смотрели на него, ожидая, что он сделает, ожидая его поступков и приказаний. Он был настоящим королем теперь. Его прежнее игрушечное царствование пришло к концу.

Он был воодушевлен желанием сделать то, что ожидали от него. Его нервы, мускулы дрожали от напряжения. Он чувствовал, быть может, некоторое смущение, но ни страха, ни гнева у него не было. Только его придавленная рука распухла и горела.

Однако он был несколько смущен своим внешним видом. Он не чувствовал страха, но боялся, что может показаться испуганным.

В своей прежней жизни он не раз испытывал сильнейшее возбуждение во время разных игр, требующих ловкости. Теперь его охватила жажда немедленной деятельности. Он понимал, что не должен слишком вдумываться в подробности этой грандиозной по своей сложности борьбы, так как сознание ее необычайной запутанности могло бы парализовать его силы...

Там, вдали, синели четырехугольные очертания летательных станций, напоминая об Остроге. Он будет бороться с Острогом за будущее мира!

## Глава XXIII ГРЕХЭМ ГОВОРИТ СВОЕ СЛОВО

В течение некоторого времени повелитель земли не мог даже управлять своими собственными мыслями. Даже его воля не казалась ему больше его собственной волей, и его собственные поступки изумляли его, как будто и они были только частью странных переживаний, нахлынувших на него откуда-то со стороны. Но одно было совершенно ясно: аэропланы приближаются! Элен Уоттон оповестила об этом народ.

Ясно было также, что он — повелитель земли. Каждый из этих фактов как будто боролся с другими за исключительное обладание его мыслями. Они выступали перед ним везде: в залах, где кишел народ, в возвышенных проходах, в комнатах, где собирались вожди отдельных частей для совещания, в помещениях для телефона и кинематографа и в окнах, через которые он видел шумную толпу движущихся людей.

Трудно было сказать, увлекает ли его за собой человек в желтом и те, кого он считал вождями отдельных частей, или же они сами послушно следуют за ним? Вероятно, было и то и другое. Но, быть может, какая-то сила, невидимая и неподзреваемая, толкала их всех.

Он вдруг сообразил, что ему нужно обратиться с воззванием к народам земли и что в мозгу у него уже слагаются грандиозные фразы, выражающие его мысли, затем произошло много разных мелких событий, и вот он очутился рядом с человеком в желтом, и они вместе вошли в комнату, где должно было быть произнесено его воззвание.

Эта комната была причудливым воплощением современности, со всеми ее позднейшими приспособлениями. В центре виднелся яркий овал, образующий падавшим сверху электрическим светом. Все остальное было в тени, а двойные, плотно закрывающиеся двери, через которые вошел Грехэм из зала Атласа, обеспечивали здесь полную тишину. Глухой звук закрывающейся за ним двери, внезапное прекращение шума, среди которого он жил несколько долгих часов, трепещущий круг света, шепот и быстрые бесшумные движения слуг, едва различаемых в тени, — все это производило на Грехэма странное впечатление. Огромные уши фонографического механизма зияли в батарее, словно приготовляясь слушать его слова, а черные глаза огромной фотографической камеры ловили его движения. Дальше тускло блестя металлические прутья и катушки и что-то с жужжанием вертелось наверху. Он вошел в середину освещенного овала, и его тень съежилась и превратилась у его ног в маленькое и резкое черное пятно.

В его уме уже сложилось в смутных чертах все то, что он намеревался сказать. Но он не ожидал ни этой внезапной тишины, ни этого уединения, ни

полного отсутствия людей, заражавших его своим воодушевлением, ни такой безмолвной аудитории, какую представляли эти машины, слушающие и видящие. Он как будто сразу потерял всякую опору, и ему показалось, что он очутился здесь неожиданно для себя и теперь не знает, что делать. В нем сразу произошла перемена, и он почувствовал страх, что не справится со своей задачей. Он боялся показаться слишком театральным, боялся за свой голос, за свой ум, и, удивленный тем, что в нем происходило, он обернулся с умоляющим жестом к человеку в желтом.

— На минутку подождите, — сказал он, — Сейчас я не могу. Я не ожидал, что так будет! Мне еще надо обдумать то, что я хочу сказать.

Пока он колебался начать, явился взволнованный человек с известием, что передовые аэропланы уже прошли над Мадридом.

— Какие получены вести с летательных станций? — спросил Грехэм.

— Люди юго-западных частей готовы.

— Готовы?

Он нетерпеливо обернулся к блестящим линзам аппарата и сказал:

— Я думаю, что мне надо произнести нечто вроде речи. Если б только я знал, что надо сказать! Аэропланы в Мадриде! Они, должно быть, отправились раньше главного флота. А люди еще только готовятся? Наверное... Впрочем, не все ли равно, буду ли я говорить хорошо или дурно! — вдруг сказал он сам себе и заметил, что свет стал ярче.

Он уже составил в уме несколько неопределенных фраз, выражающих чувства, но внезапно им снова овладели сомнения. Уверенность в своих героических качествах и в своем призвании как будто покинула его. Картина бесцельности и непонятности того, что совершалось,

заслонила перед ним все. Внезапно для него стало совершенно ясно, что это восстание против Острога было преждевременным и было обречено на неудачу. Это был страстный импульс, побуждающий к борьбе с неизбежностью. Грехэм думал о быстром полете аэропланов, видел в нем неумолимый перст рока. Его несказанно удивляло, что он может рассматривать теперь вещи с другой точки зрения. Но он боролся со своими сомнениями и, наконец, решительно отбросив их в сторону, сказал себе, что он должен пройти через это испытание и сделать то, что он намеревался сделать.

Однако он все еще не находил слов, чтобы начать. Но в то время как он стоял в нерешительности, из уст его уже готовы были слететь слова извинения, вдруг донесся снаружи шум и крики бегающих взад и вперед людей.

— Подождите! — крикнул кто-то, и дверь отворилась.

— Она идет!.. — слышались голоса. Грехэм повернулся, и огни, освещавшие его, померкли.

В открытую дверь он увидел легкую серую фигуру, которая проходила через обширную залу. Его сердце дрогнуло. Это была Элен Уоттон...

За ней и кругом нее раздавались аплодисменты. Человек в желтом, стоявший в тени, вошел в круг света.

— Это та самая девушка, которая сообщила нам, что сделал Острог, — сказал он.

Она вошла очень спокойно и стояла молча, словно не желая говорить с Грехэмом. Но все его сомнения и вопросы исчезли в ее присутствии, и он вспомнил все, что хотел сказать народу.

Он встал против камеры, и свет вокруг него засиял ярче. Повернувшись к Элен, он сказал:

— Вы помогли! Вы очень мне помогли. Все это так трудно.

Он замолчал на минуту. Потом, обратившись к невидимым народным массам, которые как будто взирали на него сквозь черные глаза камеры, медленно заговорил:

— Мужчины и женщины новой эпохи! — начал он. — Вы восстали, чтобы биться за человеческую расу! Но легкой победы тут не может быть...

Он остановился, ища слова. Мысли, уже сложившиеся в его уме до ее прихода, теперь возвращались к нему, но без примеси сомнений в их уместности.

— Эта ночь представляет только начало! — сказал он. — Предстоящая битва, та, которая надвигается на нас в эту ночь, — только начало! Возможно, что вам придется бороться всю вашу жизнь. Но не падайте духом даже в том случае, если я буду побежден, если я буду совершенно раздавлен...

Однако то, что он хотел бы выразить, было слишком неопределенно и в слова не укладывалось. Он на мгновение остановился и снова начал повторять те же неопределенные фразы, которыми хотел поддержать бодрость. Но вот, наконец, слова вернулись к нему и потоком полились из его уст...

Многое из того, что он говорил, представляло лишь общие места гуманитарных взглядов прошлого века. Но убеждение, звучавшее в его голосе, придавало им жизненность. Он говорил о прежних временах этому народу новой эпохи и женщине, стоявшей около него.

— Я пришел к вам из прошлого, — сказал он, — с воспоминанием о веке, который жил надеждой. Мой век был веком мечтаний, веком начинаний и благородных надежд. Мы покончили с рабством во всем мире; мы распространили по всему миру желание и надежду, что скоро прекратятся войны, что все, мужчины и женщины, будут вести благородную жизнь в мире и свободе.... Так над-

еялись мы в эти минувшие дни! Но что случилось с этими надеждами? Что случилось с человечеством по прошествии двухсот лет? Огромные города, могущественные силы, величие коллективной работы превзошли наши мечты. Мы не стремились к этому, но это пришло. Но что же случилось с маленькими жизнями, создающими эту великую жизнь? Как вообще живут теперь люди? Как и раньше было, человек продолжает жить в горе и труде, живет скудно и чувствует неудовлетворенность, живет, искушаемый властью, богатством, неразумно расходует свою жизнь и совершает безумства. Старые верования вымерли и изменились. А новая вера... Да существует ли новая вера?

И он почувствовал вдруг, что начинает верить в то, во что ему так хотелось верить. Он окунулся в эту веру и крепко ухватился за нее, некоторое время продержавшись на ее высоте. Он говорил порывисто, отрывочными фразами, но вкладывал в них всю силу и искренность той новой веры, которая теперь была в нем. Он говорил о величии самоотречения, о вере в бессмертную жизнь человечества, с которой мы живем, движемся и осуществляем свою жизнь. Его голос то повышался, то падал, и воспринимающие аппараты, казалось, с одобрительным жужжанием отмечали его речь. Слуги в тени комнаты молча прислушивались к его словам. Присутствие же безмолвной слушательницы, стоявшей возле него, поддерживало в сомнительных местах его воодушевление и его искренность.

В течение нескольких блестящих моментов, подхваченный волной своего воодушевления, он уже не сомневался более в себе, верил в силу своих героических слов, и эти слова как будто сами собой рождались у него. Его красноречие лилось свободной рекой. Наконец он произнес заключительные слова:

— В этот момент и здесь я передаю вам свою волю! — сказал он, — Все, что принадлежит мне в этом мире, я отдаю народу мира. Отдаю это вам, и себя самого тоже отдаю вам! И как богу будет угодно, я буду жить для вас или умру!..

Он кончил, сделав красноречивый жест, и повернулся.

На лице девушки отражалось его собственное воодушевление. Глаза их встретились. В ее глазах блеснули слезы энтузиазма.

— Я знаю, — прошептала она. — О! Повелитель мира, государь, вы должны были это сказать.

— Я сказал, что мог, — ответил он медленно и на мгновение взял ее протянутую руку.

Человек в желтом очутился возле них. Никто не видал, как он подошел. Он сказал им, что юго-западные части уже выступили.

— Я не ожидал этого так скоро! — кричал он. — Они сделали чудеса. Вы должны послать им слово одобрения, чтобы поддержать их.

Грехэм рассеянно взглянул на него, словно не понимая, о чем идет речь. Но вдруг он вспомнил, и прежняя тревога относительно летательных станций снова вернулась к нему.

— Да, — сказал он. — Это хорошо, очень хорошо. Скажите же им: «Хорошо сделано, юго-запад!»

Он снова посмотрел на Элен. Его лицо отражало борьбу, которая происходила в нем.

— Мы должны захватить летательные станции, — пояснил он. — Если мы этого не сделаем, то они высадут негров. Мы во что бы то ни стало должны предупредить это...

Но произнося эти слова, он уже почувствовал, что говорит не то, что было у него в уме за мгновение перед этим. Он заметил легкое изумление в ее глазах.





— В этот момент и здесь я передаю вам свою волю! — сказал он, — Все, что принадлежит мне в этом мире, я отдаю народу мира. Отдаю это вам, и себя самого тоже отдаю вам! (к с. 391).

Она как будто собиралась что-то сказать, но пронзительный звон заглушил ее голос.

Грехэм тотчас же пришло в голову: она ждала от него, что он будет предводительствовать народами, и что именно это он и должен был сделать!

Он обратился к человеку в желтом и сказал ему. Но говорил он для нее и видел радость в ее глазах!

— Здесь я ничего не делаю, — заметил он.

— Это невозможно! — протестовал человек в желтом. — Ваше место здесь...

Он начал подробно объяснять ему и указал комнату, где он должен был ждать.

— Иначе поступать нельзя, — сказал он. — Мы должны знать, где вы находитесь. Каждую минуту может наступить

кризис и потребуются ваше присутствие и ваше решение.

В его уме пронеслась картина великой драматической борьбы масс, происходившей здесь, в развалинах. Но теперь грандиозного зрелища не будет. Ему остается только ждать в уединении и тревоге — ждать того, что будет!

Только после полудня ему удалось получить некоторое представление о битве, невидимой и неслышной, свирепствовавшей в четырех милях от него, под Рогемптонской станцией. Странное и небывалое сражение, распадавшееся на сотни тысяч маленьких битв, происходивших среди сети путей и каналов, где люди сражались, не видя ни неба, ни солнца, при сиянии электрического света, сражались в полном беспорядке, как не обученные военному делу и поощряемые только отдельными возгласами. Это были народные массы, отупевшие под влиянием бессмысленного труда и обессиленные двухвековым рабством, доставлявшим им обеспеченное существование. Они сражались с массами, деморализованными вследствие чувственной распущенности и продажных привилегий, которыми они пользовались. У них не было ни артиллерии, ни разделений по родам оружия. И с той, и с другой стороны единственным оружием был маленький зеленый металлический карабин, тайная фабрикация которого и внезапная раздача в огромных количествах были одним из главных актов Острога, действовавшего против Совета. Но мало кто имел какое-нибудь понятие о том, как надо обращаться с таким оружием. Многие еще ни разу не имели его в руках раньше, другие же явились без снарядов. Более дикой стрельбы еще не бывало в истории войн! Это была битва добровольцев, не воевавших на войне, отвратительная бойня, где люди учились военному

делу на опыте. Вооруженные мятежники, подстрекаемые словами и дикими звуками Песни Восстания, сражались с такими же вооруженными мятежниками и, побуждаемые сочувствием других, бросались бесчисленными толпами к узким путям, по испорченным лифтам к галереям, скользким от крови, к залам и проходам, наполненным дымом, вблизи летательных станций и там на опыте знакомились, когда отступление было отрезано, с древними мистериями войны...

А вверху, за исключением нескольких искусных стрелков на крыше и нескольких полосок и облачков дыма и пара, ничто не смущало ясности дня. Только к вечеру число этих облачков увеличилось, и они сгустились и потемнели. Острог, по-видимому, не имел в своем распоряжении бомб, в ранних же стадиях битвы летательные машины не принимали участия. Ни единое облачко не омрачало блестящей синевы неба, которое оставалось пустынным, точно застыло в ожидании появления аэропланов.

Известия о них приходили из разных пунктов, все более и более близких: сначала из испанских городов, потом из Франции. Но о новых пушках, отлитых Острогом, которые должны были находиться в городе, Грехэм ничего не узнал, несмотря на свои настойчивые расспросы. Не было также получено никаких известий о каком-либо успехе в битвах, охвативших кольцом летательные станции. Секции рабочих обществ одна за другой извещали о том, что они выступили в поход, затем о них не было больше никаких известий, и они исчезали внизу в лабиринте боя.

Что же происходило там? Даже деятельные вожди отдельных частей не знали ничего!

Несмотря на стук отворяемых и закрываемых дверей, на голоса торопливых

гонцов, на звон колокольчиков и постоянную трескотню передающих приборов, Грехэм все же чувствовал себя изолированным и как-то странно бездейственным и бесполезным.

Их изолированность в эти минуты казалась ему временами наиболее странной и неожиданной вещью из всего того, что ему пришлось пережить после своего пробуждения. В этом было нечто, напоминавшее ему ту неподвижность, которую человек испытывает во сне. Оглушительный шум и неожиданное открытие, что между ним и Острогом загорелась мировая борьба, — и затем это заключение в тихой маленькой комнате, с ее говорильными и звуковыми приборами и разбитым зеркалом!..

Вот закрывается дверь, и Грехэм и Элен остаются одни, отделенные от этой небывалой мировой бури, бушующей снаружи, и чувствующие только присутствие друг друга и только занятые друг другом! Но когда вновь открывается дверь и входят гонцы или резкий звон нарушает спокойствие их убежища, то это производит такое впечатление, словно ураганом внезапно раскрывается окно в хорошо освещенном и прочно выстроенном доме. Тогда к ним врываются мрачная суетливость, суматоха, напряжение и ярость борьбы и на время захватывают их.

Но они были не участниками событий, а только простыми зрителями и лишь воспринимали впечатления этой страшной борьбы. И даже самим себе они казались не реальными, а какими-то бесконечно малыми изображениями жизни. Единственно реальными были: город, трепещущий, гудящий, охваченный яростью, и аэропланы, неуклонно стремящиеся к нему через воздушные пространства...

Несколько минут они ничего не слышали, между тем за дверью послышал-

ся топот и раздались крики. Девушка вздрогнула и вся превратилась в напряженное внимание.

— Что это? — закричала она и вскочила, безмолвная, сомневающаяся, но уже торжествующая.

Грехэм тоже услышал. Металлические голоса кричали: «Победа!»

В комнату, быстро отдернув портьеры, вбежал человек в желтом, растрепанный и дрожащий от сильнейшего волнения.

— Победа! — кричал он. — Победа! Народ одолевает. Люди Острога поддались.

Элен привстала.

— Победа? — переспросила она.

— Что такое? — спросил Грехэм. — Скажите, что такое?

— Мы вытеснили их из нижних галерей в Норвуде. Стритхэм весь в огне, а Роге́мптон наш!.. Наш!.. И мы захватили моноплан.

Раздался пронзительный звон. Из комнаты начальников отдельных частей вышел взволнованный седой человек.

— Все кончено! — крикнул он.

— Что из того, что Роге́мптон в наших руках! Аэропланы уже показались в Булони!

— Канал, — сказал человек в желтом и быстро сделал подсчет.

— Через полчаса.

— В их руках еще три летательные станции, — сказал седой человек.

— А пушки? — вскричал Грехэм.

— Мы не можем их снарядить в полчаса.

— Значит, они найдены?

— Слишком поздно, — сказал старик.

— Если бы их можно было задержать еще хоть на полчаса! — воскликнул человек в желтом.

— Ничто не может остановить их теперь, — заметил старик. — У них почти сто монопланов в первом отряде.

— Еще один час? — спросил Грехэм.

— Быть так близко от победы... теперь, когда мы нашли пушки! — вскрикнул человек в желтом. — Так близко!.. Если б мы могли поднять их на крыши!

— А сколько времени потребуется на это? — внезапно спросил Грехэм.

— Час, конечно.

— Слишком поздно! — вскричал начальник части. — Слишком поздно!

— Слишком поздно? — переспросил Грехэм. — Даже теперь.... Ведь только час!

У него вдруг блеснула мысль о возможности найти выход. Он старался говорить спокойно, но лицо его было бледно.

— У нас есть еще один шанс. Вы говорили, что там есть моноплан? — спросил Грехэм.

— Да, на Роге́мптонской станции, сэр.

— Испорчен?

— Нет. Он лежит поперек дороги. Поставить его на рельсы не стоит труда. Но у нас нет аэропланов!

Грехэм посмотрел на них и на Элен и, помолчав, опять спросил:

— У нас нет аэропланов?

— Ни одного.

— Аэропланы неповоротливы в сравнении с монопланами, — сказал он задумчиво.

Он внезапно повернулся к Элен. Его решение было принято.

— Я должен пойти на эту летательную станцию, где лежит моноплан.

— Что же вы хотите сделать?

— Я ведь аэроплант. Во всяком случае... эти дни, за которые вы упрекали меня, не пропали даром!

Он повернулся к человеку в желтом и сказал

— Велите им поставить моноплан на рельсы.

Человек в желтом стоял в нерешительности.

— Что вы хотите сделать? — вскричала Элен

— Ведь моноплан... это для нас еще один шанс.

— Неужели вы хотите?..

— Сражаться, да. Сражаться в воздухе. Я уже думал об этом раньше. Аэропланы ведь неповоротливы. Какой-нибудь решительный человек...

— Но никогда, с тех пор как началось воздухоплавание!.. — вскрикнул человек в желтом.

— Не было надобности, — перебил его Грехэм. — А теперь время пришло. Скажите им это, передайте мое приказание... пусть поставят моноплан на рельсы

Старик с немим вопросом взглянул на человека в желтом, потом кивнул головой и поспешил вон из комнаты. Элен подошла к Грехэму. Она была бледна как смерть.

— Как? Разве один человек может сражаться? Ведь вас убьют!..

— Быть может. Но если не сделать этого или заставить кого-нибудь другого попытаться...

— Но вас убьют, — повторила она

— Я уже сказал свое слово. Разве вы не видите? Нужно спасти Лондон.

Он замолчал. Говорить он больше не мог, только сделал жест, означающий, что нет другого выбора. Они молча посмотрели друг на друга.

Ничего не произошло между ними: ни объятий, ни прощания, мысль о личной любви отошла в сторону перед жестокой необходимостью действовать. Ее лицо выразило нежность и одобрение, небольшим движением руки она указала ему его судьбу.

Он повернулся к человеку в желтом.

— Я готов, — сказал он.



## Глава XXIV

## ПРИБЫТИЕ АЭРОПЛАНОВ

Два человека в бледно-голубом лежали возле захваченной Рогемптонской станции, границы которой образовали ломаную линию. Они держали свои карабины и всматривались в тень, падающую от соседней станции Уимблдон Парк. По временам они перебрасывались словами друг с другом. Они говорили на испорченном английском языке своего класса и своей эпохи.

Огонь со стороны приверженцев Острога постепенно уменьшался и, наконец, прекратился совсем, и вообще с некоторого времени неприятеля почти не было видно. Однако отзвуки сражения, происходившего далеко внизу, в нижних галереях этой станции, доносились наверх время от времени, и слышны были крики, залпы и шум. Один из лежащих рассказывал другому, что он видел внизу человека, который пробирался за балками; он тотчас же, прицелившись в него, выстрелил и уложил его на месте.

— Вон там, внизу, он и до сих пор лежит там, — сказал довольный собой стрелок, — Посмотри на это пятнышко... вон там... между этими балками.

В нескольких футах от них лежал убитый иностранец лицом к ним. На синей холстине его блузы виднелась маленькая круглая дыра, края которой тлели. Она соответствовала пулевой ране в груди. Рядом с мертвым сидел раненый с перевязанной ногой и каким-то неподвижным взглядом смотрел, как горел холст у краев раны. За ними обоими, поперек платформы, лежал захваченный моноплан.

— Я вовсе ничего не вижу! — сказал вызывающим тоном товарищ стрелка.

Стрелку это не понравилось, и он с жаром принялся доказывать ему, что он должен видеть. Но его разглагольствова-

ния были внезапно прерваны криком и шумом, доносившимися снизу.

— Что это происходит? — воскликнул он, приподнявшись на одной руке, и начал всматриваться в верхние ступени лестницы, выходящей на середину платформы. Толпа людей, одетых в синий холст, поднималась по лестнице.

— Зачем пришли сюда эти дураки! — воскликнул он недовольным тоном, — Они только создают тесноту и мешают стрелять. Что им тут понадобилось?

— Шш!.. Они что-то кричат.

Оба прислушались. Толпа вновь пришедших густой массой окружила машину. Три начальника частей, выдававшиеся своими черными мантиями и значками, вскарабкались внутрь кузова и оттуда вылезли наверх.

Стрелок привстал на одно колено и с удивлением заметил:

— Они ставят его на платформу... Вот зачем они пришли.

Он вскочил на ноги. Его товарищ сделал то же самое.

— Какой смысл! — воскликнул он. — Ведь у нас нет аэронавтов!

— А они все-таки ставят, — сказал другой.

Он взглянул на свое ружье, на суетящуюся толпу и, вдруг обернувшись к раненому, сказал, передавая ему ружье и пояс с зарядами:

— Побереги это, товарищ!

Через минуту он уже бежал к моноплану.

В течение четверти часа он работал изо всех сил вместе с другими, обливаясь потом, крича и подбадривая товарищей, и, наконец, когда дело было сделано, он вместе с толпой издал радостный, торжествующий крик.

В толпе он узнал то, что знал уже каждый в городе.

Повелитель, хотя и новичок в этом деле, все же хочет сам полететь на этой

машине и идет сюда, чтобы принять ее в свое ведение. Он никому не даст заметить себя!

— Тот, кто подвергает себя величайшей опасности, кто несет наиболее тяжелое бремя, тот и есть настоящий вождь! — так говорил повелитель.

Стрелок продолжал восторженно кричать, весь мокрый от пота, струившегося по его лицу, как вдруг оглушительный рев толпы покрыл его голос. Сквозь этот рев временами прорывались громкие, призывные звуки революционной песни.

Толпа расступилась, и он увидел головы людей, густым потоком покрывавших лестницу.

— Повелитель идет! Повелитель идет! — кричали голоса.

Толпа кругом становилась все гуще. Стрелок постарался протиснуться ближе к центральной площадке.

— Повелитель идет!.. Спящий!.. Повелитель!.. Бог и повелитель! — ревела толпа.

И вдруг совсем близко от себя стрелок увидел черные мундиры революционной гвардии и в первый и в последний раз в жизни увидел Грехэма, который прошел совсем близко около него. Высокий, смуглый человек, в развевающейся черной мантии, с бледным энергичным лицом и глазами, устремленными вперед. Он, очевидно, не видел, не слышал и не замечал ничего, что делалось вокруг...

Во всю свою жизнь потом стрелок не мог забыть промелькнувшего перед ним бледного, бескровного лица Грехэма. Через минуту он исчез, затерялся в нахлынувшей толпе. Какой-то мальчик со слезами ужаса в глазах столкнулся со стрелком, протискиваясь к лестнице. Он кричал изо всей мочи:

— Очистите старт, вы, дураки!

Раздался громкий, немелодичный звон колокола, призывающий народ очистить летательную станцию.

С этим звоном в ушах Грехэм приблизился к моноплану и вступил в тень его наклонного крыла. Люди, окружавшие его, выражали желание сопроводить его, но он жестом отклонил их предложения. Он должен был хорошенько сообразить теперь, как привести в движение машину.

Все громче и громче раздавался звон колокола и все быстрее и громче звучали шаги отступающей толпы. Человек в желтом помог ему влезть внутрь. Затем Грехэм взобрался на сиденье аэронавта и очень обдуманно и осторожно укрепил себя там.

Но что это? Человек в желтом показал ему на две маленькие летательные машины, поднявшиеся вверх в южной стороне неба. Без сомнения, они высматривают приближение аэропланов...

Однако самое главное для него в данную минуту — это подняться! Ему что-то кричали, о чем-то спрашивали его, предостерегали. Но это надоедало ему. Он хотел сосредоточиться в мыслях о машине, припомнить свой прежний опыт до мельчайших подробностей. Он махнул рукой и увидел, что человек в желтом скользнул между ребрами моноплана и исчез. Толпа же, повинувшись его жесту, подалась за линию балок.

Несколько мгновений он сидел неподвижно, рассматривая рычаги, колеса, придававшие направление двигателю, и весь сложный механизм, так мало знакомый ему. Он взглянул на нивелир: воздушный пузырек находился прямо против него. Тогда он вспомнил что-то и потратил несколько минут на то, чтобы переместить двигатель вперед до тех пор, пока воздушный пузырек не оказался в центре трубки.

Грехэм обратил внимание, что толпа притихла; криков больше не было слышно. Должно быть, она наблюдает за ним! Вдруг пуля ударила в балку, над его го-



*Грехэм приблизился к моноплану и вступил в тень его наклонного крыла (к с. 397).*

ловой. Кто это стреляет? Свободен ли путь? Он встал, чтоб посмотреть, и снова сел на место...

В следующую минуту пропеллер завертелся, и машина покатила вниз, по рельсам. Грехэм схватился за колесо и передвинул машину назад, чтоб приподнять нос...

Послышались крики народа, и через минуту он уже начал подниматься, ощущая содрогание машины. Крики замирали внизу в отдалении, и скоро все затихло. Над щитом свищет ветер, и земля быстро убегает вниз...

Троб, троб, троб! — стучит машина. Грехэм поднимался все выше и выше.

Ему казалось, что он не чувствует ни малейшего возбуждения и мысль его может работать спокойно и хладнокровно. Он поднял нос моноплана еще выше, открыл один клапан в левом крыле и, описав дугу, взлетел еще выше. Он спокойно посмотрел вниз, не чувствуя головокружения, а потом наверх. Он увидел, что один из монопланов Острога пересекает линию его направления под острым углом, сверху вниз. Маленькие аэроавты пристально разглядывали Грехэма.

Что у них на уме? Мысль Грехэма энергично работала. Он заметил, что один из аэроавтов поднял ружье и прицелился, видимо готовясь стре-

лять. В чем они подозревают его? В то же самое мгновение он понял их тактику, и у него созрело решение. Временное колебание исчезло. Он открыл еще два клапана в левом крыле, сделал оборот, повернувшись носом к врагу, затем, закрыв клапаны, бросился прямо на него, защищенный от выстрелов носом и экраном. Враг подался в сторону как будто для того, чтобы дать ему дорогу. Он еще поднял нос.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб... Он стиснул зубы. Лицо его искажилось судорогой и... трах! Он ударил в них сверху, в ближайшее крыло...

Крыло его противника раскололось от удара во всю ширь и затем медленно скользнуло вниз и исчезло из виду.

Грехэм почувствовал, что нос его машины опускается. Он вцепился руками в рычаги, стараясь повернуть их, чтобы оттянуть двигатель назад. Вслед за тем он снова почувствовал толчок, и нос опять круто поднялся кверху. Ему показалось на мгновение, что он лежит на спине. Машина раскачивалась из стороны в сторону, словно танцует на своем винте. Он сделал отчаянное усилие, почти повис на рычагах, и, наконец, ему удалось повернуть двигатель вперед. Он поднимался, но уже не так круто.

Передохнув немного, Грехэм опять налег на рычаги. Ветер свистел вокруг него. Еще одно усилие — и моноплан принял почти горизонтальное направление.

Теперь он мог вздохнуть. Он в первый раз оглянулся, чтобы посмотреть, что случилось с его противниками. Повернувшись спиной к рычагам на мгновение, он осмотрелся кругом. В первую минуту ему могло показаться, что враги его исчезли. Но потом он увидел между двумя станциями что-то вроде колодца. Туда что-то быстро скользнуло вниз и скрылось из глаз, падая, точно маленькая

шестипенсовая монетка, закатившаяся в щель...

Сначала он не понял, что это, а потом его охватила дикая радость. Он крикнул изо всей силы что-то неопределенное и пронзительное и помчался все выше, выше, к небесам.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб...

— Где же другая машина? — подумал он, — Пожалуй, и они...

Всматриваясь в пустынное пространство кругом, он почувствовал на минуту опасение, что эта машина поднялась над ним, но потом он увидел, что она пристает к Норвудской станции. Очевидно, аэронавты имели в виду только перестрелку. Риск получить удар и ринуться вниз головой с высоты двух тысяч футов, очевидно, превышал мужество современных людей. Поединок не был принят.

Несколько времени он кружился на высоте, а затем круто спустился к западной станции.

Троб, троб, троб... Троб, троб, троб...

Сумерки тихо спускались. Дым со Стритхемской станции, такой густой и черный раньше, теперь превратился в столб пламени. Изгибы подвижных путей, прозрачные крыши и куполы и глубокие пропасти между зданиями слабо мерцали внизу, освещенные электрическим светом, который смягчался сиянием дня.

Три станции, еще остававшиеся в руках сторонников Острога, зажгли сторожевые огни для ожидаемых аэропланов. Станция же Уимблдон Парк не могла быть использована вследствие обстрела из Рогемптона, а Стритхем превратился в пылающую печь.

Пролетая над Рогемптоном, Грехэм увидел чернеющие массы народа, собравшегося там. До него донеслись радостные крики. Просвистела пуля из Уимблдона, и он, еще поднявшись, полетел над Серрейскими холмами.



Дул юго-западный ветер. Вспомнив прием, которому он научился, он поднял свое западное крыло и полетел вверх, где воздух был реже и свежее.

Троб, троб, троб! Троб, троб, троб!..

Он поднимался все выше и выше с каждым ритмическим толчком, пока внизу страна, утопая в синеве, стала неясной, а Лондон превратился в маленькую карту, начерченную огнями, точно небольшая модель города у края зонтика. На юго-западе небо казалось сапфиром, в темной оправе над краем земли, а по мере того как он поднимался, число звезд все увеличивалось и они становились ярче...

Что это? На юго-западе, далеко внизу, показались две туманные точки, быстро увеличивающиеся. Затем еще две и, наконец, целая масса каких-то быстро несущихся призрачных теней. Грехэм мог уже сосчитать их. Сначала четыре, потом двадцать. Это был передовой флот аэропланов. За ним виднелось другое туманное пятно, еще более широкое.

Грехэм описал полукруг, всматриваясь в этот приближающийся флот. Аэропланы, словно гигантские светящиеся чудовища, неслись треугольником в нижних слоях воздуха. Он быстро вычислил их скорость и повернул колесо, перемещавшее двигатель вперед. Он тронул рычаг, и стук машины прекратился. Грехэм начал падать все быстрее и быстрее. Он направился прямо в вершину клина, образуемого аэропланами, и падал словно камень, пронизывающий воздух. Должно быть, не прошло и секунды с того момента, как он начал падать, и он уже ударил в передовой аэроплан.

Ни один человек из этой черной толпы не видел ничего, не подозревал грозившей ему судьбы и не думал о соколе, который мог ударить с высоты небес! Те, кто не испытывал страданий воздушной болезни, вытягивали свои черные

шеи, чтобы рассмотреть вдали беззащитный город, встававший перед ними в тумане, богатый и блестящий, с которым им предстояло расправиться, повинувшись приказу хозяина. Их белые зубы сверкали, и блестели лоснящиеся черные лица. Они уже слышали о Париже и думали теперь, что знатно попируют среди этой белой черни.

И вдруг Грехэм нанес им удар...

Грехэм метил в корпус аэроплана, но в самый последний момент у него блеснула счастливая идея. Он повернул в сторону и всей силой своего веса ударил в край правого крыла. От толчка его отбросило назад, и нос машины скользнул по гладкой поверхности края крыла. Он почувствовал, что это огромное сооружение мчится, увлекая с собой и его моноплан. На мгновение он не мог сообразить, что случилось. Но вот он услышал крик, вырвавшийся из тысячи грудей, и увидел, что его машина балансирует на краю громадного крыла и опускается все ниже и ниже. Взглянув через плечо, он увидел, что хребет аэроплана и противоположное крыло поднимаются вверх. Перед ним мелькнули ряды висячих кресел, лица с застывшим на них выражением испуга, руки, судорожно цепляющиеся за перила сидений. В другом крыле были настежь открыты клапаны вследствие попыток аэронавта выпрямить машину. Дальше он увидел второй аэроплан, круто поднимающийся вверх, чтобы избежать воздушного водоворота, образующегося вследствие падения такой машины. Широкая поверхность размахивающих крыльев вдруг точно подпрыгнула в воздухе. Грехэм почувствовал, что его моноплан освободился, а чудовищное сооружение, перевернувшись, повисло над ним, как наклонная стена.

Он не понимал ясно, что ударил в боковое крыло аэроплана и соскользнул с него. Но он заметил, что летит теперь

свободно вниз и быстро приближается к земле.

Что он сделал? Сердце его стучало так сильно, точно в груди у него была машина, и был один опасный момент, когда не мог двинуть рычагов, потому что руки его были точно парализованы. Но, очнувшись, он налет изо всей силы на рычаги, чтобы повернуть двигатель назад. С трудом справившись с тяжестью, он все же заставил машину выпрямиться и принять почти горизонтальное направление. Тогда он пустил в ход двигатель.

Он посмотрел вверх и увидел, что два аэроплана несутся высоко над его головой. Посмотрел назад и увидел, что главный флот разлетелся в разные стороны и вверх. А тот аэроплан, который он сбил, падал ребром вниз, вонзаясь, точно гигантское лезвие, в линию колес ветряных двигателей, находящихся под ним.

Он опустил хвост моноплана и посмотрел снова, не обращая внимания на направление своего полета. Он увидел, как поддались ветряные двигатели, и огромное сооружение коснулось земли. Нижние крылья согнулись от тяжести падающей массы, затем аэроплан перевернулся вверх дном и, рухнув вниз, разбился вдребезги.

Вдруг из груды обломков вырвался тонкий язык белого пламени и поднялся к зениту. Но в ту же минуту Грехэм заметил, что прямо на него несется громадная масса. Он повернул вверх как раз вовремя, чтобы избежать нападения, — если только это было нападение, — второго аэроплана. Внизу со свистом, точно вихрь, пролетел аэроплан и сильным движением воздуха увлек Грехэма за собой на некоторое расстояние, так что чуть не перевернул его.

Тут Грехэм заметил, что три других мчатся прямо на него. Он понял безусловную необходимость находиться над ними. Аэропланы были кругом него, но

казалось, они сами хотели ускользнуть от него и поэтому описывали широкие круги. Они пронеслись мимо него вверх, внизу, на востоке и западе. Очень далеко к западу слышны были звуки какого-то столкновения и промелькнули два падающих огня.

С юга приближалась вторая эскадра. Он опять поднялся выше, но не решался броситься на них, так как не знал, достаточна ли достигнутая им высота. А затем обрушился на свою вторую жертву, и весь ее живой груз, состоящий из черных солдат, видел его приближение.

Огромная машина накренилась и качалась в воздухе, когда обезумевшие от страха люди бросились к корме, чтоб достать свое оружие. Град пуль пронизал воздух, и в толстом стекле экрана, защищающего от ветра, образовалось звездообразное отверстие. Аэроплан стал быстро опускаться, чтоб избежать его удара, и опустился слишком низко. Но Грехэм вовремя заметил ветряные колеса Бромлейского холма, быстро вертевшиеся навстречу ему. Он круто повернул вверх, а в это время аэроплан попал на колеса. Раздался треск и протяжный, дикий вой тысячи голосов, огромное сооружение точно замерло на мгновение между осколками разбитых колес и ветряных крыльев, но затем разлетелось в куски. Огромные обломки взлетали на воздух. Двигатели рассыпались вдребезги, как скорлупа. Высокий столб пламени поднялся вверх, в темнеющее небо...

— Два! — вскрикнул Грехэм, и точно в ответ сверху упала бомба, разрываясь на лету. Он тотчас же снова поднялся. Его охватила опьяняющая радость. Сразу исчезли все его тревожные мысли о человечестве, о собственной непригодности. Он испытывал ощущение воина, наслаждавшегося своей силой в бою. Аэропланы, по-видимому, преследовали только одну цель — избежать его и поэ-

тому бросались врассыпную. Когда они пролетали мимо, то он слышал вой их человеческого груза, доносившийся к нему с порывами ветра.

Он выбрал третью жертву и быстро погнался за ней, но ему удалось только перевернуть аэроплан на ребро. Тем не менее хотя аэроплан и ускользнул от него, но он все-таки разбился о высокий выступ лондонской стены. Опустившись под влиянием толчка,

Грехэм пролетел так близко от темнеющей внизу земли, что даже успел разглядеть испуганного кролика, убегавшего по склону холма. Но он тотчас круто поднялся вверх и увидел, что летит над южным Лондоном и все воздушное пространство около него пусто. Справа от него с треском и шумом лопались сигнальные ракеты приверженцев Острога, производя дикую сумятицу в воздухе. На юге пылали обломки поддюжины воздушных кораблей, а на востоке, западе и севере убегали от него другие воздушные корабли. Они летели в разные стороны, потому что совершенно не могли останавливаться в воздухе, а при общем смятении всякая попытка к эволюциям непременно привела бы к роковым столкновениям.

Грехэм лишь с трудом оценил все значение того, что им было сделано. Аэропланы везде отступали, везде! Они точно таяли в воздухе, становясь все меньше и меньше. Они бежали!..

Он пролетел мимо Рогемптонской станции приблизительно на высоте двухсот футов. Она была черна от наполнявшего ее народа, оглашавшего воздух своими ликующими криками. Но отчего же и Уимблдон Парк также черен от толпы и оттуда также несутся ликующие крики? Дым и пламя Стратхемской станции заслоняли три другие станции.

Грехэм опять поднялся и описал круг, чтобы посмотреть, что делается на них и

в северных кварталах. Сперва выступили из-за дыма четырехугольные строения Шутерс-Хилла. Они были освещены и в полном порядке. Там уже пристали аэропланы и высаживали негров. Затем показался Блэкхит, и из-за дыма выглянул Норвуд. К Блэкхиту не пристало ни одного аэроплана, Норвуд был покрыт толпой маленьких черных фигурок, в страшном смятении бегающих взад и вперед.

Что же случилось?.. Вдруг он понял. Упорная защита летательных станций, очевидно, прекратилась, и народ ринулся в подземные пути, ведущие к этим последним твердыням Острога, захватившего их. А затем, с далекой северной границы города, донесся звук, полный для него великого, прекрасного значения. Это был сигнал, звук торжества, глухой звук пушечного выстрела...

Он глубоко вздохнул и крикнул, крикнул в воздушную пустыню, окружавшую его:

— Они побеждают! Народ побеждает!..

Точно в ответ на его крик грянула вторая пушка. А затем он увидел, что моноплан в Блэкхите бежит по своим рельсам и поднимается вверх, плавно и свободно. Он прямо понесся к югу и скрылся от него

Но Грехэм тотчас же сообразил, что это значит. Это бежит Острог!..

Грехэм вскрикнул и тотчас же бросился за ним. Он находился уже на нужной ему высоте и теперь необыкновенно быстро скользил вниз по наклонной линии. Но другой моноплан круто поднялся вверх при его приближении, и так как Грехэм мчался с чрезвычайной скоростью, то пролетел мимо него.

Грехэм промчался дальше, стремглав летя вниз со всею силой своего неудачного удара.

Это привело его в бешенство. Он с силой дернул двигатель назад и круто

поднялся вверх, описывая круги. Он видел, что впереди и выше него несется по спирали машина Острога. Поднявшись вертикально, он сразу обогнал его вследствие силы своего разгона и оттого, что на его стороне было преимущество меньшего веса.

Стремглав бросившись вниз, он опять промахнулся. Когда он проносился мимо, то увидел спокойное и хладнокровное лицо аэронавта и мрачную решимость в позе Острога. Острог упорно смотрел в сторону, прямо на юг...

Грехэм с бешенством подумал, что его полет должен быть очень неумелым. Внизу он видел Кройдонские холмы. Поднявшись вверх, он снова обогнал своего врага.

Вдруг он оглянулся, и внимание его приковало к себе странное явление. Восточная станция, одна из тех, которые находились на Шутер-Хилле, как будто поднялась на воздух. Что-то сверкнуло, и затем появилось большое серое облако, точно какая-то огромная, закутанная в дым фигура, несущая на своих плечах глыбы металла. Несколько мгновений эта фигура держалась неподвижно в воздухе, затем с плеч ее стали падать громадные металлические массы и с головы стало спадать покрывало дыма.

Народ взорвал станцию, аэропланы и все!

Внезапно вспыхнула вторая молния, и над Норвудской станцией тоже показалось серое облако. Пока Грехэм смотрел на это, раздался глухой гул, и волна от первого взрыва ударила в него...

Несколько мгновений его моноплан летел вниз, почти под углом, зарываясь носом и точно колеблясь, окончательно перевернулся в воздухе. Грехэм стоял под щитом, стараясь изо всех сил повернуть колесо двигателя, вертевшееся над его головой. А затем воздушный толчок от второго взрыва положил его машину на бок.

Он судорожно вцепился в одно из ребер своей машины. Воздух со свистом пронесся мимо него вверх, и ему на мгновение показалось, что он неподвижно висит в воздухе и только ветер свистел около него.

Вдруг ему пришло в голову, что он падает. Да, это было несомненно! Он не мог взглянуть вниз.

Как молния, пронеслась в голове его мысль обо всем, что произошло со времени его пробуждения. Он вспомнил дни сомнений, дни владычества и шумное открытие ловко задуманной измены Острога...

Все это видение показалось ему нереальным. Кто же он такой? Почему он держится так крепко руками? Почему он не может отнять рук? Каким падением кончались его бесчисленные мечты! Через минуту он проснется...

Мысли его неслись все быстрее и быстрее. Увидит ли он Элен когда-нибудь. Было бы так нелепо, если б он ее больше не увидел!

Он вдруг почувствовал, что земля совсем близко, хотя и не мог взглянуть на нее.

Последовал удар, страшный хруст и скрежет кипящего металла.





*Когда он приблизился, то увидел, что два аэропилота все еще были сцеплены вместе, даже когда они упали в воздухе. Освободившись от кучи, он наткнулся на что-то — кучу одежды и конечностей, бледных в ночи, седую голову, темную цепкую руку, вытянутую на дерне. За ними, среди разбитых фургонов, лежали другие человеческие тела.*

# РАССКАЗ О ГРЯДУЩИХ ДНЯХ

1899

Перевод  
В. Г. Тана

Иллюстрации  
Эдмунда Салливана



## Глава I

### ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ

Великолепный мистер Моррис был англичанином, который жил в дни королевы Виктории Благополучной. Был он человеком состоятельным и очень рассудительным. Он читал газету «Таймс» и аккуратно ходил в церковь. Когда ему перевалило за сорок, на лице у него застыло выражение спокойного презрения ко всем людям иного сорта, чем он сам.

Он был одним из тех людей, которые делают все в меру и вовремя, как подобает порядочному человеку. Он всегда носил такое платье, как подобает, — совсем не франтовское, но и отнюдь не обтрепанное; делал надлежащие взносы на соответственные богадельни — без хвастовства, но также и без скупости. И даже волосы его всегда были острижены до подобающей длины.

Все, что подобает иметь порядочному человеку в его положении, мистер Моррис имел. И что не подобает иметь порядочному человеку в его положении, того он не имел.

В числе всякого другого подобающего имуществу мистер Моррис имел также жену и детей. Конечно, и жена была

такая, как подобает, и детей именно столько и именно такие, каких подобает иметь порядочному человеку. И насколько было известно мистеру Моррису, не было за ними никаких фантазий и причуд. Они одевались прилично и солидно и жили в прекрасном доме, выстроенном с претензией на стиль времен королевы Анны, как это было в моде при королеве Виктории. Вместо бревен была лепная штукатурка с поддельным рельефом, и стены были обложены поддельным дубом, и терраса была из жженной глины с подделкой под мрамор, и над парадной дверью были цветные стекла вроде тех, какие бывают в церквях.

Сыновья мистера Морриса учились в солидных учебных заведениях и готовились к почтенным профессиям. Дочери его, несмотря на некоторые протесты, довольно фантастичные, были выданы замуж за приличных молодых людей, солидных и старообразных, с родством и связями. И наконец, когда настало подобающее время, мистер Моррис умер. Его могильный памятник был сделан из мрамора — без глупых и трогательных надписей, почтенный и солидный, какой вообще полагался по стилю той эпохи.

После смерти своей мистер Моррис подвергся подобающим изменени-



ям, и задолго до начала нашего рассказа его тело и кости уже превратились в прах и развеялись на все четыре стороны. Его дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки тоже обратились в прах и тлен и развеялись по ветру. При жизни своей он ни за что не поверил бы, что в один из грядущих дней даже прах его правнуков развеется по ветру. И если бы кто стал распространяться об этом, он принял бы каждое слово как личную обиду.

Он был одним из тех почтенных людей, которые ни капли не интересуются грядущим. И, кажется, он даже полагал молчаливо, что после его смерти не будет никакого грядущего. Тем не менее это грядущее настало, и после того как прах его потомков до четвертого поколения смешался с землей, и дом с претензией на стиль рассыпался вместе с другими претензиями, и «Таймс» исчез, и цилиндр совершенно вышел из моды, и даже солидный могильный памятник был пережжен на известь и попал в бочку с цементом, и все, что мистер Моррис считал почтенным и незыблемым, рухнуло и рассыпалось, — после всего этого мир все-таки продолжал как ни в чем не бывало идти вперед, и люди жили так же, как и покойный мистер Моррис, — не заботились о грядущем и вообще ни о чем, кроме собственных дел, семьи и имущества.

И, странно сказать, даже малейший намек на это обстоятельство в свое время наверное разгневал бы мистера Морриса, — но теперь по всему свету жили и дышали, повсюду были разбросаны люди, в жилах которых текла кровь мистера Морриса. Точно так же, как будет потом в надлежащее время разбросана жизнь и кровь каждого читателя этой правдивой истории и смешана вместе

с сотнями других таких же источников жизни, вне пределов расчета и исследования.

В числе потомков этого мистера Морриса был один, столь же трезвый и рассудительный, как и его предок. Он был такого же приземистого плотного сложения, как тот древний человек девятнадцатого века, от которого он заимствовал свое имя Моррис<sup>1</sup>, теперь это имя писалось фонетически — Морис<sup>2</sup>. Лицо его имело точно такое же полупрезрительное выражение. Был он также человеком состоятельным по современному масштабу, и не любил «новомодных штук» и бредней о будущем прогрессе и о положении рабочего класса, — точь-в-точь, как не любил всего этого его предок Моррис.

Он не читал газеты «Таймс» и даже едва ли знал, что когда-либо на свете существовала такая газета, ибо газеты давно исчезли в бездне времен. Но говорящий аппарат, который сообщал ему новости по утрам, был как будто живым голосом покойного Бловица, воплощенным в стальном механизме.

Этот говорильный аппарат походил размерами и формой на круглые стенные часы. С передней стороны, внизу, были электрический барометр, такой же календарь и хронометр, а кроме того, автоматический указатель предстоящих деловых свиданий. Но вместо циферблата часов зияло открытое устье металлического рупора.

Когда в аппарате имелись новости, из рупора несло «галлоуп! галлоуп!» — как будто индюк клохтал, и тотчас же резкий голос выкликал громогласно каждый параграф. Он сообщал Морису ясным, звучным, немного гортанным голосом обо всех происшествиях за ми-

<sup>1</sup> В оригинале — Morris.

<sup>2</sup> В оригинале — Mwres.

нувшие полсуток; о несчастных случаях на воздушных поездах, летавших вокруг света; о приездах знатных особ на тибетские горные курорты; о собраниях акционеров больших монопольных компаний за прошлый вечер. Слушая все это, Морис одевался. И если ему надоедали эти сообщения, он нажимал кнопку, аппарат на секунду как будто давился, а потом начинал говорить о чем-нибудь другом.

Конечно, туалет Мориса совсем не походил на туалет его предка. И трудно сказать даже, который из двух был бы больше смущен, очутившись в платье другого. Морис, во всяком случае, скорее бы вышел на улицу совсем нагишом, чем согласился бы натянуть на себя черный фрак, серые брюки, перчатки и цилиндр, хотя именно это платье когда-то придавало мистеру Моррису его самоуверенную солидность.

И затем, Морису не приходилось бриться: искусный оператор давно удалил с его лица каждый волос вместе с корнем. Одеваясь, он прежде всего натягивал брюки красивого янтарно-розового цвета, из материи, непроницаемой для воздуха. Он надувал их при помощи ручной помпы так, чтобы получалось впечатление, что у него здоровые, крепкие мускулы.

После этого он надевал прямо на голое тело такую же пневматическую куртку. Таким образом, костюм Мориса представлял собой изолирующий воздушный слой и прекрасно защищал против жары и холода. Поверх пневматического костюма Морис набрасывал туннику из тонкого шелка янтарного цвета и, в заключение, алый плащ с причудливо вырезанным краем. На голове у Мориса давно уже не было волос: все волосы были искусно удалены, и Морис носил красивую ярко-красную шапочку. Шапочка эта была слегка надута водородом и, присасываясь, крепко держалась на го-

лове; этот головной убор больше всего походил на петушинный гребешок. Сознавая скромность и приличие своего костюма, Морис спокойным взглядом смотрел прохожим в лицо.

Этот Морис (вежливый титул «мистера» давно уж вышел из употребления) состоял на службе в Управлении Главного Треста Воздушных и Водяных Двигателей, который владел всеми воздушными турбинами и водопадами на земном шаре и снабжал человечество электрической энергией, а также водой.

Он жил в огромной гостинице на Седьмой улице и занимал обширное и комфортабельное помещение на семнадцатом этаже. Домашнее хозяйство и семейная жизнь давно уступили место более утонченным формам общественной жизни. Домашняя прислуга исчезла; кухня усложнилась; требования личного комфорта значительно повысились; арендная плата за землю в городах очень поднялась; вести отдельное хозяйство не было никакой возможности, если бы даже кто и обладал такими варварскими вкусами, как во времена королевы Виктории...

Окончив свой туалет, Морис вышел в широкий коридор, посередине которого проходила подвижная платформа. На платформе были расставлены стулья, и на стульях сидели изящно одетые мужчины и дамы.

Раскланиваясь со знакомыми — разговаривать до завтрака считалось неприличным, — Морис занял один из стульев и через несколько секунд подъехал к лифту. На лифте он спустился в большой роскошный зал, где автоматически подавался завтрак.

Однако завтрак теперь был совсем не такой, как во времена королевы Виктории. Толстые караваи хлеба, которые надо было резать на ломти и намазывать маслом, для того чтобы сделать их съе-

добными; куски мяса, изрубленные и поджаренные, чтобы хоть слегка замаскировать, что это трупы животных; яйца, только что взятые из под испуганной курицы, — вся эта грубая пища внушила бы только отвращение и ужас утонченному вкусу современных людей.

Теперь приготавливались пирожки и печенья приятного вида и разнообразной формы, так что уже не было ни малейшего сходства с внешним видом несчастных животных, которые отдали свое тело и свою кровь на приготовление этих изящных блюд.

Блюда появлялись из особого шкафа сбоку стола и автоматически катились по рельсам вперед. Поверхность стола на взгляд и на ощупь человеку XIX века показалась бы покрытой камчатным полотном. На самом деле это был оксидированный металл, который очень легко можно было вымыть тотчас же после еды. В зале были сотни таких столиков, и за столиками по одному или целыми компаниями сидели современники Мориса. Когда Морис сел за стол, заиграл незримый оркестр — и звуки заполнили весь зал.

Но Морис не интересовался ни завтраком, ни музыкой. Его глаза все обращались к проходу между столами, как будто он поджидал кого-то запоздавшего. Наконец он быстро встал и сделал кому-то приветственный жест рукой.

В проходе показался господин, высокий и смуглый, в двухцветном желто-зеленом костюме.

У него было бледное лицо и напряженный, странно серьезный взгляд. Медленными, размеренными шагами человек этот подошел ближе. Морис сел и рядом с собой поставил стул для пришедшего.

— Я думал уже, что вы не придете, — сказал Морис.

Хотя и прошло уже много времени, английский язык все еще оставался

почти таким же, каким он был в эпоху Виктории Благополучной. Применение фонографа и других приспособлений для записи звуков и постепенная замена книг такими звуковыми записями не только спасли человеческое зрение, но одновременно еще ввели в обиход хорошие образцы языка и тем остановили представлявшийся столь неизбежным процесс изменения человеческой речи.

— Меня задержал пациент, — сказал господин в желто-зеленом, — и, правду сказать, довольно интересный... Видный политический деятель... гм... страдает от переутомления...

Он посмотрел на завтрак и присел к столу.

— Я, знаете, не спал почти двое суток...

— Скажите! — сказал Морис. — Двое суток не спали! Вам, гипнотизерам, видно, покою не дают.

Гипнотизер положил себе на тарелку густого янтарного желе.

— Ко мне обращаются многие, — сказал он скромно. — Бог знает, что бы мы делали без вас.

— О, мы вовсе не так уж необходимы, — возразил гипнотизер, медленно смакуя желе. — Свет обходился без нас не одну тысячу лет. Даже двести лет назад нас еще не было, по крайней мере, в практической медицине. Были, конечно, лекари, сотни и тысячи, по большей части невежды страшные и все — как бараны; у всех — одни и те же рецепты. Но врачей духа не было совсем, если не считать нескольких грубых, эмпирических попыток в этой области.

Он замолчал и занялся своим желе.

— Разве в то время людские умы не подвергались болезням? — спросил Морис.

Гипнотизер покачал головой:

— В то время не обращали внимания, если кто и бывал немного с придум-

рю. Жить было легко и просто. Не было такого соперничества. Если уж у кого в голове было здорово неладно — ну, тогда замечали. Тогда отправляли людей... Только тогда можно было отправить в этот... как его называли?... дом умалишенных.

— Я знаю, — сказал Морис. — В этих глупейших исторических романах, которые теперь вошли в такую моду, герой постоянно спасает молодую девицу из дома умалишенных или из другого места в таком же роде... Меня, впрочем, весь этот вздор не очень интересует.

— Меня интересует, — сказал гипнотизер. — Так увлекательно думать об этих странных, причудливых, полуцивилизованных днях девятнадцатого века, когда мужчины были мужественны, а женщины наивны. Мне нравятся повести с такими приключениями. Любопытное было время: грязные железные дороги; паровозы, изрыгающие клубы дыма; странные маленькие домики; запряженные лошадьми повозки. Вы, должно быть, не читаете печатных книг?

— Ну нет, — сказал Морис. — Я учился в новой школе, и мы не занимались такой устарелой чепухой. С меня совершенно довольно и говорильных машин.

— Без сомнения, — сказал гипнотизер и стал выбирать для себя новое блюдо, — без всякого сомнения... Знаете ли, — начал он снова, накладывая себе на тарелку порцию темно-голубого паштета, который выглядел весьма аппетитно, — в те дни о нашем искусстве никто и не думал. Если бы тогдашним людям кто-нибудь сказал, что через две сотни лет целый класс врачей будет специально заниматься лечением духа и памяти, внушать полезные идеи, изглаживать воспоминания, побеждать и регулировать вредные инстинкты, и все это посредством гипнотизма, — да они никогда не поверили бы,

что такие вещи возможны. Только немногие знали о том, что приказание, полученное под гипнотическим внушением, даже приказание забыть или приказание хотеть, будет непременно исполнено потом, по окончании сеанса. А между тем и тогда уже иные могли бы указать, что такой результат от внушения наступает в свое время с неизбежностью не меньшей, чем, скажем, прохождение Венеры. И тогда уже иные предвидели, что должно выйти из гипнотического внушения.

— Разве тогда уже знали о гипнотизме?

— О да! Его даже применяли для удаления зубов без боли и так далее... Этот голубой паштет удивительно вкусен. Что это такое?

— Не имею понятия, — сказал Морис, — хотя правда — он очень хорош. Возьмите еще.

Гипнотизер похвалил еще раз и взял новую порцию.

— Между прочим, — начал опять Морис, стараясь принять небрежный тон, — по поводу этих романов, э... Мне вспомнилось, э... что я хотел говорить с вами о чем-то подобном... — Он замолчал и перевел дух.

Гипнотизер слегка насторожился, не оставляя еды.

— Видите ли, — сказал Морис, — дело в том, э... что у меня есть дочь. Я, знаете ли, дал ей, э... тщательное воспитание. Не было такого лектора из самых выдающихся, чтобы она от него не имела телефонного провода. Танцы, пластика, манеры, философия, художественная критика... и все такое. — Он сделал рукой широкий жест. — Я, видите ли, думал выдать ее замуж за моего друга Биндона. Из общества Летательных Станций. Знаете, такой невысокий брюнет; человек не совсем приятный, если правду сказать, но, в общем, отличный малый.



— Да, — сказал гипнотизер. — А сколько ей лет?

— Восемнадцать.

— Опасный возраст... Дальше...

— Видите ли... Она, я вам скажу, читалась этих романов до крайности, даже философию забросила. Набрала себе в голову всякий вздор, например, о воинах, которые сражались с этими... как их?... этрусками, что ли?

— Быть может, с египтянами?

— Очень возможно. Пускай с египтянами. Дрались, знаете ли, мечами, пистолетами и всякими штуками... Ужас такой! И еще о юных героях на миноносках, которые взрывали испанцев, кажется, и о других таких же авантюристах. И по этому поводу решила, что она должна выйти замуж по любви. А этот бедный маленький Биндон...

— Понимаю, мне приходилось лечить таких, — сказал гипнотизер. — А как зовут того, другого?

Морис с виду сохранял полнейшее хладнокровие.

— Не знаю даже, как и осветить, — начал он смущенно. — Этот человек, — голос его понизился почти до шепота, — просто служащий на одной из платформ, где пристают парижские аэропланы. Он, как это говорится в романах, приятной наружности, очень молод и очень эксцентричен. Увлекается стариной, умеет читать и писать. И она тоже. И вместо того чтобы разговаривать по телефону, как делают разумные люди, они пишут и пересылают друг другу эти, как их...

— Записки?

— Нет, не записки... Как это... Ах да, поэмы!

Гипнотизер поднял вверх брови.

— Как они познакомились?

— Случайно. Она споткнулась, выходя из парижского аэроплана, и он подхватил ее. Минуты было довольно, чтобы произошла эта скверная история.

— Ну, — сказал гипнотизер, — что же еще?

— Разве этого мало? — сказал Морис. — Надо их остановить. Именно ради этого я и просил вас приехать. Что нужно сделать? И что возможно? Я ведь не знаю, я не специалист... Но вы...

— Гипнотизм — не волшебство, — сказал господин в зеленом, опираясь обеими руками на обеденный стол.

— Да, конечно. Но все-таки...

— Людей нельзя гипнотизировать против их воли. Если у нее хватило духа, чтобы воспротивиться браку с Биндоном, то хватит, конечно, и на то, чтобы оттолкнуть гипнотическое внушение. Но если бы удалось ее загипнотизировать каким хотите способом, тогда...

— Вы могли бы...

— Да, конечно. Только бы нам подчинить ее гипнозу, и тогда мы можем внушить ей, что она должна выйти замуж за Биндона, что это ее судьба, или что тот молодой человек отвратителен и что вид его должен вызывать у нее тошноту, или еще что-нибудь в том же роде. Или же мы можем усыпить ее покрепче и внушить ей полное забвение обо всем этом.

— Вот это лучше всего.

— Вся задача в том, как ее загипнотизировать. Вам, конечно, не следует и виду подавать. Насчет вас она и без того настороже.

— Как это глупо, — проворчал Морис, — человек не может располагать собственной дочерью!

Гипнотизер немного подумал.

— Дайте мне имя и адрес девушки, — сказал он, — и все сведения, какие у вас есть. Кстати, не замешаны ли тут дежневые вопросы?

Морис замялся.

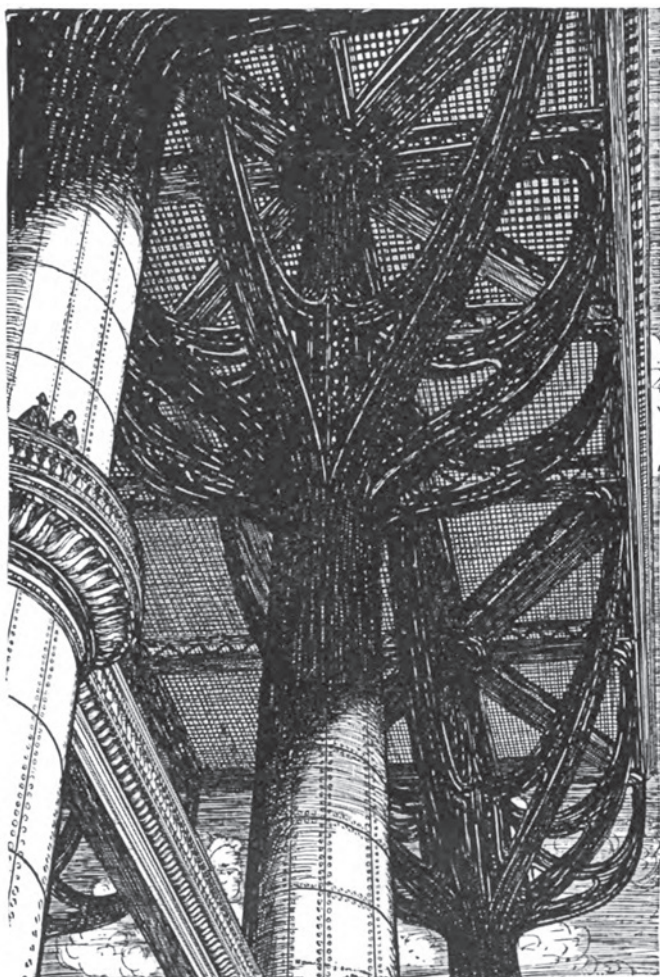
— Есть некоторая сумма, даже, если хотите, значительная сумма, в бумагах Дорожной Компании, — наследство от матери. Это особенно досадно.

— Понимаю, — сказал гипнотизер. И допрос продолжался.

Между тем Элизабет Морис сидела в приемной в одном из верхних этажей Летательной Станции вместе со своим другом. Он читал ей поэму, которую написал в это утро во время дежурства на станции. Кончил — и оба замолчали. В эту самую минуту с высоты, с неба, стал спускаться аэроплан, возвращавшийся из Америки. Вначале он был как маленькое бледное пятнышко среди далеких прозрачных облаков. И почти тотчас же пятнышко стало белее и шире, выросло — и они могли уже разглядеть ряды парусов, каждый парус шириной несколько сот футов, и длинный корпус машины, и даже пассажирские кресла, которые отсюда представлялись линией точек. И хотя аэроплан падал вниз, казалось, что он поднимается в небо, и

его черная тень запрыгала по городской кровле, направляясь к ним. Раздался шум рассекаемого воздуха и резкий свисток. Это сирена машины извещала платформу о своем приближении. И тотчас же свисток оборвался; аэроплан спустился вниз, и небо по-прежнему было свободно и ясно.

Элизабет снова взглянула в лицо своему другу. Дэнтон прервал молчание и стал говорить о том, как они разорвут все путы, в одно прекрасное утро взле-



*Между тем Элизабет Морис сидела в приемной в одном из верхних этажей Летательной Станции вместе со своим другом.*

тят в небеса на таком же аэроплане и направятся в другое полушарие, в солнечный город веселья на берегу Японского моря. По временам Дэнтон начинал говорить на том странном языке, который целиком состоит из уменьшительных и ласкательных и на котором испокон веков говорят влюбленные; Впрочем, как и все влюбленные, Дэнтон считал, что этот язык — именно его изобретение.

Слушать Дэнтона ей было приятно и вместе с тем несколько страшно. И когда

он стал умолять, чтобы это чудное утро настало скорее, она сказала застенчиво: «Милый, потом... когда-нибудь...» После этого ему пришлось вернуться наверх на дежурство. Она прошла к подъемной машине, поднялась вверх и вышла на одну из городских улиц, прикрытую сверху стеклянной кровлей и полную бегущих платформ. На одной из этих платформ она доехала до своей квартиры в Большом Женском Отеле и, для того чтобы развлечь свои мысли, присоединила телефон к ученому лектору. Но в сердце у нее сияло яркое солнце с летательной станции, и перед этим сиянием вся ученость в мире казалась скучной и серой.

Она провела полдень в гимнастическом зале и пообедала вместе с двумя другими подругами и общей компаньонкой: в зажиточных классах еще держался обычай брать компаньонку для девушек-сирот, У компаньонки был гость, приятный господин в зеленом и желтом; у гостя было бледное лицо и живые глаза. Он завел интересный разговор и, между прочим, стал хвалить новый исторический роман популярного беллетриста, только что выпущенный в свет. Этот роман касался эпохи Виктории, и автор в подражание старомодным книгам ввел отдельные заголовки для каждой главы; например: «Как извозчики из Пимлико задержали омнибусы с Виктории и о битве в Дворцовом квартале», или: «Как полисмен на Пикадилли был убит среди белого дня при исполнении служебных обязанностей».

Господин в зеленом и желтом похвалил это нововведение.

— Меня привлекают эти яркие заголовки, — сказал он. — Они с двух слов вводят вас в этот причудливый, буйный мир, где люди на грязных улицах натыкались на животных и на каждом углу могла встретиться смерть. В то время была

настоящая жизнь! Каким широким должен был казаться людям наш маленький свет! Были даже страны еще неизведанные. Мы, современные люди, почти уничтожили саму способность удивляться. Жизнь наша протекает в таком образцовом порядке, что совершенно не осталось места для мужества, терпения, веры и разных благородных страстей.

Он говорил и говорил, увлекая воображение слушательниц, и наконец, эта жизнь, которую они вели в огромном Лондоне XXII века, перемежая ее поездками во все концы земли, эта жизнь стала казаться бледной и скучной по сравнению с красками преображенного прошлого.

Элизабет слушала молча, но постепенно заинтересовалась и даже робко стала вставлять короткие фразы. Господин в желто-зеленом отвечал мимоходом и тотчас же возвращался к своему увлекательному рассказу. Теперь он описывал новый метод художественного восприятия. Люди подвергаются гипнотизации и посредством ряда искусных внушений приходят к тому, что воображают себя живущими в древнее время. Они переживают любой исторический роман как подлинную жизнь, и после пробуждения у них остается об этом воспоминание, как о действительных событиях.

— Мы искали этот способ много лет, — говорил гипнотизер, — и наконец нашли. Теперь мы создаем искусственные сны. Подумайте, какие это дает надежды обогатить человеческий опыт, оживить фантазию, дать человеку убежище от этой прозаической жизни!

— И вы этого достигли? — с жаром спросила компаньонка.

— Да, достигли, — сказал гипнотизер, — Вы можете заказать себе сон по собственному выбору.

Компаньонка первая подверглась внушению и, проснувшись, была потрясена чудесной живостью сна.





*В эту самую минуту с высоты, с неба, стал спускаться аэроплан, возвращавшийся из Америки (к с. 413).*





*Элизабет никто не приглашал последовать их примеру. Она соблазнилась сама и рискнула спуститься в царство грез, где исчезают свободный выбор и свободная воля.*

Две другие девушки, заразившись ее энтузиазмом, тоже отважились сделать экскурсию в чудесное прошлое.

Элизабет никто не приглашал последовать их примеру. Она соблазнилась сама и рискнула спуститься в царство грез, где исчезают свободный выбор и свободная воля.

Так удалась эта маленькая хитрость.

На следующее утро Дэнтон напрасно ждал в прежней зале под станцией — Элизабет не пришла. Он огорчил-

ся и даже рассердился. Она не пришла на второй и на третий день. Тогда он испугался. Чтоб скрыть свой страх от самого себя, он стал составлять ряд новых сонетов, собираясь прочесть их Элизабет при первой же встрече.

Три дня он подавлял свое беспокойство, но наконец правда предстала перед ним — ясная, холодная, неоспоримая. Она, должно быть, заболела или, быть может, умерла, — он не хотел допустить, что она разлюбила. Еще неделя прошла в

медленной пытке. Потом он увидел, что на всей земле ему нужна только она одна, и пусть нет никакой надежды, все равно он будет искать ее, пока не отыщет.

У него были кое-какие деньги. Он бросил свое место и стал отыскивать девушку. Он не знал условий ее семейной жизни, не имел даже ее адреса: Элизабет хотела, чтобы их красивую любовь не портили эти ненужные подробности, а в особенности заботилась о том, чтобы как-нибудь не обнаружилась разница в их материальном положении.

Городские улицы открылись перед Дэнтонем направо и налево, на восток и на запад. Даже еще в эпоху Виктории Лондон был лабиринтом — маленький Лондон с его жалким четырехмиллионным населением. А теперь это был уже Лондон XXII века с населением в тридцать миллионов. Дэнтон сначала искал с неослабной энергией, не оставляя себе времени даже на еду и на сон. Минули недели и месяцы, он прошел сквозь все стадии усталости, отчаяния, уныния и гнева. Уже не оставалось ни малейшей надежды, но Дэнтон еще долго расхаживал по улицам, почти машинально заглядывал в лица, толкался в толпе, скитался по всем переулкам, проходам и подъемам этого огромного человеческого улья.

Наконец, совсем неожиданно, Дэнтон увидел ее.

Был праздничный день. Дэнтону захотелось есть. Он заплатил за билет и вошел в обеденную залу одного из больших городских ресторанов. Пробираясь вперед между бесчисленными столами, он машинально разглядывал лица сидевших людей.

И вдруг остановился, не веря глазам. Совсем близко, в десяти шагах, сидела Элизабет и смотрела прямо на него. Глаза у нее были холодные, чужие, равнодушные, как у статуи. Она остановила

взор на Дэнтоне, потом взгляд ее скользнул дальше.

Уж не обознался ли он? Нет, это была она. Он узнавал каждый жест ее руки, каждый локон, своенравно падавший на белую шею. Сидевший рядом с Элизабет сказал ей что-то, и она улыбнулась ему. Это был невзрачный человек, в странном костюме с выступами и рогами, надутыми воздухом, — похожий на большую лягушку. Это был Биндон, счастливый жених, выбранный для Элизабет ее отцом.

С минуту Дэнтон стоял бледный, с диким взглядом. Потом ощутил необычайную слабость и должен был присесть у одного из столиков. Он сидел, отвернувшись от Элизабет, и не смел уже больше взглянуть на нее. Когда наконец он решился и поднял глаза, Элизабет, Биндон и еще двое уже вставали, чтобы уйти. Этими другими были ее отец и компаньонка.

Дэнтон неподвижно сидел, пока четыре фигуры не стали исчезать вдали. Тогда он внезапно вскочил и бросился вдогонку. На одну минуту он потерял их из виду. Потом на одной из пересекавшихся город широких улиц с подвижными путями он снова встретил Элизабет и ее компаньонку. Биндон и Морис исчезли.

Дэнтон больше не мог сдерживаться. Он чувствовал, что должен тотчас же заговорить с нею — иначе все кончено. Он протиснулся вперед к тому месту, где они сидели, и сел рядом. Его бледное лицо было искажено истерическим возбуждением. Он схватил Элизабет за руку.

— Элизабет! — позвал он.

Она обернулась с неподдельным изумлением. На лице ее не отразилось никакого чувства — только страх перед незнакомым человеком.

— Элизабет! — крикнул он еще раз, и голос его прозвучал странно, как чужой, — Дорогая моя, ведь вы узнаете меня?..

На лице Элизабет отразилось только беспокойство и недоумение. Она отодвинулась в сторону. Компаньонка, маленькая седоволосая женщина с подвижным лицом, подвинулась вперед. Ее холодные глаза спокойно смерили Дэнтона с ног до головы.

— Что вы сказали? — спросила она.

— Эта молодая дама, — сказал Дэнтон, — знает меня.

— Вы знаете его, милочка?

— Нет, — сказала Элизабет странным тоном и поднесла руку ко лбу, как будто повторяя заученный урок. — Я не знаю его. Я знаю... что я не знаю его.

— Но как же это... — сказал Дэнтон растерянно, — Как же это вы меня не знаете? Ведь это я, Дэнтон. Мы с вами так много разговаривали. Вспомните летательную платформу... наше местечко сверху под открытым небом... стихи...

— Нет! — воскликнула Элизабет. — Нет, я не знаю его... я не знаю... есть что-то... но я не знаю... Я знаю только то, что я не знаю его.

На лице ее было написано глубокое смутное страдание. Острые глазки компаньонки перебегали от девушки к молодому человеку.

— Видите, — сказала она с бледным подобием улыбки. — Она не знает вас.

— Я не знаю вас, — повторила Элизабет. — В этом я уверена.

— Но, дорогая, вспомните песни, стихи...

— Она вас не знает, — сказала компаньонка. — Вы, очевидно, ошиблись. Прошу вас оставить нас в покое. Нельзя же приставать на улице к незнакомым дамам...

— Однако... — возразил Дэнтон, и его бледное лицо выразило отчаянный протест против неумолимой судьбы.

— Оставьте нас, молодой человек, — нахмурилась компаньонка.

— Элизабет! — закричал Дэнтон.

На ее лице отразилась явная мука.

— Я вас не знаю! — крикнула она, поднося руку ко лбу. — О, я вас не знаю!

Дэнтон просидел с минуту как пришибленный. Потом вскочил с места и застонал вслух.

Он поднял правую руку к далекой стеклянной крыше, висевшей над улицей — это было городское небо, потом повернулся и бросился прочь, быстро переходя с платформы на платформу. Через минуту он исчез в толпе.

Компаньонка следила за ним глазами, потом оглянулась на лица любопытных, которые успели собраться кругом.

— Скажите... — сказала Элизабет, хватая ее за руку. Она была так взволнована, что не обращала внимания даже на зрителей. — Кто был этот человек? Кто был этот человек?

Компаньонка удивленно подняла брови. Потом сказала громко и умышленно внятно:

— Какой-нибудь сумасшедший. Мы его до сегодняшнего дня ни разу не видели.

— Ни разу?

— Ни разу, милочка. Не думайте о таких пустяках.

Вскоре после этого знаменитый гипнотизер, любивший одеваться в зеленое с желтым, принимал у себя нового пациента. Это был молодой человек, бледный, растрепанный, с возбужденным лицом. Он бегал по комнате взад и вперед.

— Я хочу забыть, — повторял он, — я должен забыть!

Гипнотизер посмотрел на него спокойным взглядом, изучая его лицо, одежду, движения.

— Забыть — всегда значит потерять что бы то ни было, радость или горе. Впрочем, вам лучше знать. Придется заплатить.

— Только бы мне забыть.

— Это нетрудно, раз вы сами хотите. У меня бывали дела потруднее. Да вот еще недавно. Я даже сомневался в успехе. Дело было сделано против желания загипнотизированного лица. Тоже любовная история, как и у вас. Но только это была девушка. Могу вас уверить, что...

Молодой человек подошел и сел перед гипнотизером. Все существо его напряглось. Глаза его стали острее и спокойнее.

— Я вам скажу, — начал Дэнтон. — Вам надо, конечно, знать, в чем дело. Была такая девушка. Имя ее — Элизабет Морис.

Он остановился. В глазах у гипнотизера мелькнуло удивление. Теперь Дэнтон все понял. Он вскочил, нагнулся к сидящей фигуре и стиснул желто-зеленое плечо. С минуту он не мог найти нужных слов.

— Отдайте мне ее, — сказал он наконец, — отдайте мне ее.

— Что такое? — испуганно бормотал гипнотизер.

— Отдайте мне ее!..

— Кого ее?

— Девушку, Элизабет Морис!

Гипнотизер попробовал вырваться. Он приподнялся со стула. Но рука Дэнтона сжалась еще крепче.

— Пустите! — крикнул гипнотизер и толкнул Дэнтон в грудь.

Они начали бороться. Это были странные неуклюжие движения. Ни тот ни другой не имели понятия о правильной борьбе: атлетический спорт уцелел только в цирках. Но Дэнтон был моложе и сильнее. Они повозились с минуту, потом гипнотизер повалился на пол и ударился головой о ножку стула. Дэнтон тоже упал. Испуганный своей победой, он тотчас же вскочил на ноги, но гипнотизер лежал все так же неподвижно. На лбу у него выступила белая шиш-

ка, и из рассеченного места тянулась тонкая красная струйка.

С минуту Дэнтон стоял над ним, не зная, что делать; руки у него тряслись.

Он подумал о последствиях, и ему стало страшно. Двинулся было к двери, но тотчас же вернулся.

— Нет, — сказал он вслух и подошел к противнику. Преодолевая инстинктивное отвращение культурного человека к крови, он наклонился к лежащему и пощупал у него сердце. Потом осмотрел рану. Потом поднялся и огляделся кругом. В голове у него родился новый план.

Через несколько минут гипнотизер пришел в чувство. Голова у него болела. Спиной он опирался о колени Дэнтон, который смачивал ему лицо водой.

Гипнотизер помолчал. Потом жестом показал, что, по его мнению, уже пора бы и перестать поливать его водой.

— Дайте я встану, — сказал он.

— Погодите немного, — сказал Дэнтон.

— Вы меня ударили, — сказал гипнотизер, — вы, негодяй этакий!

— Мы одни, — возразил Дэнтон, — и дверь заперта.

Они молчали и думали.

— Если я перестану смачивать, — сказал Дэнтон, — у вас на лбу вылезет такой синяк...

— Смочивайте, если угодно, — сказал гипнотизер угрюмо.

Опять помолчали.

— Так поступали в каменном веке, — сказал гипнотизер. — Борьба! Насилие!

— В каменном веке никто не смел становиться между мужчиной и женщиной, — возразил Дэнтон.

Гипнотизер немного подумал.

— Что, собственно, вам нужно? — спросил он.



— Пока вы лежали без чувств, я разыскал в ваших списках адрес девушки. Я не знал его раньше. Я позвонил ей по телефону. Она скоро будет здесь.

— Вместе с компаньонкой?

— Это все равно.

— Что же это такое? Я не понимаю. Что вы хотите сделать?

— Я подыскал себе также и оружие. Удивительная вещь, как мало оружия теперь попадает на свет! И подумать, что в каменном веке люди, кроме оружия, ничего не имели. Я нашел вот эту лампу, отодрал провода и всякие другие штуки — и вот она...

Он поднял лампу над головой гипнотизера.

— Этим я могу очень легко разбить вам череп. И я разобью, если вы не сделаете того, что я вам скажу.

— Насилием ничего не излечишь, — ответил гипнотизер цитатой из «Новейшей книги афоризмов о морали».

— Ну, тут уж болезнь, от которой я во что бы то ни стало хочу избавиться.

— Ну?

— Вы скажете компаньонке, что вы собираетесь внушить девушке согласие на брак с этой рогатой тварью... знаете, рыжий такой, а глаза как у хорька... Об этом, должно быть, уже говорилось?

— Да, говорилось.

— Ну вот. И под этим предлогом вы ей вернете память обо мне.

— Это не соответствует профессиональной этике.

— А я вам вот что скажу: я и жизни не пожалею, чтобы не потерять этой девушки, я готов на все. Мне нет никакого дела до ваших соответствий. Если не выйдет по-моему, вам не прожить и минуты. Оружие это плохое, и вам, должно быть, достанется смерть не без боли. Но я все-таки убью вас. Теперь, я знаю, убивать не принято, главным образом потому, что не из-за чего убивать.

— Компаньонка увидит вас.

— Я спрячусь в этом углу, за вашей спиной.

Гипнотизер подумал.

— Вижу, вы юноша решительный, — сказал он, — и к тому же полудикарь. Я старался исполнить свой профессиональный долг по отношению к клиенту. Но если вы решились принудить меня...

— Не вздумайте лукавить!

— Я не стану рисковать головой из-за такого пустячного дела.

— А потом?

— Гипнотизеры и врачи не любят скандалов. Вам нечего бояться нескромности. Я ведь не дикарь. И вообще мне все это надоело. Вдобавок через день другой я уже прощу вам...

— Спасибо. Теперь, когда мы обо всем сговорились, вам нет надобности больше лежать на полу.

## Глава 2 ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

За сто лет, с 1800 по 1900 год, мир изменился значительно больше, чем за предыдущие пять веков. Этот век — девятнадцатый век — был новой эпохой в истории человечества, — эпохой, когда выступили на сцену большие города и кончился старый строй тихой сельской жизни.

В начале девятнадцатого века большая часть людей еще вела сельский образ жизни, как было унаследовано от отцов и дедов. Они обитали в маленьких городках, в селах и занимались земледелием или несложными ремеслами, непосредственно связанными с сельским хозяйством земледельцев. Они мало путешествовали и редко удалялись от места своей работы, ибо средства сообщения были тогда еще медленны и плохи. Путешествовать приходилось пешком, или на гру-



Он поднял лампу над головой гипнотизера.  
— Этим я могу очень легко разбить вам череп. И я разобью, если вы не сделаете того,  
что я вам скажу.

бых судах под жалкими парусами, или, наконец, на лошадях, и самая большая скорость была шестьдесят миль в день. Подумайте только — шестьдесят миль в день!

Там и сям в эту ленивую эпоху какой-нибудь город — например, столица или гавань, — развивался, становился немножко больше соседних городов. Но все-таки можно было пересчитать по пальцам все города с населением более 100 000 человек,

Так было еще в самом начале девятнадцатого века.

За сто лет развитие железных дорог, телеграфов, паровых судов и сложных машин изменило этот порядок вещей до полной неузнаваемости. В больших городах как-то внезапно возникли огромные магазины, пестрые приманки, разнообразные удобства — и все это сразу оттеснило сельскую жизнь на задний план. С развитием машин спрос на рабочие руки уменьшился, местные рынки переполнились предложением труда. Человечество стало притекать в крупные центры; большие города быстро росли за счет деревни.

Многие писатели времен королевы Виктории упоминают об этом притоке людей в города. Они отмечают повсюду — в Англии и Америке, в Китае и Индии — одно и то же явление — огромный рост немногих городских центров и опустение сел.

Но немногие из них понимали полную неизбежность этого явления и ясно видели, что при новых путях сообщения иначе и быть не может. И вот самые смешные, ребяческие средства пускались в ход для того, чтобы одолеть таинственный магнетизм больших городов и удерживать население на старых местах.

Однако все перемены девятнадцатого века были только началом нового порядка вещей. Первые большие города

нового времени отличались большими неудобствами, они были тесны и черны от дыма и полны заразы. Введение новых способов постройки и отопления уничтожило эти неудобства.

В двадцатом веке ход изменений шел еще быстрее, чем в девятнадцатом. А в двадцать первом стремительный рост людских изобретений совершенно затмил тихое, идиллическое время Виктории.

На первом плане нужно поставить новые пути сообщения, которые совершенно перевернули всю человеческую жизнь.

Первым шагом были железные дороги. Но к 2000 году они совершенно вышли из употребления. Линии дорог со снятыми рельсами представляли собой теперь только бесполезные насыпи и длинные рвы. Старые мощеные дороги, варварски уложенные щебнем, грубо утрамбованные ручным молотом или неуклюжим катком, полные разного сора, избитые конскими копытами и колесами телег, уступили место гладким путям с настилкой из особого вещества, названного идамитом, по имени изобретателя. В истории человечества идамит занимает место рядом с книгопечатанием и паром. Каждое из этих трех нововведений послужило началом особой эпохи.

Когда Идам сделал свое изобретение, он, по-видимому, думал только о том, чтобы найти дешевый суррогат каучука, его состав стоил несколько шиллингов за тонну. Но результатов изобретения нельзя никогда предвидеть заранее. Гений другого человека, по имени Уорминг, указал на возможность использования этого материала не только для колесных шин, но также и для настилки дорог. Уорминг и организовал огромную сеть идамитовых путей, которая в течение очень короткого времени опутала собою весь земной шар.





*К 2000 году железные дороги совершенно вышли из употребления.*



Эти пути разделялись продольно на несколько полос. Две крайние полосы слева и справа были назначены для велосипедистов и для всех других экипажей со скоростью не больше 25 миль в час. Две следующие полосы назначались для скоростей до ста миль в час. Среднюю полосу Уорминг, несмотря на все насмешки критиков, оставил для проезда экипажей со скоростью больше ста миль в час.

В первые десять лет этой средней полосой не пользовались. Но еще при жизни Уорминга она наполнилась вереницей экипажей большой скорости. Это были экипажи очень легкой постройки; колеса у них были огромные — диаметром двадцать — тридцать футов, и скорость их с каждым годом все более приближалась к двумстам милям в час.

Одновременно с этим произошла и другая революция, не менее важная для жизни городов. Электрическое отопление вытеснило все другие способы. Уже с 2013 года под страхом наказания запрещалось разводить огонь, который не давал бы полного сгорания дыма. Потом все улицы, перекрестки и площади Лондона были покрыты крышей из новоизобретенного стекловидного вещества. Над всем Лондоном была теперь сплошная кровля.

Отменили устарелое запрещение строить дома выше определенной нормы. И Лондон из плоского моря мелких домов архаического вида принял цивилизованный вид и поднялся к небу. Городское управление, кроме обычных забот о водоснабжении, освещении и канализации, приняло на себя еще одну задачу — вентиляцию.

Слишком долго было бы описывать все изменения общественных и материальных условий за эти двести лет: появились летательные машины, частное хозяйство заменили огромные гостиницы,

земледельцы переселились в города и оттуда стали выезжать ежедневно на работу, деревни совершенно опустели, но зато до огромных пределов расширились немногие уцелевшие города — во всей Англии осталось четыре города, каждый с населением больше десяти миллионов.

Вместо того чтобы описывать все это, мы должны вернуться к истории Дэнтона и Элизабет. Они опять были вместе, но все еще не могли вступить в брак — у Дэнтона не было денег. Элизабет, по обычаю, могла получить наследство своей матери только тогда, когда ей исполнится 21 год. Но ведь теперь Элизабет было только восемнадцать! Она не знала, что можно было возложить свои надежды на наличные деньги, а у Дэнтона не хватало духу, чтобы намекнуть ей об этом. Таким образом, их союз не мог осуществиться. Элизабет говорила, что она очень страдает, что только Дэнтон понимает ее горе и что без него она совершенно несчастна. Дэнтон повторял, что сердце его стремится к ней и днем и ночью. Они думали только о том, чтобы встречаться как можно чаще для разговоров об общем горе.

Однажды они встретились на своем обычном месте — на станции аэропланов. Место это было там, где во времена Виктории Уимблдонская дорога выходила в поля. Но только теперь дело происходило на высоте 800 футов над землей. Отсюда открывался обширный вид на весь Лондон. Но трудно было бы описать это зрелище древнему жителю Лондона XIX века. Пришлось бы ему напомнить о Хрустальном дворце, о больших новых отелях его эпохи (в сущности говоря, это были довольно скромные постройки, хотя они и назывались «слонообразными»), о главных железнодорожных вокзалах. Но только теперь в Лондоне здания были куда обширнее, и кровли их сливались по всем направлениям в одно

целое. И над этой непрерывной кровлей вставали целые леса вечно вращающихся турбин. Однако даже из всех этих описаний лондонец XIX века мог бы получить разве что самое смутное представление о том, что для нашей четы было обыденным зрелищем.

В этот день их глазам Лондон казался тюремной оградой, и оба говорили о том, как было бы хорошо уйти отсюда и быть вместе, — быть вместе раньше, чем минут условленные три года. Ждать три года им казалось невозможным и даже преступным.

— До тех пор, — сказал Дэнтон, — мы можем умереть. Впрочем, судя по голосу Дэнтон, у него были великолепные, здоровые легкие...

Их руки сплелись крепче, и Элизабет пришла новая мысль еще ужаснее первой. Даже слезы навернулись на ее блестящие глаза и заструились по румяным щекам.

— До тех пор один из нас может...

У нее не хватило силы вымолвить страшное слово. Однако в условиях жизни теперешнего времени жениться, не имея средств, было бы слишком ужасно, по крайней мере, для тех, кто раньше привык наслаждаться комфортом. В прежнее, сельское время, которое окончилось вместе с XVIII веком, была хорошая пословица «с милым рай и в шалаше». И действительно, в то время самые последние бедняки имели возможность жить в хижинах, увитых цветами, — окна на зеленое поле, над головой небо, а в кустах у самой стены распевают птицы. Но все это давно уже прошло, и люди бедные могли теперь жить только в нижних частях огромного города, а это было уже совсем другое.

Даже в XX веке нижние кварталы городов еще выходили под открытое небо. Они занимали участки с глинистой почвой, пески или болота и были

широко открыты дыму соседних фабрик, доступны наводнениям и плохо снабжены водой. В этих кварталах гнездились болезни, поскольку ближайшим богатым соседям не грозила опасность заразиться.

Но в XXII веке рост города вверх, ярус над ярусом, и непрерывность построек скоро привели к иному размещению. Зажиточные классы обитали в роскошных гостиницах, в чертогах поближе к кровле. Рабочее население гнезилось внизу, у самой земли, так сказать, в подвальном этаже.

Здесь образ жизни и даже манеры людей мало отличались от их предков, бедняков из Ист-Энда времен королевы Виктории. Только теперь они уже вырабатывали свое особое наречие. Они жили и умирали внизу; они редко поднимались наверх, если только того не требовали сами условия работы. В таких условиях они рождались и потому переносили эту жизнь без особого ропота. Но для людей из высшего класса, таких как Дэнтон и Элизабет, жизнь внизу казалась ужаснее самой смерти.

— Что нам делать? — спросила Элизабет.

— Не знаю, — сказал Дэнтон.

Он не мог решиться намекнуть ей о наследстве и не был уверен, что Элизабет сочувственно отнесется к идее взять денег взаймы.

— Если уехать в Париж, — сказала Элизабет, — так денег не хватит даже заплатить за проезд. Да и в Париже жить без средств не легче, чем в Лондоне.

— О, если бы мы жили в прежнее время! — пылко воскликнул Дэнтон.

Их воображению даже самые бедные кварталы Лондона XIX века представлялись в романтическом свете.

— Неужто нет никакого выхода? — сказала Элизабет уже со слезами. — Неужели ждать эти долгие три года? Три

года... Подумать — тридцать шесть месяцев!..

Терпение человечества не выросло за эти века. Теперь Дэнтон заговорил о том, что уже неоднократно мелькало в его уме. Мысль эта казалась ему до такой степени дикой, что раньше он не хотел относиться к ней серьезно. Но теперь он перевел ее в слова, и она как будто стала более приемлемой.

— Мы могли бы уйти в поле, — сказал он.

— В поле?

Элизабет взглянула ему в лицо: не шутит ли он?

— Ну да, в поле. За те вон холмы...

— Но как жить там? — сказала она. — Где жить?

— Что же? — сказал он. — Люди жили в деревнях.

— У них были дома.

— Там и теперь есть развалины домов и городов. На пашнях они исчезли, но на пастбищах еще остались. Пищевая Компания не хочет тратиться на их разборку. Я это знаю наверное. И даже когда пролетаешь мимо на аэроплане, эти развалины сверху видны совершенно отчетливо. Мы могли бы привести такой дом в порядок собственными руками и поселиться там. Знаешь, это во все не так невозможно. Люди приезжают каждый день смотреть за стадами, работать на полях. Мы могли бы уговориться с кем-нибудь насчет доставки пищи.

Она нерешительно помолчала.

— Как странно, — сказала она наконец.

— Что странно?

— Странно так жить. Никто так не живет.

— Ну так что же?

— Так жить было бы странно и очень романтично. Но можно ли так жить?

— Отчего же нельзя?

— Столько вещей нам пришлось бы оставить, — сказала она, — самых необходимых.

— Пускай, — возразил он. — Из-за этих вещей вся наша жизнь стала совсем искусственной.

Дэнтон стал подробно излагать свой план, и каждое новое слово делало этот план как будто более осуществимым.

Элизабет задумалась.

— Там, говорят, есть бродяги, беглые преступники.

Дэнтон кивнул головой. Он колебался, не зная, как ответить, и опасаясь, что его слова покажутся ребячеством.

— У меня есть один знакомый, — сказал он наконец и даже покраснел. — Он мог бы мне выковать меч.

Элизабет посмотрела на него, и глаза ее зажглись. Она слыхала о мечях, видела один в музее. И теперь она подумала о тех минувших днях, когда мужчина не расставался с мечом.

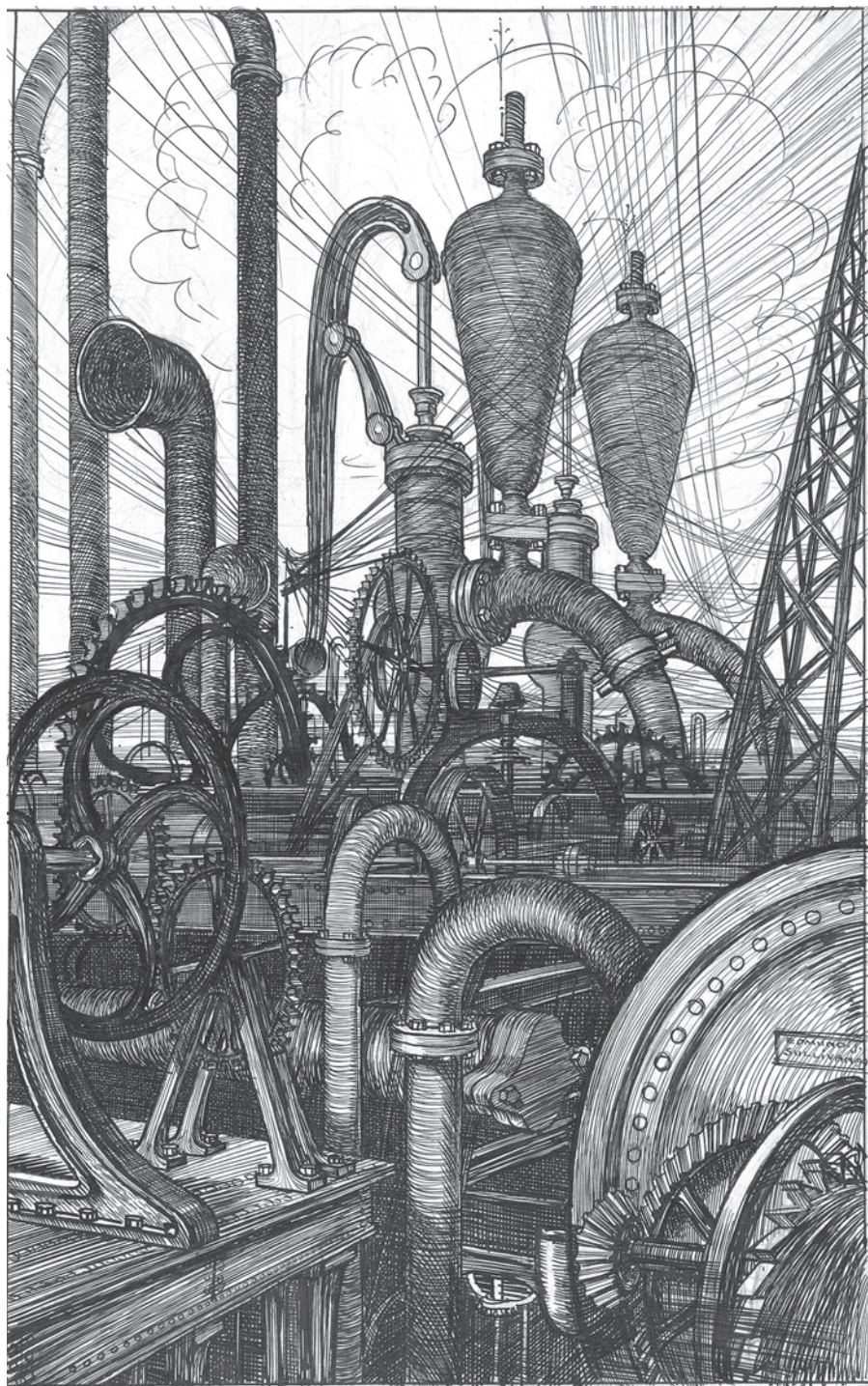
Идея Дэнтона казалась ей неосуществимой мечтой, но, быть может, именно поэтому ей жадно хотелось узнать об этом побольше. И Дэнтон начал рассказывать, все больше воодушевляясь и на лету придумывая новые подробности. Он описывал, как они стали бы жить на воле — точь-в-точь как жили древние люди. И с каждой новой подробностью у Элизабет все больше вырастал интерес к тому, что говорил Дэнтон. Она была из тех девушек, которых привлекает романтизм всего необычайного.

В этот день идеи Дэнтона казались ей неосуществимыми, но на завтра они заговорили об этом снова, и все стало как будто легче и ближе.

— Мы возьмем с собой пищу на первое время, — говорил Дэнтон, — дней на десять или на двенадцать.

В их время пища готовилась в виде прессованных плиток, и такой запас пищи не был обременительным грузом.





*Теперь в Лондоне здания были куда обширнее, и кровли их сливались по всем направлениям в одно целое. И над этой непрерывной кровлей вставляли целые леса вечно вращающихся турбин (к с. 425).*



— А где мы будем спать, — спросила Элизабет, — пока наш дом еще не будет готов?

— Теперь лето.

— Однако... А дом все-таки будет?

— Было время, когда на всем свете нигде не было домов и люди спали всегда на открытом воздухе.

— Но как же мы? Ничего нет. Ни стен, ни потолка.

— Милая, — сказал он, — в Лондоне есть много потолков и величественных сводов. Они искусно раскрашены и усеяны яркими огнями. Но я знаю один свод еще красивее и выше.

— Где же?

— Под этим сводом мы с тобой будем одни.

— Ты говоришь...

— Дорогая, — сказал он снова, — об этом своде люди забыли... Это небо, усеянное звездами!

Каждый раз, как они заговаривали об этом снова, проект Дэнтон казался им ближе и желаннее. Через неделю в этом проекте они уже не видели никаких трудностей, а еще через неделю он стал вещью совершенно неизбежной. Днем и ночью они мечтали о тихой деревне. Городской шум и суета казались им невыносимыми. И они удивлялись, почему эта прекрасная мысль не явилась им раньше.

В одно утро — это было уже в середине лета — Дэнтон уступил свое место новому служащему и сошел с летательной платформы, чтобы уже не возвращаться назад.

Молодые люди тайно обвенчались и мужественно покинули город, в котором они и их предки жили до этого дня. На Элизабет было новое белое платье, сшитое по древним образцам. Дэнтон нес на спине дорожную сумку с провизией, а в правой руке держал — не очень уверенно, правда, и слегка прикрывая полую

пурпурного плаща — такую старинную длинную штуку из кованной стали с крестообразной ручкой.

С первых шагов картина перед ними совсем изменилась.

В те времена грязные предместья эпохи Виктории с их скверными дорогами, маленькими домишками, нелепыми палисадниками из двух кустов и герани — вся эта дешевая мещанская семейственность исчезла без следа. Огромные строения нового века, сложные пути, электрические провода — все кончалось сразу, как колодец, как обрыв на четырехста футов над уровнем земли, — обрыв крутой и отвесный. Крутом города простирались поля Пищевой Компании с бесконечными грядами моркови и брюквы — эти овощи во множестве перерабатывались на фабриках готовой пищи. Сорные травы и случайные кусты совершенно исчезли; Пищевая Компания, вместо того чтобы каждое лето полоть свои гряды, предпочла одновременно произвести крупную затрату на полную очистку всех ненужных растений. Там и сям шпалеры ягодных питомников и стройные ряды яблонь, с выбеленными известкой стволами, пересекали поля; местами группы огромных ворсянок поднимали вверх свою характерную щетину. Сельскохозяйственные машины важно стояли в своих непромокаемых чехлах. Воды прежних речек — Уэй, Мол и Уандл — сливаясь, текли по прямоугольным каналам, и, где только позволял наклон почвы, бил фонтан удобрительного раствора, переливаясь радугой на солнце и во все стороны разливая свои благодатные струи.

Сквозь широкую арку в огромной городской стене выходила выстланная идамитом дорога на Портсмут, даже и в этот ранний утренний час переполненная экипажами разного рода. Это были синие блузы, слуги Пищевой Компании,

которые спешили в поля на работу. По наружным полосам дороги жужжали моторы помельче, старинной конструкции; они отправлялись не очень далеко, миль за пятнадцать — двадцать. По внутренним путям бежали более крупные моторы. Быстрые, об одном колесе, несли на себе десятка полтора людей; длинные, многоколесные, летели вдогонку; четырехколесные катили, доверху наполненные грузом; гигантские телеги мчались порожняком, чтобы перед закатом вернуться с зерном и овощами; стучали машины, чуть шуршали бесшумные колеса; гудел буйный оркестр звонков, свистков и сирен. И по самому краю внешней полосы шли новобрачные, молча, с смущенным видом. На них сыпались шутки сверху — с проезжавших колесниц: в 2100 году пешеход на английских дорогах представлял такое же редкостное зрелище, какое мог бы представить автомобиль в 1800 году.

Но Элизабет и Дэнтон шли вперед, глядя в сторону и не отзываясь на оклики.

На юге показались холмы в голубой дымке; чем ближе, тем холмы эти становились все зеленее. Вершины их были увенчаны цепью огромных турбин, еще более мощных, чем те, которые стояли на кровле города, и взад и вперед мелькали длинные утренние тени этих высоких бегущих колес.



*Вершины холмов были увенчаны цепью огромных турбин, еще более мощных, чем те, которые стояли на кровле города, и взад и вперед мелькали длинные утренние тени этих высоких бегущих колес.*

ких бегущих колес. В поддень Элизабет и Дэнтон подошли так близко, что могли уже различать полоски мелких пятен. Это были овцы из стад Мясного Отдела Пищевой Компании. Еще через час миновали последние гряды. Изгородь тоже окончилась, гладкая дорога и все мчавшиеся по ней экипажи — все это свернуло в сторону. Перед путниками было на-

конец открытое поле. Они сошли с тропы, пошли по зеленому дерну и стали подниматься вверх по кособокому.

Еще ни разу в жизни эти дети нового города не были в таком уединенном месте. Оба они ощущали усталость и голод — ходить пешком им приходилось нечасто — и почти тотчас же уселись на выкошенном лугу. Потом они оглянулись на город, откуда вышли. Сквозь легкую дымку, встававшую с Темзы, просматривал город, огромный, прекрасный. Элизабет с некоторым страхом смотрела на овец, бродивших по пригорку, немного повыше. Она впервые видела крупных животных на воле и так близко. Но Дэнтон успокоил ее. Над ними вверху в синеве парила белокрылая птица.

Прежде всего они позавтракали, и тогда языки у них развязались. Дэнтон стал говорить о предстоящем счастье, о том, что было безумно так долго томиться в пышной темнице городской жизни, о той романтической прелести, которая исчезла из мира навеки. Скоро он расхвастался, завел речь о храбрости и даже поднял меч, который лежал рядом на земле. Элизабет взяла меч у него из рук и слегка провела пальцем по лезвию.

— И ты мог бы, — сказала она неуверенным голосом, — вот этим мечом ударить человека?

— Что ж, если нужно...

— Это ужасно, — сказала она. — Была бы такая рана... И кровь... — добавила она окончательно упавшим голосом.

— Но разве ты не читала в старинных романах...

— Ах нет! — возразила она. — Это совсем другое дело. И в живых картинах это тоже не кровь, только красная краска... Все это знают. Но неужели ты мог бы убить человека — ты?!

Она посмотрела на него нерешительным взглядом, потом отдала ему меч.

Поев и отдохнув, они встали и отправились дальше. Скоро они подошли вплотную к огромному стаду овец; овцы во все глаза глядели на путешественников и блеяли от изумления. Элизабет никогда не видела овец, и ей прямо подумать было страшно, что этих нежных созданий можно убивать и есть. Овчарка залаяла вдали; тотчас же пастух показался между подпорами турбин и подошел ближе. Пастух прежде всего спросил путников, куда они идут.

Дэнтон замаялся и коротко сказал, что они ищут тут какой-нибудь старый дом, в котором они могли бы поселиться. Он старался говорить небрежно и уверенно, как будто это была самая обыкновенная вещь. Но пастух покачал головой.

— Вы что-нибудь настряпали? — задал он вопрос.

— Ничего мы не настряпали, — возразил Дэнтон. — Только мы не хотим больше жить в городе. Зачем это нужно вечно жить в городах?

Пастух еще более недоверчиво покачал головой.

— Как вам жить здесь? — сказал он.

— Мы посмотрим.

Пастух посмотрел сперва на Дэнтона, потом на Элизабет.

— Вы завтра же уйдете, — сказал он с тем же упорством. — Днем-то оно недурно, как солнце светит... Что, это правда, что вы ничего не настряпали? Знаете, мы, пастухи, с полицией не в очень большой дружбе.

Дэнтон посмотрел на него и пожал плечами.

— Я вам говорю: ничего, — повторил он, — но только мы слишком бедны, чтобы жить в городе. А носить синюю блузу и работать из-под указки у нас охоты нет. Мы попробуем жить здесь скромной жизнью, как жили прежние люди.

Лицо у пастуха все обросло бородой, глаза у него были задумчивые. Он

посмотрел на Элизабет испытующим взглядом.

— У прежних людей были скромные вкусы, — сказал он.

— У нас тоже, — сказал Дэнтон.

Пастух усмехнулся.

— Ступайте этой дорогой, — сказал он, — вдоль самых турбин. С правой стороны вы увидите груду развалин. Там прежде был город, называвшийся Эпсом. В нем уже не осталось домов и даже кирпичи пошли на постройку овечьих загонов. Идите дальше и увидите другую груду развалин на самом краю огорогов. Это Лезерхед. Тут холмы поворачивают к западу и уже попадаются буковые леса. Вы все идите дальше по самому верху. Придете в дикую глушь; тут кое-где, несмотря на все хлопоты, еще растут колокольчики, папоротник и всякие другие негодные травы. По всему этому месту под самыми турбинами проходит прямая дорога, мощенная камнем. Это, говорят, еще римская дорога — ее построили за две тысячи лет до нашего времени. Оттуда свернете вправо и спуститесь в долину. Там найдете реку, идите вдоль берега — и скоро вам повстречается длинный ряд домов. У многих еще и крыши целые. Там вы найдете себе приют.

Они поблагодарили.

— Но только там невесело. По ночам освещения нет и что-то слышно насчет грабителей. Уныло там. Ничего нету: ни кинематографов, ни говорильных машин. Купить что — лавок нет; заболее — доктора нет...

— Мы попробуем, — сказал Дэнтон и повернулся, чтобы идти дальше.

Но тут внезапно пришла ему в голову блестящая мысль, и он уговорился с пастухом насчет будущего: пастух согласился покупать и привозить для них из города все, что понадобится.

К вечеру они добрались до заброшенного селения. Селение это показав-

лось им таким маленьким и странным. Дома сияли золотом в блеске заката, все было тихо и пустынно. Они переходили от одного дома к другому, дивились древней простоте и игрушечным размерам домов и не знали, который выбрать. Наконец, в одной комнате, залитой солнцем, сквозь развалившуюся стену они увидели цветок — маленький голубой цветок, пропущенный острыми серпами Пищевой Компании.

В этом доме они и решили поселиться. Впрочем, в эту ночь они оставались в доме недолго: им хотелось быть ближе к природе. И кроме того, после заката внутри дома стало так темно и призрачно... Поэтому, отдохнув немного, они вышли и вернулись на холм, чтобы посмотреть собственными глазами на звездное небо, о котором так много поют старинные поэты. Это было поразительное зрелище, и Дэнтон был красноречив, как звезды. Вниз, к селению, они вернулись, когда рассвет уже забрезжил в небесах. Спали мало. Утром проснулись и услышали — черный дрозд пел на дереве под окном.

Так начала свое добровольное изгнание эта юная чета XXII века. В первое утро они стали исследовать всю обстановку и ресурсы своего нового жилища. Они не очень торопились и не разлучались ни на минуту, но все же отыскали кое-какие вещи. Недалеко от селения были сложены запасы зимнего корма для овец Компании. Дэнтон принес несколько охапок сена — из сена они сделали себе постели. В разных домах нашлись старые стулья и столы, источенные червями. Вся эта мебель была из дерева и показалась им очень примитивной и грубой. В этот день разговоры у них были все такие же восторженные. К вечеру нашли новый цветок, одуванчик. После полудня мимо проехал экипаж с пастухами Компании. Но Элизабет и Дэнтон спрятались от них, чтобы ничто не нарушило



романтического уединения этого уголка из старого мира.

Так они прожили неделю. И всю эту неделю дни были ясными и ночи звездными, и каждую ночь прибывающая луна выходила на тихое небо.

И все же первые красочные впечатления уже поблекли и неудержимо бледнели с каждым днем. Красноречие Дэнтон иссякло, не хватало тем для разговора; от непривычной ходьбы по длинной дороге из Лондона в теле осталась глухая усталость, и оба страдали от легкой простуды. Притом Дэнтон не знал, куда девать свое время. В одном углу в беспорядочной куче старого хлама он нашел ржавую лопату и попробовал вскопать ею задний двор, заросший травой, хотя нечего было сажать или сеять. Но через полчаса он вернулся к Элизабет весь в поту, задыхаясь от усталости.

— Они, должно быть, были прямо гиганты, эти старинные люди, — сказал он жене, не принимая в расчет значение привычки и упражнения.

В этот день они пошли на прогулку в сторону Лондона и шли до тех пор, пока не увидели мерцавший вдали город.

— Что-то там делается? — сказал Дэнтон задумчиво.

Затем погода испортилась.

— Пойдем поглядим на тучи! — позвала Элизабет.

Тучи надвигались с востока и с севера; они были черные, с пурпурными краями, и уже стояли над головой. Пока молодые люди взбирались на холм, лохмотья быстрых туч закрыли закат. Вдруг налетел ветер, покачнул темные буки: Элизабет стало холодно. Потом на горизонте блеснула молния, как внезапно обнаженный меч; вдали гром прокатился по небу. И пока они изумленно смотрели вверх, упали первые капли дождя. Еще через минуту последний солнечный луч исчез под завесой града, молния снова

блеснула, гулко прокатился гром, и весь мир кругом потемнел и нахмурился.

Схватившись за руки, эти питомцы города, страшно пораженные невиданным явлением, побежали с холма вниз. Но прежде чем они добежали домой, Элизабет заплакала от страха: черная земля побелела, кругом прыгал град.

Тогда началась для них странная и ужасная ночь. В первый раз за всю свою жизнь они были в потемках. Было мокро и холодно. Град барабанил по крыше; сквозь ветхие потолки заброшенного дома струились потоки воды и оставляли на полу озера и ручьи. Буря с размаху ударяла в покинутый дом, дом скрипел и трясся, порой с крыши скатывалась оторванная черепица и с грохотом падала вниз в пустую оранжерею у задней стены. Элизабет молчала и дрожала от холода.

Дэнтон накинул ей на плечи свой модный плащ, пестрый и тонкий, и они сидели рядом в темноте. Гром грохотал все ближе и оглушительнее, молния сверкала, озаряя мгновенным блеском мокрые стены комнаты.

До сих пор им случалось бывать на открытом воздухе только в ясную, солнечную погоду. Они проводили все свое время в сухих и теплых проходах и залах огромного города. В эту ночь им казалось, будто они попали в какой-то другой мир, в какой-то буйный и бесформенный хаос, и они вспоминали о городе как о чем-то далеком и светлом, почти невозвратном.

Дождь лил без конца, и гром гремел. Наконец, они задремали в промежутке между раскатами — и тут почти внезапно все прекратилось. Потом последний порыв стихающего ветра донес до них какие-то незнакомые звуки.

— Что это? — воскликнула Элизабет. Звуки повторились. Это был собачий лай. Он прозвучал в глухом переулке под самым окном и покатился дальше.

Сквозь окно падал на стену бледный луч луны, и в белом квадрате четко рисовались оконные перекладины и ветви стоявшего неподалеку дерева.

Через некоторое время, с первым отблеском туманного рассвета, вернулся собачий лай, прозвучал и оборвался. Они вслушались. И почти тотчас же услышали за стеной быстрый и легкий топот, короткое тьяканье. И опять все стихло.

— Тсс! — сказала Элизабет и указала рукой на дверь. Дэнтон шагнул к двери и остановился, прислушиваясь.

Затем повернулся опять к своей подруге.

— Это, должно быть, овчарки Компании, — сказал он с умышленной небрежностью. — Они нас не тронут.

Он сел рядом с Элизабет.

— Ну и буря была! — сказал он, чтобы скрыть свое все растущее беспокойство.

— Я не люблю собак, — сказала Элизабет после долгого промежутка.

— Собаки никого не трогают, — возразил Дэнтон. — В прежние годы, в девятнадцатом веке, почти у всякого была собственная собака.

— Я читала историю, — сказала Элизабет, — как одна собака загрызла человека.

— Ну, это была не такая собака, — возразил Дэнтон. — Знаешь, в таких рассказах не все ведь правда.

Неожиданно снова раздались лай и топот собачьих лап на лестнице. Дэнтон вскочил с места, быстро разрыв сено постели и вытащил меч. В дверях показалась овчарка и остановилась на пороге. За ней была другая. С минуту человек и зверь молча смотрели друг другу в глаза. Потом Дэнтон нахмурился и сделал шаг вперед.

— Пошла! — крикнул он и неуклюже взмахнул мечом. Собака заворчала. Дэнтон остановился.

— Песик, песик! — попробовал он прибегнуть к ласке.

Собака залаяла.

— Песик! — повторил Дэнтон.

Вторая овчарка тоже залаяла. На лестнице отозвалась третья. Другие на дворе подхватили и залились. Дэнтону показалось, что их очень много.

— Это уже хуже, — сказал Дэнтон, не отрывая глаз от первого пса. — Дело в том, что пастухи не приходят так рано. Эти собаки не могут понять, откуда мы взяли.

— Я ничего не слышу! — крикнула Элизабет. Она подошла и встала рядом с Дэнтоном.

Дэнтон повторил свои слова, но собачий лай заглушал его голос. Эти звуки раздражали его. Они зажигали в нем кровь, будили в его груди странные чувства. Он крикнул еще раз, и лицо его искажилось. Собачий лай как будто передразнивал его. Одна овчарка оскалила зубы и ступила вперед. И вдруг Дэнтон повернулся, крикнул ругательство на языке лондонских подвальных этажей, — к счастью, непонятное для Элизабет — и бросился на собак. Лай оборвался, собака зарычала, захрипела. Элизабет увидела голову передней овчарки, прижатые уши, оскаленные зубы. Сталь блеснула в воздухе. Собака подпрыгнула и отскочила назад. Дэнтон с криком погнался за собаками. Он размахивал мечом с неожиданной силой и гнался за ними по лестнице вниз. Элизабет пробежала шесть ступеней и увидела — внизу около лестницы земля была залита кровью. Элизабет побежала за ним, но на площадке остановилась, услышав на улице шум, возню и крики Дэнтона, и подбежала к окну.

Овчарки рассыпались в разные стороны. Их было девять штук. Одна корчилась на земле перед самой дверью. Дэнтон с криком бросался на собак — им овладела горячка, которая дремлет в крови

самых цивилизованных людей. Потом Элизабет увидала нечто, чего Дэнтон еще не замечал в пылу борьбы. Собаки стали заходить справа и слева. Они собирались напасть на Дэнтона сзади.

Элизабет поняла опасность и хотела крикнуть. Секунду или две она простояла с замирающим сердцем, потом, повинаясь непонятному импульсу, подобрала свои белые юбки и бросилась вниз. В сенях стояла ржавая лопата. Элизабет схватила ее и выскочила наружу.

Она явилась на помощь Дэнтону как раз вовремя. Одна собака уже валялась на земле, почти перерезанная пополам, но другая схватила его за ногу, третья набросилась на него сзади и рвала с него плащ, а четвертая грызла зубами меч, и морда у нее была вся в крови. Пятая тоже собиралась кинуться, и Дэнтон подставил ей навстречу левую руку.

Элизабет бросилась вперед с дикой отвагой, как будто это был второй век, а не двадцать второй. Вся ее мягкость и городская изнеженность мигом исчезли. Лопата опустилась и расколола собачий череп. Другая собака, вместо того чтобы прыгнуть, испуганно взвизгнула и бросилась в сторону.

Две драгоценных секунды собачьего времени бесплодно ушли на возню с оборванной женской одеждой.

Дэнтон отшатнулся. Плащ его свалился на землю вместе с собакой. И эта собака попала под лопату и вышла из строя. Он ткнул мечом ту, которая кусала его за ногу.

— К стене! — крикнула Элизабет.

Через несколько секунд бой был окончен. Молодые люди стояли рядом, а уцелевшие собаки, поджав хвосты, постыдно убегали прочь. С минуту победители простояли так, тяжело дыша, потом Элизабет уронила лопату и расплакалась навзрыд, даже на землю опустила. Дэнтон оглянулся вокруг, воткнул меч остри-

ем в землю — так, чтобы он был под рукой, — и стал утешать жену.

Постепенно они успокоились и могли говорить. Элизабет стояла, прислонившись к стене. Дэнтон сидел перед ней, следя глазами за движением собак: две собаки еще остались и продолжали лаять издали, с холма.

У Элизабет все лицо было в слезах, но на душе у нее становилось легче: Дэнтон все повторял ей, что именно ее храбрость спасла ему жизнь. Но вдруг мысль о новой опасности мелькнула в ее уме.

— Это собаки Компании, — сказала она. — Выйдет история.

— Я тоже боюсь, — подтвердил Дэнтон. — Они могут взискать с нас убытки.

Пауза.

— В прежние годы, — снова заговорил Дэнтон, — такие вещи случались каждый день.

— Я бы не вынесла этого еще раз, — сказала Элизабет.

Дэнтон поглядел на нее. Ее лицо осунулось и побледнело от бессонницы. Он быстро решился.

— Надо вернуться! — сказал он.

Элизабет посмотрела на мертвых собак и вздрогнула от страха.

— Здесь нельзя оставаться, — сказала она.

— Надо вернуться, — повторил снова Дэнтон, все время через плечо оглядываясь на собак. — Мы провели здесь несколько счастливых дней. Но мир слишком изменился. Мы принадлежим к городской эпохе. Здесь жизнь нам не под силу.

— Но что же нам делать? Как жить в городе?

Дэнтон колебался. Он постучал ногой в стену, на которой сидел.

— Есть одна вещь, о которой я не решился говорить, но...

— Ну?





*Элизабет уронила лопату и расплакалась навзрыд, даже на землю опустилась.*



— Можно бы занять денег под твоё наследство.

— Правда? — спросила она стремительно.

— Конечно, правда. Какой же ты ребенок...

Элизабет встала, и лицо у нее просветлело.

— Отчего ты не сказал мне этого раньше? — упрекнула она. — Столько времени мы просидели здесь!

Дэнтон посмотрел на нее, усмехнулся, и тотчас же улыбка его исчезла,

— Мне было неловко разговаривать о деньгах, — сказал он. — Я думал, ты знаешь сама. И потом жизнь здесь мне представлялась такой прекрасной.

Оба замолчали.

— Три дня были хорошие, — заговорил он снова, — три первые дня.

— Да, — согласилась Элизабет, — три первые дня... — И она взглянула на собак. — Пока не началось все это...

Они поглядели друг другу в лицо. Потом Дэнтон слез со стены и взял Элизабет за руку.

— Каждое поколение, — заговорил он, — живет по-своему. Теперь я это понимаю яснее. Мы родились для жизни в городе. Все другое — не для нас. Эти дни были как сон, а теперь настало пробуждение.

— Прекрасный сон! — вздохнула Элизабет. — Эти первые дни...

Они долго молчали.

— Надо торопиться, — сказал Дэнтон, — не то пастухи нас застанут. Мы захватим свои запасы и поедем в дороге.

Дэнтон поглядел на дорогу, и, далеко обходя убитых собак, они перешли через двор и вошли в дом. Забрав свою сумку с едой, они спустились назад по залитым кровью ступеням. Перед выходом Элизабет остановилась.

— Минутку, — сказала она. — Я только посмотрю... постой, надо еще попрощаться.

Она пришла в комнату, где между камней рос голубой цветок. Наклонилась и погладила лепестки.

— Сорвать его? — сказала она, — Нет, не могу... — И, отдаваясь какому-то порыву, она наклонилась еще ниже и поцеловала голубые лепестки.

Потом они молча прошли через двор, вышли на дорогу и с решительными лицами направились обратно к далекому городу, к тому сложному и шумному машинному городу новой эпохи, который поглотил деревню и все человечество.

### Глава III ЗАКОНЫ ГОРОДА

Среди величайших изобретений, изменивших историю мира, видное, если не главное, место занимают те усовершенствования в области транспорта, которые начались железными дорогами и через столетие с лишком окончились мотором большой скорости и патентованной новейшей мостовой. Это изменение способов передвижения вместе с ростом акционерных компаний ограниченной ответственности и вместе с заменой сельских рабочих новыми усовершенствованными машинами и искусными механиками привели человечество к тому, что оно сосредоточилось в небывало разросшихся городах, а также произвели революцию во всей человеческой жизни; неизбежность такого результата теперь была до того очевидной, что можно было только удивляться как это никто не предвидел всего этого заранее. И вот все-таки никто не настаивал, чтобы были своевременно приняты какие-нибудь меры для предотвращения несчастий, связанных с такой революцией. Сама идея того, что моральные запреты и разрешения, уступки и преимущества, понятие красоты и удобства, ответственности и прили-

чия, словом, все то, что давало богатство и счастье прежним земледельческим государствам, окажется совсем непригодным в стремительном потоке новейших возможностей и новейших стимулов — такая идея была совершенно чужда сознанию людей XIX века. То, что гражданин, в обыденной жизни порядочный и честный, может в качестве акционера проявить убийственную жадность; что коммерческие приемы и методы, допустимые в старинном поместье, разрастутся до пределов смертоносных и губительных; что прежняя филантропия делается новейшим пауперизмом; что прежняя служба обратится в форменную потогонную систему; что вообще пересмотр и расширение прав и обязанностей человека действительно необходимы, — все эти вещи были совершенно недоступны сознанию людей XIX века, — сознанию, которое росло под влиянием устарелой системы воспитания и во всех своих умственных навыках постоянно обращалось назад и хваталось за букву закона. Было известно, что скопление людей в городах порождает неслыханную опасность заразы, и поэтому энергично стремились к оздоровлению города; но то, что зараза лихоимства и азарта, жестокости и роскоши привьется в человечестве и вызовет ужасные последствия — этого не могли уразуметь умы XIX века. И вот, таким образом, рост городов, кишящих человеческим несчастьем, рост, который знаменует собой начало XXI века, вылился в неорганический процесс, совершенно не управляемый творческой волей человека.

Новое общество делилось на три основных класса. На самой вершине стоял Собственник, случайно, помимо своей воли ставший владельцем полумира, всесильный и безвольный, последнее воплощение Гамлета на земле. Внизу копошилась огромная масса рабочих, под-

властная гигантским компаниям, объединившим производство. Промежуточное место занимал средний класс, численность которого медленно убывала. Тут были чиновники всякого рода, надсмотрщики, заведующие, врачи, ученые, адвокаты, артисты; также мелкие акционеры и рантье. Они жили с комфортом, но обеспеченного положения не имели и зависели от немногих промышленных магнатов.

К этому среднему классу и принадлежали Дэнтон и Элизабет. После неудачной попытки жить в полях они снова вернулись в Лондон. У Дэнтона не было средств, и потому Элизабет сделала заем в расчете на бумаги, которые хранились у Мориса в ожидании ее совершеннолетия.

Ей пришлось заплатить высокие проценты, ибо ручательство в уплате было не очень надежное; к тому же арифметика влюбленных отличается неясностью и оптимизмом. Для них настали светлые безоблачные дни. Они решили отказаться от поездки в дальний Город Веселья и не тратить время в воздушных путешествиях из одной части света в другую; несмотря на все разочарования, они еще были верны своим старомодным вкусам. И потому они наняли квартиру и стали украшать ее мебелью старинных эпох. На сорок втором этаже Седьмой улицы отыскали лавку, где можно было покупать настоящие печатные книги XIX века. Им доставляло удовольствие заменять новейший фонограф старинным чтением.

Когда, с течением времени, на свет появилась маленькая девочка, Элизабет, вопреки обычаю, не отослала ее в ясли, а оставила при себе. Конечно, из-за этой прихоти их квартирная плата была повышена, но на это не стоило обращать никакого внимания — только пришлось сделать новый заем побольше прежнего.

В свое время Элизабет достигла совершеннолетия, и Дэнтон имел с ее от-

цом деловой разговор не очень приятного свойства. Затем последовал другой разговор — с ростовщиком, еще более неприятный. Дэнтон вышел оттуда бледный и отправился домой. Тут Элизабет с увлечением стала ему описывать, как их удивительная малютка научилась складывать губки и выговаривать «гу!», но он не слушал. В самом разгаре рассказа он прервал Элизабет восклицанием:

— Как ты думаешь, сколько у нас осталось денег после всех расчетов?

Элизабет сразу замолкла и перестала восхищаться гениальностью Гу, аккомпанировавшей рассказу Элизабет своими криками.

— Ты говоришь...

— Да, я говорю. Мы были глупы. Эти проценты за долг и еще бог знает что. И к тому же бумаги упали. Отец не следил. Сказал, что после нашего поступка это не его дело. Он, видишь ли, еще сам собирается жениться. А у нас всего-навсего осталась тысяча.

— Одна тысяча?

— Да, одна тысяча.

Элизабет опустила на стул. Она побледнела, взглянула на Дэнтона, потом обвела глазами милую старомодную комнату с мебелью XIX века и настоящими олеографиями и поглядела на маленькую, беспомощную фигурку, лежавшую на руках.

Дэнтон поймал этот взгляд и понурил голову. Но тотчас же резко повернулся и забежал по комнате.

— Мне надо искать работу, — заговорил он быстро, — я подлый бездельник. Мне надо было раньше подумать об этом. Я жил, как дурак. Боялся оставить тебя одну. Он оборвал свою речь, подошел к жене и поцеловал ее, потом поцеловал личико своей маленькой девочки, прильнувшей к груди Элизабет.

— Не бойся, дорогая, — сказал он уже успокоительно. — Теперь ты не бу-

дешь скучать, малютка Дингс уже начнет понемногу говорить с тобой. А я стану искать работу. Найду, наверное... Только в первую минуту я оробел. А теперь я вижу — все уладится. Я уверен. Вот я только отдохну и тотчас же отправлюсь. Это всегда только сначала тяжело...

— Конечно, эту квартиру жалко оставить, — сказала Элизабет, — но все-таки...

— Зачем же оставлять? Поверь мне, и так обойдется.

— Дорого...

Но Дэнтон не дал ей говорить дальше об этом. Он стал распространяться о своей будущей работе. Он не делал никаких определенных указаний, но тем тверже была его уверенность: что-нибудь да найдется, что-нибудь такое, что даст им возможность жить по-прежнему — жизнью людей обеспеченного класса. Другой жизни до сих пор они не знали.

— В Лондоне проживают тридцать три миллиона, — сказал Дэнтон. — Среди этих миллионов должны же быть такие, которым я понадоблюсь.

— Должны быть.

— Беда в другом. Видишь ли, этот Биндон, тот маленький смуглый старик, за которого твой отец хотел тебя выдать, — человек с влиянием. Я не могу поступить на свое прежнее место: Биндон стал директором служащих нашей Летательной Станции.

— Я этого не знала, — сказала Элизабет.

— Он получил назначение с месяц назад. Не случись этого, думать пришлось бы недолго — меня все любили на станции. Но это ничего не значит, есть много других занятий, целые десятки. Не беспокойся, моя дорогая.... Вот я немного отдохну, потом мы пообедаем и я полечу на поиски. У меня уйма знакомых!

Они отдохнули, отправились в обеденную залу, и после обеда прямо отту-

да Дэнтон пошел искать себе место. Но очень скоро он убедился, что, несмотря на весь новейший прогресс, есть вещь, которая попадает на свете по-прежнему редко, — а именно легкое, удобное, почетное и выгодное место, которое давало бы досуг для семейной жизни, не требовало бы особенных знаний, не было бы связано с усиленной работой или риском и вообще не было бы связано ни с какими жертвами. Он составлял разнообразные проекты и, странствуя по городу из конца в конец, тратил свое время на розыски влиятельных друзей. Влиятельные друзья принимали его приветливо и не скупились на обещания, но, когда речь доходила до деловых подробностей, тон их изменялся и становился уклончивым. Он прощался с ними холодно и потом на ходу размышлял об их отношении к нему, кипятился и забегал в телефонную будку, чтобы тратить время и деньги на ссору очень энергичную, но совершенно бесполезную.

А время все уходило. Дэнтон до такой степени упал духом, что ему стоило усилий выказывать перед Элизабет прежнюю бодрость и веру. Впрочем, Элизабет ясно читала в его озабоченной душе — у всех любящих женщин есть эта способность.

В одно утро Дэнтону пришлось наконец заговорить. Но после длинного и запутанного предисловия Элизабет сама пришла к нему на помощь. Дэнтон опасался, что она расплатится: дело шло о продаже их обстановки, всех этих с такой любовью собранных сокровищ старинной эпохи: шитых ковриков, занавесей, лакированной мебели, гравюр и акварелей в позолоченных рамках, цветов в горшках, птичьих чучел и разных других редкостей. Но Элизабет первая произнесла решительное слово. Она весело глядела, как будто распродажа и предстоящий переезд на другую квартиру, этажей

на десять ниже, только забавляли ее.

— Пока с нами малютка, все это пустое, — повторяла она. — Маленький опыт — и только.

Дэнтон поцеловал ее и похвалил ее мужество, но не решился напомнить, что их квартирная плата на новом месте будет значительно выше из-за того веселого крика, которым малютка Дингс встречала вечный уличный гам. Дэнтон рассчитывал избавить Элизабет от зрелища этой печальной продажи, но в последнюю минуту вышло так, что Элизабет осталась торговаться со скупщиками, а Дэнтон ушел из дома и долго блуждал по улицам, расстроенный и бледный, и со страхом думал о будущем.

Из своих богато меблированных бело-розовых апартаментов они перебрались в дешевый отель. Первую неделю Дэнтон проявлял огромную энергию, но следующую угрюмо просидел дома, никуда не выходя. Все это время Элизабет сияла, как солнце, но под конец горе Дэнтона нашло выход в слезах. После этого он снова отправился на поиски, и, к собственному удивлению, нашел наконец работу.

Его притязания успели уже уменьшиться, у он соглашался на любую должность, только бы не сделаться рабочим Компании. В первые дни он рассчитывал занять хорошее место на службе Воздушных Двигателей, или по Водоснабжению, или при Городских Путиях; он пробовал также пристроиться в конторах Извещений, которые заменяли газеты; пытался вступить компаньоном в промышленное предприятие, но все это оказалось из области мечтаний. Потом попробовал играть на бирже — и триста золотых «львов» из последней тысячи ушли по этой дороге. Теперь он был рад и тому, что его наружность и манеры доставили ему наконец место приказчика в большом Синдикате Шляп Сусанны — сюда



Дэнтон взяли пока на пробу, на месяц. Синдикат Сусанны торговал дамскими чепчиками, цветами, перьями, но больше всего шляпами: хотя городские улицы были прикрыты кровлей, дамы все-таки еще носили в театрах и церквах пышные, богато разукрашенные шляпы.

Было бы поучительно показать бывшему лавочнику с Риджент-стрит XIX века этот современный магазин. Восемнадцатая улица еще иногда называлась по старой памяти Риджент-стрит, но теперь она была заполнена бегущими платформами и имела около восьмисот футов ширины. Средняя часть улицы была неподвижна, и оттуда спускались широкие лестницы на подземные пути, к домам направо и налево. Сверху, по обе стороны, как подвижные террасы, друг над другом бежали платформы различной скорости; каждая дальнейшая ступень двигалась быстрее предыдущей на пять миль в час, так что можно было легко переходить с платформы на платформу и, добравшись до самой быстроходной, вместе с ней переправиться на другой конец города.

Магазин Шляп Сусанны широким фасадом выходил на верхнюю улицу, справа и слева. С обеих сторон виднелись вверху, ярус над ярусом, ряды широких экранов из белого стекла; на экранах, непрерывно сменяясь, выплывали ярко освещенные и увеличенные изображения известных красавиц, увенчанных новыми шляпами. На средней неподвижной полосе всегда собиралась толпа, любящая кинематографом, где демонстрировались последние модные новинки. Вся наружная часть здания представляла собою постоянно меняющуюся хроматическую гамму красок. По обоим фасадам во всю ширину — на четыреста футов — и вверху над экранами поперек всей улицы вспыхивала, мигала и сверкала сотнями разных цветов и шрифтов та же неизменная надпись:

СУСАННА — ШЛЯПЫ!  
СУСАННА — ШЛЯПЫ!

Целая батарея огромных фонографов заглушала уличный шум и выпаливала: «Шляпы!» — прямо в уши прохожим. Подальше — другая батарея приглашала столь же оглушительно: «Зайдите к Сусанне!» — а третья задавала вопрос: «Почему же бы не покупаете барыш — не шляпу?» Для тех, кто страдал глухотой, — а в Лондоне того времени было немало таких — надписи всякого рода отбрасывались с кровли прямо на платформы пути; каждую минуту являлся огненный палец и писал на чьей-нибудь руке, или лысине, или на дамском плече все тот же заветный лозунг: «Шляпы, дешевые шляпы!»; из-под самых ног вырывался сноп пламени и развертывался в такую же надпись.

И все-таки уличная жизнь протекала с таким напряжением, а зрение и слух до такой степени привыкли пропускать мимо все ненужное, что многие тысячи жителей каждый день проходили по этому месту и даже не знали названия «Шляпы Сусанны». Для входа в магазин нужно было спуститься от средних платформ по лестнице вниз и пройти по пассажиру. Там прогуливались красивые девушки, которые за умеренную плату соглашались служить живой выставкой для новых шляп. В переднем зале у входа грациозно вращались на пьедесталах восковые бюсты женщин, увенчанных шляпами; за кассами тянулись длинные ряды отделений. В каждом отделении были зеркала, кинематограф, мягкие кресла и изысканные лакомства. Все это находилось в заведовании приказчика, который имел под рукою несколько модных образцов и был связан телефоном и передаточной проволокой с центральным депо магазина.

Дэнтон занял место приказчика в одном из таких отделений. Обязанности его

состояли в том, чтоб встречать каждую покупательницу, быть с ней возможно любезнее, угощать ее сладостями, разговаривать с ней на какую угодно тему, но при этом стараться незаметно перевести разговор на шляпы. Дэнтон должен был также предлагать для примерки различные образцы и при этом высказывать свой восторг — но так, чтобы не было заметно лести, чтобы восхищение выражалось больше в жестах и взглядах, чем в словах. В отделении был набор подвижных зеркал. Эти зеркала были устроены так, что путем легких изменений поверхности и окраски можно было в самом выгодном свете показать женщину любого типа и сложения; многое зависело от того, как пользоваться этими зеркалами.

Дэнтон принялся за эти странные маневры с таким жаром, который с полгода тому назад удивил бы его самого. Но все это рвение было напрасно.

Старшая приказчица, которая приняла Дэнтона на службу и сперва даже высказывала ему много мелких знаков приязни, внезапно изменила свое обращение с ним, без всякого повода заявила, что он не годится, и отказала ему от места недель через шесть со дня поступления.

Таким образом, Дэнтону пришлось возобновить свои поиски. На этот раз они длились недолго. Деньги уже приходили к концу. Чтобы протянуть их немного подольше, решились наконец расстаться с удивительной малюткой Дингс и поместить ее в детские ясли, как делали все другие. Промышленная эмансипация женщин вместе с уничтожением так называемого домашнего очага сделала ясли необходимостью для всех, кроме людей очень богатых или очень старомодных. В этих учреждениях дети находили уход и воспитание, какие были совершенно не по средствам каждой отдельной семье. Были ясли разного типа и

класса, от самых роскошных до яслей Рабочей Компании, где дети получали бесплатный приют, но за это в будущем обязаны были работать на Компанию.

Однако Дэнтон и Элизабет, как люди старомодные, полные странных идей XIX века, от всей души ненавидели эти удобные учреждения и лишь скрепя сердце понесли туда свою маленькую дочь. Их встретила женщина почтенного вида в форменной одежде. Она давала им короткие и быстрые ответы, пока Элизабет не расплакалась, передавая ей своего ребенка. При виде этих слез, не совсем обыкновенных в эту эпоху, женщина смягчилась, заговорила ласково, и этим на всю жизнь завоевала симпатии Элизабет. Их провели в обширную залу, где около десятка нянь наблюдали за целым выводком маленьких двухлетних девочек, забавлявшихся на полу разнообразными игрушками. Это была зала двухлеток. Две няни подошли и приняли малютку. Элизабет ревнивыми глазами следила за каждым их движением. Конечно, они обращались с ребенком ласково, это было видно, но все-таки...

Скоро настала пора уходить. Малютка Дингс уже сидела в уголке; руки у нее полны были игрушек, да и сама она наполовину была завалена этими свалившимися с неба сокровищами. Она так увлеклась, что даже не обратила внимания, когда ее родители собрались уходить. Их попросили уйти не прощаясь, чтобы не растрогать девочку.

В дверях Элизабет оглянулась еще раз и вдруг неожиданно увидела: малютка бросила свои богатства и встала с огорченным личиком. Губы Элизабет дрогнули, но надзирательница потянула ее из комнаты и закрыла дверь.

— Но, дорогая, ведь вы можете прийти хоть завтра, — сказала женщина с неожиданным проблеском нежности в спокойных глазах.

Элизабет смотрела на нее остановившимся, пустым взглядом.

— Приходите скорее, — сказала надзирательница, и через секунду Элизабет уже плакала на ее широкой и ласковой груди.

Так надзирательница покорила и сердце Дэнтон.

Через три недели молодые супруги остались без гроша. Теперь им оставался только один путь. Надо было идти в Рабочую Контору. Им нечем было заплатить в отеле за последнюю неделю. Администрация тотчас же задержала их скудное имущество и без дальнейших церемоний указала им на дверь.

Элизабет молча прошла по коридору и стала подниматься по лестнице на подвижные пути. Дэнтон отстал — он сердито и без всякой пользы спорил с швейцаром отеля; красный и злой, он вскоре догнал Элизабет. Догнав, пошел медленнее рядом. Молча поднялись они на среднюю платформу. Тут нашли два свободных стула, сели.

— Нам еще не надо идти туда? — спросила Элизабет.

— Нет, — сказал Дэнтон, — пока мы не голодны.

Они замолчали.

Элизабет посмотрела кругом. С правой стороны платформы бежали к востоку, с левой стороны — к западу. Кругом кишел народ. А над головой на туго натянутом канате кривлялась вереница странных фигур: они были одеты клоунами, у каждого на груди и на спине была огромная буква, и из этих букв составлялась надпись «Слабительные пилюли Перкинджи». Чахлая женщина, в ужасном, неуклюжем платье из синей холстины, указала маленькой девочке на одну из этих живых, бегающих букв. — Видишь? Это твой отец.

— Который? — спросила девочка.

— Вон тот, с красным носом, — сказала женщина. Девчонка заплакала, и Элизабет тоже захотелось заплакать.

— Ну-ну, — сказала женщина. — Видишь, как он ногами выкидывает. Гляди-ка, а!

С правой стороны на стене выскакивал огромный диск яркого, бросающегося в глаза цвета, и поминутно выступали и пропадали огненные буквы:

НЕ КРУЖИТСЯ ЛИ У ВАС  
ГОЛОВА?

Потом, после паузы:

ПРИМИТЕ ПИЛЮЛЮ  
ПЕРКИНДЖИ!

Раздался оглушительный рев. Это была машина для объявлений.

— Если вы любите модную литературу, переведите телефон на Брэггса! Брэггс — великий писатель, великий мыслитель нового времени. Набьет вас мудростью до самой макушки. Вылитый Сократ, кроме затылка, — затылок у него такой же, как у Шекспира. У него шесть пальцев на правой ноге, он одевается в красное платье и никогда не чистит зубы. Послушайте его!

Выбирая моменты, когда этот рев затихал, Дэнтон говорил Элизабет:

— Тебе не следовало выходить за меня... я растратил твои деньги, разорил тебя, привел тебя к гибели... Я подлый человек... О, этот проклятый мир!

Элизабет хотела возразить, но несколько мгновений не могла произнести ни слова. Только схватила его за руку.

— Неправда, — сказала она наконец. И вдруг встала, как будто вспомнив что-то. — Пойдем, — сказала она.

Дэнтон тоже встал.

— Еще не время идти, — возразил он.

— Не туда, — сказала Элизабет. — Сходим сначала на станцию, где мы встречались. Помнишь? На той скамье...



*А над головой на туго натянутом канате кривлялась вереница странных фигур: они были одеты клоунами, у каждого на груди и на спине была огромная буква, и из этих букв составлялась надпись «Слабительные пилюли Перкинджи».*



Дэнтон посмотрел нерешительно и сказал:

— Ты можешь теперь идти туда?

— Мне это нужно, — ответила Элизабет.

Дэнтон постоял с минуту, потом покорно пошел вслед за ней.

Они провели свой последний свободный день там, на платформе, под открытым небом, на той же знакомой скамье, где они встречались пять лет назад. Элизабет повторяла Дэнтону, что она не раскаивается, что даже теперь, на краю унижения и бедности, она счастлива прошлым. День выдался солнечный, на платформе было тепло и сухо, в ясном небе мелькали, поблескивая, аэропланы.

Солнце садилось. Надо было идти. Они встали, пожали друг другу руки, как будто попрощались, и вернулись на городские пути. Шли рядом, усталые, голодные, обтрепанные. Перебираясь с платформы на платформу, они добрались до места и увидели вывеску светлосинего цвета — это была контора Рабочей Компании. Несколько мгновений они постояли на средней платформе, затем спустились и вошли в контору.

Рабочая Компания вначале была благотворительным учреждением; она имела целью доставить пищу, кров и работу всем нуждающимся. И кроме того, ставила своей задачей дать пищу, приют и медицинскую помощь всем больным, которые к ней обращались. Вместо платы больные давали расписки с переводом всех издержек на рабочие часы; эти расписки они должны были погасить по выздоровлении — трудом. Они скрепляли свои расписки отпечатком большого пальца, потом отпечатки фотографировались и заносились в строго установленном порядке в рабочие регистры; таким образом каждый клиент из общего числа в 200 или 300 миллионов мог быть опознан после короткого розыска.

Дневной труд исчислялся в два промежутка, применительно к работе генератора, дающего электрическую силу, или к ее эквиваленту. Исполнение этой работы было обеспечено принудительным законом. На практике Рабочая Компания нашла необходимым прибавить к ежедневной рабочей плате несколько пенсов в виде премии за успешную работу.

Эта замечательная организация стала снабжать дешевым и послушным трудом низшего качества промышленные предприятия всего земного шара. Почти третья часть населения земного шара от колыбели до самой могилы числилась в составе должников и рабов Компании.

Дэнтон и Элизабет сидели в обширной приемной, дожидаясь очереди. Большая часть ожидавших уныло молчала. Но было несколько мужчин и женщин, молодых и пестро одетых, которые шумели за всех. Это были урожденные клиенты Рабочей Компании: от самого рождения, от койки родильного дома — до койки госпиталя. Они возвращались с праздника, устроенного на скопленные пенсы прибавочной платы. Они имели гордый вид и без умолку болтали на простонародном диалекте предков.

Глаза Элизабет обратились от них к более скромным фигурам. Одна в особенности невольно вызывала жалость. Это была женщина лет сорока. Ее крашенные волосы успели полинять, и грязные слезы катились по размазанным щекам. Ее костлявые плечи, голодные глаза и жалкая роскошь крикливого наряда не нуждались в объяснениях. Рядом с нею сидел седой старик в одежде епископа одной из англиканских сект: ведь теперь религия сделалась также коммерческим делом, и, как во всяком другом предприятии, здесь тоже бывали свои неудачи. Дальше хмурил брови юноша лет двадцати с изношенным лицом и вызывающим видом.



*Рабочая Компания нашла необходимым прибавить к ежедневной рабочей плате несколько пенсов в виде премии за успешную работу.*

Наконец, очередь дошла до Элизабет, потом до Дэнтон. Записи вела регистраторша — Рабочая Компания предпочитала женщин на этих местах. У регистраторши было энергичное лицо, презрительный взгляд и очень неприятный голос. Она выдала Элизабет и Дэнтону по несколько разных билетиков; на одном, между прочим, значилось, что они сохраняют право не стричься под гребенку. После того им дали приложить к регистру большие пальцы, сообщили номер, соответствующий их отпечатку, и предложили переменить их изношенное платье городского покроя на синюю форму Компании. Переодевшись, они отправились в обширную столовую получить свой первый казенный обед. После обеда им следовало возвратиться в

контору за получением указаний относительно работы.

Когда они переоделись, у Элизабет, казалось, просто не было сил поднять лицо. Но Дэнтон посмотрел на нее и с удивлением увидел, что даже в этой грубой одежде она осталась все так же прекрасна. Потом на сцену явились похлебка и хлеб, подъехав по узеньким рельсам к самому их месту за обеденным столом, и Дэнтон уже больше не смотрел никуда: и он и Элизабет не обедали уже четвертые сутки.

После обеда немного отдохнули. Говорить было не о чем, молчали. Скоро они поднялись и вернулись в контору узнать о своей дальнейшей судьбе.

Регистраторша заглянула в список.

— Комната ваша не здесь. Это в квартале Хайбери. Номер две тысячи семнад-

цать, Девяносто седьмая улица. Лучше запишите на ваших билетах. Вы, женщина, — ноль-ноль-ноль, седьмой разряд, шестьдесят четыре би-си-эй, гамма сорок один. Ступайте на фабрику металлических панелей и сделайте пробу! Четыре пенса в день, если сумеете. А вы, мужчина, — ноль семьдесят один, четвертый разряд, семьсот девять, джи-эф-би-пи девяносто пять. Вы отправляйтесь в Фотографическую Компанию, на Восемьдесят первой улице. Там вам покажут. Три пенса в день... Вот ваши билеты. Следующий... Что, не запомнили? О господи! Значит придется повторить. Зачем же вы не слушали? Ведь уши есть. Думают, что все это так себе...

Им пришлось пройти вместе часть пути. Теперь они уже стряхнули свое молчание, и им казалось, что, надев синюю холстину, они уже как будто перешли через самое худшее. Дэнтон даже стал проявлять интерес к своей будущей работе.

— Какая бы она ни была, — сказал он, — все-таки хуже не будет, чем в шляпном магазине. И за вычетом платы за нашу Дингс у нас с тобой останется один пенс в день. Потом, быть может, подучимся, станем зарабатывать больше.

Элизабет была не так разговорчива.

— Отчего это работа кажется такой невыносимой? — сказала она.

— Да, — сказал медленно Дэнтон, я думаю оттого, что это работа подневольная, под чужим присмотром. Будем надеяться, что у нас надсмотрщики будут не злые,

Элизабет не отвечала. Она была занята собственными мыслями.

— Конечно, — сказала она. — Всю свою жизнь мы пользовались чужим трудом. Теперь пришла наша очередь...

Она остановилась перед неожиданным и малопонятным выводом.

— Мы ведь платили, — сказал Дэнтон.

Такой порядок вещей казался ему весьма естественным.

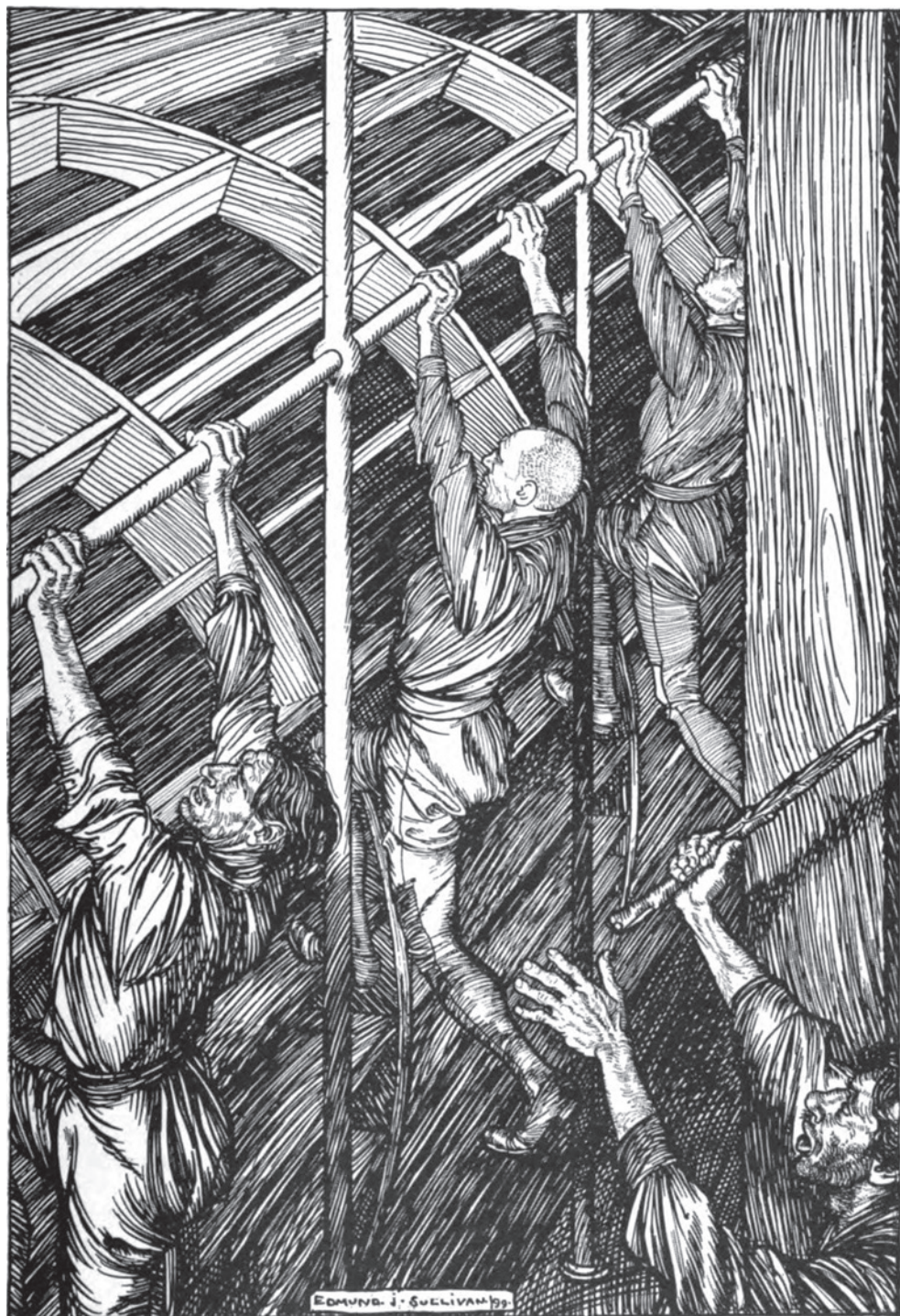
— Мы ничего не делали — и все же платили. Этого я не понимаю... Быть может, теперь мы расплачиваемся... — сказала Элизабет.

Она еще держалась старинной, примитивной философией.

После этого они расстались, и каждый пошел на указанное место. Дэнтону поручили присматривать за огромным гидравлическим прессом, который работал так, как будто был одарен собственным разумом. Пресс приводился в действие притоком морской воды, которая в конце концов изливалась в подземные каналы и уходила в поля. В эти дни давно уже прекратилась безумная трата пресной воды на очистку городских отбросов. Морская вода протекала в город с востока по огромному каналу, потом поднималась действием чудовищных насосов на высоту 400 футов над уровнем моря и накачивалась в особые резервуары, откуда распределялась во все стороны по миллионам труб, подобных артериям. Вода стекала вниз, двигала машины, полоскала, очищала, потом спускалась по бесчисленным отводам, попадала в магистраль, в cloaca maxima, и, наконец, уносила городское удобрение на сельскохозяйственную площадь, окружавшую Лондон.

Работа пресса имела какое-то отношение к механической фотографии, но подробности не касались Дэнтона. Одним из условий работы было рубиновое освещение, и потому комната имела только один круглый цветной фонарь, который разливал кругом алые зловещие лучи. В самом темном углу помещался пресс, при котором Дэнтон состоял только слугой. Пресс был огромный, тускло-блестящий, с большим колпаком, который несколько напоминал склоненную голову. В этом унылом





*Трудовые будни.*



свете, который был необходим для его непонятной работы, пресс расселся широко и важно, словно металлический Будда. И порой Дэнтону казалось, что это загадочный идол, которому люди в странном безумии принесли в жертву его, Дэнтона, жизнь. Работа самого Дэнтона была очень однообразна. Обычно пресс работал без заминки с легким постукиванием; но как только изменялось количество или качество тестообразной смеси, которая постоянно притекала по питательному каналу и сплющивалась в тонкие пластинки, пресс извещал об этом Дэнтона изменением ритма, и нужно было тотчас же переставить рычаги. Малейшее замедление причиняло напрасную порчу смеси и кончалось для Дэнтона вычетом пенса или двух из его ничтожной платы. Если приток смеси прекращался (во время приготовления этой смеси кое-что приходилось делать вручную, и эта работа нередко прерывалась какими-то судорожными припадками у мастеров), следовало тотчас же остановить пресс.

Было много других предписаний такого же рода, и соблюдение их требовало напряженного внимания, особенно тягостного при полном отсутствии интереса. В этом пассивном напряжении Дэнтон проводил отныне третью часть своей жизни. Его рабочие часы протекали в одиночестве, если не считать коротких посещений надсмотрщика — человека добродушного, но с удивительным даром самой изысканной брани.

Работа Элизабет была сложнее. В то время у очень богатых людей была мода покрывать стены в комнатах металлическими панелями с красивыми узорами, правильно повторяющимися, как на обоях. Однако по вкусу эпохи требовалось, чтобы эти узоры выделялись не механическим, а ручным способом, чтобы не было однообразия. Лучше всего такие

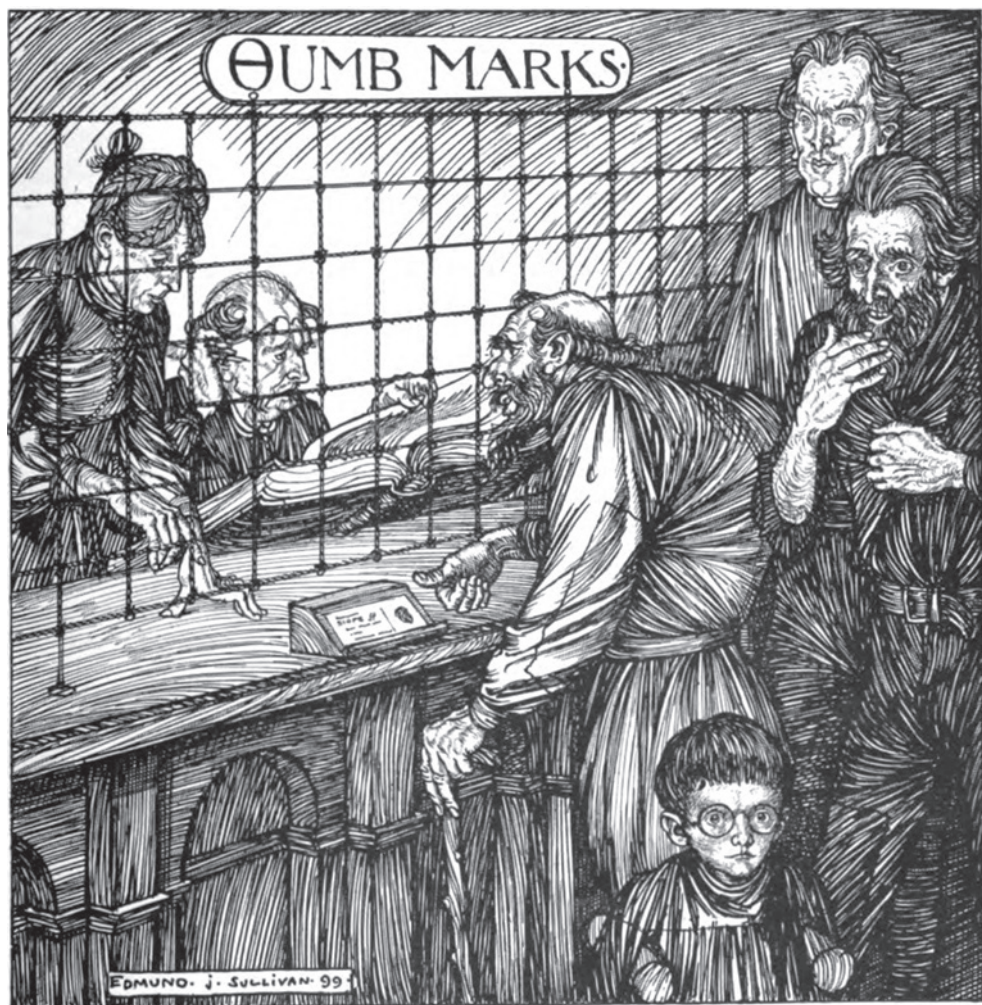
узоры выходили у женщин, а особенно ценились женщины с природным вкусом и некоторым образованием.

Работать приходилось довольно медленно, при помощи молоточка и маленьких штампов. Элизабет должна была выполнить обязательный план в столько-то квадратных дюймов; за каждый дюйм сверхурочной работы она получала небольшую прибавочную плату. Работа производилась в обширной мастерской под надзором надсмотрщицы. Компания остерегалась назначать мужчин к надзору за женским трудом: мужчины были не только менее требовательны, но, кроме того, неизбежно склонялись к попустительству в пользу фавориток.

Надсмотрщица была довольно пожилой женщиной, не злой и молчаливой, со следами бывлой красоты на смуглом лице. Вся мастерская, конечно, ненавидела ее, и товарки Элизабет по общей работе тотчас же сообщили ей ходячую сплетню об интимных отношениях надсмотрщицы с одним из директоров, через которого она будто бы получила свое место.

Из всех работниц мастерской только две или три родились в синей холстине. Это были девицы с плоским лицом, унылого вида; другие, напротив, соответствовали мерилу XIX века, могли бы называться благородными, но обедневшими дамами. Впрочем, идеал благородной дамы весьма изменился. Все бесцветные, пассивные добродетели, тихий голос и сдержанные жесты старомодных дам исчезли без следа.

Подруги Элизабет своими волосами, обесцвеченными от краски, лицами, поблекшими от притираний, и даже разговорами недвусмысленно свидетельствовали о блеске бывшего веселья. Все они были гораздо старше, чем Элизабет, и иные из них откровенно удивлялись, что такая молодая и красивая не нашла себе ничего получше этой работы. Впрочем,



*Крепостные и должники от колыбели до погребения.*

Элизабет не смущала их своими старомодными возражениями.

Разговоры в мастерской позволялись и даже поощрялись, так как правление убедилось, что каждая искра разнообразия в настроении работниц рождает также счастливое разнообразие в качестве работы.

Таким образом, Элизабет почти против воли пришлось выслушивать рассказ за рассказом. Все эти рассказы были несвязны и полны преувеличений, но все-таки очень характерны. Скоро она стала

находить вкус в мелких ссорах и интригах, в маленьких недоразумениях и временных союзах — во всем, что происходило в среде окружающих ее женщин. Одна с неиссякаемой болтливостью описывала своего замечательного сына. Другая усвоила умышленную грубость речей, видимо, считая ее явным признаком духовной оригинальности. Третья думала постоянно о платьях и тотчас же с таинственным видом сообщила Элизабет, как много пенсов она скопила из прибавочной платы и как она устроит себе

праздник и наденет... И целые часы посвящались подробным описаниям.

Еще две женщины сидели всегда вместе и называли друг друга уменьшительными именами, но потом случалась какая-нибудь мелочь, и они садились отдельно и уже не обращали друг на друга ровно никакого внимания. И постоянно из-под каждой руки раздавался стук молотка: тап-тап-тап-тап!

Надсмотрщица следила за ритмом и, если кто отставал, делала замечание.

— Тап-тап-тап! — молоточком.

Так проходили их дни, и годы, и вся жизнь. Элизабет сидела вместе с другими и тоже стучала спокойно, уныло и покорно, размышляя о своей судьбе:

— Тап-тап-тап! Тап-тап-тап! Тап-тап-тап!

Для Дэнтона и Элизабет потянулась вереница рабочих дней, и эта работа скоро сделала их руки грубыми, внесла непривычную суровость в саму ткань их изнеженной души и проложила на их лицах глубокие морщины и тени.

Прежние культурные привычки стали исчезать. Элизабет и Дэнтон приспособились к угрюмой жизни подвального мира, привыкли подчиняться грубости, переносить унижения и придирки — эту неизменную приправу к скудному хлебу городской нищеты. Никаких значительных происшествий не было. Горько и трудно было переносить эту жизнь, но рассказывать о ней было бы скучно. Одно только случилось за это время, одно, сделавшее мрак их жизни окончательно беспросветным, — малютка Дингс заболела и умерла.

Но эту простую, старинную, грустную новость рассказывали так часто и так красноречиво, что нет никакой нужды повторять ее снова. Был тот же острый страх и та же тоскливая забота, оттягивание неизбежного удара и черное молчание. Так было, так будет всегда. Это есть часть неизбежного.

После долгих, унылых, мучительных дней первой нарушила молчание Элизабет. Она, разумеется, не стала поминать любимое детское имя, которое не было больше именем жизни; она заговорила о мраке, наполнившем ей душу. Они прошли, как обычно, по городским переходам, полным движения и шума. Клики торговой рекламы, вопли политических призывов, зазывания религий звенели кругом, не доходя до их слуха; полосы яркого света, отблески пляшущих букв и огненных объявлений падали на их измученные лица и не задевали их зрение. Они пообедали вместе в столовой за особым столом.

— Сходим на наше местечко, — начала Элизабет уверенно. — Ты помнишь, на станцию аэропланов? Здесь говорить не под силу. Сходим на станцию, посмотрим нашу скамью. Здесь нельзя говорить.

— Ночь застанет, — сказал Дэнтон с удивлением.

— Нет, пожалуй. Ночь ясная, — сказала Элизабет. Дэнтон увидел, что она не находит слов, и понял: она хочет еще раз взглянуть на звезды, которые пять лет тому назад видели начало их бурной любви.

У него перехватило горло, и он отвернулся, чтобы не заплакать.

— Времени хватит. Пойдем, — сказал он коротко.

— Если бы только понять, — сказала она, — как это выходит. Пока сидишь там, внизу, город все заглушает — шум, суета, голоса, — и чувствуешь: надо жить, надо карабкаться. Сюда придешь — мир кажется ничтожным, кажется каким-то миражем,

— Здесь можно думать спокойно. Да! — сказал Дэнтон. — Как все это непрочно! И если глядишь отсюда, так кажется, уж больше половины растаяло во тьме. Все это исчезнет.



Они добрались наконец до знакомой скамейки на станции аэропланов и долго сидели там в молчании. Скамья оставалась в тени, но над ними светилась бледно-голубая вышина, и под ними расстился весь город — сияющие пятна, квадраты и кружки, связанные в яркую сеть. И звезды казались так тусклы и мелки. Когда-то наблюдателю старого мира они казались близки, но теперь они стали бесконечно далеки. Но все-таки их можно было видеть на более темных местах, в промежутках между искусственными сияниями, особенно в северной части неба. Древние созвездия скользили вокруг полюса терпеливо и неустанно.

— Мы прежде исчезнем, — вздохнула Элизабет.

— Я знаю, — сказал Дэнтон. — Наша жизнь — только мгновение, но ведь и вся людская история — это вчерашний день. Да, мы исчезнем, и город исчезнет, и все живое и сущее, Человек, и сверхчеловек, и будущие чудеса. И все-таки... — Он остановился, но тотчас же начал снова: — Я, кажется, понимаю, что ты хотела сказать. Там, внизу, думаешь только о нужде и работе, о мелких обидах и наслаждениях, о еде и питье, о горе и радости и знаешь одно: так будешь жить, а потом умрешь. День за днем — нет ничего, кроме обычного бремени. Здесь, наверху, все кажется иначе. Например, там, в городе, кажется, что изуродованному, униженному, обесчещенному жить незачем. Здесь, перед звездами, все эти вещи кажутся такими ничтожными. Сами по себе они не имеют значения, они только части чего-то целого. И все это как-то проходит мимо, почти нас не затрагивая.

Он остановился. Его смутные мысли и неуловимые чувства как будто меркли и таяли в одежде из слов.

— Мне трудно объяснить, — сказал он почти с изумлением.

Оба помолчали.

— Хорошо приходить сюда, — сказал он снова. — Ведь надо сознаться: ум наш так ограничен. Что мы такое в конце концов? Жалкие твари, немногим выше зверей, у каждого свой ум, но это только жалкое подобие ума. Мы так глупы. И столько обид... И все-таки... я знаю, знаю... Настанет время, и мы уразумеем. Все напряжение и несогласие жизни сольются в гармонию, и мы уразумеем. Все, что происходит, движется к той же цели. Неудачи и страдания — это только шаги все по тому же пути. Все это необходимо и ведет к гармонии. Даже самое странное горе нельзя выкинуть из счета... и самую мелкую беду. Каждый удар твоего молотка о лагунь, каждая минута работы и досуга, милая моя, каждое движение нашей покойной малютки... Все это необходимо и ведет к гармонии.. Все то неясное, что трепещет в нас. Мы, сидящие тут сейчас... Наша любовная страсть и то, что родилось из нее, — теперь это не страсть, а скорее печаль... Милая...

Он не мог говорить дальше. У него не хватало слов, и мысли его неслись так быстро, что словам было не догнать их.

Элизабет не ответила. Но ее рука отыскала и сжала во тьме руку Дэнтоня.

## Глава IV ВНИЗУ

Глядя на звезды в ясном ночном небе, можно смиряться душой перед несчастьем, но потом снова приходит день, и постылая работа, и нетерпение, и гнев. На свете мало смирения. В былое время святые отцы бежали от света. Но Дэнтону и его Элизабет некуда было бежать: теперь уже не было путей в те пустынные земли, где людям можно жить, храня мир душевный в свободной нищете. На земле ничего не осталось, кроме огромного города.



Некоторое время муж и жена продолжали заниматься той же работой: она штамповала бронзу, он стоял у фотографического прессы.

Потом пришла перемена и принесла с собой более жестокие испытания. Дэнтон перевели вниз и приставили к другому, более сложному прессу в центральном заводе Лондонского Черепичного Треста.

Ему приходилось теперь работать в огромном сводчатом подвале вместе с другими работниками, по большей части прирожденными рабами синей холстины. Это было для Дэнтоня всего неприятнее. Он получил утонченное воспитание, и пока злая судьба не заставила его одеться в эту рабскую ливрею, он даже ни разу не разговаривал — если не считать случайных приказов — с этими жалкими синеглазниками. Теперь нужно было быть с ними вместе, работать с ними, есть с ними. Ему и Элизабет это казалось последним унижением.

Человеку XIX века его социальная брезгливость показалась бы чрезмерной. Но в последующие годы медленно и неизбежно вырастала широкая бездна между высшими классами и армией труда, рождались все новые различия в образе жизни, в способе мышления и даже в языке: подвалы создали свой особенный говор, а наверху развился свой диалект — условный язык мысли, язык культуры, который старался введением новых слов и оборотов отгородиться как можно дальше от речи «простого народа». Общей религии тоже больше не было. Ибо в начале XX века возникли и развились среди различных классов новые эзотерические формы прежней религии, разные комментарии и глоссы, которые глубокое учение еврейского плотника приспособили к узким рамкам современной жизни.

Несмотря на свою склонность к старинным формам жизни, Дэнтон и Элиза-

бет не избегли влияния этой изысканной среды. В житейском обиходе они подчинялись привычкам своего класса, и потому, когда им пришлось смешаться с рабочей толпой, она показалась им не лучше, чем грубое стадо скотов. В XIX веке князь с княгиней, попав в ночлежку вместе с бродягами, страдали бы не меньше. Дэнтон и Элизабет почти непроизвольно старались провести черту между собой и другими.

Но первые попытки Дэнтоня держаться в стороне привели к непредвиденным последствиям. До сих пор он представлял себе, что хуже этой работы и горше смерти ребенка не будет ничего, а между тем все это было только начало.

Жизнь требует от нас не только пассивной покорности. И теперь в толпе машинных слуг ему пришлось получить новый урок, столкнуться с фактором жизни таким же повелительным, как голод, таким же неизбежным, как труд.

Спокойное молчание Дэнтоня тотчас же вызвало обиду: это молчание было истолковано как презрение. Простонародного языка Дэнтон не знал и даже гордился этим, но тут ему пришлось изменить свой взгляд на вещи. Сперва Дэнтон просто не заметил, что его формальные короткие ответы на первые шутиливо-ругательные приветствия товарищей были для них не лучше, чем удары в лицо.

— Я не понимаю, — сказал он свысока в ответ на первое обращение и потом почти наудачу добавил: — Нет, благодарю вас.

Человек, предлагавший ему какую-то мелкую услугу, остановился, нахмурился и отошел в сторону.

Подождал другой и заговорил так же непонятно, потом повторил свои слова более раздельно, и Дэнтон наконец разобрал, что ему предлагают масло в масленке. Он вежливо поблагодарил. И новый собеседник тотчас же затеял разговор.

Он видит, конечно, что Дэнтон — человек высокого полета, но интересно знать, как он дошел до синей холстинки... Он, очевидно, ожидал услышать занимательный рассказ о кутежах и веселье. Бывал ли Дэнтон когда-нибудь в Веселом Городе?

Скоро Дэнтон уразумел, насколько постоянная мысль об этих удивительных местах наслаждений овладела воображением и разумом несчастных слуг труда, обитавших в этом подземном мире.

Чувство достоинства Дэнтон было оскорблено этими вопросами. Он коротко ответил: «Не был!» Человек задал еще вопрос очень личного свойства. Вместо ответа Дэнтон отвернулся.

— Эка, черт! — выругался человек с видимым изумлением.

Через минуту Дэнтон заметил наконец, что об этой попытке разговора толкуют в разных углах то с бранью, то с ироническим смехом. Он почувствовал себя еще более чужим и, чтобы заглушить это чувство, стал думать о новом прессе и незнакомых еще деталях работы. Он работал без остановки почти до полудня. Потом наступил перерыв. Это был только получасовой промежуток, и не хватало времени даже на то, чтобы пойти и поест в столовой Рабочей Компании. Дэнтон вышел вслед за другими в боковую галерею.

Рабочие расселись на ящиках и стали доставать узелки с едой. У Дэнтон ничего не было. Надсмотрщик, беспечный молодой человек, попавший на свое место по протекции, забыл предупредить его, что нужно получать и приносить с собой завтраки. Дэнтон стоял в стороне, чувствуя, что есть очень хочется. Соседняя группа стала о чем-то шептаться, поглядывая на него. Ему стало неловко. Чтобы рассеять это чувство неловкости, он принялся усиленно думать о рычагах своего нового пресса.

Через минуту к Дэнтону снова подошел человек. Человек этот был ниже Дэнтон, но с виду крепче и шире в плечах. Дэнтон обернулся к нему и сделал самое равнодушное лицо.

— На вот! — сказал делегат (Дэнтон счел его за делегата) и протянул кусок хлеба на грязной ладони. У него было смуглое лицо, широкий нос, один угол рта немного опущен вниз. Дэнтон с минуту колебался, принять ли это за любезность или за оскорбление. Брать этот хлеб ему не хотелось.

— Благодарю вас, — сказал он. — Я не голоден.

Сзади засмеялись.

— Ишь ты! — сказал тот, который недавно предлагал Дэнтону масленку. — Белая кость, стало быть! Мы для него не компания!

Скучное лицо стало еще темнее.

— На! — повторил человек, продолжая протягивать хлеб. — Съешь этот хлеб. Слышишь?

Дэнтон посмотрел на его угрожающее лицо; странный ток пробежал по всему телу и зажег в Дэнтоне какую-то небывалую энергию.

— Не надо, — возразил он, пытаюсь улыбнуться, но улыбка не вышла.

Плотный человек наклонился вперед и замахнулся хлебом.

— Ешь! — сказал человек.

Затем быстрое движение руки — кусок хлеба описал в воздухе сложную кривую и чуть не попал в лицо Дэнтону, но тот ударил кулаком по руке противника. Хлеб отлетел в сторону и упал на землю.

Смуглый человек сделал шаг назад и стиснул кулаки. Лицо у него покраснело и напряглось, глаза стерегли каждое движение Дэнтон. Дэнтон на одну минуту ощутил странную уверенность и даже радость. Кровь его кипела. Все тело зажглось с ног до головы.

— Ну-ка, ребята! — крикнул кто-то сзади. Смуглый прыгнул вперед, согнулся, отскочил и снова напал. Дэнтон взмахнул кулаком и сам тоже получил удар. Ему показалось, что один глаз у него выбит, потом его кулак ткнулся в мягкие губы. Тут Дэнтон получил второй удар, на этот раз в самый подбородок. Перед глазами у него как будто развернулся перисто-огненный веер, голова словно разбилась вдребезги, затем ударило чем-то в затылок и спину, и драка кончилась.

Прошло сколько-то времени, секунды или минуты, — Дэнтон не мог сказать в точности. Он лежал на земле, откинув голову на кучу золы, и что-то теплое текло по его шее. Глаз и челюсть болели, и во рту был вкус крови.

— Ничего, — сказал голос. — Открыл глаза.

— Так ему и надо! — сказал другой голос.

Рабочие стояли кругом. Он сделал усилие, приподнялся и сел. Ощупал затылок рукой. Волосы его были мокры и все в золе. Рабочие смеялись. Подбитый глаз у Дэнтона был наполовину закрыт опухолью. Весь его прежний задор исчез бесследно.

— Не нравится? — сказал один.

— Хочешь еще? — спросил другой и потом, подражая изящному тону Дэнтона, прибавил: — Благодарю вас!

Дэнтон заметил, что смуглый человек стоит сзади, прижимая к лицу окровавленный платок.

— Где этот хлеб? — сказал другой человек, низенький, с острым лицом. Он стал разгребать ногою соседнюю кучу золы.

Дэнтон колебался. С одной стороны он помнил, что мужская честь требует бороться до конца, но с ним такое приключение случилось в первый раз в жизни. Он собирался встать, но не очень спешил.

«Я, должно быть, трусил», — подумал он, но даже эта мысль не подействовала. Воля его ослабела. Весь он был как будто из свинца.

— Вот он, — сказал остролицый и подобрал кусок хлеба, серый от налипшего пепла. Он посмотрел на Дэнтона, потом на других.

Дэнтон поднялся медленно, без всякой охоты. Еще один человек, белобрысый, с грязным лицом, протянул руку к хлебу.

— Дай-ка сюда! — сказал он и угрожающе подошел к Дэнтону с хлебом в руке.

— Что, не наелся еще? — сказал он. — А?

Делать было нечего.

— Нет, не наелся, — сказал Дэнтон с дрожью в голосе. Он стал прицеливаться, чтобы, пока его не сбили с ног, хватить нового противника кулаком в ухо. Теперь уж Дэнтон был убежден, что его, конечно, собьют в первой же схватке. Он сам удивлялся своей прежней самоуверенности: сунет руками вперед раз или два, а потом свалится с ног. Глаза его следили за лицом белобрысого. Тот приятно ослабился, как будто собирался выкинуть какую-то забавную штуку. Сердце Дэнтона сжалось от одного предвкушения.

— Брось, Джим, — сказал неожиданно смуглый, не отнимая от лица окровавленной тряпки. — Ты не мешайся!

Усмешка у белобрысого исчезла. Он посмотрел сперва на одного, потом на другого. Дэнтон подумал, что смуглый человек сам хочет закончить расправу. Было бы лучше иметь дело с белобрысым.

— Брось его! — сказал смуглый. — Слышишь? Ему попало довольно.

Раздался звонок, и это решило запутанное положение. Белобрысый колебался еще минуту.

— Счастье твое, — сказал он наконец и прибавил ругательство, а потом





*Тут Дэнтон получил второй удар, на этот раз в самый подбородок.  
Перед глазами у него как будто развернулся перисто-огненный веер,  
голова словно разбилась вдребезги, затем ударило чем-то в затылок и спину,  
и драка кончилась.*



повернул вслед за другими к прессам. — Подожди до вечера! — бросил он, уходя, через плечо.

Смутный пропустил белобрысого вперед и пошел сзади. Во всяком случае, Дэнтон получил отсрочку.

Все направились к дверям. Дэнтон вспомнил о своей работе и пошел за другими. В дверях галереи полицейский в желтой одежде (была специальная рабочая полиция) проверял номера.

— Не отставай! — сказал он Дэнтону. — Ого! — воскликнул он, увидев его синяки. — Кто это разукрасил вас?

— Это мое дело, — возразил Дэнтон.

— А зачем опаздываете? — огрызнулся человек в желтом. — Смотрите!

Дэнтон не ответил. Он был черно-рабочим машинным рабом. На нем была надета синяя блуза. Даже законы о драках и увечьях не имели силы по отношению к таким, как он. Он опустил голову и прошел к своему прессу.

Кожа на лбу, на щеке, на затылке болела. Ушибы вздувались синяками, набухали запекшейся кровью. Дэнтон был как будто в какой-то странной летаргии, и повернуть рычаг пресса было для него сейчас все равно что поднять тяжелую свинцовую гирю. Оскорбленное самолюбие тоже было в ушибах и царапинах. Что именно произошло в последние десять минут? Что произойдет дальше? Нужно было обдумать это серьезно, а он мог думать только несвязными отрывками мыслей.

Он не мог опомниться от тупого удивления. Все его обычные идеи были ниспровергнуты. До сих пор он рассматривал безопасность от физического насилия как основной элемент человеческой жизни. Это действительно было так, пока он состоял в зажиточном классе, носил приличный костюм, был собственником и имел право на социальную защиту.

Но кто захочет мешаться в драки рабов труда? Конечно, никто. В мире подвалов не было права, была только сила. Весь закон и вся государственная машина стали для этих классов орудием гнета, высоким барьером, который загородил от них собственность и наслаждение, — и больше ничем. Грубая сила — эта стихия, в которой проходит вся зоологическая жизнь и от которой мы защитили сотнями разных плотин нашу хрупкую культуру, — грубая сила хлынула снова в сырые подвалы и затопила их. Здесь было кулачное царство. Дэнтон наткнулся на те же основные элементы — силу, хитрость, упорство, суровую дружбу, какие господствовали в самом начале культуры.

Машина изменила ритм, мысли Дэнтона оборвались.

Через минуту он стал думать снова. Как быстро случилось все это! Он не питал никакой особенной злобы против этих людей, хотя они и поколотили его. Он получил ушибы — и вместе с тем урок. Он видел теперь совершенно ясно, откуда возникла эта ссора. Он поступил по-дурачки.

Высокомерие и отчужденность — это привилегия сильных. Но павший аристократ, который все еще предъявляет свои бессильные претензии, — это, конечно, самое жалкое зрелище в мире. Боже милостивый, какое же право у него презирать этих людей?

Отчего эти мысли не пришли ему в голову часов пять назад? Что случится опять после работы? Он не мог сказать что, не мог даже вообразить. Ибо он не мог представить себе, как мыслят эти люди. Он ощущал их враждебность или равнодушие. В воображении у него смутно мелькали новые картины позора и насилия. Где бы достать оружие? Он вспомнил, как напал на гипнотизера. Но здесь не было ламп с резервуарами. На глаза не попадалось ничего подходящего.

Одно время Дэнтон думал о том, чтобы тотчас же после работы броситься на ружу и выскочить на городские пути. Но помимо чувства собственного достоинства его удержала также мысль, что все равно придется завтра вернуться обратно. Он заметил, что остролицый и белообрый о чем-то совещаются и поглядывают в его сторону. Вскоре после того они подошли к смуглому, который все время упорно поворачивался к Дэнтону своей широкой спиной.

Наконец, наступил и второй перерыв. Человек с масленкой быстро оставил свой пресс и повернулся кругом, вытирая рот рукой. В его глазах было выражение спокойного ожидания, как будто он был в театре.

Теперь наступил кризис. Нервы Дэнтон напряглись до чрезвычайности. Он решил защищаться при всякой новой обиде. Он тоже остановил свой пресс и повернулся, чтобы идти. С насильственно-спокойным лицом он вышел из подвала, пошел по коридору мимо ящиков с золой и тут неожиданно заметил, что он оставил свою куртку возле прессы в подвале: там было жарко, и рабочие снимали куртки во время работы. Пришлось вернуться. Дантон столкнулся с белообрым лицом к лицу.

Остролицый был тут же. Он оживленно спорил со смуглым.

— А надо бы ему съесть, — говорил остролицый. — Надо бы, надо бы...

— Не надо, оставь его, — возражал смуглый.

На сегодня, очевидно, Дэнтон был свободен. Он прошел по коридору и поднялся по лестнице на городские пути.

Яркий свет и уличная суэта почти ошеломили его. Он вспомнил о своем разбитом лице и стал дрожащими руками ощупывать свои синяки. Потом прошел на самую быструю платформу и сел

на скамью, отведенную для чернорабочих.

Мысли его двигались вяло. Он перебирал неторопливо все трудности и опасности своего положения. Что они сделают завтра? Что скажет Элизабет, когда увидит его синяки? Дэнтон не знал, и ему было почти все равно. Внезапно чья-то рука легла ему на плечо.

Он повернулся и увидел своего смуглого врага, которой сел рядом на ту же скамью, Дэнтон даже вздрогнул. Нет, разумеется, этот не посмеет его тронуть на улице, перед толпой.

На лице у смуглого уже не оставалось никаких следов драки. Он глядел на Дэнтон без злобы и даже, скорее, с уважением.

— Позвольте, — заговорил он, но без всякой грубости. Дэнтон понял, что новой драки не предвидится. Он молча ждал, что будет дальше. Смуглый, очевидно прискивал слова.

— А я бы... сказал... к примеру... так... — выговорил он наконец, потом замолчал, явно снова подыскивая слова, — А я бы... сказал... к примеру... так... — И вдруг он оборвал эту тягучую увертюру, — Моя вина! — воскликнул он и положил свою грязную руку на грязное плечо Дэнтон. — Ей-богу моя! А вы человек благородный. И мне очень жаль, что так вышло. Вот это я и хотел сказать.

Дэнтон увидел, что этот человек не только драчун и забияка, но в нем есть и кое-что другое. Он немного подумал и проглотил свою гордость как нечто совершенно ненужное.

— Ведь я не хотел вас обидеть, — сказал он, — когда не взял вашего хлеба.

— Какая обида? — подхватил смуглый тотчас же. — Все я понимаю. Но только вышло это перед Беяком и его подлецами, ну и пришлось пойти в кулаки.

— И я, — заговорил Дэнтон, — я тоже дурак порядочный!

— Ага! — сказал смуглый с видимым удовлетворением. — Вот это правильно. Руку!

Они пожали друг другу руки. Платформа промчалась мимо лечебницы массажа лица. Весь нижний этаж по фасаду состоял из зеркал, искусно подобранных так, чтобы вызывать у прохожих желание немедленно исправить черты своего лица.

Дэнтон уловил на лету два отражения, свое собственное и своего нового друга: оба были искажены, сплюснуты. Лицо Дэнтона мелькнуло — раздутое, одностороннее, в крови. Гримаса неискренней любезности красовалась на этом лице. Волосы спадали на подбитый глаз. Лицо смуглого товарища как будто состояло из одних только губ и ноздрей. Соединенные руки тянулись между ними, как мост.

Это видение мелькнуло и исчезло.

Смуглый все тряс руку Дэнтону и повторял не очень связно, что с благородным и людьми он любит и сам по-благородному... Зеркало снова передразнило их — и Дэнтон наконец отнял свою руку. Смуглый задумался, потом сплюнул на платформу и вернулся к началу своей речи.

— А я бы сказал... к примеру... так, — повторил он опять, потом замолчал, пристально взглянул на свои сапоги и покачал головой.

Дэнтон заинтересовался.

— Что такое? — спросил он с внимательным видом. Смуглый наконец собрался с духом, схватил Дэнтон за руку и заговорил с ним уже совсем по-дружески.

— Позвольте, — начал он. — Если правду сказать, какой вы боец? И на-



*Дэнтон уловил на лету два отражения, свое собственное и своего нового друга: оба были искажены, сплюснуты.*

чать-то не знаете как. Убьют вас до смерти, пока вы поворотитесь. Руки у вас как грабли!

Он энергично выругался и подождал ответа, но ответа не было.

— К примеру сказать, — продолжал смуглый, — руки у вас длинные, рост как следует. И размах у вас такой, что не у каждого есть. Я ведь думал, нарвусь на вас. А вышло такое... По чести, ежели бы знать, так я бы и драться не стал. Все равно что в куль колотишь. Совестно даже. Руки-то у вас, как на вешалке.

Дэнтон выслушал и вдруг расхохотался. Даже закололо в разбитой челюсти, и на глазах выступили слезы — горькие слезы...

— Дальше, — сказал он.

Смуглый заговорил дальше:

— Гонору у вас довольно, что говорить. Да только от гонору мало толку, ежели вы не умеете руки как надо держать. Я бы сказал, к примеру, так. Поучиться бы вам. Я бы вас поучил. Не умеете вы, не видали, как люди делают. А научиться можно, очень даже можно... Раз или два показать... Хотите, а?

Дэнтон колебался.

— Но мне нечем платить... — заговорил Дэнтон.

— Опять благородство ваше, — проворчал смуглый, — разве я говорил о плате?

— Ваши труды...

— Если вас не научить драться как надо, так ведь убьют вас, — сказал смуглый.

Дэнтон задумался.

— Я не знаю, — сказал он нерешительно.

Он поглядел в лицо своему собеседнику и почти ужаснулся его грубости. Ему стало даже как-то неловко от этой новоиспеченной дружбы. Неужели он станет принимать бесплатные услуги от этого подвального медведя?

— У нас постоянная драка, — сказал смуглый. — И знаете, ежели кто разойдется и ударит под ложечку...

— Пусть, один конец, — сказал Дэнтон.

— Ежели так... — медленно заговорил смуглый.

— Вы не понимаете, — сказал Дэнтон с оттенком нетерпения.

— Может, и не понимаю, — сказал смуглый угрюмо и замолчал с обиженным видом.

Через минуту он заговорил прямее и резче, чем прежде.

— Ну, — сказал он, — хотите вы, чтобы я поучил вас, как надо драться? Да или нет?

— Большое спасибо, — сказал Дэнтон, — но только...

Наступило молчание. Смуглый человек встал и нагнулся вперед.

— Благородство ваше паршивое! — сказал он резко. — А я-то лез... Ну да и вы дурак!.. — И он отвернулся.

Дэнтон внутренне согласился с тем, что его замечание правильно.

Смуглый встал и с видом оскорбленного достоинства перешел через улицу. Дэнтон чуть не бросился за ним вдогонку, но потом передумал и остался на месте. Все происшедшее на некоторое время целиком поглотило его мысли.

В один день вся его благородная система покорности и непротивления разбилась вдребезги. Грубая сила, конечная основа бытия, показала свое лицо сквозь все изошренные словесные извивы его самоутешений и глядела ему в лицо с загадочной усмешкой. Несмотря на усталость и голод, он не торопился в Рабочую Гостиницу, где его должна была встретить Элизабет. Он должен был думать, должен был все это обдумать, и вот как бы окутанный чудовищным облаком своих размышлений он дважды объехал вокруг города на подвижной плат-



форме. Вообразите сами, как он со скоростью пятидесяти миль в час мчится сквозь город, полный блеска и грохота, а город — и с ним вся планета — несется в пространстве по бесследной дороге со скоростью нескольких тысяч миль в час. И так он несется в пространстве, и корчится от боли, и старается понять, зачем его сердце и воля страдают и зачем он живет.

Когда он пришел наконец к Элизабет, она была озабочена и бледна. Дэнтон, может быть, и заметил бы ее состояние, если бы не был так поглощен собственными тревогами. Больше всего он боялся, чтобы Элизабет не стала расспрашивать его о подробностях. Она посмотрела на синяки, и брови ее удивленно поднялись вверх.

— Мне досталось, — сказал Дэнтон и тотчас же прибавил: — Только не расспрашивай. Слишком больно рассказывать.

Элизабет еще раз взглянула на Дэнтон — и не стала расспрашивать: иероглифы, которыми было расписано у Дэнтон все лицо, говорили сами за себя. Губы у Элизабет побелели, она стиснула руки — руки эти так исхудали по сравнению с прежним, концы пальцев были теперь обезображены работой..

— Ужасная жизнь! — только и сказала Элизабет.

В последнее время оба они стали очень молчаливы. В эту ночь они едва ли обменялись хоть одним словом. Каждый думал о своем. До самого рассвета Элизабет не могла уснуть. Вдруг Дэнтон, который лежал рядом с нею как мертвый, неожиданно вскочил с места и крикнул:

— Я не могу терпеть! Я не стану терпеть!

Он сидел на кровати и яростно размахивал руками, как будто наносил удары в окружающую тьму. Потом снова смолк.

— Это уж чересчур! — сказал Дэнтон. — Столько не терпит никто.

Элизабет ничего не сказала. Ей тоже казалось, что это чересчур. Оба молчали. В утренней мгле она различала неясно, что Дэнтон сидит, обхватив колени руками, скорчившись; подбородком он касался колен. И вдруг он засмеялся.

— Нет, — заговорил он снова, — ведь я терплю. В этом-то и вся штука! Всей нашей эпохи не хватит на самоубийство. Должно быть, такие люди совсем перевелись. Если доведется, мы терпим до самого конца.

Элизабет согласилась уныло и безмолвно, что все это правда.

— Мы будем терпеть до самого конца... Только подумать обо всех тех, которые терпели... Поколения и поколения мелких тварей, которые только и умели хватать и грызаться, поколения и поколения без конца...

Элизабет промолчала. После некоторого промежутка Дэнтон начал снова:

— Было девяносто тысяч лет каменного века. И во всех этих веках был свой Дэнтон. И, как у апостолов, один Дэнтон передавал свою силу следующему Дэнтону. Изумительная непрерывность! Минутку, я сейчас сосчитаю... Девяносто... девятьсот... трижды девять... двадцать семь... три тысячи поколений людей! И каждый сражался, получал раны и позор, и терпел до конца, и жил, и шел вперед. И еще тысячи придут, и пройдут мимо, многие тысячи... Да, пройдут. Но только едва ли скажут спасибо нам, отцам... Если бы только узнать что-нибудь определенное, сказать самому себе, отчего именно так оно все выходит!

Дэнтон замолчал. Элизабет с трудом рассмотрела в темноте его неясную фигуру — он сидел по-прежнему, опустив голову на руки. Элизабет вдруг пришло в голову: до чего они сейчас далеки друг от друга! Две смутные фигуры, чуть вы-

ступающие во мраке. Только такими они казались друг другу. О чем он теперь думает? Что скажет сейчас? Целая вечность прошла. Наконец он вздохнул и сказал:

— Нет, я не понимаю!..

После этого он снова улегся. Элизабет следила за его движениями и с удивлением видела, как старательно он устраивает себе изголовье. Он лег и вздохнул почти с облегчением. Его возбуждение прошло. Он затих и через две минуты стал дышать громче, глубоко и мерно.

Но Элизабет лежала с открытыми глазами в темноте, — лежала, пока обычный звонок и внезапно усиленный свет не подали знак, что пора вставать для дневной работы.

В этот день случилась новая драка с белобрысым и остролицым. Смуглый Блэнт, испытанный боец, сначала смотрел равнодушно, но потом вмешался и заговорил покровительственным тоном:

— Отпусти его волосы, слышишь, Беяк? Разве не видишь? Он совсем не понимает, как дерутся порядочные люди.

Голос его заглушили крики негодования.

И тут Дэнтон, лежа на грязном полу, увидел, что в конце концов без уроков все-таки не обойдешься.

Он сразу решился и, поднявшись на ноги, подошел тотчас же к Блэнту.

— Я был дурак, а вы были правы. И если не поздно теперь...

В этот вечер после обычной работы они ушли вдвоем в пустынные к грязные подвалы под Лондонским Портом, и там Дэнтон стал знакомиться с основными началами высокого кулачного искусства, которое развилось на широкой арене подвальных этажей. Дэнтон узнал, куда надо метить и как попадать, чтобы у другого дух захватило; как бить насмерть и как увечить; как драться поясом и как употреблять разную домашнюю утварь; как перехватывать удары и ставить под-

ножки. Словом, все боевые ухищрения, изобретенные простонародьем в XX и XXI веках, открылись Дэнтону во всей своей сложности,

Необщительность Блэнта теперь исчезла. У него были слова и жесты эксперта, вид снисходительный и почти отеческий. Он относился к Дэнтону с особой деликатностью, время от времени поддавался ему, чтобы поддержать интерес, и когда под конец Дэнтон угодил своему учителю в зубы и окровавил челюсть, тот только рассмеялся беспечно и весело.

— Я, правду сказать, зубов не берегу, — признал он в себе эту слабость. — И по-моему нет ничего худого по зубам получить, ежели челюсти крепкие. А кровью помазаться малость — это мне даже нравится. Но только на этот раз, пожалуй, довольно...

Дэнтон, вернувшись домой, заснул от усталости, но потом, так же как это было и вчера, на рассвете проснулся. Тело его ныло, ушибы горели.

«Да стоит ли продолжать эту жизнь?» — думалось ему. Он прислушался к дыханию Элизабет но потом вспомнил, как он разбудил ее в предшествовавшую ночь и старался лежать тихо. Его переполняло несказанное отвращение ко всей обстановке его новой жизни. Он ненавидел ее всю, ненавидел даже того благородного дикаря, который оказал ему такое бескорыстное покровительство. Чудовищная ложь цивилизации раскрылась пред его глазами во всей наготе — она представилась ему каким-то странным растением, порождающим внизу бесконечное варварство и дикость, а сверху — непрочное изящество и бессмысленную расточительность. Он не видел никакого оправдания, никакого признака чести и разума во всей своей предшествующей жизни или в той новой жизни, которая началась теперь. Цивилизация предстала перед ним, как какая-

то стихийная катастрофа вроде циклона или столкновения планет. Люди имели к ней отношение только как жертвы. Он сам и, стало быть, все человечество жили совершенно напрасно. Он стал перебирать в уме возможные выходы, даже самые несбыточные если не для себя, то хотя бы для Элизабет. Но думал он о себе, а не об Элизабет. Что, если он разыщет Мориса и расскажет ему о постигших их бедствиях? Он подивился мимоходом, как далеко Морис и Биндон отошли от круга его жизни. Где они? Что с ними? Горькие мысли зароились в нем. И потом наконец — не то чтобы возникнув из этой душевной тревоги, а, скорее, разгоняя ее, как рассвет разгоняет тьму, — пришло заключение наглядное и ясное: он должен пройти сквозь все это. Невзирая ни на что, он должен вооружиться всей силой своего духа, всей своей энергией, должен встать в ряды и биться как подобает мужчине.

Второй вечер учиться было легче, а в третий Блэнт раз или два сказал «ловко!», и Дэнтон почувствовал себя польщенным. На четвертый день Дэнтон стал думать, что остролицый, в сущности, трус. После того прошло две недели: тусклая работа днем — и лихорадочные уроки по вечерам. Блэнт божился, что никогда не встречал такого способного ученика, и каждую ночь Дэнтону до самого утра снились удары, затрещины, подножки и всякие другие боевые хитрости. Все это время никто его не трогал из страха перед Блэнтом. Потом наступил новый, решительный день. Блэнт не пришел на работу — с умыслом, как оказалось потом, по его собственным словам, — и с самого утра Беяк с возрастающим нетерпением ждал обещанного перерыва. Он ничего не знал о вечерних уроках и громко хвалился, что на этот раз он угостит Дэнтона по-настоящему.

Беяка не особенно любили, и после перерыва рабочие сошлись глядеть на бой как будто без особого интереса. Однако с первой схваткой их настроение оживилось. Беяк попытался ударить Дэнтона в лицо, но Дэнтон искусно отбил удар и в свою очередь сделал выпад, схватил и дернул. Беяк не устоял на месте, и в результате его голова попала в ту же кучу золы, которая когда-то запачкала голову Дэнтона. Беяк вскочил на ноги, лицо его от злости было блее обыкновенного. Он крепко выругался и снова бросился на Дэнтона. Последовали две три нерешительные схватки. Смущение Беяка, очевидно, усиливалось, и наконец наступила развязка: Беяк лежал на полу, а Дэнтон давил ему коленом грудь и душил его руками за горло. У Беяка выступили слезы на глазах, лицо почернело, один палец у него был сломан. Он хриплым, задыхающимся голосом стал просить пощады. И Дэнтон сразу приобрел небывалую популярность. Он отпустил побежденного врага и встал на ноги. Кровь в нем кипела, как жидкий огонь, во всем теле у него как будто переливалась сверхъестественная сила. Он уже больше не чувствовал себя рабом машинного труда. Он был человеком и сумел завоевать себе место на свете.

Остролицый первым подошел к Дэнтону и похлопал его по плечу. Человек, предложивший когда-то Дэнтону масло, сиял, как солнце, и рассыпался в поздравлениях. Дэнтон вспомнил о своей недавней заброшенности — теперь это казалось так далеко и невероятно.

В эту ночь, сидя на постели, он старался изложить Элизабет свою новую точку зрения.

— Мы пробьемся, — говорил он убежденно.

Одна сторона его лица была вся в ссадинах, Элизабет молчала. Ей не пришлось одержать победу в драке, и никто





*Бежак лежал на полу, а Дантон давил ему коленом грудь и душил его руками за горло.*



ее не хлопал по плечу, и на лице у нее не было ссадин, — была только угрюмая бледность и две новые складки по углам рта. Элизабет пристально смотрела на Дэнтона, изрекавшего пророчества.

Дэнтон говорил:

— Я чувствую, что есть одно непрерывное целое, неумирающая жизнь, в которой мы существуем и движемся. Она началась в прошлом, пятьдесят или сто миллионов лет назад, и идет все дальше, растет, развивается. И когда нас не будет, тогда найдется оправдание для всего настоящего. Объяснение и оправдание для этих ссадин, и для моей драки, и для всех наших страданий. Это резец, да, это резец создателя. Если бы мне только удалось передать тебе мое чувство! Но ты сама почувствуешь, я знаю это, знаю!

— Нет, — сказала она тихо, — я не почувствую.

— Я думал...

Она покачала головой.

— Я тоже думала... Твои слова не убеждают меня. — Она твердо посмотрела в лицо Дэнтону. — Мне это противно, — сказала она, тяжело дыша. — Ты не думаешь, ты не понимаешь. Было время — ты говорил, и я тебе верила. Но теперь я стала умнее. Ты, мужчина, можешь драться с другими, пробивать себе дорогу. Ты можешь быть груб, безобразен. Синяки тебе не страшны. Это прибавляет тебе силы. Ты — мужчина... А мы, женщины, иные. Наши чувства смягчились слишком рано. Мы не годимся для этой подвальной жизни. — Она помолчала и начала снова: — Эта ужасная синяя холстина... Я ненавижу ее, кажется, сильнее, чем смерть! Она царапает мне пальцы, обдирает мне кожу... А женщины, которые работают рядом со мной... Я не сплю по ночам и думаю, что скоро, должно быть, стану похожа на них. — Она остановилась. — Я и теперь похожа на них! — воскликнула она страстно.

Дэнтон смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Однако... — начал он и запнулся.

— Ты не понимаешь. Что мне осталось? Какое прибежище? Ты можешь драться. Драка — мужское дело. Но женщина... женщина — дело другое. Я думаю об этом ночью и днем. Посмотри на мое лицо. Оно бледнеет и вянет. Я не в силах терпеть, я не могу выносить этой жизни.

Она остановилась в минутном колебании.

— Ты знаешь не все, — сказала она вдруг, и на губах у нее мелькнула горькая улыбка. — Меня уговаривают уйти от тебя.

— Уйти от меня?

Она только кивнула головой в ответ. Дэнтон вскочил с места. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова.

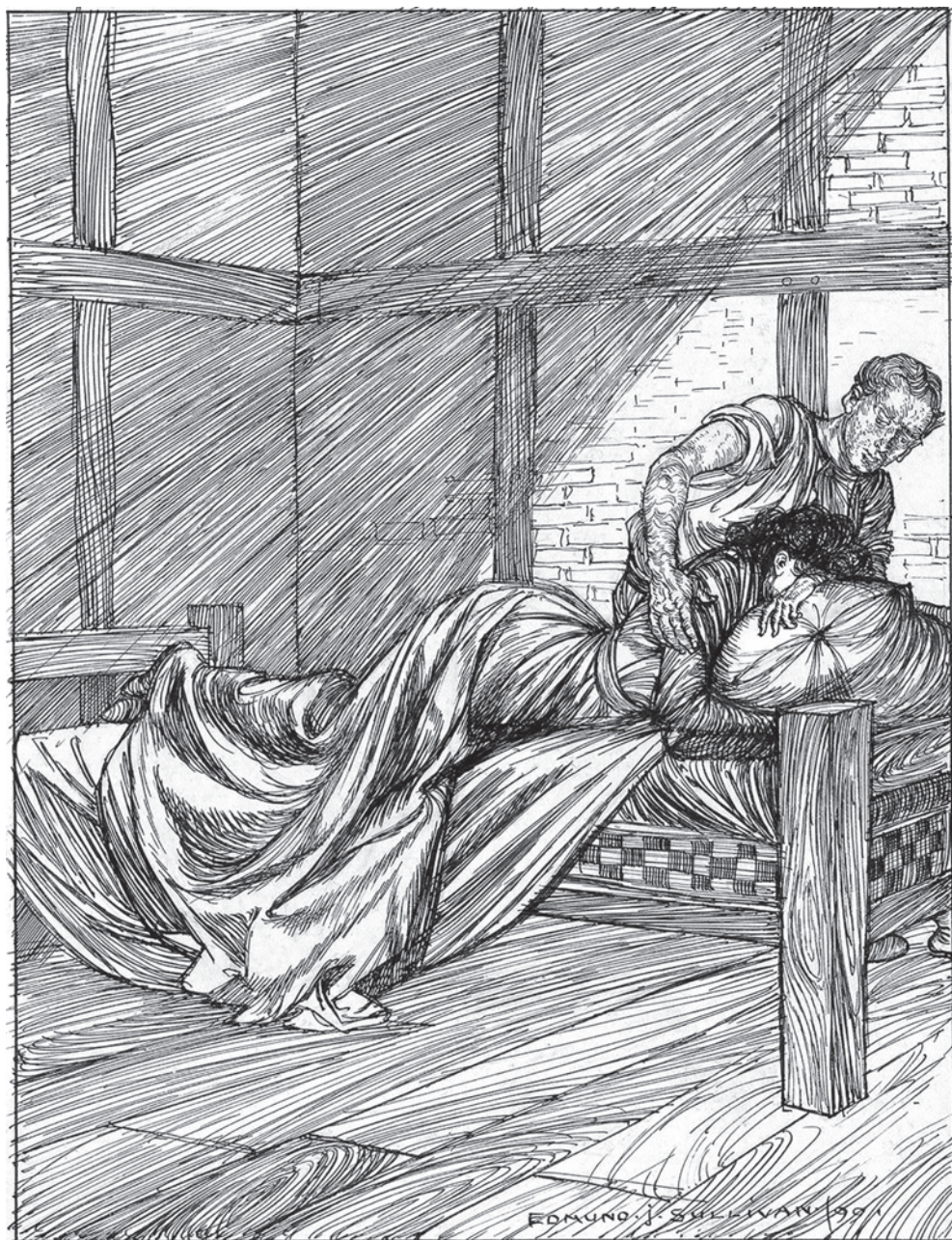
Потом Элизабет повернулась и бросилась лицом на убогую постель: она не рыдала, у нее не вырвалось ни единого стона. Только молча лежала ничком на постели. Прошла длинная, томительная пауза, потом плечи у Элизабет стали вздрагивать — она плакала.

— Элизабет, — шепнул Дэнтон. — Элизабет! — Он тихонько присел рядом, нагнулся и с нерешительной лаской обнял ее рукой. — Элизабет, — шепнул он ей на ухо.

Элизабет оттолкнула его резким движением.

— Я не хочу, — сказала она. — Новый ребенок будет новым рабом. — И разразилась громким и жалобным плачем.

Дэнтон побледнел, губы у него задрожали. Он соскочил с постели. На лице у него уже не было прежней самоуверенности — самоуверенность сменилась бессильным гневом. Он стал бесноваться и проклинать слепые силы, которые угнетали их, проклинать все случайности, и страсти, и безрассудства людской



— Элизабет, — шепнул Дэнтон. — Элизабет! — Он тихонько присел рядом,  
нагнулся и с нерешительной лаской обнял ее рукой.  
— Элизабет, — шепнул он ей на ухо.



жизни. Его жалкий голос наполнял эту жалкую комнату: он потрясал кулаками, он — ничтожная инфузория! — он смел грозить. Он грозил всему, что было кругом, прошедшему и будущему, миллионам человечества и всей бездушной громаде исполинского города.

## Глава V БИНДОН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

В юности своей Биндон занимался игрой на бирже и три раза выигрывал крупные суммы. После этого у него хватило благоразумия, отказаться от игры, и потому он имел некоторое право считать себя очень умным человеком. Постепенно он приобрел довольно большое влияние в некоторых деловых сферах огромного города и под конец сделался одним из главных акционеров Общества Лондонских Летательных Станций, владевшего платформами, куда приставали аэропланы со всего света. Такова была общественная роль Биндона. В частной жизни он был эпикурейцем. И дальнейший рассказ есть история его сердца.

Однако, прежде чем спуститься в такие глубины, нужно хоть в кратких словах описать внешность этой значительной персоны. Он был тщедушным, низеньким, со смуглым лицом. На лице и на голове у него не оставалось ни волоска, согласно гигиенической моде нового времени. Зато его головные уборы менялись постоянно вместе с костюмом, а костюм он менял очень часто.

Иногда он облакал свою важную особу в пневматическое резиновое платье стиля рококо, надевал на голову прозрачный, самосветящийся колпачок — и ревниво следил за тем, чтобы люди, не так пышно одетые, оказывали ему, Биндону, должное почтение.

Потом, в виде контраста, он обтягивал свое тощее тело черным сверкающим атласом; чтобы плечи казались шире и получался вид более важный, он надевал под низ пневматическую куртку, а сверху набрасывал мантию из китайского шелка, с тщательно заглаженными складками. И наконец, являлся в классическом своем виде — в обтянутых розовых панталонах — и блестящим феноменом проносился на сцене вечного театра судьбы.

В те дни, когда он ухаживал за Элизабет, он, чтобы прибавить себе молодости, охотно надевал костюм модного щеголя из эластической ткани с какими-то отростками и странными рогами. Эти отростки светились изнутри и переливались как радуга.

И нет никакого сомнения, что, если бы Элизабет имела не столь старомодный вкус и меньше увлекалась этим шалопаем Дэнтоном, этот умопомрачительный шик Биндона мог бы прельстить ее.

Биндон посоветовался с отцом Элизабет, прежде чем явиться перед ней в своем франтовском костюме, и Морис сказал, что для женского сердца лучше такого костюма не может быть ничего. Однако последующие факты показали, что он знал женское сердце не очень-то хорошо.

Мысль о женитьбе пришла Биндону в голову еще до первой встречи с прекрасной Элизабет. Биндон был всегда убежден, что, в сущности, он рожден для чистой любви и целомудренной жизни вдвоем.

Именно эта идея давала особый патетически-серьезный оттенок его кутежам и распутству; по существу своему, кутежи эти довольно пошлы, хотя друзья его и он сам были склонны рассматривать их как проявление бурного темперамента.

От беспорядочной жизни, а также, быть может, под влиянием наследствен-

ности у Биндона началась серьезная болезнь печени, и, между прочим, воздушные поездки стали для него почти невозможными. Именно во время лечения, после одного неприятного желчного припадка, ему и пришло на ум, что, если бы он встретил красивую, нежную, добрую молодую девушку, с преданным сердцем и без особой склонности к умствованиям, она могла бы спасти его от порока и вернуть на путь добродетели, и даже больше — даровать ему потомство в виде утешения старости.

Но, как многие всеведущие светские люди, он сомневался, есть ли на свете такие девушки. Когда ему говорили о них, он вслух выражал недоверие, а втайне побаивался.

Однако когда честолюбивый Морис познакомил Биндона с Элизабет, он был совершенно очарован. Он влюбился в нее с первого взгляда. Положим, начиная с шестнадцати лет, он влюблялся постоянно и на всевозможные лады, подражая различным литературным примерам из лучших романов целого ряда столетий. Но теперь это была иная любовь, настоящая. Биндону казалось, что эта любовь пробуждает в его душе лучшие чувства. Он был готов пожертвовать ради этой девушки всем своим прошлым, тем более что оно привело его только к разлитию желчи и расстройству нервной системы. Он уже ри-



*Иногда он облачал свою важную особу в пневматическое резиновое платье стиля рококо.*

совал себе идиллические картины обновленной жизни.

А пока что он ухаживал за Элизабет с большим искусством и тонкостью. Сдержанность Элизабет он принимал за изящную скромность, ее молчаливость — за очаровательное отсутствие обременительных идей.

Биндон ничего не знал о ее нелепом увлечении и не имел понятия о маленькой попытке Мориса исправить это увлечение посредством гипнотизма. Биндон был убежден, что у него с Элизабет отношения, лучше которых и желать нечего, и он только старался укрепить в Элизабет



эту предполагаемую благосклонность маленькими подарками, браслетами, духами. И тут вдруг как снег на голову свалилось ее неожиданное бегство вместе с юным Дэнтоном.

Биндон пришел в страшную ярость: его тщеславие было жестоко уязвлено. И за неимением другого объекта первый порыв злости он излил на покинутого дочерью Мориса.

Прежде всего Биндон ворвался к нему в приемную и осыпал его оскорблениями; потом стал ездить из конторы в контору, разыскивая разных влиятельных людей и стараясь подорвать кредит своего неудавшегося тестя; в таком направлении Биндон весьма энергично трудился целый день, успев сделать довольно много. Это принесло ему облегчение, и он отправился в ресторан, где не раз в дни своей юности проводил время самым развеселым образом. Тут Биндон очень основательно пообедал и выпил в обществе двух других столь же изящных сорокалетних юношей. Довольно с него хлопот! Ни одна женщина этого не стоит!

Он даже сам изумился потоку своего циничного острословия. Один из собутыльников Биндона, подогретый вином, делал довольно прозрачные намеки насчет любовных разочарований Биндона, но даже и это не испортило ему настроения.

Когда он проснулся на следующее утро, в печени жгло, а в душе горел гнев. Биндон разбил вдребезги свою говорящую газету, прогнал лакея и замыслил жестокое мщение против Элизабет. А также против Дэнтона. Самое жестокое мщение... Чтобы никто не сказал, что он был покорной игрушкой в руках легкомысленной девчонки...

Он вспомнил, что у Элизабет есть маленькое состояние, и тотчас же подумал, что, пока отец Элизабет не переложит гнев на милость, это состояние яв-

ляется единственным источником существования для юной четы. Стало быть, если отец не смягчится и если удастся понизить доходы и ценность того предприятия, в которое вложено наследство Элизабет, то Дэнтону и его супруге придется туго. Тогда, быть может, удастся пустить в ход соблазн. Биндон уже отказался от своего недавнего идеализма и думал о том, как соблазнить Элизабет, — пусть это будет даже безнравственно, все равно.

Он рисовал себе картину, как он, богатый, всемогущий, неумолимо преследует жестоким мщением девушку, которая его отвергла. И вдруг вся ее фигура воскресла в его памяти, живая и яркая, и первый раз в своей жизни Биндон затрепетал в припадке истинной страсти. Фантазия теперь уже стояла в сторонке, как почтительный лакей, сделавший свое дело, — фантазия открыла дверь чувству.

— Клянусь богом, — воскликнул Биндон. — она будет моей, живая или мертвая! Или я буду мертв. А этот молодец...

Он пригласил своего врача и в виде искупления за вчерашний ужин принял дозу лекарства, довольно горького. Потом, слегка успокоившись, но с той же решимостью он отправился к Морису. Морис чувствовал себя окончательно погибшим, униженным, разоренным. Сейчас в нем говорило только чувство самосохранения, и для того чтобы вернуть себе состояние, он готов был принести в жертву не только остаток любви к своей непокорной дочери, но даже собственное тело и душу. Скоро Морис и Биндон помирились и решили действовать так, чтобы своевольная чета возможно скорее впала в нищету. Биндон рассчитывал пустить в ход свое финансовое влияние, чтобы по возможности ускорить эту спасительную перемену.

— А потом? — спросил Морис.



— Клянусь богом, — воскликнул Биндон. — она будет моей, живая или мертвая!

— Потом они попадут в Рабочую Компанию, — сказал Биндон, — наденут синюю холстину.

— А потом?

— Потом они разведутся, — сказал Биндон.

Прежняя трудность развода давно смягчилась, и семейные пары могли разводиться по сотне различных причин и поводов.

— Да, они разведутся... Я их заставляю, я это устрою. Клянусь богом — это

будет! Ей ничего не останется больше. А того, другого, я растопчу, уничтожу, сравняю с землей...

Мысль о том, как он сравнивает с землей Дэнтон, пришпорила Биндона. Он даже забегал по комнате взад и вперед.

— Она будет моей. Ни бог, ни сатана не избавит ее от меня! — кричал Биндон.

Тут вдруг страсти в нем остыли самым трагикомическим образом: у Биндона жестоко заболело под ложечкой. Он вытянулся и героически решил не обращать никакого внимания на эту боль.

Морис молча слушал, его пневматическая шапочка осела, как проколотый пузырь...

Так случилось, что Биндон начал упорно работать над разорением Элизабет. Он пустил в ход все свое искусство и все влияние, каким в те дни обладали богатые люди. Ни совесть, ни религия ему нисколько не мешали. Время от времени он посещал очень знающего, очень интересного и милого священника гюисманитской секты модного культа Изиды и исповедовался ему, изображая свои мелкие делишки в виде величественного порока, в виде борьбы против небесных сил. Очень знающий, симпатичный и милый священнослужитель, представляя собой небесные силы, выражал скромное удивление и почтительный ужас, налагал на Биндона легкую и удобную епитимью и советовал грешнику уединение в чистом, изящном, гигиеническом монастыре, очень удобном для грешников с хорошими средствами и плохой печенью.

Из этих маленьких экскурсий Биндон возвращался обратно в Лондон с обновленными страстью и энергией. Он подводил свои мины с удвоенным старанием и целыми днями сидел в одной галерее над городскими путями в том квартале, где жила Элизабет. Из этой галереи был виден вход в бараки Рабочей Компании. И наконец, в одно прекрасное утро

Биндон увидел, как этот вход открылся перед Элизабет.

Первая часть его замысла осуществилась, и он мог теперь посетить Мориса и сообщить ему, что молодые люди дошли до самого худшего.

— Теперь ваша очередь, — сказал он, — вы можете дать волю вашему родительскому сердцу. Она ходит в синей холстине, и они живут в конуре, а ребенок их умер. Теперь она видит наглядно, какие радости принес ей этот господин, — бедная девушка! Теперь она все видит уже в настоящем свете. Вам надо посетить ее и очень осторожно, не упоминая совсем обо мне, заговорить о разводе.

— У нее упрямый нрав, — сказал Морис неуверенным тоном.

— Это такая душа! — воскликнул Биндон. — Это удивительная девушка, удивительная девушка!

— Но ведь она откажется.

— Пускай откажется. Вы даже не налегайте особенно. Только подайте ей первую мысль. Потом, в этой норе жизнь такая трудная, нерадостная, когда-нибудь настанет день, и завяжется ссора... И тогда...

Морис подумал и решил исполнить совет. После этого Биндон, по совету своего духовника, на время уединился. Он поселился в монастыре гюисманитской секты. Монастырь помещался в одном из верхних этажей. Тут был очень чистый воздух, и освещение было не искусственное, как внизу: здесь светило солнце; были даже лужайки зеленой травы под открытым небом, и вообще все удобства для отдыха и созерцания. Вместе с прочими обитателями монастыря Биндон принимал участие в простой и здоровой трапезе, присутствовал на песнопениях в храме, а в остальное время был предоставлен самому себе.

Он проводил дни в размышлениях об Элизабет; о том, как очистилась его



душа после знакомства с ней; о том, какие условия поставит отец гюисманит, прежде чем дать разрешение на брак с разведенной и грешницей.

Биндон прислонился спиной к одной из колонн храма и погружался в мечты о превосходстве высокой любви сравнительно с чувственностью. Он ощущал странное колотье в груди и в спине, чувствовал жар и озноб, общее недомогание и тяжесть, но старался не обращать внимания на эти мелочи. Все это были, конечно, только отзвуки прежней жизни, которую он решил оставить раз и навсегда.

Выйдя из монастыря, Биндон тотчас же направился к Морису: хотелось скорее узнать что-нибудь об Элизабет. Морис был настроен сентиментально и склонен был рассматривать себя как примерного отца, сердце которого глубоко тронuto страданиями дочери.

— Как она побледнела, — говорил он взволнованно, — как побледнела! И когда я заклинал ее покинуть того и уйти к новому счастью, она уронила голову на руки, — здесь голос Мориса дрогнул, — и заплакала... — Он был так взволнован, что не мог говорить больше.

— Ах! — воскликнул Биндон, склоняясь перед этим трогательным горем. — Ой! — тотчас же закричал он совсем другим тоном, хватаясь рукою за бок.

Морис быстро выпрыгнул из бездны своего горя.

— Что с вами? — спросил он участливо Биндона.

— Колики, — сказал Биндон. — Простите, пожалуйста. Вы говорили об Элизабет...

Морис еще раз выразил соболезнование, потом продолжил свой рассказ, У него были теперь надежды на успех. Элизабет, тронутая тем, что отец не отрекся от нее, говорила с ним откровенно о своих огорчениях.

— Да, — сказал Биндон уверенно. — Она еще будет моей.

И тотчас же, как будто нарочно, опять закололо в бок. Против этих телесных страданий священник гюисманитской секты оказался бессильным. Он был слишком склонен рассматривать тело и телесную боль как иллюзии и по-прежнему прописывал Биндону созерцательную жизнь. Биндону пришлось обратиться к одному из тех людей, кого он ненавидел от всего сердца, а именно к известному врачу, очень знающему и еще более бесцеремонному.

— Дайте-ка осмотреть вас, — сказал врач и тотчас же исполнил это с отвратительной добросовестностью.

— Есть у вас дети? — спросил между прочим этот грубый материалист.

— Насколько я знаю, нет, — ответил Биндон; он был слишком изумлен, чтобы охранять свое достоинство от подобных вопросов.

— Ага!.. — проворчал врач и снова начал свое выстукивание и выслушивание.

В то время медицина уже приобретала научную точность.

— Вам лучше всего не мешкать, — сказал врач, — и тотчас же сделать заказ на Легкую Смерть. Чем скорее, тем лучше.

Биндон даже подскочил.

Врач стал объяснять более подробно, прерывая свою речь техническими терминами, но Биндон не хотел понимать.

— Как же это? — повторял он растерянно. — Вы хотите сказать... Ваше искусство...

— Нет, — возразил врач решительно. — Ничего нельзя сделать. Разве прописать успокоительное. Вы, знаете, должны винить себя самого.

— У меня в молодости было много искушений, — признался Биндон.

— Не в том суть, — сказал доктор. — Вы, явно, отпрыск от худого корня. Даже



при всей осторожности вам было не миновать неприятностей. Вам и родиться не следовало. Знаете, родительский грех. Вы же, вдобавок, вели нездоровую жизнь.

— Никто мне не указывал...

— А разве не было врачей?

— В молодости у меня был такой темперамент...

Доктор поморщился.

— Не будем спорить. Все равно ни к чему. Время ваше прошло. Жизни вам не начать сначала. Да лучше было и не начинать. По правде говоря, Легкая Смерть — единственное, что вам осталось.

Биндон слушал доктора молча. Каждое слово этого грубого эскулапа задевало его утонченные чувства. Этот толстокожий грубиян, можно сказать, ногами попирает духовную сторону жизни.

Однако ссориться с врачами не имеет никакого смысла.

— Мои религиозные взгляды, — сказал Биндон, — не допускают самоубийства.

— Вся ваша жизнь была самоубийством, — возразил врач.

— Теперь я решил серьезнее смотреть на жизнь, — неуверенно сказал Биндон.

— Да, надо бы, если хотите жить, — сказал врач. — Не то вы развалитесь. Впрочем, правду сказать, теперь уж поздно. Однако, если угодно, я пропишу вам микстуру. Вам тяжело придется. Это покалывание...

— Вы это называете покалыванием:

— Ну да, это еще только цветочки.

— Как долго мне еще осталось? — сказал Биндон. — До того... как...

Доктор покачал головой.

— Недолго. Пожалуй, дня три.

Биндон стал спорить и настаивать на удлинении этого срока, но в самом разгаре спора вдруг побледнел и опять ухватился рукой за бок. Неожиданно весь

трагизм его положения стал ему совершенно ясен.

— Это жестоко. Это невероятно жестоко, — сказал он. — Я никому не вредил, только разве себе самому. Я не обидел ни одного человека.

Доктор посмотрел на него без всякого сочувствия. Он думал: как хорошо, что у него в приемной не сидит больше таких вот трагических Биндонов. Он даже слегка усмехнулся, потом позвонил в телефон и стал заказывать рецепт в Центральной Аптеке.

Его прервал внезапный крик, раздавшийся у него за спиной. Это кричал Биндон.

— Нет! — воскликнул он, стискивая зубы. — Ни за что! Она еще будет моей!

Доктор через плечо заглянул в лицо Биндону и изменил рецепт.

Вернувшись домой, Биндон дал волю своему бешенству. Он сразу решил, что доктор, во-первых, грубая скотина и неблаговоспитанная тварь, а во-вторых, полный невежда в собственном деле. За подтверждением этого взгляда он обратился к другим специалистам того же рода. Впрочем, на всякий случай, он сохранил лекарство, прописанное первым врачом.

Каждому новому врачу Биндон прежде всего излагал свои сомнения относительно познаний и профессиональной честности своего первого советчика и потом переходил к симптомам болезни, стараясь скрыть или смягчить наиболее сомнительные. Впрочем, врачи всегда добивались до истины.

Они охотно принимали злословие по адресу соперника, но все-таки ни один из этих компетентных специалистов не подал Биндону надежды на избежание грозившей участи.

Перед последним из них Биндон дал волю своему негодованию против медицины вообще.

— Как! — воскликнул он с жаром. — Столько веков прошло, и вы ничему не научились, только умеете говорить о собственном бессилии? Я прихожу к вам и говорю «спасите меня!», а вы плечами пожимаете в ответ...

— Конечно, это неприятно, — согласился доктор. — Но ведь вы сами не береглись.

— Никто мне не говорил.

— Это не наше дело — нянчиться с вами, — проворчал доктор. — И почему это мы должны спасти именно вас? Видите ли, с нашей точки зрения люди с такими страстями, как вы, должны выйти из строя.

— Как выйти из строя?..

— Ну да, умереть. Это закон.

Лицо у него было молодое, ясное. Он улыбнулся, глядя на Биндона.

— Мы, знаете, продолжаем наши изыскания. И даем советы тем, кто имеет довольно ума, чтобы слушать. И ждем своего времени...

— Ждете времени?

— Ну да, ждем. Мы еще не готовы, чтобы принять в свои руки управление.

— Что такое?

— Не волнуйтесь, пожалуйста! Наука еще не созрела. Ей надо расти еще не одно поколение. Мы знаем теперь, как мало мы знаем. Но время все-таки движется. Вам-то уж не придется увидеть. Но, между нами говоря, ваши богачи и политики, с их свободной конкуренцией, патриотизмом и религией, натворили такую путаницу... Подумайте только об этих подвалах и о других вещах... Иные из нас полагают, что в свое время мы сумеем устроить так, что там будет больше света и воздуха. Наука, знаете, растет и зреет понемногу. И торопиться не к чему. Настанет когда-нибудь время, и люди будут жить иначе, чем теперь. — Он пристально посмотрел на Биндона и

прибавил: — Многим придется убраться на тот свет до этого времени...

Биндон сделал попытку указать этому молодому человеку, как неприлично такими речами путать пациента и как это невежливо и даже дерзко по отношению именно к нему, Биндону, человеку почтенному и занимающему видное общественное положение. Он несколько раз говорил, что доктор за свои услуги получает плату, — он особенно подчеркнул слово «плата», — и потому даже права не имеет отвлекаться в сторону и обращать свое внимание на всякие такие вопросы.

— Но мы обращаем, — возразил молодой человек уверенным тоном.

И Биндон в результате окончательно вышел из терпения.

Вне себя от гнева, он решил покончить с докторами и отправился домой.

Чтобы эти неспособные шарлатаны, которые даже не могут спасти жизнь такому человеку, как он, Биндон, смели еще мечтать отнять социальный контроль у законных собственников и навязать всему свету какую-то бессмысленную тиранию!.. Будь проклята наука!.. Он продолжал злиться еще некоторое время, пока опять не заболело в боку. К счастью, он вспомнил о готовом лекарстве, полученном от первого врача; лекарство это лежало в кармане у Биндона, и он немедленно принял первую дозу.

Лекарство успокоило его и рассеяло гнев. Он уселся в самое удобное кресло своей библиотеки (фонографических цилиндров) и стал размышлять; но теперь он уже по-иному смотрел на мир. Негодование исчезло, злость растаяла — это уже понемногу действовало принятое лекарство. В душе его остались только сентиментальные чувства. Он поглядел кругом на все изящное и великолепное убранство, на стройные статуи и со вкусом развешенные картины, на все эти принадлежности утонченного и эле-

гантного порока. Он надавил кнопку, и грустная мелодия пастушеской свирели из «Тристана» заплакала в пространстве.

Глаза его переходили от одного украшения к другому. Все они были дороги, яркие, крикливы. Они представляли осуществление его идеала, телесное воплощение его чувства красоты и ценности жизни. И теперь он должен расстаться с ними. Он чувствовал в себе тонкое и нежное пламя, которое уже догорало. Так догорает и гаснет на свете всякое пламя. И при этой мысли его глаза наполнились слезами.

Тогда он стал думать о своем одиночестве. Никто его не любит, никому он не нужен. Каждую минуту может вернуться боль. Он будет надрываться от крика — и все же ни одна душа его не пожалеет. По словам докторов, дня через два ему придется совсем скверно — но кому до этого дело?

Он вспомнил заодно речи своего духовного отца — о разращении века и об упадке любви. В своей собственной судьбе он видел прямое подтверждение этой трагической истины. Такой человек, как он, утонченный, изящный, смелый, цинический, стройный Биндон, будет содрогаться от боли, и ни один человек на свете не содрогнется вместе с ним. При нем нет ни одной простой и верной души, и свирели пастушеской нет, чтобы заплакать над ним,

Или же все эти души, простые и верные, исчезли с суровой, назойливо-жадной земли? Он спрашивал себя: знают ли эти вульгарные твари, толпами снующие взад и вперед по городским переходам, знают ли они, что он, Биндон, думает о них? Если бы они знали, кто-нибудь, быть может, попытался бы — наверняка попытался бы! — заслужить отношение лучше! Мир, без сомнения, становится хуже и хуже. Он стал невозможен

для Биндонов. Но когда-нибудь впоследствии...

Ведь единственное, в чем он за всю свою жизнь нуждался, — это было сочувствие. Он пожалел на минуту о том, что он не оставил сонетов, загадочно-прекрасных очерков или чего-нибудь еще, в чем бы могло продолжаться его бытие, пока наконец не отыщется родственный дух.

Но неужели все-таки приходит уничтожение? Но его изящная вера давала на этот счет только несколько громких слов и кудрявых метафор. Будь проклята наука! Она уничтожила всякую веру и всякую надежду. Итак, надо уйти, покинуть клуб и театр, дела, и обед, и вино, и очарование женских глаз. И никто даже не заметит. Покинуть весь этот прекрасный мир!

Кто виноват в этой общей безучастности? Быть может, сам он своими резкими манерами оттолкнул чужое участие? Немногие знали, какая тонкая душа таится под этой веселой и цинической маской. Они даже не поймут, что они потеряли. Элизабет, например, — она даже не подозревает...

Он остановился. Мысли его сосредоточились на Элизабет и на том, как мало Элизабет понимала его душу!

Думать об этом было невыносимо. Он должен это исправить во что бы то ни стало. Он увидел, что еще одно дело осталось для него на свете — его борьба за Элизабет еще не окончена. Он не может победить и завладеть ею, как он мечтал, но он может запечатлеть свой образ в ее душе...

Мысль эта его увлекла. Он запечатлел в ее душе свой образ и пробудит в ней угрызение за прошлую измену. Надо чтобы она воочию увидела его великодушие. Ибо он любил ее без всякой корысти — из самой глубины своего великого сердца. Он завещает ей все свое имущество.





*Тогда он стал думать о своем одиночестве.  
Никто его не любит, никому он не нужен.*



Пусть она всегда размышляет о его добrote и благородстве, окруженная комфортом, дарованным его рукой, пусть раскаивается без конца в своей прошлой холодности. И если она захочет дать исход этому новому чувству, то наткнется на закрытую дверь, на вечное молчание, на бледное, мертвое лицо...

Он даже закрыл глаза и с минуту старался вообразить себя самого с бледным и мертвым лицом.

Он стал обдумывать подробности своего решения, думал лениво, ибо лекарство продолжало свою работу, и он все больше впадал в меланхолию, почти в летаргию. Он оставит Элизабет все, что имеет, но только этот кабинет со всей обстановкой лучше выделить — лучше по многим причинам. Кому же завещать кабинет? Сонные мысли Биндона долго бо-ролись с этим вопросом.

Под конец он решил оставить свой кабинет этому симпатичному представителю модной религии, с которым всегда так приятно было беседовать.

«Он поймет, — подумал Биндон с чувствительным вздохом. — Он знает красоту Зла и смелые соблазны Сфинкса Пороков. Он поймет и оценит, как я».

Этими пышными эпитетами Биндону было угодно обозначить известные отклонения от нормальных отправлений природы, столь же непристойные, сколь и вредные для здоровья. К этим отклонениям его привели дурно направленное тщеславие и несдержанное любопытство. Некоторое время он сидел, размышляя о том, как много в душе его было от эллинов, и от Нерона, и от итальянского Ренессанса и так далее. Вот даже и теперь — не попробовать ли все-таки написать сонет? Оставить свой голос векам, как отклик, возникший из бездны, чувственный, зловещий и унылый... На время он забыл про Элизабет. Но в течение получаса он испортил три фонографиче-

ских цилиндра, получил головную боль и, приняв новую дозу успокоительного, вернулся к великодушию и своим первоначальным намерениям. В конце концов ему пришлось припомнить о Дэнтоне. Понадобилось все напряжение его новоявленного благородства, чтобы помириться с Дэнтоном. Но в конце концов этот великий, непонятый миром страдалец с помощью смягчительного лекарства и мысли о смерти проглотил также эту последнюю пилюлю.

Если он сделает оговорку относительно Дэнтоне, если выкажет хоть малейшее недоверие, Элизабет поймет это неправильно. Пусть же она остается при этом Дэнтоне. Его великое сердце примет и эту последнюю горечь. Он не будет думать о Дэнтоне. Он будет думать только об Элизабет. Он встал со вздохом и подошел к телефону, чтобы вызвать своего нотариуса. Через десять минут завещание, составленное по всей форме и даже скрепленное свежим отпечатком большого пальца Биндона, лежало под замком у нотариуса, за три мили от этого уютного кабинета.

После этого с минуту или две Биндон просидел молча и не шевелясь. Вдруг он вздрогнул и тотчас же приложил руку к больному боку. Затем он быстро вскочил и бросился к телефону. Общество Легкой Смерти редко получало от клиента такой поспешный заказ...

И таким образом вышло, что Дэнтон и его Элизабет, сверх всякого ожидания, вышли, не разлучившись, из той рабской неволи, в которую они впали. Элизабет стряхнула с себя вместе с синей ливреей саму память рабочего подвала и нищенской спальни в казенном дортуаре, как стряхивают кошмар. Судьба дала им вернуться обратно к солнцу и свету. Как только им стало известно о завещании, сама мысль провести еще один день в этом унижении стала нестерпимой. Они

тотчас же вернулись по бесконечным лифтам и лестницам в те этажи, откуда их изгнало разорение. В первые дни чувство избавления затмевало все. Даже думать о жизни в подвалах было невозможно. Много месяцев прошло, пока Элизабет избавилась от этого чувства и стала вспоминать с унылой жалостью тех униженных женщин, которые все так же томились внизу, утешаясь сплетнями и воспоминаниями о прежних безумствах и выколачивая на утомительной работе свои последние силы.

Даже в выборе новой квартиры Дэнтонов сказалось это жгучее чувство освобождения. Они выбрали комнаты на самом краю города. У них было место на кровле и балкон на городской степе, широко открытый солнцу и ветру, с видом на небо и поле.

И на этом балконе происходит последняя сцена нашего рассказа. Солнце садилось, и голубые Суррейские холмы четко выступали вдали. Дэнтон стоял на балконе и смотрел вперед, а Элизабет сидела рядом с ним. С балкона открывался очень широкий вид: балкон висел на высоте пятидесяти футов над землей.

Квадратные поля Пищевой Компании, усеянные там и сям развалинами



*И на этом балконе происходит последняя сцена нашего рассказа.*

бывших пригородов, прорезанные вдоль и поперек блестящими полосами удобрительных каналов, вдали, у подошвы холмов, стирались и сливались. Там некогда было становище детей Уйи. Теперь на синих холмах высокие машины лениво ворочались, кончая рабочий день, и на вершине холмов стояли рядами огромные турбины. По южной идамитовой дороге

быстро приближались экипажи на высоких колесах: это полевые рабочие Пищевой Компании, окончив дневную работу, возвращались в город, на ужин и ночлег. В воздухе парили и спускались вниз маленькие частные аэропланы. Вся эта картина, столь привычная взору Дэнтона и Элизабет, конечно, наполнила бы душу какого-нибудь из их предков безграничным изумлением. Мысли Дэнтона устремились к будущему в тщетной попытке представить себе эту же самую местность еще через двести лет и тотчас же бессильно вернулись назад, к прошлому. У него было довольно исторических знаний. Он мог представить себе покрытый копотью город эпохи Виктории с узкими улицами, плохо застроенными предметями и широкими полями; жалкие деревни и крохотный Лондон эпохи Стюартов; Англию первых монастырей и еще более древнюю эпоху римского владычества, и, наконец, дикую равнину, кое-где усеянную хижинами воинственных племен. Много веков эти хижины возникали и снова исчезали, прежде чем появились римляне, и, казалось, это было только сегодня. Но еще раньше, когда не было хижин, в этой долине все-таки были люди. Ибо эта долина существовала все время без всяких изменений, и с геологической точки зрения все это было не дальше как вчера; только, быть может, эти холмы были повыше и белели от снега. Темза текла, как теперь, от Котсуолдских высот и до моря. Но люди едва имели человеческий образ: они были жалки и невежественны, они были беззащитными жертвами диких зверей и потоков, бурь и эпидемий, и непрерывного голода. Они едва могли отстоять себя от медведей, и львов,

и других чудовищ прошлого. Теперь человек победил, по крайней мере, хоть часть этих враждебных стихий.

Дэнтон перебирал в уме эти минувшие этапы, смутно стараясь отыскать также и свое место, свое оправдание и связь с прошлым.

— Счастье нам помогло, — заговорил он. — Случай, удача. Мы выбились. Так вышло, что мы выскочили. Не нашей собственной силой. И все же... Нет, я не знаю.

Он долго молчал и потом начал снова.

— Я думаю, еще будет время. Люди существуют только двадцать тысяч лет, а жизнь существует уже двадцать миллионов лет. Что такое одно поколение? Это очень много, но мы так ничтожны. И тем не менее мы чувствуем, мыслим. Мы не бездушные атомы, мы — часть целого, по мере нашей силы и нашего хотения. Даже смерть наша — это часть целого. Мертвые или живые, мы входим в общий план мироздания. Время будет идти, и люди, быть может, станут мудрее... Мудрее... Поймут ли они когда-нибудь?

Он снова замолк. Элизабет ничего не сказала, только посмотрела ласковым взором на его задумчивое лицо.

В этот вечер мысли у нее были какие-то сонные. Она вся утопала в спокойном довольстве. И через минуту ее мягкая рука отыскала руку Дэнтона. Дэнтон тихо погладил руку Элизабет, не отрываясь глазами от широкого, затканного золотом заката. Так они сидели, пока не спустилось вечернее солнце. Набежала сырость, и Элизабет вздрогнула от холода. Дэнтон очнулся от своих далеких мечтаний и пошел в дом, чтобы принести шаль для Элизабет.

# СОДЕРЖАНИЕ

## **ВОЙНА В ВОЗДУХЕ**

*Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой. .... 5*

## **КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ**

*Перевод Э. Пименовой и М. Шиимаревой. .... 223*

## **РАССКАЗ О ГРЯДУЩИХ ДНЯХ**

*Перевод В. Г. Тана ..... 405*



Герберт Джордж Уэллс

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ

РАССКАЗ О ГРЯДУЩИХ ДНЯХ

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010  
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание  
классического произведения имеет значительную историческую, художественную  
и культурную ценность для общества

Компьютерная верстка,  
обработка иллюстраций  
*В. Шабловский*

Сдано в печать 25.02.2022  
Объем 28,5 печ. листов  
Тираж 3100 экз.  
Заказ №

Бумага кремовая книжная дизайнерская  
Stora Enso Lux Cream



ООО «СЗКЭО»  
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44  
E-mail: [knigi@szko.ru](mailto:knigi@szko.ru)  
Интернет-магазин: [www.szko.ru](http://www.szko.ru)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт»,  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



Герберта Уэллса живо интересовало будущее. Мощный импульс, который писатель придал научной фантастике, ощущается до сих пор. Свой роман «Война в воздухе» он написал в 1907 году — всего через несколько лет после первых полетов братьев Райт. Знания и интуиция позволили Уэллсу нарисовать смелые картины грядущего, однако главное в них — не предсказание монорельса, мотоциклов или масштабного освоения воздушного океана, а предчувствие неизбежной мировой войны, которая затягивает в свой смертельный водоворот все новые и новые страны. К сожалению, предвидения Уэллса сбылись в 1914 году. Писателю довелось увидеть на своем веку и Вторую мировую войну, которую он тоже предсказывал. Не случайно в 1941 году, за пять лет до

своей кончины, Уэллс пожелал, чтобы в тексте эпитафии, напечатанной после его кончины, была фраза «Я вас предупреждал. Проклятые вы дураки!».

Другой знаменитый роман писателя — «Когда Спящий проснется» — можно отнести к жанру антиутопий. Дополненная и переработанная его версия была опубликована в 1910 году. Успех этого романа, как и почти всех произведений Уэллса, был основан не столь на красочных описаниях жизни в далеком от него XXI веке, сколь на неутешительных социальных прогнозах писателя, который утверждал, что в далеком будущем одна тирания по-прежнему будет сменяться другой, а жизнь простого обывателя, от которого мало что зависит, будет оставаться тревожной.

В оформлении книги использованы иллюстрации сразу нескольких зарубежных мастеров. Британский художник и гравер Артур Майкл появился на свет в 1881 году. Он долго сотрудничал с такими журналами как «Иллюстриред Лондон Ньюс» и «Морнинг Стар», однако в историю Майкл вошел именно как иллюстратор книг. Французский художник Анри Лано был на 22 года старше Майкла. Он родился в Париже и начал впервые публиковать свои иллюстрации в 1892 году. Фантастика была его любимой темой. Лано и сам был литератором. Он написал несколько романов, в которых, как и Уэллс, делал прогнозы на будущее. Чешский художник Франтишек Женишек родился в 1849 году. В историю он вошел благодаря своим портретам, настенным росписям и полотнам в классическом академическом стиле. Еще один британский художник, чьи работы украшают книгу — Эдмунд Салливан. Он появился на свет в 1869 году, в девятнадцать лет начал публиковать свои работы в журнале «Дейли Графикс», а затем в своих иллюстрациях к книгам сочетал приемы английской школы живописи с веяниями арт-нуво и элементами стиля Обри Бердслея.

ISBN 978-5-9603-0711-6

